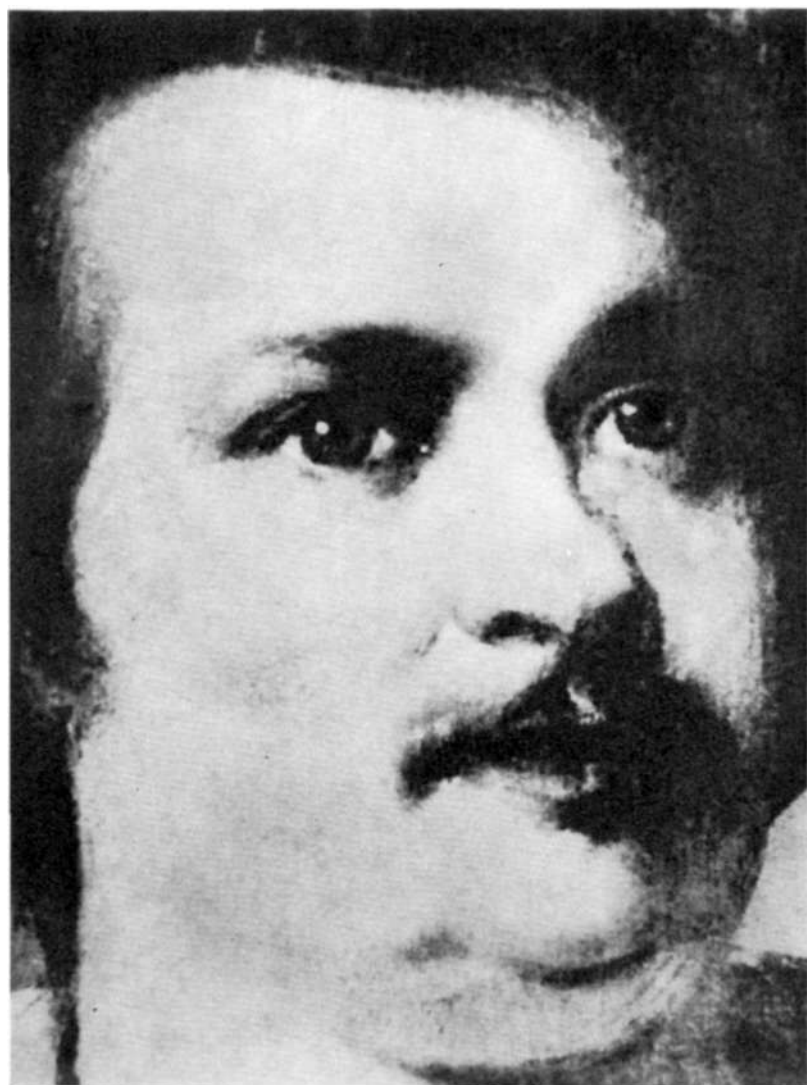


БАЛЬЗАК
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ







Отец Бальзака.



Мать Бальзака.



Лора Сюрвиль
(урожденная Бальзак)
в детстве.



Бальзак в детстве.



Бальзак в юности.



Г-жа де Берни.



Барон де Поммерель.



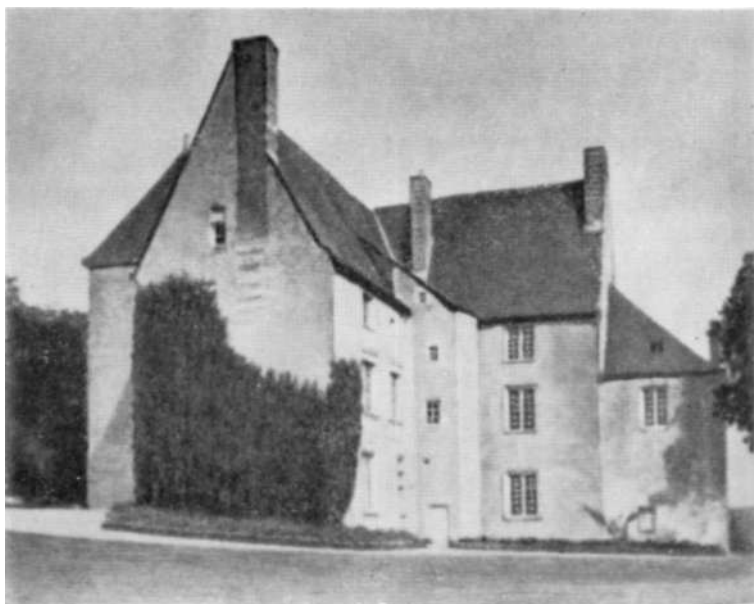
Баронесса де Поммерель.



Герцогиня д'Абрантес.
Рис. Гаварни, 1833.



Жорж Санд.
*Фрагмент рисунка
А. де Мюссе, 1833.*



Замок Саше.



Бальзак в юности.
Рисунок А. Девериа.



Зюльма Карро.
Э. Вьено, 1827.



Маркиза де Кастри.
Рис. К. Блеза.



Дом на улице
Кассини.



Э. Ганская в молодости.



Г-жа де Берни.

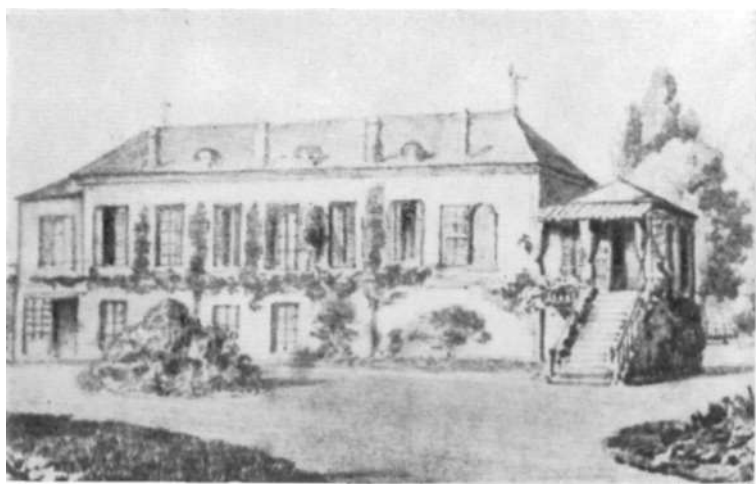


Имение Булоньер.



Вдова Беше.

Замок Фрапель.



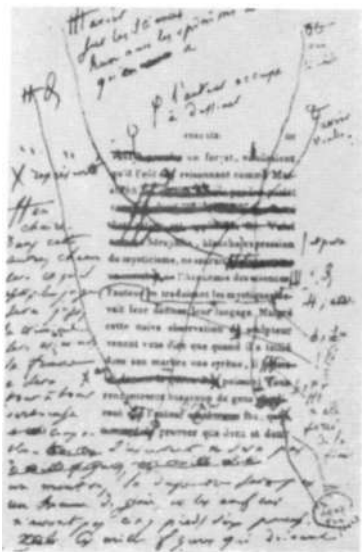


Бальзак.
Литография Жюльена, 1836.



Бальзак.
Портрет Л. Буланже, 1837.

Страница гранок «Серафиты».



Фердинанд де Граммон.
Рис. Т. Шассерье, ок. 1840.



Виктор Гюго.
По рисунку А. Девериа.



Леон Гозлан.

Дельфина де Жирарден.



Теофиль Готье.



Бальзак в Тюильри.
Акварель Ш. Кассая.



Бальзак.
Карикатура Бенжамена.



Бальзак.
Рисунок Гаварни.



Бальзак.

Гелиография Надара по дагерротипу. 15 мая 1842 г.

Бальзак в Виль-д'Авре.
Акварель П. Шардена, 1840.





Фредерик Леметр.



Лора Сюрвиль.



Дом на улице Басс.



Э. Ганская.
Портрет Жигу.



Бальзак.
Рисунок Давида д'Анже.



Верховня.
Литография.

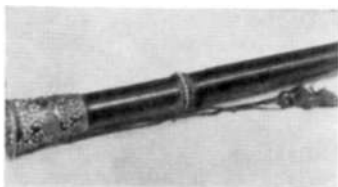


Рабочий стол Бальзака
и доме на улице Басс.

Бальзак.
Бюст Давида д'Анже.



Трость Бальзака.



Дом на улице Фортюне.





СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

Редакционная коллегия:

В. Э. ВАЦУРО
Н. Я. ГЕЙ
Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНА
С. А. МАКАШИН
Д. П. НИКОЛАЕВ
В. Н. ОРЛОВ
А. И. ПУЗИКОВ
К. И. ТЮНЬКИН

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

БАЛЬЗАК
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

8И (Фр)
Б21

Составление, вступ. статья

И. ЛИЛЕЕВОЙ

Комментарии и указатели

И. ЛИЛЕЕВОЙ и В. МИЛЬЧИНОЙ

Научная подготовка тома

В. МИЛЬЧИНОЙ

Оформление художника

В. МАКСИНА

Б $\frac{4703000000-234}{028(01)-86}$ 137-86

© Состав, вступ. статья, комментарии, переводы, кроме отмеченных в содержании *. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

ГЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ

Автор одной из наиболее известных французских биографий Бальзака Андре Моруа справедливо замечает: «Бальзака изучают и будут исследовать впредь, как изучают и исследуют целый мир, потому что он и есть целый мир». Действительно, мало о ком из писателей написано так много, как о Бальзаке. Создана огромная бальзакиана, которая по своему объему, очевидно, уже превосходит объем «Человеческой комедии»: напечатаны солидные биографии писателя (в том числе серьезно документированные книги С. Цвейга, А. Моруа, М. Бардеша, А. Вюрмсера), исследования его творчества, его философии, эстетики, опубликовано несколько томов его переписки, составлены указатели вымышленных персонажей «Человеческой комедии», определена ее география. Все новые материалы публикует выходящий во Франции уже много лет «Бальзаковский ежегодник». Теперь общепризнано, что Бальзак — одна из величайших фигур литературы XIX века, писатель «замечательный по глубокому пониманию реальных отношений»¹. И чем больше изучают творческое наследие Бальзака, тем явственнее выявляется его необъятность, его универсальность, его огромное художественное значение.

Бальзак-юноша взялся за перо в ту пору, когда в борьбе с эпигонами классицизма во Франции укреплялось новое течение в искусстве — романтизм; он пробовал свои силы и в том и в другом направлении и долго не мог определить истинный характер своего творческого дара и найти свой самостоятельный путь в литературе.

После десяти лет поисков, неудач и разочарований Бальзак обратился к современности и понял наконец, что его призвание — это правдивое изображение реальной действительности. В бурной и противоречивой жизни окружающих людей он открыл для себя неисчерпаемое богатство конфликтов, разнообразие типов и характеров, скрытых человеческих драм и трагедий, низменных пороков и высокой поэзии. Отныне главным жанром его творчества становится роман из современной жизни, а художественным методом — всеобъемлющий и беспощадный реализм.

В то время французским читателям были известны либо «готические» романы, полные невероятных приключений и фантастики, с действием, обычно отнесенным к прошлому, либо романы исторические в духе Вальтера Скотта, у которого учились романтики, либо же романы-исповеди с одиноким неприкаянным главным героем. Своими первыми социальными романами из современной жизни Бальзак, так же как и выступивший почти одновременно с ним Стендаль, открыли для литературы новые широчайшие возможности и новые пути.

В середине 30-х годов XIX века у Бальзака возник грандиозный замысел — объединить все свои произведения, начиная с «Шуанов» (1829), в один огромный цикл, подчиненный единому плану; через неко-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 25, ч. 1, с. 46.

торое время, в конце 1840 года, замысел Бальзака оформился. Так родилась «Человеческая комедия», представляющая собой, по словам самого автора, «историю и картину общества, анализ его зол и осуждение его основ». Эта громадная эпопея в прозе должна была состоять из 150 произведений (Бальзак успел осуществить 98 из них). Каждый роман, входящий в «Человеческую комедию», вполне самостоятелен, но все произведения соединены между собой художественным приемом повторяющихся персонажей, а также единством изображаемой эпохи.

Жизнь Бальзака (1799—1850) охватила первую половину XIX столетия, пору грандиозной исторической ломки, от Великой французской революции, знаменовавшей торжество нового, капиталистического общественного порядка, до революции 1848 года, выявившей коренные противоречия буржуазного общества и отметившей начало его кризиса. На глазах у Бальзака свершились важнейшие политические события: рухнула империя Наполеона I, произошла краткая реставрация дворянской монархии, сметенной в июле 1830 года народной революцией; затем воцарение, наперекор народной воле, в 1830 году короля биржевиков Луи-Филиппа Орлеанского, чье царствование характеризовалось разгулом финансовых спекуляций, лихорадочным обогащением верхушки общества, а также многочисленными республиканскими заговорами и восстаниями, обнищанием социальных низов и первыми вооруженными выступлениями промышленных рабочих; Бальзак был свидетелем победы буржуазной республики в феврале 1848 года, предательства буржуазии, потопившей в крови рабочее восстание июня 1848 года и открывшей путь бонапартистскому государственному перевороту, который произошел 2 декабря 1852 года, когда Бальзака уже не было в живых.

Политическая история Франции послужила фоном, на котором происходит действие романов Бальзака, но не их сюжетом. Глубинные социально-исторические сдвиги эпохи Бальзак показал через описание нравов буржуазного общества, через события частной жизни людей, семейные драмы, браки-делки, грызню за наследство, грязные деловые интриги и преступления биржевиков, разорение честных коммерсантов, трагическую судьбу таланта, ожесточенную борьбу алчности и честолюбия, поругание любви и человечности, распад естественных связей между людьми.

Бесконечно разнообразные картины частной жизни в «Человеческой комедии» служат материалом для глубокого реалистического обобщения, за ними просматриваются важнейшие общественные процессы, прежде всего падение родового дворянства под натиском нового хозяина жизни — денежного мешка.

Писатель видел задачу своей жизни в том, чтобы создать правдивую художественную историю своей современности. В «Человеческой комедии», впитавшей в себя все многообразие жизни времен Бальзака, действует около двух тысяч персонажей. Две тысячи человеческих характеров, две тысячи историй человеческой жизни были созданы писателем! Еще в начале 1830-х годов Бальзак писал:

«Мое произведение должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить социальные сдвиги так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни один образ, ни одна профессия, ни чьи-либо взгляды, ни одна французская провинция, ни что бы то ни было из детства, старости, зрелого возраста, из политики, права или военных дел не оказалось забытым».

Последовательно, в течение многих лет осуществляя этот замысел, Бальзак совершил настоящий творческий подвиг.

Но Бальзак был не только живописцем современного ему общества, но также глубоким аналитиком и моралистом. В предисловии к «Человеческой комедии» (1842) он утверждал, что стремился классифицировать социальные явления по примеру ученых-естествоиспытателей своего времени, что его книги беспристрастны, как их труды; в действительности же в огромной эпопее Бальзака ощущается ясная авторская позиция, и он не только со страстным интересом и увлеченностью изображает свое время, но и сурово судит его.

Предупреждая нападки многочисленных критиков, Бальзак писал в предисловии к первоначальному варианту одного из своих романов:

«Автор приготовился ко многим упрекам, среди которых окажется, конечно, и упрек в безнравственности. Но он уже откровенно признал, что им владеет навязчивая идея — описать общество в целом, таким, каково оно есть, со всеми высокими и постыдными сторонами, с неразберихой его смешавшихся сословий, с путаницей принципов, с его новыми потребностями и старыми противоречиями. Автор полагает, что не осталось больше ничего достойного внимания, помимо описания грозной социальной болезни, а она может быть изображена лишь вместе с обществом, ибо больной и есть сама болезнь».

Острое чувство современности и проницательность большого художника позволили Бальзаку истолковать как социальную болезнь ту погоню за наживой, ту всеобщую власть денег, которые он назвал «социальным двигателем» своего времени. Буржуазное общество еще только утвердилось на развалинах феодализма, оно, казалось бы, еще было полно энергии и динамики, а Бальзак уже разглядел его антагонистическую сущность, его враждебность человеческой личности, разъедающие его конфликты. Писатель не приемлет мир чистогана, с опаской думает о дальнейшем историческом пути Франции, и это парадоксальным образом внушает ему сочувствие к «легитимистам» — сторонникам восстановления власти «законных» королей. Бальзак примкнул к легитимистам, хотя сам же называл их партию отвратительной.

Резко критическое отношение к алчной и беспринципной буржуазии, к утвердившемуся на его глазах корыстному и бесчеловечному общественному устройству привело писателя к идеализации старого дворянства, сметенного с дороги истории в результате Великой французской революции конца XVIII века. В этом же корни монархических идей Баль-

зака. Ему казалось, что спасение от власти денег и бешеной борьбы за наживу, разрушающих общество его времени, можно найти только под сенью твердой королевской власти, опирающейся на католическую церковь и родовую аристократию. Эту ложную идею Бальзак проводит через множество своих произведений, он всячески старается опозитивировать персонажей из дворянского лагеря, благородство аристократов, красоту и изящество великосветских дам, которых он противопоставляет вульгарным буржуазным выскочкам. Но Бальзак-художник всегда оказывался беспомощным, как только пытался средствами искусства оправдать свои реакционные политические симпатии. (Это особенно заметно в таких произведениях, как «Сельский врач» и «Сельский священник».) Глубокая приверженность жизненной правде заставляла Бальзака поневоле признавать, что историческая роль дворянства уже окончена. Один из своих романов о старом дворянстве Бальзак иронически называет «Музей древностей», да и в целом ряде других романов «Человеческой комедии» дворянство или походит на омертвевшие музейные экспонаты, либо усваивает мораль буржуазного общества и, в сущности, ничем не отличается от преуспевающих лавочников и банкиров.

Энгельс пронизательно писал о «Человеческой комедии» Бальзака: «Его великое произведение — нескончаемая элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества; все его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизировал, — дворян»¹. Более того, Бальзак-художник отдал дань уважения своим политическим противникам — республиканцам (например, в романе «Утраченные иллюзии» он с нескрываемым восхищением обрисовывает героя республиканского восстания в Париже 1832 года Мишеля Кретьена). Энгельс высоко оценил историческую объективность Бальзака, который, по его словам, «...видел настоящих людей будущего там, где их в то время единственно и можно было найти». Все это Энгельс считал «одной из величайших побед реализма»².

Таким образом, существовало противоречие между Бальзаком-художником и Бальзаком-политиком, и в творчестве писатель побеждал свои собственные политические предрассудки. Но в реальной жизни он нередко оказывался во власти этих предрассудков. И мы можем доверять современникам, когда они вспоминают о тяге Бальзака к аристократическим салонам, о его благонамеренно-монархических высказываниях, о его отрицательном отношении к революции 1848 года и буржуазной республике. В этом проявились не реакционные убеждения тех или иных мемуаристов, а истинное положение вещей, противоречия в мировоззрении и литературной практике самого Бальзака.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 37, с. 36—37.

² Там же, с. 37.

В 30-е годы складываются взгляды Бальзака на цели и задачи художественного творчества. Эстетика Бальзака изложена в предисловиях к некоторым романам, позднее в предисловии к «Человеческой комедии», выражена в рассказе «Неведомый шедевр» и в посвященном творчеству Стендаля «Этюде о Бейле». Художник, по Бальзаку, это «не жалкий копиист, но поэт», его задача не в том, чтобы механически воспроизводить явления и факты жизни, а в том, чтобы выражать жизнь, «выбирать» главное, то есть типическое, понять «дух, смысл, облик вещей и живых существ», установить взаимосвязь явлений, проникнуть в причины человеческих поступков, в закономерности социальной жизни своей эпохи. «Надо, — пишет о н, — изучить причину — или причины — этих социальных явлений, уловить скрытый смысл этого огромного собрания лиц, страстей и событий». В предисловии к «Человеческой комедии» он так сформулировал свою задачу: «Составляя опись пороков и добродетелей, изображая характеры, выбирая главные события из жизни общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, думалось мне, я смогу в конце концов написать историю нравов».

Могучая сила воображения, невероятная работоспособность, многолетний целеустремленный творческий труд позволили Бальзаку выполнить взятую им на себя миссию, создать неповторимую по полноте охвата жизни, художественной выразительности и глубине понимания социальных отношений панораму нравов своей эпохи.

Да, Бальзак гений, Бальзак — титан, Прометей литературы. Но ведь Оноре Бальзак был и реальным, живым человеком. Личность великого французского писателя постоянно волнует воображение потомков. Каким же был в действительности создатель «Человеческой комедии»? Что служило ему импульсом для творчества? Как сумел Бальзак под непрерывным градом житейских невзгод, под бременем все растущих денежных долгов, личных неурядиц, в атмосфере обидного непонимания со стороны значительной части критики и читающей публики, а нередко враждебности и клеветы возвести колоссальное здание «Человеческой комедии»? Как и когда смог он изучить тот огромный жизненный материал, который использовал в своих книгах? Как, работая по восемнадцать часов в сутки, пополнял он свои жизненные наблюдения? Таковы некоторые вопросы, которые неизбежно возникают у каждого при соприкосновении с творчеством Бальзака.

Вот почему интересным дополнением к существующим многочисленным исследованиям о великом французском романисте и к его биографиям являются воспоминания современников.

Разумеется, воспоминания эти неравноценны и не всегда полностью достоверны, тем более что далеко не все мемуаристы понимали масштаб личности и творческого дара Бальзака. Когда в августе 1850 года небольшой кортеж провожал гроб писателя на кладбище Пер-Лашез, лишь немногие выдающиеся люди, как, например, Виктор Гюго, сознавали,

какую огромную, невосполнимую утрату понесла не только французская, но и вся мировая литература. Каждый из авторов воспоминаний смотрел на Бальзака с высоты своего собственного роста, а ведь для среднего обывательского сознания великий писатель до конца жизни оставался лишь «самым плодовитым из наших романистов», как его называли с легкой руки издателя Ипполита Суверена.

Жизнь Бальзака не богата внешними событиями, она сводилась главным образом к титаническому писательскому труду. Самое значительное в жизни происходило за закрытой дверью его рабочей комнаты, во внутреннем мире, куда он редко кого допускал. Поэтому воспоминания современников почти не открывают нам неизвестных, неожиданных страниц его биографии.

Память значительной части мемуаристов сохранила прежде всего внешность Бальзака, его эксцентричность, анекдотические случаи из его жизни, его пристрастие к роскоши, фантастические проекты обогащения, его наивность, тщеславие и жизнелюбие. Однако в воспоминаниях современников имеются также свидетельства о необычайном трудолюбии писателя, о том, как он работал над своими рукописями, о его высокой требовательности к себе, о способах собирания им жизненного материала для своих произведений. Рассказы Леона Гозлана и Эдмона Верде о путешествиях Бальзака по задворкам Парижа, изучении вывесок в поисках нужного имени для персонажей «Человеческой комедии», о посещении им живодерни на Монфоконе и намерении пройти по подземным коридорам парижской клоаки, рассказы книгоиздателей и типографов о бесконечной правке Бальзаком корректур его романов, свидетельства очевидцев о распорядке рабочего дня Бальзака, захватывавшего большую часть суток, о его железной самодисциплине, творческом подвижничестве, о том, как он проводил короткие часы досуга — все это обогащает наше представление не только о писателе, но и о человеке.

Из рассказов мемуаристов можно составить себе представление об окружавшей Бальзака литературной среде, о его ближайших друзьях, деловых связях, родственных отношениях, об устройстве его быта. При всей пестроте и неравноценности воспоминания современников обладают одним несомненным достоинством — они основаны на личном живом общении с гениальным человеком и потому доносят до нас такие краски, такие детали и нюансы, которые неизбежно блекнут или теряются даже в самых добросовестных биографических трудах, написанных позже.

Особо выделяется книга воспоминаний сестры писателя Лоры Бальзак (в супружестве Сюрвиль), явившаяся одним из первых и наиболее подробных жизнеописаний великого романиста; в последующие годы к этой книге обращались все биографы и исследователи творчества Бальзака, многократно цитируя, пересказывая отдельные эпизоды книги и постоянно ссылаясь на нее. Ценно то, что книга Лоры Сюрвиль основана на подлинных письмах к ней брата, широко представленных в ее воспоминаниях, — письмах предельно откровенных, поскольку Бальзак, особенно

в юности, считал сестру ближайшим другом, полностью ей доверял и делился с нею не только самыми заветными мыслями, но и творческими проблемами. Лора Сюрвиль обладала незаурядными литературными способностями и принимала участие в литературных трудах брата в период его творческого формирования. Ее перу принадлежит несколько новелл.

Книга воспоминаний Лоры Сюрвиль написана очень искренне, с большой любовью и уважением к брату; у нее достало такта на то, чтобы опустить слишком интимные подробности личной жизни Бальзака и сосредоточить внимание не на анекдотах, щедро рассыпанных на страницах некоторых других мемуаров, а на жизненных фактах и обстоятельствах, имевших существенное значение для становления Бальзака как художника. Хотя автор воспоминаний скромно уклоняется от безоговорочных суждений, касающихся «Человеческой комедии», ссылаясь на то, что не является профессиональным литературным критиком, все же Лора Сюрвиль, безусловно, отдает себе отчет в масштабах творческой личности Бальзака и значительности его литературной деятельности. Вместе с тем со страниц ее книги встает согретый теплым чувством живой образ Бальзака в пору его детства, юности, а затем и писательской зрелости.

Воспоминания Лоры Сюрвиль высоко ценил Н. Г. Чернышевский. Он напечатал ее книгу в русском переводе в журнале «Современник» со своим предисловием, где утверждал, что книга сестры писателя оставляет у читателей убеждение, что «Бальзак-человек заслуживал такого же уважения, как и Бальзак-писатель». «Этим простым, исполненным нежной любви рассказом, — говорил Чернышевский, — ярко рисуется личность писателя, который терпел так много от житейских невзгод и литературной вражды, но всегда сохранял юношескую мягкость характера, привлекательным образом соединяя простодушную доверчивость сердца с редкой пронизательностью ума». Чернышевский замечает, что «г-жа Сюрвиль не скрывает слабостей своего брата: она говорит о них с благородной откровенностью, справедливо будучи уверена, что прекрасными качествами души ее брата слишком достаточно вознаграждались эти ничтожные недостатки его». «Из рассказов сестры... легко вывести верное заключение о характере знаменитого романиста: это был добряк и весельчак с сильною склонностью к роскоши, с пылкой жаждой славы, который упрямо накладывал на себя роль расчетливого человека, чтобы достичь славы и богатства; славы он действительно достиг, но богатства люди, подобные ему, не достигают никогда»¹.

Среди других мемуаров особенно интересны воспоминания (порою, к сожалению, беглые и краткие) выдающихся деятелей французской литературы, с которыми лично общался Бальзак. Это такие имена, как Виктор Гюго, Жорж Санд, Теофиль Готье, Альфонс де Ламартин, Альфред де Виньи, Жерар де Нерваль, Огюст Барбье. Между этими людьми и Бальзаком существовали различные отношения, порою дружеские,

¹ Современник, 1856, т. 59, № 9, отд. 5.

порою сдержанные или даже неприязненные, что явственно отразилось на их воспоминаниях. И дело тут не только в чисто человеческих симпатиях или антипатиях, деловых или житейских обстоятельствах, литературном соперничестве, о которых свидетельствуют современники. Нередко отношения между Бальзаком и его литературными собратьями определялись более глубокими причинами — сходством или различием литературно-эстетических и политических позиций.

Так, мемуаристы утверждают, что Бальзак никогда не был настоящему близок с Гюго; и когда друг Бальзака Леон Гозлан с юмором описывает единственный, по его словам, визит Гюго в загородный дом Бальзака, создается впечатление, что Бальзак заискивал перед поэтом, который в ту пору уже был на вершине славы, пользовался благосостоянием и благосклонностью со стороны правительства Июльской монархии, а тот держался по отношению к «неудачнику» Бальзаку со снисходительным высокомерием. В действительности же отношения между двумя великими писателями были куда сложнее. Гюго был знаменем романтической школы, ее признанным вождем и теоретиком, тогда как Бальзак исповедовал реализм; искусство Гюго с его патетикой, живописностью, гиперболами и контрастами, с его лиризмом и нравственным проповедничеством не могло не казаться Бальзаку высокопарным и далеким от жизненной правды; с другой стороны, беспощадный аналитический метод Бальзака был чужд Гюго. Кроме того, их разделяли политические убеждения: Гюго в 30-е и 40-е годы уже был республиканцем и сторонником демократии, Бальзак же, по собственному его выражению, «писал при свете двух вечных истин — Религии и Монархии». И, однако, оба писателя хранили глубокое уважение друг к другу, неоднократно его высказывали и хорошо понимали место каждого из них в литературе. Этим уважением проникнуты воспоминания Гюго о последних днях Бальзака и его замечательная речь на похоронах великого романиста; именно Виктор Гюго высказал проницательную мысль, что гениальный автор «Человеческой комедии», «хотел он того или нет, согласен он с этим или нет... принадлежит к могучей породе писателей-революционеров».

Неоднозначными были и отношения Бальзака с Жорж Санд. Искренняя взаимная симпатия связывала их всю жизнь. Бальзак высоко ценил человеческие качества Жорж Санд и ее литературные суждения и даже просил ее написать предисловие к «Человеческой комедии». В 1838 году он писал Ганской: «...она намеревается дать исчерпывающую оценку моих произведений, моего замысла, моей жизни и характера; это явится ответом на все низости, которые пишут по моему поводу. Она хочет отомстить за меня...» (статья Жорж Санд была написана гораздо позже и опубликована уже после смерти Бальзака). Однако это не мешало критическому отношению Бальзака к литературному творчеству Жорж Санд, к ее тенденциозности и сознательной идеализации положительных героев; демократические убеждения Жорж Санд также были чужды Бальзаку. Творческая полемика между обоими писателями нашла отражение в их переписке.

Большой интерес представляют воспоминания о Бальзаке выдающегося поэта и прозаика, а впоследствии литературного критика Теофиля Готье. В начале 30-х годов Готье выступил горячим приверженцем романтизма, одним из самых верных литературных соратников Виктора Гюго и был связан с ним и его кружком дружескими узами. В дальнейшем он пошел своим особым путем в литературе, отказался от романтического субъективизма и провозгласил эстетику «искусства для искусства», которую, однако, нередко опровергал в своем творчестве. Идеиные и творческие различия не помешали Готье понять величие Бальзака как писателя и проникнуться к нему глубокой симпатией как к человеку. Начиная с первого знакомства (1835 г.) между Бальзаком и Готье завязалась дружба, которая продолжалась до самой смерти Бальзака (Готье пережил его более чем на двадцать лет). Несколько статей о Бальзаке, написанных с присущим Готье литературным блеском и остроумием, сохранили для нас ценные подробности о великом романисте и рисуют его живой портрет. Впоследствии Готье собрал эти статьи в отдельную книгу (1858 г.).

Приятельские отношения связывали Бальзака с еще одним поэтом из романтического лагеря — другом Теофиля Готье Жераром де Нервалем, который после смерти Бальзака опубликовал две статьи воспоминаний о нем. А вот отношения с крупным поэтом и писателем-романтиком Альфредом де Виньи были весьма холодными. Бальзак не принимал творчества Виньи, стоического фатализма его поэзии, отстранения от современности, культа гордого одиночества; как вспоминает Барбье, он резко критиковал драму Виньи «Чаттертон». Да и сам Огюст Барбье был весьма далек от Бальзака, но по другим причинам: поэт революционной демократии, создатель гражданской поэзии романтизма, выросшей на волне революции 1830 года, автор сатирических «Ямбов» (1831), он придерживался политических взглядов, прямо противоположных бальзаковским. Вспоминая о единственной своей встрече с автором «Человеческой комедии», он спорит с Бальзаком и по эстетическим вопросам, утверждая свое, романтическое, понимание искусства.

Непростыми были взаимоотношения Бальзака с Альфонсом де Ламартином. Ламартин выступил в начале 20-х годов как зачинатель французской романтической лирики. В своих меланхолических стихах, сотканных, по ироническому определению В. Белинского, «из вздохов, ахов, облаков, туманов, паров, теней, призраков»¹, он скорбел о бренности счастья и прославлял унылую покорность судьбе. Но после утверждения Июльской монархии занялся политикой, был избран в Академию, вошел в палату депутатов, где произносил речи в буржуазно-либеральном и все более охранительном духе. После февральской революции 1848 года стал министром в буржуазно-республиканском правительстве и соединял прекрасноречивые либеральные фразы с яростной защитой частной собственности.

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, с. 235.

В начале 30-х годов Бальзак и Ламартин часто встречались в литературных салонах и редакциях газет, но тесной дружбы между ними никогда не возникало. Бальзак скептически относился к либерализму Ламартина, иронизировал над его политическими речами (Шанфлери вспоминает, как Бальзак доказывал ему, что Ламартин-оратор «не знает французского языка»), хотя признавал его поэтический дар. Тем не менее Ламартин оставил содержательные воспоминания о Бальзаке, написанные с большой симпатией к нему и содержащие очерк его творчества и разбор отдельных романов.

Личное отношение окрашивает и воспоминания других мемуаристов. Так, опубликованная после смерти Бальзака книга его приятеля и литературного помощника Леона Гозлана «Бальзак в домашних туфлях», хотя и не отличается глубиной, полна любопытных деталей и проникнута доброжелательностью; воспоминания книгоиздателя Эдмона Верде отражают сложные и бурные отношения его с великим романистом. Верде был сперва компаньоном издательницы вдовы Беше, но с середины 30-х годов сделался единственным издателем произведений Бальзака; тот заключил с ним несколько деловых договоров. Верде не смог правильно оценить свои финансовые возможности и в конце концов обанкротился. Хотя в авторском предисловии к своей книге воспоминаний Верде и заявил: «Я хочу быть спокойным и справедливым, отдать мертвому Бальзаку всю полноту уважения», все же ему не всегда удается скрыть свою неприязнь к писателю, которого он считал виновником своего разорения. В книге содержится немало неверных суждений и предвзятых оценок, неправдоподобных выдумок и анекдотов. Но все же с ее страниц встает образ исключительного человека, одаренного необычайной силой воображения.

Наконец, есть такие воспоминания, в которых ярко проявляется буржуазная ограниченность их авторов. Это прежде всего относится к Клеман де Рису, который, отказываясь понимать социальное положение профессионального литератора в его время, снобистски возмущается тем, что Бальзак, «один из маршалов французской литературы, приходит требовать платы за свой труд, как самый последний лавочник, и нарушает Шелест своего пера звоном эку». Его коробит и тот факт, что Бальзак защищал права писателей и «стал одним из основателей общества литераторов». Однако, не отдавая себе в этом отчета, Клеман де Рис подметил важное общественное явление, которое с таким блеском запечатлел Бальзак в романе «Утраченные иллюзии»: «...искусство писать стало предметом купли-продажи».

Особый интерес имеют для нас воспоминания наших соотечественников, встречавшихся с Бальзаком. Следует подчеркнуть значение воспоминаний московского профессора Шевырева, посетившего в 1839 году Бальзака в Жарди. Шевырев не только дает яркий портрет Бальзака, интересное описание его дома, но старается как можно точнее передать свою беседу с французским писателем, который делился с ним замыслом «Человеческой комедии». Нельзя не согласиться с той оценкой, которую

Шевырев выносит его творчеству: «Бальзак... конечно, один из блистательнейших талантов современной Франции».

К сожалению, другие русские материалы не представляют такого интереса. В июле 1843 года по приглашению Евы Ганской Бальзак приехал в Россию. Он прибыл в Петербург 29 июля на пароходе «Девоншир» и поселился на Большой Миллионной (ныне улица Халтурина) в доме Титова. Официальные круги Петербурга оказали ему холодный прием, в чем отчасти сказалось недовольство царского двора книгой другого французского гостя, маркиза де Кюстина, «Россия в 1839 году», вышедшей незадолго до приезда Бальзака. Встретившись с Ганской после восьми лет разлуки, Бальзак оказался в кругу польской знати, презрительно относившейся к русской культуре. Этим можно объяснить тот факт, что, пробыв в Петербурге около двух месяцев, Бальзак не встречался ни с кем из русских писателей. Те же люди, с которыми он общался в светских салонах Петербурга, были далеки от постижения истинной сущности и значения личности французского романиста.

Для того чтобы правильно понять тот образ Бальзака-человека, который встает со страниц воспоминаний о нем, чрезвычайно важны слова самого писателя, сказанные им в статье «О художниках»:

«Талантливый человек десять раз на дню может показаться простаком. Люди, блистающие в салонах, изрекают, что он годен лишь служить артельщиком в лавке. Его ум дальнородок; беседуя с гудущим, он не замечает окружающих его мелочей, столь важных в глазах света. И вот собственная жена принимает его за глупца». Почти все воспоминания о Бальзаке построены на этом контрасте между его репутацией гениального писателя и его невзрачной внешностью, какая пристала бы скорее провинциальному буржуа, крестьянину, рассельному. Мемуаристы не устают описывать вульгарный вид Бальзака, его неряшливость, безвкусьность его одежды, его смешные претензии на дендизм. Эта тенденция подчеркивать противоречие между внешним и внутренним обликом Бальзака побудила, например, Ламартина приписать ему зубы, испорченные табаком, хотя известно, что Бальзак не курил (во всяком случае, до последнего десятилетия своей жизни). Вместе с тем мемуаристы дружно говорят о магнетическом взгляде Бальзака, его сверкающих умом глазах, об исходившей от него духовной мощи, которая прорывалась сквозь вульгарную оболочку и заставляла самых разных людей почувствовать исключительность его личности, его титанический творческий потенциал.

Второй мотив, проходящий почти через все воспоминания о Бальзаке, — это его богатейшая фантазия, которая выдавала себя в его житейском поведении, в бытовых мелочах, в неадекватной порою оценке реальных обстоятельств и окружающих людей. На первом месте здесь была страстная мечта о внезапном обогащении, что соответствовало духу эпохи, но шло вразрез с полным отсутствием у Бальзака одной из первейших

буржуазных добродетелей, а именно делового практицизма. Этот мотив получает у различных мемуаристов сходное воплощение: мечты Бальзака о роскоши, его стремление жить на широкую ногу заставляют пишущих о нем обращаться за сравнением к сказкам «Тысячи и одной ночи» (на-пример, Теофиль Готье, Делеклюз); столкновение мечтаний Бальзака с реальной действительностью вызывает в памяти мемуаристов фигуру незадачливой молочницы Перретты из басни Лафонтена, которая урони-ла полный кувшин, вместе с которым разбились все ее мечты.

Как правило, мемуаристы говорят об этой особенности Бальзака с ироническими и снисходительными интонациями; каждый из них ощу-щает себя рядом с Бальзаком как человек дела рядом с неразумным взрослым ребенком. Однако фантазерство Бальзака заслуживает гораздо более серьезного отношения: оно позволяет увидеть родство автора «Чело-веческой комедии» со многими его персонажами — носителями и жертва-ми какой-нибудь всепоглощающей страсти, которой подчинено все их существование (как отцовство Горио, скарденность Гранде, скупость Гобсе-ка, сладострастие барона Юло). Во многих воспоминаниях отмечается, что Бальзак никогда не умел провести четкую грань между реальностью и собственной фантазией; могучая сила воображения заставляла его под-час наивно верить в собственные выдумки о кладах, сокровищах, его поджидающих, о редкостных коллекциях произведений искусства, кото-рыми он будто бы владел, превращала обычный завтрак с друзьями в королевское пиршество. То, что со стороны казалось смешным чудаче-ством, было на самом деле одним из проявлений творческого начала натуры Бальзака. Известно, что он настолько проникался тем, что писал, что начинал верить в подлинную жизнь вымышленных им же персонажей: глубоко переживал смерть брошенного дочерью отца Горио, искренне удивлялся поворотам судьбы некоторых героев и наконец, умирая, на-деялся, что его может спасти доктор Бьяншон. Так что Клеман де Рис не без основания говорит, что Бальзак «был сыном своих произведений».

Некоторые мемуаристы задаются вопросом: какое место фантазия Бальзака занимает в его творчестве, является ли автор «Человеческой комедии» только добросовестным наблюдателем жизни или он «яснови-дец» (как вслед за критиком Филаретом Шалем его называют, в частно-сти, Ж. Денуартер, Клеман де Рис) и все написанное им — плод его воображения, своего рода галлюцинация? Об этом писал позднее Шарль Бодлер в своей книге «Романтическое искусство»: «Я множество раз поражался тому, что в Бальзаке ценят прежде всего великого наблюдате-ля; мне же неизменно представлялось, что главное его достоинство — фантазия, и фантазия страстная». На таком понимании построены и воспоминания о Бальзаке Теодора де Банвиля.

Это вопрос не праздный. Конечно, Бальзак пристально изучал реальный мир, гордился своим знанием Парижа и французской провин-ции, «охотился» за невидимыми бытовыми подробностями и коло-ритными характерами (подвергая весь этот материал, разумеется, творче-

ской обработке, типизации). И, однако, встающий со страниц мемуаров образ Бальзака-фантазера позволяет скорректировать представление о нем, как об авторе, который ценен только правдивым описанием жизни Франции первой половины XIX века, как о создателе некой «энциклопедии» нравов своего времени.

В этой связи особую важность приобретает суждение Теофиля Готье о принципиальном отличии творчества Бальзака от «дагерротипного» по своей природе творчества Анри Монье. По сравнению с Монье Бальзак именно художник, который переносит на бумагу не только увиденное, но и придуманное, созданное его воображением. Его художественный мир опирается на реальность, но не совпадает с ней. «Мой труд, — писал Бальзак, — имеет свою географию, так же как свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты; так же он имеет свой гербовник, свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою армию — словом, весь мир» (предисловие к «Человеческой комедии»). Прочитав романы Бальзака, замечательный художник слова следующего поколения, Ги де Мопассан, напишет: «Персонажи Бальзака, не существовавшие до него, казалось, вышли из его книг, чтобы вступить в жизнь». Итак, образ Бальзака, каким он изображен на страницах мемуаров, напоминает нам, что он не только документалист: «фантазером», творцом он был и в жизни, и в творчестве.

Но в воспоминаниях о Бальзаке есть и другая сторона: почти все мемуары в большей или меньшей степени зависят от романов самого Бальзака. Их авторы вольно или невольно, говоря о нем, идут вслед за Бальзаком-писателем, перефразируют его и в мелочах, и в крупных фактах, и даже когда передают свои реальные впечатления, нередко приписывают ему то, что вычитали из его книг. Так, Лора Сюрвиль слегка меняет адрес и житейские обстоятельства своего брата во второй половине 20-х годов, основываясь не на собственной памяти, а на том, как изображены эти обстоятельства в новелле Бальзака «Фачино Кане». В описаниях мемуаристами интерьеров бальзаковских жилищ отозвались описания восточной роскоши дворянских особняков в «Человеческой комедии» (например, будуара леди Дэдли в «Златоокой девушке»), и недаром молодой Шанфлери «узнает» в собрании картин, показанных ему Бальзаком в его доме, картинную галерею Кузена Понса. Следы «Человеческой комедии» различимы на страницах мемуаров и в частности: в окраске отдельных эпизодов, в названиях произведений искусства, во вложенных в уста Бальзака явных и скрытых цитатах из его сочинений. Наиболее откровенный случай такого обратного влияния творчества Бальзака на воспоминания о нем — мемуарный отрывок Теодора де Банвиля, содержащий своего рода стилизацию бальзаковских рассуждений о нераскрытых возможностях человеческой психики.

С другой стороны, мемуары подтверждают автобиографический аспект «Человеческой комедии» и в судьбах некоторых персонажей, и в том, что касается географических, бытовых подробностей. Так, очевидно, что

Турень бальзаковских романов — это Турень детства и юности писателя, что мансарда, где он жил в юности, послужила основой для описания жилищ его неимущих героев и так далее.

Одним словом, наблюдается любопытный процесс взаимного «перетекания» материала из реальной жизни, описанной в мемуарах, в романы Бальзака и перетекания романских деталей в документальные по своей природе мемуары. Иными словами, видно мощное воздействие творчества писателя на воспоминания современников о нем самом. Эту теснейшую переплетенность жизни Бальзака и жизни его героев хорошо выразил Шарль Бодлер, оставивший не одно пронизательное суждение об авторе «Человеческой комедии»: «Вы, о Оноре Бальзак, вы самый героический и самый удивительный, самый романтический и самый поэтический из всех персонажей, которых вы родили на свет!» («Салон» 1846 года).

Когда читаешь воспоминания современников о Бальзаке, воспоминания, написанные людьми различных профессий, человеческих масштабов, убеждений и вкусов, и соотносишь эти воспоминания с величием творческого подвига Бальзака, то лучше понимаешь значительность и неповторимость его личности. Нельзя не вспомнить слова Максима Горького:

«Шекспир, Бальзак и Толстой — вот три монумента, воздвигнутые человечеством самому себе».

Настоящая книга представляет собою первую попытку собрать под одним переплетом воспоминания современников о Бальзаке. Такого типа издания не имеется до сих пор и у него на родине, во Франции. Отнюдь не претендуя на исчерпывающую полноту материала, книга дает читателям подлинные воспоминания различных людей, которые видели Бальзака, так или иначе лично соприкасались с ним, а не суждения о нем литературных критиков или прессы его времени. Большая часть воспоминаний на русском языке публикуется впервые.

В начале книги приводятся воспоминания, охватывающие факты и события жизни Бальзака различных периодов (Лора Сюрвиль, Теофиль Готье, Жорж Санд, Альфонс Ламартин). Далее материал сборника располагается хронологически: 1825—1830-е, 1831—1840-е, 1844—1848-е, 1850-й годы (болезнь и смерть писателя). Выделен раздел «Поездка в Россию» (1843 г.).

В тексте воспоминаний иногда сделаны купюры, отмеченные отточием в скобках; прибегать к сокращениям приходилось главным образом тогда, когда рассказ не имел прямого отношения к Бальзаку или дублировал уже рассказанное ранее другим мемуаристом. При этом, разумеется, все же нельзя было избежать повторений, но такие повторения порой лишь подтверждают достоверность тех или иных воспоминаний.

Книга сопровождается историко-литературными и реальными комментариями, а также указателями.

И. Лилеева

БАЛЬЗАК
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ

В своем последнем романе «Крестьяне» Бальзак, вообще замечательный по глубокому пониманию реальных отношений, метко изображает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких денежных затрат...

К. Маркс

...Чем больше, скрыты взгляды автора, тем лучше для произведения искусства. Реализм, о котором я говорю, может проявиться даже независимо от взглядов автора. Разрешите мне привести пример. Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным мастером реализма, чем всех Золя прошлого, настоящего и будущего, в «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества», особенно «парижского света», описывая в виде хроники, почти год за годом с 1816 по 1848 г., усиливающееся проникновение поднимающейся буржуазии в дворянское общество, которое после 1815 г. перестроило свои ряды и снова, насколько это было возможно, показало образец старинной французской изысканности. Он описывает, как последние остатки этого образцового, для него, общества либо постепенно уступали натиску вульгарного богача выскочки, либо были им развращены; как на место великосветской дамы, супружеские измены которой были лишь способом отстоять себя и вполне отвечали положению,

отведенному ей в браке, пришла буржуазная женщина, наставляющая мужу рога ради денег или нарядов. Вокруг этой центральной картины Бальзак сосредоточивает всю историю французского общества, из которой я даже в смысле экономических деталей узнал большие (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых. Правда, Бальзак по своим политическим взглядам был легитимистом. Его великое произведение — нескончаемая элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества; все его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизировал, — дворян. И единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые политические противники, республиканцы — герои монастыря Сен-Мерри, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс. В том, что Бальзак таким образом вынужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, в том, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей будущего там, где их в то время единственно и можно было найти, — в этом я вижу одну из величайших побед реализма и одну из величайших черт старого Бальзака.

Ф. Энгельс

ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И ЛИЧНОСТЬ БАЛЬЗАКА

Л. СЮРВИЛЬ

БАЛЬЗАК, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЕГО ПЕРЕПИСКЕ

Брат мой родился в Туре 16 мая 1799 года, в день св. Гонория. Это имя понравилось нашему отцу, и хотя ни с его стороны, ни со стороны материнской в нашей семье никого так не звали, отец дал сыну имя Оноре.

Матушка потеряла своего первенца, пожелав кормить его сама. Для малютки Оноре отыскивали хорошую кормилицу, проживавшую в предместье на свежем воздухе, среди садов. Отец и матушка остались столь довольны этой женщиной, что и меня поручили ее заботам, а брата моего, после отнятия от груди, не забрали от нее домой. Лишь года через четыре вернулись мы вместе под родительский кров.

Превосходное здоровье Оноре избавило матушку от тех скрытых тревог, которые влекут за собою нежную опеку и порождают столь любезное детям баловство; в те времена забота о детях не играла такой важной роли, какую ныне придают ей во многих семьях. Детей не выставляли напоказ, дети были детьми и воспитывались в послушании и покорности родителям. Мадемуазель Делайе, на которую возложили наше воспитание, выказывала, быть может, излишнее рвение на сей счет, ибо помимо покорности и послушания она внушала нам также и страх. Брат мой долго вспоминал приступы боязни, охватывавшей нас по утрам, когда нас отводили поздороваться с матушкой, и вечером, когда мы вступали в гостиную, чтобы пожелать ей доброй ночи. Для нас это была некая церемония, всегда торжественная, хоть и повторявшаяся изо дня в день! И верно, матушка каким-то чутьем угадывала по нашим лицам допущенные нами провинности, и они стоили нам суровых выговоров, ибо она одна карала нас и вознаграждала.

Таким образом, на Оноре не смотрели как на чудо, не заискивали перед ним в том возрасте, когда дети судят о родительской любви лишь по улыбкам и поцелуям; если он и проявлял в раннем детстве какие-либо качества, коим суждено было его прославить, то никто их не замечал и по том не мог вспомнить о них.

Он был прелестным ребенком: всегда веселое настроение, красивый улыбающийся рот, большие темные глаза, блестящие и ласковые, высокий лоб, густые черные волосы — все это обращало на него внимание во время прогулок, на которые водили нас обоих.

Семья налагает такой отпечаток на характеры детей и оказывает столь властное влияние на их судьбы, что мне представляется необходимым сообщить здесь некоторые подробности о наших родителях; помимо всего прочего, они объясняют первые события ранней молодости моего брата.

Отец мой родился в Лангедоке в 1746 году и при Людовике XVI был судебским чиновником. Благодаря своей профессии он состоял в сношениях с тогдашней знатью и с людьми, коих выдвинула и сделала известными революция.

Обстоятельства помогли ему спасти в 1793 году некоторых из бывших покровителей и прежних друзей. Эти опасные услуги были замечены, и один, весьма влиятельный, член Конвента, интересовавшийся судьбою гражданина Бальзака, поспешил удалить его от очей Робеспьера, отправив на север Франции организовать продовольственные поставки в армию.

Оказавшись после этого в военном ведомстве, отец там и остался, ему поручено было продовольственное снабжение 22-й дивизии, но тут, в 1797 году, он женился в Париже на дочери одного из своих начальников, который одновременно управлял парижскими госпиталями.

Девятнадцать лет прожил мой отец в Туре, где купил дом и земельный участок в пригороде. На десятый год его хотели сделать мэром, но он отклонил такую честь, дабы не оставлять руководства большим госпиталем, которым управлял. Он побоялся, что у него не хватит времени для исполнения тройных обязанностей.

По своей жизненной философии, по оригинальности и доброте мой отец был наследником Монтеня, Рабле и дяди Тоби одновременно. Как и у дяди Тоби, у него тоже была навязчивая идея. Эта идея была — здоровье. Он так устроил свое существование, чтоб жить как можно дольше. Основываясь на количестве лет, потребных человеку для достижения «состояния совершенства», он высчитал, что

его жизнь должна продлиться до ста лет и более; и он прилагал необычайные старания, дабы добиться этого «долее», и неуспешно следил за установлением «равновесия жизненных сил», как он это называл. Поистине тяжкий труд!..

Жажда долголетия еще увеличивала его отцовскую нежность. Сорока пяти лет от роду, не женатый и не собираясь жениться, он поместил добрую долю своего состояния, в виде пожизненной ренты, наполовину в коммерческое общество, наполовину в сберегательную кассу Лафаржа, основанную в то время, где он был одним из самых значительных вкладчиков. (В 1829 году, когда он в восьмидесятилетнем возрасте умер от несчастного случая, ему начислили 12 тысяч франков процентов.) Падение курса ренты, хищения, имевшие место в правлении общества, уменьшили его доходы; но его бодрая старость давала ему надежду, за смертью других конкурентов, разделить с государством огромный капитал сберегательной кассы. Это в значительной мере возместило бы ущерб, который потерпела семья. Надежда эта так в нем укоренилась, что он постоянно советовал домочадцам беречь здоровье, дабы пользоваться в свое удовольствие миллионами, которые он им оставит.

Убежденность отца, поддерживаемая всеми членами семьи, доставляла ему радость и утешала в превратностях судьбы, постигших его в конце жизни.

— В один прекрасный день Лафарж все поправит, — говаривал он.

Его чудаковатость, вошедшая в поговорку в Туре, выражалась столько же в его речах, сколько и в поступках, он действовал и говорил не так, как прочие люди; Гофман мог бы вывести его персонажем своих фантастических творений. Отец часто насмеялся над людьми, делающими, по его словам, все, чтобы быть несчастными; стоило ему встретить какое-нибудь убогое существо, как он раздражался негодованием против родителей, а в особенности против власть имущих, кои не прилагают к улучшению человеческой породы и малой толики тех усилий, что прилагаются к улучшению пород скота. О сем, весьма скабрезном, предмете у него были странные теории, и он не менее странно их развивал...

— Но какой смысл обнародовать эти идеи? — говорил он, прохаживаясь по комнате в своей коричневой шелковой душегрейке, тогда как голова его утопала в огромном галстуке, который он все еще носил по моде времен Директора и и. — Меня опять назовут чудаком (это прозвание приво-

дило его в ярость), а на свете не станет ни одним расслабленным, ни одним рахитиком меньше. Кто, кроме Сервантеса, который прикончил странствующее рыцарство, какой философ хоть сколько-нибудь исправил человечество? Эта живая развалина, всегда древняя, всегда юная, будет существовать вечно... к счастью для нас и наших преемников, — добавлял он, улыбаясь.

Он высмеивал человечество только тогда, когда не мог прийти ему на помощь, он многократно это доказывал. В лазарете не раз вспыхивали эпидемии, в частности, когда скопилось много солдат, возвращавшихся из Испании; отец обосновался тогда в госпитале и, позабыв о своем здоровье ради спасения других, проявлял усердие, которое у него доходило до самоотверженности. Он устранил множество злоупотреблений, не страшась недоброжелательности, какую возбуждает такого рода мужество, ввел в этом госпитале значительные усовершенствования, в том числе мастерские, где могли работать трудоспособные больные, добился определения им платы за их труд.

Его прекрасная память, наблюдательность и меткость его суждений были не менее примечательны, нежели его чудачества; он помнил сказанное ему двадцать лет назад. Семидесятилетним стариком, неожиданно встретившись с другом детства, он без запинки заговорил с ним на диалекте тех мест, где не бывал с четырнадцатилетнего возраста!

Тонкая приметливость не раз позволяла ему предсказывать успех или разорение лиц, о коих другие судили совсем иначе, и его пророчества часто сбывались.

Наконец, он никогда не лез за словом в карман.

Однажды, когда при нем читали в какой-то газете статью о столетнем старце (вы понимаете, что мимо такой статьи мы не могли пройти), он, вопреки обыкновению, прервал читающего и с воодушевлением заявил:

— Вот он жил разумно, не растратил силы из-за неводержанности, как делает неосторожная молодость...

Оказалось, что этот мудрец, напротив, часто напивался и каждый день ужинал, что было в глазах отца одним из самых тяжких грехов против здоровья.

— Ну что ж, — молвил он и глазом не моргнув, — этот человек сократил свою жизнь, вот и все!..

Когда Оноре достиг такого возраста, что смог понять отца и верно судить о нем, тот был красивым стариком, был еще полон сил и обладал учтивыми манерами; он мало и редко говорил о себе, снисходительно и с симпатией

относился к молодежи и признавал за всеми право на свободу, коей желал для себя; невзирая на свою эксцентричность, он отличался здоровыми и твердыми суждениями и обладал таким ровным и мягким характером, что окружающим всегда было с ним хорошо. Благодаря своей образованности он с удовлетворением следил за прогрессом наук и социальными усовершенствованиями, с самого начала улавливая их значение для будущего.

Увлекательные разговоры с отцом, его любопытные рассказы помогли его сыну постигнуть науку жизни и доставили не один сюжет для его книг.

Матушка, богатая, красивая, многими годами моложе мужа, обладала редкой живостью ума и воображения, была неутомимо деятельна, тверда в решениях и безгранично преданна семье. Любовь ее к детям как бы постоянно окутывала их, но проявлялась скорее в действиях, нежели в словах. Вся ее жизнь свидетельствует об этой любви, она постоянно забывала о себе ради нас и познала из-за этого самозабвения многие горести, которые мужественно перенесла. Последним и самым жестоким испытанием было для нее пережить своего прославленного сына и в семидесятидвухлетнем возрасте присутствовать при последних его мгновениях; она молилась за него у его смертного одра, поддерживаемая верой, заменившей все ее земные надежды упованиями на небеса...

Люди, знавшие моих отца и мать, подтвердят верность этих набросков. Особенности натуры автора «Человеческой комедии», безусловно, были следствием особенностей его родителей: от отца он перенял оригинальность, хорошую память, наблюдательность и самостоятельность суждений; от матери — живое воображение, деятельный характер, от обоих энергию и доброту.

Оноре был старше двух своих сестер и брата. Младшая наша сестрица умерла молодой после пяти лет замужества. Брат уехал в колонии, женился и остался там навсегда.

При рождении Оноре все, казалось бы, предсказывало ему завидную будущность. Состояние матушки, состояние нашей бабушки с материнской стороны, которая, овдовев, переехала к дочери, жалованье отца и его пожизненная рента обеспечивали нашей семье безбедное существование.

Матушка полностью посвятила себя нашему воспитанию и почитала долгом проявлять к нам строгость, дабы обезвредить снисходительность отца и бабушки. Строгость эта умеряла нежные порывы Оноре, почтенный возраст и важность отца тоже внушали ему сдержанность. Такое

положение вещей способствовало развитию братской привязанности: то было, несомненно, первое чувство, проснувшееся и расцветшее в его сердце. Я была всего двумя годами моложе Оноре и находилась в тех же, что и он, отношениях с родителями; мы росли вместе и нежно любили друг друга; мои воспоминания о его нежности восходят к далекому детству. Я не забыла, как стремительно кинулся он ко мне однажды, когда я чуть не скатилась с трех высоких ступенек крыльца без перил, выбегая из комнаты нашей няньки! Его трогательное покровительство не оставляло меня и под родительским кровом, не раз он претерпевал наказание вместо меня, не выдавая моей вины. Если я успевала сознаться, он говорил:

— В другой раз молчи, мне приятно, когда меня бранят вместо тебя!

Такое наивное самоотвержение запоминается на всю жизнь.

Счастливые обстоятельства благоприятствовали укреплению нашей взаимной привязанности. Мы жили бок о бок, в душевной близости и безграничном доверии друг к другу. Я всегда знала обо всех радостях и горестях брата и пользовалась сладостной привилегией его утешать; уверенность в этом составляет ныне мою отраду.

Величайшим событием его детства было путешествие в Париж, куда повезла его матушка в 1804 году, чтобы познакомить с дедом и бабкой. Они пришли в восторг от хорошенького внука и осыпали его ласками и подарками.

Непривычный к подобному обращению, Оноре возвратился в Тур полный радостных воспоминаний и сердечной привязанности к славным старикам, о коих он без конца мне рассказывал, описывал их самих, их дом, их прекрасный сад, не забыл и Муша — их большую сторожевую собаку, с которой завел дружбу. Пребывание в Париже долго питало его воображение.

Наша бабушка любила описывать поведение гостившего у нее внука и охотно вспоминала такую сценку.

Однажды вечером она приказала привезти волшебный фонарь. Оноре заметил отсутствие среди зрителей друга своего Муша, вскочил и властно закричал: «Погодите!» (В доме деда он чувствовал себя хозяином.) Он выбегает из гостиной, возвращается, таща за собою собаку, и говорит ей:

— Садись-ка, Муш, и гляди; тебе это ничего не будет стоить, платит дедушка!

Через несколько месяцев после этого путешествия коричневую шелковую курточку и красивый синий пояс

маленького Оноре сменили на траурный наряд. Милый его дедушка скончался от апоплексического удара. То было первое его горе, он отчаянно расплакался, когда ему сказали, что он больше не увидит деда, и переживание это так врезалось ему в память, что, когда однажды матушка мне выговаривала, а меня разобрал не ко времени глупый смех, он подошел ко мне и, чтобы прекратить неуместную веселость, грозившую обернуться бедой, шепнул мне на ухо трагическим тоном:

— Вспомни, что дедушка умер!

Увы, его помощь была безрезультатной, потому что я еще не была знакома со смертью и не понимала, что это такое!

Как видите, немногие случаи, запомнившиеся мне из раннего детства Оноре, говорят более о доброте, нежели об уме. И все же я помню, что уже в детских играх, так хорошо описанных в «Воспоминаниях» Жорж Санд, он выказывал живое воображение. Братец импровизировал забавлявшие нас маленькие комедии (большие его комедии не имели такого успеха), целыми часами пиликал на игрушечной красной скрипочке, и, судя по его сияющей физиономии, ему чудились какие-то мелодии. Он очень удивлялся, когда я молила его прекратить этот кошачий концерт, от которого Муш принимался выть.

— Разве ты не слышишь, как это красиво? — говорил он.

Наконец, как и большинство детей, он читал со страстным увлечением разные чудесные истории, полные более или менее драматических событий, из-за которых проливается столько слез! Вероятно, они вызывали в его сознании другие сказки, потому что за возбужденной болтовней порою следовало молчание, которое объясняли его усталостью, но которое, быть может, уже заполняли грезы, уносящие его в воображаемый мир.

Когда ему минуло семь лет, его перевели из школы в Туре, где он был приходящим учеником, в Вандомский коллеж, весьма в ту пору знаменитый. Каждый год мы неизменно навещали его на пасху и при раздаче наград; но он очень редко удостоивался их и получал больше выговоров, чем похвал, в эти дни, которых ждал с таким нетерпением и так радовался им заранее!..

Семь лет оставался он в коллеже, не зная каникул. Воспоминания об этой поре внушили ему первую часть книги «Луи Ламбер». В этой первой части герой сливается с автором, это Бальзак в двух лицах. Жизнь коллежа,

мелкие события тех дней, все, что он там пережил и передумал, — все правда, вплоть до трактата «О воле», который один из учителей (названный в романе) сжег, не читая, в порыве ярости, когда Оноре написал его вместо заданного урока. Брат всегда сожалел об этом сочинении, запечатлевшем состояние его ума в том возрасте.

Когда ему было четырнадцать лет, директор коллежа г-н Марешаль написал матушке, между пасхой и днем раздачи наград, чтобы она как можно скорее приехала за сыном. Его постиг недуг, он впал в своего рода *коматозное состояние*, тем более обеспокоившее наставников, что они не видели к тому причин. Мой брат был для них просто ленивым школьником, и они не понимали, каким умственным перенапряжением могло быть вызвано это заболевание мозга. Оноре стал таким худым и хилым, что походил на сомнамбулу, спящую с открытыми глазами; он почти не слышал обращенных к нему речей, не знал, что отвечать, когда его внезапно спрашивали: «О чем вы думаете? Где вы находитесь?»

Это удивительное состояние, в котором он отдал себе отчет позднее, произошло от чрезмерного прилива идей к голове (если воспользоваться собственным его выражением); без ведома учителей он прочитал значительную часть книг из богатой библиотеки коллежа, состоящей из сочинений ученых монахов-ораторианцев, основателей и собственников этого обширного учебного заведения, где воспитывалось около трехсот подростков; каждый день он прятался в укромном месте и глотал серьезные книги, дававшие развитие его уму в ущерб телу в таком возрасте, когда следует упражнять телесные силы не менее умственных.

Никто в нашем семействе не забыл, в какое мы пришли удивление при виде Оноре, привезенного из Вандома.

— Вот какими возвращаются из коллежа дети, которых мы посылаем туда здоровыми, — горестно проговорила бабушка.

Отец, весьма обеспокоенный состоянием сына, вскоре утешился, заметив, что достаточно оказалось перемены места, свежего воздуха и благотельной близости семьи, чтобы вернуть Оноре живость и веселость, присущие навчавшемуся для него отрочеству.

В его обширной памяти началась мало-помалу классификация идей, он уже заносил туда окружающих людей и события; позднее эти воспоминания послужили для его чудесных «Сцен провинциальной жизни». Движимый при-

званием, коего еще не сознавал, он безотчетно тянулся к чтению и наблюдениям, которые подготовили его труды и должны были сделать их столь плодотворными; он собирал строительный материал, еще не зная, для какой постройки они пригодятся. Некоторые типы «Человеческой комедии», несомненно, восходят к этим годам.

Во время долгих прогулок, на которые посылала его матушка, он восхищался, уже как художник, мирными пейзажами любезной своей Турени, которые он так хорошо описал. Иногда он останавливался, чтобы полюбоваться прекрасными закатами, столь живописно озаряющими готические колокольни Тура, разбросанные по холмам деревеньки и Луару, такую величественную, усеянную в ту пору парусниками всех размеров.

Но матушка, озабоченная тем, чтобы он не мечтал, а укреплял свое тело, заставляла его запускать бумажный змей, принадлежавший младшему брату, или бегать со мною и сестрицей; тогда он забывал пейзаж и делался самым юным и веселым из четырех детей, окружавших матушку.

По-иному бывало в соборе св. Гасьена, куда она постоянно водила нас по праздникам. Тут Оноре мог грезить сколько угодно, и он не обошел своим вниманием ни одну поэтическую или роскошную деталь этой прекрасной церкви. Он замечал все: от чудесной игры света в старых витражах, облаков ладана, заволакивавших фигуры священников, до пышной церковной службы, которую присутствие кардинала-епископа делало еще великолепнее. Физиономии священников, кои он изучал, помогли ему впоследствии создать аббатов Бирото и Лоро и кюре Бонне, чье душевное спокойствие составляет такой прекрасный контраст с угрызениями совести кающейся Вероники.

Эта церковь произвела на него впечатление столь сильное, что одно имя св. Гасьена пробуждало в нем целый мир воспоминаний, в которых свежие и чистые переживания отрочества и религиозные чувства (никогда его не оставлявшие) смешивались с мыслями взрослого человека, уже зрелыми в могучем его уме.

Он начал посещать как приходящий ученик местный коллеж, а в отцовском доме занимался с репетиторами из числа его учителей. Он уже заговаривал о том, что станет когда-нибудь знаменит, и эти слова вызывали среди домашних общий смех и бесконечные шутки. Во имя будущей славы его подвергали тысяче мелких терзаний, предвосхищавших горшие муки, коими пришлось ему впоследствии

заплатить за свою известность. Юношеский опыт пошел ему на пользу!

В ответ на наши злые выходки он только смеялся громче всех (в те счастливые времена он постоянно смеялся). Не было на свете столь покладистого характера, и никто так рано, как он, не предчувствовал свою славу и так не стремился к ней.

Однако мы ни в малой мере не поддерживали и не поощряли это стремление! Как я уже говорила, мой братец, скованный страхом перед родителями, большею частью таил свои помыслы про себя; отец и матушка не могли судить о сыне с полным знанием дела и так же, как учителя, видели в нем заурядного юношу, которого приходилось даже понуждать к выполнению уроков из греческого и латыни. Матушка, уделявшая ему особенно много внимания, столь мало подозревала, кем был уже тогда ее старшенький и кем ему суждено было стать, что полагала случайными проницательные суждения и меткие замечания, прорывавшиеся у него порою. «Ты сам не знаешь, что говоришь, Оноре», — замечала она. В ответ он только улыбался своей тонкой улыбкой, доброй или насмешливой. Этот немой, но красноречивый протест почитался дерзостью, если матушка его замечала, ибо Оноре, не смея ей возражать, не объяснял ни мыслей своих, ни улыбки.

Давление, оказываемое на гения, чинимая по отношению к нему несправедливость, препятствия на его пути, быть может, удваивают его силы и ускоряют взлет; по крайней мере, хочется так думать.

В конце 1814 года отца вызвали в Париж, в управление по снабжению первой армейской дивизии. Оноре закончил свое образование у г-на Лепитра, на улице Людовика Святого, и у господ Ганзе и Безлена, на улице Торины, в квартале Марэ, где мы поселились. В этих учебных заведениях он отличился не более, чем в Вандомском коллеже и Турской школе. Готовя речи по классу риторики, он начал увлекаться красотой французского языка. Я сохранила одну его экзаменационную работу (речь жены Брута, обращенную к супругу после осуждения им сыновей). Там с большой силой выражено материнское горе и уже виден могучий дар моего брата проникать в душу персонажей.

Завершив учение, он в третий раз вернулся под отчий кров. Шел 1816 год. Ему было в ту пору семнадцать с половиною лет.

Матушка полагала основой всякого воспитания труд и не выносила, когда попусту теряют время; поэтому она не

оставляла сыну ни минуты праздности. Он брал уроки по всем предметам, упущенным в коллеже, и посещал лекции в Сорбонне.

Я до сих пор помню, в какой восторг приводили его красноречивые импровизации Вильмена, Гизо, Кузена; он весь горел, пересказывая их, старался сделать их понятными нам, приобщить нас к своей радости. Чтобы закрепить знания, полученные от знаменитых профессоров, он бежал работать в публичные библиотеки.

Во время паломничеств в Латинский квартал он покупал на набережной редкие и ценные книги, кои умел выбирать. Так закладывались основы прекрасной библиотеки, которой придали полноту его постоянные сношения с книгоиздателями и которую он хотел завещать родному городу; но безразличие, проявленное к нему соотечественниками во время наездов его в Тур, так больно ранило его, что брат отказался от этого намерения.

Нынешний префект Индры-и-Луары, г-н Брен, в прошлом товарищ Оноре по Вандомскому коллежу, войдя в соглашение с мэром, г-ном Магом, братом знаменитого книгоиздателя, выпустившего первые произведения Бальзака, чье будущее он тотчас угадал, распорядился прикрепить мемориальную доску к дому, где родился автор «Человеческой комедии». Но это не тот дом, где прошло его детство. Дом моего отца принадлежит ныне г-же графине Дутремон, другу нашей семьи, и некогда значился под № 29 по улице, тянущейся через весь город от моста до аллеи Граммон.

Родные и друзья Бальзака очень удивились бы, если бы в 1817 году или даже позднее им сказали, что он удостоится подобного увековечения его памяти, наконец, если бы им объявили, что после смерти его именем будет названа улица, на которой он жил в Париже, и что внушительная процессия будет провожать его в последний путь. Они с величайшим недоверием отнеслись бы к таким предсказаниям, ибо, кроме живости ума, уже начавшей тогда проявляться, ничто не говорило о высоком предназначении Оноре; и правда, он много болтал, забавлялся всякими глупостями, как дитя, и проявлял добродушие, а иногда и наивность, коими мы частенько злоупотребляли. Однако легко было заметить, что он тянется к умным людям и серьезным разговорам. Особенно привлекала его одна старая приятельница нашей бабушки, м-ль де Р<ужмон>, некогда связанная знакомством с Бомарше, — она жила с нами в одном доме. Брат навел ее на воспоминания об этом знаменитом человеке и благодаря сообщенным ею подробнос-

тям так хорошо узнал его жизнь, словно бы мог почерпнуть материал из недавно изданной монографии г-на де Ломени.

Отец желал, чтобы Оноре изучал право, сдал все экзамены и три года практиковался у адвоката и нотариуса, дабы усвоить подробности судебной процедуры, форму и содержание юридических документов. По мнению отца, человек не мог почитаться образованным, если не знал древнего и нового законодательства, в особенности же законов своей страны.

Оноре поступил в контору г-на Мервиля, нашего друга. Оттуда только что вышел г-н Скриб. После полутора лет пребывания у этого адвоката брат был принят в нотариальную контору г-на Пассе, где пробыл такой же срок. Г-н Пассе жил с нами в одном доме и был своим человеком в нашей семье.

Этими обстоятельствами объясняются верность описаний судебных и нотариальных контор, а также глубокое знание законов, которые бросаются в глаза в «Человеческой комедии»; у одного судейского в Париже я видела среди юридических сочинений книгу «Цезарь Бирото», он уверял меня, что это произведение — замечательный справочник по части банкротств.

В этот период своей жизни брат был очень занят, ибо помимо посещения лекций и работы, поручаемой патронами, ему приходилось еще готовиться к очередным экзаменам; но деятельная его натура, его память и способности были таковы, что он еще урывал время, чтобы закончить вечер за карточным столом у нашей бабушки, и эта добрая и славная женщина, по неосмотрительности ли или по нарочитой рассеянности, позволяла ему легко выигрывать в вист или бостон деньги, нужные для приобретения книг. В память о ней он навсегда сохранил любовь к этим играм; он вспоминал ее словечки, а когда однажды воскресил в памяти один ее жест, это стало для него радостью, вырванной у могилы!

Иногда брат сопровождал нас на бал. Но после того, как однажды он оступился и упал, невзирая на все уроки учителя танцев из Оперы, он раз навсегда отказался танцевать — так уязвили его женские улыбки, коими было встречено его падение; он поклялся завоевать общество не грацией и салонными талантами, а иным путем, и с тех пор оставался только зрителем на этих празднествах, воспоминания о которых использовал впоследствии в своих романах.

К двадцати годам он закончил курс права и сдал экзамены. Отец поделился с ним планами на будущее,

долженствовавшими привести Оноре к благосостоянию, но тогда Оноре меньше всего думал о благосостоянии.

Когда-то наш отец оказал покровительство одному человеку, коего в 1814 году встретил снова, уже парижским нотариусом. Желая выказать свою признательность и заплатить услугой сыну за услугу, оказанную отцом, тот предложил, что возьмет Оноре к себе в контору и после нескольких лет стажирования передаст дело ему; поручительство отца за часть налога, выгодный брак, постоянные отчисления от блестящих доходов, даваемых конторой, в несколько лет окупят бы долг моего брата.

Но Бальзаку гнуть спину, может быть целый десяток лет, над соглашениями о продаже, брачными договорами, инвентарными описями!.. Ему-то, втайне мечтавшему о литературной славе!

Начался бурный спор. Оноре красноречиво опровергал все представленные ему доводы, и его вид, его слова, его тон выдавали такую уверенность в своем призвании, что отец согласился дать ему два года на доказательство его таланта.

Благоприятный случай был упущен, чем и объясняется проявленная к брату впоследствии родительская суровость и та надолго сохранившаяся неприязнь к нотариусам, которая просвечивает в некоторых его произведениях.

Впрочем, отец уступил сыну не без сожалений, еще усугубленных тягостными обстоятельствами: он только что был уволен в отставку, потерял деньги в двух предприятиях и, наконец, нам пришлось переселиться в деревенский дом, незадолго до того купленный в шести лье от Парижа.

Отцы семейства поймут тревогу наших родителей в данном случае. Брат не представил еще ни одного доказательства литературного таланта, а ему следовало строить себе карьеру; разумно было поэтому желать для него более определенного положения, нежели положение литератора! Скольких посредственностей толкнуло на гибельный путь родительское попущение, и все ради призвания, подобного призванию Оноре (он-то блистательно доказал, что таковое у него было). Поэтому снисходительность моего отца по отношению к сыну была истолкована как слабость и вызвала общее порицание всех, кто к нам благоволил.

Дескать, брату позволяют даром убивать драгоценное время — разве может положение литератора в любом случае привести к благосостоянию? Разве видна в Оноре закваска гениального человека? Все в этом сомневались...

А что сказали бы моему отцу его друзья, знай они о предложениях, сделанных ему насчет сына? Один близ-

кий нам человек, по характеру немного резкий и весьма самоуверенный, заявил, что, по его мнению, Оноре годится лишь в экспедиторы! У бедняги была *хорошая рука*, по выражению учителя чистописания, нанятого к нему после окончания коллежа.

— На вашем месте, — добавил этот друг, — я без колебаний определил бы Оноре в какую-нибудь канцелярию, где, с вашей помощью, он скоро смог бы начать зарабатывать себе на жизнь.

Отец в то время иначе судил о сыне, нежели этот приятель, и, опираясь на свои теории, верил в ум своих детей; поэтому он только улыбнулся и остался при своем мнении.

Надо думать, что в тот вечер друзья дома разошлись, выказывая сожаление по поводу родительской слепоты...

Матушка, менее доверчивая, чем отец, подумала, что недолгая бедность скоро вернет Оноре к послушанию.

И вот, перед нашим отъездом из Парижа, она устроила его в мансарде, которую он выбрал возле библиотеки Арсенала — единственной библиотеки, коей он не знал и где намеревался работать; матушка скупо обставила его комнату: кровать, стол и несколько стульев, — а содержания, которое она ему назначила, конечно же, не достало бы на самые насущные нужды, ежели бы матушка не оставила в Париже старую женщину, двадцать лет служившую нашей семье, коей поручила его опекать. Именно эту женщину называет он в своих письмах *Иридой-вестницей*.

Внезапный переход из дома, где он привык к изобилию, к одинокой жизни на чердаке, лишенной какого-то ни было благополучия, оказался поистине нелегким. Однако Оноре не унывал, живя в своей камерке; он обрел свободу и питал сладостные надежды, коих не смогли погасить его первые литературные разочарования.

В ту пору началась наша переписка, хранимая мною в силу сестринской привязанности, переписка, которая скоро стала дорогой, бесценной реликвией.

Прошу прощения за домашние шутки, содержащиеся в первых отрывках писем, которые я буду цитировать. Их интимный характер уже сам по себе вызывает к снисходительности. Я не смею их опустить, потому что они чудесно обрисовывают характер моего брата в юности, а мне думается, что любопытно следить за постепенным развитием такой натуры.

В первом письме, перечислив все свои хозяйственные расходы (эти подробности имели единственную цель: по-

ставить в известность матушку, что у него уже нет денег), он сообщает мне, что нанял слугу.

«— Слугу, братец? И что это тебе взбрело в голову? — подумаешь ты. — Да, слугу. У него такое же смешное имя, как у слуги доктора. Тот слуга зовется Тихоня, а мой зовется Я-сам. Право, скверное приобретение!.. Я-сам ленив, неловок, нерасторопен. Его хозяин хочет есть, хочет пить, а он не предлагает ему ни хлеба, ни воды — он даже не может защитить его от ветра, дующего в дверь и в окно, как Тюлу в свою флейту, только не так приятно.

Следует выговор хозяина слуге.

— Я-сам!

— Чего изволите, сударь?

— Видите вы эту паутину, в ней жужжит большая муха, да так громко, что я чуть не оглох! А эту *живность*, прогуливающуюся по постели, а эту пыль на оконных стеклах, от которой я слепну?..

Лентяй глядит, но не трогается с места! И несмотря на все эти недостатки, я не могу расстаться с этим тупицей Я-самом!..»

Во втором письме Оноре извиняется за первое, кое матушка нашла весьма развязным.

«Скажи маменьке, что я так много работаю, что письма к вам для меня отдых! Посему с вашего (и своего) позволения я двигаюсь, как осел Санчо Пансы, щипля по дороге все, что попадает на глаза. Я не пользуюсь черновиками. Фу, сердце не знает черновиков! И если не проставляю знаки препинания, если не перечитываю написанное, то это для того, чтобы вы снова и снова перечитывали мои письма и подольше обо мне думали! Готов вышвырнуть свое перо, если это не хитрость, достойная женщины.

Да будет вам известно, мадемуазель, что я навожу экономию, чтобы завести фортепьяно; когда вы с маменькой приедете повидаться со мною, вы его у меня увидите. Я принял меры: если раздвинуть стены, оно поместится, а если хозяин дома не захочет слышать об этом маленьком расходе, я добавлю его к расходам на покупку фортепьяно, и «Грезы Руссо», весьма модная в данное время фортепьянная пьеса Крамера, зазвучит в моей мансарде, где и без того чувствуется необходимость в грезях».

Сколько он обдумывает трудов!.. В списке стоящих на очереди творений числятся романы, комедии, комические оперы, трагедии. Он похож на ребенка, коему надо сказать

столько слов, что он не знает, с чего начать. Во-первых, это «Стелла» и «Коксигрю» — две книги, так никогда и не увидевшие света! Из всех задуманных тогда комедий я запомнила «Двух философов», к которым он, безусловно, вернулся бы на досуге. Эти мнимые философы насмеялись друг над другом, без конца ссорились («как друзья», — говорил брат, рассказывая мне содержание этой пьесы). Презирая суетные блага этого мира, философы оспаривали их друг у друга, хоть и не имели возможности ими обладать; в финале общий неуспех примирял их, и они дружно проклинали презренное отродье человеческое!

Для какого-то из этих сочинений потребовался ему отцовский Тацит, книга, коей не оказалось в библиотеке Арсенала. Этому посвящено следующее письмо.

«Мне совершенно необходим Тацит, который имеется у папеньки; ему он не нужен в настоящее время, когда он весь в Китае и в Библии!..»

Отец, восторгавшийся Китаем (может быть, по причине долголетнего существования китайского народа как такового), читал тогда толстые книги иезуитов-миссионеров, впервые описавших Китай; он составлял также примечания к драгоценным изданиям Библии, коими обладал, — Библией он всегда восхищался.

«Тебе не потребуется много времени для того, чтобы выяснить, где ключ от книжного шкафа! Папенька не всегда сидит у себя, он каждый день выходит на прогулку. И существует торговец мукой Годар, который может привезти мне Тацита!

Кстати, «Коксигрю» решительно превосходит мои силы, надо прожевать его хорошенько, а потом уже писать.

Не нравятся мне, моя милая, твои исторические сочинения и твои картины, рисующие век за веком. К чему забавляться (я неудачно выбрал слово) повторением того, что уже сделал Блер? Возьми его в книжном шкафу, он должен стоять недалеко от Тацита, и выучи наизусть; но к чему это? Молодая девица знает достаточно, если она не *валит в одну кучу* Ганнибала с Цезарем, не принимает Тразимену за армейского генерала, а «Фарсалию» за римскую матрону; прочитай Плутарха и еще две-три книги такого же *калибра*, и ты будешь *напичкана* на всю жизнь, не унижая своего прелестного звания женщины. Ты что же, хочешь заделаться ученой дамой? Фи!.. Фи!..

Нынче ночью мне снился восхитительный сон: я читал присланного тобою Тацита!..

Тальма играет теперь Августа в «Цинне». Очень боюсь, что не смогу устоять и схожу его поглядеть; но какое безумие!.. При одной мысли у меня все кишки сводит!..

Новости насчет моего хозяйства самые плачевные: работа вредит опрятности. Бездельник Я-сам все больше распускается. Он выходит за покупками только раз в три-четыре дня к самым близким лавочникам, продающим самую скверную провизию во всем квартале; прочие слишком далеко, а этот малый экономит даже на движениях. Так что твой брат (коему предназначено сделаться столь знаменитым) уже сейчас питается, как великий человек, иными словами, умирает с голоду!

Другое зловещее обстоятельство: кофе убегает и разводит ужасную *накосьт* на полу; требуется много воды, дабы возместить ущерб; но поскольку вода сама не поднимается в мою поднебесную мансарду (она только стекает оттуда в ненастные дни), придется предусмотреть после покупки фортепьяно установку гидравлической машины, если кофе и впредь будет убегать, пока хозяин и слуга ворон считают.

Не забудь послать мне вместе с Тацитом плед, чтобы укрывать ноги; и если бы ты могла присоединить к этому какую-нибудь *старую-престарую* шаль, она пришлась бы очень кстати. Ты смеешься? Это именно то, чего мне недостает для моего ночного одеяния. Сперва надо было подумать о ногах, которые больше всего мерзнут; я закутываю их в туренский каррик, который *сварганил* блаженной памяти Гроньяр (Гроньяр был мелкий портной из Тура, коему некогда поручено было переделать на сына отцовские костюмы и чья работа не удовлетворяла Оноре). Вышеупомянутый каррик закрывает только полтела, верхняя часть остается незащищенной от мороза, которому надо проникнуть лишь сквозь крышу и мою куртку, чтобы добраться до кожи твоего братца, слишком, увы, нежной, дабы его переносить; так что холод меня *покусывает*.

Что касается головы, то я рассчитываю на *дантовский* колпак, чтобы спастись от аквилона. Экипированный таким образом, я смогу очень приятно существовать в своем дворце!..

Заканчиваю это письмо, как Катон заканчивал свои речи; он говорил: «Карфаген должен быть разрушен!» Я же говорю: «Тацит должен быть взят!» — и остаюсь, дорогая моя любительница истории, ваших четырех футов и восьми дюймов покорным слугою».

Вот письмо (от августа 1819 года), которое я переписываю почти целиком, предваряя необходимыми пояснениями, дабы оно было понятно.

Наш отец, желая избавить сына от ударов по самолюбию в случае неуспеха его начинаний, всем говорил, что его нет в Париже. Это было, к тому же, и средством уберечь его от всяких светских соблазнов.

Господин де Виллер, о коем брат упоминает в письме, — старинный друг нашей семьи, в прошлом аббат и граф в Лионе, затем удалившийся в Ножан, деревушку, расположенную недалеко от Л'Иль-Адана. Брат уже не раз гостил у него; остроумная беседа славного старика, любопытные анекдоты из жизни старого королевского двора, где он пользовался большим успехом, то, что он ободрял моего брата, поверявшего ему свои планы, породило между ними такую взаимную привязанность, что Оноре впоследствии называл Л'Иль-Адан «своим вдохновляющим раем».

«Ты спрашиваешь, что нового? Надо тебе рассказать; на мой чердак никто не приходит, значит, я могу говорить только о себе и болтать всякий вздор, например:

На улице Ледигьер № 9 случился пожар, прямо в голове одного бедного молодого человека, и пожарные не смогли погасить огонь. Поджог совершила прекрасная женщина, с которой он даже не был знаком, говорят, что она живет во Дворце четырех наций, за мостом Искусств; она зовется *Слава*.

Беда в том, что погорелец рассуждает, он говорит себе: «Есть у меня талант или нет, в обоих случаях я готов ко многим огорчениям! Без таланта — я пропал! Придется провести всю жизнь, постоянно чувствуя неудовлетворенные желания, мелкую зависть, горькие муки!.. Если у меня есть талант, меня будут преследовать, клеветать на меня; в таком случае, я знаю, мадемуазель Слава прольет немало слез!..

Еще есть время сыграть вничью и сделаться г-ном ***, который преспокойно судит о других, не зная их, присягает государственным деятелям, их не понимая, выигрывает, даже не теряя козыри — счастливец! — и в один прекрасный день вполне может стать депутатом, ибо он богат, превосходный человек!

Если завтра я сорву главный выигрыш в лотерее, у меня будет столько же шансов, как и у него, что бы я ни делал и ни говорил; но поскольку у меня нет денег на покупку

этой надежды, нет у меня и чудодейственного шанса вызвать почтение дураков... *Недоносок!*

Лучше поговорим о моих развлечениях! Вчера я играл в бостон у моих квартирных хозяев и, объявив несколько мизеров и чуть не оставшись в дураках (может быть, я в это время мечтал о г-не ***), выиграл... три су!.. Маменька скажет: «Гляди-ка, Оноре становится игроком!..» Нет, матушка, я сдерживаю свои страсти.

Я вот что думаю: после того, как я прилежно протру-дился всю зиму, хорошо бы провести несколько дней в деревне!..

Нет, маменька, не потому, что голод не тетка, я эту тетку люблю; но кое-кто, живущий рядом с Вами, Вам скажет, что движение и свежий воздух очень полезны для здоровья человека! И вот, поскольку Оноре нельзя показываться в отчем доме, почему бы ему не съездить к славному г-ну Виллеру, которого он так любит, что готов поддакивать бедному мятежнику?

Идея, матушка! А что, если бы Вы написали ему и устроили эту поездку? Будем считать, что это уже сделано; Вы можете сколько угодно притворяться строгой, все знают, что в душе Вы добрая, и боятся Вас только наполювину!

Когда вы приедете повидаться со мной? Попить моего кофе, отведать яичницы, *взбитой* и выложенной на блюдо, которое вы привезете с собой? Ибо, если я погибну из-за «Цинны», придется отказаться от ведения хозяйства и, может быть, от фортепьяно и гидравлической машины.

Ирида-вестница не появляется! Окончу это письмо завтра.

Назавтра.

Ириды все нет!.. Может быть, она захворала?.. (Ей было семьдесят лет.) Я всегда вижу ее на лету и всегда такую запыхавшуюся, что она едва может рассказать мне и четвертую долю того, что мне хочется узнать. Думаете ли вы обо мне столько же, сколько я думаю о вас? А за вистом или бостоном кричите ли иногда: «Оноре, где же ты?» Я тебе еще не рассказал, что кроме пожара у меня еще был ужасный приступ зубной боли. Начался флюс, и теперь я урод уродом. Кто говорит «Вели вырвать зуб»? Как бы не так! Я дорожу своими зубами, и к тому же в моем положении надо иногда и грызть, хотя бы вгрызаться в работу!

Чувствую дыхание богини.

А, вы теперь очарованы семейством М<алю>; составь сборник из всех «увы» своей тетушки, расскажи мне, о чем она печалится... Тут я полагаюсь на тебя, чтобы посмеяться, ты мой Мом, мой добрый Мом, ибо я воображаю себя на вашем званом обеде; твои рассказы — это манна небесная в моей пустыне.

Спасибо за вашу нежность и вашу провизию; я узнал тебя в цветах и банке варенья».

После долгих колебаний он выбрал для своего литературного дебюта трагедию «Кромвель» (трагедию классическую, как будет видно из последующего).

«Я выбрал тему Кромвеля потому, что это самая прекрасная тема в современной истории. С той минуты, как я нашел и взвесил этот сюжет, я ринулся в него очертя голову. Меня осаждают идеи, но все время задерживает недостаточность таланта к версификации. И я изгрызу все ногти, прежде чем завершу свой первый монумент. Если бы ты могла себе представить трудность подобной работы! *Великий Расин* потратил два года на отделку «Федры», предмет зависти всех поэтов. *Два года!.. два года!..* подумай только, целых два года!..

Но мне сладостно, изнуря себя день и ночь, мысленно связывать свои труды со столь дорогими мне существами! Ах, сестра, если небо одарило меня хоть крупницей таланта, великой радостью для меня будет увидеть, как моя слава озарит всех вас! Что за блаженство победить забвение и еще больше прославить имя Бальзака! При этой мысли кровь у меня бурлит! Когда мне случается набрести на удачную идею, мне кажется, что я слышу твой голос: «Ну же, держись!»

Я отдыхаю, *кропя* «Стеллу», милый маленький роман.

Свою комическую оперу я окончательно забросил. Сидя в моей дыре, мне не найти композитора, и к тому же я не должен писать, потакая современному вкусу, но поступать, как Расин и Корнель, работать, подобно им, для потомства!.. Сверх того, второй акт слаб, а в первом *слишком шумная музыка*. («Слишком шумная музыка» — весь его характер в этих словах, он видел, он слышал свою оперу!..) А если уж размышлять, то я предпочитаю размышлять о «Кромвеле». Но обычно трагедия состоит из двух тысяч стихов — посуди сама, сколько размышлений!.. Пожалей меня. Но что я говорю? Нет, я не жалуясь, потому что счастлив; скорее позавидуй мне и думай обо мне почаще».

К его надеждам порою примешивается тревога. Вот одно из писем, где он ее выражает.

«Ах, сестрица, какие я терплю муки! Я пошлю папе римскому прошение предоставить мне первую же вакантную нишу святого великомученика! Только что я обнаружил в моем *цареубийце* недостаток построения, и он кишит дурными стихами. Нынче я истинный *Pater dolorosa*¹. Если я жалкий рифмоплет, остается только повеситься! Со своей несчастной трагедией я похож на Перретту с кувшином молока и боюсь, как бы это сравнение не оказалось слишком реальным!.. И все же надо, чтобы мое произведение удалось, надо во что бы то ни стало иметь на руках нечто законченное, когда маменька спросит с меня отчет о затраченном времени! Провожу ночи за работой, не говори ей ничего, она станет беспокоиться. Какие страдания приносит любовь к славе! Да здравствуют бакалейщики, черт побери! Они весь день продают, вечером подсчитывают выручку, время от времени упиваются какой-нибудь мерзкой мелодрамой — и счастливы!.. Однако они проводят все свое время между сырами и гостиной. Живут полной жизнью скорее литераторы; однако все они сидят без гроша и богаты только спесью. Да что там! Пусть себе живут, как знают, и те и другие, и да здравствуют все на свете!

Ты спрашиваешь, каково мое положение, вот оно:

Изящные искусства.

Музыки у меня нет!.. Ты говоришь мне о живописи, злюка! Как же я могу позволить себе пойти в Музей, если я сейчас нахожусь в Альби? Вчера поджидал этого предателя Д<аблена>, чтобы вытянуть у него все о картинах; я приготовил ему стул, это не принесло мне добра, он не пришел!..

Внешность,

Я встретил г-на де Б<урсье> и г-на Ф<еррана>. Ясно, что они — это не я. Однако я и не хотел бы ни на кого походить!..

Внутренность.

Я съел две дыни!.. Придется расплачиваться за это сидением на хлебе и орехах.

Замыслы.

Что, если бы вы согласились назначить мне как-нибудь свидание на берегу Уркского канала, возле такого-то или такого-то моста? Потребовалось бы не более трех часов,

¹ Отец скорбящий (*лат.* шутл. искаж.).

чтобы найти вас там, и три часа на то, чтобы вернуться в мою мансарду, зато *альбигоец* увидел бы самое дорогое, что у него есть на свете. Обдумайте это!»

Он прислал мне план своей трагедии, но по большому секрету, потому что хотел сделать сюрприз семейству. Вот почему в начале письма он пометил: *«Тебе одной»*.

«Я делаю тебе дорогой подарок и даю немаловажное доказательство своей дружбы, позволяя тебе присутствовать при родовых муках гения (смеяся, смеяся!).

Поскольку это еще только замысел, я оставил поля, чтобы ты могла записать на них свои наиумнейшие замечания. Невзирая на то что я даю вам полную свободу, мадемуазель, читайте с почтением план юного Софокла. И подумать только, что можно за час прочитать то, что порою пишется годами!..

Действие первое.

Генриетта Английская, изнемогающая от усталости, переодетая в скромное платье, входит в Вестминстер, поддерживаемая сыном Страффорда; она возвратилась из долгого путешествия. По приказу Карла I она отвозила его детей в Голландию и хлопотала о помощи перед французским двором. Страффорд, в слезах, рассказывает ей о последних событиях. Король, заключенный в Вестминстер, обвиненный парламентом, ожидает суда. Тебе понятен порыв королевы при этом известии, она желает разделить участь супруга.

Входят Кромвель и его зять Айртон. Они назначили здесь свидание заговорщикам. Испуганная королева прячется за одной из королевских гробниц.

Появляются заговорщики, и она слышит спор о том, должен ли король умереть или нет. Очень оживленная сцена, во время которой Ферфакс (честный малый) защищает жизнь августейшего узника и разоблачает честолюбие Кромвеля. Последний всех успокаивает. После чего они высказываются за смертную казнь. Королева выходит из своего укрытия и произносит великолепную речь!..

Кромвель и его друзья позволяют ей говорить, очень довольные, что заполучили в свои руки жертву, коей им не хватало. Он выходит вместе с соучастниками, чтобы подготовить осуществление своих планов, а королева направляется к узнику.

Действие второе.

Карл I в одиночестве припоминает события и факты своего царствования. Какой монолог!

Появляется королева. Вот тут нужен талант! Супружеская любовь на сцене, только и всего! Надо, чтобы она воспламенила всю пьесу. Эта скорбная встреча должна быть написана в таком меланхолическом, таком нежном тоне, что от одного этого можно прийти в отчаяние; тут требуется подняться до самых недоступных высот, всего-навсего.

Является Кромвель и зовет короля на заседание суда. Опять весьма щекотливая сцена, где надо рельефно обрисовать различные характеры троих собеседников (трудный исторический этюд).

Входит Страффورد и ставит в известность королеву, что небольшая армия роялистов захватила сыновей Кромвеля на обратном пути из Ирландии, на усмирение которой они были посланы. Поставив Кромвеля между сыновьями и тронном, может быть, удастся спасти короля. Этим лучом надежды завершается действие.

Опускаю третье и четвертое действия, которые, надо признаться, немного затянуты. В конце четвертого Карл I возвращает Кромвелю сыновей, теряя таким образом все шансы на спасение.

Действие пятое, самое трудное из всех.

Приговор еще неизвестен; но Карл I, который не заблуждается насчет своей судьбы, поддерживает все последние желания королевы (какая сцена!). Страффورد знает, что король осужден, и хочет объявить об этом своему повелителю, чтобы тот готов был выслушать приговор (какая сцена!). Тут за королем приходит Айртон, дабы препроводить его к судьям. Карл I говорит Страффорду, что предоставляет ему честь сопровождать себя на эшафот. Прощание короля и королевы (какая сцена!). Вбегает Ферфакс, он предупреждает королеву, что она в опасности, ей надо немедленно бежать, ее хотят арестовать и тоже предать суду.

Королева, в своем отчаянии, сперва ничего не слушает, затем вдруг раздражается проклятиями против Англии: она будет жить ради мести, она повсюду поднимет врагов Англии, Франция выступит, завоюет ее и когда-нибудь раздавит.

Это будет настоящий фейерверк, и я ручаюсь тебе, что это будет *сляпано* рукою мастера.

Затем партер, обливаясь слезами, отправится спать.

Достанет ли у меня таланта? Я хочу, чтобы моя трагедия стала молитвенником для народов и королей!

Нужно начать с шедевра либо свернуть себе шею!.. Заклинаю тебя нашей нежной дружбой — никогда не гово-

ри мне «это хорошо». Только указывай на недостатки, что касается красот, то я и без того их знаю.

Если попутно у тебя возникнут какие-то мысли, сделай пометки на полях; более или менее удачные опусты, нужны только самые значительные.

Не может быть, чтобы мой план не показался тебе превосходным! Какая прекрасная экспозиция! Как возрастает напряжение от сцены к сцене! Счастливо найден эпизод с сыновьями Кромвеля. Так же удачно придумал я и характер сына Страффорда. Великодушие Карла I, вернувшего Кромвелю сыновей, еще прекраснее, чем великодушие Августа, прощающего Цинну.

Есть, разумеется, и некоторые недостатки, но они незначительны, и я их устраню.

Я так близко принимаю к сердцу все, что ты мне пишешь, что чувствую себя растроганным, словно речь идет о стихе из «Кромвеля».

Только бы король не запретил мою трагедию!

Будь моя воля, я извел бы целую стопу бумаги на письмо к тебе, но *Кромвель! Кромвель* зовет меня!

Больше всего сил забирает у меня экспозиция. Этот хват Страффорд должен обрисовать цареубийцу, а Боссюэ меня пугает. Однако у меня есть уже несколько недурных стихов. Ах, сестрица, сестрица, сколько надежд... и, быть может, разочарований...»

Целые месяцы уходят на эту работу, о коей он пишет мне без конца, то с надеждою, то с тревогой. Эти письма я опускаю, поскольку он в них повторяется.

К его юношеской веселости уже примешиваются мысли серьезные:

«Я покинул Ботанический сад ради кладбища Пер-Лашез. Ботанический сад слишком печален. А во время прогулок по Пер-Лашез ко мне приходят серьезные и вдохновляющие размышления, там я изучаю горе — это полезно для «Кромвеля»; так трудно изобразить истинное горе, тут требуется столько простоты!

Разумеется, попадают прекрасные надгробные надписи, такие, как *Лафонтен*, *Массена*, *Мольер*. Все сказано в одном имени, которое погружает тебя в грезы!..»

И он грезит о великих людях, останавливается на тех, кто стал жертвой вульгарной толпы, не понявшей ни идей их, ни их поступков, ни их творений. И заключает:

«Какое утешение для посредственности будут всегда составлять биографии великих людей».

В особенности нравится ему холм, откуда открывается вид на весь Париж, тот самый, на который присел Растинь-як, отдав последний долг отцу Горио, тот самый, где ныне покоится Бальзак; думая о знаменитых мертвецах, покоившихся вокруг, он не раз задавался вопросом, придут ли когда-нибудь люди поклониться и его могиле!

В дни, когда им завладевает надежда, он, как Растинь-як, восклицает: «Этот мир, который я понимаю, — мой!..»

А затем возвращается в свою мансарду, «где темно, как в печи, и без меня не было бы ни зги не видно», — добавляет он шутивно.

Как Деппен из «Обедни безбожника», он жалуется, что масло для лампы стоит ему дороже, нежели хлеб; но все-таки он любит свою мансарду.

«Время, проведенное здесь, станет для меня источником воспоминаний! Жить по своей прихоти, работать по своему вкусу и в меру своих сил; если захочется — ничего не делать, засыпать, веря в будущее, которое рисуется прекрасным, думать о вас, знать, что вы счастливы, иметь любовницей Юлию Руссо, друзьями — Лафонтена и Мольера, учителем Расина и местом прогулок Пер-Лашез! Ах, если бы так было всегда!..»

Ему часто приходит на ум и порою беспокоит суждение друга дома, прочившего его в экспедиторы; но он возмущен этим и восклицает: «Я докажу этому человеку!»

Доказав, он вместо всякой мести посвятил тому одно из лучших своих произведений.

Не забыл он и женских улыбок, коими было встречено его падение на балу; он надеется вызвать улыбки совсем иного рода.

Эти мысли удваивают его рвение в работе; самые незначительные обстоятельства нередко приводят к великим результатам; они не создают призвание, но подстегивают его.

В другом письме, достаточно примечательном, чтобы его запомнила, он уже начал выделять различные стороны жизни общества, предвидел препятствия, кои придется преодолевать на любом поприще, чтобы проложить себе путь сквозь толпу, которая наводняет подступы к нему. Письмо это, сочиненное явно для матушки, скорее всего

было передано ей, потому что его недостает в моей коллекции.

В этом письме он подробно рассматривал дела и заботы, ожидающие адвоката, врача, военного, негоцианта, утверждая, что лишь счастливый случай позволяет им выдвинуться и преуспеть; не закрывал он глаза и на трудности и тернии литературного ремесла; но трудности эти имеются везде, тогда почему бы не дать свободу тому, кто чувствует в себе непреодолимое призвание? В этом и заключалась мораль письма.

Привожу последний фрагмент писем из мансарды; он любопытен для времени, когда писался (апрель 1820 года), и доказывает прозорливость ума, в коем уже зрели все будущие сюжеты.

«Я больше чем когда-либо озабочен своей карьерой по сотне причин, из коих скажу лишь о тех, что ты, быть может, не учиываешь. Наши революции далеко не окончены, судя по тому, как идут дела, я предвижу еще многие бури. Хороша ли, худа ли представительная система, она требует выдающихся талантов; во время политических кризисов непременно обратятся к великим писателям: разве не присоединяют они к науке дух наблюдения и глубокое знание человеческого сердца?»

Если я *чего-нибудь да стою* (этого мы, правда, еще не знаем), то когда-нибудь смогу добиться не только литературной известности, но и прибавить к званию великого писателя звание великого гражданина — такое честолюбивое стремление тоже может соблазнить!..»

Вскоре произойдет смена декораций; за первыми надеждами Оноре последуют первые разочарования.

В конце апреля 1820 года он явится к отцу с готовой трагедией. Он весел, ибо рассчитывает на триумф; он желает, чтобы при чтении присутствовали друзья. Не забыл он и того, кто таким странным образом ошибся на его счет!

Друзья являясь, начинается торжественное испытание. Восторг автора постепенно стынет, ибо по лицам слушателей, холодным либо удрученным, он замечает, что не производит большого впечатления. Я была в числе удрученных. То, что я выстрадала во время этого чтения, предвосхитило тот ужас, кой довелось мне испытать при первых представлениях «Вотрена» и «Киноль».

«Кромвель» еще не был отмщением г-ну ***; последний с обычной резкостью высказал свое мнение о трагедии.

Оноре, повысив голос, отвергает его суждение, но прочие слушатели, хотя и в более мягкой форме, тоже говорят, что произведение весьма несовершенно.

Наш отец собирает все суждения и предлагает дать прочитать «Кромвеля» какому-нибудь почтенному лицу, знающему и беспристрастному. Г-н де Сюрвиль, инженер, строитель Уркского канала, который впоследствии станет его зятем, предлагает своего бывшего учителя из Политехнической школы. Брат принимает этого литературного старейшину в качестве верховного судии.

Славный старик добросовестно прочитал пьесу и объявил, что автору следует заняться чем угодно, только не литературой.

Оноре мужественно принял этот удар — он не дрогнул и не разбил себе голову о стену, ибо не признал себя побежденным.

— Трагедии не мое дело, вот и в с е , — сказал он и снова взялся за перо.

Но за полтора года жизни в мансарде он так отошал, что матушка не разрешила ему туда вернуться, поселила его дома и окружила заботой.

Вот тогда он и пишет за пять лет более сорока томов, которые и сам считает весьма слабыми опытами; он публикует их под различными псевдонимами из уважения к имени Бальзака, уже известному, которое он хочет прославить вторично. Посредственности чужда такая скромность!..

Я не назову здесь ни одного заглавия этих первых произведений, повинуюсь настоящему желанию брата никогда не раскрывать своего авторства.

Хотя в доме отца он обрел полное житейское благополучие, все же он сожалел о милой своей мансарде, где наслаждался покоем, коего был лишен в деятельной обстановке семьи, где вокруг него вертелось десять человек (и хозяева и слуги), где ему постоянно мешали и взрослые и дети и где, наконец, даже во время работы он постоянно слышал скрип колес домашней машины, приводимой в движение неутрачиваемой и бдительной хозяйкой.

Через полтора года после водворения его в отчет доме я на время переехала в Байе, и наша переписка возобновилась. Живя среди родных, брат больше говорит мне о них, нежели о себе, и говорит с откровенностью, порожденной доверием. В его письмах имеются сцены семейной жизни и разговоры, которые можно принять за страницы из «Человеческой комедии». В одном письме он сравнивает

нашего отца с египетской пирамидой, хранящей неподвижность среди песчаных вихрей пустыни.

В другом он извещает меня о замужестве нашей сестры Лоранс; ее портрет, портрет ее жениха, восторженное отношение семейства ко второму зятю — все написано рукою мастера, это уже бальзаковское перо. Он заканчивает следующими двумя строками:

«Все мы порядочные чудаки в нашем святом семействе. Какая досада, что я не могу поместить нас в роман!»

Поскольку эти письма не столь интересны для посторонних, я извлеку из них лишь то, что касается моего брата.

Вот его первый приступ уныния; он идет по жизни и замечает, что путь нелегок:

«Ты просишь у меня подробностей о празднестве, а у меня сегодня на сердце только грусть. Я чувствую себя самым несчастным из всех несчастных, прозябающих под прекрасной небесной скуфейкой, которую Предвечный собственноручно утыкал алмазами.

Празднество!.. Я могу послать тебе лишь длинный грустный перечень событий.

На обратном пути со свадьбы Лоранс (праздновали в Париже) Луи попал кнутом папеньке в левый глаз и повредил его — печальное предзнаменование... Кучерский кнут прикоснулся к этой прекрасной старости, нашей общей радости и гордости! Сердце кровью обливается! К счастью, зло не так велико, как сперва показалось! Мне больно было видеть внешнее спокойствие папеньки, я бы предпочел, чтобы он жаловался, быть может, это принесло бы ему облегчение! Но он так гордится (и по праву) своею силой духа, что я не посмел даже утешать его, а видеть страдания старца — все равно что видеть страдания женщины!

Я не мог ни думать, ни работать, однако надо писать, писать каждый день, дабы завоевать независимость, в которой мне отказывают! Пробовать освободиться посредством романов, и каких романов! Ах, Лора, что за крушение моих надежд на славу!

Имея верных тысячу пятьсот франков ренты, я мог бы трудиться ради своей известности, но для таких трудов требуется время, а пока надо на что-то жить! Так что пока у меня есть только это недостойное средство *высвободиться*.

Пусть же стонет печатный станок от твоей бездарности, дурной автор (никогда еще это слово не бывало таким точным!).

Если я вскорости не заработаю денег, возвратится призрак службы, однако нотариусом я не стану, ибо г-н Т... только что скончался. Но я думаю, что г-н *** втихомолку подыскивает мне место, что за ужасный человек! Если мне посадят на голову этого мракобеса, считайте, что мне конец, я превращусь в манежную лошадь, которая делает свои тридцать — сорок кругов в час, ест, пьет, спит в заранее установленное время.

И это механическое кружение, это вечное возвращение к одному и тому же называют жизнью!..

Если бы хоть кто-нибудь придумал немного прелести моему холодному существованию! Нет для меня цветов жизни, а ведь я в том возрасте, когда они расцветают! К чему мне будут богатство и наслаждения, когда моя юность уже пройдет? Зачем нужен театральный костюм, если ты больше не играешь роли? Старик — это человек, который отобедал и теперь смотрит, как едят другие, а я молод, моя тарелка пуста и я голоден! Лора, Лора, исполнятся ли когда-нибудь два самых заветных моих желания: *быть знаменитым и быть любимым?..*»

В следующем письме брат объявляет мне о третьем и четвертом романах.

«Посылаю тебе два новых моих сочинения, они еще очень дурны и, в особенности с литературной стороны, мало чего стоят. В одном из них ты найдешь несколько довольно забавных шуток и нечто вроде характеров, но план ужасен.

К несчастью, пелена с глаз спадает уже после того, как вещь отпечатана, а об исправлениях нечего и думать, они обошлись бы дороже, чем вся книга. Единственное достоинство этих романов, дорогая моя, это тысяча франков, которую они мне принесли, но только в долгосрочных векселях на эту сумму. Будут ли они оплачены?

Так или иначе, я ощупью двигаюсь вперед и начинаю сознавать свои силы; чувствовать истинную себе цену и тратить лучшие свои идеи на подобные глупости! Просто хоть плачь! Ах, будь у меня *корм*, я поскорее удрал бы в свою конуру и писал бы книги, которые, быть может, останутся жить!

Мои идеи настолько меняются, что и *манера письма* скоро изменится! Еще немного времени, и между мною

сегодняшним и мною завтрашним будет такая же разница, как между двадцатилетним юношей и тридцатилетним мужчиной! Я размышляю, мои мысли становятся все более зрелыми, и я начинаю сознавать, что природа проявила ко мне благосклонность, наделив меня моим сердцем и моею головой. Верь мне, милая сестрица (необходимо, чтобы кто-то в меня верил), я не теряю надежды стать чем-то в один прекрасный день; ибо сегодня я вижу, что «Кромвель» недостоин был даже считаться зародышем, что же до моих романов, то они ни к черту не годятся, но зато и не вводят в такой соблазн».

Разумеется, он судил себя слишком строго; в его произведениях, правда, можно было различить лишь первые ростки его таланта, но от одного произведения к другому он делал такие успехи, что мог бы подписать последние из них полным именем, не повредив своей будущей репутации.

По счастью, он быстро переходил от горя к радости, потому что следующие письма полны увлечения и бодрости.

Ему стали больше платить за его романы, и они стоили ему теперь меньше труда.

«Если бы ты знала, как легко начертать план таких сочинений, придумать названия глав и заполнить страницы! Впрочем, ты сможешь сама судить об этом, ведь твой муж пригласил меня погостить, так что в этом году я наверняка проведу у вас три славных месяца!»

Он строит кучу планов, у него куча надежд; он уже видит себя состоятельным и женатым. Он начинает подумывать о твердом положении в обществе, но только как о средстве к литературному успеху. Он описывает мне, какой жены хотел бы для себя, говорит о супружеском счастье как человек, не сочинивший еще «Физиологию брака».

Чтобы утешить меня в огорчении, какое причиняла мне жизнь в отдалении от семьи, он рассказывает мне сотню историй, журит меня за уныние, цитируя Рабле, и заканчивает похвальным словом Роже Бонтану.

В другой раз он с бесшабашным юмором пересказывает деревенские новости. Каждый жалуется на соседа, и вся деревня судачит. Это уже мастер выискивать тайны, исследователь души; в потоке шуток вдруг возникают проница-

тельные суждения, тонкие замечания, мудрые размышления. Эта остроумная летопись вызывает смех и уже обнаруживает тот раблезианский дух, что отличает его от других писателей его времени.

«Сегодня я пишу тебе на важнейшую тему. Речь идет не более не менее как о том, чтобы узнать, что люди о нас подумают. После такого начала ты, должно быть, решила, что меня беспокоит мнение о моих прекрасных сочинениях Байе, Кана и всей Нормандии? А вот и нет! Дело куда важнее!

Это, моя милая, вопрос о маменькином путешествии к тебе, и вот какие проблемы тебе надо разрешить в своем ответе:

Что такое Байе? Надо ли захватить с собою негров, пажей, кареты, бриллианты, кружева, кашемировые шали, кавалерию или пехоту — иными словами, декольтированные или закрытые платья? Как принято держаться: *seria*¹ или *buffa*²?

В каком ключе поют? С какой ноги танцуют? С какого края ходят? На какой лад говорят? С какими людьми видятся? Тра-ля-ля!

Мне не пристало углубляться в столь важные вопросы, обсуди их и реши; не скрою, что в ближайшем будущем на тебя ляжет тяжкая ответственность, и остаюсь покорнейшим твоим слугою во всех делах, кроме этого».

Он отправляется в Л'Иль-Адан. Там он присутствует на похоронах доктора, такого, как описанный им в «Сельском враче». Человек этот, знакомый ему по предыдущим приездам, благодетель края, всеми любимый и оплакиваемый, внушил ему мысль о романе. Этот покойник оживет однажды в г-не Бенаси! Оноре изучает везде города, поселки, деревни, их обитателей, собирает словечки, которые обрисовывают характер либо определяют отношения между людьми. Альбом, куда он записывал все, что считал примечательным, он называл попросту своей *кладовкой*.

Но, убаюканный мечтами и на миг усыпленный надеждой, он тут же пробуждался к печальной действительности. Романы не только не принесли ему богатства, но не доставляли и самого необходимого.

В семье возобновились сомнения и беспокойство; стали говорить, что пора принять решение.

¹ Серьезно (*ит.*).

² Шутливо (*ит.*).

Однако уже то, что ему удалось напечатать свои книги, было большим успехом и говорило о незаурядной ловкости и редком обаянии, ибо для бедного дебютанта издатель долго остается мифом, принимает его обычно книготорговец и выпроваживает с убийственной фразой: *«Вы никому не известны, а хотите, чтобы я выпускал ваши книги?»* Стать знаменитым до того, как написал книгу, — вот первая задача, которую следует разрешить на этом поприще, если только ты не врываешься на литературное поле сражения, как пушечное ядро; а мой брат еще не признавал за своими творениями такой ударной силы; к тому же у него не было никакой протекции в литературных кругах и, кроме одного друга по коллежу, ставшего судебским чиновником, вместе с которым он написал свой первый роман, никто не помогал ему и его не ободрял! Опасаясь, что придется добровольно надеть на себя цепи, и стыдясь постоянной зависимости, в коей он пребывал в отцовском доме, он решился попытаться счастья в спекуляциях — только это и могло бы дать ему свободу. Шел 1823 год, моему брату скоро должно было минуль двадцать пять.

И тут начались катастрофы, которые породили все бедствия его жизни. Многие люди не знают, что брат мой потратил столько же энергии на борьбу против неудач, сколько потребовалось ему, чтобы написать «Человеческую комедию», произведение, которое, что бы о нем ни говорили, сделало его знаменитым — а это была самая пылкая страсть в его жизни. Те, кому ведома была его жизнь, задавались вопросом (испытывая и сочувствие, и немалое уважение к нему), как могло у одного человека хватить физических, а главное, душевных сил на эти тяжкие труды?..

Скольких превратностей избежал бы и он, и вся наша семья, ежели бы выделили ему тогда скромных полторы тысячи франков, о коих он просил, чтобы добиться первых успехов! Какое состояние составил бы себе Бальзак своим пером, которому узнал цену! Энергичный и терпеливый, как всякий гений, он вернулся бы к одиночеству, а этой ренты ему бы хватило. Его желания отличались крайностью: ему нужен был либо дворец, либо чердак; влюбленный в роскошь, он умел без нее обходиться.

«В чердаке есть своя поэзия», — часто говаривал он. Ему было неуютно везде, где этой поэзии не было.

Но вот какой вопрос остается навсегда неразрешимым: не развился ли его талант именно под влиянием несчастий? Будь Бальзак богат и счастлив, сделался ли бы он пытливым исследователем человечества, смог бы узнать все его

тайны, обнажить все его чувства и с такой высоты судить о его бедствиях?

Эта прозорливость великого человека, позволявшая ему охватить все стороны человеческого духа, не куплена ли ценою многих страданий и постоянных горестей?

Прозорливость роковая, ибо те, кто не понимает могучих дарований (а таких немало), порою сомневаются в нравственности человека, таким дарованием обладающего.

Нижеследующие скупые детали, которые я по возможности сокращаю, необходимы для объяснения житейских невзгод Бальзака, невзгод столь мало либо столь плохо известных, что даже друзья его приписывают их безумствам, коих он не совершал.

Когда Оноре приезжал в Париж, он поселялся на квартире, оставленной за ним нашим отцом; там он сблизился с одним соседом и рассказал тому, как огорчен своим непрочным положением. Сосед, деловой человек, посоветовал ему, дабы обрести независимость, поискать выгодную спекуляцию и дал ему на это средства.

Преобразившись в спекулятора, Бальзак должен был начать с издания книг, что он, и вправду, попытался предпринять. Ему первому пришла мысль о компактных изданиях, какие впоследствии обогатили книгоиздателей, он опубликовал *однотомники*, содержащие полные собрания сочинений Мольера и Лафонтена. Обе эти книги вышли одновременно, так он боялся, что, пока занимается одной, у него перехватят другую. Если это предприятие не имело успеха, то лишь потому, что издатель, неизвестный в книжном мире, не пользовался поддержкой собратьев, имеющих патенты, кои отказывались принимать и продавать его книги; одолженной ему суммы не достало на многочисленные объявления, которые, быть может, привлекли бы покупателей, так что издания эти остались никому не ведомыми; за год после выхода их в свет мой брат продал всего двадцать экземпляров, и, дабы не платить за аренду магазина, где были свалены и портились эти книги, он отделался от них, продав на вес по цене бумаги, которую с такими затратами испачкал типографской краскою.

Вместо того чтобы заработать на этом первом деле, Оноре нажил на нем лишь денежный долг; то была первая ступенька жизненного опыта, который впоследствии привел его к такому глубокому знанию людей и вещей! Несколькими годами позже он не стал бы издавать книги на таких условиях, он понял бы заранее обреченность подобного предприятия. Но опыт не предугадывается!

Заимодавец, потерявший обеспечение выданной суммы и заинтересованный в том, чтобы мой брат нашел какое-нибудь занятие, которое позволило бы ему расквитаться с долгом, отвел его к своему родственнику, владельцу типографии, сколотившему себе на ней хорошее состояние. Оноре расспрашивает, разузнает, получает самые благоприятные сведения и настолько загорается этим делом, что хочет тоже стать типографом. Его по-прежнему привлекают книги! Не отказываясь от сочинительства, он грезит Ричардсоном, разбогатевшим на одновременном писании и печатании своих книг, он уже видит, как из-под пресса выходят новые «Клариссы»!

Кредитор моего брата, удовлетворенный его решением, ободряет его, берет на себя миссию получить согласие наших родителей и деньги, необходимые для нового предприятия; ему это удастся, отец выделяет Оноре в виде единовременной суммы капитал, который составил бы ренту, коей он прежде желал, чтобы заниматься одной лишь литературой.

И вот Оноре объединился с ловким фактором, которого заметил в типографии во время публикации первых своих романов; этот молодой человек, женатый, отец семейства, заинтересовал его, но, к сожалению, привнес в их совместное предприятие только свои знания в области типографского дела — моему брату их недоставало. Оноре подумал, что дееспособность и рвение его компаньона равноценны денежному вкладу.

При Карле X лицензии на книгопечатание были дороги; после уплаты за лицензию пятнадцати тысяч франков и приобретения материалов осталось мало денег на текущие расходы. Брат не испугался, молодость всегда надеется на удачу!

Молодые типографы весело обосновались на улице Марэ-Сен-Жермен и начали принимать всех подвернувшихся клиентов; выручка поступала туго и не уравнивала расходов; скоро дали о себе знать денежные затруднения.

Тут представился великолепный случай присоединить к печатне словолитню; это сулит такие выгоды, что, посоветовавшись со знающими людьми, Оноре не колеблясь идет на это приобретение. Объединив оба предприятия, он рассчитывает либо найти ссуду, либо третьего компаньона. Он сбивается с ног в поисках, но все тщетно, ибо обеспечение Долга, которое изъял его первый кредитор, перевешивает все и делает невозможными начатые переговоры.

Оказавшись перед перспективой краха, мой брат пере-

жил такой ужас, что никогда не смог его забыть, и вынужден был снова обратиться к семье.

Отец и матушка поняли серьезность положения и пришли ему на помощь, но после нескольких месяцев непрерывных жертв, испугавшись, как бы за разорением сына не последовало их собственное разорение, отказались давать деньги — и это в тот час, когда вот-вот могло прийти процветание!

Эта история походит на все истории денежных крахов.

Оноре не сумел убедить родителей в чаемом им счастливом завершении дела, которое он предвидел. Тогда он попытался продать типографию; но, поскольку было известно его затруднительное положение, ему предлагали столь ничтожные суммы, что согласиться значило потерять все, кроме честного имени. Тем не менее, дабы избежать немедленного краха, который убил бы отца и запятнал бы его собственную молодую жизнь, он продал *печатню* и *словолитню* одному из своих друзей за предложенную последним цену.

Этим он обеспечил будущее друга, ибо предвидения его были справедливы, в одной лишь словолитне таилось целое состояние!

Суммы, вырученной от этой продажи, не хватило для оплаты срочных долгов, и матушке пришлось уладить дело.

Из истории с типографией Оноре выпутался, обремененный многочисленными обязательствами, причем матушка числилась главным кредитором.

Приближался к концу 1827 год, родители продали свой земельный участок в деревне и жили теперь недалеко от нас, в Версале, где г-н Сюрвиль занимал пост инженера департамента Сены-и-Уазы.

Оноре вот-вот должно было стукнуть двадцать восемь, а у него были только долги и перо, чтобы их оплачивать, — перо, коему цены еще никто не знал; в делах все считали его *бездарностью* — ужасное слово, которое лишает всякой поддержки и нередко приканчивает неудачников. Надо было опровергнуть такое мнение, призвав на помощь все глубокое знание людей и вещей, коим он обладал. Это отрицание за ним деловых качеств больше уязвляло его, нежели отрицание его таланта, которое не утихло даже и после того, как он представил блистательные доказательства своего литературного дара. Иные друзья мучили его больше, чем многочисленные враги.

— Ну, Бальзак, — спрашивали эти приятели, после того как уже вышли из печати «Луи Ламбер», «Сельский

врач» и подобные им книги, — когда вы напишете какое-нибудь капитальное произведение?

По их мнению, Бальзак был легковесный ум, незначительный автор романов, а не серьезный человек — титул, столь лестный в глазах толпы! Сочини он толстую книгу, такую ученую, что лишь немногие смогли бы ее понять, и все окружающие преисполнились бы к нему почтения.

Противореча самим себе, продолжая порицать легковесность произведений моего брата, эти люди обвиняли его в заносчивости, когда он позволял себе затрагивать в своих *книжницах* серьезные темы, и отечески предостерегали его от этого.

— К чему касаться высоких философских или государственных вопросов? — говорили о нем. — Оставьте это метафизикам и экономистам; вы человек воображения, этого у вас не отнимешь; не выходите за пределы того, в чем вы сильны. Романист не обязан быть ученым либо законодателем.

Такие речи, повторявшиеся на все лады, крайне его раздражали; особенно возмущался он потому, что обижающие его люди не осознавали его силы, от этого его гнев удваивался.

— Мне надо умереть для того, чтобы они поняли, чего я стою! — говаривал он с горечью.

И, однако, такое ослепление никого не удивляло; те, кто знал его с детства, долго видели ребенка во взрослом человеке, а согласиться с превосходством того, над кем ты долго возвышался и кто ныне возвышается над тобою, так трудно, что, вынужденные признать в нем одно достоинство, люди спешили отказать ему во всех прочих; но разве мало человеку быть сильным в одной какой-нибудь области? Сколькие и этого лишены! Так, значит, Бальзак претендует на универсальность? Подобную дерзость следует пресечь, его друзья не преминут сделать это. И как легко им было убедить всех, будто, обладая воображением, мой брат не мог владеть даром трезвого суждения! Сочетание столь противоположных качеств — редкое исключение, а разве два коммерческих краха Оноре не подтверждали, казалось бы, их правоту?

Если я придаю значение людской молве, не имеющей никакого значения ныне, то лишь потому, что она доставляла мелкие неприятности тому, о чьей жизни я повествую.

Постоянно уязвляемый этой несправедливостью, мой брат не унижался до объяснений либо защиты своих идей и поступков, хулить которые, не понимая, взяли за обыкновение окружающие; он одиноко шел к своей цели, без обод-

рения и поддержки, по дороге, кою два крушения усыпали терниями и камнями! Когда он достиг цели, иными словами, стал знаменит, нашлось кому кричать громче всех:

— Какой талант, я давно это предугадал!..

Но Бальзака уже не было среди нас, чтобы посмеяться над таким хамелеонством и насладиться этим запоздалым раскаянием!

Я отвлекаюсь этими воспоминаниями, возвращаюсь к 1827 году, к моменту, когда мой брат оставил типографию и снял комнату на улице Турнон. Его соседом был г-н де Латуш; он проникся к брату дружбой, которая скоро улетучилась, и затем стал одним из наиболее яростных его врагов.

Оноре работал тогда над «Шуанами», первым произведением, которое он подписал своим именем; уйдя с головою в работу, он не показывался в Версале. Родители жаловались, что он их забросил, я сообщила ему об этих жалобах. Мое письмо пришло, очевидно, в минуту большой усталости, потому что он, такой всегда мягкий, такой терпеливый, ответил с горечью:

«Из-за твоего письма я провел отвратительных два дня и две ночи. Я одно за другим перебирал в уме свои оправдания, как в памятной записке Мирабо к его отцу, и уже весь в горячке от этого; но писать я отказываюсь, у меня нет времени, и, кроме того, сестрица, я не чувствую за собою никакой вины!..

Меня упрекают за то, что я обставил свою комнату, но эта мебель была у меня еще до катастрофы! Я не прикупил ни одного предмета! Обивка из голубого перкаля, из-за которой поднялся такой крик, взята из моей комнаты еще при типографии. Мы вдвоем с Латушем приколотили ее гвоздями поверх мерзких бумажных обоев, которые надо было сменить! Мои книги — это мои рабочие инструменты, я не могу их продать; вкус, который создает у меня во всем гармонию, не покупается (на беду богачам); сверх того, я столь мало дорожу всеми этими вещами, что, если какому-нибудь кредитору вздумалось бы тайком упрятать меня в тюрьму Сен-Пелажи, я был бы там счастливее: жизнь ничего бы мне не стоила и я чувствовал бы себя не более узником, чем ныне, когда я прикован к работе.

Отсылка письма, омнибус — это расходы, которых я не могу себе позволить, я не выхожу в город, чтобы не изнашивать одежду! Ясно?

Не вынуждайте же меня к путешествиям, к действиям, к визитам, для меня невозможным, не забывайте, что для

завоевания богатства у меня есть только время и труд и что мне нечем оплатить самые ничтожные расходы.

Если вы вспомните, что я все время из последних сил держу в руке перо, у вас не останется духу требовать еще и переписки! Писать, когда мозг устал, а душа полна мучений! Я мог бы лишь огорчить вас, но к чему?.. Значит, вы не понимаете, что, прежде чем взяться за работу, мне приходится иногда отвечать на шесть-семь деловых писем?

Еще дней пятнадцать мне надо просидеть над «Шуанами»; до тех пор — меня нет. Это было бы то же самое, что помешать литейщику во время плавки.

Не чувствую себя ни в чем виноватым, милая сестрица; если бы ты внушила мне подобную мысль, я бы свихнулся. Если бы папенька захворал, ты бы мне сообщила, не правда ли? Ты прекрасно знаешь, что в таком случае никакие на свете соображения не помешали бы мне быть возле него.

Мне надо жить, никогда никого ни о чем не прося; мне надо жить, чтобы работать и расквитаться со всеми вами! Как только мои «Шуаны» будут закончены, я вам их привезу; но я не желаю слышать разговоров о них, ни добрых, ни дурных; семья, друзья не способны судить автора.

Спасибо, дорогая союзница, чей великодушный голос защищает мои намерения. Достанет ли моей жизни, чтобы уплатить также и сердечные мои долги?..»

Через несколько дней после этого письма я получила от него другое, которое переписываю, потому что оно рисует его характер. Для мебелировки его комнаты, стоившей ему стольких упреков, не хватало двух ширм! Он жаждал приобрести их с такой же страстью, с какою жаждал заполучить принадлежавшего нашему отцу Тацита.

«Ах, Лора! Если бы ты знала, я просто с ума схожу (но — молчок!) по этим двум ширмам, голубым, с черной вышивкой (но опять-таки молчок!).»

Среди своих мучений я постоянно возвращаюсь мыслью к этому предмету! И вот я сказал себе: «Доверю свое желание сестрице Лоре. Будь у меня эти ширмы, я не мог бы совершать ничего дурного! Ведь перед глазами у меня всегда было бы воспоминание о моей сестрице, такой снисходительной... к своим мыслям, такой суровой к моим!»

Рисунок — какой тебе угодно, пусть это будет *ни то ни се*, мне все равно понравится, раз это придет моя *alma* *sofog...*¹»

¹ Питающая, благодетельная сестра (*лат.*).

Прервав эту тему, он возвещает мне дурные новости, рассказывает, с самым пылким красноречием, об очередных неприятностях и заканчивает следующими двумя строками:

«Опять о моих ширмах: среди всех моих мучений мне необходимы маленькие радости!..»

«Шуаны» вышли в свет. Произведение это, хоть и было тогда несовершенно (впоследствии брат переделал главные эпизоды), обнаруживало уже такой талант, что привлекло внимание публики и газет, которые на первых порах проявили благожелательность.

Ободренный успехом, Бальзак с жаром взялся за новую работу и написал «Екатерину Медичи». Снова отшельничество, снова упреки родителей, снова предупреждение с моей стороны. Мое письмо к нему пришло, вероятно, в минуту, когда он был доволен своей работой, ибо на сей раз он ответил мне в веселом тоне.

«У меня перед глазами ваш выговор, сударыня, я вижу, что надо сообщить вам еще некоторые сведения о бедном преступнике.

Оноре, милая сестрица, это ветреник, завязший по уши в долгах, хоть он ни разу не позволил себе *удариться в разгул*, он готов иногда головою о стену биться, хотя говорят, что у него нет головы на плечах!..

В настоящую минуту он заперт в своей комнате, и на шее у него дуэль: ему надо убить полстопы бумаги, пропизить ее чернилами, пригодными к тому, чтобы доставить радость и ликование его кошельку.

Этот ветреник не так уж плох; говорят, что он беспечен и холоден — не верьте, милочка, у него добрейшее сердце, он каждому готов услужить, только не может бегать, как когда-то от одного к другому, поскольку он не пользуется кредитом у *мессира Башмачника*; а ему вменяют это в вину, как было с Йориком, когда кричали, что он купил патент для повитухи!..

Будь с ним понежнее, он сейчас при деньгах и уверен, что удвоит все, что получит; но он так устроен, что одно суровое или резкое слово гасит в его душе всякую радость, настолько он уязвим во всем, что касается тонкости чувств. Ему нужны души не мелочные, понимающие, что такое настоящая привязанность, не сводящие ее к визитам, церемониям, пожеланиям и прочим пустякам такого же рода; его странности доходят до того, что он принимает друга,

кого не видел целую вечность, так, словно расстался с ним лишь накануне.

Этот ветреник может забыть причиненное ему зло, но никогда не забывает добра! Он выгравировал бы это на бронзе, ежели бы таковая имелась в его сердце.

Что же касается того, что думают о нем равнодушные люди, то это его заботит как прошлогодний снег! Он старается достигнуть чего-то, а когда воздвигается памятник, какое дело строителям до того, что наглецы пишут на ограде?

Сей молодой человек, такой, каким я его обрисовал, любит вас, дорогая сестрица, — слова эти будут понятны той, кому я их адресую».

Первые годы своей литературной жизни брат мой провел в еще больших тревогах, нежели испытанные им на улице Марэ-Сен-Жермен, мимо которой он никогда не мог пройти без тяжелых вздохов, ибо помнил, что именно здесь начались все его несчастья! Если бы не вера в себя, если бы не веление чести оправдаться перед родными, он наверняка не написал бы «Человеческую комедию»!

Он как-то признался мне в это время, что его нередко одолевали безумные желания и соблазны, подобные тем, коими он одарил героя «Шагреновой кожи», произведения, пышущего молодостью и талантом.

Какой только горечи, каких разочарований не довелось испытать тому, кто в последующие годы так выразил эту мысль:

«Всю вторую половину жизни выкорчевываешь из своего сердца то, что взросло в нем в первую; это называется приобретать опыт!..»

А вот мысль еще более горькая:

«Прекрасные души с трудом приходят к вере в дурные чувства, измену, неблагодарность, когда завершается их воспитание в этой области; тогда они возвышаются до снисходительности, которая есть, быть может, последняя степень презрения к человечеству!..»

Если после финансового краха он не вернулся в какое-нибудь убежище, подобное мансарде на улице Ледигьер, то потому лишь, что знал: в Париже извлекают выгоду из всего, даже из нищеты!

— На чердаке, — говорил он мне, — я ничего не получил бы за свои сочинения.

Значит, показная роскошь, которую столько хулили, а главное, так преувеличивали, была средством выгадать наивысшую цену за его книги.

Увлеченный Вальтером Скоттом, коим он восхищался столько же из-за его таланта, сколько из-за деловитости, с которою тот сумел добиться успеха и его удержать, мой брат сперва хотел, как и английский романист, написать национальную историю нравов, выделив ее главные ступени; «Шуаны» и последовавшая за ними «Екатерина Медици» доказывают это намерение; впрочем, он и сам разъясняет его в предуведомлении к «Екатерине» (одной из самых прекрасных его книг, которую знают немногие и которая показывает, на какой высоте стоит Бальзак как историк).

Затем он оставил первоначальный замысел и ограничился изображением нравов своей эпохи, а позднее задумал написать их историю. Он озаглавил свои произведения «Этюды о нравах» и разделил их на серии: «Сцены частной жизни», «Сцены деревенской — провинциальной — парижской жизни» и так далее. Только около 1833 года, ко времени напечатания «Сельского врача», ему пришла мысль связать всех персонажей, дабы составить полную картину общества. День, когда его озарила эта мысль, был прекрасным днем в его жизни!

Он вышел из дома на улице Кассини, куда перебрался с улицы Турнон, и прибежал в предместье Пуассоньер, где я тогда жила.

— Поздравьте меня, — радостно сказал он мне, — потому что я просто-напросто становлюсь гением.

И он развернул нам свой план, немного пугавший его самого, — как ни всеобъемлющ был его ум, все же требовалось некоторое время, чтобы уместить в нем такой замысел!

— Как чудесно будет, если это у меня получится! — твердил он, расхаживая по гостиной; он не мог устоять на одном месте, все его черты светились радостью.

— Пусть теперь сколько угодно называют меня *кропачем новелл*, я буду преспокойно обтесывать свои камни. Я заранее наслаждаюсь изумлением близоруких людей, когда они увидят возведенную из этих камней постройку!

И наш каменотес уселся поудобнее, чтобы вволю поговорить о своем творении; он беспристрастно судил обо всех вымышленных действующих лицах, хотя испытывал нежность к каждому из них.

— *Такой-то* шалопай, из него не выйдет толку, — говорил он. — *А тот* великий труженик и славный малый, он разбогатеет и при его характере будет счастлив. *За такими-то* водятся немало грешков, но они так умны и так хорошо знают людей, что силой вломятся в высшие круги общества.

— Грешков! Как ты снисходителен!

— Их не переделаешь, моя дорогая; они измеряют бездны, но сумеют вести за собою других. Порядочные люди не всегда лучшие проводники, это не моя вина, я не придумываю человеческую природу, я наблюдаю ее в прошлом и настоящем и стараюсь изобразить такую, как она есть. В этой области ложь никого не убеждает.

Он рассказывал нам новости из мира «Человеческой комедии», как рассказывают происшествия из реальной жизни.

— Знаете, на ком женится Феликс де Ванденес? На некой девице де Гранвиль. Он делает прекрасную партию, Гранвиль богаты несмотря на все, что стоила этому семейству мадемуазель де Бельфей.

Если иногда мы просили его пощадить какого-нибудь гибнущего молодого человека или бедную, глубоко несчастную женщину, чья печальная участь вызывала наше сочувствие, он возражал:

— Не сбивайте меня с толку вашей сердобольностью — правда прежде всего; это люди слабые, неумелые, — случится то, что должно случиться, тем хуже для них.

Но вопреки такому бахвальству их гибель немного огорчала и его самого! Наше любопытство возбудил один из друзей доктора Миноре. Брат ничего не говорит о его жизни, но все наводит на мысль, что в прошлом он испытал великие несчастья; мы стали расспрашивать о нем.

— Я не был знаком с господином де Жорди до его приезда в Немур, — отвечал Оноре.

Однажды я придумала целый роман о прошлом этого персонажа и рассказала брату (ему нравилось, когда я так делала).

— То, что ты говоришь, вполне возможно, — сказал он, — и, раз господин Жорди так вас интересует, я когда-нибудь выясню эту историю.

Он долго искал партию для мадемуазель де Гранлье и отвергал все, какие мы ему предлагали.

— Это люди не их круга, такой брак мог бы быть заключен лишь случайно, а мы в наших книгах должны весьма умеренно пользоваться случаем: только реальность оправдывает неправдоподобие, а нам, писателям, дозволено лишь возможное!

Наконец он выбрал для мадемуазель де Гранлье юного графа де Ресто и по этому случаю перестроил восхитительную историю Гобсека, где самая высокая мораль заключена в фактах, а не в словах!

Как мать привязывается к неудачливым детям, так и мой брат питал слабость к тем своим произведениям, которые имели наименьший успех. Ради них ревновал он к славе других. Так, дружные похвалы «Евгении Гранде» привели в конце концов к тому, что он охладел к этому роману.

Когда мы бранили его за такую несправедливость, он отвечал:

— Оставьте меня в покое! Те, кто называет меня *отцом Евгении Гранде*, хотят принизить меня; это, разумеется, шедевр, но шедевр маленький, а о больших они умалчивают!..

Когда дело дошло до напечатания собрания его сочинений, он озаглавил их «Человеческая комедия», решившись на это после долгих колебаний. Он, всегда такой смелый, дрожал, как бы его не сочли наглцом; впрочем, этот страх заметен в прекрасном предисловии, предворяющем издании; его последние строки я не могу читать без умиления — к несчастью, они оказались пророческими: ему не суждено было завершить столь любимое творение. В ту пору Оноре сделал причастными к нему всех своих друзей, посвятив каждому по одной из составляющих его книг. Список этих посвящений говорит о том, что он любил многих из знаменитых наших современников.

С 1827 по 1848 год мой брат опубликовал девяносто семь произведений объемом в десять тысяч восемьсот шестнадцать страниц, если считать по упомянутому собранию сочинений, где страница по крайней мере в три раза больше, чем в обычном издании в одну восьмую печатного листа. Добавлю, что это грандиозное количество томов он написал без секретаря и корректора. <...>

Быть может, будут интересны кое-какие подробности того, откуда он брал некоторые темы своих книг.

Сюжет «Красной гостиницы», основанный, что бы ни говорили, на истинном происшествии, дал ему бывший военный хирург, друг несправедливо осужденного человека. Мой брат добавил только развязку.

Роман «Квентин Дорвард», обыкновенно столь ценный, особенно со стороны исторической, вызвал у Оноре приступ гнева: в противоположность толпе, он находил, что Вальтер Скотт странным образом исказил фигуру Людовика XI, короля, по его мнению, еще плохо понятого. Этот гнев побудил его создать «Мэтра Корнелиуса», где выведен Людовик XI.

«Два изгнанника» были написаны после глубокого изучения Данте, как дань уважения этому мощному гению; они также выпадают из общего плана, к коему Бальзак постарался их приспособить.

«Эпизод из эпохи Террора» (рассказ, первоначально появившийся в иллюстрированном журнале) был рассказан ему незаметным героем этой истории.

Брат хотел повидаться с палачом Сансоном. Узнать, что думает этот человек, чья душа полна кровавых воспоминаний, выяснить, как смотрит он на свое ужасное ремесло и на жалкую свою жизнь, — такое исследование не могло не показаться ему соблазнительным.

Господин А<ппер>, управляющий тюрьмами, с коим был связан мой брат, устроил эту встречу. Однажды Оноре застал у г-на А<ппера> бледного человека с благородным и печальным лицом; по одежде, манерам, речам, образованности Оноре принял его за какого-то ученого, которого привлекло сюда такое же любопытство, каким был движим он сам. Этот ученый и был Сансон!.. Предупрежденный хозяином дома, брат подавил в себе всякое удивление и отвращение и повел речь о том, что его занимало. Ему удалось внушить Сансону такое доверие, что тот увлекся и начал описывать страдания своей жизни. Смерть Людовика XVI оставила в его душе ужас и угрызения совести (Сансон был роялист). Назавтра после казни он велел отслужить за короля искупительную мессу, быть может, единственную, отслуженную в тот день в Париже!..

Точно так же беседа с *Мартеном*, знаменитым укротителем зверей, после одного представления дала моему брату тему для рассказа, озаглавленного «Страсть в пустыне».

«Серафита», это странное произведение, которое кажется переводом немецкой книги, было внушено одной приятельницей. Матушка помогла ему осуществить этот замысел. Она очень увлекалась религиозными идеями и в то время собирала и читала книги мистиков. Оноре завладел сочинениями Сен-Мартена, Сведенборга, мадемуазель Буриньон, г-жи Гийон, Якоба Беме, которые составляли около сотни томов, и проглотил их все. Он читал с такою быстротой, с какою другие листают книгу, и, однако, усваивал все содержащиеся в ней мысли!..

И вот он погружается в изучение сомнамбулизма и магнетизма, тесно связанных с мистикой, а наша матушка, пылко приверженная ко всему чудесному, доставляет ему и другие возможности: она знакома со всеми знаменитыми магнетизерами и сомнамбулами того времени.

Оноре присутствует на нескольких сеансах, восхищается необъяснимыми способностями и явлениями, приписывает этим способностям более широкую область действия, нежели та, которую они, быть может, имеют в действительности, и под впечатлением этих идей сочиняет «Серафиту».

Но, подчиняясь потребностям жизни, велящим ему писать только такие книги, которые нравятся публике и продаются, он, по счастью, вернулся к реальности и вырвался из этих метафизических размышлений, кои могли бы исказить его могучий талант, — ведь они погубили уже не один.

Приходится опускать подробности, которые, быть может, показались бы излишними и, кроме того, вынудили бы меня оценивать произведения, о коих судить я не решаюсь.

Меня приводит в содрогание одна мысль о том, сколько трудов и тягостных событий обрушилось на моего брата за последние двадцать лет его существования.

Помимо творчества ему приходилось еще вести огромную деловую и иную переписку, что отнимало еще больше времени. В этот период предпринял он путешествия в Савойю, на Сардинию, на Корсику, в Германию, в Италию, в Санкт-Петербург и южную Россию, где он побывал дважды, не считая тех поездок, которые он совершал внутри Франции — всюду, куда помещал своих персонажей, — дабы верно описать города и деревни, где протекает их жизнь.

Приходя к нам попрощаться, он говорил:

— Я уезжаю в Алансон, в Гренобль, там живут *мадемуазель Кормон... господин Бенаси...*

Невозможного для него не существовало, это он доказал своим мужеством в первые годы литературной жизни, когда раз навсегда отказался от самого необходимого ради того, чтобы доставить себе излишнее, столь полезное для проникновения в общество, которое вознамерился описать! То время напоминает мне о стольких бедствиях, что я не могу думать о нем без грусти.

С 1827 по 1836 год мой брат сумел продержаться, только подписывая векселя, и его постоянно беспокоило истечение их срока, ибо оплачивать их он мог, лишь публикуя свои произведения, а когда эти последние завершатся, всегда было неясно.

Добившись у ростовщиков принятия и учета векселей, что уже само по себе было делом нелегким, он часто вынужден бывал добиваться их переписки — дело еще более трудное, коим он мог заниматься только самолично, потому

что у других ничего бы не вышло; он же очаровывал всех на свете, даже ростовщиков.

— Какая напрасная растрата духовных сил! — грустно говорил он нам, когда возвращался, разбитый усталостью, из всех этих походов, отвлекавших его от работы.

И все же он ничего не мог поделать: учет векселей у ростовщиков вместе с процентами по главным его обязательствам превращали его *непотопляемый долг*, как он говаривал, когда бывал в веселом расположении духа, в некое подобие снежного кома, который чем дальше катится, тем больше растет; шли месяцы и годы, а его долг так увеличивался, что временами брат отчаивался когда-либо его выплатить.

Время от времени, дабы успокоить самых грозных кредиторов, он совершал чудеса в работе, пугавшие книгоиздателей и типографщиков; наиболее загруженные даты в летописи его творчества говорят о том, в какие годы он больше всего страдал.

Этот сверхчеловеческий труд был, безусловно, одной из причин его раннего ухода из жизни. Страшное душевное напряжение вызвало болезнь сердца, от которой он умер, но болезнь так быстро не развивалась бы, если бы не кипение крови.

Состояние непрерывной тревоги длилось до тех пор, когда начали переиздавать его книги и он возымел хоть какую-то возможность постепенно выплачивать свои долги.

С какою радостью вычеркивал он некоторые цифры из ужасного списка, который постоянно держал перед глазами, чтобы подстегивать свое мужество!

— После стольких трудов когда же я заработаю хоть одно су для себя лично, — часто говаривал он мне. — Уж конечно, я велю вставить его в рамку, в нем одном выразится вся история моей жизни.

Некоторые письма 1832, 1833, 1834 и 1835 годов, когда он много путешествовал, покажут его душевное состояние лучше, чем все, что я могла бы сказать по этому поводу. Они присланы из Ангулема, из Экса, из Саше, Марселя, Милана. По упомянутым в них произведениям я смогла восстановить даты, почти всегда отсутствующие в его письмах.

В Ангулеме жила некоторое время семья К<арро>, в которой мой брат часто бывал (майор К<арро> управлял пороховым заводом). С 1826 года, когда я жила в Версале, между братом и этим семейством завязалась тесная дружба. Г-н К<арро> возглавлял тогда учебные занятия в Сен-Сирской военной школе. Я с радостью встретила вновь

с его женою, с которою вместе воспитывалась. Эта верная дружба, эта душевная близость составляли одну из отрад в жизни моего брата. Его произведения, помеченные Ангелемом и Фрапелем (земельное владение г-жи К<арро> в Берри), свидетельствуют об этой глубокой симпатии.

Саше, прекрасное имение, расположенное в семи лье от Тура, принадлежало г-ну М<аргонну>, другу нашей семьи. И у него тоже Оноре находил в любое время подлинное гостеприимство и самую теплую привязанность. У этих друзей он обретал спокойствие, коего был лишен в Париже. Он написал там несколько книг, в том числе «Луи Ламбера», «Лилию в долине», «Поиски Абсолюта» и некоторые другие, которые я запомнила. <...>

Заинтересуют ли читателей нижеследующие подробности?.. Я тут плохой судья в силу привязанности моей к брату; но мне кажется, что они способны пролить свет на этот характер, обладавший многочисленными достоинствами, характер, в коем так долго упорствовала молодость; я убеждена, что подробности эти не могут умалить Бальзака, и потому безбоязненно записываю свои воспоминания по мере того, как они всплывают в моей памяти. Ведь сказал же он сам, что иллюзии помогали ему жить!..

Чтобы заставить себя двигаться (что было крайне необходимо для здоровья при его сидячей работе), брат правил корректуры то в типографии, то у меня дома.

В зависимости от обстоятельств, всегда оказывавших на него сильное влияние, — житейских неприятностей, трудностей, связанных с творчеством, или крайней усталостью от бессонных ночей, — он иногда приходил, еле волоча ноги, мрачный, подавленный, с нездоровым, желтым цветом лица. При таком удручающем зрелище я начинала искать средства вывести его из угнетенного состояния, а он, так хорошо умевший читать мысли, отвечал мне, прежде чем я успевала открыть рот, и говорил мне угасшим голосом, падая в кресло:

— Не утешай меня, это бесполезно, я конченный человек.

И этот конченный человек принимался рассказывать о своих новых невзгодах, сперва жалобно, но скоро он оживлялся, и вот в голосе его уже звенели самые звучные струны; затем он разворачивал корректуру, вновь впадал в жалобный тон и добавлял в виде заключения:

— *Я тону, сестрица.*

— Ну нет, с такими книгами, как та, что ты правишь, утонуть нельзя!..

Он поднимал голову, расправлял плечи, желтые тона мало-помалу сходили с его лица.

— Клянусь, ты права!.. Эти книги вливают горячую кровь в жилы... К тому же, разве не существует счастливых случаев?.. Случай может с тем же успехом помочь Бальзаку, что и какому-нибудь болвану, нетрудно даже вообразить такой случай!.. Пусть бы кто-нибудь из моих приятелей миллионеров (а у меня они есть) или какой-нибудь банкир, не знающий, что делать со своими деньгами, пришел ко мне и сказал: «Мне известен ваш громадный талант и ваши заботы; чтобы освободиться, вам требуется такая-то сумма; примите ее без опасений, вы мне ее вернете, ваше перо стоит моих миллионов!» *Только это мне и нужно, дорогая.*

Я уже привыкла к иллюзиям, возвращавшим ему мужество и веселость, и никогда не выказывала ни малейшего удивления.

Сочинив эту сказку, он начинал нагромождать один на другой доводы, чтобы в нее поверить.

— Эти люди столько тратят на свои прихоти!.. Доброе дело — прихоть, не хуже любой другой, и к тому же всегда доставляет удовольствие!.. Ведь не шутка же, если можешь сказать себе: «*Я спас Бальзака!*» У человека бывают иногда добрые побуждения, и есть люди, которые, не будучи англичанами, способны на эксцентрические поступки!.. У меня они будут, — говорил он, бия себя в грудь, — будут — миллионер или банкир!

Поверив, он принимался радостно бегать по комнате и размахивать руками.

— Ах, Бальзак свободен!.. Увидите, любезные мои друзья и любезные недруги, как он двинется вперед!..

И он двигался напрямик в Академию. Оттуда было рукой подать до палаты пэров; он туда вступал.

Почему бы и не быть ему пэром, ведь сделались же ими *такой-то* и *такой-то*.. Из пэра он становился министром, что тут особенного? Подобные случаи бывали. Разве не такие именно люди создали все идеи, наиболее пригодные для управления людьми? Хотел бы он поглядеть на тех, кто Удивится его министерскому портфелю!

Министр усаживался в кресло, дабы удобнее было Управлять Францией; он разоблачал и устранял многие злоупотребления. Прекрасные идеи, мудрые речи возникали из этих грез!.. Потом, когда в его министерстве и во всем

королевстве все налаживалось так, что лучшего и желать нечего, он возвращался к банкиру или другу, открывшему ему путь к почестям, которого, оказывается, тоже не обошла фортуна.

— Его ждет завидное будущее, люди станут говорить: *«Этот человек понял Бальзака, одолжил ему денег под обеспечение его таланта, повел к заслуженным почестям»*, — и в этом будет его слава, не всякому такая дается! Это лучше, чем сжечь храм, дабы оставить потомкам свое имя.

Вволю повитав в этих прекрасных золотых облаках, он падал на землю, но уже отвлеченный от своих забот и утешенный; он правил корректуру, с увлечением читал нам ее вслух, потом покидал нас, посмеиваясь над самим собою.

— Прощайте, бегу к себе поглядеть, не ждет ли меня мой банкир, — говорил он, смеясь своим добрым смехом, — а если его еще нет, я все-таки найду дома мою работу, истинного моего банкира.

Его пылкий ум все время искал способов обрести свободу, и поиски эти столько же, сколь и труды, изнуряли его душу.

Однажды ему показалось, что он открыл новое сырье для производства бумаги. Это сырье имелось повсюду и стоило дешевле, чем тряпье; сколько было радости, планов и надежд, за коими вскоре последовало разочарование, ибо произведенные опыты не удались.

Мы думали, что он в отчаянии, но нашли его сияющим.

— Как твоя бумага?

— При чем тут бумага!.. Вы, конечно, не подумали, что римляне плохо умели извлекать из породы серебро и оставляли в шлаке огромные ценности. Я советовался с учеными из Института, они думают так же, как и я, так что я уезжаю на Сардинию.

— Ты уезжаешь на Сардинию? Зачем?

— Зачем!.. Я исхожу всю страну пешком с котомкой за плечами, одетый, как нищий, на страх разбойникам и бродягам; я все рассчитал, мне довольно будет шестисот франков.

Добыв шестьсот франков, он уехал и написал нам из Марсея, кажется, 20 марта 1833 года:

«Ни минуты не беспокойся, дорогая матушка, и скажи Лоре, пусть тоже не тревожится. Денег у меня довольно и, не в обиду будь сказано Лоровой рассудительности, безусловно, хватит и на обратный путь.

Пять ночей и четыре дня провел я на крыше империаля. Руки у меня так распухли, что едва могут писать. Завтра, в среду, буду в Тулоне, в четверг отправлюсь в Аяччо, там буду в пятницу, а затем для моей экспедиции достанет восьми дней. Я мог бы за пятнадцать франков добраться отсюда до Сардинии на торговых судах, да боюсь, что это займет дней пятнадцать; к тому же сейчас равноденствие; тогда как за тройную, правда, плату я окажусь на Сардинии в три дня. Теперь, когда я уже почти на месте, меня начинают одолевать сомнения; так или иначе, не рискнешь — ничего не обретешь! За дорогу я истратил только десять франков. Сейчас я остановился в такой гостинице, что прямо дрожь берет, зато можно купаться в море!.. Если же у меня ничего не выйдет, — что ж, несколько ночей работы восстановят равновесие! За какой-нибудь месяц я загребу кучу денег своим пером.

Прощай, дорогая, любезная матушка, верь, что во всем, что я предпринимаю, больше желания избавиться от страдания, чем жажды личного обогащения; когда нет капиталов, составить себе состояние можно только при помощи таких идей, как та, которую я собираюсь осуществить.

Твой преданный и почтительный сын».

Надо было послушать, как он рассказывал по возвращении превратности этого удивительного путешествия. Счастливым случай свел его с настоящими разбойниками.

— Они довольно славные ребята, когда не занимаются своим ремеслом, — говорил он на м, — они осведомили меня обо всем, что мне хотелось узнать. Эти молодцы недурно разбираются в местности и в людях, они настолько хорошо поняли, что я для них не клиент, что, бог меня прости, думаю, скорее сами дали бы мне денег, чем стали бы их у меня требовать.

Прибыв в Бастию без гроша в кармане, он назвал себя и наделал этим шуму среди молодежи; все знали его книги и были в восторге оттого, что видят его воочию, и это весьма ему льстило.

— Я уже составил себе имя на Корсике, — говорил он на м. — Славная молодежь, прекрасная страна!

Принятый с почетом в доме инспектора финансов г-на В..., с которым был знаком, он выиграл там в карты сумму, необходимую для возвращения во Францию, в тот самый миг, когда собирался писать нам, чтобы мы выслали ему ленег. Он любил такие счастливые случайности, они вну-

шали ему веру в его звезду. Но это еще не все. Странствуя пешком по Сардинии и качаясь на морских волнах, он нашел сюжеты — и какие сюжеты!.. Они превосходили все прочие, по крайней мере если вы с этим не соглашались, потому что в противном случае он принимался доказывать совершенство прежних сюжетов. Он с жаром излагал нам эти новые сюжеты: план, детали — он держал в голове все.

— Прямо слюнки текут, — добавлял он.

— Ты что же, всем рассказываешь свои замыслы? — спрашивала я его с некоторым испугом, ибо знала, что в благословенной литературной республике, где каждый хочет стать королем, отнюдь не всегда проявляется шепетильность по отношению к чужой собственности.

— А почему бы и нет? — отвечал он. — Сюжет — ничто, вот исполнение — это все. Пусть они сделают, как Бальзак, вызываю их! Разве воры умеют работать? Если они преуспеют, тем лучше для публики, мне ничуть не жаль, я всегда найду что-нибудь другое! Мир велик, а мозг человеческий столь же обширен, как мир.

Образцы, привезенные из рудников, были переданы химикам; для анализа потребовалось время; впрочем, Оноре был не готов к тому, чтобы отправиться в Пьемонт и требовать там концессию, сперва ему надо было удовлетворить книгоиздателей и заработать денег на поездку.

Целый год жил он этим сардинским богатством, а значит, и строил проекты; на широко распростертых крыльях летал он по земному раю, устраивал его по своей воле и желанию, покупал облюбованный им в Турени маленький замок Монконтур, ибо, невзирая на безразличие к нему земляков, он любил этот край, где хотел окончить свои дни.

— Сладостные и спокойные мысли прорастают там в душе, как виноградные лозы из земли, — говаривал он.

Там он отдыхал и жил, как устрица в раковине, позевывая на закат. Он золотил это сельское существование всеми богатствами своего духа и превращался в доктора Миноре, пребывающего в окружении местного священника, мэра и мирового судьи, уже завидуя счастливой старости, которую придумал ему в «Урсуле Мируэ» (нет сомнений, что до тех пор он не знался с доктором Миноре).

Однако он заботился и о том, чтобы ум не закоinsel в глуши; каждую зиму он приезжал в Париж, у него был салон, как у барона Жерара, создавшего образец для всех артистических салонов прошлого, настоящего и будущего; он обставил этот салон, принимал там, как Жерар, всех нарядившихся либо только нарождающихся знаменито-

стей; уж он-то сумел окружить их подобающим уважением, он, хорошо знавший, каких почестей они заслуживают. Да что там, он принимал даже критиков. То было всеобщее перемирие, этот абсолютный монарх был добряком и не знал ни зависти, ни ненависти.

Возвращался он к себе в провинцию всеми благословляемый и любимый.

Вот каковы были прекрасные его грезы!..

Эти мечты, так же как его горести, камнем ложились на сердце его друзей — разве не указывали они на меру его страданий? Избавиться от них он мог только в мечтах; едва пробудившись, он вынужден бывал снова подставлять спину под тяжкое бремя.

Через год-два после путешествия на Сардинию брат мой, закончив сочинения, обещанные книгоиздателям, журналам и газетам, отправился в Пьемонт за получением концессии на серебряные копи. Как всегда общительный, он открыл цель своего путешествия генуэзскому капитану, перевозившему его на Сардинию. Нижеследующее письмо покажет, как использовал генуэзец оказанное ему доверие во вред моему брату.

«Милан.

Милая сестрица!

Слишком долго было бы описывать то, что я подробно расскажу тебе при скорой, надеюсь, встрече. После весьма утомительного путешествия я вернулся сюда в интересах семейства Г<видобони>. Их дела настолько запутались из-за политики, что без предпринятых мною шагов, по счастью успешных, остатки состояния, коим они владеют в этих краях, были бы у них конфискованы.

Господин Эчегоен возвращается в Париж и был настолько любезен, что согласился захватить с собою это письмо. Что касается главной цели моего путешествия, то все было, как я предполагал, но медлительность моя оказалась роковою; у генуэзца имеется договор по всей форме с королевским двором Сардинии; в шлаке и свинце содержится на миллион серебра; один марсельский торговый дом, с которым он сговорился, произвел пробы. Надо было в прошлом году не упускать дело из рук и опередить их.

Впрочем, у меня есть другая идея, не хуже этой, а может быть, и лучше, по возвращении мы обсудим ее с твоим мужем. Нам надо будет вернуться сюда с ним и с каким-нибудь горным инженером, возможно, возьмем с собою и тебя, ведь у меня теперь уже есть опыт, и мы истратим не намно-

го более, чем израсходовали бы за то же время в Париже; а поскольку в этом деле не имеется гунуэцца, можно ожидать, что все пройдет спокойно, так что я почти утешился.

Я очень скверно чувствовал себя во время путешествия, главным образом из-за климата; такая стоит жара, что ходишь совершенно расслабленный и ни на что не способен. Ловлю себя на том, что тоскую о наших французских тучах и дождях; жара подходит только слабым людям.

Во время всех дорожных неурядиц я думал о вас; мне уже виделось, что в недалеком будущем все мы будем счастливы, и это вливало в меня новые силы.

Надеюсь, что братец-математик согласится, что лучше-го дела не найти, и будет радоваться вместе со мною.

Ознакомь с этим письмом маменьку, приходится поскорее его закончить, у меня такие чернила и перья, что невозможно писать. Вероятно, австрийское правительство нарочно устраивает так, чтобы люди поменьше писали. До скорой встречи».

Так в душе у моего брата разочарование очень скоро уступало место надежде; увлекаемый потоком жизни, он не смог дать ход делу, о котором пишет и которое оказалось весьма прибыльным для других людей, его осуществивших.

В октябре того же года, когда я на время уехала из Парижа, я получила от брата следующее письмо.

«Ты уезжаешь без предупреждения; бедный труженик бежит к тебе, чтобы разделить с тобою маленькую радость, а сестрицы-то нет как нет! Я так часто терзаю тебя своими неприятностями, что должен написать тебе хотя бы об этой радости. Ты не станешь надо мною потешаться, ведь ты в меня веришь!..

Вчера прихожу к Жерару, он знакомит меня с тремя немецкими семействами. Мне почудилось, что я с плю , — три семейства!.. Не более не менее!.. Одно из Вены, другое из Франкфурта, третье откуда-то из Пруссии.

Они мне признались, что упорно, целый месяц, ходят к Жерару в надежде встретиться со мною, и сообщили, что моя известность начинается сразу же за границей Франции (дорогое мое неблагодарное отечество!). «Продолжайте неукоснительно ваши т р у д ы , — добавили о н и , — и вы скоро окажетесь во главе литературной Европы!» Европы, сестра, так они и сказали! Что за лстивые семейства!.. Некоторые друзья лопнули бы со смеху, расскажи я им это! Право, славные были немцы, я позволил себе поверить, что они говорили то, что думали, и, если уж быть откровенным, готов был слушать их всю ночь напролет. Нам, художни-

кам, так пристала похвала, что речи добрых немцев вернули мне мужество; я ушел от Жерара в развеселом настроении и теперь произведу тройной выстрел по публике и по завистникам, то будет «Евгения Гранде», «Приключения удачной идеи», которую ты знаешь, и «Католический священник» — один из лучших моих сюжетов.

Дело с «Этюдами о нравах» на полном ходу; тридцать три тысячи франков по авторскому праву за переиздания заткнул большие дыры. Когда эта часть долгов будет оплачена, отправлюсь в Женеву за вознаграждением. Итак, горизонт начинает проясняться.

Я снова начал трудовую жизнь. Ложусь в шесть, сразу после обеда. Потом животное переваривает пищу и спит до полуночи. Огюст приносит мне чашечку кофе, после которого голова работает бесперебойно до полудня. Бегу в типографию отнести рукопись и забрать гранки, чтобы заставить животное двигаться, а оно клюет носом на ходу.

По двенадцать часов водишь черным по белому, сестричка, и за месяц такого существования набирается немало сделанной работы. Бедное перо! Ему бы надо быть алмазным, чтобы не снашиваться от таких трудов. Умножить славу хозяина по немецким рецептам, дать ему со всеми расквитаться, а потом в один прекрасный день доставить ему отдых на склоне холма — вот его задача.

Какого черта вас понесло так поздно в М<онгла>? Расскажи мне об этом и скажи, что немцы очень славные люди. Братское рукопожатие г-ну *Каналу*; передай ему, что «Приключения удачной идеи» на ходу.

Посылаю вам гранки «Сельского врача», прочитайте».

«Приключения удачной идеи» не были написаны, так же как и «Католический священник». Сюжет первой из этих книг подсказала ему неудача шурина во взятой им на себя большой работе. Оноре намеревался написать в этом произведении историю полезной для всех идеи, которая была сведена на нет, поскольку задевала частные интересы, и в результате разорила того, кто самоотверженно пытался ее осуществить.

Этот сюжет был чреват многими жизненными наблюдениями и социальной правдой и мог бы стать под его пером не менее захватывающим, нежели сюжеты других его книг.

Я разыскала еще одно письмо от брата, пришедшее в мое отсутствие; оно было написано до предпринятого им в 1833 году путешествия в Швейцарию и в Женеву, о коем он упоминает.

«У меня есть для тебя хорошие новости, сестричка, газеты стали больше платить мне за мои фельетоны. Хи-хи! Верде объявил мне, что «Сельский врач» был распродан за восемь дней. Ха-ха! Мне есть чем встретить большие ноябрьские и декабрьские платежи, которые так тебя беспокоили. Хо-хо!

Я продаю перепечатки произведений этого бездельника Х..., Z... и других псевдонимов. Продажа пойдет за треть цены, при возможности отрицать свою причастность к этим произведениям, *которые я не признаю никогда!* Но, поскольку их будут перепечатывать без меня в этой проклятой Бельгии, которая наносит такой ущерб авторам и книгоиздателям, я уступаю необходимости, выражающейся в добрых эку, и таким образом расписываюсь во зле.

Наконец, Г<осслен> издает мои «Озорные рассказы». — Ecco sorella¹.

Итак, все идет хорошо. Еще немного усилий, и я одолею тяжкий кризис слабым орудием — пером!

Если ничто не помешает, к 1836 году я буду должен только матушке, и когда я вспоминаю все катастрофы, все прожитые печальные годы, то не могу не испытывать некоторой гордости при мысли, что мужеством и трудом уже почти завоевал себе свободу.

Эта мысль так меня обрадовала, что вечером мы с Сюрвилем начали строить планы, которые и к вам имеют отношение, друзья мои. Я уговаривал его построить дом рядом с моим, наши сады соприкасались, мы уже вместе вкушали плоды с наших деревьев... Все шло хорошо!

Добрый братец улыбнулся, возведя очи к небу; в его улыбке было много симпатии к тебе и ко мне, но я в ней прочел и то, что ни он, ни я еще не владеем нашими домами; не важно, проекты поддерживают мужество, и пусть только даст мне бог здоровья, у нас будут эти дома, добрая моя сестрица!»

Этот проект побудил его позднее приобрести земельный участок в Виль-д'Авре, где брат построил Жарди. Но дом стоял под уклоном, и стены начали рушиться. Эта земельная собственность обошлась дороже истинной своей стоимости; другие неблагоприятные обстоятельства вынудили брата ее продать. Поэтому он расценивал свое приобретение как ошибку.

В «Озорных рассказах», о коих шла речь в письме,

¹ Так-то, сестра (*ut.*).

Оноре намеревался проследить все изменения французского языка от Рабле до наших дней, так чтобы каждый рассказ носил отпечаток одной из этих эпох, столь различных.

— С этим произведением будет как с «Человеческой комедией», — говорил он нам, — конечная цель станет видна лишь после завершения; до тех пор эти рассказы будут составлять лишь отдохновение для художников, которые обретут там веселье, в коем столь часто нуждаются.

Он считал, что если бы не создал никаких иных сочинений, кроме этих рассказов, их довольно было бы, чтобы спасти его имя от забвения.

В ту пору брат изучал старых французских прозаиков и сожалел о многих утраченных словах, которые так и не были замещены иными. Он умилялся над их судьбою, словно какой-нибудь Вожла.

— Что за прелесть эти слова! Как точно они выражают то, что хотят сказать! Какое наивное изящество! Их можно найти только в пору младенчества языка; сегодня, чтобы их заменить, требуются целые фразы! Когда я буду работать над академическим словарем...

Он лелеял замыслы сделать французский язык миллионером.

По сему поводу он немного сердился на тех, кто порицал его за некоторые выражения, разбросанные по его книгам.

— Кому же, как не писателю, дано право подавать милостыню языку? Наш язык прекрасно вобрал в себя слова моих предшественников, вберет он и мои; эти выскочки со временем станут дворянами, ведь так создается всякое дворянство. И пусть себе критики твякают на мои *неологизмы*, как они это называют, ведь всем надо жить.

Я опускаю письма, писанные им ко мне во время его путешествия в Швейцарию в 1833 году. Эти письма, помеченные Валь-де-Травер и Женевои, содержат главным образом подробности о друзьях, с которыми он виделся.

По возвращении во Францию он на некоторое время осел в Ангулеме. Вот одно из писем, присланных им мне из этого города.

«Два письма от моей сестрицы, оставленных без ответа! По счастью, мы с тобою не считаемся, я давно это знаю. Как дорога и сладостна привязанность, не оставляющая места беспокойству! Ведь ты убеждена, не правда ли, что я не могу позабыть ту, что была мне заступницей, когда

я был ребенком, а порою колотила меня, и ту, что умела отыскивать укромные уголки, где мы так хорошо веселились! Счастливое время, где ты?..

Правлю «Евгению Гранде». Я сплю *вполглаза, это дитя будит меня* и не оставляет мне ни минуты свободной...

Если бы ты знала, что значит лепить идеи, придавать им форму и цвет, ты не была бы столь скоро на критику! Ах, в «Евгении Гранде» слишком много миллионов? Но, дурочка, ведь эта история правдива, ты что же, хочешь, чтобы я исправлял правду? Ты не знаешь, как растут деньги в руках скупцов... Наконец, если твои протесты справедливы, в следующих изданиях я докажу эти цифры или уменьшу их... Всегда думать, как Лафонтен под его деревом! Но если бы я писал, как Лафонтен! А я пишу всего лишь как Бальзак и еще не знаю, что из этого выйдет. Как терзает меня это сомнение в мои дурные дни, еще больше, чем мое положение птицы, прыгающей на ветке, уверяю тебя; и все же грустно после стольких трудов не иметь в будущем ничего, кроме самого будущего! Какое оно будет, Лора? Кто может разрешить этот тревожный вопрос? Ныне единственное мое благо составляют несколько истинных и преданных привязанностей; но выражение чувств не одинаково, есть люди, с которыми мы всегда понимаем друг друга, есть и другие, с которыми я менее счастлив. Ты принадлежишь к первым, милая, дорогая сестра.

Я привез из Швейцарии замыслы прекрасной книги, клянусь! Поговорим, когда вернусь домой».

Эта книга была «Серафита». К сожалению, по поводу этой книги я вынуждена рассказать о судебном процессе, который возбудил мой брат против «Ревю де Де Монд», не потому, что хочу воскресить былую вражду — упаси бог! Но этот процесс слишком много значил в жизни Оноре, и я не могу обойти его молчанием, ибо процесс этот вдруг вернул ему несчастья первых лет его занятий литературой и в такую минуту, когда он начал было их преодолевать, отнял у него поддержку журналов и газет и вызвал много к нему недоброжелательности.

Когда «Серафита» была только наполовину напечатана в названном выше журнале, друзья из Санкт-Петербурга сообщили моему брату, что там это произведение должно выйти целиком. Брат подумал, что этот ущерб его интересам нанесен помимо ведома редактора журнала, и побежал его предупредить. Но оказалось, что именно редактор, должно быть считая себя в своем праве, распорядился об

этом издании. Брат выражает протест, редактор сердится и не хочет слышать ни о каком дружественном соглашении. Тогда Оноре объявляет, что перенесет спорный вопрос в суд, дабы юридически подтвердить авторское право собственности. Он не желает попустительствовать тому, на что в будущем могут опереться во вред его литературным собратьям и ему самому.

Начинать такое дело значило рисковать многим: судебный процесс, проигранный или выигранный, все равно имел бы самые роковые последствия для Оноре; независимо от вопроса денег, весьма для него существенного, «Ревю» закрыл бы перед ним на будущее свои страницы и, безо всякого сомнения, сделался бы его врагом.

Но предвидение этих обстоятельств его не остановило; он начал процесс. Каково же было его удивление, когда противник вооружился перед судьями свидетельствами, ставившими под сомнение *добропорядочность его жизни* и его писательских привычек и подписанными почти всеми его собратьями по перу, которых он хотел защитить на свой страх и риск!

Оноре был очень взволнован этим, по его словам, по меньшей мере отступничеством; долго потом он делил литературных собратьев на два лагеря: *тех, кто подписал*, и *тех, кто не подписал*. Когда гнев его улегся, отсутствие логики у первых все еще его возмущало!

Его правота была очевидна, и процесс он выиграл, но нажил также и много врагов!

Этот процесс и книга, озаглавленная «Утраченные иллюзии», где он рисует газетчиков, вызвала неистовство прессы и такую ненависть к нему литературной братии, что охладить ее не смогла даже его кончина. Он так мало придавал значения этим нападкам, что нередко приносил нам прочитать статьи, в которых его больше всего ругали.

— Поглядите, как беснуются все эти люди! — говорил о н . — Стреляйте, любезные мои недруги, мои доспехи прочны, и вы избавите моих издателей от необходимости рекламы; ваши похвалы усыпили бы публику, ваши проклятия ее разбудят... Славно они действуют! Будь я богат, сказали бы, что я им плачу; но тише, ни слова, они способны замолчать, если узнают, какое мне делают добро.

Мы думали иначе, чем он, и огорчались этими нападками.

— Что вы за простаки, что так печалитесь! — продолжал о н . — Разве могут критики сделать мои произведения хорошими или дурными? Пусть действует великий

ценитель — время; если мои недруги ошибаются, публика это увидит, не сегодня, так завтра, и несправедливость пойдет на пользу тому, кого она обижает; к тому же *guerrilleros*¹ от искусства иногда попадают в самую точку, и, выправляя недостатки, на которые они указывают, делаешь произведение лучше; в конце концов, я должен быть им благодарен.

Так что он не хотел ни протестов, ни препирательств. Лишь один раз нарушил он поставленное самому себе правило отвечать своим преследователям молчанием, написав «Монографию о прессе»; это произведение, где каждая строка блещет остроумием, было вырвано у него друзьями; они обвиняли моего брата в слабости, чуть ли не в трусости; он показал свои когти, но впоследствии жалел об этом сочинении, которое, по его мнению, было не согласно если не с талантом его, то с характером.

О роковых последствиях процесса против «Ревю» он говорит в следующем письме ко мне, отправленном с улицы Батай в Шайо, где он поселился, покинув улицу Кассини, прежде чем переехать в Жарди.

«Твой муж и Софи пришли вчера в мою холостяцкую квартиру в Шайо разделить со мною отвратительный обед; этот прием был тем более непристойным, что добрый братец весь день пробегал по моим делам.

Я заключил хорошую сделку с «Эстафет», прочие большие газеты снова обратятся ко мне, когда я им понадоблюсь. Впрочем, разве они похитили у меня мои мозговые уголья, литературные виноградники, духовные леса? Разве не осталось книгоиздателей, чтобы всем этим пользоваться? Книгоиздатели, не понимая истинной своей выгоды (тебе это покажется невероятным), предпочитают произведения, не появлявшиеся ни в каких журналах; сейчас не время их просвещать; однако ясно, что предыдущее издание избавляет от анонсов и что чем произведение известнее, тем легче оно продается.

Так что не огорчайся, гибель еще не стоит у порога; я, правда, устал, даже болен, но принял предложение г-на де М<аргонна> и отправлюсь на два месяца погостить в Саше, там отдохну и подлечусь. Закончу там «Отца Горио» и отправлю «Поиски Абсолюта», а одновременно попробую поработать для театра. Начну с «Мари Туше», славной пьесы, в которой выводят на сцену славных персонажей.

Буду больше спать, не мучь так себя из-за моей боли

¹ Вояки (*исп.*).

в боку. Послушай, надо быть справедливым: если болезнь печени происходит от неприятностей, значит, я ее не украл! Но погодите, госпожа Смерть, если вы явитесь, пусть это будет для того, чтобы помочь мне взвалить на плечи вязанку хвороста, я еще не кончил свою работу!.. Не надо слишком беспокоиться, сестрица, небо еще будет синим!..

Мы переиздаем «Сельского врача», потому что весь тираж распродан, разве это не мило?

Вдова Б<еще> великолепна, она взяла на свой счет четыре тысячи франков за корректуры, которое я должен был заплатить; а это разве не мило?

Что ж, если бог продлит мою жизнь, я займу хорошее положение, и мы все будем счастливы; посмеемся же вместе, милая сестрица, дом Бальзака восторжествует! Крикни это погромче вместе со мною, чтобы фортуна нас услышала, и, бога ради, не терзайся!..»

К сожалению, из его писем, полученных мною за три месяца, проведенных им в Саше в 1834 году, я могу привести только один отрывок.

«Твое письмо — это первое поздравление, пришедшее ко мне по поводу «Поисков Абсолюта». Твоя любовь опережает всех на свете!..

Ты права, похвалы за правдивость, на кои мы можем рассчитывать, согревают душу и составляют награду для нас, бедных литературных работников! Я, как дурак, взволнован твоими добрыми словами.

Мне думается, ты не права насчет длиннот, которые ты у меня находишь, они оправдываются сюжетом, ты это упустила из виду; а еще я вступаю за Маргариту; нет, это не натянутый характер, потому что Маргарита — фламандка; эти женщины преследуют только одну идею и флегматично идут к своей цели.

Впрочем, твои критические замечания очень милы, мы об этом поговорим, и, если ты их повторишь, я подумаю.

Да, «Поиски Абсолюта» — отлично сделанная книга, как ты и говоришь, я сам это сознаю.

Следующее письмо показывает его в один из тех моментов упадка духа, которые неизбежны у художников, как бы ни были они энергичны.

«Нынче я так печален, что за этой печалью должно таиться какое-то предчувствие. Может быть, кому-то, кого я люблю, грозит несчастье? Не заболела ли матушка? Где мой добрый Сюрвиль, здоров ли он телом и душою? Есть ли у вас вести от Анри, хороши ли они? Не хвораешь ли ты или твои малыши? Успокойте меня поскорее насчет всего этого.

Мои театральные пробы идут плохо, придется на время от них отказаться. Историческая драма требует сценических эффектов, которых я не знаю, может быть, их находишь только на месте, с понятливыми актерами. Что касается комедии, то Мольер, коем у я хочу следовать, — это такой мастер, что можно прийти в отчаяние: чтобы достигнуть чего-нибудь в таком роде, требуются многие, многие дни, а именно времени мне и не хватает. К тому же надо преодолеть бесчисленные трудности, чтобы пробиться на любую сцену, а я не располагаю досугом и не могу работать ногами и локтями; только шедевр и мое имя отворили бы для меня двери театра, но до шедевров пока еще далеко. Мне нельзя ставить под сомнение свою репутацию, надо было бы найти подставных лиц; это значило бы терять время, а вся беда в том, что у меня нет возможности его терять! Я об этом сожалею, такая работа прибыльнее, нежели мои книги, и я скорее выпутался бы из тяжелого положения. Но мы с несчастьями давно меряемся силами, я их укрощал, укрощу и теперь. Если же я паду в борьбе, то по воле небес, а не по своей воле.

Мои горести производят на тебя такое впечатление, что мне не следовало бы с тобою о них говорить, но как не излить перед тобой мое переполненное сердце? А все-таки это нехорошо, надо обладать стойкостью, которой вам, женщинам, недостает, чтобы переносить мучения писательской жизни.

Я работаю больше, чем хотел бы, но что поделаешь? За работой я забываю свои невзгоды, и это меня спасает; но ты ничего не забываешь! Есть люди, которых уязвляет эта моя способность, они удваивают мои мучения, не понимая меня!

Мне бы следовало обеспечить свое существование с тем, чтобы в случае моей смерти оставить небольшое состояние матушке. Смогу ли я сделать это, если все долги будут уплачены? Погляжу после моего возвращения.

Время действия на меня кофе сокращается; теперь оно дает моему мозгу только пятнадцать часов возбуждения, возбуждения губительного, потому что оно приводит к ужасным болям в желудке. Кроме того, как раз этот срок определяет для него Россини применительно к себе самому.

Лора, я не удивлюсь, если все вы от меня устанете. Каково было бы иначе существование писателя? Но ныне я твердо сознаю, что я есть и чем я стану!

Какая нужна энергия, чтобы сохранять трезвую голову, когда сердце так страдает! Работать день и ночь, выносить

нападки со всех сторон, когда для работы нужен монастырский покой! Обрету ли я его? И обрету ли хоть на один день! Может быть, в могиле?.. Хочу надеяться, тогда мне воздадут по справедливости!.. Величайшее вдохновение всегда нисходило на меня в самые тяжелые дни, значит, оно снизойдет на меня снова!..

Кончаю писать, мне слишком грустно, небу следовало бы дать более счастливого брата такой любящей сестре!..»

В то время брат мой испытывал большое сердечное горе; из его обширной корреспонденции я могу публиковать лишь то, что относится к нему самому либо к его произведениям, и показывать его как сына и брата; опущенные места лишают публику нескольких интересных страниц, в частности тех, которые он адресовал мне после смерти одной весьма дорогой ему особы. Это самое красноречивое выражение душевной боли, какое мне только приходилось читать.

Любезности нескольких близких людей обязана я нижеследующими письмами, которые рисуют моего брата как друга.

«Январь...»

Дорогой Д<аблен>, вот выправленная рукопись и гранки «Шуанов»; с тех пор как я начал проставлять во главе каждого из моих сочинений имя какого-нибудь друга, это сочинение предназначалось Вам, но случайности, властвующие над судьбами книг, повинны в том, что с 1834 года «Шуаны» не переиздавались, хотя многие люди находили, что книга эта лучше своей репутации. Если бы я был из тех, кто оставляет след в литературе своей эпохи, такое посвящение могло бы в будущем иметь большую ценность, но ни Вы, ни я не разгадаем эту загадку; потому примите упоминание моего имени лишь как знак дружбы, сохранившейся в моем сердце, хоть Вы много лет не давали мне повода ее выразить.

Искренне *Ваш*».

Посвящение к «Шуанам» гласит: «Первому другу — первое произведение».

«Дорогой Д<аблен>... моя сестра говорит, что Вас обидело вырвавшееся у меня слово. Надо очень плохо меня знать, чтобы считать другом лишь наполовину.

Скоро минет 18 лет с тех пор, как в один из пасхальных

дней я проходил с Вами и г-ном П<епеном> ле А<ллером> по Вандомской площади, мимо подножия колонны; я был тогда очень молод, но чувствовал, кем стану когда-нибудь; Вы сказали, что от счастья и богатства меняются сердца; я Вам ответил, что ничто не может заставить меня изменить своим привязанностям; это правда, я не предал ни одной; ныне все мои друзья по отношению ко мне — на равных правах. Если бы Вы немного больше общались со мною, Вы бы это знали. Душою я остался ребенком, какая бы ни шла обо мне молва, но во мне есть эгоизм великого труженика; при шестнадцати часах в сутки, отданных литературному монументу, который будет гигантским, у меня не остается времени, коим я мог бы располагать. Этот отказ от сердечных радостей — самая тяжелая дань, которую я плачу будущему; что же до светских и житейских удовольствий, то искусство все их убило, о чем я нимало не жалею.

Я думаю, что высокий ум и чувства все уравнивают. Так что, друг мой, никогда не прилагайте к отдельному лицу то, что я говорю о многих.

Я четыре раза заходил повидаться с Вами, Вас не было дома; если я лично не успокоил Ваше огорченное сердце, то это письмо объяснит Вам, что я не придал значения своим словам и страшно удивился, когда сестра сказала мне, что я Вас обидел.

Прощайте, такое длинное письмо для меня роскошь. С самыми сердечными чувствами

Ваш...

Четыре раза зайти к г-ну Д<аблену>, который жил очень далеко, чтобы заверить его, что резкое слово, вырвавшееся в споре, было сказано без всякого злого умысла, — разве не был мой брат хорошим другом?..

Нижеследующие письма адресованы моей приятельнице, г-же К<арро>. Первое помечено октябрём 1830 года и было послано с улицы Турнон, где мой брат сочинял свои первые книги.

«Сударыня,

С огорчением должен известить Вас, что завтра не смогу отправиться в Сен-Сир; интересы моей матушки удерживают меня здесь; было бы неблагодарностью с моей стороны не заняться ее делами, когда она только что принесла такие жертвы ради сохранения моего честного имени.

Чтобы помогать одному другу, еще более несчастному, чем я [бывший его сотрудник], мне приходится прилагать неслыханные усилия. И я работаю ночь и день; в субботу

мне предстоит просмотреть длинную статью для «Ревю де Пари» и написать статью для «Мод», с которой я запаздываю. Простите же меня, с обыкновенной вашей добротой, за то, что я откладываю удовольствие увидеться с Вами...

...Наша страна, сударыня, находится на пороге серьезнейших событий. Меня пугает готовящаяся борьба. Везде я вижу страсть, нигде не вижу разума... В таких обстоятельствах мужество и наука, которая получила у нас такое развитие, помогут Франции восторжествовать. Какова будет развязка всей этой борьбы? Сумеют ли французы обуздать сопротивление затронутых личных интересов, прячущихся за политикой? Ах, сударыня, как велико среди патриотов число таких, для кого слово *отечество* ничего не значит!» <...>

Он вкладывал основательность во все свои мысли, и не надо думать, как это уже бывало, будто все области науки, к которым он прикасался, он столь же быстро осваивал, как и забывал. Если он что-то знал, то знал не поверхностно, если не знал, то со всем простодушием признавался в своем невежестве. Поэтому, если ему надо было писать на темы, которые он не мог углубить, он советовался со специалистами и высоко оценивал их участие в некоторых своих сочинениях.

Под этой смиренностью таилась, быть может, гордость; он вполне был способен поверить, что для того, чтобы знать все, ему не хватает только времени.

Наконец, упорное желание разбогатеть, за которое его столько порицали, надеюсь, будет оправдано приведенными мною подробностями: он хотел богатства, прежде всего чтобы рассчитаться со всеми. Не заслуживает ли всеобщего уважения тот, кто преследовал подобную цель по такой причине? Мой брат, запутавшись, к несчастью, в жизненных передрягах, мужественно сражался против бури, как тот португальский поэт, который вознес над волнами, грозившими его поглотить, творение, коему тоже суждено было прославить его имя; эти обстоятельства его только возвеличивают. И потому я рассказываю о его невзгодах с чувством законной гордости!..

Я нашла еще одно письмо того времени, касающееся его произведений; оно написано в 1835 году в Булоньер, маленьком имении, расположенном близ Немура, где он собирался поместить персонажей своего романа «Урсула Мируэ».

* * * * *

«Душистый горошек» окончен.

[Под таким названием появилась сперва книга, позже переименованная в «Брачный контракт».]

Мне кажется, я преуспел в том, что хотел сделать. Одна лишь сцена заключения брачного контракта дает понять, какое будущее предстоит супругам. Ты найдешь там сцену, которую я считаю глубоко комической: сражение молодого и старого нотариусов. Мне удалось сделать интересным само обсуждение этого документа. Вот и написана одна из великих сцен частной жизни; позднее я покажу *Посмертную опись*, где ужасное так часто смешивается с комическим! Оценщики предостаточно знают о человеческой гнусности, я заставляю их говорить...

Моя издательница, несравненная г-жа Б<еше>, имела глупость послать чистые листы «Душистого горошка» в Санкт-Петербург. Мне пишут, что там только и разговора о *превосходстве сего нового шедевра* (стиль издателей). Эта глупость крайне меня раздосадовала; комизм положения понятен только деловым людям, публике же произведение не понравится, но надо охватить все классы, и мой план обязывает меня быть универсальным.

Все, что ты пишешь насчет покупки мною участка в Виль-д'Авре, не имеет смысла; ты, значит, не понимаешь, что эта недвижимость составит как раз то, что я должен матушке?.. Сейчас мне некогда это обсуждать, постараюсь убедить тебя по моему возвращении».

Чтобы ничего не опустить из трудов и хлопот моего брата, надо еще сказать о «Кроник де Пари» и «Ревю паризьен» — литературных листках, которые он вознамерился основать. Завоевав место в литературе, он надеялся, что отличная редакция этих листков создаст им успех, и желание как можно скорее рассчитаться с долгами, желание, преследовавшее его неотступно, побудило его начать эти предприятия. Одна приятельница нашей матушки одолжила ему необходимую сумму для составления и напечатания первых номеров «Кроник», которая предшествовала «Ревю паризьен». Добрые верные друзья Теофиль Г<оть>, Лоран-Ж<ан>, Леон Г<озлан>, маркиз де Б<еллуа>, граф де Г<раммон> оказали ему немалую помощь. Привлек он также молодые таланты, чье будущее предвидел; среди прочих Шарль де Бернар опубликовал в «Кроник» «Сорокалетнюю женщину», один из своих шедевров, имевший впоследствии такой успех. Невзирая на столь мощную

поддержку, «Кроник» провалилась за отсутствием денег и отсутствием подписчиков.

Несколько лет спустя после такой неудачи Оноре, неутомимый в своих надеждах, написал почти в одиночку три номера «Ревю паризьен» (он жил тогда в Виль-д'Авре). Он поместил в этом листке статьи о Фредерике Стендале, Вальтере Скотте и Купере, которые, как меня уверяли, являются образцом литературной критики.

Усталость, испытанная им от работы над газетой, выражена в нескольких строчках, помеченных Виль-д'Авре:

«Не могу приехать повидаться с тобою, милая сестрица, усталость приковывает меня к месту; я прекратил ночную работу, ложусь рано и сплю. Никуда не хожу, поссорился с де Г<раммоном>, уже порвал со всем этим кругом. Третий номер моего «Ревю» появится через два дня. Не волнуйся, я устроюсь с оплатой, о которой ты мне говоришь. Почему маменька печалится? Правда, мне еще предстоит страдать, но в сражении надо идти вперед, не расслабляясь.

А все-таки, до скорой встречи; ты знаешь, как привлекает меня предместье Пуассоньер. Впрочем, если вы слишком скучаете по братцу, приезжайте в Виль-д'Авре».

Пока он жил в Виль-д'Авре, он снимал еще комнату в Париже у портного Бюиссона, на углу бульвара и улицы Ришелье; там он ночевал, когда приезжал провести вечерок в городе. Продав Жарди, он поселился на улице Басс № 19, в Пасси, и оставался там много лет, вплоть до переезда в бывший дом Божона. На этом закончились его скитания.

Тем временем нападки на моего брата не только не утихли, а возобновились с удвоенной силой; критики, которые не могли без конца повторяться, сменили оружие и стали обвинять его в безнравственности; то был наилучший способ уязвить его и оттолкнуть от него публику, которая испугалась и вознегодовала на автора «Человеческой комедии». В Испании, в Италии, в частности, в Риме, его произведения были запрещены.

Легко судить о безнравственности, когда речь идет о поведении человека в жизни, но весьма трудно правильно применить это понятие к искусству. Разве театр и книги не воспитывают посредством изображения пороков так же, как и посредством изображения добродетелей? Какой писатель, если только это не Беркен и не Флориан, может избежать упрека в безнравственности со стороны современных критиков? Они держат это про запас, на случай, если им нечего сказать о литературных достоинствах сочи-

нений. Мольер боролся против их нападков за своего «Тартюфа», Ричардсон за своего Ловеласа — создание столь порочное и столь блестящее. Чего только не говорили о том доме, куда Ловелас отвез Клариссу! Наконец, «Манон Леско» аббата Прево!

Эти обвинения очень повредили моему брату, они его глубоко огорчали, а временами и обескураживали.

— Они упорно отрицают мое произведение в целом, чтобы удобнее было вырывать из него детали; мои чистоплюи критики стыдливо отворачиваются от некоторых персонажей «Человеческой комедии», к несчастью, столь же правдивых, как и прочие, и выделяющихся на фоне обширной картины нравов нашей эпохи; в наше время, как и во все времена, имеются пороки; что же, они хотят, чтобы я во имя невинности вымазал одной белой краской все две или три тысячи персонажей, фигурирующих в «Человеческой комедии»? Посмотрел бы я, как бы они принялись за дело. Я не выдумываю мужа и жену Марнеф, Юло и Филиппа Бридо, их встречаешь на каждом шагу в пределах нашей старой цивилизации. Я пишу для взрослых людей, а не для юных девиц! Пусть они назовут мне страницы, на которых попираются церковь и семья! Такая несправедливость возмущает сердце и печалит душу!.. Из каких мучений создается успех! — добавлял он, опустив голову на ладони и . — В конце концов, к чему жаловаться?

Подобные терзания и впрямь удел выдающихся людей, их венец — это часто венец терновый, коему иронически поклоняется пошлость, отрицая их царственное достоинство до того дня, когда смерть дарит им бессмертие. Мой брат говорит в одном из своих произведений: «Смерть — это освящение гения».

Но справедливости ради следует сказать, что если Бальзака нередко оскорбляли те, кто сознательно не принимал его понятий и особенностей его творчества, и те, кто действительно не понимал его, то бывали у него и победы, искупавшие все несправедливости. Приведу только один пример такого триумфа.

Однажды вечером в Австрии, в Вене, входит он в концертную залу, и все присутствующие разом поднимаются, чтобы приветствовать автора «Человеческой комедии». При выходе из театра, в толпе, какой-то юный студент хватает моего брата за руку и подносит ее к губам, со словами: «Целую руку, написавшую «Серафиту!»»

— На его молодом лице было написано столько восторга и убежденности, — рассказывал мне О н о р е , — что эта

искренняя почесть тронула мое сердце, и, когда отрицают мой талант, воспоминание о юном студенте утешает меня.

Этот человек, вероятно, еще жив; если ему попадет на глаза моя книга, ему, быть может, приятна будет мысль, что он доставил радость великому писателю, радость, которую тот сохранил в памяти.

Приведенные мною письма позволяют судить о пылкости этого ума и жаркой крови, от которой билось это сердце, коего никогда не могло остудить никакое разочарование.

Голова кружится, когда читаешь эту переписку; сколько в ней отражено трудов, надежд, замыслов! Какая деятельность духа! Какое беспрестанно возрождающееся мужество! Какая богатая натура! Если сердечные невзгоды, которые его не миновали, либо усталость приводят временами к некоторой подавленности, то как он обуздывает себя и сейчас же вновь обретает свою могучую энергию и трудоспособность, никогда ему не изменявшую!

К тому же на людях Бальзак был совсем иной, чем тот, кто расцветал душою в нашем обществе, в разговорах с нами или в своих письмах; он был обаятелен, блестящ и умел так хорошо прятать все свои горести, что казался одним из самых счастливых людей на свете; чувствуя величие своего духа, он охотно опускался ниже всех.

Он гордо скрывал свою бедность, ибо не хотел, чтобы его жалели. Если бы он ощущал большую свободу действий, большую независимость от людей, он откровенно бы в ней признался.

Через свое неблагополучие Бальзак пришел к познанию общества. Ведомый духом наблюдательности, посещал он социальные горы и низины общества, изучал, подобно Лафатеру, все лица, отпечатки, оставленные на них страстями и пороками, коллекционировал типы на огромном людском базаре, как антиквар выбирает диковинки, отправлял эти типы на те места, где они могли ему пригодиться, помещал их на первый или второй план согласно их значению, распределял свет и тень с магией великого художника, коему ведомо могущество контрастов, давал, наконец, каждому из своих созданий имя, внешность, мысли, язык, характер настолько ему присущие, что персонажи его обретают каждый свою особенность и в громадной их толпе ни одного не спутаешь с другим.

У него была удивительная теория насчет имен; он уверял, что придуманные имена не придают жизни вымышленным существам, тогда как имя, которое кто-то носил в действительности, делает их реальными. Поэтому он соби-

рал имена персонажей «Человеческой комедии», где только мог, во время своих прогулок. Если у него бывал удачный улов, он возвращался домой в радостном настроении.

— *Матифа! Кардо!* Что за восхитительные имена, — говорил он мне. — Я нашел *Матифа* на улице Перль, в Марэ. Я уже вижу своего Матифа! У него будет бледное кошачье лицо, он будет чуть-чуть полноват, ибо в Матифа, как ты понимаешь, не может быть ничего крупного. А Кардо? Это другое дело, он будет маленький человек, сухонький, как камешек, живой и веселый.

Я понимаю его радость, когда он нашел имя *Маркас*, но подозреваю, что «З» он выдумал.

Зная, как верны некоторые портреты, списанные с натуры, ибо, беря у живых людей имена, он брал и характеры, мы иногда пугались этого сходства, опасаясь, как бы из-за этого он не приобрел новых врагов.

— Ну и дурачки же вы! — говорил он нам, смеясь и пожимая своими могучими плечами, на которых нес целый мир. — Разве люди когда-нибудь узнают себя? Разве существует такое зеркало, которое отражает внутреннюю сущность человека? Да если бы меня написал такой Ван Дейк, как я сам, может быть, я поздоровался бы с самим собою, как с чужим человеком.

Он отважно читал описания своих типов тем, кто неведомо для себя ему позировал. И эти слушатели доказали его правоту: пока мы с тревогой поглядывали на них, думая, что не может быть, чтобы они себя не узнали, они восклицали:

— Какие правдивые характеры! Вы знакомы с господином *таким-то* и господином *таким-то*? Это их портрет, верный их портрет!

Наряду с теми, кто себя не узнавал, были и другие, желавшие непременно узнать себя в некоторых фигурах «Человеческой комедии».

Сколько женщин верили, что вдохновили его на создание образа трогательной Анриетты!

Брат мой не выводил их из сладостного заблуждения, которое толкало их на столь пламенную его защиту. Да простится ему это умолчание, ведь ему очень нужна была подобная преданность!

Ни один автор так долго не обдумывал свои замыслы и так долго не носил их в голове, прежде чем взять в руки перо; он унес в могилу не одну вполне законченную книгу, которые приберегал к моменту своей полной творческой зрелости, пугаясь смутно прозреваемых широких горизонтов.

— Я еще не достиг необходимого совершенства, чтобы браться за эти великие темы, — говорил он.

«Опыт о человеческих силах», «Патология социальной жизни», «Анатомия педагогической корпорации», «Монография о добродетели» — таковы заглавия этих книг, страницы которых, к сожалению, останутся незаполненными.

Те, кто знает литературное мастерство Бальзака и кто издает ныне его произведения, не обвиняют его, как бывало, в том, будто он отдается на волю случая, идя к неизвестной развязке. Он мог, пока писал, менять по своей прихоти некоторые подробности, но план, намеченный заранее, не менялся никогда. Никто лучше его не умел обуздывать трудом ту плодовитость, ту невероятную легкость творчества, которой он был наделен от природы.

— Нельзя доверяться этим качествам, — говорило он, — они часто приводят к пустому изобилию. Прав был Буало, надо непрестанно оттачивать стиль, он один сообщает произведению долговечность.

Всем сердцем большого художника сожалел он о некоторых своих собратях по перу, которые растратили незаурядный талант, слишком положившись на эти опасные, по его суждению, способности.

Любовь к совершенству и уважение, которое питал он к своему таланту и к публике, побуждали его, быть может, чересчур много трудиться над стилем. За исключением нескольких произведений, написанных в таком счастливом порыве вдохновения, что потом он к ним почти не прикасался (таких, как «Обедня безбожника», «Гренадьер», «Поручение», «Покинутая женщина» и так далее), он держал обыкновенно по одиннадцать—двенадцать корректур каждого листа, прежде чем *подписать к печати* этот долгожданный лист, настолько утомляя этими корректурами несчастных типографских рабочих, что никто из них не мог отработать больше одной страницы Бальзака подряд.

И при том, что он требовал столько корректур для каждого листа и что исправления намного уменьшали его гонорар (ибо книгоиздатели не желали брать расходы на свой счет), его обвиняли в том, будто он гонит страницы, преследуя свою выгоду! Типографские рабочие, печатавшие эти упреки, должно быть, вволю посмеялись.

Когда несправедливость доходит до гротеска, только это и остается; и не подобные нападки тревожили моего брата. Гораздо больше раздражали его те, кто, по видимости, хвалил его, но не понимал.

Его известности способствовали не самые значительные

его творения, те, что снискали ему в начале литературной деятельности славу «самого плодовитого из наших романистов»; под защитой этого скромного звания, которое не предполагало высокого превосходства над другими авторами, а потому не вызывало еще зависти, он мог публиковать более серьезные книги, для коих, не будь его имя уже известно, он, возможно, не нашел бы издателя. <...>

Те, кто были рядом с Бальзаком от колыбели до могилы, могут засвидетельствовать, что этот человек, столь проникательный, ясновидящий, был прост и доверчив до ребячливости в своих забавах, обладал самым мягким характером, проявлявшимся даже в дни печали и душевной подавленности, и был так дружелюбен по отношению к близким людям, что общение с ним всегда приносило радость.

Человек, написавший «Сельского священника», «Бедных родственников», «Крестьян», в часы отдыха походил на школьника на каникулах; он сеял вьюнки вдоль ограды своего сада на улице Басс, в Пасси, по утрам наблюдал, как они раскрываются, восхищался их окраской, восторгался красотой убранства некоторых насекомых, шел пешком через Булонский лес и приходил в Сюрсен, где мы жили некоторое время, чтобы сыграть в бостон в кругу семьи, причем выглядел большим ребенком, нежели его племянницы; он хохотал над каламбурами, завидовал счастливым, обладающим «этим чудесным даром», сам старался их придумать, не мог и говорил с сожалением:

— Нет, это не каламбур!

Он охотно повторял единственных два каламбура, найденных им за всю жизнь.

— Не такая уж это удача, — признавал он с полным смирением, — потому что они получились у меня невольно. (Мы даже подозревали, что он их подправил задним числом.)

Его очень занимали переиначенные пословицы, вошедшие одно время в моду в мастерских художников; по этой части он был более удачлив, чем по части каламбуров; он сочинял их для своего мазилки Мистигри (из «Первых шагов в жизни») и для госпожи Кремьер (из «Урсулы Мируэ»). «Женщина — главная тупица в домашней колеснице» — эта находка доставила ему такую же радость, как самые прекрасные его мысли.

— Вам такого не выдумать! — говорил он нам.

Он придумывал для наших лотерей девизы, под которыми мы скрывали выигрыши, и мы бурно радовались, когда девизы эти получались удачными.

— И писатель может на что-нибудь пригодиться, — говорил он совершенно серьезно.

Пианист Шмуке и банкир Нусинген, которых он заставил говорить на смеси французского с немецким, забавляли его не меньше, чем мазилка Мистигри и госпожа Кремьер. Он смеялся до слез, читая нам речи этих персонажей на их жаргоне.

Много, и не беспричинно, говорилось о его чрезмерном самомнении, но самомнение это было столь неприкрытым и к тому же столь обоснованным, что казалось предпочтительнее ложной скромности, из-под которой нередко выглядывает пушья гордыня.

Как не простить самомнения тому, кто подписал своим именем «Сельского врача», «Поиски Абсолюта», «Сельского священника» и столько других грандиозных творений, если только уверенность в своем таланте могла придать ему терпение и силу, необходимые для создания подобных произведений; конечно, лучше бы ему сдерживать этот наивный восторг перед самим собою, но разве не значило бы это требовать невозможного от человека столь открытого? Впрочем, по его письмам видно, что за удовлетворением следовало по пятам сомнение, столь же искреннее, как и его приступы самодовольства. Тогда он с тревогой спрашивал, позволит ли ему творчество, сокращавшее его дни, долго жить в памяти потомства.

Но не надо думать, что самолюбие делало его глухим и неспособным выслушивать правду. Ему можно было прямо сказать: по-моему, то-то и то-то получилось дурно. Он, правда, начинал кричать, спорить, даже браниться и утверждал, что названное слабым место на самом деле наилучшее во всей книге. Но если, невзирая на его брань и гнев, ты не сдавался и продолжал отстаивать свое мнение, он задумывался; он не упускал ни одного твоего слова и замечания, взвешивал их, оценивал в одинокие часы ночной работы и возвращался, чтобы пожать руку другу, достаточно любящему его, чтобы сказать ему правду.

— Вы были правы, а я не прав, — говорил он с тем же чистосердечием и равно благодарный в обоих случаях; дружба брала верх над самолюбием!..

Он первым смеялся над своим самомнением и позволял смеяться другим; впрочем, он всегда знал цену похвалам и никогда не обманывался пустыми банальностями. Он был прост и доверчив, но не мог быть глуп.

Он преклонялся перед талантом, где бы тот ни проявлялся — у друзей, как и у врагов; он заступался за тех

и других перед лицом всякой пошлости, которая клеветала или нападала на высокий дух!

Сколько раз он втихомолку оказывал покровительство неизвестным авторам, случайно прочитав их первые произведения, и начинал расхваливать их редакторам журналов и газет!

— У этого человека есть будущее, — говорил он. И подобное суждение имело вес.

Ему довольно было одной живописной и острой фразы, чтобы исчерпывающе выразить житейские обстоятельства и будущее человека, и невозможно было лучше, чем он, говорить и лучше читать; поэтому о слабых местах его книг нельзя было судить по его чтению — он мог бы заставить восхищаться и стихами Триссотена.

Эгоизм, в коем его упрекали, происходил от его злополучного положения и великих трудов. Будь он свободен, он сделался бы обходителем и внимателем; спросите об этом друзей, которых он сумел сохранить до последнего дня своей жизни, и у молодых литераторов, коих он не раз одаривал советами и отдавал им свое время — единственное его богатство.

Но тот, кто приносит в жертву свои дни ради того, чтобы жить в будущем, не имеет ли права уклоняться от требований общества, от тех мелких обязанностей, из которых состоит вся жизнь праздных людей? И заслуживает ли обвинений в безразличии, поскольку воздерживается от этого?

Приведенные мною письма ясно отвечают на такие обвинения и позволяют судить о его сердце.

К тому же мой брат обладал таким обаянием, что в его присутствии исчезала справедливая, нет ли, досада на него, какую вы могли таить, и помнилась только любовь к нему.

Его не забыл никто из служивших ему людей, а ведь он не мог содержать их так хорошо, как хотел бы! Начиная с бедной женщины, о которой он пишет в «Фачино Кане» (она заменила в его мансарде бестолкового Я-сама), которая прибегала каждое утро из глубин Сент-Антуанского предместья на улицу Ледигьер и потом навещала его всюду, где бы он ни поселялся, и до Франсуа, отставного военного, ставшего одним из последних его слуг, — все любили его до самозабвения; а ведь, бог свидетель, они не знали у него ни праздности, ни изобилия!

— Что-то в нем такое есть, что ему и задаром служить будешь, — говорили о нем. — Когда ты ему нужен, не чув-

ствуешь, что устал или что спать хочется, и пусть он на тебя ворчит, пусть хвалит — все равно ты доволен.

Что касается дружеских привязанностей, то, как он и говорил в письме к г-ну Д<аблену>, верно, что он не предал ни одной из них и сохранил все. Он был связан с самыми замечательными людьми своего времени, и все они гордились его дружбой и платили ему тем же. Не раз бросал он работу, чтобы навестить захворавшего друга; долги сердца у него главенствовали над всеми прочими.

В присутствии тех, кого он любил, он так увлекался, что, забежав на минуту, засиживался целыми часами; потом приходили угрызения совести, он выговаривал сам себе, твердя:

— Чудовище! Негодяй! Вместо того, чтобы болтать, тебе надо было еще поработать над рукописью!

И он терял еще больше времени, подсчитывая, во что обошлись ему часы передышки, — сказочный подсчет, который начинался с разумных цифр и доходил до самых невероятных.

— Потому что нужно учитывать и переиздания, — говорил он.

Словом, этот великий ум обладал всей прелестью и обаянием, присущим обыкновенно людям, чья любезность — единственное их достоинство.

Его милая, счастливая веселость придавала ему ясность духа, необходимую для продолжения его трудов; но нелепо было бы судить о Бальзаке по этим минутам ветрености; мужчина-дитя, снова взявшись за работу, превращался опять в самого глубокого и серьезного мыслителя!

Жорж Санд, хорошо его знавшая и говорившая о нем с высоким благородством, Жорж Санд, которую он называл *братец Жорж*, вероятно, чтобы воздать должное ее мужественному гению, ошибалась в единственном случае — приписывая ему чрезвычайное благоразумие; такой похвалы он не заслужил; главное для него была работа, но он любил и смаковал все радости жизни; мне думается, он был бы самым большим фатом из всех мужчин, не будь он самым большим скромником! Он, такой доверчивый во всем, что касалось его самого, ни разу не допустил оплошности в отношении своих знакомых и верно хранил чужие секреты, хотя не умел хранить свои.

Я нашла среди его писем такую оценку Жорж Санд:

«В ее душе нет ни одной мелочной черты, ничего от той низкой зависти, которая омрачает столько современных талантов. В этом она похожа на Дюма. Жорж Санд —

самый благородный друг, и я с полным доверием советовался бы с нею в минуты затруднений, как правильно поступить в тех или иных обстоятельствах; но, мне кажется, ей недостает критического чутья, по крайней мере при первом впечатлении; она слишком легко поддается внушению, не отстаивает твердо свое мнение и не умеет побивать доводы, выставляемые противником в подтверждение его правоты».

По поводу своего небольшого роста (он был ростом всего пяти футов) мой брат шутил, что «великие люди почти всегда малы».

— Вероятно, нужно, чтобы голова была близко к сердцу, для того чтобы эти две силы, управляющие организмом, хорошо действовали, — добавлял он.

Дома его всегда можно было видеть в широком кашемировом халате белого цвета, на белой шелковой подкладке, скроенном наподобие монашеской рясы и подвязанном шелковым витым поясом, на голове черная шелковая скуфейка вроде Дантова колпака, какую он завел себе еще в мансарде и всегда носил с тех пор; шила их ему только матушка.

В зависимости от того, в какое время дня он выходил в город, наряд его бывал либо весьма небрежен, либо весьма тщателен. Если вы встречали его утром, усталого после двенадцати часов труда, когда он пешком бежал в типографию, надвинув на глаза старую шляпу, упрятав свои восхитительные руки в грубые перчатки, в башмаках с высокими задниками и заправленных в башмаки широких складчатых панталонах, он мог затеряться в толпе; но когда он обнажал свой лоб, глядел на вас или с вами говорил, его напоминал самый заурядный человек.

Благодаря постоянному напряжению мысли, лоб его, от природы широкий, казался еще больше, ведь он вбирал в себя столько света! Его ум проявлялся с первых же слов и даже жестов! Художник мог бы изучать по этому подвижному лицу выражение всех чувств: радость, горе, энергия, душевный упадок, ирония, надежда или разочарование, малейшие движения души отражались на нем.

Внешнюю вульгарность, какую придает человеку полнота, он преодолевал манерами и жестикующей, отмеченными прирожденным изяществом и изысканностью.

Он часто менял прическу, но она всегда была артистична, как бы он ни укладывал волосы.

Бессмертный резец запечатлел для потомства его черты. Бюст моего брата в сорокачетырёхлетнем возрасте, высе-

ченный Давидом, верно передал его прекрасный лоб, великолепную шевелюру, признаки физической силы, равной его духовной силе, чудесную постановку глаз, тонкие линии квадратного на кончике носа, извилистые очертания губ, на которых добродушие сливается с насмешливостью, форму подбородка, завершающего овал лица, который был таким правильным, пока полнота не нарушила его гармонии. Но, к сожалению, мрамор не мог сохранить огонь его глаз, этих светочей высокого духа, их карие зрачки с золотыми, как у рыси, крапинками.

Эти глаза вопрошали и отвечали без помощи слов, видели мысли, чувства, метали лучи, казалось, вырывавшиеся из внутреннего горна, и посылали во внешний мир свет, вместо того чтобы его вбирать.

Друзья Бальзака подтвердят правдивость этих строк, кои те, кто его не знал, могут счесть преувеличением.

Мой брат представил на конкурс свою книгу «Сельский врач», рассчитывая на Монтионовскую премию, и не получил ее.

Дважды выставлял он свою кандидатуру в Академию — и не был принят. Письмо, адресованное Нодье, которым я располагаю благодаря любезности его внука, г-на Меннесье-Нодье, говорит о первой неудаче брата.

«Добрый мой Нодье!

Теперь я слишком хорошо знаю, что одна из помех моему успеху в Академии — это мое материальное положение, и вынужден с глубокой горечью просить Вас не употреблять Ваше влияние в мою пользу.

Если я не могу попасть в Академию по причине самой почетной бедности, то никогда не стану претендовать на место в ней в те времена, когда благосостояние даст мне на это право. В том же духе написал я и нашему другу Виктору Гюго, принимающему во мне участие.

Дай Вам бог здоровья, милый Нодье».

Господин Л<оран>-Ж<ан>, его друг, разрешил мне опубликовать три письма, посланных из России за год до смерти моего брата.

«Любезный Л<оран>!

Если «Французский театр» отказывается от «Меркаде», ты можешь предложить эту пьесу, со всеми обычными предосторожностями, Фредерику Леметру. Здесь я наслаждаюсь покоем, позволяющим мне работать; поэтому ты

получишь нынешней зимой несколько сценариев пьес, которые займут твой досуг, ибо я хочу твоего сотрудничества. Скоро у тебя будет «Король нищих». Очень хотелось бы знать, что случилось с нашей бедной Францией, которую, как мне кажется, республиканцы совсем доконали. Я слишком патриот, чтобы не думать о глубоких несчастьях, кои, должно быть, испытывают все, особенно художники и литераторы! Какая бездна — нынешний Париж! Он проглотил Л<амартина>, Г<юго>, а возможно, и множество других; а ты, друг мой, как ты поживаешь? Позволяет ли еще тебе республика завтракать в кофейне «Кардинал» и обедать у Вашетта?

Здесь у нас есть один человек, замечательно работающий по железу; если ты захочешь прислать мне рисунок чаши, как бы ни была она затейлива, он сможет выполнить ее в железе или в серебре. Таким путем ты помог бы большому художнику, выросшему как гриб в украинской глуши. А коль скоро ты добавил бы к этому рисунку несколько славных гравюр, какие часто продаются за гроши, и составил маленькую коллекцию орнаментов, я с радостью возместил бы тебе расходы; я скажу тебе, как можно будет их мне переслать, и таким образом мы поможем достойному и большому художнику, доставив ему образцы.

Тысяча дружеских чувств, невзирая на твой лаконизм.

Сердечно твой».

«9 февраля 49.

Моя сестра пишет мне о странных превращениях, коим О<стейн> хочет подвергнуть «Меркаде». Твой ум и рассудительность, должно быть, подсказали тебе еще до моего письма, что невозможно делать из комедии характеров грубую мелодраму.

Я никогда не думал, что эта пьеса может пойти на бульваре без Фредерика Леметра, Кларанса, Фехтера и Кольбрюна.

Поэтому я формально протестую против того, чтобы «Меркаде» переделывали и ставили. Но я не мешаю О<стейну> сделать пьесу на этот сюжет, только надо, чтобы ты уяснил себе и заявил другим:

Что в театре никому не интересны денежные дела, они противодраматичны и годятся только для таких комедий, как «Меркаде», которая восходит к старинным комедиям характеров.

Итак, подвожу итог: моя пьеса останется такой, как есть. Сюжеты принадлежат всем. О<стейн>, имеющий большой опыт в театре, не сделает из нее драму, ибо для того, чтобы заинтересовать публику, надо было бы дойти до убийства.

А теперь, дорогой Л<оран>, если ты можешь узнать из достоверного источника, кто были те два академика, что подали за меня голоса при моем последнем провале, ты доставишь мне большое удовольствие, ибо я хочу их поблагодарить отсюда самолично. Не ошибись, потому что многие захотят быть в числе этих двух; я желаю знать точно.

Академия предпочла мне г-на ***. Вероятно, он лучший писатель, нежели я, но я куда учтивее его, потому что я отступил перед кандидатурой Виктора Гюго. И потом, г-н *** — человек степенный, а у меня, черт побери, есть долги!

* * * * *
Ж<анен> был мил по отношению ко мне; прошу тебя горячо поблагодарить его за это. Если встретишь Готье, скажи ему от моего имени дружеское словечко, ибо ко мне доходят с разных сторон вести о «Пресс». Его статьи производят в Германии сенсацию, невзирая на революции, философские проповеди и прочие немецкие тучи.

Привет также Ролю, моему старому товарищу, он, по слухам, очень хорошо отозвался о «Человеческой комедии».

В скором времени ты получишь «Короля нищих», пьесу, как раз подходящую для республики и лестную для его величества народа.

Бог тебя храни, а на меня рассчитывай как на человека, который всегда будет называться твоим другом».

«10 декабря 49.

Любезный Л<оран>!

Длительная и жестокая болезнь сердца, с разными превратностями, мешала мне писать, разве что по самым неотложным делам и по семейному долгу.

Сегодня доктора (их два) разрешили мне не работать, а только развлекаться, пользуясь этим разрешением, чтобы написать тебе.

Большое будет счастье, если я смогу вернуться в Париж через два месяца, ибо мне потребуется не меньший срок для полного выздоровления. Печальная расплата за то, что я работал сверх меры; но не будем об этом говорить.

Итак, я могу быть в Париже в феврале и чувствую твердое желание и необходимость работать в качестве члена Общества драматических авторов, ибо в долгие дни лечения я открыл маленькую театральную Калифорнию, где можно начинать добычу; но что делать здесь? Невозможно пересылать рукописи с такого расстояния. Граница закрыта по случаю войны, и ни одного иностранца не пропустят. Подожди же моего возвращения, дабы не ограничиваться разговорами.

Я уверен, что в литературе и искусстве у нас сейчас дела очень плохи. Все остановилось, не правда ли? Найду ли я в феврале 1850 года публику, готовую посмеяться? Сомнительно. И все-таки я буду работать. Подумай, ведь написать одну сцену в день — значит триста шестьдесят пять сцен в год, что составляет десять пьес. Если даже пять провалятся, три будут иметь посредственный успех, останутся две, которые пойдут с успехом, а это уже неплохой результат.

Да, надо быть мужественным, пусть только вернется ко мне здоровье, и я дерзко взойду на драматическую галеру, со славными сюжетами в кармане. Но не дай мне бог разбиться о риф из пустых стульев!

Повторяю, друг мой, всякое счастье достигается мужеством и трудом. Я знавал долгие дни злосчастия и всегда выходил из положения при помощи энергии, а главное, иллюзий; вот почему и теперь я надеюсь, и надеюсь горячо.

Здесь у нас живет один ученый, вернувшийся из Армении, который утверждает, что курды — не кто иные, как чистокровные моисеевы евреи.

До скорой встречи, с самыми дружескими чувствами».

Вспомнив о «Меркаде», скажу несколько слов о «Вотрене», первой пьесе моего брата, поставленной в марте 1840 года в театре «Порт-Сен-Мартен». Актер, коему была поручена главная роль, без ведома директора и автора в сцене, где Вотрен появляется в облике мексиканского генерала, возымел идею скопировать одну весьма могущественную особу. Оноре сейчас же понял, что пьесу запретят.

Я знала, на чем основан успех спектакля. Обеспокоенная взрывом, который должно было произвести крушение всех надежд брата, я наутро побежала к нему на улицу Ришелье, где он снимал комнату, и нашла его в жестокой лихорадке. Я перевезла его к себе, чтобы удобнее было за

ним ухаживать. Через два часа после его водворения у меня прибежали Виктор Гюго, Александр Дюма и многие другие его собратья по перу предложить ему свои услуги.

Приехал г-н *** и сказал брату, что берет на себя труд добиться для него хорошего возмещения убытков, если он согласится взять обратно «Вотрена», не дожидаясь мер со стороны властей, коим неприятно их предпринимать.

— Милостивый государь, — отвечал ему брат, — запрещение «Вотрена» причинило бы мне большой ущерб, но я не приму денег в возмещение несправедливости; пусть мою пьесу запрещают, но сам я ее из театра не заберу.

«Вотрен» был снят с афиши после третьего представления.

Заслуживали ли неуспеха первые драматические опыты моего брата? Не знаю, но я думаю, что тот, кто создал «Меркаде» и первый зондировал рану биржевой игры, которая губит в наше время столько семейств, мог надеяться стать знаменитым в этой области литературы.

Быть может, когда-нибудь я завершу повествование о последних годах жизни моего брата; подробности, которые я приведу, тоже будут опираться на письма, кои покажут, как изменилось его духовное существо под влиянием житейского опыта, купленного столь дорогою ценой; прежний Бальзак обуздал свою порывистость и открытость, стал осторожным, суровым, даже серьезным, правда, без мизантропии.

Наконец, я расскажу о последних днях его жизни, оборвавшейся в расцвете лет и таланта прежде, чем он завершил свое творение, когда он надеялся на счастье, по крайней мере начинал наслаждаться столь долгожданным покоем, — расскажу об этих трагических обстоятельствах, взволновавших друзей и недругов.

Радость его жизни составляли громадный успех и глубокие сердечные привязанности; были у него и великие скорби — ничего посредственного не было в душе этого человека, коему бог даровал утонченную чувствительность и высокий ум. Кто посмеет сожалеть о нем либо ему завидовать?

Я раскрыла его характер, я показала его в частной жизни, рассказала о его отношениях с семьей и с друзьями, о несчастьях, с коими он отважно сражался, мужественно их сносил, — я думаю, что выполнила свою задачу, если в писателе, которым все восхищаются, заставила полюбить человека; в этом я вижу свой долг перед ним. Только сильным принадлежит право судить о нем как об авторе.

ИЗ КНИГИ
«БАЛЬЗАК И ЕГО СОЧИНЕНИЯ»

Бальзак! — Вот имя поистине великого человека! Великого человека, созданного самою природой, а не волею человеческой! «Я человек, — говорило он, — и когда-нибудь смогу добиться не только литературной известности, но и прибавить к званию великого писателя звание *великого гражданина* — такое честолюбивое стремление тоже может соблазнить! (Письмо к его сестре и другу, г-же де Сюрвиль, 1820 г.)

Бальзак имел право так думать о себе и так оценить себя перед богом и перед сестрою; в нем было все: величие гения и величие нравственное, бесконечное благородство таланта и бесконечное разнообразие способностей, богатство самоощущений, изысканно тонкая впечатлительность, женская доброта, мужская сила воображения, мечты бога, всегда готовые обмануть человека... словом — все, кроме способности соразмерять идеал с действительностью! Все его несчастья, а они были велики, как и его характер, происходили от этого избытка, величия его таланта; они превосходили не его ум, безграничный и всеобъемлющий, они превышали возможности человеческие: вот подлинная роковая причина его взлетов и падений. То был орел, взор которого не охватывал пределов его парения.

Выпади на долю Бальзака счастье Наполеона — и он достиг бы своей цели, ибо мог свершить то, о чем мечтал.

«Реальное тесно, возможность бескрайна» — как я сам когда-то писал.

Исполинский дух, терзаемый скудным счастьем, — вот точное определение этого несчастного великого человека.

Нам, испытавшим печальную радость жить с ним рядом и быть его современниками, надлежит говорить о нем всю

правду, и мы не должны приписывать этому редкостному человеку ошибки его судьбы.

Не об авторе говорю я так, а о человеке: человек в нем был в тысячу раз шире, чем писатель.

Писатель пишет, человек чувствует и думает. Именно по тому, как он чувствовал и думал, я и судил всегда о Бальзаке.

Первый раз я увидел его в 1833 году; я подолгу жил тогда вне Франции и тем более был далек от мира литературного полусвета, о котором рассказал великий сын великого Александра Дюма. Я знал только классические имена нашей литературы, да и то очень мало, за исключением Гюго, Сент-Бева, Шатобриана, Ламенне, Нодье и как крупных ораторов Лене, Ройе-Коллара; все перипетии жизни Парижа — военные, театральные или романические — были мне чужды: я не бывал за кулисами, не прочел ни одного романа, кроме «Собора Парижской богоматери». Мне было известно лишь, что существует молодой писатель по имени де Бальзак; что он проявил себя как здоровый, самобытный талант. <...>

И вот мне случайно довелось прочесть две-три страницы Бальзака, глубоко взволновавшие меня энергией правды и возвышенностью настроения. И я сказал себе: «Родился человек. И если общественное мнение его поддержит и несчастье не доведет его до парижской сточной канавы, он станет когда-нибудь великим человеком!»

Некоторое время спустя я снова встретил его на обеде в небольшом интимном кругу в одном из тех нейтральных домов Парижа, где встречались тогда, как в приюте старины, независимые умы всех оттенков. Это было у человека, сумевшего создать в ту пору газету «Пресс». «Пресс» — детище Эмиля де Жирардена, — осмеивая с большим талантом ложные страсти и общие банальные места нашей оппозиции, обещала стать новым органом, и Эмиль де Жирарден в политике, а г-жа де Жирарден с ее тонкой насмешкой в литературе создавали этой газете двойной успех.

Г-жа де Жирарден знала о моем желании познакомиться с Бальзаком. Она любила его так же, как я сам был расположен его любить. Ни одно сердце и ни один ум не могли бы нравиться ей больше. Ее чувства жили в унисон с его чувствами: на его веселость она отвечала шутливо-

стью, на его серьезность — грустью, на его талант в ней откликалось воображение. Он также чувствовал в ней существо высшей породы и подле нее забывал все невзгоды своего неустроенного бытия.

Однажды я приехал к Жирардену очень поздно, задержавшись из-за прений в палате; и тут я сразу же забыл обо всем: мой взгляд приковал к себе Бальзак. В нем не было ничего от человека нашего столетия. При виде его можно было подумать, что время передвинулось и что вы очутились в обществе тех бессмертных, которые, группируясь вокруг Людовика XIV, входили к нему запросто и чувствовали себя в королевском дворце, как у себя дома, не возносясь и не унижаясь; это были: Лабрюйер, Буало, Ларошфуко, Расин и, конечно же, Мольер. Бальзак нес свой гений так просто, словно его не ощущал. Едва взглянув на него, я вспомнил об этих людях. И я сказал себе: «Вот человек, родившийся два столетия назад. Вглядимся же в него пристальней».

Бальзак стоял перед мраморным камином в том богатом салоне, куда приходили блистать столько мужчин и замечательных женщин. Он был невысок, хотя игра его лица и подвижность стана мешали заметить его рост; этот рост был изменчив, как его мысль. Казалось, что между ним и землей оставался некий просвет; он то наклонялся к земле, словно для того, чтобы собрать сноп идей, то выпрямлялся во весь рост, вытягиваясь на носках, чтобы устремиться вслед за полетом своей мысли в бесконечность.

Он был увлечен разговором с г-жой де Жирарден и ни на минуту не прервал ради меня своей беседы. Он только бросил на меня взгляд живой, пристальный, ласковый, исполненный веселого дружелюбия. Я подошел, чтобы пожать ему руку, и увидел, что мы понимаем друг друга без слов: словно все уже было сказано между нами. Он был захвачен разговором и не мог остановиться. Я сел, а он продолжал свой монолог, словно мое присутствие его водушевило, вместо того чтобы прервать. Слушая его внимательно, я имел время наблюдать за ним в его непрерывном движении.

Он был полный, плотный, с квадратным туловищем и плечами; шея, грудь, плечи, бедра, конечности — мощные; много от полноты Мирабо, но никакой тяжеловесно-

сти; в нем было столько оживления, что он носил свое тело легко, весело, как гибкую оболочку, но никоим образом не как груз. Его вес, казалось, придавал ему силы, а не удерживал его. Его короткие руки с легкостью жестикулировали, он говорил, как оратор. В его громком голосе звучала энергия, порою прорывалась какая-то дикарская сила, но в нем не было ни грубости, ни иронии, ни гнева; его ноги — он ходил немного вразвалку — легко несли его тело; движения его рук, пухлых и больших, казалось, могли выразить любую мысль. Таков был этот человек с его крепким телосложением. Но при взгляде на его лицо не думалось больше о его физическом складе. Это живое лицо, от которого нельзя было оторвать глаз, вас очаровывало и совершенно покоряло. Волосы развевались надо лбом крупными волнистыми прядями, пронизывающий взгляд черных глаз смягчался доброжелательностью; эти глаза смотрели на вас доверчиво и дружелюбно; щеки были полные, румяные, цвет лица яркий; нос хорошо вылеплен, хотя немного длинный; зубы неровные, выщербленные, потемневшие от сигарного дыма; голова, часто склоненная набок, горделиво вздымалась, когда он говорил, охваченный воодушевлением. Но преобладающей особенностью его лица, даже более явной, чем интеллект, была удивительная, располагающая к общению доброта. Он восхищал ваш ум, когда говорил, когда же молчал — он восхищал ваше сердце. Ни одна злая страсть — ненависть или зависть — никогда не омрачала этого лица: для него было просто невозможно не быть добрым.

Но это не была доброта безразличия или беспечности, какая запечатлена на лице эпикурейца Лафонтена; это была доброта любящая, чарующая, понимающая себя и других, которая звала к признаниям, внушала желание излить перед ним душу, заставляла людей его любить. Таков был Бальзак. Я полюбил его прежде, чем мы сели за стол. Мне казалось, что я знаю его с самого детства: он напоминал мне добрых деревенских кюре старого режима, с завитками волос на шее, кюре, излучающих ласковое христианское милосердие. Ребяческая веселость — таково было характерное выражение этого лица; он был похож на подростка, вырвавшегося на свободу, когда оставлял перо, чтобы забыться в кругу друзей. Было невозможно не чувствовать себя веселым в его обществе. С детской безмятежностью взирал он на мир с такой высоты, что тот казался ему всего лишь забавной шуткой, мыльным пузырем, пущенным по прихоти ребенка.

Несколько лет спустя, в другом доме и при других обстоятельствах, я был свидетелем того, как серьезен становился Бальзак в ответственные минуты и как совесть побуждала его выступить против зла.

Был один из тех моментов, когда политические партии, ожесточившись в борьбе, склонны были обратить на противника его же оружие и воспользоваться своей победой, чтобы уничтожить тех, кто только что уничтожал их. Мы были всего лишь небольшим сообществом из семи-восьми человек. Увлеченное гневом большинство готово было, забыв человечность и совесть, безжалостно расправиться с теми, кого победа предоставила нашей справедливой мести. Доктрина неумолимой кары во имя общественного блага, казалось, должна была восторжествовать. Бальзак печально слушал. Люди легкомысленные притворялись равнодушными; они разыгрывали величественное пренебрежение к человеческим слабостям; молчание других выдавало их трусливое соучастие. Чужды всем этим настроениям были Бальзак, Жирарден, Гюго. Так как никто не спешил решительно высказаться, слово взял Бальзак; на его лице отразилась застенчивость честного человека, который решился говорить, и это произвело впечатление на всех. Твердо, благородно, убежденно он выступил против легковесных речей, которые только что раздавались, и красноречиво опроверг злые решения, бездумно срывавшиеся с губ. Я взял слово после него; нас поддержал Жирарден, чей радикализм никогда не противоречил милосердию; Гюго, Жирарден, я — мы были опытными политическими ораторами, привыкшими к такого рода спорам; Бальзак был новичком; ему могло показаться, что он остался в одиночестве, без поддержки; но он слушал только свою совесть и говорил, как говорит хороший человек, несмотря ни на что. Его взволнованная речь зажгла нас всех. Раздались аплодисменты. Все его доводы были приняты. «Мне не важно, что вы подумаете обо мне! — сказал он. — Судит бог, и его решение не оспаривается нашими страстями; вы это решение знаете; вы сами его объявили и издали закон 1 июня об отмене смертной казни политическим заключенным! А теперь вы хотите издать другой закон, который узаконил бы народную месть?» Все кончили тем, что согласились с его мнением: совесть гениального писателя смущает глупцов, поражает злосердечных, ободряет малодушных. Это доказал мне Бальзак. Сколько настоящей серьезности и упорства скрывалось под видом веселого благодушия! Совесть человека может быть грозен! <...>

Три характерные черты определяют талант Бальзака: правда жизни, патетика и нравственность. Надо добавить сюда еще драматургическую изобретательность, которая ставит его в прозе наравне с Мольером, а часто и выше Мольера. Я знаю, что при этом сравнении возмущенные крики о кощунстве подымутся по всей Франции. Однако, ничуть не отнимая у автора «Мизантропа» того, что совершенство его стиха прибавляет к оригинальности его таланта, и заявляя, как и все, о его несравненности и неповторимости, я все же считаю, что мой восторг перед великим комедиографом эпохи Людовика XIV никак не дает мне права быть несправедливым и неблагодарным в отношении другого человека, уступающего Мольеру в словесном искусстве, но равного ему, если не превосходящего его, в творческих замыслах и также несравненного по плодovitости таланта. Бальзак! Сколько раз, читая его и следуя с ним вместе по чудесному и нескончаемому лабиринту его изобретательной фантазии, я мысленно восклицал: «У Франции два Мольера: Мольер в стихах и Мольер в прозе!..» <...>

Что касается его таланта — он ни с кем не сравним.

Родился Бальзак и, одаренный от природы огромным талантом и справедливым умом, стряхнул эту шелуху умствований, из которой хотели сшить для Франции национальный костюм, и вышел на прямую дорогу аббата Прево, стремясь лишь к тому, чтобы быть «историографом природы и общества».

Он трудолюбиво следовал своему призванию, переходя с равным успехом от живописания самого отвратительного порока к «Поискам Абсолюта», этому философскому камню самой философии, и к «Лилии в долине», этому перлу чистой любви. Пробегите глазами сто томов его сочинений, щедро брошенных нам его рукой, никогда не знавшей усталости, и согласитесь со мной, что только один человек во Франции был способен выполнить то, что задумал, — создать «Человеческую комедию», эту эпическую поэму правды!

Говорят — я знаю это и сам себе говорю то же самое, дочитывая произведения этого замечательного художника: он совершенен, но вызывает грусть. Прочтя его книгу, оставляешь ее со слезами на глазах. Бальзак печален, это правда. Но он глубок. А разве наш мир весел?

Мольер был печален. Вот почему он был Мольер.

Т. ГОТЬЕ

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ де БАЛЬЗАК»

Около 1835 года я жил в двух комнатенках в тупике Дуайенне, почти на том самом месте, где сейчас расположен Мольенский павильон. Место это, находящееся в центре Парижа, напротив Тюильри, в двух шагах от Лувра, было тогда пустынным и заброшенным, и требовалось немалое упорство, чтобы разыскать меня там. И все же одним прекрасным утром я узрел молодого человека, воспитанного, приветливого и неглупого на вид, который переступил мой порог, извиняясь, что вынужден представиться сам; то был Жюль Сандо, он явился от имени Бальзака, чтобы завербовать меня в «Кроник де Пари» — еженедельник, который вы, быть может, помните и который в денежном отношении не имел успеха, хотя его и заслуживал. Бальзак, по словам Сандо, прочитал «Мадемуазель де Мопен», только что вышедшую в свет, и пришел в восхищение от ее стиля, поэтому он желает закрепить мое сотрудничество в газете, которую он возглавляет и редактирует. Чтобы свести нас друг с другом, была условлена встреча, и с этого дня между нами завязалась дружба, нарушить которую смогла только смерть.

Я рассказываю этот эпизод не потому, что он льстит мне, а потому, что он делает честь Бальзаку, который, будучи уже знаменит, велел разыскать молодого, никому не ведомого писателя, вчерашнего дебютанта, и приобщил его к своим трудам, поставив себя с ним на товарищескую ногу, совершенно на равных. Правда, в ту пору Бальзак не был еще автором «Человеческой комедии», но он уже создал «Физиологию брака», «Шагреновую кожу», «Луи Ламбера», «Серафиту», «Евгению Гранде», «Историю тринадцати», «Сельского врача», «Отца Горио», не считая нескольких новелл, — иными словами, достаточно, чтобы составить

известность пяти-шести обыкновенным писателям. Его нарождающаяся слава, каждый месяц дополняемая новыми лучами, сияла всеми красками утренней зари; и, разумеется, нужен был мощный огонь, чтобы светиться на небе, где сверкали одновременно Ламартин, Виктор Гюго, Виньи, Мюссе, Сент-Бев, Александр Дюма, Мериме, Жорж Санд и столько других, но ни тогда, ни позже Бальзак не становился в позу великого Ламы от литературы и всегда был добрым товарищем; он обладал гордостью, но был начисто лишен тщеславия.

В те времена он квартировал в конце Люксембургского сада, близ Обсерватории, на безлюдной улочке, окрещенной именем Кассини, вероятно, по случаю астрономического соседства. На стене сада, тянувшегося почти вдоль всей улицы, к которой примыкал домик, где жил Бальзак, можно было прочитать: «Абсолют, торговец кирпичом». Эта причудливая вывеска, существующая, если не ошибаюсь, и поныне, весьма меня поразила; может быть, именно отсюда начались «Поиски Абсолюта». Это вещее имя, возможно, подсказало автору образ Бальтазара Клааса с его погоней за несбыточной мечтой.

Когда я впервые увидел Бальзака, ему было лет тридцать шесть, — он на год опередил свой век, — и его лицо было из тех, что не забываются. Глядя на него, я вспомнил фразу Шекспира о Юлии Цезаре:

...перед ним бы дерзко
Могла восстать природа и сказать вселенной:
«Вот это человек!»

Сердце у меня колотилось, ибо никогда не приближался я бестрепетно к властителям мысли, и все заготовленные по пути речи застряли у меня в горле, я смог произнести одну-единственную глупую фразу, что-то вроде: «Прекрасная сегодня погода». Генрих Гейне, отправившись с визитом к Гете, не нашелся сказать ничего лучшего, как сообщить, что сливы, падающие с деревьев на дорогу из Йены в Веймар, превосходно утоляют жажду, и это вызвало добрый смех Юпитера немецкой поэзии. Бальзак, заметивший мое смущение, скоро заставил меня почувствовать себя свободнее, и во время завтрака ко мне вернулось довольно хладнокровия, чтобы подробно его разглядеть.

Уже тогда носил он вместо домашнего халата нечто вроде рясы из кашемира или белой фланели, подпоясанной витым шнуром, той самой, в которой несколько позже его написал Луи Буланже. Не знаю, какая фантазия побудила

его предпочесть всем прочим это одеяние, коему он никогда не изменял, — может быть, в его глазах оно символизировало монастырски уединенную жизнь, на которую обрекала его работа, и, будучи подвижником романа, он перенял одежду монаха-подвижника; на нем постоянно была эта белая ряса, и она была ему замечательно к лицу. Показывая мне белоснежные ее рукава, он похвалялся, что никогда не замарал их ни единым чернильным пятнышком, «потому что», — говорил он, — истинный литератор должен быть опрятен в работе».

Откинутый назад капюшон оставлял открытой его атлетическую бычью шею, круглую, как колонна, без выступающих мускулов, шелковисто-белую по контрасту с более теплым цветом лица. В зрелые годы, в расцвете сил, Бальзак был отмечен печатью могучего здоровья, что мало гармонировало с модной тогда романтической бледностью и худосочием. Чистая туренская кровь играла на его круглых щеках живым румянцем, окрашивала в алый цвет его добрые полные губы, изогнутые, казалось, в постоянной готовности к улыбке; маленькие усики и эспаньолка подчеркивали их контуры, не скрывая рта. Квадратный раздвоенный на кончике нос, с четко вырезанными широкими ноздрями, выглядел необычайно своеобразно: позируя для бюста Давиду д'Анже, Бальзак обратил на это особое внимание скульптора:

— Осторожнее с моим носом, мой нос — это целый мир!

Лоб у него был прекрасный, широкий и благородный, значительно блее остального лица с единственной вертикальной складочкой у основания носа; над бровями очень сильно выступали шишки памяти; густые черные волосы, длинные и жесткие, ерошились сзади, как львиная грива. Что же касается глаз, то им не было равных в мире. В них горела жизнь, они излучали свет, какой-то непостижимый магнетизм. Несмотря на постоянные бессонные ночи, белок был чистый, прозрачный, голубоватый, как у ребенка или юной девушки, и служил оправой для двух черных алмазов, временами отливавших густым золотом. Эти глаза могли заставить орла отвести взгляд, умели читать сквозь стены и сквозь грудную клетку, могли усмирить разъяренного зверя, — глаза властелина, ясновидца, укротителя.

Госпожа де Жирарден в своем романе, озаглавленном «Трость господина де Бальзака», говорит об этих сверкающих глазах:

«Тогда Танкред заметил на верхушке этой своеобразной палицы бирюзу, золото, дивную чеканку, а за всем этим —

два больших черных глаза, сияющих ярче, чем все драгоценные камни».

Стоило встретиться взглядом с этими необыкновенными глазами, и вы переставали замечать все тривиальное или неправильное в чертах его лица. От всей фигуры Бальзака веяло какой-то могучей раблезианской и монашеской жизнерадостностью (такая мысль возникала, вероятно, из-за ярысы), на ум приходил брат Жан Зубодробитель, но возвлекательный и обогащенный первоклассным умом.

По излюбленной привычке Бальзак поднялся с постели в полночь и работал до моего прихода. Однако черты его не выдавали ни малейшей усталости, если не считать легких теней под глазами, и в продолжение всего завтрака он был заразительно весел. Мало-помалу разговор склонился к литературе, и он принялся сетовать на трудности французского языка. Его очень заботил стиль, и он искренне верил, что таковым не обладает. Правда, в те времена ему начисто отказывали в этом достоинстве. Школа Гюго, влюбленная в XVI век и средневековье, изощренная в цезурах, ритмах и периодах, владевшая богатой лексикой, подавлявшая прозу акробатической виртуозностью стиха, подхватившая приемы своего учителя, принимала в расчет только то, что было хорошо написано, то есть тщательно отделано и выпренне сверх всякой меры, и, кроме того, находила, что изображение современных нравов бессмысленно, буржуазно и лишено лиризма. Поэтому Бальзак, несмотря на то что он начал входить в моду у публики, не был принят в круг романтических богов. Жадно глотая его книги, читатели не сосредоточивались на серьезной их стороне, и даже для своих почитателей он долго оставался «самым плодовитым из наших романистов» — и не более того; сегодня это кажется поразительным, но я ручаюсь за истинность моего утверждения. И вот он доставлял себе ужасные муки, стараясь добиться хорошего стиля, и, озабоченный его совершенствованием, советовался с людьми, которые были во сто раз ниже его. Он рассказал, что, прежде чем начать подписывать свои сочинения подлинным именем, он выпустил под различными псевдонимами (Орас де Сент-Обен, Л. де Вьеллергле и др.) сотню томов, «чтобы набить руку»... И однако он уже владел своей собственной формой, не сознавая этого.

Но вернемся к нашему завтраку. Не прекращая разговора, Бальзак играл ножом и вилкой, и я заметил, что у него замечательно красивые руки, настоящие руки прелата, белые, с пухлыми сужающимися к концу пальцами,

с розовыми блестящими ногтями; он щеголял своими руками и довольно улыбался, когда на них обращали внимание. Он усматривал в них признак породы, аристократизма. Лорд Байрон в одной заметке с явным удовлетворением пишет, что Али-паша похвалил его маленькие уши и вывел из этого заключение, что он настоящий дворянин. Подобного рода замечание применительно к рукам точно так же польстило бы и Бальзаку, причем больше, чем хвала какой-нибудь из его книг. Он даже грешил предубеждением против тех людей, чьим конечностям не хватало изящества. Трапеза была довольно изысканная: в ней фигурировал паштет из гусиной печенки. Но то было отклонение от обычной скудости, как, смеясь, заметил Бальзак, и «для такого торжественного случая» он одолжился у своего типографа серебряными приборами.

Я ретировался, пообещав дать несколько статей в «Ироник де Пари», и там действительно были помещены «Путешествие в Бельгию», «Мертвая возлюбленная», «Золотая цепь» и другие мои сочинения. Шарль де Бернар, также приглашенный Бальзаком, напечатал там «Сорокалетнюю женщину», «Желтую розу» и несколько новелл, впоследствии объединенных в сборник. Как известно, Бальзак изобрел тридцатилетнюю женщину; его подражатель прибавил к этому уже почтенному возрасту еще два пятилетия, но его героиня имела не меньший успех. <...>

Бальзак, этот всеобъемлющий ум, этот философ столь проницательный, этот наблюдатель столь глубокий, этот художник, наделенный такой интуицией, не владел даром литературного выражения: между мыслью и формой у него зияла пропасть. И эту пропасть, особенно на первых порах, он отчаянно пытался преодолеть. Он швырял в нее том за томом, одну бессонную ночь за другой, одну попытку за другой, но так и не в силах был ее заполнить. Туда полетела целая библиотека непризнанных книг. Менее твердая воля была бы сто раз сломлена, но, по счастью, Бальзак непоколебимо верил в свой никем еще не понятый гений. Он хотел стать великим человеком и стал им благодаря непрестанному излучению того флюида, более мощного, чем электрический ток, который он с такой тонкостью исследовал в «Луи Ламбере».

В противоположность писателям романтической школы, которые все, как один, отличались поразительной смелостью и легкостью пера и производили почти одновре-

менно и цвет, и плод, рождавшиеся, можно сказать, произвольно, Бальзак, равный им по гению, не находил способа выражения или находил его ценою бесконечных мук. Гюго в одном из своих предисловий заявил с кастильской гордостью: «Я не умею впаивать красоты на место недостатков, недостатки я исправляю в следующем произведении». Бальзак же сплошь исчеркивал поправками десятую корректуру, и, когда он увидел, что я отсылаю в «Кроник де Пари» верстку статьи, написанной в один присест на краешке стола, выправив только типографские опечатки, он не мог поверить своим глазам, хотя статья, в которую я вложил весь свой талант, ему нравилась.

— Если бы ее переделать разок-другой, она стала бы лучше, — сказал он мне.

Приводя в пример себя самого, он проповедовал мне удивительную литературную гигиену. Следовало запереться на два-три года, пить только воду, питаться размоченными бобами, как Протоген, ложиться спать в шесть часов вечера, вставать в полночь и работать до утра, день употребляя на правку, дополнение, сокращение, совершенствование написанного за ночь, на чтение корректур, заметки, изучение необходимого материала, а главное, хранить полное целомудрие. Он в особенности настаивал на этой последней рекомендации, весьма суровой для молодого человека двадцати четырех или двадцати пяти лет от роду. Если послушать его, выходило, что истинное целомудрие приводит к наивысшему развитию духовной мощи и придает тому, кто его соблюдает, неслыханную способность к творчеству. Я робко возражал, что величайшим гениям не возбранялись ни любовь, ни страсть, ни даже наслаждение, приводил знаменитые имена. Бальзак, покачив головой, отвечивал:

— Без женщин они и не такое бы сделали.

Единственная уступка мне, на которую он соглашался, да и то с большим сожалением, — это дозволение видиться с любимой особой один раз в год по полчаса. Переписку он разрешал — «это вырабатывает стиль».

Посредством такого режима и учитывая природные данные, кои он во мне благосклонно признавал, Бальзак обещал сделать из меня первоклассного писателя. По моим сочинениям видно, что я не последовал столь мудрому плану обучения.

Не надо думать, будто Бальзак шутил, намечая этот режим, который сочли бы чересчур суровым даже трапписты и картезианцы. Он был совершенно уверен в своей

правоте и говорил столь красноречиво, что я неоднократно и вполне добросовестно пытался применить этот метод обретения гениальности; много раз поднимался я в полночь и, выпив вдохновляющего кофе, приготовленного по особому рецепту, садился за стол, на который дремота вскоре склоняла мою голову. Единственным моим ночным произведением осталась «Мертвая возлюбленная», напечатанная в «Кроник де Пари».

В это приблизительно время Бальзак написал для одного журнала «Фачино Кане», историю благородного венецианца, который, став узником Колодца в герцогском дворце и роя подкоп для побега, напал на тайный клад Республики и унес с собою значительную его часть при помощи подкупленного тюремщика. Фачино Кане, который потом сделался слепым кларнетистом под именем папаши Канета, сохранил, невзирая на слепоту, двойную зоркость по отношению к золоту: он угадывал присутствие золота сквозь стены и своды и однажды, на свадьбе в предместье Сент-Антуан, предложил рассказчику, если тот возьмет на себя дорожные расходы, проводить его к огромным сокровищам, местонахождение коих забыто после падения Венецианской республики. Как я уже говорил, Бальзак жил жизнью своих персонажей, и в данный момент он был самим Фачино Кане, правда, без его слепоты, ибо никогда еще ни на одном человеческом лице не искрились такие сверкающие глаза. Итак, он мечтал о тоннах золота, грудах бриллиантов и карбункулов и при помощи магнетизма, к коему он издавна приобщился, заставлял сомнамбул разыскивать места, где были зарыты утерянные сокровища. Он уверял, что именно таким образом с большой точностью обнаружил то место близ холма Пуэнт-а-Питр, где Туссен Лувертюр велел неграм, сейчас же после того расстрелянным, зарыть его добычу. «Золотой жук» Эдгара По не может сравниться по тонкости индукции, ясности плана и мастерству угадывания деталей с захватывающим рассказом Бальзака об экспедиции, которую необходимо было предпринять, чтобы завладеть этим сокровищем, намного превосходящим то, которое зарыл Том Кидд у подножия тюльпанового дерева с мертвой головой.

Прошу читателя не слишком надо мною насмехаться, если я громогласно признаюсь, что скоро проникся убежденностью Бальзака. У кого не закружилась бы голова от его речей? Жюль Сандо тоже вскорости поддался искушению, а поскольку требовалось двое надежных друзей, два преданных товарища, достаточно крепких, чтобы произве-

сти ночные раскопки по указанию ясновидящего, Бальзак соблаговолил принять нас в дело, пообещав каждому четвертую долю чудесного сокровища. Половина по праву отходила ему самому как лицу, открывшему клад и руководящему предприятием.

Нам следовало приобрести кирки, мотыги и лопаты, тайно погрузить их на борт корабля, отправиться — разными путями, чтобы не возбудить подозрений, — в условленное место, а когда все будет сделано, перенести наше сокровище на заранее зафрахтованный бриг — словом, то был целый роман, который стал бы замечательным, если бы Бальзак его написал, вместо того чтобы сочинять устно.

Излишне говорить, что мы не откопали сокровище Туссена Луввертюра. У нас не было денег, чтобы оплатить путешествие; у всех троих вместе едва бы набралось на покупку лопат.

Эта греза о внезапном обогащении каким-нибудь необыкновенным, сказочным, способом часто возникала в голове у Бальзака; несколькими годами ранее (в 1833 году) он предпринял путешествие на Сардинию, дабы обследовать отходы серебряных рудников, оставшихся от римлян, кои, по мнению Бальзака, должны были содержать много драгоценного металла ввиду несовершенства древних способов его добычи. Идея была верна; неосторожно доверенная постороннему лицу, она обогатила другого человека. <...>

К этому времени (1836) уже сложился план «Человеческой комедии», и Бальзак полностью сознавал свой гений. Он искусно связал ранее вышедшие в свет произведения с общим замыслом и нашел им место в мысленно намеченных разделах. Правда, несколько новелл, построенных на чистой фантазии, оказались довольно плохо к ним пристегнуты, несмотря на приделанные задним числом крючки, но это мелочи, которые теряются в необъятном целом, как на фасаде огромного здания теряется лепка, выполненная в ином стиле.

Я уже говорил, что Бальзак работал с трудом; этот упорный литейщик раз по десять — двенадцать бросал в горн металл, не желавший с точностью заполнить форму; как Бернар Палисси, он сжег бы всю мебель, пол, даже потолочные балки, лишь бы поддержать огонь в своем очаге и не испортить опыт; самая насущная необходимость не могла заставить его опубликовать произведение, боясь над которым он не исчерпал всех своих сил и й, — он дал миру

замечательный пример писательской добросовестности. Его поправки, столь многочисленные, что один и тот же замысел представлял как бы в различных вариантах, издатели относили за его счет, потому что эта правка поглотила бы всю прибыль от издания, соответственно уменьшался его гонорар, и без того нередко скромный по сравнению со значительностью книги и тем трудом, коего она стоила. Обещанные суммы не всегда приходили к сроку платежей, и, чтобы выпутаться из своего, как он, смеясь, говорил, непотопляемого долга, Бальзак вынужден был безжалостно расточать чудесные сокровища своего ума, разворачивать такую деятельность, которая полностью поглотила бы жизнь обыкновенного человека.

Но когда, усевшись за стол в своей монашеской рясе, среди ночной тишины, он оказывался перед белым листом бумаги, на который падал свет от семисвечника, направляемый зеленым абажуром, и брал в руки перо, он забывал обо всем на свете, и тут начиналась борьба, более страшная, чем борьба Иакова с ангелом, борьба между идеей и формой ее выражения. Из этих еженощных сражений он к утру выходил измученным, но победившим, и, хотя очаг угасал и воздух в комнате становился прохладным, голова его дымилась, а от тела поднимался едва заметный глазу пар, как от лошадиного крупа в зимнюю пору. Иногда целая ночь уходила на одну-единственную фразу; он хватал ее, перехватывал, выгибал, мял, расплющивал, вытягивал, укорачивал, переписывал на сотню ладов, и — удивительное дело! — необходимую, бесспорную форму он находил, только исчерпав все приблизительные; бывало, разумеется, что металл тек со слишком большим напором и слишком обильной струею, но очень мало есть страниц в сочинениях Бальзака, кои оставались бы тождественными черновикам.

Его метод работы был таков: он долго вынашивал сюжет, жил им, потом стремительным, неровным, неразборчивым почерком, почти иероглифами, набрасывал своего рода развернутый план на нескольких страницах и отсылал в типографию, откуда тот возвращался в виде гранок, то есть отдельных колонок текста, набранных посредине больших листов. Бальзак внимательно читал эти гранки, уже придавшие его черновому наброску тот безличный характер, каким не обладает рукопись, и призывал на помощь весь свой острый критический дар, словно то было чужое произведение. Опираясь на эту основу, он одобрял или не одобрял сам себя, что-то исправлял, что-то оставлял нетронутым, но главное, добавлял. От начала до середины или от

конца фразы он проводил линии к полям — направо, налево, вверх, вниз, — указывающие на дополнения, вставки, вводные предложения, эпитеты и наречия. Через несколько часов такой работы страница гранок становилась похожа на детский рисунок, изображающий фейерверк. Стилистические ракеты отлетали от первоначального текста и взрывались со всех сторон. Кроме того, появлялись крестики, простые и двоянные, как на гербах, звездочки, солнца, арабские или римские цифры, греческие и латинские буквы — все воображаемые знаки отсылки, перемежавшиеся зачеркнутыми словами и строками. Если полей не хватало, к ним приклеивались хлебным мякишем или прикалывались булавками полоски бумаги, исписанные мелким почерком, чтобы сэкономить место, и, в свою очередь, исчерканные, потому что едва внесенные исправления сейчас же исправлялись снова. Печатный текст гранок почти исчезал под этой тарбарщиной, похожей на кабаллистическое письмо, и типографские наборщики передавали гранки друг другу, ибо никто не хотел больше часа работать над Бальзаком.

На следующий день ему возвращали гранки со внесенной правкой, уже вдвое увеличившиеся в объеме.

Бальзак снова брался за перо, снова дополнял текст, добавляя то новый штрих, то новую деталь, описание, наблюдение над нравами, характерное слово, эффектную фразу, загоняя мысль в форму, все ближе и ближе подходя к намеченной идее, выбирая, как художник между тремя-четырьмя контурами, окончательную линию. Часто, завершив эту ужасную работу, требовавшую такой сосредоточенности внимания, на какую был способен один лишь Бальзак, он вдруг замечал, что такая-то мысль в ходе исправления исказилась, что такой-то эпизод слишком выпятился, что такая-то фигура, которую в масштабе всего произведения он задумал как второстепенную, вылезла вперед, — и тогда единым росчерком пера он мужественно уничтожал плод тяжелого труда нескольких ночей. В этих обстоятельствах он проявлял истинный героизм.

Шесть, семь, а порою и десять корректур возвращались исчерканными, переделанными, так и не удовлетворив стремления автора к совершенству. Я видел в Жарди на полках книжного шкафа, заполненного только его сочинениями, тома, в коих под одним переплетом собраны были все корректуры одного и того же произведения, от первого оттиска до окончательного текста книги; сравнение разных этапов мысли Бальзака представило бы весьма любопыт-

ный материал для изучения и преподало бы полезный литературный урок. Взгляд мой привлекла мрачная на вид книжечка, стоявшая рядом с этими томами, переплетенная в черный сафьян, без застежек и без позолоты.

— Прочтите ее, — сказал Бальзак. — Это неизданное произведение, оно имеет некоторую ценность.

Книга была озаглавлена «Меланхолические расчеты», она содержала список долгов, неоплаченные векселя, счета от поставщиков и множество других угрожающих бумаг, узаконенных гербовой печатью. Этот том ради насмешливого контраста был помещен рядом с «Озорными рассказами», «не являясь их продолжением», — добавил со смехом автор «Человеческой комедии».

Невзирая на то что Бальзак работал с таким трудом, написал он много благодаря сверхчеловеческой воле, подогреваемой атлетическим темпераментом, и монашески уединенному образу жизни. Когда в работе у него бывало какое-нибудь значительное произведение, он два-три месяца сряду трудился по шестнадцать — восемнадцать часов из двадцати четырех. Требованиям природы он отдавал шесть часов тяжелого сна, лихорадочного и конвульсивного, затруднявшего пищеварение после наспех съеденного ужина. В подобных случаях он начисто исчезал из виду, и лучшие друзья теряли его след; но вскоре он возникал как из-под земли, потрясая над головой новым шедевром, хохоча во всю глотку, страшно довольный собой и с совершеннейшим простодушием воздавая самому себе хвалы, коих он, впрочем, не требовал ни от кого другого. Не было на свете автора, столь беспечного, как он, по части критических статей о его книгах и рекламы; он пускал свою известность на самотек, не прилагая к ней руки, и никогда не заискивал перед газетчиками. Помимо всего прочего, это отняло бы у него время; он вручал свою рукопись издателю, получал деньги и убегал, чтобы раздать их кредиторам, кои нередко поджидали его во дворе, как, например, каменщики, строившие его дом в Жарди.

Иногда он являлся ко мне утром запыхавшийся, обессиленный, опьяненный свежим воздухом, словно Вулкан, удравший из своей кузницы, и рушился на диван; за долгую ночь он успевал проголодаться, он накладывал на тарелку гору сардин, масло, разминал их в пюре (это напоминало ему турецкий жареный фарш) и намазывал на хлеб. Таково было его излюбленное блюдо. Не успев доесть, он засыпал, прося разбудить его через полчаса. Но я, невзирая на такое предписание, оберегал столь честно заработанный

им сон и устанавливал в доме полную тишину. Когда Бальзак просыпался сам и видел, что с посеревшего неба спускаются вечерние сумерки, он вскакивал и осыпал меня ругательствами, честил предателем, вором, убийцей: из-за меня он потерял десять тысяч франков, потому что, если бы он не спал, ему бы могла прийти в голову идея какого-нибудь романа, который принес бы ему эту сумму (не считая переизданий). Я причина ужасных катастроф и невообразимых бедствий. Из-за меня он пропустил свидание с банкирами, издателями, герцогинями; невозможно измерить понесенный им ущерб; этот роковой сон стоит миллионы. Но я уже привык к его поразительным преувеличениям, к тому, что, начав с самой ничтожной цифры, Бальзак доходил до чудовищных сумм, и я легко успокаивался, заметив, что добрый туренский румянец уже снова заиграл на его отдохнувшем лице. <...>

Я записываю свои воспоминания по мере того, как они ко мне приходят, не пытаюсь достигнуть связности там, где ее не может быть. К тому же, как говорил Буало, переходы составляют одну из главных трудностей поэзии — и литературных статей, добавим мы; но современные журналисты не обладают ни такую добросовестностью, ни таким досугом, какими обладал законодатель Парнаса.

Госпожа де Жирарден относилась к Бальзаку с живым восхищением, к коему он не оставался нечувствителен; он выказывал ей признательность посредством частых к ней визитов — это он-то, столь ревниво и с полным на то правом оберегавший свое время и часы, предназначенные для работы! Ни одна женщина в столь высокой степени, как Дельфина, — мы позволяли себе называть ее так в своем кругу — не владела даром возбуждать остроумие у гостей. С нею вы постоянно чувствовали себя в ударе, и каждый выходил из ее гостиной, очарованный самим собою. Не было такого грубого камня, из коего она не умела бы высечь искру, а по Бальзаку, как вы понимаете, не нужно было долго ударять кремнем — он вспыхивал и загорался мгновенно. Бальзак не был в общепринятом смысле слова салонным говоруном — быстрым и находчивым, умеющим вставить в спор точное и решающее словцо, повернуть разговор в иное русло, слегка коснуться всего на свете, шутить, позволяя себе не более чем полуулыбку; он обладал тем живым остроумием, красноречием, блеском ума, которым невозможно противостоять; и поскольку каждый

умолкал, чтобы его послушать, то беседа, ко всеобщему удовольствию, скоро превращалась в монолог. Забыв, с чего начался разговор, он переходил от анекдота к философскому рассуждению, от наблюдения над нравами к описанию местных особенностей какого-нибудь уголка Парижа; по мере того как он говорил, щеки у него краснели, глаза загорались особенным огнем, голос то гремел, то затихал, а иногда он принимался хохотать во все горло, развеселенный причудливыми образами, которые он видел еще до того, как начинал обрисовывать словами.

Так возвещал он, словно фанфарами, выход на сцену своих карикатур и шуток — и его веселье незамедлительно разделялось присутствующими. Хотя мы и переживали тогда эпоху растрепанных, как ивы, мечтателей, плакальщиков, проливавших слезы в лодках, и байронических разочарованных юношей, Бальзаку была присуща та здоровая и могучая жизнерадостность, которая обычно связывается с именем Рабле и которая у Мольера проявлялась только в его пьесах. С чувственных губ Бальзака срывался громкий смех добродушного бога, кой забавляется созерцанием людских марионеток и ничем не огорчается, ибо все понимает и схватывает одновременно обе стороны вещей. Ни доука шаткого материального положения, ни денежные заботы, ни усталость от чрезмерных трудов, ни замкнутое существование, ни отказ от всех житейских удовольствий, ни даже болезнь не могли одолеть эту поистине геркулесову веселость — самую удивительную, по моему разумению, черту Бальзака. Он, смеясь, поражал гидр, весело разрывал львов пополам и легко, словно зайца, поднимал на свое чудовищно мускулистое плечо эриманфского вепря. Эта веселость взрывалась смехом по малейшему поводу и распирала его могучую грудь — она даже корбила некоторых деликатных людей, но невозможно было ее не разделить, какие бы усилия вы ни прилагали, чтобы оставаться серьезным. Однако не думайте, будто Бальзак искал случая развеселить галерку, он поддавался какому-то внутреннему опьянению и быстрыми штрихами, с несравненным чувством смешного и комическим талантом рисовал причудливые фантазмагории, которые плясали в камере-обскуре его мозга. Не могу лучше передать впечатление от некоторых его речей, как сравнив его с впечатлением, какое получаешь, перелистывая старинные рисунки к «Озорным снам» мэтра Алькофрибаса Назье. Это чудовищные персонажи, составленные из самых противоестественных сочетаний различных элементов. У одних

вместо головы — дудка, отверстие которой представляет собою глаз, у других вместо носа флейта; те шагают на роликах, заменяющих им стопы ног, эти — круглые, как печной горшок, и на голове у них вместо шляпы крышка, — но химерические эти существа одушевляет напряженная жизнь, и в их гримасничающих масках узнаешь людские пороки, безумие и страсти. Некоторые, хоть и кажутся абсурдными сверх всякого вероятия, все же завораживают вас, как портреты. Хочется дать им всем имена.

Когда ты слушал Бальзака, перед глазами у тебя кувыркалися целый карнавал нелепых, но облеченных в плоть и кровь призраков, которые набрасывали себе на плечо полосатую фразу, встряхивали длинными рукавами эпитетов, шумно сморкались в наречие, лупили тебя колодушкой антитез, дергали тебя за полу сюртука, шептали тебе на ухо твои же секреты измененным, гнусавым голосом, крутясь и юля среди сверкающих блесков и огней. Это было такое головокружительное зрелище, что через полчаса ты чувствовал себя, как студент после речи Мефистофеля, и в голове у тебя начинал вертеться какой-то жернов.

Не всегда бывал он в таком расположении духа, и тогда одной из самых излюбленных его шуток было подражать немецкому жаргону Нусингена и Шмуке или же прибавлять к окончанию каждого слова «рама», как делают завсегдатаи буржуазного пансиона госпожи Воке (урожденной Конфлан).

В период, когда он сочинял по канве, придуманной г-жой де Сюрвиль, «Первые шаги в жизни», он искал подходящие поговорки для мазилки Мистигри, коему позднее, найдя его остроумным, отвел завидное место в «Человеческой комедии» под именем великого пейзажиста Леона де Лора. Вот некоторые из этих изречений: «Пуганая корова на куст садится», «Не плюй в колодец, вылетит — не поймаешь», «Платон мне друг, но деньги счет любят», «У него таланта как у осла молока», «Я в долгах, как заяц в силках», — или удираю, или умираю».

Такого рода находки приводили его в хорошее настроение, и он со слоновьей грацией пускался вприпрыжку по гостиной, натываясь на мебель. Г-жа де Жирарден, со своей стороны, подыскивала словечки для пресловутой дамы *с семью стульчиками* из «Парижской почты». Порою требовали и моего содействия, и, если бы вошел посторонний человек и увидел красавицу Дельфину, с глубоко задумчивым видом запусившую белые пальцы в свои золотые локоны, Бальзака, раскинувшегoся в большом

мягком кресле, где обыкновенно спал г-н де Жирарден, засунувшего под мышки руки, скрещенные поверх задрывшегося на животе жилета и равномерно качающего ногой, с застывшим на лице выражением величайшего напряжения ума и меня, в полном трансе забившегося между двух диванных подушек, — этот посторонний человек вряд ли догадался бы, что мы здесь делаем, погруженные в такую великую сосредоточенность; он решил бы, что Бальзак обдумывает новую «Госпожу Фирмиани», Дельфина де Жирарден — новую роль для Рашели, а я какой-нибудь сонет. Но мы занимались совсем другим. Что касается каламбуров, то Бальзак (хоть втайне и мечтал достигнуть сего искусства) после добросовестных усилий вынужден был признать свою явную неспособность по этой части и держался искаженных пословиц, кои предшествовали туманным каламбурам, введенным в моду школой здравого смысла. Что за чудесные вечера, им не суждено повториться! Мне тогда и в голову не приходило, что эта высокая, красивая женщина, словно высеченная из античного мрамора, что этот коренастый человек, живой и здоровый, сочетавший в себе силу кабана и быка, полугеркулес-полусатир, казалось бы, созданный для того, чтобы перешагнуть через многие десятилетия, скоро уснут, одна на кладбище Монмартр, другой — на кладбище Пер-Лашез, и что из нас троих останусь только я, чтобы закрепить на бумаге эти воспоминания, уже далекие и готовые растаять.

Как и его отец, скоропостижно скончавшийся на девятом десятке и похвалявшийся, что разорит общество Лафаржа по выплате пожизненных рент, Бальзак верил в свое долголетие. Часто он вместе со мной строил планы на будущее. Он намеревался завершить «Человеческую комедию», написать «Теорию походки», создать «Монографию о Добродетели», полсотни драм, составить себе большое состояние, жениться и завести двоих детей, «но не больше; двое детей, — говорил о н , — хорошо выглядят на переднем сиденье коляски». Всего этого надо было только дожждаться, и я заметил ему, что, когда все намеченные дела будут выполнены, ему стукнет восемьдесят.

— Восемьдесят! — вскричал о н . — Ну и что же? Это самый цветущий возраст.

Лучше не сказал бы и сам г-н Флуран с его утешительными доктринами.

Однажды, когда мы обедали у г-на де Жирардена, Бальзак рассказал нам анекдот о своем отце, чтобы показать, к какому крепкому племени принадлежит. Г-н Баль-

зак-отец получил место у прокурора и, по обычаю того времени, обедал вместе с другими клерками за столом патрона. Подали куропатку. Прокурорша, украдкой поглядывавшая на новичка, спросила его:

— Господин Бальзак, умеете вы резать мясо?

— Да, сударыня, — отвечал молодой человек, покраснев до ушей, и храбро схватил нож и вилку. Совершенно не зная кухонной анатомии, он разделил куропатку на четыре части, но с такою силой, что расколол тарелку, разрезал скатерть и поцарапал деревянный стол. Это было неловко, но великолепно. Прокурорша улынулась, и начиная с этого дня — добавил Бальзак — с юным клерком обращались в доме с необыкновенной мягкостью.

В пересказе эта история кажется малоинтересной, но надо было видеть мимику Бальзака, воспроизводящего на своей тарелке отцовский подвиг, какой перепуганный и вместе решительный вид он на себя напустил, как, засучив рукава, схватил нож и вонзил вилку в воображаемую куропатку; Нептун, охотящийся на морских чудищ, не держал трезубец в более могучем кулаке. А с какой силою он нажимал! Щеки у него побагровели, глаза вылезли из орбит; но когда операция была закончена, с каким простодушным удовлетворением обвел он взглядом общество, притворяясь скромником!

Помимо всего прочего Бальзак обладал задатками большого актера: у него был сильный, звучный голос с металлическим оттенком и богатого тембра, который он при необходимости умел умерять и делать нежным и мягким; читал он восхитительно, а это талант, коего лишена большая часть актеров. Все, что он рассказывал, он проигрывал с такими интонациями, гримасами и жестами, что его, по нашему мнению, не смог бы превзойти ни один комедиант.

В «Маргарите» г-жи де Жирарден мы находим следующее воспоминание о Бальзаке. Говорит один из персонажей книги:

«Он рассказал, что накануне у него обедал Бальзак, искрящийся и блестящий, как никогда. Он очень позабавил нас повествованием о своем путешествии в Австрию. Что за огонь! Что за остроумие! Какая сила воображения! Какой дар подражания! Просто поразительно. Его манера расплачиваться с возницами почтовых карет — это выдумка, доступная только великому романисту.

— Я бывал в большом затруднении на каждой станции, — говорил он. — Как расплатиться? Я не знал ни слова по-немецки, не разобрался в местной валюте. Было

очень трудно. И вот что я придумал. У меня был мешочек, набитый серебряными монетками, крейцерами. Прибыв на станцию, я брал в руки свой мешочек, возница подходил к дверце кареты, я внимательно смотрел ему в лицо... два крейцера... потом три, потом четыре и так далее, пока я не замечал, что он улыбается... Раз он улыбался, значит, я давал ему лишний крейцер... Я поскорее прятал монетку, и на том расчет кончался».

В Жарди он читал нам «Меркаде», первоначального «Меркаде», гораздо более полного, сложного и насыщенного действием, нежели пьеса, переделанная с таким тактом и мастерством Деннери для театра «Жимназ». Бальзак, читавший, как Тик, не отмечая ни акты, ни сцены, ни имена, умел говорить на разные голоса, так что прекрасно можно было узнать каждый персонаж. Манера речи, которую он наделял различных кредиторов, была уморительно комична; голоса у них были хриплые, медоточивые, тягучие, угрожающие, жалобные, захлебывающиеся скороговоркой. Все это визжало, мяукало, ворчало, рычало, урчало на все возможные и невозможные лады. Сперва Долг запевал соло, которое вскоре подхватывал огромный хор. Кредиторы лезли со всех сторон — из-за печки, из-под кровати, из ящиков комода; они выли в печной трубе, просачивались из замочной скважины, взбирались по стене в окно, как любовники; иные возникали из глубины сундука, как чертики, выскакивающие из игрушки с сюрпризом, другие проходили сквозь стены, словно по потайной лестнице, и начиналась толкотня, шум, нашествие, истинный потоп. Напрасно Меркаде пытался стряхнуть их с себя — его осаждали другие, и до самого горизонта смутно кишели все новые толпы кредиторов, надвигавшиеся, как полчища термитов, готовые пожрать свою добычу. Не знаю, была ли пьеса в таком виде лучше, но никогда представление в театре не производило на меня подобного впечатления.

Во время чтения «Меркаде» Бальзак полулежал на длинном диване в своей гостиной в Жарди, потому что вывихнул себе ногу, поскользнувшись — как и неустойчивые стены его дома — на глине своего земельного владения. Какая-то травинка, торчавшая из обивки дивана, уколола его в икру.

— Слишком тонка ткань, *сено* ее протыкает, надо будет перебить поверх нее диван толстой материей, — сказал он, вытаскивая мешавшую занозу. <...>

Это глубокое понимание современной жизни делало, надо сказать, Бальзака маловосприимчивым к пластиче-

ской красоте. Небрежным оком читал он мраморные строфы, в коих греческое искусство воспевало совершенство человеческих форм. В музее античных древностей он без большого восторга глядел на Венеру Милосскую, но глаза его сверкали от удовольствия при виде остановившейся перед бессмертной статуей парижанки, закутанной в кашемировую шаль, которая без единой складочки ниспадала от затылка до пяток, в шляпке с вуалеткой от Шантильи, в узких перчатках от Жувена, с выставленным из-под воланов платья носком лакированной туфельки. Он анализировал ее кокетливые повадки, медленно смаковал заученную грацию, находя, как и она, что у богини слишком грузное телосложение и что она неважно выглядела бы в гостиных госпожи де Листомер или д'Эспар. Красота, с ее прозрачными и чистыми линиями, была чересчур проста, чересчур холодна, чересчур цельна для этого сложного, всеохватывающего и разнообразного гения. Поэтому он где-то пишет: «Нужно быть Рафаэлем, чтобы написать много Пречистых дев». *Характерность* нравилась ему больше, нежели *стиль*, и красоте он предпочитал физиономию. В свои женские портреты он всегда добавлял особый штрих — складку, морщинку, розовое пятнышко, растроганное или усталое выражение, слишком заметную жилку, какую-нибудь деталь, указывающую на следы жизненных невзгод, которые поэт, рисуя тот же образ, безусловно, убрал бы, и, разумеется, напрасно.

У меня нет ни малейшего намерения упрекать за это Бальзака. Этот *недостаток* является главным его *достоинством*. Он не воспринял ничего от мифологии, от традиций прошлого и, к нашему счастью, не придерживался идеала, созданного поэтами в стихах, греками и римлянами в мраморе, живописцами Возрождения в их картинах, идеала, стоящего между взором художника и реальной действительностью. Он любил женщину наших дней, такую, какова она есть, а не бледную статую; он любил присущие ей добродетели и пороки, ее прихоти, ее шали, платья, шляпы и следовал за нею по дороге жизни далеко за пределы того места, где ее покидает любовь. Он на много лет продлевал ее молодость, превращал бабье лето в весну и озарял ее закат прекраснейшими золотыми лучами. Мы, французы, настолько классики, что за две тысячи лет не заметили, что в нашем климате розы цветут не в апреле, как в описаниях античных авторов, а в июне и что наши женщины становятся красивыми в том возрасте, в котором рано созревающие женщины Греции утрачивали свою красоту. Сколь-

ко очаровательных женских типов придумал и изобразил Бальзак: госпожа Фирмиани, герцогиня де Мофриньез, княгиня де Кадиньян, госпожа де Морсоф, леди Дэдли, герцогиня де Ланже, госпожа Жюль, Модеста Миньон, Диана де Шолье, не считая буржуазок, гризеток, дам с камелиями его полусвета.

И как любил, как знал он этот современный Париж, чью красоту так мало ценили приверженцы местного колорита и живописности! Бальзак исходил его вдоль и поперек во всех смыслах днем и ночью; нет такого заброшенного переулка, такого смрадного прохода, такой узкой, грязной, черной улицы, которые под его пером не превратились бы в гравюру, достойную Рембрандта, полную мрака, кишашего неясными и таинственными тенями, среди которых мерцает дрожащая звездочка света. Богатство и бедность, наслаждения и страдания, позор и слава, прелесть и уродство — он знал о своем любимом городе все; то было для него огромное чудовище, страшный гибрид, некий тысячерукый полип, чью жизнь он пристально наблюдал, нечто, составлявшее в его глазах одну необычную индивидуальность. — Проглядите по этому поводу чудесные страницы в начале «Златоокой девушки», на которых Бальзак, вторгаясь в область музыки, хочет, чтобы зазвучали, как в симфонии, исполняемой большим оркестром, сразу все голоса, все шумы, весь грохот занятого трудом Парижа.

От этого *современного* характера творчества — который я намеренно подчеркиваю — и происходила, неосознанно для него самого, та трудность выражения, которую испытывал Бальзак во время работы: французский язык, очищенный классиками XVII века, годеи, если хочешь его придерживаться, лишь для передачи общих идей и обрисовки условных фигур в неопределенной среде. Чтобы выразить великое множество деталей, характеров, типов различий архитектуры, внутреннего убранства, Бальзаку пришлось выковать себе специальный язык, составленный из всех технических терминов, всех жаргонов — научной лаборатории, художественных мастерских, театральных кулис и даже анатомического театра. Каждое слово, говорящее что-то новое, было желанным гостем, и фраза, чтобы принять его, отворяла скобку или вводное предложение и доброжелательно растягивалась... — Именно это побуждало поверхностных критиков говорить, будто Бальзак не умеет писать, хоть сам он так не думал — у него был стиль, очень хороший стиль, который с неотвратимостью, с неизбежностью, с математической точностью выражал его идеи.

Никто не может претендовать на составление полной биографии Бальзака: время от времени всякая связь с ним поневоле прерывалась, то из-за его отъездов из Парижа, то каких-то внезапных исчезновений. Труд полностью подчинил себе жизнь Бальзака, и если, как сам он, с оттенком трогательной чувствительности, говорит в письме к сестре, он с легким сердцем приносил в жертву этому божеству житейские радости и развлечения, то ему стоило усилий отказываться от общения с людьми, к которым он был хоть немного дружески расположен. Ответить короткой запиской на длинное послание при его погруженности в работу становилось для него расточительностью, какую он редко мог себе позволить; он был рабом своего творчества, и рабом добровольным. При очень добром и очень нежном сердце ему был присущ эгоизм труженика. И кто мог сердиться на его вынужденную невнимательность и внешнюю забывчивость, когда видел результаты его бегства от людей и затворничества? Когда, завершив очередное произведение, он вновь появлялся в обществе, можно было подумать, что он покинул нас только накануне; он подхватывал прерванный разговор с таким видом, точно не прошло порою целых полгода. Он предпринимал путешествия по Франции, чтобы изучить особенности тех мест, где разворачивались его «Сцены провинциальной жизни», уединялся у друзей в Турени или долине Шаранты и там находил покой, которого его постоянно лишали кредиторы в Париже. После какой-нибудь крупной работы он иногда разрешал себе более длительную экскурсию в Германию, в горную Италию либо Швейцарию; но поспешность этих поездок, волнения, связанные с нехваткой денег, необходимость подписывать договоры, довольно скудная пища — все это скорее утомляло его, нежели приносило отдохновения. — Его большие глаза впитывали в себя небо, горизонты, горы, пейзажи, памятники искусства, дома, их внутреннее убранство — и передоверяли все это необъятной, всеобъемлющей и скрупулезной памяти, которая никогда ему не отказывала. Бальзак, превосходя в этом авторов описательных поэм, видел одновременно и природу, и человека; он изучал внешность людей, нравы, страсти, характеры тем же взглядом, что и местность, одежду, мебель. Ему достаточно было одной детали, как Кювье крохотного кусочка кости, чтобы вообразить и правильно воссоздать во всей ее цельности личность мимоходом увиденного человека. Нередко, и с полным основанием, хвалят Бальзака за талант наблюдателя; но как бы велик ни был

этот талант, не следует думать, будто автор «Человеческой комедии» всегда копировал свои — поразительно, впрочем, верные — портреты с натуры. Его метод ничуть не походит на метод Анри Монье, который следует в реальной жизни за каким-либо индивидуумом, чтобы сделать с него набросок карандашом или пером, зарисовывая малейший жест, запечатлевая самые незначительные его фразы, и таким образом получить сразу и пластинку дагерротипа, и страничку стенографической записи. Бальзак большую часть времени проводил, зарывшись в работу, и потому физически не мог наблюдать те две тысячи персонажей, которые разыгрывают свои роли в его стоактной комедии; но человек, обладающий внутренним взглядом, содержит в себе человечество: это микрокосм, в коем ничего не упущено. <...>

Удивительное дело: Бальзака, который с такой упорной тщательностью обдумывал, отделявал и выправлял свои романы, словно захватывал какой-то вихрь поспешности, когда он обращался к театру. Он не только не перерабатывал по восемь — десять раз свои пьесы, как тома своей прозы, он вообще над ними не работал. Едва намечалась первоначальная идея, как он назначал чтение вслух и привлекал к изготовлению вещи своих друзей; Урлиак, Лассайи, Лоран-Жан, я сам, да и многие другие нередко вызывались среди ночи либо в невероятно ранний час. Нам следовало все бросить, каждая минута опоздания была равносильна потере миллионов.

Однажды Бальзак настоятельной запиской потребовал, чтобы я немедленно явился на улицу Ришелье, 104, где он снимал квартиру в доме портного Бюиссона. Я нашел Бальзака закутанным в его монашескую рясу и топающего ногой от нетерпения по сине-белому ковру в кокетливой мансарде, стены которой были обтянуты светло-коричневым перкалем с синими узорами; ибо, вопреки кажущейся небрежности, он обладал пристрастием к красивому убранству своего жилья и всегда устраивал для своих трудовых бдений уютное гнездышко; ни в одном его жилище никогда не царил живописный беспорядок, столь любезный сердцу художников.

— Наконец-то, Тео! — вскричал он, увидев меня. — Лентяй, тихоход, соня, увалень, поторапливайтесь; вам следовало быть здесь уже час тому назад. Завтра я читаю Арлею большую драму в пяти действиях.

— И вы желаете знать мое мнение? — отвечал я,

устраиваясь в кресле как человек, который собирается долго слушать.

По моей позе Бальзак угадал мою мысль и с самым простодушным видом возразил:

— Драма не написана.

— Черт возьми! — воскликнул я. — Значит, придется отложить читку месяца на полтора.

— Нет, мы быстренько сколотим эту *драмораму*, чтобы получить деньги. В настоящее время я прочно сижу на мели.

— До завтра это сделать невозможно, времени не хватит даже на переписку.

— Я вот что придумал. Вы сделаете один акт, Урлик — другой, Лоран-Жан — третий, де Беллуа — четвертый, я — пятый, и в полдень, как уговорено, я прочитаю пьесу. Акт драмы — это ведь не больше, чем четыре — пять сотен строк; за день и за ночь вполне можно сочинить пятьсот строк диалога.

— Расскажите мне сюжет, обозначьте план, обрисуйте в нескольких словах персонажей — и я попробую взяться за дело, — отвечал я, изрядно напуганный.

— Ох! — вскричал он с крайне удрученной миной и с великолепным презрением. — Если надо рассказывать вам сюжет, мы с этим никогда не кончим!

Я не думал, что проявляю нескромность, задавая этот вопрос, который Бальзаку представлялся совершенно праздным.

По его указаниям, вырванным с большим трудом, я принялся кропать какую-то сцену, из которой в окончательном тексте произведения осталось лишь несколько слов. На другой день, как нетрудно себе представить, драма не читалась. Не знаю, чем занимались прочие соавторы, но единственный, кто по-настоящему приложил руку к делу, был Лоран-Жан, коему и посвящена пьеса.

Пьеса эта была «Вотрен». Известно, что династический пирамидальный хохол, который Фредерику Леметру вздумалось взбить у себя на голове при переодевании в платье мексиканского генерала, навлек на это произведение недовольство властей. «Вотрен» был запрещен после первого же представления, и бедняга Бальзак остался, как Перретта из басни, у опрокинутого кувшина. Все головокружительные расчеты на доходы от драмы основывались на нуле, что не помешало ему весьма благородно отказаться от предложенного правительством возмещения убытков.

В начале этого очерка я рассказал о бальзаковских поползновениях к дендизму — рассказал о его синем фраке

с массивными золотыми пуговицами, его чудовищной трости с усеянным бирюзой набалдашником, его появлениях в свете и в адской ложе; все это продолжалось недолго, и Бальзак признал, что не годится для роли Алквиада или Бремеля. Его можно было встретить на улице, особенно по утрам, когда он бежал в типографию отнести рукопись или забрать гранки, в куда менее великолепном одеянии. Вспоминается зеленая охотничья куртка с медными пуговицами, изображающими лисьи морды, черно-серые клетчатые панталоны, засунутые в высокие сапоги с ушками, накрученный на шею красный бумажный платок и местами обтрепанная, местами потертая шляпа с синей тульей, потемневшей от пота, в которые был облачен, вернее, коими прикрывал наготу «самый плодовитый из наших романистов». Но, несмотря на беспорядок и бедность этого нелепого одеяния, никому и в голову не пришло бы счесть за некоего заурядного прохожего этого толстяка с огненным взором, подвижными ноздрями, яркими пятнами на щеках, который шел по улице, озаренный гением, словно уносимый вихрем своих грез! При виде его замирала насмешка на губах уличного мальчишки, а у серьезного человека исчезало едва возникшее желание улыбнуться. В нем угадывался один из властителей мысли.

А иногда, наоборот, люди видели, как он движется медленным шагом, принохиваясь к воздуху, рыща взглядом вокруг, присматривается к одной стороне улицы, затем исследует другую, и не ворон считает, а изучает вывески. Он искал имена, дабы окрестить своих персонажей.

С полным основанием утверждал он, что имя, как и слово, нельзя выдумать из головы. Имена возникают сами собой, так же, как языки; реально существующие имена, кроме того, обладают своей особой жизнью, своим значением, оказывают роковое влияние на судьбу человека, и невозможно преувеличить важность их выбора. В книге Леона Гозлана «Бальзак в домашних туфлях» есть прелестный рассказ о том, как был найден знаменитый Ж. Маркас. Вывеска торговца табаком подсказала долгожданное имя Губетты Виктору Гюго, который не меньше Бальзака заботился о наименовании своих персонажей.

Тяжелая жизнь, постоянная ночная работа оставили следы на внешности Бальзака, хоть от природы он был крепок, и в «Альбере Саварюсе» мы находим портрет писателя, начертанный им самим и представляющий его таким, каким он был в ту пору (1842 год), лишь с небольшими изменениями:

«...Великолепная голова: черные волосы, в которых замешалось уже несколько белых нитей, волосы, как у св. Петра или св. Павла на наших картинах, ниспадающие густыми и блестящими прядями, жесткие, словно конская грива; шея белая и круглая, как у женщины, прекрасный лоб, разделенный резкой продольной морщиной, какую великие замыслы, великие мысли, глубокие раздумья запечатлевают на челе великих людей; смуглая кожа, испещренная красными пятнами, квадратный нос, огненные глаза; впалые щеки с двумя длинными морщинами, говорящими о страданиях, язвительно улыбающиеся губы, маленький, слишком короткий подбородок, гусиные лапки у висков, запавшие глаза, которые двигались под надбровными дугами, как горящие шары; но, вопреки всем этим признакам бурных страстей, вид спокойный, глубоко покорный судьбе; мягкий, проникновенный голос поразил меня своей гибкостью, настоящий голос оратора, то звонкий и лукавый, то вкрадчивый, а когда надо — гремевший, исполненный сарказма и резкий. Г-н Альбер Саварюс среднего роста, ни полный, ни худой; наконец, у него руки как у прелата».

В этом портрете, весьма, впрочем, похожем, Бальзак немного идеализирует себя, в соответствии с потребностями романа, и снимает с себя несколько килограммов веса — вполне дозволенная льгота герою, любимому герцогинею д'Аргайоло и мадемуазель Филоменой де Ваттвиль. Этот роман, «Альбер Саварюс», один из наименее известных и редко упоминаемых романов Бальзака, содержит множество преобразованных деталей, касающихся его житейских привычек и работы; там даже можно, если только дозволяется приподнять завесу, найти доверительные признания иного рода.

Бальзак переехал с улицы Батай в Жарди; затем он поселился в Пасси. Дом, где он жил, расположенный на крутом откосе, обладал довольно странными архитектурными особенностями. Войти в него можно было

Почти так, как вливаешь в бутылку вино.

Следовало *спуститься* на три этажа, чтобы очутиться на втором. Входная дверь со стороны улицы отворялась чуть ли не на крышу, как в мансарде. Однажды я там обедал с Л<еон> Г<озланом>. То был странный обед, составленный по кулинарным рецептам, изобретенным самим Бальзаком. По моей настоятельной просьбе пресловутое луковое пюре, обладающее столькими лечебными и символическими достоинствами, от которого Лассайи чуть не отправился

на тот свет, среди блюд не значилось. Но вина были восхитительны! У каждой бутылки имелась своя история, и Бальзак рассказывал ее с несравненным красноречием, увлечением и убежденностью. Вот это бордо трижды обошло вокруг света; это папское шато-неф восходит к незапамтным временам; этот ром взят из бочонка, целых сто лет плававшего по морям, — его пришлось расколоть топором, такой толстой коркой из раковин, водорослей и кораллов он оброс. Не важно, что у нас сводило рот от кислоты, когда мы вкушали напитки столь блистательного происхождения. Бальзак хранил серьезность авгура, и, вопреки поговорке, сколько мы на него ни глядели, нам так и не удалось заставить его рассмеяться!

На десерт были поданы груши, такие огромные, спелые, такие сочные, что сделали бы честь королевскому столу. Бальзак съел пять или шесть, причем сок стекал у него по подбородку; он верил, что эти фрукты для него целительны, и поглощал их в таком количестве не столько из чревоугодия, сколько гигиены ради. Он уже чувствовал первые признаки той болезни, коей суждено было его унести. Смерть ощупывала своими тощими пальцами это могучее тело, ища место, в которое можно было бы его поразить, и, не найдя никакой слабой точки, убила его посредством полнокровия и чрезмерного напряжения сосудов. Щеки у Бальзака всегда были в тех красных пятнах, которые поверхностному взгляду кажутся признаком здоровья; но пристальный наблюдатель замечал и желтизну, говорящую о больной печени и золотым ореолом окружавшую его усталые веки; на этом теплом коричневатом фоне глаза сверкали еще живее и ярче, усыпляя всякую тревогу.

В ту пору Бальзак очень увлекался оккультными науками, хиромантией, гаданием на картах; ему рассказали о какой-то гадалке, еще более удивительной, нежели мадемуазель Ленорман, и он уговорил меня, г-жу Жирарден и Мери отправиться к ней вместе с ним. Пророчица жила в Отейле, но мы не знали, на какой улице; однако это не имеет значения для нашей истории, поскольку адрес оказался неверным. Мы наткнулись на семейство каких-то честных буржуа, проживавших там на даче, — мужа, жену и старуху мать, в которой Бальзак, уверенный, что не ошибся, упорно искал признаков загадочности. Славная старушка, весьма мало польщенная тем, что ее принимают за ведьму, начала сердиться; муж решил, что мы их разыгрываем либо что мы жулики; молодая женщина хохотала до слез, а служанка на всякий случай прибрала столовое серебро.

Надо было поскорее убираться от позора, но Бальзак настаивал, что это здесь, и, влезая в коляску, гремел проклятиями по адресу старухи: «Стрига, гарпия, колдунья, эмпуза, вампириша, ламия, горилла, гула, псилла, аспилола» — и всякие другие удивительные слова, какие только могла внушить ему привычка читать бесконечные перечисления у Рабле.

Я заметил:

— Если это колдунья, она хорошо прячет свою нечистую игру...

— Карточную, — подхватила г-жа де Жирарден с обычной для нее живостью ума.

Мы сделали еще несколько попыток розыска, столь же неудачных, и Дельфина предположила, что Бальзак придумал эту *проделку Кинолы*, чтобы заставить нас проводить его в Отейль, где у него было дело, и заполучить приятных попутчиков. И все же, надо думать, что Бальзак разыскал один эту г-жу Фонтен, которую мы тщетно искали все вместе, ибо в «Комедиантах неведомо для себя» он изобразил ее, сидящую между курицей Бибуш и жабой Астартой, изобразил с фантастической достоверностью, если можно связать воедино такие два слова. Советовался ли он с нею всерьез? Посетил ли ее просто как наблюдатель? Многие места «Человеческой комедии» говорят как будто о том, что Бальзак питал особую веру в оккультные науки, о которых наука официальная еще не сказала последнего слова.

К тому времени Бальзак начал выказывать вкус к старой мебели, сундукам, китайским вазам; любой кусочек полированного дерева, купленный на улице Лапп, всегда имел высокое происхождение, и он составлял соответствующую генеалогию любым безделушкам. Он постоянно прятал их то тут, то там из-за своих фантастических кредиторов, в существовании коих я начинал сомневаться. Я даже забавлялся, распространяя слух, будто Бальзак миллионер, будто он покупает у торговцев ветошью старые чулки и набивает их унциями, квадриплями, геновенами, круазадами, колонатами, двойными луидорами — на манер папаша Гранде; я везде рассказывал, будто у него, как у Абульхасима, есть три чана, до краев наполненные карбункулами, динарами и туманами.

— Тео своими выдумками доведет меня до петли! — ворчал Бальзак, раздосадованный и польщенный.

Некоторое правдоподобие моим измышлениям придавало новое жилище Бальзака на улице Фортюне, в квартале Божон, в те времена менее населенном, чем в наши дни. Он занимал там таинственный домик, где нашли себе приют

фантазии нашего финансиста, питающего такое пристрастие к пышности. Снаружи, из-за ограды, можно было заметить нечто вроде купола, который поднимался над сводчатым потолком будуара, а также свежую окраску ставен, всегда закрытых. Когда вы проникали в это убежище, — что было нелегко, потому что хозяин его тщательно заперся, — вы обнаруживали там тысячу признаков роскоши и комфорта, противоречащих столь настойчиво выказываемой им бедности. Однажды он все-таки принял меня, и я смог увидеть столовую, обитую старым дубом, с резным столом, камином, сервантом и стульями, каким позавидовали бы Берругэте, Корнехо Дюк и Вербрюгген; гостиную, обтянутую узорчатым шелком на золоченых гвоздиках, с дверями, карнизами, плинтусами и амбразурами черного дерева; библиотеку, с книжными шкапами, инкрустированными перламутром и медью в стиле Буль; ванную комнату из желтой брекчи, с барельефами под мрамор; будуар под сводчатым потолком, где старинная роспись была реставрирована Эдмоном Эдуэном; галерею с верхним светом, которую я впоследствии узнал в описании коллекции «Кузена Понса». На этажерках были расставлены всевозможные диковинки, саксонский и северский фарфор, рожки из потрескавшегося селадона, а на лестнице, покрытой ковровой дорожкой, — большие китайские вазы и подвешенный на красном шелковом шнуре великолепный фонарь.

— Вы, как видно, опустошили одно из хранилищ Абульхасима, — сказала я со смехом Бальзаку, узрев все эти роскошества. — Видите, я был прав, когда говорил, что вы миллионер.

— Я беден, как никогда, — отвечал он с лицемерно-скромным видом, — здесь нет ни одной принадлежащей мне вещи. Я меблировал дом для одного друга, которого ожидаю со дня на день. В этом особняке я только сторож и привратник.

Я привожу сказанное им дословно. Впрочем, так отвечал он и многим другим людям, удивлявшимся, как и я. Вскоре тайну разъяснила женитьба Бальзака на женщине, которую он любил долгие годы.

Турецкая поговорка гласит: «Когда дом готов, в него входит смерть». Вот почему у султанов всегда бывают строящиеся дворцы, которые они остерегаются доводить до завершения. Жизнь как будто не терпит никакой полноты, кроме полноты несчастья. Ничего нет страшнее осуществленных чаяний.

Пресловутые долги были наконец выплачены, долгожданный союз заключен, гнездышко для супружеского блаженства разукрашено и выстелено пухом; завистники Бальзака, словно предчувствуя его скорый конец, принялись расхваливать его: «Бедные родственники», «Кузен Понс», где гений автора воссиял во всем своем великолепии, перетянули на свою сторону все голоса. Это было слишком хорошо; теперь Бальзаку оставалось только умереть. Недуг его развивался быстро, но никто не предполагал роковой развязки, таково было всеобщее доверие к атлетическому организму Бальзака. Мы были убеждены, что он всех нас похоронит.

Я собирался в путешествие по Италии и перед отъездом захотел попрощаться со своим знаменитым другом. Оказалось, что он уехал из дому в коляске, чтобы забрать из таможни какую-то экзотическую диковину. Я удалился, успокоенный, но когда уезжал из Парижа, мне подали записку от г-жи Бальзак, которая весьма любезно, с вежливыми сожалениями объясняла, почему я не застал ее мужа. В конце рукою Бальзака была сделана следующая приписка: «Я не могу ни читать, ни писать. *Де Бальзак*».

Как реликвию сохранил я эту зловещую строчку, может быть, последнюю, начертанную автором «Человеческой комедии», то был (чего я сперва не понял) трагический вопль, *Eli lamina Sabacthanni* мыслителя и труженика. Мне и в голову не приходило, что Бальзак может умереть.

Через несколько дней после этого случая я ел мороженое в кофейне Флориан, на площади Св. Марка; под рукой у меня оказался номер «Журналь де Деба», одной из немногих французских газет, доходивших до Венеции, и я увидел извещение о кончине Бальзака. От этой потрясающей вести я чуть не упал со стула на каменные плиты площади, и очень скоро к моему горю примешались протест и негодование вовсе не христианские, ибо перед лицом господним все души равноценны. Я как раз только что побывал на острове Сан-Серволо, в госпитале для душевнобольных, и видел там немощных идиотов, слабоумных восьмидесятилетних старикашек, какие-то человеческие личинки, лишенные даже животного инстинкта, и я задавался вопросом, почему погас, словно задутый факел, этот лучезарный ум, в то время как в стольких темных головах, где лишь смутно пробегают обманчивые проблески сознания, упорно держится жизнь?

Восемь лет уже минуло с того рокового дня. Для Бальзака началась посмертная слава; с каждым днем он

становится более великим. Пока он жил в гуще современников, его замечали мало, личность его представляла лишь отдельными сторонами и не всегда в благоприятном освещении; но теперь, по мере удаления, построенное им здание кажется все выше, словно собор, заслоняемый соседними домами, который на горизонте вырисовывается всей своей громадой поверх плоских крыш. Монумент не завершен, но и таков, какой он есть, пугает своей грандиозностью, и пораженные потомки будут спрашивать себя, кто был тот великан, что в одиночку поднял эти чудовищные глыбы и возвел до такой высоты Вавилонскую башню, в которой роится целое общество.

У Бальзака и у мертвого есть хулители, его памяти бросают набивший оскомину упрек в безнравственности — последнее оскорбление, к коему прибегает бессильная и завистливая посредственность либо даже обыкновенная глупость. Автор «Человеческой комедии» не только не аморален, он в душе суровый моралист. Сторонник монархии и католичества, он защищает власть, превозносит религию, проповедует нерушимость долга, порицает страсть и признает счастье лишь в рамках брака и семьи.

«Человек, — говорит о н , — ни добр, ни зол; он рождается с инстинктами и способностями; общество, вопреки тому, что говорил Руссо, не только не развращает, а совершенствует человека, делает его лучше; но интерес развивает также и дурные его наклонности. Христианство, в особенности католицизм, — как я писал в «Сельском священнике», — являясь законченной системой подавления извращенных стремлений в человеке, становится величайшим фактором общественного порядка».

И с простодушием, какое и пристало великому человеку, предвидящему упрек в безнравственности со стороны ушербных умов, он умножает непогрешимых с точки зрения добродетели персонажей «Человеческой комедии»: Пьеретта Лоррен, Урсула Мируэ, Констанция Бирото, Могильщица, Евгения Гранде, Маргарита Клаас, Полина де Вилленуа, госпожа Жюль, госпожа де Ла Шантери, Ева Шардон, мадемуазель д'Эгриньон, госпожа Фирмиани, Агата Руже, Рене де Мокомб, не считая мужчин — Жозефа Леба, Женеста, Бенаси, кюре Бонне, врача Миноре, Пийеро, Давида Сешара, обоих Бирото, кюре Шаперона, судьи Попино, Буржа, обоих Совиа, Ташеронов и так далее.

Правда, в «Человеческой комедии» имеется достаточно и негодяев. Но разве Париж населен одними только ангелами?

ЖОРЖ САНД

ИЗ СТАТЫ «ОНОРЕ де БАЛЬЗАК»

Сказать о гениальном человеке, что по природе своей он был человеком добрым, — это самая высокая похвала, с какой можно о нем отозваться. Всякое превосходство достигается с таким трудом и с такими муками, что человек, осуществляющий свою миссию таланта с терпением и добротой, поистине велик, как бы ни понимать это слово. Терпение и доброта — это сила, и никто еще не обладал ею в большей степени, чем Бальзак.

Прежде чем оставить эти главы потомству, я хочу принести этому человеку дань поклонения, какой никогда не воздавали ему в должной мере его современники. Я знала, что Бальзак вечно страдал от самой жестокой несправедливости и в литературных делах, и в личных, но я ни разу не слышала, чтобы он говорил о ком-нибудь дурно. Свой нелегкий труд писателя он выполнял с ясной душой. Поглощенный своими мыслями, страстно преданный своему искусству, он был по-своему скромен: под личиной высокомерия скрывалась наивность художника (великие художники — это большие дети!), а под маской самопоклонения восторженная влюбленность в свое дело.

Интимная жизнь Бальзака была окутана глубокой тайной и, кроме того, я думаю, плохо понята большинством из тех, кто был в нее посвящен. То, что знала о Бальзаке я, по его собственным признаниям, было в высшей степени необычно и не заключало в себе ничего низменного. Но эти откровения, не содержащие ничего, порочащего его память, потребовали бы дополнительных разъяснений, которые были бы здесь излишними, потому что они не отвечали бы той чисто литературной задаче, которую я себе поставила. Достаточно сказать, что главной целью Бальзака, скрывавшего от посторонних свою жизнь и свои поступки, свои

поиски Абсолюта, свой великий труд, была свобода, возможность распоряжаться своим временем, волшебство многотрудных ночных бдений — словом, это было сотворение «Человеческой комедии».

При жизни Бальзака назвали самым плодовитым из романистов. После смерти — первым романистом. Мы не хотим обижать наших прославленных современников, но, я думаю, мы вправе сказать, что эта похвала не была превеличением для писателя такой творческой мощи.

Нетленные книги великого критика человечества всем не похожи на романы в прежнем их понимании. Бальзак прежде всего критик человеческого общества. Он творил не для забавы воображения, он запечатлел историю нравов, создал мемуары истекшего полустолетия. Он сделал для этого исторического периода то, что другой великий труженик, не столь всеобъемлющий, Алексис Монтейль, пытался сделать для прошлого Франции.

Роман был для Бальзака рамой и предлогом для почти универсального изучения идей, чувств, опыта, привычек, законов, искусств, ремесел, обычаев, местных особенностей, наконец, всего того, что составляет жизнь его современников. Благодаря ему ни одна из предшествующих эпох не будет так хорошо известна будущим поколениям, как наша. Чего бы мы, современные исследователи, не дали за то, чтобы каждые истекающие полстолетия запечатлевались бы вживе своим Бальзаком! Мы заставляем наших детей читать отрывки из прошлого, воссозданного с помощью массы ученых комментариев в современной работе «Рим в эпоху Августа». Придет время, когда эрудиты напишут исторические очерки в этом же жанре на тему «Франция во времена Бальзака», и эти очерки приобретут совсем особую ценность, ибо факты там будут почерпнуты из самого достоверного источника.

Отзывы современников о том или ином характере, выведенном в книгах Бальзака, о стиле, художественных средствах, о замыслах автора и манере изображения покажутся тогда тем же, чем кажутся уже сейчас — изображениями второстепенными. Этому гигантскому творению не поставят в упрек несовершенства, свойственные всем созданиям человеческого ума; его любят целиком, включая и длинноты, и избыток подробностей, которых даже может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить полностью интерес и любознательность читателей будущего.

Скажем же это всем читателям двухтысячного или трехтысячного года, которые еще во многом будут напоми-

нать людей сегодняшнего дня, только более цивилизованных и просвещенных, этим усовершенствованным умам, которые еще сохраняют наши потребности, наши страсти и наши мечты, как, несмотря на достигнутый нами прогресс, мы разделяем мечты, страсти и потребности наших предшественников. Все те из нас, кто удостоится чести быть призванным в свидетели творчества Бальзака, скажут: «Это сама истина!» — не философская абсолютная истина, которую не искал Бальзак и не обнаружили мы; но подлинная реальность нашей интеллектуальной, физической и моральной жизни. Эта совокупность рассказов очень простых, эти несложные фабулы, это множество вымышленных персонажей, эти интерьеры, эти замки, эти мансарды, эти тысячи картин деревни и города, вся эта работа фантазии благодаря чуду ясновидения и усилиям необычайного интеллекта — все это превратилось в зеркало, в котором воображение запечатлело реальность. Не ищите в действительной истории имена людей, прошедших перед этим магическим стеклом — оно отразило только безымянные типы; но знайте, что каждый из этих персонажей обобщил в себе одном определенную разновидность человеческого рода; в этом — великое чудо искусства, и Бальзак, который так настойчиво искал абсолют в некоем ряду открытий, почти нашел в собственном творчестве решение проблемы, до него неизвестной: совершенную реальность в совершенном вымысле.

Да, господа потомки, люди 1830 года были так же дурны и так же хороши, так же безумны и так же мудры, так же утонченны и так же глупы, так же романтичны и так же трезвы, так же расточительны и падки на деньги, как те, которых показал Бальзак. Современники не хотели в этом признаться, и это не удивительно. Однако они жадно читали его романы, в которых ощущали трепет собственной жизни, читали их с гневом или с упоением восторга.

Говорят, что в душе Бальзака не было идеала и что в его оценках сказывался деспотизм ума. Это не совсем так. У Бальзака не было определенного идеала ни социальной системы, ни чисто философской, но в нем жила потребность поэта искать идеал во всех сюжетах, над которыми он работал. Подвижный, как среда, которая нас обволакивает и побуждает к действию, он менял порою свою цель в ходе работы, и в его выводах ощущается непостоянство ума. Иногда он внезапно развенчивает героя, который появлялся у него, окруженный ореолом; иногда так же быстро выводит на свет того, кто до сих пор оставался

в тени. Он берет сюжет или характер, бросает и снова к ним возвращается. Он вас удивляет, беспокоит и часто огорчает неожиданными моральными катастрофами, в которые ввергает своих персонажей. Кажется, что он вдруг их почему-то невзлюбил; но дело скорее в том, что он чувствует, как на него давит мучительная реальность всей совокупности человеческих отношений, и он подчиняется роковой власти своего гения, приказывающего ему рисовать с натуры. Он боится слишком привязаться к своим созданиям, или, как говорят, к своим детищам, и их испортить. Скептически относясь к человечеству (и в этом Бальзак был олицетворением эпохи), он расправлялся с ангелами, порождением его ума, тем же бичом, каким хлестал демонов, и говорил им полусмеясь, полуплача: «И вы тоже, вы тоже ничего не стоите, ведь надо, чтобы вы были людьми! Ступайте же к дьяволу вместе со всей шайкой!»

И, рассказывая потом об этой экзекуции, Бальзак хохотал титаническим смехом. Если его упрекали в жестокости и он обнаруживал в вас *лицемерие добродетели*, как он сказал мне однажды, он начинал отчаянно спорить, пытаясь доказать, что добродетели вообще не существует. Но перед горькой убежденностью, перед сердечным укором вся его дьявольская сила рушилась и отступала, побежденная врожденной наивностью и добротой, составлявшими само существо его натуры. Он жал вам руку, замолкал, на минуту задумывался и переводил разговор на другое.

Однажды, вернувшись из России и сидя на обеде рядом со мной, он не переставал восхищаться чудесами абсолютной монархии. В ту пору таков был его политический идеал. Он рассказал об одном диком случае, свидетелем которого он был, и рассмеялся каким-то конвульсивным смехом. Я спросила его на ухо: «Это вызвало у вас желание заплакать, не правда ли?» Он ничего не ответил, но перестал смеяться, словно в нем сломалась какая-то пружина, стал очень серьезным и до конца вечера больше ни слова не говорил о России.

Если судить о Бальзаке по частностям, то он, как и всякий другой из великих мастеров прошлого и настоящего, не может отвечать абсолютным строгим требованиям. Но если рассматривать огромное творчество Бальзака в целом, то, будь то критики, или читающая публика, или художники, все соглашаются с тем, что ничего более завершенного и цельного никогда не выходило из-под пера ни одного писателя. И нам, как и критикам, когда мы читали одну за другой и день за днем, по мере их появления, эти

необыкновенные книги, не все в них нравилось. В них есть то, что задевает наши убеждения, наши вкусы, наши симпатии. Мы говорим порою: «Это слишком длинно», или: «Это слишком коротко». Некоторые из них нам кажутся странными, и мы говорим про себя с грустью: «Но почему? Зачем? Что это такое?»

Когда же Бальзак, найдя наконец слово, определившее его предназначение, слово, раскрывшее тайну его гения, дал своему творению великолепное и полное глубокого смысла название: «Человеческая комедия», когда, создав сложную и искусную классификацию романов, он объединил все части своего творения в единое логическое и всеобъемлющее целое, каждая из этих даже наименее понравившихся нам сначала частей приобрела для нас ценность, став на свое место. Каждая из этих книг является в действительности страницей одной великой книги, которая будет неполной, если эту важную страницу опустить. Работа, которую он предпринял, должна была занять всю его жизнь. Она осталась незавершенной, но и такая, как есть, она охватывает такие горизонты, что видишь чуть ли не весь мир с той точки, куда помещает читателя автор.

Итак, надо читать всего Бальзака. В его творчестве нет ничего незначительного, читая, очень скоро убеждаешься, что, как ни безграничен полет его фантазии, он не приносит ей никаких жертв. Каждая работа была для него целым научным исследованием. И когда говорят, что он не обладал чудесной силой памяти, как Дюма, легкостью и неприужденностью стиля, как Ламартин, способностью к поэтической импровизации, как Альфонс Карр, и вспоминают еще десяток имен, сравнение с которыми было бы долгим и бесплодным, то забывают, что особые качества были просто дарованы тем людям от природы, а что он, напротив того, долгое время мучительно трудился, постоянно бился над формой, что десять лет жизни были напрасно растрачены им на бесплодные искания; что, наконец, он вечно находился в тисках материальных забот и измышлял всяческие хитроумные выходы, чтобы иметь возможность жить так, как ему хотелось. И тогда спрашиваешь себя: какой ангел и какой бес бодрствовали с ним рядом, чтобы раскрыть ему всю поэзию и всю прозу жизни, все то доброе и то злое, что он запечатлел для нас в своем творчестве?

Впрочем, мы отнюдь не хотим сказать всем этим, что ни одно из его произведений не имеет самостоятельного значения. Бальзак создал большое количество шедевров, которые могут существовать сами по себе. Это «Евгения

Гранде», «Цезарь Бирото», «Урсула Мируэ», «Пьеретта», «Бедные родственники» и много других, чья популярность неоспорима. <...>

В 1830 году Бальзак поселился на улице Кассини и радушно принимал там многих своих друзей. В конечном счете он был лучшим учителем, чем Латуш. Он никого не поучал и ни о чем не спорил. Охваченный творческой лихорадкой, он говорил только о своей работе и с увлечением читал свои романы по мере того, как ему приносили гранки. Он прочел нам таким образом «Шагреновую кожу», «Проклятое дитя», «Поручение», «Покинутую женщину», «Эликсир долголетия», «Красную гостиницу» и др. Он рассказывал свой роман, когда тот еще только создавался, заканчивал его в беседе с вами, менял, переделывал заново и встречал вас на другой день торжествующим криком: «А! Я нашел нечто совсем новое! Вот вы увидите! Вот увидите! Изумительная идея! А ситуация! А диалог! Вы никогда еще не слышали ничего подобного!» И дальше — смех, воодушевление, бьющая через край радость, о чем невозможно дать даже близкого представления. И это — после бессонных ночей и дней неустанного труда. <...>

Он верил или притворялся, что верит в самые странные вещи. Так, например, он искал сокровища, но находил только те, что хранил в себе самом: ум, острую наблюдательность, подвижность, чудесный талант, силу, веселость, доброту — словом, свой гений. <...>

Этот смелый и упорный мореплаватель потерпел кораблекрушение в самой гавани. Всю свою жизнь он стремился к браку с аристократкой, хотел освободиться от долгов, найти в своем доме заботы, любовь, общество просвещенных людей. Он был достоин этой цели, потому что выполнил гигантскую работу, добился блестящей карьеры и злоупотреблял только одним: своим трудом.

Сдержанный во всех других отношениях, он отличался нравственностью и опасался распущенности, ведущей талант к гибели; он почти всегда любил женщин идеально — душою и в мыслях, даже в юности привык вести жизнь анахорета и, хотя много писал о непристойностях и слыл за эксперта в делах волокитства, создавая «Физиологию брака» и «Озорные рассказы», был скорее бенедиктинцем, чем раблезианцем. Он любил целомудрие как моральную изысканность и интересовался темой пола только из любопытства. Обнаружив в ком-нибудь любознательность, равную своей, он, как сам об этом писал, с цинизмом исповедника использовал этот кладезь наблюдений. Но когда он встре-

чал людей, здоровых духом и телом (я говорю его языком), то чувствовал себя счастливым, как ребенок, оттого, что мог говорить о настоящей любви и подняться в высокие сферы чувств.

Он любил вникать во все до тонкостей, но делал это наивно. Читая его, понимаешь, что этот великий анатом жизни изучил все, доброе и злое, путем наблюдений и умозаключений, но отнюдь не на личном опыте.

Причастный, не знаю по какой причине, к делу дворян-монархистов, сторонником которого ему хотелось себя считать, он был настолько беспристрастен по натуре, что лучшие герои его книг всегда оказывались республиканцами или социалистами. Порою казалось, что у него вкусы выскочки, но, по сути дела, это были всего лишь вкусы художника: он любил не столько роскошь, сколько редкости. Он мечтал о бережливости, а сам без конца разорялся. Он хвастал тем, что умеет разоблачать других, а всегда разоблачал только самого себя. Во всех делах он писал и думал «за», а вслух говорил «против». В иных романах он помещал свой идеал в будуар герцогини; впрочем, он находил его и в нравах мастерской. Он видел смешное или великое во всех социальных судьбах, во всех партиях, всех системах. Он высмеивал глупых бонапартистов и жалел бонапартистов несчастных. Он уважал все бескорыстные убеждения. Он ласкал честолюбивую молодежь своего века золотыми мечтами; он повергал в грязь или разбивал в прах ее честолюбивые идеалы, показывая в неприкрашенном виде, что ее ждет на этом пути: распутство женщин, коварство друзей, позор, угрызения совести. Он клеймил великосветских дам, в которых заставлял без ума влюбляться своих молодых героев; он рушил горы золота и уничтожал храмы наслаждений, где блуждала его мысль, чтобы показать, что за химерами, которыми так долго обольщались, среди руин стояли только труд и честность. Он увлеченно говорил о соблазнах порока и сурово о безобразии его последствий. Он писал обо всем и все видел, все понял и все угадал. Разве мог он быть человеком безнравственным? Беспристрастие благотворно для справедливых умов, а людей, которых оно может испортить, не существует. Они были уже испорчены с самого начала, и так испорчены, что беспристрастие не могло их исцелить.

Бальзака упрекали в отсутствии принципов, потому что в итоге, по-моему, у него не было непререкаемых убеждений ни в вопросах религии, ни в искусстве, ни в политике,

ни — даже — в самой любви; но в его книгах не содержалось даже намека на реабилитацию зла и добро всегда было очевидно для читателя. Если добродетель сдается и порок торжествует, еще нельзя считать замысел книги сомнительным, это обществу выносится приговор. Что касается его мнений о времени, которое он пережил, мнений, которые он так подчеркнуто утверждал, то они все самым решительным образом опровергнуты и сметены до последней строки мощью его собственного творчества. К счастью, он не долго придерживался этих мнений и постоянно показывал, не стремясь к этому, дух, поднимающийся из низов общества и сокрушающий старый мир наукой, мужеством, любовью, талантом, волей — словом, пламенем, исходящим и из его сердца.

Было бы ребячеством выдавать его за писателя без недостатков. Он был бы в этом случае первым, кого произвела на свет природа, и, вероятно, последним в своем роде. Итак, недостатки у него были, и он сам знал о них лучше, чем все те, кто об этом говорил, и недостатки существенные: трудный и мучительный стиль, примеры дурного вкуса, погрешности композиции. Он находил красноречие и поэзию только тогда, когда переставал их искать. Он работал чрезмерно много и, исправляя, часто портил. Все это действительно большие недостатки; но когда они искупаются такими высокими достоинствами, надо быть — как наивно говорил он сам и как имел право сказать — дьявольски сильным!

«Тип можно определить как живую персонификацию какого-либо рода в его наивысшем проявлении».

Вот превосходное определение; оно принадлежит Арману Баше, биографу и критику Бальзака. «Схватить мгновенно т и п, — говорит он д а л е е, — взять его из самой жизни, отжать и воспроизвести со всей силой таланта — значит похитить луч волшебного солнца искусства». Да, конечно, в этом великая и подлинная сила художника. Ни у кого еще она не была столь всеобъемлющей. Никто не создал столько законченных типов, как Бальзак; это он придал такую ценность и важность бесчисленным подробностям частной жизни, которые утомили бы нас у другого писателя, а у него они хранят отпечаток самой жизни его персонажей и поэтому необходимы.

Составлен библиографический список сотен произведений Бальзака, написанных им меньше чем за двадцать лет. Подсчитать и точно охарактеризовать бесчисленные типы, живые и полнокровные, созданные Бальзаком за эти годы,

было бы трудом поистине ошеломляющим. Даже если считать всего лишь по пять персонажей на роман, то и тогда их окажется около полутысячи. А ведь в некоторых романах их до тридцати и больше!

В каждом романе «Человеческой комедии» все лица новые, потому что, беря уже известных персонажей, он обогащает их характеры и видоизменяет вместе со средой, куда их переносит. Эта идея создать целый мир образов, с которыми встречаешься вновь и вновь во всех актах этой комедии в тысяче разнообразных картин, всецело принадлежит Бальзаку. Это идея новая, смелая и настолько интересная, что она заставляет прочитать всего Бальзака и запомнить все в его творчестве.

БАЛЬЗАК
В 1825 - 1830 ГОДАХ

А. де ВИНЬИ

ИЗ ПИСЬМА К ВИКОНТЕССЕ де ПЛЕССИ

Мен-Жиро, 15 сентября 1850.

<...> Мне очень хотелось сегодня узнать от вас, прелестная моя приятельница, нашлась ли у женщин Турени хоть одна слеза для бедного Бальзака, их соотечественника, и были ли выражены публично на его родине хоть какие-то знаки сожаления о нем. По правде сказать, я полагаю, что его убил этот брак. За несколько дней до того, как я поехал навестить вас в Дольбо, я был у Гюдена (замечательного мастера морских пейзажей); пройдя по всем морям на всех стенах гостиных, коридоров и лестниц его божонской виллы, мы добрались наконец до восточной террасы этого маленького дворца и загляделись на панораму Парижа. Он показал мне стоявшую в соседнем дворе покрытую пылью карету, из которой только недавно вышли, по его словам, Бальзак со своей московитской женой. Я всегда думал, что эта русская лишь создание фантазии, и удивился, узнав, что она существует на самом деле. Не северный ли ветер заморозил его? Я еще узнаю подробности об этом. Мне кажется, что абстрактная личность по имени Гименей отомстила ему за сочинение «Физиологии брака», убив его у подножия своего алтаря, а прежде вынудив принести там жертвы.

Я видел его лишь три раза в жизни, но всегда уважал в нем упорство и настойчивость, с которыми он трудился, несмотря на природу, никакими дарами не облегчившую ему жизнь, несмотря на публику, которая с презрением отнеслась к первым его сочинениям. Впервые я встретился с ним как с типографом; он вручал мне гранки второго издания «Сен-Мара». Тогда это был очень грязный и очень

худой молодой человек, очень говорливый, чьи сбивчивые речи трудно было разобрать, отчасти из-за пены у рта, в котором было слишком много слюны и совсем не было верхних зубов. Лет через шесть я отправился в палату депутатов послушать дебаты на тему об авторской ответственности на литературные произведения. Из глубины той трибуны, где я нашел себе место, донесся голос: «Ну и ну! Видно, господин де Виньи, поэты всегда будут, как говорит ваш Чаттертон, интеллигентными париями?» Я обернулся и увидел, что слова эти вылетели изо рта, полного идеально ровных зубов, блестящих, как жемчуг, на румяном, толстощеком лице, что дыхание им дала могучая грудь — часть очень крупного и очень жирного тела. Он обратил мое внимание на то, что мы с ним были единственными представителями поэтов и литераторов, чье дело должно было обсуждаться.

— Можно ли удивляться этому, — сказал я, — в такое время, когда каждый сам отрекается от себя, смеется над собой и просит прощения за великую дерзость, позволяя себе быть хоть чем-то?

Больше нам не пришлось видеться, если не считать встречи на похоронах моего бедного друга Шарля Нодье, самого поэтичного из ученых. Бальзак следом за мной обходил задрапированный в черное гроб. Я передал ему кропило и подумал про себя: «Так я передам вам когда-нибудь пальму первенства в Академии». Он также не говорил со мною, но я уверен, что понял меня, и, взглядом отвечая мне: «Кто знает?» — он печально улыбнулся и покачал головой. Ведь слова не нужны тем, кто умеет видеть, не правда ли, мой друг? Так же, как не нужны медики и бесполезна их наука против непостижимых болезней мысли, этих неуловимых недугов, отравляющих нас. <...>

ИЗ КНИГИ «МЕМУАРЫ г-на ЖОЗЕФА ПРИДОМА»

В последние годы Реставрации я часто бывал в кафе «Минерва», где собиралось несколько остроумных молодых людей, в том числе Джеймс Руссо и Орас Рессон, ныне уже покойные. Эти молодые люди были ко мне очень расположены, и их, кажется, весьма занимала моя беседа.

Однажды, когда мы говорили о трагедии Казимира Делавиня, представленной накануне в «Одеоне», Орас Рессон встал.

— Пойдемте отсюда! — воскликнул он. — Сюда идет этот скучный Сент-Обен.

— Смотрите, какого он мнения о своем сотруднике, соавторе по «Искусству повязывать галстук»; но он прав, — заметил Джеймс Руссо, — спасайся кто может!

Вошел человек еще молодой, но уже заметно располневший, с живыми глазами, круглым и улыбчивым лицом; руки он держал в карманах, шел ленивой походкой и был похож на монаха или на крестьянина. Увидев, что его друзья удрали, Сент-Обен подошел к даме за стойкой и стал рассказывать ей какую-то историю, то и дело прерывая рассказ громким хохотом.

Дама, казалось, едва его терпела и думала про себя: «До чего же скучен этот человек! Когда же он наконец перестанет!»

Лицо этого человека мне запомнилось.

Спустя несколько лет, когда в один прекрасный летний вечер мы с Латушем гуляли, болтали и философствовали под каштанами Люксембургского сада, он сказал мне:

— Черт возьми, дорогой господин Придом, раз уж мы в этом квартале, надо бы отвести вас к одному человеку — вы, может быть, когда-нибудь будете гордиться знакомством с ним. Вы знаете, что такое гениальный тупица?

— Право, не знаю.

— Так я вам сейчас покажу. Идемте со мной.

Мы пошли по улице Турнон к довольно приличному на вид дому на углу улицы Пти-Лион-Сен-Сюльпис.

— Чтобы не подыматься зря на шестой этаж, где живет этот человек, — сказал Латуш, — проверим, дома ли он. Господин де Бальзак! — крикнул он, постучав в форточку.

— Он здесь больше не живет, — ответила привратница пронзительным голосом.

— А где он живет?

— Не знаю.

— Он не оставил своего адреса?

— Нет.

Целую неделю Латуш бегал по Парижу в поисках своего Бальзака; наконец он узнал, что «гениальный тупица» завел типографию на улице Марэ-Сен-Жермен в компании с корректором из типографии Татю. Фамилия этого корректора была Барбье.

Бальзак в это время написал уже несколько романов, в том числе «Клотильду де Лузиньян», «Аннетту и преступника», «Последнего шуана». Это было на заре его таланта и известности.

Увлечшись каким-нибудь человеком, Латуш не покидал его ни на минуту, пока не ссорился с ним.

Бальзак только что оставил поприще издателя, на котором не свершил славных дел. В результате его предприятия типография досталась кредиторам, и еще надо было уплатить сорок тысяч франков, на что ушли и доходы от книг, и капитал с процентами. Закончив собственные дела, Латуш поместил Бальзака в своей квартире на улице Кассини, рядом с Обсерваторией. Однажды утром Латуш, стоя в фартуке на стремянке, с наслаждением занимался своим любимым делом — клеил обои. В это время в гости к Бальзаку пришла дама, находившаяся в ссоре с автором «Фраголетты».

— Как вам повезло, — сказала дама после обмена любезностями, — что вы нашли рабочих. Дайте мне адрес вашего обойщика, а то мой вот уже две недели обещает заняться моей квартирой, а никак не идет. Какой красивый узор! Не каждый способен хорошо подобрать обои. Это был один из главных талантов бедняги Латуша, чтобы не сказать единственный. Кстати, вы что-нибудь о нем слышали?

— Да, — сказал Бальзак и не без смущения посмотрел на обойщика, спокойно продолжавшего работу, — он недавно ко мне заходил.

— Говорят, он сошел с ума.

— Как!

— Да-да, говорят, он заболел от огорчения и досады, что его «Испанскую королеву» освистали. Рассказывают очень интересные подробности; например, на той неделе...

— Я боюсь, как бы вам не стало дурно от запаха краски, — перебил Бальзак, — пойдемте гулять в сад, там нам будет удобнее разговаривать.

Он тут же встал и подал даме руку; той пришлось ее принять. В продолжение десяти минут дама свободно высказывала свою антипатию к Латушу; в тот момент, когда она была в самом пылу злословия, ей встретился на повороте дорожки человек в подоткнутом фартуке и с колпаком в руке, который очень вежливо сказал ей:

— Сударыня, я сейчас слышал, как вы жаловались на небрежение вашего обойщика. Вот мой адрес, если вам нужно — я к вашим услугам.

Узнав Латуша, дама покраснела, а затем (он все стоял с колпаком в руке) с хохотом воскликнула:

— Вы здесь! Вы ученик обойщика!

— Литература мне не далась, и я выбрал эту профессию, к которой, признаюсь, я всегда чувствовал склонность. Можете, если хотите, убедиться сами.

— Хорошо, я жду вас завтра.

— Буду непременно.

— Надеюсь, — сказала дама, подавая Латушу руку, — главное, не забудьте ни ума, ни горшка с клеем.

Так Латуш опять стал другом этой дамы и поссорился с ней только через полгода.

У Латуша, в Онее, я и познакомился короче с Бальзаком, оказавшимся тем самым Сент-Обеном из кафе.

Я на всю жизнь запомнил, как он вышел тогда из кареты.

На нем были блуза и клеенчатый картуз, кожаные гетры до колен, за плечами тяжелая сумка, к которой был сверху пристегнут плащ от дождя. В руках у него была большая палка, окованная железом, под блузой — пояс с двумя пистолетами и топориком.

Прямо пионер из североамериканских штатов!

Когда Бальзак вошел в гостиную, гвозди на его больших башмаках поцарапали тщательно натертый пол, отчего Латуш, обожавший порядок во всех мелочах, скривился. Латуш однажды при мне ругал несчастного слугу за то, что тот протер мебель в столовой половой тряпкой.

— Но, сударь, — скромно заметил бедняга, — я же не украл ничего!

— В тысячу раз лучше, — воскликнул разгневанный Латуш, — вор, чем не ряха, — это стоит дешевле!

Грубоватая бесцеремонность Бальзака, его резкие манеры, массивная фигура не могли не коробить Латуша. Я ясно увидел по его лицу, что он начинал побаиваться своего гостя. Бальзак трогал все, отчего бедный Латуш сидел как на иголках, все время трепеща за свой фарфор и статуэтки. Войдя, Бальзак сразу сбросил сумку, палку, пояс; все это кое-как валялось на стульях, а хозяин этих вещей, улегшись в своих башмаках на бархатном канapé, шумно отдыхал с дороги.

Латуш принял серьезный вид, и, как я заметил, с этой минуты он, обращаясь к гостю, всякий раз называл его «господин де Бальзак».

Впрочем, до обеда, который был немедленно подан, все шло хорошо. Поев, мы пошли гулять по окрестностям.

Бальзак, несмотря на свой тонкий и изысканный ум, любил грубые шутки; в кругу друзей он гораздо чаще бывал похож на автора «Озорных рассказов», чем на наблюдателя «Тридцатилетней женщины». В этот день, без сомнения, он перевозбудился от вида природы, потому что так и сыпал всякой похабщиной. <...> При этом он хохотал во все горло. Латуш еще плотнее сжал губы, прогулка теперь проходила в неистощимом потоке слов Бальзака и совершенном молчании его товарища.

Бальзак, надо признаться, был не то чтобы очень занимателен в разговоре; он почти не давал рта раскрыть собеседнику, говорил непрерывно и почти всегда о самом себе. Он был занят только своими планами, работой, идеями; и все это были сказки «Тысячи и одной ночи», расчеты, рядом с которыми умножение зернышка пшеницы на шахматной доске было совершенным пустяком. Любая пьеска или романчик должны были принести ему миллионы. В тот день Бальзак рассказал нам, что хочет сам издавать свои сочинения и создать акционерное общество, которое печатало бы его романы на всех языках.

Мы вернулись домой при восходе луны. Бальзак, работавший по ночам, удалился в свою комнату, приказав кухарке приготовить ему холодного кофе, который он пил за работой. Мы остались вдвоем с Латушем.

— Ей-богу, — сказал тот, — он прочно обосновался.

— Разумеется.

— Как это разумеется?

— Ну конечно, — ответил я, — не вы ли сами сказали мне сегодня утром, и казались притом очень довольны, что пригласили Бальзака провести с вами лето и ждете его с минуты на минуту?

Латуш взял свечу и, ни слова не сказав, поднялся к себе в спальню. Взглянув в последний раз, как царица ночей величественно катится в серебряной колеснице по лазури Эмпирея, я сделал то же. Пока я еще не заснул, мне послышалось, что из комнаты Бальзака доносится приглушенный шум спорящих голосов, но в тот миг, когда я, кажется, узнал голос Латуша, Морфей божественной рукою своей смежил мне веки.

Я ученик природы и Жан-Жака Руссо и люблю, встав до зари, бродить по горам и долам, по лугам и лесам, чтобы обогатить свою коллекцию каким-нибудь новым растением. Словом, я, как и все чувствительные сердца, собираю гербарий. Растения раскрывают мне тайны Создателя и законы неизбежной философии.

Возвращаясь со своей экскурсии, я вышел на дорогу в Со, и тут мой взор поразило весьма необыкновенное зрелище.

Какой-то человек без шляпы, в халате, домашних панталонах и туфлях бежал за омнибусом, ходившим тогда между Со и Парижем, и кричал:

— Стойте! Стойте!

Кучер наконец остановился. Оставалось только одно место на козлах; человек влез туда; лоб его вспотел, щеки горели, он задыхался. Каково же было мое удивление, когда я узнал в столь торопливом путнике Бальзака!

Я поспешил домой, вошел в комнату Бальзака и увидел там его гетры, сумку, окованную железом палку и пистолеты — в такой спешке он уехал. С Латушем я встретился только за завтраком.

— Где же господин де Бальзак? — спросил я, пытаюсь что-нибудь выведать. — Я не вижу его прибора.

— И не увидите.

— Так господин де Бальзак уехал?

— А ну его!

Что же произошло между ними той ночью? Этого я так и не узнал.

ВОСПОМИНАНИЯ

<...> Передо мной стоял человек небольшого роста, полный; плохо сшитое платье еще более отяжеляло его фигуру, но руки у него были прекрасные. На голове у него была прескверная шляпа, которую мы постарались затем как можно скорее заменить, обратившись к единственному в Фужере мастеру мужских шляп. Это оказалось не просто сделать, так как у Бальзака была очень большая голова...

Тотчас же, как только он снял свою шляпу, я перестала замечать окружающее. Я смотрела только на его лицо. Вам, которые его никогда не видели, трудно представить себе его лоб, глаза. Лоб у него был большой, как бы отражавший свет лампы, а карие глаза с золотым блеском были выразительнее всяких слов.

Что я могу добавить?..

Во всем его облике, жестах, манере говорить, держаться чувствовалось столько доверчивости, столько доброты, столько наивности, столько искренности, что, узнав, его невозможно было не полюбить...

Несмотря на неприятности, которые ему пришлось пережить, хорошее настроение переполняло его и заражало окружающих.

Он не пробыл у нас и четверти часа, мы не успели еще показать ему его комнату, а уже он рассмешил нас до слез, генерала и меня. <...>

ИЗ КНИГИ
«ВОСПОМИНАНИЯ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ»

<...> Г-жа Рекамье, поселившись в Аббе-ле-Буа, сделала этот приют знаменитым. Группа строений на улице Севр разделена на три части: женский монастырь, куда посторонние не допускаются, часовенка, открытая для узкого круга, и довольно большой корпус, в котором нанимают квартиры те, кто желает жить в полууединении. Там-то, на четвертом этаже, г-жа Рекамье занимала еще в 1825 году, по возвращении из Италии, скромную квартиру: в маленькой гостиной, где не было никакой роскоши, кроме роскоши изящной простоты, те, кто был там принят, могли видеть множество лиц обоего пола, избранных в силу разных прав — одни по рождению, другие по должности, но большинство по уму и талантам. Все они составляли тогда цвет парижского общества и считали за честь окружать дружбою и уважением женщину, чья долгая многолетняя слава, отличие для лиц ее пола нередко весьма опасное, всегда оставалась чиста.

Ее салон порою служил местом, где заслуги молодых людей, уже известных по некоторым литературным трудам, в своем роде освящались: вот почему многие из них добивались чести быть туда допущенными. Этьен не забыл, как приняли одного из них, оригинальностью и огромным количеством своих трудов расточительно раздававшего векселя будущих успехов. На одном из тех вечеров, куда являлись без приглашения и на которых г-жа Рекамье, хотя почти всегда молчаливая, председательствовала с таким тонким тактом, в одном углу быстро завязался разговор между Ампером-сыном, Балланшем, г-жой д'Опуль и герцогом де Лавалем, а в другом племянница г-жи Рекамье, ее жених Шарль Ленорман, девицы Дювидаль и с ними Монбель и Этьен говорили об Италии. Вдруг

вошла герцогиня д'Абрантес вместе с молодым человеком, впервые явившимся в салоне. Все замолчали, и внимание обратилось на новичка. Он был среднего роста, коренаст, черты его лица, хотя заурядные, указывали на необыкновенную живость ума, а пламенный взгляд и резко очерченные губы выдавали энергию мысли и пыл страстей. Видя это выражение естественной радости на энергическом лице, можно было представить себе лицо Рабле, о котором до нас не дошло никаких достоверных воспоминаний. Этот человек был Оноре де Бальзак, тогда бедный, малоизвестный сочинитель, но после — создатель «Человеческой комедии».

Наивная радость Бальзака, когда его представили хозяйке дома, была совершенно детской, казалось, ему пришлось собрать все остатки здравого смысла, чтобы не броситься в объятия всем присутствовавшим. Такая чрезмерная радость была бы даже смешна, когда бы не была так искренна и выражена столь откровенно. Но истинное чувство всегда рано или поздно трогает, и сцена эта, хотя и слегка забавная, оставила в памяти Этьена лишь весьма благоприятное впечатление о характере Бальзака. Впрочем, разговор его был весьма умен, и когда в этот день он был введен в салон и г-жа д'Абрантес, сама женщина чрезвычайно умная, усадила его между собой и Этьеном, в Бальзаке уже можно было провидеть глубокого наблюдателя и неистощимого романиста, создавшего и опубликовавшего за двадцать один год, с 1827 по 1848, девяносто семь больших произведений.

* * *

<...> С той поры как герцогиня д'Абрантес представила Бальзака г-же Рекамье, Этьену не представлялось случая увидеться с остроумным писателем, ставшим знаменитым романистом, пока они не встретились у Эвера, одновременно печатавшего «Утраченные иллюзии» Бальзака и «Мадемуазель де Лирон» Этьена. Встречаясь довольно часто в типографии, они рассказывали друг другу о своей манере работать, и Этьен мог следить за постепенным созданием «Утраченных иллюзий». Первая корректура, принесенная Бальзаком в типографию, была огромным листом чистой бумаги, сверху которого было набрано примерно сорок строк. На следующий день эти сорок строк вернулись, окруженные двумя или тремя сотнями рукописных строк, в которых разрабатывался предмет, озна-

ченный в первых сорока, вдохновенно и с обилием мыслей, и так продолжалось до конца сочинения. Всегда ли Бальзак следовал этому способу — сочинять посредством амплификации? Этого Этьен сказать не мог, но он видел, как родились, росли и были закончены «Утраченные иллюзии» — счастливейшее создание одного из тончайших и глубочайших наблюдателей нашего времени.

* * *

<...> Бальзака Этьен потом встречал лишь изредка. Как мы видели, они встретились сначала у г-жи Рекамье, а потом в типографии Эвера. С тех пор они только несколько раз встречались на бульварах и в последний раз — у издателя Шарпантье. Во времена величайших литературных успехов Бальзака, когда благодаря видимости богатства его образ жизни ненадолго стал блестящим, Этьен не заходил к нему, но видал в Итальянском театре, куда тот приезжал в экипаже, садился в первой ложе, держа, как скипетр, трость ценой в три тысячи франков, и, радуясь, как ребенок, отвечал на посылавшиеся ему со всех сторон приветствия. Он был похож на Аладдина посреди богатств, принесенных волшебной лампой. Такое искусственное существование в наше время не редкость, и Этьен, всегда питавший к Бальзаку известное расположение, с некоторым беспокойством глядел, как тот безумно отдается во власть иллюзий, которые ему, как и некоторым из его героев, предстояло вскоре утратить. Прошел год-другой, и однажды житель Фонтене встретил знаменитого романиста на углу бульвара и улицы Ришелье. Бальзак был без шляпы, плохо обут, плохо одет, и лицо его, обыкновенно открытое и веселое, выражало живейшее беспокойство. «Что с вами?» — спросил его Этьен. «О, ничего, — ответил он, — я жду одного человека; я назначил ему встречу, а он не идет... Но о, — добавил он, принимая обычный свой спокойный тон, — я очень рад, что встретил вас. Я хочу подарить вам свою книгу». <...>

ВОСПОМИНАНИЯ

Бальзак часто приезжал летом отдохнуть в замок Саше, к господину Маргонну, который с ним очень подружился. Бальзак любил работать в суровой тишине замка, любил размышлять под сенью вековых дубов. К нему относились, как к балованному ребенку, прощали все его капризы, и он этим широко пользовался. Он был далеко не всегда любезен с окружающими. Погруженный в работу, большую часть времени он размышлял или писал. Целиком захваченный своими мыслями, он нередко был молчалив, неприветлив, даже ворчлив.

Однажды владельцы Саше вместе с Бальзаком отправились обедать в Артанны, в замок Мере, принадлежавший г-ну Гуэну. Там собралось блестящее общество. Бальзак, немного разгоряченный прекрасным местным вином, вопреки своей обычной молчаливости заговорил о романе, который он писал. Воодушевившись, он рассказал отдельные эпизоды и, увлекшись рассказом, вдруг стал разыгрывать сцены из своего произведения. С искусством опытного актера, тем более естественным, что он о нем и не подозревал, Бальзак заставлял говорить по очереди своих персонажей, он изображал их с поразительной наблюдательностью и привел в восторг всех присутствующих. Возвращаясь в Саше, г-н Маргонн похвалил Бальзака: «Мой дорогой, вы блистали. Было наслаждением вас слушать, смотреть на вас. Но почему же вы никогда не доставите такого же удовольствия нам, которые вас так любят?» И он немного пожурил его. Бальзак не выносил упреков, он резко и не всегда любезно реагировал даже на малейшее замечание, но на этот раз он ничего не ответил и опустил голову, как провинившийся школьник. На следующий день Бальзак не вышел к завтраку, и г-н Маргонн очень сокрушался по этому поводу. Бальзак дулся весь день. За обедом он выглядел смущенным, и разговор не клеился. Вечером Бальзак вдруг заявил: «Ну хорошо, раз вчера вас так заинтересовал рассказ о романе, над которым я работаю, то, если желаете, я могу продолжить, это тем более легко, что у меня с собой текст!» И, вытащив из кармана рукопись, он стал читать

в своей неподражаемой манере. Так продолжалось теперь каждый вечер. Иногда он воодушевлялся, жестикулировал, вскакивал и, меряя шагами большую гостиную Саше, продолжал рассказывать по памяти. Но иногда он подходил к свету, чтобы бросить взгляд на рукопись, и поэтому в разных местах гостиной нарочно расставили канделябры. Бальзак безропотно переходил от одного канделябра к другому, продолжая свое представление независимо от того, были ли в замке гости или же хозяйева оставались одни. Каждый вечер он своими рассказами приводил в восторг всех присутствующих.

Однажды какое-то замечание Бальзака показалось одной даме несколько преувеличенным. Она воскликнула: «О, господин де Бальзак, господин де Бальзак! Это уж слишком!» Бальзак начал с ней спорить. Каково же было всеобщее удивление, когда несколько дней спустя все услышали вновь этот спор в устах персонажей романа, переданный с точностью, немало напугавшей всех, кто спорил с Бальзаком. Так повторялось несколько раз, и вскоре никто из гостей не решался говорить, боясь, что все потом будет повторено в романе.

Г-н Маргонн даже думал, что Бальзак нарочно воспользовался этим хитроумным приемом, чтобы оградить себя от замечаний окружающих... Однако он по-прежнему был со всеми любезен и приветлив, его характер как бы изменился. Однажды он откровенно поговорил с г-ном Маргонном, поблагодарил его за урок и заметил, что теперь он «исповедует религию любезности». Этот милый человек наивно признался, что понял теперь долг любезности каждого по отношению к окружающим.

Чрезвычайно интересно остановиться на образе жизни Бальзака в Саше, когда он писал свои романы. Закончив роман, Бальзак устраивал себе, по его словам, каникулы. Он вел самый беспорядочный образ жизни: бог знает когда вставал, забывая об еде, часами бродил по окрестностям, подчиняясь лишь прихоти своей фантазии. Но даже если он и не писал, то мозг его все равно постоянно работал — гуляя, Бальзак обдумывал новый роман. Его знаменитые каникулы не были очень продолжительными: четыре-пять дней, иногда, в виде исключения, недели две — и вновь его охватывала лихорадка творчества.

Нужно сказать, что Бальзак не увлекался ни одним из деревенских развлечений. Он пробовал охотиться, но безуспешно, так как был слишком рассеянным, то же самое было и с рыбной ловлей. Как-то г-н Маргонн увидел, что

рыба, попавшись на крючок, дергает леску, а задумавшийся Бальзак забыл про удочку. Он любил забавы, способные занять ум. Мой отец, считавший себя хорошим игроком в шашки, как-то предложил Бальзаку сыграть партию. После нескольких ходов отец сказал: «Но, господин Бальзак, мы ведь играем не в поддавки. Вы отдаете все ваши шашки. Вы что, смеетесь надо мной?» — «Нет, — ответил Бальзак, — я играю вполне серьезно», — и он продолжал жертвовать своими шашками. В конце концов у него осталась только одна шашка, но он сумел так повернуть игру, что съел последней шашкой все оставшиеся шашки отца. С тех пор мой отец считал Бальзака умнейшим человеком.

Но самое интересное было наблюдать за Бальзаком, когда кончались его так называемые каникулы и он начинал писать. Бальзак спал хорошо и крепко и заводил свой большой будильник на два часа ночи. Он сам варил себе на спиртовке кофе и поджаривал несколько ломтиков хлеба, затем приступал к работе, лежа в постели, положив бумагу на поднятые колени. Он работал обычно часов до пяти вечера, подкрепляясь только кофе с тартинками. В пять часов вставал, одевался к обеду и оставался в гостиной до десяти часов, ровно в десять он исчезал и шел к себе спать. Никогда он не изменял этому установленному им порядку. Обдумав свой роман, Бальзак писал его сразу, не отрывая пера от бумаги, оставляя пропуски для каких-либо конкретных данных, имен и т. п. Написав все, он вновь принимался за роман, внося необходимые поправки. И наконец он брался за него в третий раз, отделявая стиль, отшлифовывая фразу за фразой, иногда почти ничего не оставляя от первого варианта.

Могут добавить еще об одной его привычке, которая смешным образом проявлялась в Саше. Он часто был без денег, и иногда именно это приводило его в замок. Г-н Маргонн был очень добр к нему и охотно ссужал его деньгами, но небольшими суммами, чтобы подольше держать его в Саше. Когда Бальзак приезжал с пустым кошельком, он бывал очень вежлив со слугами, ибо больше ничем не мог их вознаградить, но если он гордо проходил, разыгрывая из себя важного господина, слуги говорили друг другу: «Ну, дела у него идут хорошо». Вообще-то он был очень щедрым и добрым по отношению к бедным, когда мог им в чем-то помочь.

Вот, как мне кажется, несколько интересных и малоизвестных подробностей жизни Бальзака, которыми я хотел поделиться.

Э. И Ж. ГОНКУРЫ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

<...> Впервые Гаварни увидел Бальзака у Жирардена и Лотур-Мезере, во времена «Мод». Увидел грузного человека с красивыми черными глазками и вздернутым носом, чуточку приплюснутым, разговаривавшего много и очень громко. Гаварни принял его за приказчика из книжной лавки.

Он рассказывал, что у Бальзака силуэт тела сзади, от затылка до пяток, образовывал одну прямую линию, выступали только икры, а спереди это был настоящий пиковый туз. Желая продемонстрировать нам точные очертания этого тела, он даже принялся вырезать его из бумаги.

В последний раз Гаварни видел Бальзака в Версале. Гаварни сидел в первый класс, Бальзак в третий. Они разговорились. «Ну, хороши мы о б а», — сказал Бальзак. «Вы по уши в долгах, а мне приходится ездить в третьем классе... Сегодня утром я говорил об этом министру...» <...>

ИЗ СТАТЬИ «ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ РАССКАЗ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С БАЛЬЗАКОМ»

Я познакомился с Оноре де Бальзаком лишь в последние месяцы 1829 года, а уже в мае 1830 года наши отношения, ограничивавшиеся чисто литературной сферой и вначале бывшие весьма дружескими и сердечными (или казавшиеся таковыми), внезапно прервались по его вине: он некрасиво поступил со мной, а у меня не хватило кротости молча стерпеть. <...>

В ту пору я сражался со своими противниками на страницах нескольких мелких газет. В редакциях этих газет, завсегдаем которых я стал после того, как отточил свое перо и превратил его в салонный кинжал, Бальзак мог встретить меня еще в 1826 году, когда также имел дело с газетами такого рода.

Я последовал за Лепуатвенном де Сент-Альмом, который забрал меня из редакции «Мируар» в «Фигаро».

Я был правой рукой, секретарем, доверенным лицом Сент-Альма, исполнителем всех верховных постановлений «Фигаро». Никто из моих коллег не умел так ловко, как я, ввести скальпель, да еще и безжалостно повернуть его в ране. <...>

Я отправился к Маму и Делоне-Валле и предложил им издать целую серию неопубликованных секретных мемуаров о жизни французского двора XVII—XVIII веков; предложение мое было принято с восторгом, и они тут же приобрели на очень выгодных для меня условиях четыре тома in — 8° неопубликованных мемуаров кардинала Дюбуа и четыре тома неопубликованных мемуаров Габриэль д'Эстре, которым предстояло выйти из-под моего пера и ни одной строчки которых я к тому времени еще не написал.

Через несколько дней, когда мы с Пишо вместе работали над рукописью очередного выпуска ежемесячника «Меркюр дю съекль», он вдруг прервал работу и сказал:

— А вы знаете, что издатель Мам готовит, вернее, приготовил нам неприятный сюрприз?

— Какой еще сюрприз? — переспросил я, не поднимая головы.

— Автору «Последнего шуана» пришла в голову дьявольская мысль: опубликовать одновременно с нашими секретными мемуарами о французском дворе XVII и XVIII веков очень необычные мемуары...

— Что за мемуары? — поспешно переспросил я. — Господин Мам ничего не предпримет, не согласовав с нами.

— Но дело уже сделано. Во всяком случае, решено. Господин де Бальзак явился к господину Маму и предложил издать подлинные мемуары Сансона.

— Какого Сансона? — вскричал я, не на шутку встревоженный. — Никола Сансона, придворного инженера и географа короля Людовика XIII? Или одного из его сыновей, которые были, как и он, географами, старший был убит в Париже в период Фронды...

— Нет, — улыбнулся Амедей П и ш о, — совсем другого «инженера» — Сансона, приведившего в исполнение преступные приговоры в период революции, того самого Сансона, который удостоился чести гильотинировать короля Людовика XVI и королеву Марию-Антуанетту!

Я принес господину Маму очередную часть рукописи «Мемуаров прекрасной Габриэль» и у него в кабинете впервые встретился с Бальзаком. Мам представил нас друг другу, наговорив при этом каждому из нас кучу ловких, изящных комплиментов и выразив радость по поводу того, что является нашим издателем. Бальзак очень любезно отозвался на такую лестную рекомендацию, заверив хозяйна, что мы и мечтать не могли о лучшем издателе, и в качестве нового человека в доме просил меня воздать хозяину должное.

— Я давно мечтал познакомиться с вами лично, — обратился я к Бальзаку, — так как знаю все ваши произведения, все старые романы и особенно в восторге от вашего чудесного «Ванн Хлор».

— О! Стоит ли говорить об этих пустяках! — прервал он меня, как будто не хотел, чтобы я продолжал. — Это ведь всего лишь грехи молодости. Но вы, возможно, читали

моего «Последнего шуана»? А скоро вы сможете прочесть мою «Физиологию брака». Тогда вы поймете, на что я способен как писатель-моралист и юморист.

— Говорят, это прекрасная вещь, — ответил я. — Моему другу Амедию Пишо посчастливилось прочесть несколько листов корректуры, и он не устает повторять, что успех вашей книге обеспечен.

— Безусловно, — заявил господин М а м . — Господин Бальзак был так любезен, что самолично прочел мне несколько отрывков, и я могу лишь сожалеть о том, что не являюсь счастливым издателем этого прекрасного произведения. Но очень скоро, надеюсь, и я получу свое, так как господин Бальзак обещал мне «Сцены частной жизни» и, еще раньше, «Мемуары Сансона», приводившего в исполнение преступные приговоры в период революции.

— О! Господин Мам, не будьте так нескромны! — прервал его Бальзак, покраснев и смутившись. — Вы ведь знаете, господа, что я открыто признаю лишь те книги, которые подписываю своим именем.

Мы вместе вышли от господина Мама и на прощание выразили взаимную надежду, что нам теперь часто придется встречаться в этом заведении, с которым нас отныне связывала наша работа и наши литературные интересы.

Во время этой первой встречи Бальзак возбудил во мне скорее любопытство, нежели симпатию. Я почувствовал в нем сильную, цельную личность, сразу овладевающую окружающими, подчиняющую их себе. У него наверняка не было близких друзей, и он прекрасно без них обходился, так как занят был только самим собой. Привлечь к себе его внимание и понравиться ему можно было лишь одним способом: расхваливая его или же выслушивая его похвалы, на которые он не скупился и от которых получал явное удовольствие. Он не был злым: ему просто не было дела до других, не было времени вникать в чужие дела; но иногда он позволял себе злые выпады, если кто-нибудь задевал его болезненное самолюбие. Он всегда был непоколебимо уверен в своем превосходстве и не терпел, чтобы кто-либо выказывал хоть тень сомнения по этому поводу. Он являл собой, пожалуй, уникальнейший образец воплощенного литературного тщеславия.

Но зато нельзя не признать, что это был подлинный гений, творец, обладавший неукротимым воображением, неистощимый на выдумки и очень наблюдательный; он мог бы преуспеть во всех жанрах, если бы ему удалось разрабо-

тать свой стиль, строгий, изящный, простой и изысканный одновременно; только в этом он не достиг совершенства, что сознавал и сам, и постоянно прилагал все усилия, чтобы овладеть тем, чего ему не хватало.

Известно множество портретов Бальзака, но ни один из них, насколько мне известно, не относится к этому периоду. Было ему тогда тридцать два года, а выглядел он гораздо моложе. Он еще не успел располнеть, но и был уже далеко не таким худым, как пять-шесть лет назад. Он не носил еще ни усов, ни длинных волос. Его открытое лицо говорило о доброжелательном, веселом нраве, а из-за яркого румянца, пунцовых губ и блестящих глаз он часто производил впечатление человека, только что вкусно и сытно пообедавшего, хотя был он, говорят, очень воздержан и неприхотлив в еде. Во всей его внешности, в походке, манере держаться начисто отсутствовала всякая элегантность; и как бы много внимания ни уделял он своей внешности, он всегда выглядел плохо одетым. Его, например, никто никогда не видел в перчатках.

Между тем «Мемуары Сансона» все никак не двигались с места. Господин Мам, всех оповестивший о них, не получил еще ни одного листа рукописи. Бальзак никак не мог сесть за эту работу, она вызывала в нем непреодолимое отвращение, и он изобретал всевозможные предлоги, чтобы оттянуть момент сдачи Маму рукописи первого тома, который тот ему заранее и очень щедро оплатил.

— Моя «Физиология брака» выходит завтра! — заявил мне Бальзак, которого я убеждал поторопиться и рассчитаться с господином Мамом, так как не в его интересах было портить отношения с таким доброжелательным и щедрым издателем. — Я пришлю вам книгу. Мне бы не хотелось, чтобы отзыв о ней писал в «Меркюри» Амедей Пишо; я ему не доверяю, его ядовитая усмешка не внушает доверия.

— Вы не правы, это очень милый и очень обязательный человек; он тесно связан с вашим книготорговцем Левассером и, наверно, захочет сам написать о книге.

— А я вовсе не нуждаюсь в его колкостях и покровительственных советах. Я вас прошу написать статью о моей книге и рассчитываю на это и в долгу перед вами не останусь.

— Но оставим в покое вашу книгу. — И я опять заговорил о необходимости скорейшего опубликования «Мемуа-

ров Сансона): — Вы не встанете из-за стола до тех пор, пока первый том не будет издан и не появится на прилавках. Господин Мам умолял меня уговорить вас поскорее закончить этот первый том. Прошу вас об этом как о личном одолжении. Между нами говоря, я должен вас предупредить, дорогой де Бальзак, что господин Мам сердится и не опубликует ваших «Сцен частной жизни», пока не получит первого тома «Мемуаров».

— Пусть он не выводит меня из терпения, ваш Мам! — закричал Бальзак скорее пренебрежительно, чем гневно. <...>

— Дорогой мой де Бальзак, — отвечала ему, — не хотите же вы, чтобы Мам положил под сукно ваши «Сцены частной жизни»? Так дайте же ему эти «Мемуары Сансона», из-за которых он потерял сон.

— Да я и сам бы рад, именно об этом я и хотел с вами посоветоваться. В моих «Сценах частной жизни» есть одна прелестная новелла, настоящий маленький шедевр. Называется она «Покаянная месса». Она могла бы стать прекрасным вступлением для «Мемуаров»; но мне жалко жертвовать такой удачной вещью. <...>

— До свидания, — сказал я, протягивая ему руку, — я должен вас покинуть. Я недавно переехал на новую квартиру, и у меня теперь масса дел по дому... Прощайте!

— В будущем месяце и мне предстоят такие же хлопоты и беспокойства, — сказал он, удерживая мою руку, — я ведь тоже переезжаю. Мы увидимся, когда я поселюсь по соседству с вами, на улице Кассини. Кстати, я вам покажу и первый экземпляр моей «Физиологии», которая выходит завтра.

— Зачем? Ведь вы обещали прислать мне книгу, чтобы я написал о ней статью в «Меркюр».

— Что касается статьи, то я ни в коем случае не хочу, чтобы ею занимался Пишо, слышите? Я сказал это и ему лично; я не желаю, чтобы он разжижал мое произведение своим водянистым слогом...

— Что вы такое говорите? Да Амедей Пишо пишет лучше нас с вами. Но раз вы так хотите, я напишу о вашей книге в ближайшем номере «Меркюр». <...>

Бальзак не забыл прислать мне свою «Физиологию брака» — два красивых, прекрасно изданных тома в ярко-желтой обложке, с собственноручной дарственной надписью: «Господину Лакруа в знак уважения. *О. де Бальзак*». <...>

Амедей Пишо согласился представить мне возможность включить во второй январский (1830 год) номер заметку следующего содержания: «Ныне в большой моде всевозможные «Физиологии»: «Физиология вкуса», произведение господина Брийя-Саварена, вслед за которой появилась «Физиология брака», а за ней наверняка последует «Физиология холостяцкой жизни», которой мы будем обязаны какому-нибудь светскому умнику. «Физиология брака», ответственность за которую взял на себя холостяк, — безусловно, выдающееся произведение. Беглое чтение ее изумило и покорило нас. Здесь чувствуется школа Рабле, Дидро и Бомарше. Наверно, нетрудно найти книгу более трезвую и благоразумную, чем эта, но нет ей равной по остроумию и оригинальности. И мы обязательно прочтем ее еще раз».

Чтобы обсудить со мной мою заметку о его книге, Бальзак явился ко мне домой. Я был поглощен работой над завершением моего исторического романа «Два безумца», который должен был выйти в свет в феврале; дверь моего дома была закрыта для всех, никто не мог ко мне проникнуть. Но разъяренный Бальзак поднял такой шум, столько всего наговорил, так громко кричал и проявил такую настойчивость, что моему слуге пришлось постучаться ко мне в кабинет и вручить мне визитную карточку этого нетерпеливого посетителя, который дожидался в гостиной. Я был ужасно раздосадован, но взял себя в руки и отправился в гостиную, где застал Бальзака за разведением затухающего в камине огня; было похоже, что он готовился к долгой беседе.

— Вы уже успели еще раз прочесть книгу? — закричал он, когда я появился перед ним в халате и с пером в зубах. — Ну и как она вам?

— Я с удовольствием прочел ее, — ответил я, — и мне не пришлось ее перечитывать.

— Но ведь в своей заметке вы так и сказали: «Мы обязательно прочтем ее еще раз». И, поверьте мне, вам действительно следовало прочесть ее еще раз, и тогда бы вы убедились, что это самая серьезная книга о браке со времен «Школы жен» и «Жоржа Дандена» Мольера.

— Не обращайтесь внимания на критические мудрствования, писанные на потребу толпы. Книга ваша великолепна, и я, кстати, не поскупился на похвалы.

— Ну хорошо, хорошо. Я пришел сюда не для того, чтобы ссориться с вами. Я пришел, чтобы напомнить вам

о вашем обещании написать обстоятельную статью о моей книге, в которой вы лучше сможете отдать мне должное.

— Бога ради, дайте мне передохнуть, господин де Бальзак. Я сейчас очень занят, у меня нет ни минуты времени, ни для себя, ни для других, я заканчиваю свой роман «Два безумца», с изданием которого очень спешат и выход которого планируется в феврале.

— Но это ведь такой пустяк — написать статью для газеты! Ну что стоит написать четыре-пять страниц!

— И это говорите вы, когда вы сами за два месяца не смогли разделаться с первым томом «Мемуаров Сансона»! Четыре-пять страниц рукописи — это девять-десять печатных страниц, а десять печатных страниц в день — это целый том в четыреста страниц за шесть недель!

— Да тут все дело в отсутствии желания. А что стоит нам с вами, привыкшим по двадцать часов в сутки не выпускать из рук пера, состряпать хвалебную статью? А ваш отзыв позволяет мне рассчитывать именно на похвалы. Ну, дорогой, будьте же так любезны, и перо вот у вас в руке; еще несколько листов бумаги — и статья будет готова. Напишите ее прямо сейчас, здесь, при мне; а я вам помогу, подскажу нужное слово, напомним, какие места из моего, как вы выразились, «выдающегося произведения» вам следует процитировать. <...>

— Послушайте! Я, кажется, нашел способ все уладить. Напишите сами эту статью.

— Мне самому писать статью о моем произведении? Но это ведь смешно и неприлично!

— Да вы прекрасно знаете, что это делалось не раз. И мир не перевернулся, земля по-прежнему вертится, и солнце светит. Да-да, мой дорогой, напишите сами эту вашу статью, вернее, мою статью, ведь читатели «Меркюр» будут думать, что она вышла из-под моего пера, а Пишо я скажу, что статью написал для меня... один из наших лучших сотрудников, имени которого я называть не стану.

— И вы предоставляете мне право защитить в этой статье мою книгу, подчеркнуть побудительные причины ее написания и воздать должное полученным результатам? Оригинальная мысль. Я подумаю.

Результатом этих раздумий явилось то, что на следующей неделе Бальзак принес мне статью и сам мне ее зачитал с пафосом и с нескрываемым удовольствием, как он вообще имел обыкновение читать свои сочинения. Статья была написана остроумно, с юмором и очень мне понравилась. <...>

Я случайно встретил Бальзака два-три дня спустя.

— Хочу сообщить вам, что я вместе с Эмилем де Жирарденом, то есть на его средства, намереваюсь предпринять крупное журналистское начинание. Мне пришла в голову мысль выпускать два раза в неделю в качестве дополнения к «Журналь де Деба» «Фейетон де журно политик», содержащую исключительно критические и литературные статьи.

Первый номер «Фейетон де журно политик» вышел 3 марта 1830 года. Я опять случайно встретил Бальзака.

— ...Кстати, в нашем номере, который выйдет в четверг, будет кое-что и о вас. И вы обязательно скажете мне свое мнение, когда прочтете мою статью о «Двух безумцах». Я был строг, но справедлив. Кого люблю, того и бью.

— Избавьте меня от такой любви, — ответил я, поворачиваясь к нему спиной, — хочу вас только предупредить, что в долгу не останусь.

Это был настоящий разрыв, и я дал себе слово отплатить Бальзаку, который строил из себя мажордома литературы и литераторов. Бальзак сдержал свое обещание: «Хроника», вышедшая в ближайший четверг, содержала самый настоящий разнос, сдобренный покровительственными ужимками. По мнению Бальзака, у моего романа «Два безумца» был непростительный недостаток: он имел успех лишь благодаря своей «добротности», лишенной развязности и шарлатанства. Роман мой вышел сначала одним тиражом в 1 500 экземпляров, но был сразу же раскуплен. Но этого было недостаточно, чтобы ответить на злобный выпад Бальзака, и мне не терпелось отплатить ему той же монетой. Я не считаю нужным подробно воспроизводить здесь эту предательскую, злобную статью, которой он «почтил» моих «Двух безумцев». <...>

С этого времени мы с Бальзаком были «на ножах», и я лишь ждал случая, чтобы начать наступление. <...>

Мы поссорились окончательно и бесповоротно, и я, должен сознаться, несколько об этом не сожалел. <...>

Когда в 1836 году Арман Дютак и Эмиль де Жирарден одновременно основали две крупные газеты, где печатались романы с продолжением «Сьекль» и «Ла Пресс», мы с

Бальзаком оба оказались привлеченными к их изданию. И нам волей-неволей приходилось встречаться в кабинетах этих двух соперничающих между собой главных редакторов. К этому времени Бальзак уже достиг зенита своей славы как романист.

Лицом к лицу я столкнулся с Бальзаком впервые после той нашей давней ссоры в салоне г-жи де Жиранден. Я немного опоздал и пришел в самый разгар беседы, тема которой была явно подсказана хозяйкой дома и теперь оживленно обсуждалась за чаем довольно многочисленной группой литераторов и светских дам. Речь шла о Бальзаке и его произведениях. Бальзак сидел тут же на стульчике и с довольным видом выслушивал градом сыпавшиеся на него преувеличенные похвалы. Слушал он молча, без тени смущения, держа наподобие скипетра свою знаменитую резную трость с аллегорическим орнаментом; трость была из черного серебра с орнаментом из золота и драгоценных камней. Он никогда не оставлял эту трость в прихожей вместе со своим пальто, как обычно поступают с тростями, а расхаживал с ней повсюду, как будто это было какое-то драгоценное украшение, и, казалось, бывал польщен любопытством и изумлением, которые она неизменно вызывала. Эту действительно очень красивую трость я могу описать до мельчайших подробностей, так как являюсь теперь ее обладателем: набалдашник ее изображает три обезьяньи головы, очень тонко отлитые по эскизу Лоран-Жана, в них некоторые узнавали Бальзака, Эмиля де Жирандена и Лотур-Мезере.

Картина была впечатляющая: Бальзак, важно восседающий, как король, с тростью в руке, в окружении почитателей, в салоне женщины, слывущей одной из самых умных, изысканных и элегантных аристократок.

— А вот и г-н Жакоб. Он нас сейчас и рассудит, — встретила мое появление мадам Жиранден. — Речь идет о вопросе, на который никому еще не удалось ответить так, чтобы все с ним согласилось. Какой роман г-на де Бальзака можно считать лучшим? Который из них самый совершенный, самый оригинальный, заслуживающий восхищения со всех точек зрения?

Бальзак взглянул на меня с некоторым беспокойством. Я попытался уйти от прямого ответа, заявив, что считаю вопрос праздным и неразрешимым, так как у каждого могли быть свои соображения на этот счет, разумеется, чисто субъективные и не связанные с действительными достоинствами самого произведения.

— Не пытайтесь увернуться, господин Ж а к о б , — сказала госпожа де Жирарден. — Я требую, чтобы вы сказали нам прямо и откровенно, какой из романов г-на де Бальзака вы ставите выше всех остальных.

— Сударыня, — начал я, глядя прямо на Бальзака, — вы меня застали врасплох, я не готов к ответу на ваш вопрос. Ведь чтобы обстоятельно и аргументированно ответить на него, мне следовало бы столько раз покрутить во рту языком, сколько раз господин де Бальзак покрутил своей тростью с тех пор, как начался этот спор, и до момента, когда он достиг накала, степень которого был не в состоянии предугадать даже сам Бальзак.

Мой уклончивый ответ был встречен взрывом всеобщего смеха, так как Бальзак действительно все это время, пока обсуждались литературные достоинства его произведений, вышедших в течение шести-семи лет, только и делал, что крутил тростью справа налево и слева направо. Бальзак немного смутился, встал и собрался уходить.

— Я не принимаю вашу увертку, господин Ж а к о б , — заявила госпожа де Жирарден, которой очень не хотелось отпускать героя вечера. — Ну-ка, быстро сделайте выбор и назовите нам лучшее произведение...

— Позвольте мне, сударыня, стать прорицателем, — воскликнул я, чтобы как-то выйти из положения. — Господин де Бальзак уже создал много шедевров, среди которых трудно отдать предпочтение какому-либо одному, но, мне кажется, я могу предсказать, что свое лучшее произведение он напишет через десять лет.

Мое предсказание было встречено аплодисментами. Так я вышел из затруднительного положения и тем положил конец затянувшейся дискуссии. Я был избавлен от необходимости читать лекцию по сопоставительной литературе и восхвалять Бальзака перед этой восторженной аудиторией. И я ничуть не удивился, что сам Бальзак тоже заплодировал моему уклончивому и сомнительному заявлению и сказал, обращаясь к госпоже де Жирарден:

— Честное слово, этот чертов библиофил просто колдун! Ведь я действительно собираюсь через десять лет создать свой настоящий шедевр. У меня это записано. Я покажу вам хронологический список моих будущих публикаций вплоть до 1850 года.

Не знаю, вспомнил ли Бальзак о моем предсказании, когда в 1846 году была опубликована «Кузина Бетта», первая часть его «Бедных родственников». Итак, мы с Бальзаком перестали быть врагами; но в этот период сума-

тошная парижская жизнь более, чем когда-либо, отделила нас друг от друга.

Я с удовольствием вспоминаю свои ежемесячные встречи с Бальзаком на заседаниях Общества литераторов в течение всего времени, пока он принимал участие в работе комитета этого общества, которое насильно удерживало его в течение двух лет, отказываясь удовлетворить его заявление об отставке. Бальзак 1841—1844 годов — это уже совсем не тот Бальзак, что в 1830-е годы. Он стал проще в общении с собратьями по перу, впрочем, не совсем сойдя со своего пьедестала; был он по-прежнему необыкновенно честолюбив и чванлив, но старался скрывать это: он делал все возможное, чтобы со всеми быть приятным и любезным. И надо признать, что был он на редкость обаятельным собеседником: невозможно было устоять перед его красноречием и завораживающим взглядом. Он как никто другой умел держать собеседника в плену беседы, которая обычно превращалась в неиссякаемый монолог. О чем бы ни зашла речь, он обо всем говорил одинаково легко и многословно, а суждения его всегда отличались глубиной и оригинальностью. Я знавал во Франции многих искусных ораторов, но, по-моему, всем им было далеко до Бальзака.

В дальнейшем жизнь сложилась так, что мы постепенно совсем отделились друг от друга, перестали встречаться как в светских салонах, так и в газетных и литературных редакциях. До меня дошли слухи, что в один прекрасный день он оказался настолько богат, что смог купить небольшой особняк, дом финансиста Божона на улице Фортюне, отдал его с большим вкусом и собрал коллекцию старинных картин и других произведений искусства разных времен и народов.

БАЛЬЗАК
В 1831-1840 ГОДАХ

ЖОРЖ САНД

ИЗ КНИГИ
«ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ»

<...> Один из моих друзей, который был немного знаком с Бальзаком, представил меня ему не как музу нашего округа, а как добрую провинциалку, восхищенную его талантом. Это была правда. Хотя Бальзак в ту пору еще не создал своих шедевров, я была живо увлечена его новой и оригинальной манерой и уже считала его мэтром, достойным подражания. Бальзак был со мною не так очаровательно обходителен, как де Латуш, но тоже очень хорошо благодаря прямоте и ровности характера. Все знали, как его довольство собой (чувство столь заслуженное, что его ему прощали) переполняло его до краев, как он любил говорить о своих сочинениях, рассказывать их заранее, создавать их в ходе беседы, читать вслух в черновиках и гранках. Этот *добрый ребенок*, наивный до невозможности, спрашивал совета у других, но не слушал их или же выслушивал для того, чтобы тут же упрямо оспорить с высот своего превосходства. Он никогда не поучал. Он говорил о себе, о себе одном. Один только раз он изменил своей привычке, чтобы рассказать нам о Рабле, которого я еще не знала. Он сделал это так чудесно, так ошеломляюще и с такой ясностью, что, уходя, мы говорили: «Да, да, разумеется! Он достигнет того будущего, о котором мечтает; он так хорошо понимает других, что обязательно станет великой личностью».

Он жил тогда на улице Кассини в небольшой светлой квартирке-антресоли рядом с Обсерваторией. Это благодаря ему или у него я познакомилась, помнится, с Эмманюэ-

лем Араго, который должен был стать для меня братом и который тогда был еще ребенком. <...>

В одно прекрасное утро Бальзак, выгодно продав «Шагреневую кожу», почувствовал презрение к своей антресоли и пожелал покинуть ее. Но, пораздумав, он удовлетворился тем, что превратил свою маленькую квартирку поэта в некое подобие будуара маркизы и однажды пригласил нас прийти полюбоваться стенами, обитыми шелком, с бордюром из кружев. Я смеялась до слез. Я не думала тогда, что эта потребность в *суетной роскоши* была для него чем-то серьезным, большим, чем мимолетной фантазией. Я ошиблась. Эти кокетливые причуды воображения стали тиранами его жизни, и, чтобы удовлетворять их, он часто жертвовал самым скромным благополучием. С тех пор он так и жил, нуждаясь в самом необходимом среди излишеств и отказывая себе в супе и кофе скорее, чем в серебре и китайском фарфоре.

Вынужденный вскоре прибегать к фантастическим уловкам, чтобы не расставаться с безделушками, которые радовали его взгляд, художник-фантазер, иначе — ребенок-мечтатель, он жил в своем воображении во дворце фей; упрямец, однако, принимал добровольно все тревоги и неудобства, лишь бы только уберечь от реальности хоть часть своей мечты.

Дитя и властелин, всегда жаждущий какой-нибудь *красивой игрушки* и никогда не ревнующий к славе, искренний до стыдливости, в бахвальстве доходящий до вранья, верящий в себя и доверчивый к другим, очень экспансивный, очень добрый и крайне безрассудный, он уходил в святая святых — творчество, где царил безраздельным властителем; циничный в целомудрии, пьянеющий от воды, неумеренный в труде и сдержанный в других страстях, трезвый и романтичный в равном избытке, доверчивый и скептический, полный противоречий и тайны — таков был Бальзак, еще молодой, но уже необъяснимый для тех, кому надоедало слишком пристальное его изучение, что требовалось от подлинных друзей и что далеко не всегда казалось им делом столь интересным, каким оно было в действительности.

И действительно, в ту пору многие судьи, весьма, впрочем, сведущие, отрицали гений Бальзака или, во всяком случае, не верили в успех столь мощно развивающегося таланта. Де Латуш был его самым упрямым недоброжелателем. Он говорил о Бальзаке с явной неприязнью. Бальзак был его учеником, и их разрыв, мотивов которого Бальзак

так никогда и не понял, был еще совсем свежим и кровоточил. Де Латуш не представил никакой здоровой причины своего злопамятства, и Бальзак часто говорил мне: «Берегитесь его! В одно прекрасное утро вы вдруг обнаружите в нем, по неизвестной вам причине, своего смертельного врага!»

Де Латуш был, по-моему, явно неправ, понося Бальзака, который говорил о нем только с сожалением и нежностью; но и Бальзак напрасно поверил в непримиримость их ссоры. Он мог бы со временем восстановить их отношения.

Впрочем, тогда было еще слишком рано. Я тщетно пыталась много раз говорить де Латушу, что он мог бы опять сблизиться с Бальзаком. Первый раз он чуть не подпрыгнул до потолка. «Как! Вы его видели? — вскричал он. — Значит, вы с ним встречаетесь? Этого еще только не хватало!» Я подумала, что сейчас он выбросит меня в окошко. Но он успокоился, пришел в себя, надулся и кончил тем, что *простил мне моего Бальзака*, убедившись, что эта симпатия не отнимает ничего от той, какую он требовал для себя. Но при каждом новом моем литературном знакомстве де Латуш впадал в такой же гнев, и даже люди вполне безобидные казались ему врагами, если они не были представлены мне им самим.

О своих литературных планах я почти не говорила с Бальзаком. Он или не очень верил, или вообще не думал, что я на что-то способна. Я не просила у него советов: он мне как-то сказал, что хранит их для самого себя. И это столько же по простодушию скромности, сколько по наивности эгоизма; потому что у него была манера скрывать свою скромность под личиной самомнения. Я узнала об этом позже с приятным удивлением; что же касается его эгоизма, то ему противостояли преданность и великодушные характера.

Общение с ним было очень приятным, хотя немного утомительным: я не находила порою достаточно слов, чтобы отвечать ему и разнообразить темы разговора. Его душа всегда была ясна, и я ни разу не видела его мрачным. Со своим большим животом он карабкался вверх по всем этажам дома на набережной Сен-Мишель и входил ко мне, пыхтя, смеясь, и, не переведя дух, всегда уже что-то рассказывал. Он брал на моем столе листы, просматривал их, собирался порасспросить меня о работе, но, поглощенный своими мыслями, тотчас же обращался к своему очередному произведению, которое в то время обдумывал, и принимался его рассказывать. И в результате я находила это для

себя более полезным, чем те обременительные поучения, которые де Латуш, этот мрачный инквизитор, навязывал моей фантазии.

Однажды вечером, когда мы обедали у Бальзака, — это был довольно странный обед: помню, что меню его состояло из вареного мяса, дыни и замороженного шампанского — наш хозяин вошел, облаченный в прекрасный халат, совсем новый, и показывал его нам с радостью маленькой щеголихи; он захотел выйти в этом костюме на улицу с подсвечником в руке и проводить нас до ограды Люксембургского дворца. Было поздно, место было пустынное, и я заметила, что, когда он будет возвращаться домой один, его могут убить. «Вот уж нет! — возразил он. — Если я встречу грабителей, они примут меня за сумасшедшего и испугаются или же примут за принца и тогда почувствуют уважение». Была прекрасная тихая ночь. Он провожал нас, неся зажженную свечу в красивом канделябре из позолоченного серебра, и рассказывал о четырех арабских конях, которых еще не имел, но намеревался купить в ближайшее время и которых так никогда и не купил, хотя твердо верил, что через некоторое время непременно их приобретет. Он проводил бы нас до другого конца Парижа, если бы мы только позволили ему это сделать. <...>

Если писатель хочет написать роман, он *абстрагирует* какое-нибудь чувство и наделяет им своего героя, которого помещает затем в такие жизненные условия и обстоятельства, которые особенно хорошо выявляют этот тип.

Верна ли эта теория? Я думаю, что да. Но она не есть и не должна быть абсолютной. Бальзак со временем убедил меня разнообразием и силой своих творений, что можно пожертвовать идеализацией героя ради правды изображения, критики общества и — человечества в целом.

Все это Бальзак исчерпывающе изложил мне в следующих словах: «Вы ищете человека, каким он должен быть; я же — я беру его таким, каков он есть. И — поверьте мне — мы оба правы. Оба пути ведут к одной и той же цели. Я, как и вы, люблю людей исключительных; я — *один из них*. Исключительность нужна мне для того, чтобы резко выделить существа заурядные, которыми я никогда не пренебрегаю. Напротив. Существа заурядные меня интересуют в гораздо большей мере, чем вас. Я их возвышаю, я их идеализую в обратном смысле — в их безобразии или глупости. Я придаю их уродствам пропорции ужасающие

или причудливые. Вам этого не понять. Вы поступаете правильно, не желая видеть людей и вещи, вызывающие кошмары. Идеализируйте красивое и прекрасное. Это — женское занятие».

Бальзак говорил мне так без скрытого презрения и без тайной язвительности. Он был искренен в своем братском чувстве и слишком идеализировал женщину, чтобы можно было заподозрить его в том, что он разделяет теорию г-на Кератри.

Бальзак, обширный ум, не беспредельный и не без недостатков, но самый всеобъемлющий и исполненный самых различных достоинств, какой явился в литературу нашего времени, Бальзак, художник, не имеющий себе равных в искусстве изображения современного общества и современного человека, был тысячу раз прав, не допуская никакой абсолютной системы.

Он ничего не открыл мне из того, что я жаждала тогда найти, и я на него не сержусь, потому что он не знал этого сам. Он и сам искал и шел ощупью, наугад. Он пробовал все. Он видел и доказал, что любая манера хороша и что всякий сюжет пригоден для такого гибкого ума, как его ум. Он работал дальше над тем, в чем чувствовал себя наиболее сильным, и смеялся над заблуждением критики, которая хочет навязать художникам границы, сюжеты и методы работы, заблуждением, которое разделяет и публика, не замечая, что такая деспотичная теория, всегда являясь выражением личности, сама же разрушает свою основу — доказывает свое сумасбродство, противореча какой-нибудь другой теории, сходной или враждебной.

Когда прочтешь подюжины критических статей, удивляет противоречивость мнений об одном и том же произведении искусства. Видишь, что у каждого критика свое мерило, свое пристрастие, свой особый вкус и что если двое или трое из них и признают равно какой-нибудь закон в искусстве, то применение ими этого закона свидетельствует о совершенном различии оценок и предубеждений, не подчиняющихся никаким правилам.

А. НЕТТМАН

ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ»

БАЛЬЗАК

При взгляде на Бальзака нельзя было не поразиться его физическому сходству с Рабле: тот же разрез широко раскрытых глаз, глубоких и смелых; та же улыбка, чувственная и циническая; ни следа изящества в строении квадратного, грубо обтесанного туловища. Но что-то мощное и энергическое проглядывало во всем теле этого атлета труда, посвятившего свои дни и ночи борьбе, которой суждено было, в конечном итоге, сократить его дни; у него был торс здоровяка крестьянина, и мы знаем, что его не раз принимали за сельского жителя;¹ но в глазах его светился интеллект. Его внутренняя жизнь отвечала его внешности. Разговор Бальзака, бывший для него всего лишь отдыхом, ничем не блистал и был полон досадного цинизма; он делал вид, что мало верит в человеческую добродетель, в частности, в добродетель женщин, и распространял свой цинизм сенсуалиста гораздо дальше, чем следовало. В религии его скептический пантеизм часто соединялся с суеверием, в политике же он придерживался легитимистских взглядов. Его идеалом была абсолютная власть: больше всего он восхищался силой. Мы встретились с ним первый раз

¹ Так случилось и со слугой самого автора этих строк. Однажды, зайдя к последнему, Бальзак не застал его дома. По возвращении слуга доложил своему господину, что к нему заходил какой-то крестьянин-здоровяк. И только прочтя имя, написанное на листке бумаги, автор узнал, что этим крестьянином был Бальзак. (*Примеч. автора.*)

в 1832 году в помещении легитимистской газеты, основанной г-ном Лоранти при содействии герцога Фиц-Джеймса, герцога де Ноай, графа Бональда, виконта де Конни и других руководителей партии легитимистов. Бальзак мало писал для этой газеты; однако была замечена одна его яркая статья, опубликованная в первом номере, в защиту покаянного памятника, который начали возводить перед Библиотекой на месте старой Оперы, возле которой был убит герцог Беррийский¹. С тех пор мы не раз встречались с ним снова и, хотя наши отношения, порою довольно длительные, часто прерывались и окончательно прекратились в конце его литературного пути, то, что мы знаем о Бальзаке как о человеке, проливает свет на Бальзака-художника.

Как почти все писатели его времени, но с большим правом, чем большинство из них, Бальзак верил в свое превосходство; он откровенно считал себя главою «маршалов литературы», если употребить его же собственное выражение. Он любил похвалу, и, так как его самолюбие не знало пределов, самые неумеренные и даже грубые восхваления были ему особенно приятны. Льстецы всегда были уверены в его расположении, потому что их высокое мнение о его персоне он вполне разделял. Его самолюбие, однако, было свободно от тревог и обид, ибо он был доверчив и наивен; он завидовал только императору Наполеону, чья слава затмевала его славу. Однажды, когда он посетил один дворец с намерением его купить, имея при себе лишь кошелек поэта и мечты миллионера, смотритель, чтобы повысить ценность покупки, сказал, что в комнате, где они сейчас находятся, провел одну ночь император Наполеон. «Видно, мне на роду написано повсюду сталкиваться с этим человеком!» — с досадой воскликнул Бальзак.

С простыми смертными он не был ни ревнив, ни надмен; любезная доброжелательность составляла само существо его натуры. Высоко ценя собственный труд, он относился с уважением к труду других и мог оказать добрую

¹ В этой статье Бальзак между прочими остроумными и поразительными мыслями, изложенными живописным стилем, высказал следующее соображение: «Почему не продолжить строительство памятника, чтобы воздвигнуть алтарь, где бы священники просили бы бога простить убийцу? Лувель просил бы защиты у герцога Беррийского; он сказал бы ему: «Пошадите памятник!..» — как принц сказал: «Пошадите этого человека!..» (Примеч. автора.)

услугу неизвестному писателю, представив его публике¹. Он прощал даже критику, когда бывал уверен, что она честна и не настроена против него враждебно. Мы не решились бы утверждать, что он считал литературную честность обязательным правилом, но этот снисходительный ум, привыкший жить в добром соседстве с самыми противоречивыми фактами, по крайней мере допускал ее существование как факт. В самолюбии Бальзака, его преобладающей страсти, было что-то детское: он любил занимать публику своей особой; отсюда это изобилие перстней, волосы, стриженные по-монашески, эта огромная трость с золотым набалдашником, нечто среднее между посохом и дубинкой, которая забавляла одно время завсегдаев Оперы, давая пищу для разговоров, и о которой г-жа де Жирарден написала один из своих самых прелестных романов.

Все в нем стремилось к необычному, но достигало почти всегда лишь причудливого. Как подлинный романист Бальзак питал явное пристрастие к ошеломляющим неожиданным. Так было в Шайо, где он долгое время жил в квартире на улице Батай под именем вдовы Дюран, скрываясь от назойливых посещений представителей Национальной гвардии, желающих заполучить его в свои ряды; тогда посетители по полутемной лестнице проходили в мрачную и пустую столовую и оттуда в великолепную овальную гостиную, богато убранную коврами и мебелью; через четыре окна, выходящие на Марсово поле, бегущую Сену и маленькие деревушки на другом берегу, в гостиную вливались потоки воздуха и света. Это там Бальзак собирал своих друзей, там работал в течение долгих ночей при свете лампы, одетый как доминиканский монах, в той белой рясе с капюшоном, которая была его рабочей одеждой и в которой запечатлела его кисть художника. Позднее он перенес те же вкусы в свой загородный дом Жарди, единственный

¹ Когда в 1831 г. Шарль де Бернар опубликовал в провинциальном листке «Газетт де Франш-Конте» отзыв о «Шагреновой коже» Бальзака, последний был поражен тем, насколько глубоко автор проник в идею его романа. Он написал Шарлю де Бернару нежное письмо, и с этих пор между ними установилась дружба, которая не ослабевала до конца его дней и в которой Бальзак проявил себя, по словам биографа Шарля де Бернара, «самым великодушным соперником и самым обязательным из его учителей». Быть может, вмешательство Бальзака и внушило последнему веру в свои силы. Во всяком случае, именно Бальзак приехал в 1834 г. искать его в Франш-Конте и ввел в «Кроник де Пари». Быть может, литература обязана автору «Шагреновой кожи», «Тридцатилетней женщины» и «Евгении Гранде» автором «Сорокалетней женщины», «Подвига добродетели», «Жерфо», «Крыльев Икара». *(Примеч. автора.)*

в своем роде дом, в котором недоставало всего лишь лестницы и который словно остановился на минутку, спускаясь с Севрского холма, и задержался на голом обрывистом склоне (который Бальзак украсил именем сада), перед тем как скатиться в глубину ложины Виль-д'Авре¹. Этот дом, один из тех романов, над которыми Бальзак в своей жизни особенно много трудился, но оказался не в силах закончить, заключал в своих голых стенах надежду на роскошное убранство, которое его владелец предназначил ему в будущем, но так никогда и не мог дать. «На этих многострадальных стенах, — как говорит Гозлан, — можно было прочесть начертанные углем надписи следующего содержания: *«Здесь облицовка из паросского мрамора; здесь колонна из кедра; здесь плафон, расписанный Эженом Делакруа; здесь камин белого мрамора с зелеными прожилками»*. Бальзак, и в этом одна из характерных черт его природы, так же как и его таланта, мечтал возвести дворец и рассчитывал построить его на проектах будущих романов, ибо все, что он делал, всегда было ничтожно малым по сравнению с тем, что он мечтал сделать, его самые совершенные романы были всего лишь предисловиями, и этот пантеистический ум, в котором, как говорят, встречались ничто и бесконечность, возводил только портик — так оставался он далек от монумента, который мечтал создать!

Среди слабостей самолюбия, которое проявлялось у него во всем, вплоть до мелочей, Бальзак был подвержен следующей: он стремился иметь у себя то, чего нельзя было найти у других. Так, у него было пристрастие к своему кофе, обладавшему несравненным ароматом, к кофе, который, по его словам, умеют готовить только в его доме; к своему чаю, который ему доставляли по суше из Китая, где его выращивали исключительно для китайского импе-

¹ Я надолго запомнил удивление, охватившее актера Фредерика Леметра в тот день, когда он приехал в Жарди поговорить с Бальзаком, приступая к изучению роли Вотрена. Чтобы остановить скольжение ног, он укрепил их с помощью двух больших камней, как сделал бы это, чтобы удержать мебель на неровном паркете. Жарди стоило Бальзаку очень дорого и не приносило ничего. Нет, мы ошиблись: Жарди приносило ему заботы, борьбу, бесконечные судебные тяжбы. Порою, по утрам, лицо Бальзака покрывала землистая бледность — так он страдал от своего положения незадачливого собственника. Я знаю стену, стену менее десяти метров в длину и двух метров в высоту, которая вполне заслуживала славы, даже после легендарных стен фиванской и троянской; рассказ о том, как обрушилась эта стена на поле соседнего владельца, — это рассказ о муках Оноре де Бальзака. («Воспоминания о Жарди» Леона Гозлана, «Современное обозрение», 15 ноября 1833 г.). (Примеч. автора.)

ратора самые знатные мандарины и собирали, перед тем как сушить на солнце, юные девственницы; к своему вину из Иоганнисберга, привезенному ему в подарок князем Меттернихом. Его навещали и другие знаменитые гости, среди которых он любил называть, перечисляя их, Видока, казавшегося ему Наполеоном под его колонной, и палача, чье здравомыслие его восхищало.

У него всегда была наготове история, связанная с тем, что появлялось на его столе, и он никогда не был вполне уверен, что не выдумал ее сам для своего очередного романа, потому что его пылкое воображение, привыкшее создавать небывалые истории и вымышленных персонажей, часто смешивало реальное с вымыслом, и он чаще жил в мире фантазии, чем в мире действительности. Говорили, что в конце концов он начал считать главных героев своих романов личностями действительно существующими и приводил слова Нусингена и Мофриньеца в своих последующих произведениях, так что надо было владеть ключом к «Человеческой комедии» (как он называл серию своих произведений), чтобы понимать его последние творения.

Яростная и беспорядочная работа, которой предавался этот один из самых плодовитых писателей (хотя творил он крайне мучительно, по три, по четыре раза переделывая свои книги в гранках), работа, соединенная с чрезмерным самолюбием, питаемым ко всему, что он писал, и нужда в деньгах, бывшая его постоянным бедствием, порою доводила воображение Бальзака до состояния горячечного бреда.

Мы были с ним вовсе не так близко знакомы, чтобы отправиться среди ночи к Великому Моголу продать зеленый перстень, тот самый, который должен был принести ему миллионы¹. Однако мне хорошо помнится один визит, который мы нанесли с ним вместе г-ну де Женуду в ту пору, когда газеты начали уступать тирании романа-фельетона и у него явилась мысль о том, что Бальзак мог бы посвятить «Газетт де Франс» свой талант, руководимый и облагороженный главными идеями газеты, сотрудником которой он должен был стать. Хотя еще на первой ступени лестницы мы предупредили писателя, которого собирались представить, о том, что ему необходимо следить за своими словами, его природный нрав взял верх над благоразумием, и на второй же фразе он заявил аббату Женуду, что «его

¹ Леон Гозлан весьма остроумно рассказывает этот забавный анекдот в своих «Воспоминаниях о Жарди», которые мы уже цитировали. (Примеч. автора.)

зверинец отныне будет к услугам аббата». Так он назвал человечество, различные типы которого вывел в своих романах, забыв, что бог его собеседника сам стал человеком, чтобы спасти от кары род людской. На третьей фразе он прибавил, что склонен верить в чудеса, так как сам творит их посредством рукоположения, и что исключения составляют мертвецы, которых ему еще не удалось вернуть к жизни. Это поразительное воображение, воспламененное огромным самолюбием, порождало нечто близкое к безумию; и не удивительно, что один из остроумцев, внимательно слушавших его, сказал: «Очень часто, когда, увлекшись, он рассказывает о своих планах или, вернее, химерах, он кажется настоящим безумцем, а те, кто слушает его, — совершенными идиотами».

Таков был писатель, достигший великого успеха в искусстве романа вскоре после революции 1830 года. Пантеист и сенсуалист, цинически недоверчивый в вопросах морали, но натура доброжелательная и щедрая, характер легкий, по-детски увлекающийся, но так же быстро остывающий, мощный ум, порождающий химеры, и вместе с тем позитивный, Бальзак, обладая редкой способностью к труду, соединенной с даром скрупулезного анализа, исследовал тончайшие фибры человеческой души и показывал тайные нити, приводящие в движение скрытый механизм людских страстей; он мог читать в глубине сердец и обнаруживал дурные склонности человеческой природы. Это был добросердечный пессимист, который видел человеческий род более испорченным, чем тот был на самом деле, и не хотел сам быть таким же. Как художник он принадлежал к голландской школе по мельчайшей точности рисунка и по общему колориту; однако ему была присуща изысканность, переходящая порою в манерность и претенциозность, стремление к идеалу было ему чуждо.

С этой точки зрения Бальзак — глава *реалистической школы*.

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ»

БАЛЬЗАК В АНГУЛЕМЕ

Первое, что попадает на глаза в моей «Шкатулке с воспоминаниями», — это имя Бальзака, имя, дважды прославленное: Жаном-Луи Гезом де Бальзаком, родившимся в Ангулеме в 1596 году и там же скончавшимся в 1656 году, прославившим «реставратором французского языка», и Оноре де Бальзаком, бессмертным автором «Человеческой комедии». И хотя господин Вапро представил меня древним стариком в своем «Словаре современников», а вернее «Словаре двадцати пяти тысяч несуразностей», я все-таки не принадлежал времени Жана-Луи Геза; а вот об Оноре я могу говорить со знанием предмета.

Когда Бальзак собирался баллотироваться от Ангулема, мой отец обещал ему свою поддержку, и Бальзак, прежде чем уехать, пришел к моему отцу с визитом благодарности.

Именно в этот раз он и повстречался мне впервые. Зажав под мышкой стопку толстых книг, я возвращался из коллежа, и тут-то я и увидел Бальзака — он как раз выходил из нашего старого дома, действительно очень старого, поскольку он был собственностью Кальвина и тот жил в нем во время своего пребывания в Ангулеме — в 1533 году, вот так-то! Кальвин бежал из Парижа, где ему угрожала тюрьма. Отсюда и проистекает название нашей улицы — Женевская, присвоенное ей в честь великого реформатора, умершего в Женеве в 1564 году и окрещенного его единоверцами «папой Женевским».

— Это господин де Бальзак, — шепнула мне на ухо мать.

Я был тогда уже прилежным клиентом, ненасытным читателем небольшой библиотеки на улице Клош-Верт. Услышав имя, которое фанфарным звоном отдалось в моем

мозгу, я так разволновался, что словари и «грамматики», выскользнув у меня из-под мышки, покатались по мостовой.

Дважды в своих письмах к госпоже Карро Бальзак возвращается к вопросу о своей кандидатуре, который он принимал так близко к сердцу.

«Господин де Берже, должно быть, уже получил книгу, — писал он ей в сентябре 1832 года. — Если ангулемцы захотят увидеть во мне своего депутата, то я очень хочу видеть в них моих поручителей. Я посоветовал бы Вам распространить среди них моего карманного «Сельского врача». Он завоюет мне друзей: это благодетельное чтение, достойное Монтионовской премии».

Чтобы больше уж не возвращаться к этой теме, скажем, что Академия не увенчала роман наградой, а избиратели не назвали кандидатуру Бальзака. <...>

Между тем Бальзак вернулся в Париж. Он целиком уходит в работу. Ложится в семь часов вечера «вместе с курами». В час ночи его будят, и до восьми утра он работает. Полтора часа спит. Слегка перекусывает и «впрягается в свою упряжку» до четырех дня. С четырех принимает визитеров, иногда купается в ванне или выходит; тотчас же после обеда ложится. Этот безумный образ жизни он вынужден вести несколько месяцев, без остановок, иначе денежные долги поглотят его всего без остатка. Духовная свобода и материальная независимость! Ради этого он без сожаления пожертвовал бы всем на свете... Но после такого неимоверного напряжения сил ему нужен хороший отдых. И где же он его найдет? Да в Ангулеме, черт возьми! Где же еще?

А пока он пребывает в ожидании этих так чаемых каникул, ему не дают покоя, его сводят с ума всевозможные мысли, идеи, планы, замыслы, которые сталкиваются, бурлят и клокочут у него в голове. Однако он ничуть не худеет. Он «вылитый монах, самый похожий, какого когда-либо видели, начиная с первого дня основания монастырей». «Боже мой, как я хочу на Пороховой завод!» — пишет он в марте 1833 года госпоже Карро. Его желание незамедлительно сбывается. Он водворяется там в середине апреля и так хорошо отдыхает, что всю его переписку составило лишь одно письмо с ангулемской маркой на конверте. Оно адресовано «парижскому драматургу» Гильберу де Пиксе-рикуру. Автор письма извиняется, что не смог присутство-

вать на «библиографически-гастрономическом» празднестве, куда пригласил его автор «Сороки-воровки». Он сообщает, что к нему направляется сейчас благоухающий трюфелями, «обворожительный» пирог от Гробо.

Этот Гробо, известный поставщик съестного для «коронованных ртов», держал кухню «выше всяких похвал» и был владельцем постоянного двора, где останавливались дилижансы, на главной улице предместья Лумо.

Бальзак прячется от людского глаза, не часто выбирается в город. И, к великому огорчению поклонниц, далек от мысли укоротить волосы.

Один обед собрал в Пороховом заводе обычных его гостей. Я уже не был мальчишкой. Я учился в классе риторики и был известен госпоже Карро как страстный почитатель ее гостя; именно поэтому в приглашении, адресованном моим родителям, значилось и мое имя.

Спустя несколько дней, в один из четвергов, я сидел в городской библиотеке, погруженный в чтение Рабле, о котором много и красноречиво говорил за десертом Бальзак, — и тут дверь открылась: на пороге стоял великий человек. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди, кровь быстрее побежала по жилам — я увидел, как Бальзак направляется ко мне. Он узнал меня и попросил показать ему нашего любезного ученого и библиотекаря господина Эсеба Кастеня — они довольно долго беседовали. После этого он вернулся ко мне.

— Сегодня четверг, — сказал он. — Вам не надо идти в коллеж. Не могли бы вы уделить мне часик?

— Хоть всю мою жизнь! — чуть было не сорвался с моих уст ответ; к счастью, я вовремя удержался, ограничившись словами, что я весь к его услугам, и захлопнул Рабле, озаботившись все-таки, чтобы Бальзак обратил внимание на то, какую книгу я читаю.

Он улыбнулся и, беря меня под руку, сказал:

— Я плохо знаю ваш город. Познакомьте меня с ним, но сначала объясните, что означают три больших С, вырезанные на гербе вашего города?

Немного покраснев, я ответил:

— Считается, что они означают: скудость, слава, сластена.

— Это выдумка или правда?

— Полагаю, что правда, — в великом смущении пробормотал я.

— Занятно, — сказал он, — при случае припомню.

Он, конечно, забыл об этом, ибо нигде потом не обмолвился об этих трех С, хотя в некоторых его книгах театром действия был Ангулем. Однако он дал безупречные доказательства своей памятью.

Мы вышли из библиотеки и по длинной и широкой лестнице дворца Правосудия спустились вниз; через несколько минут мы стояли на площади Мюрье.

— Что это за старинный особняк с островерхой крышей? — спросил он.

— Это типография.

— А как зовут печатника?

— Брокис-большой.

— Это что, прозвище или имя собственное?

— Прозвище. Его так кличут, потому что у него рост выше среднего, а потом еще, чтобы отличать от другого Брокиса, его брата, по прозвищу Брокис — старый гвардеец.

— Он бывший военный?

— Да, он так утверждает, хотя не очень в это верит, впрочем, как и все, кто его знает.

В свое время Бальзак вспомнил о нашем разговоре. Он поместил типографию Давида Сешара, несчастной жертвы темных происков Куэнте-большого, на площади Мюрье, в доме с островерхой крышей. Не стоит добавлять, что не существовало никакого духовного сходства между вышеупомянутым Куэнте-большим и всеми почитаемым Брокисом-большим, которого Бальзак даже и не знал.

Мы прошли по городскому валу, Бальзак искренне восхищался разнообразием открывшегося перед ним пейзажа.

У Северных ворот он внезапно остановился и воскликнул:

— Но здесь так же прекрасно, как на Сен-Жерменском валу!

Мы приветствовали башню старого замка, где родилась сестра Франциска I Маргарита, чья статуя в настоящее время стоит в сквере у новой ратуши, примечательного здания, построенного Полем Абади.

Бальзаку понадобилось навести какую-то справку у директора Королевской почтовой конторы, и по насыпи Пале мы вышли в предместье Лумо. В то время неподалеку от конторы находилась аптека, и сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу вывеску на ней: выкрашенная в зеленый цвет

прямоугольная таблица, на которой посередине желтыми буквами начертаны два слова, расположенные таким образом:

«ЕВАНГЕЛИСТА
АПТЕКАРЬ»

С риском быть раздавленным одним из многочисленных экипажей, повозок, карет, дилижансов, сновавших во все стороны по Парижской улице, этому центру оживленной торговли вином, водкой, бумагой, солью, углем, дубовыми досками, Бальзак, едва заметив вывеску, как вкопанный остановился посреди шоссе. «Евангелиста! Е-ван-ге-листа!» — умиленно скандировал он. Казалось, это соединение слогов ласкало его слух, как самая сладкая мелодия. Так вот, это имя, привлекавшее внимание писателя, заморозившее его, — как позднее его привлекло и обворожило имя З. Маркас — вы найдете в «Брачном контракте», где мадам Евангелиста играет первую роль. А эту аптеку вы знаете хорошо. Это аптека Постеля, преемника Шардона, истинная колыбель Люсьена, поэта из «Утраченных иллюзий», будущего героя «Провинциальной знаменитости в Париже».

Бальзак предполагал совершить третий набег на Ангулем, дабы предпринять там одно большое дело. Речь шла об особой бумаге, изготавливаемой машинным способом специально для него и для его книг, определенного формата, каждая стопа — в пятьсот страниц и весом от четырнадцати до пятнадцати килограммов. Для начала ему потребуется сто двадцать стоп в месяц. К концу двух месяцев их будет вдвое больше, к концу полугодия — втрое... Но вот беда, где и как разместит он миллионы, которые не замедлят прибыть?

Незадачливый брат Перретты! Еще один разбитый горшок с молоком! Проект не был осуществлен; инспектор Порохового завода ушел в отставку; г-жа Зюльма Карро переезжает во Фрапель, Ангулему не суждено более увидеть Бальзака. Но одному богу известно, надо ли ему туда возвращаться. Он живет каждый день, каждый час в тесной близости со своими героями: Давидом и Евой Сешар, Люсьеном, с г-жою Шардон, урожденной де Рюампре, с г-жой де Баржетон, графом Сикстом Шатле, Куэнте-большим, Постелем и другими; он наводит у г-жи Карро различные топографические справки, необходимые для его книги, которую он вот-вот закончит. Он спрашивает у кондуктора

почтовой кареты название улицы, выходящей на площадь Мюрье и где жил жестянщик Порохового завода; интересуется названием улицы за площадью Мюрье и дворцом Правосудия и той, что примыкает к собору; ему необходимо знать имя улочки, ведущей в Минаж и стелющейся вдоль крепостного вала.

Там находится большой дом, откуда доносились звуки пианино. Наконец, ему во что бы то ни стало требуется название других городских ворот, тех, откуда непосредственно попадаешь в Лумо. Лучше всего, если бы инспектор представил ему подробный план города.

Инспектор, человек доброго сердца, сделал то, о чем его просили. План доставили в Саше. Бесчисленным читателям опубликованной спустя некоторое время и посвященной В. Гюго первой части «Утраченных иллюзий» известно, извлек ли Бальзак из этого плана пользу. Единственная допущенная им ошибка — это то, что он поместил на улице Минаж особняк г-жи де Баржетон. Это все равно что поселить маркизу д'Эспар на улице Пикетон, а герцогиню де Ланже — в предместье Монмартр!

ИЗ КНИГИ «ИНТИМНЫЙ ПОРТРЕТ БАЛЬЗАКА»

<...> Для понимания нижеследующего надо сперва рассказать читателю, каким образом Бальзак сочинял свои произведения.

Прежде чем написать одну-единственную строчку какой-нибудь книги, он обдумывал и приводил в порядок в уме все: сюжет, общий ход действия, эпизоды, перипетии; он определял место действия, скрупулезно его описывал, строил в своей голове мизансцену — это было его детище, и он ласкал, наряжал его с ревнивым тщанием; он выявлял физиономию каждого персонажа, жившего в его воображении, и наделял их отличительными чертами по своей прихоти как в отношении характера, так и внешности, расставлял их по местам, причесывал, одевал и заставлял действовать соответственно с ролью, им предназначенной, — и все это прежде, чем взять в руку перо. Разумеется, на этом предварительном этапе произведение было еще не оформлено, но оно уже существовало; перо было для Бальзака лишь орудием закрепления замысла на бумаге и разработки деталей.

Наконец он начинал писать!

И быстрое его перо (он пользовался только вороновыми перьями) так и летало по бумаге; на одном дыхании он доводил работу до конца.

Это было творение еще не завершенное, но уже весьма ясно обозначенное, над полученным эскизом он производил дальнейшую кропотливейшую работу, исправляя и уточняя его. Он не только вычеркивал и улучшал отдельные фразы, на что уходили многие дни, не только менял местами главы или уничтожал их, чтобы освободить место для других глав, не только придумывал новые разделы, которые почитал необходимыми для логики действия либо объяснения какого-нибудь места, которое без того осталось бы неясным; в этой неслыханной работе листки бумаги

превращались в своего рода карточную колоду, которую раскладывает искусный игрок, делая вид, будто смешивает карты.

Такая-то глава, предназначенная для конца или середины произведения, займет место в начале, а другие главы, наоборот, будут переставлены в конец: будут написаны новые пассажи, чтобы оправдать эти изменения и чехарду различных набросков. Фрагменты неоспоримо значительные будут оттеснены на задний план, а другие, казалось бы второстепенные, займут видное место, в коем прежде им было отказано; такое-то описание, такие-то сцены, разработанные с великим тщанием, словно резное изделие из слоновой кости, окажутся изгнаны, затем снова призваны, затем отброшены окончательно.

Только после завершения этого труда, вернее, ряда различных трудов, рукопись достигнет готовности.

Но сейчас вы увидите, что для этого писателя значит *готовая рукопись*.

Он наконец-то отдает в типографию переписанное набело произведение, *готовую рукопись*. Ею завладевают рабочие; они не читают, они разбирают по складам, ежеминутно запинаясь, нередко они вынуждены угадывать слова, обозначенные лишь наполовину, прочитывать слова и вовсе не написанные.

Это, конечно, нелегко, но это еще только начало!

Но вот типографский набор окончен, оттиск передается корректору, и тот с помощью человека, следящего по рукописи, прочитывает его, если может, и добросовестно устраняет все огрехи, сделанные рабочими, например, переставленные, перевернутые или лишние буквы, пропуски, повторы слов и так далее.

Труд корректора делает наконец возможным для прочтения то, что прежде прочитать было нельзя.

После окончания правки автору посылают новые оттиски, набранные в колонку посреди широких листов бумаги, что называется гранками или корректурой.

Автор получает наконец свою рукопись, набранную типографскими литеррами, он может прочитать свою фразу в напечатанном виде.

Для всякого другого писателя это уже хорошо отработанное, почти завершенное произведение, но для Бальзака только тут и начинается работа, причем работа беспримерная.

Между каждыми двумя фразами втискивается новая фраза, между каждыми двумя словами новое слово, так что

строка превращается в страницу, страница в главу, а то и в целую четверть, треть тома.

Поля, интервалы между строками испещряются правками, вычерками, вставками, извилистая линия указывает рабочему путь, по коему должна пойти правка; другая линия прокладывает дорогу к новой строке, требующей для себя места; все эти линии перекрещиваются, запутываются так, что могут привести в отчаяние самого внимательного человека.

Это какая-то ткань из линий, целый лабиринт отсылок, ни на что не похожий, разве что на предыдущую либо последующую корректуру. Это напоминает труд паука, только паутина здесь гораздо гуще и каждая нить таинственным путем ведет к мысли или дополнению мысли; лабиринт на первый взгляд кажется бессмысленным и бесконечным, без входа и выхода, но типографские рабочие, знаящие своего Бальзака, как-то из него выбирают, потратив на это больше времени, чем потребовалось бы для трехкратного набора всего произведения.

Наконец дело сделано; автору посылается новая корректура, на сей раз *постраничная*, то есть разбитая на страницы с определенным числом строк на каждой; и после двух или трех новых правок и серии изменений, результат которых обычно ограничивается ниспровержением первоначальной идеи и построением при помощи новых средств выражения некой другой идеи, совершенно отсутствовавшей в первоначальных оттисках, получаем наконец книгу, отнюдь не свободную от опечаток.

Вот таким образом наш великий писатель исправлял, дополнял и без конца переделывал свои рукописи.

В печатнях его имя стало жупелом для типографской братии, весьма язвительной, а главное, нетерпимой ко всякого рода препонам.

Отсюда же рождались и ссоры его с издателями и владельцами журналов, ведь им приходилось платить огромные деньги за правку.

Маленький этот недостаток с течением времени привел к таким скандалам, что Бальзак счел необходимым оправдываться.

«В каждой области искусства имеются свои трудности, — говорил он, — и каждый художник работает по-своему, так же как каждый боец на свой лад нападает на быка. Господин Шатобриан производил невероятные изменения в своих рукописях и в том, что называют *подписной корректурой*. Энгр точно так же действовал в области жи-

вописи; говорят, что «Святого Симфориона» он переделывал десять раз. То же самое я позволю себе сказать о Мейербере. Таким же образом работаю и я, это несчастье, которое обязывает меня спать всего шесть часов из двадцати четырех и посвящать около шестнадцати часов в сутки постоянной отделке бедного моего стиля, коим я пока еще не удовлетворен.

Это несчастье снискало мне ужасную славу в типографиях; меня позабавило, когда в мастерской господина Эвера я услышал, как кто-то из рабочих крикнул: «Я отработал свой час над Бальзаком... Кто теперь берет его рукопись?»

Действительно, рабочие считали это за каторжный труд, и правка часто оплачивалась по сорок франков за шестнадцать страниц. Так, «Ревю де Пари» платило ему по двести пятьдесят франков за лист. И однажды г-н Булоз сказал Бальзаку, горько сетуя на его исправления:

— Вы, значит, хотите разорить меня, господин де Бальзак?..

И романист с досадою ответил:

— Уступаю вам по пятьдесят франков с листа, чтобы развязать себе руки, и не говорите мне больше об этом. Со мной, как известно, долго о деньгах спорить не приходится. <...>

Бальзак страстно любил роскошь, величие, пышность, изобилие. Даже если бы он разбогател, он продолжал бы делать долги, потому что наверняка дал бы волю своему вкусу к роскоши, а это открыло бы ему широкий кредит.

Но он не мог сделать этого теперь, когда ему нечем было оплачивать старые и новые долги, как только тем, что выходило из-под его пера!

Насущное, излишнее, роскошь, фантазия!

В его бюджете две последние статьи стояли на первом месте.

А между тем пристрастие к роскоши приводило его нередко к опрометчивым тратам, а еще чаще, быть может, к бессмысленной и мелочной бережливости. Ему весьма часто приходилось страдать от этой страсти, вернее, от бедственного его материального положения.

Отсюда постоянные его сетования, отсюда многочисленные поступки, противоречившие широте и величию его натуры.

Его воображение, так замечательно служившее ему, когда требовалось придумать драматические сюжеты или

яркие портреты персонажей, могучее это воображение, коему мы обязаны столькими замечательными произведениями, нередко в жизни давало ему дурные советы; под давлением житейских неурядиц он порою бывал несправедлив по отношению к литераторам, питавшим к нему искреннюю симпатию и восхищение; еще чаще воображение внушало ему странные идеи и *поразительные намерения*.

В таких случаях он, разумеется, убеждал сам себя, что осуществит их, что уже осуществил; и отсюда проистекали забавные истории.

В гостиной г-жи Софи Гэ, в которой побывало столько талантливых людей и гениальных личностей, столько поэтов, художников и светских людей, я слышал — а потом и прочитал в книге, озаглавленной «Письма о французских писателях», опубликованной в 1837 году в Брюсселе г-ном Ван-Энгельгом (говорят, будто это псевдоним г-на Ж. Л.***), — что Бальзак подарил Жюлю Сандо великолепную белую лошадь.

К сожалению, на самом деле ничего подобного не было.

Но это не помешало Бальзаку описывать внимательным слушателям стати, масть, аллюр, все достоинства этой лошади; и должен сказать, что воображаемый скакун был безукоризнен во всех отношениях. Это был идеал лошади; Бальзак купил ее у такого-то, модного в те годы барышника, который славился тем, что содержит только породистых животных. По словам рассказчика, ее испробовал знаменитый наездник Боше и объявил лучшей лошадью, на какой ему приходилось скакать.

Описание длилось добрых полчаса и было таким живым и захватывающим, что все это время великолепное животное так и стояло перед глазами у слушателей — каждый восхищался его благородной мастью, каждый ласкал его волнистую гриву, длинную и густую, каждый слышал его ржание и резкие, звонкие удары его подков.

Что могло быть правдивее и достовернее?

Было ли это простым бахвальством? Ни в коем случае.

Секрет этого галопа по дороге мечты состоял в том, что Бальзак действительно *намеревался* подарить такого коня юному своему другу Жюлю и уже видел его сидящим верхом.

Образ этот оказался мил его воображению, и он подарил будущему академику фантастическое четвероногое.

Через несколько дней в той же гостиной с Жюлем Сандо заговорили о белой лошади, но он не понял, о чем идет речь.

Однако Бальзак, присутствовавший на вечере, продолжал расписывать детище своего воображения; немного позже он оказался лицом к лицу с г-ном Жюлем Сандо, храбро подошел к молодому писателю и спросил, доволен ли он присланной ему белой лошастью...

Сандо как умный человек обратил дело в шутку и очень хвалился великолепным белым скакуном.

Бальзак удалился, искренне убежденный, что и на самом деле подарил Жюлю Сандо белую лошадь.

В другой раз в той же гостиной он сказал:

— Я провел восемь дней в своем кабинете и заработал тридцать шесть тысяч франков.

За эту цену он только что продал мне «Этюды о нравах».

Его заявление, на первый взгляд казавшееся пустым бахвальством, выражало одну из слабостей этого эксцентрического человека, который желал, чтобы верили, будто он зарабатывает огромные деньги.

Я рассказал потешную историю, лично меня коснувшуюся, а вот другая, которая произошла с двумя молодыми друзьями Бальзака.

Эти юноши, в прошлом земляки и однокашники (ставшие с тех пор людьми значительными — один медиком, другой литератором), проживали тогда из экономии вместе, в общей маленькой квартире.

Оба в то время были бедны и существовали лишь на скромную пенсию, назначенную родителями; люди живого ума, приветливые и беспечные, как бывает в юности, они не преминули отправиться с визитом к соседу, уже знаменитому тогда писателю, чьим талантом восхищались.

Визит был сделан и отдан.

Вскоре троих новых друзей объединила самая искренняя и сердечная близость.

У молодых людей было скверное жилище, вернее, оно было скверно обставлено, тогда как знаменитый писатель обладал великолепными мягкими коврами и роскошной мебелью; но юношей эта роскошь не смущала, сосед же, напротив, был весьма озабочен скудостью их обстановки.

Он решил положить этому конец.

Однажды, когда молодые люди отправились на два-три дня в Монморанси, один — чтобы предаться под свежей сенью живописного уединения сладостным мечтам поэта, другой — чтобы заняться среди зеленых плодоносных полей излюбленным своим делом — ботаническими изысканиями, Бальзак воспользовался их отсутствием, дабы привести в исполнение свой замысел.

Он вызывает обойщика, который пользовался привилегией поставлять ему мебель и без конца ее обновлять; тот, в свою очередь, вызывает самых сметливых и деятельных рабочих и в отсутствие друзей заново обставляет их жилище и обивает его стены на самый эlegantный и комфортабельный манер.

Бальзак всем руководит, всех подбадривает голосом, жестом, действием.

Все закончено за один вечер!

Можно себе представить, как изумлены были Орест и Пилад после их возвращения. Хоть и были они поэтами, все же не могли предположить, что какая-то фея одарила их в их отсутствие.

Они подумали, что домохозяин, которому они задолжали, недовольный их неаккуратностью, бесцеремонно выставил их за дверь, чтобы сдать их квартиру более исправному плательщику, заново украсив и обставив ее.

Они терялись в догадках и предположениях, как вдруг оглушительный хохот дал им знать, что они не одни. Бальзак запрятался в чулан и все слышал.

Он вылез из своего тайника, сияющий от радости, и весело сказал молодым людям:

— Друзья мои, ваша фея — это я!

И он изложил им сложную теорию роскоши и комфорта, без которых, по его суждению, невозможно было обойтись в наши дни.

— По совести, — добавил он, — вы не могли дальше жить в такой обстановке, а я, ваш друг, не мог оставить вас в подобном положении, это было бы недостойно. За кого бы вас приняли? С какой стороны ни погляди, ради доброй славы вашего дома отступить было невозможно; я обязан был сделать вам этот сюрприз, и я его сделал.

О, успокойтесь, это касается одного меня, никаких «однако!..», никаких благодарностей, между нами это самое обыкновенное дело; вам остается только радоваться новому жилищу.

Несмотря на известную короткость отношений между молодыми людьми и Бальзаком, они все же испытывали глубокое удивление и даже неловкость, которую трудно было скрыть за всеми выражениями взаимной симпатии, коими они обменялись, так что Бальзаку пришлось многократно заверять друзей, что дело улажено между ним и его обойщиком и что им незачем входить в подробности операции.

Бальзак говорил так изящно и живо, что невозможно было ему возражать, и нашим двум друзьям пришлось волей-неволей покориться и принять чудесное превращение своего жилища из мансарды во дворец, хотя этот государственный переворот ставил их в довольно странное положение по отношению к Бальзаку.

Прошло несколько месяцев.

Однажды к нашим жильцам является обойщик и глазом не моргнув предъявляет им счета за доставленную мебель и обивку.

Великая фея *позабыла* свое обещание.

Однако Бальзак имел твердое *намерение* заплатить.

Им пришлось бросить все дела и искать способов расплатиться за мебель, которою они были обязаны велико-лепной щедрости эксцентрического соседа.

Обойщику было уплачено.

Как умные и деликатные люди они никогда ни словом не обмолвились о том, какова была развязка странного этого приключения.

Что касается знаменитого писателя, то он пребывал в твердом убеждении, как было и с пресловутой белой лошадью, что сделал щедрый подарок молодым людям, которые продолжали оставаться его друзьями.

Хотите, я приведу еще один пример, рисующий ту легкость, с которою подвижное воображение нашего писателя впитывало и хранило то, что при нем говорили или рассказывали?

Однажды Бальзак обедает у Анри де Латуша, принадлежавшего в ту пору к числу его друзей; между грушами и сыром Латуш развертывает перед гостем план романа, которым, по его словам, собирается заняться.

Бальзак восторженно одобряет, как он умел одобрять новые произведения: его энтузиазм, подогретый шампанским, безграничен.

— Это найдено как нельзя лучше, это прелестно даже в устном пересказе, что же будет, когда талант, мастерство, стиль, живой ум автора придадут всем этим мыслям еще большую прелесть?

На том сотрапезники и прощаются.

А на другой день в той же гостиной Софи Гэ, где Бальзак, как мы видели, подарил такую прекрасную белую лошадь Жюлю Сандо, писатель, обладающий столь пылким воображением, со свойственным ему жаром и увлечением пересказывает то, что накануне услышал от А. де Латуша...

Я и поныне помню и не забуду никогда, какое он

произвел впечатление. Последние перипетии были встречены всеобщим восторгом, а развязку покрыли дружные аплодисменты.

Бальзака превозносили, поздравляли, а он, с обычной для него скромностью, принимал расточаемые ему хвалы, изысканные любезности и комплименты. Его настойчиво уговаривали немедленно приняться за дело, он обещал... и, как легко догадаться, не принял.

Между тем этот литературный вечер наделал шума.

Де Латуш услышал об овации. Он без труда узнал план своего романа и в довольно суровом письме запросил обратно свою собственность; он напомнил Бальзаку, откуда он узнал этот сюжет, доверенный ему по секрету. Тот принял это к сведению и никогда не воспользовался сюжетной канвой, принесшей ему такой бурный успех.

Произведение это так и не было написано.

Бальзак охотно открывал первому встречному замыслы своих романов до мельчайших подробностей, а также — что было гораздо хуже — свои чудесные планы обогащения.

Это был крепкий и толстый человек, он шумно передвигался по гостиной, чуть ли не наступая людям на ноги и расталкивая локтями группы собеседников.

Он первый от всего сердца хохотал над своими рассказами; он был славный малый в полном смысле этого слова — школьничал в часы отдыха, показывал себя порою полным ротозеем, был до крайности наивен, наконец, всегда был готов играть в любые салонные игры и при этом очень забавлялся. <...>

Его могучий организм позволял ему преодолевать все препятствия.

Когда его охватывала furia¹ творчества, а эта furia овладевала им довольно часто, он имел обыкновение говорить себе самому:

— Ну, друг милый, за работу! Разорвем и разрубим добрыми ударами топора все узы, связывающие нас с пошлым человечеством. Удалимся от мира! Довольно отговорок и уверток! Засучим рукава, поплюем на ладони — и давай ворочать лопатой не хуже негра.

Как сказано, так и сделано.

Я собственными глазами видел, как он замуравывался в своем кабинете на целые месяцы, без дневного света и свежего воздуха, и работал запоем по восемнадцать часов из двадцати четырех.

¹ Яростная потребность (*ит.*).

Дверь его тогда запиралась для всех, даже для лучших друзей, которые знали эту его манию и не обижались; тщетны были бы всякие попытки, даже ради самого неотложного дела, проникнуть в его *sancta sanctorum*¹. Все адресованные ему письма заботливо собирались верным его Огюстом, имевшим на сей счет строгое распоряжение, и скапливались в большой японской вазе; и великий писатель их не распечатывал, не читал и не отвечал на них, пока начатая им работа не бывала *добита* — по излюбленному его выражению.

Итак, Бальзак писал в полнейшем, в совершеннейшем одиночестве, при наглухо закрытых ставнях и задернутых занавесках, при свете четырех свечей, стоявших на его рабочем столе в двух серебряных подсвечниках, — писал за маленьким столом, под которым не без труда мог вытянуть ноги, упираясь в него огромным животом.

Одетый, как я уже говорил, в белую доминиканскую рясу, летом кашемировую, зимой — из очень тонкой шерсти, в белые очень широкие панталоны, не стеснявшие движения ног и доходившие ему до пят, обутый в элегантные домашние туфли из красного сафьяна, расшитые золотом, препоясанный длинной золотой венецианской цепью с подвешенными на ней роскошным золотым ножом для разрезания бумаги и такими же золотыми ножницами, оторванный от мира, от всяких внешних интересов, Бальзак думал и сочинял; без конца правил и переделывал оттиски. Неустанно просматривать переиздания прежних произведений было отдохновением для его ума, это он называл заниматься *литературной тряпницей*. У него постоянно бывали в работе несколько томов сразу.

В восемь вечера после весьма легкого ужина он обыкновенно ложился спать; и почти всегда в два часа ночи уже опять сидел за скромным своим рабочим столом. До шести утра его живое, легкое перо, разбрасывая электрические искры, бегало по бумаге. Только скрип этого пера нарушал монастырскую тишину его уединения.

Затем он брал ванну и оставался в воде целый час, погруженный в размышления. В восемь часов Огюст принес ему чашку кофе, который он выпивал одним глотком, без сахара.

Между восемью и девятью утра он принимал меня, чтобы получить новую корректуру или передать мне уже выправленную, либо же мне удавалось вырвать у него

¹ Святая святых (лат.).

какие-нибудь кусочки рукописи. После чего творческая работа продолжалась с тем же пылом до полудня.

В этот час он завтракал двумя сырыми яйцами, в которые обмакивал ломтик хлеба, запивая их только водою, и завершал эту скудную трапезу чашкой превосходного черного кофе, все так же без сахара.

С часу пополудни до шести — снова работа, только работа. Потом он съедал весьма легкий обед, выпивал рюмочку вина вувре, которое очень любил и которое имело свойство поднимать у него настроение. Между семью и восемью вечера он снова принимал меня, а иногда и своих соседей и друзей Жюля и Эмиля.

Через полтора или два месяца такого ужасного монашеского режима он появлялся на люди страшно осунувшийся, бледный, измученный и разбитый усталостью. Следы упорного труда читались в его глазах, обычно таких черных, таких сверкающих, а теперь обведенных темными кругами.

Когда затворничество его кончалось, он, казалось, вновь обретал лихорадочное свое жизнелюбие и будто влезал в новую кожу; он бросался в свет, разыскивая яркие краски для своей палитры, и собирал свой мед повсюду, как пчела.

У него постоянно была перед глазами лежавшая на его столе маленькая записная книжка, служившая проводником по его сочинениям. Это была не звезда, освещавшая дорогу, как говорит граф Феликс де Ванденес в «Лилии в долине», а скорее магнитная стрелка, указывавшая ему путь к гавани.

Во время постоянных своих странствований по улицам, садам, театрам, гостиным, особнякам банкиров и дворянским замкам, по домам рантье, купеческим лавкам, сельским хижинам, мастерским ремесленников и мансардам художников Бальзак, этот глубокий наблюдатель сердца человеческого, всегда имел при себе записную книжечку и карандаш. Я видел эту бесценную книжечку, я держал ее в руках, перелистывал, я, скромный издатель, удостоившийся близости и доверия великого человека, я, кто в ту пору все больше и больше становился для него самого и для его литературного окружения презренной машиной, чекающей деньги и на ходу изготовляющей для них великолепные ореолы славы.

«В эту записную книжку Бальзак заносил каждый день свои замечания, мысли, открытия, — пишет г-н Ж. Л., — там имелся не один краткий план лучших его романов, а главное, изящные зарисовки женских типов, коим предстояло заселить необъятный гинекей, откуда он впослед-

ствии брал их одну за другою, чтобы украсить свои восхитительные творения. Именно здесь вынашивал он втихомолку свои самые правдивые, самые яркие характеры в ожидании часа, когда им суждено будет расцвести. Этот альбом содержал крохотные карандашные наброски, странные копии, зыбкие тени; драгоценные зарисовки, которые будут затем подправлены со всем изяществом, раскрашены с изысканным вкусом и в которых уже существовали в зародыше все разнообразные фигуры, чья прихотливая гирлянда начинается *Федорой* из «Шагреновой кожи», завершается Евгенией Мируэ, столь чистым и нежным созданием, и составляет в своей совокупности то, что он всегда называл *своим монументом, своей человеческой комедией*».

В упомянутую записную книжку Бальзак заносил одну за другою свои наблюдения, свои идеи, свои шутки; туда же записывал он имена создаваемых персонажей, их происхождение, генеалогию, их гербы, их добродетели и пороки, их странности, их словечки, их жизнь и характеры в целом.

«Де Бальзак так далеко заходил в стремлении быть правдивым и точным, — говорит г-н Поль Лакруа (Библиофил Ж а к о б), — что ни разу не описал какой-нибудь край, предварительно не побывав там, не отступал перед необходимостью совершить целое путешествие, чтобы увидеть воочию город, улицу, место, где должны были развернуться сцены его драмы.

Отсюда замечательная картина жилища папаши Гранде в Сомюре и описание дома Руже в Иссудене.

Господин Бальзак был живописец наподобие Герарда Дюу, Меериса или Рембрандта».

«Одно из объяснений того, что Бальзак столь быстро вошел в м о д у, — говорит г-н Сент-Бев, — это то, что он умел выбрать место действия и установить декорации в своих повествованиях».

На улицах Сомюра показывают дом *Евгении Гранде*; возможно, в Дуэ указывают на дом *Клааса*.

С какой гордостью, должно быть, улыбается обладатель *Гренадьер* при всей своей туренской беспечности!

Эта лесть, обращенная к каждому городу, откуда автор брал своих персонажей, обеспечила ему победу: пока еще неизвестные городки питали надежду, что вскоре тоже будут описаны в каком-нибудь новом романе, и все сердца местных любителей литературы открывались навстречу романисту. «Этот по крайней мере не задирает н о с, — говорили

они, — для него существует не только Париж и Шоссе-д'Антен! Он не гнушается нашими улицами и фермами...»

И, таким образом, за три года, с 1830 по 1833, огромный стяг с именем Бальзака был водружен на каждой колокольне с севера на юг, по обеим сторонам родной Луары, по всей Турени, ставшей центром его поездок, излюбленным местом, куда он постоянно возвращался. <...>

Не помню, какое капитальное произведение было в работе у Бальзака (кажется, «Поиски Абсолюта») в начале октября 1834 года; но я очень хорошо знаю, что в течение двух месяцев он наглухо заперся у себя, на улице Кассини, и работал день и ночь с лихорадочным упорством.

Этот тяжкий и упрямый труд, это постоянное напряжение ума ослабляли его и губили его здоровье, что было весьма тревожно при могучей его конституции.

И вот как-то в воскресенье, в начале октября, в солнечный и теплый осенний день, он, к великому моему удивлению, явился ко мне домой. Он был бледен, похудел, лицо желтое, глаза запали и обведены темными кругами; я виделся с ним ежедневно, но то было при слабом свете свечей либо в полумраке пасмурного дня.

Я ужаснулся.

— Какой счастливый случай привел вас сюда? — спросил я весело.

— Да так, хотелось отдохнуть, глотнуть свежего воздуха, погреться на солнышке, поразмять ноги, а то они совсем онемели от неподвижности, а кроме того, я застрял на одном описании, сомневаюсь в том, что мне предстоит написать, я хочу пойти и самому удостовериться в одном имени, а также в расположении и внешнем виде одного дома. Покормите меня завтраком, и, если вы свободны, давайте махнем вместе, *прогуляем школьный урок*, — ну как? Что скажете? Вам это подходит?

— Как нельзя лучше! — отвечал я. — Всегда к вашим услугам, славно будет, как говаривали у нас в школе, *улизнуть с урока с таким дружском*, как вы.

Завтрак был скоро готов и еще скорее проглочен.

Бальзак обычно бывал крайне умерен в еде, особенно когда работал.

Я знал его вкус и привычки и распорядился подать ему то, что он любил больше всего: котлеты из барашка, выкормленного на солончаках, зажаренные на рашпере, старое бордо и отличный настоящий кофе-мокко.

Пока он ел хрустящую баранину, тянул из рюмочки вино, смаковал ароматный кофе, лицо его расцвело, он

полностью преобразился, стал веселым, живым, добродушным, словоохотливым.

Окончив легкий завтрак, он бросил на стол свою салфетку и сказал:

— Пойдемте, мне не терпится пошагать...

Мы были уже на улице.

— Знаете ли вы, — спросил он, — предместье Сен-Марсо, улицу Сен-Виктор и прилегающие к ней переулки?

— Что за вопрос! — отозвался я, шагая бок о бок с ним, и мы пошли по улице Сент-Андре-дез-Ар. — Именно на улице Сен-Виктор, в мансарде одного старого дома было у меня когда-то любовное гнездышко.

— Превосходно, но не горячите себе воображение этим воспоминанием, потому что нам придется еще немало побродить по этим местам.

— Ведите, я следую за вами.

Болтая таким образом, мы не спеша прошли множество извилистых переулков и вышли на улицу Шарбоньер. Оттуда мы пустились по другой улице (позабыл ее название), длинной, узкой, зловонной, застроенной очень высокими домами, грязными и омерзительными. Из каждого жилища исходила тошнотворная вонь, грозящая заразой. Из каждого окна на всех этажах свисали ужасные лохмотья: рваные рубашки, юбки, блузы и бог знает что еще, вывешенное для просушки.

Улица уходила под уклон и упиралась в середину улицы Сен-Виктор.

Мы больше не разговаривали — мы наблюдали, мы любовались картинами жизненной правды, которые развертывались у нас перед глазами и были поистине достойны карандаша Жака Калло.

Я знаю только одну улицу, которую можно сравнить с той, по которой мы шли: это улица в городке Сен-Жан-де-Марьен, в Савоие, та, что тянется от ворот суда первой инстанции. Эта вьющаяся расщелина, уходящая в сторону горы, населена животными всех видов: мужчинами, женщинами, больными с отвратительным зобом, лошадьми, собаками, мулами, волами и свиньями, — и все они сообща живут здесь в гнилых лачугах, куда никогда не проникает луч солнца.

Временами же мне казалось, что я, как по волшебству, перенесся в Лондон, в позорный квартал соксней¹, вместилище всей нищеты, всех пороков, всего людского разврата,

¹ Кокни (англ.).

где, если ты проходишь по узким и грязным улицам, лучше не иметь на себе ничего блестящего или похожего на золото, ничего, что возвещает о некотором благосостоянии. Более того, надо идти молча и тихо, не останавливаться перед зрелищем, предстающим на каждом шагу, таким, как полуголые женщины и облаченные в лохмотья дети, бледные, истощенные, с озлобленными и угрюмыми лицами висельников, скорчившиеся либо восседающие на порогах своих лачуг или горланящие пьяную песню в gin-house¹, — гнусное племя, которое ежевечерне растекается по всем кварталам Лондона, дабы заняться опасным промыслом pick-pockets².

Итак, при виде этих мест мне померещилось, будто я в Little Britain³, ужасном квартале, расположенном недалеко от Холборна, с той весьма, впрочем, существенной разницей, что здесь, если в окне или на пороге показывался обитатель, физиономия у него по большей части бывала веселая и честная и он с улыбкой приветствовал прохожего.

Бальзак время от времени останавливался, чтобы полюбоваться вволю, потом внезапно исчезал в каком-нибудь темном проходе. Что он там делал? Нетрудно было догадаться по его одежде, испачканной соприкосновением с липкими стенами, по его перчаткам, измазаным грязью от веревок, служивших опорой при восхождении на верхние этажи по опасным лестницам, кривым, хромым, лишенным перил и освещения.

Иногда отлучки его бывали продолжительными, но он решительно велел мне ему не мешать. В таких случаях он спрашивал г-на или г-жу таких-то и под этим предлогом заводил с кем-нибудь разговор.

Как я и предвидел, мы дошли до середины улицы Сен-Виктор, от чего, признаюсь, я был не в восторге.

— Ну что? — весело осведомился мой спутник. — Знакома вам эта улица? Что вы о ней скажете? Сам я сделал тут любопытные находки, важные наблюдения; это принесет мне по меньшей мере пятьсот франков.

Бальзак никогда не забывал о деньгах, не потому что любил их копить, но по причине того благополучия и великолепия, которые они могли ему принести.

— Итак, жатва недурна! — добавил он. — Теперь направимся к улице Сент-Антуан, мне надо освежить старые наблюдения.

¹ Кабаке (англ.).

² Карманников (англ.).

³ Малая Британия (англ.).

Каких только историй не порассказал он мне, пока мы неторопливо проходили по этой длинной столичной улице и с удовольствием задерживались у каждого дома, имевшего мало-мальски интересную физиономию! Свидетелем каких наплывов любопытных, забавных или анекдотических воспоминаний я стал!

Я был в восхищении, я боялся прервать его и вставить словечко...

Мне было очень жарко, я устал от трехчасового хождения по влажной земле; ночью прошел дождь, а ведь всем известно, как утомляют парижские мостовые, когда они становятся жирными от просыхающей грязи. А мой знаменитый писатель шагал себе и всюду совал нос, с сияющим лицом, не обращая внимания ни на усталость, ни на жару.

— Мне очень жарко, господин де Бальзак, — взмолился я. — Не возражаете, если мы минутку отдохнем и освежимся?

— Нет, я чувствую только потребность походить еще и сделать еще несколько записей, но давайте зайдем в эту кофейню, и вы освежитесь.

Пока я медленно тянул из стакана лимонад, мой товарищ, не пожелавший ничего выпить, развлекался, перелистывая газеты; вдруг он воскликнул:

— О! Вот это кстати! Сегодня в два часа в консерватории большой вокальный и инструментальный концерт. Что, если нам пойти? А? Как вы думаете?

— С вами я с удовольствием пойду куда угодно.

И тут я впервые обратил внимание на туалет великого человека.

Темно-коричневое пальто, застегнутое до подбородка и носящее неизгладимые следы его прогулок по задворкам; черные панталоны, едва достигающие ему до лодыжек и не скрывающие ужасных синих чулок; грубые башмаки, кое-как зашнурованные на щиколотке, башмаки эти и низ панталон забрызганы грязью; на короткую толстую шею накручен вместо галстука зелено-красный шерстяной шнур; на подбородке по меньшей мере восьмидневная щетина; длинные нечесанные черные волосы свисают на широкие плечи; на голове шляпа из настоящего тонкого фетра, но поношенная, с низкой тульей и широкими полями; перчаток вовсе нет — те, что были на нем во время нашего странствия, надеть оказалось невозможно. Таково было одеяние знаменитого писателя, намеревающегося отправиться слушать восхитительную музыку в консервато-

рии, в обществе блистательной избранной публики в великосветских туалетах!

«Остроумие ничего не весит», — сказал начальник почтовой станции кучеру, который хотел уговорить Вольтера припрячь третью лошадь к его почтовой карете. Острый ум — скажу я в свою очередь, — если его зовут Бальзак, встречает радушный прием везде, независимо от его туалета.

Я не ошибся.

Острый ум Бальзака, а не эксцентрическая небрежность его внешнего облика, снискали ему со стороны этой элегантной и раздушенной толпы молодых мужчин и женщин, принадлежавших к самым богатым и самым аристократическим кругам Парижа, лестный прием, ту изысканную учтивость, которая всегда отличала и будет отличать парижское светское общество.

Бальзака с триумфом препроводили к его креслу.

В своей неопрятной одежде он привлекал все взгляды блестящего окружения, воздававшего должное самому прославленному нашему романисту.

Когда концерт окончился, совсем уже стемнело.

Бальзак сиял...

— Где мы будем обедать? — вдруг спросил он м е н я . — Я проголодался.

— У меня дома, разумеется! Я заказал обед на шесть часов.

— И это вы называете улизнуть с урока? Фу! Я, де Бальзак,— слышите?— приглашаю вас пообедать в кабаре!

— Пусть будет кабаре!

И мы направились в сторону Пале-Руаяль.

Кабаре, выбранное автором «Шагреновой кожи», было кабаре Вери, иными словами, самый дорогой и аристократический ресторан в Париже.

Залы были полны, столы заняты элегантной публикой.

Наконец одному гарсону удалось добыть для нас столик на два прибора. Вполне вероятно, что меня он по одежде принял за какого-нибудь вырядившегося помощника префекта, приехавшего в отпуск в Париж, а в моем спутнике совершенно очевидно узрел сельского буржуа в слишком небрежном для такого места и таких обстоятельств одеянии. Гарсон этот принес меню, я знаком велел ему передать карту моему сотрапезнику, что он и поспешил сделать с почтительным поклоном.

— Не надо к а р т ы , — твердо сказал Бальзак куда более громким, чем следовало, голосом...

Насколько умерен он был в еде во время яростной своей работы, настолько же феноменальные размеры принимал его аппетит, когда он отдыхал, — он тогда становился истинным Вителлием!

Вот меню заказанного им обеда, это самая доподлинная правда, как и все последующее.

И то было меню для него *одного*.

Я в тот момент страдал острым воспалением желудка и мог съесть только немного овощного супа и крылышко жареной курицы.

Сотня остендских устриц.

Дюжина бараньих котлет.

Утенок с брюквой.

Пара жареных куропаток.

Рыба-«соль» по-нормандски.

Не считая закусок и таких прихотей, как сласти, фрукты (в частности, дуайенские груши, которых он съел больше дюжины); и все это орошалось тонкими винами самых знаменитых марок.

Затем последовал кофе с ликерами.

И все было беспощадно уничтожено!

Не осталось ни крошки, ни косточки!

Окружавшие нас люди были ошеломлены.

Никогда не видели они столь невероятного аппетита!

Пока он ел, язык его работал своим чередом, и самые удачные словечки, самые остроумные шутки то и дело слетали с его уст.

Наши соседи прекратили разговоры и начали прислушиваться.

Если на концерте в консерватории он царил над блестящим собранием одним лишь величием своего духа, то здесь он царствовал вдвойне: во-первых, благодаря непомерному своему аппетиту, во-вторых — благодаря своему неистощимому остроумию.

Закончив трапезу, он вдруг шепнул мне:

— Кстати, деньги у вас есть?

Я остолбенел!

Он, пригласивший меня отобедать в кабаре, не имел денег, чтобы заплатить по счету!..

— У меня при себе что-то около сорока франков, — отвечал я.

— Этого не хватит. Передайте мне пять франков.

Я сделал вид, будто поднимаю что-то, упавшее под стол, и сунул ему в руку монету в сто су; я был крайне заинтри-

гован и терялся в догадках, как собирается он оплатить посредством такой безделицы безусловно солидный счет.

Недоумение мое длилось недолго.

— *Счет!* — потребовал он громовым голосом.

Гарсон направился к кассе и вернулся с длинной бумажкой, которую и на сей раз протянул мне...

Вот что значит быть одетым, как помощник префекта!

Я сделал знак непонятливому служителю, что он должен подать счет моему сельскому буржуа, что и было поспешно исполнено с почтительным наклоном головы.

Бальзак не глядя берет счет, вытаскивает карандаш и пишет внизу несколько слов; затем зажимает счет вместе с пятифранковой монетой между большим и указательным пальцем и с великолепным апломбом говорит гарсону:

— Это для вас, гарсон, а эту бумажку передайте кассирше; скажите: от господина Оноре де Бальзака!

При этом прославленном имени, произнесенном весьма членораздельно, звучным голосом, все головы повернулись к нам...

А он величественно поднялся, взял свою шляпу, я — свою, и вышел из ресторана, как простой смертный.

Когда мы были уже в саду Пале-Руаяль, я спросил:

— Что вы написали под счетом? Почему вы еще дома не сказали мне, что у вас нет денег?

— Разве делают подобные признания таким людям, как вы? Вы не первый день со мной знакомы.

И с ласковой улыбкой добавил:

— Что я написал, дорогой мой, вы узнаете завтра.

И мы принялись вместе прогуливаться под деревьями.

Вечер был великолепный, воздух чистый и свежий.

Вдруг мы увидели двоих наших добрых друзей, наших неразлучных беррийцев Жюля и Эмиля; с сигарами во рту, лихо сдвинув шляпы на ухо, с сияющими физиономиями и победоносным видом, шли они под руку нам навстречу и, поравнявшись с нами, радостно нас приветствовали.

— Вы, де Бальзак! Здесь, в такой час! — вскричал Эмиль. — А я-то думал, что вы работаете в своей келье! А, вижу по вашему довольному лицу, вы только что славно пообедали вместе с этим подагриком!

— Более того, любезнейший друг, — отвечает Оноре, — мы с ним с самого утра изучали нравы... и одному богу известно, чего мы только не навидались! Но я в свою очередь замечаю, что и вы обедали где-то в обществе...

— Нет, нет, клянусь честью! — возражает Жюль. — Не нападайте столь необдуманно на наш с Эмилем спокойный

и невинный нрав; мы обедали одни в скромном ресторане по соседству, лицом к лицу, как две фаянсовые собачки.

Так, болтая о всяких пустяках, мы сделали несколько кругов.

— Идея! — восклицает вдруг наш прославленный друг. — Что, если нам испытать судьбу? Сто тринадцатый рядом, зайдем сыграем!..

— Нет, нет! — возражаю испуганно. — Играйте, если желаете, господа, я ретируюсь... (И я повернулся, чтобы уйти.)

— Стой, малодушный издатель! — вскричал Бальзак. — Если я говорю во множественном числе, это значит, что мы поделим выигрыш, но искушать судьбу будет лишь один из нас... Дайте мне двадцать франков, любезный Верде.

— Вот они; что вы собираетесь с ними делать?..

— Жюль, возьмите этот наполеондор, идите туда, на против...

— Но это игорный дом...

— Разумеется, но все равно идите! Если случай будет хоть сколько-нибудь к вам благосклонен, вы скоро принесете нам кучу золота!..

— Так и быть! — говорит Жюль, смеясь. И он направляется к знаменитому притону.

Прошли долгих четверть часа — нашему романисту они показались вечностью... Он говорил с нами только о миллионах, добытых на зеленом сукне. Послушать его, у него была непогрешимая система, следуя которой можно было с величайшей легкостью сорвать банк в Гамбурге, Бадене, Висбадене, Спа — во всех игорных домах земного шара!

Наконец Жюль возвращается... Вид у него теперь мрачный, голова опущена...

— Ну что, Жюль? — кричит Бальзак издали, едва завидев его.

— Вот что!.. — отвечает Жюль, пуская ему в лицо дым своей сигары.

— А как вы играли?

— Ставил каждый раз по пять франков. Четырех раз оказалось довольно, чтобы разбить все наши надежды...

— Но вы играли без всякого принципа! — говорит Оноре. И он излагает нам по этому поводу теорию случая; затем покидает нас, велев подождать его четверть часика на том же месте; мы теряем его из виду.

Вскоре он действительно возвращается, весь запыхавшийся, и обращается к Жюлю:

— Дражайший мой, вот сорок франков, я занял их у своего гравера-герадьдиста под аркадами, рядом с кофейной Фуа. Подите сыграйте с этой суммой; неуклонно следуйте моим наставлениям: ставьте сразу все сорок франков... вы выиграете; затем ставьте весь выигрыш, и так подряд одиннадцать раз... и мы все разбогатеем, заверяю вас! Идите же скорее, мы вас тут подождем!

На сей раз Эмиль пожелал сопровождать Жюля в храм Фортуны. Оба друга покинули нас, и знаменитый романист, оставшись со мною наедине, принялся рассказывать мне невероятные истории об игроке Казанове и других знаменитостях рулетки и тридцати-и-сорока.

Но вечер был явно неудачный... Фортуна упрямо показывала нашим друзьям спину; они потеряли все сорок франков с одной ставки!

— Приходится смириться, — философски заметил Оноре. — Фортуна нам не благоприятствует. Есть еще идея, друзья! Теперь только девять часов, что, если нам отправиться в театр «Фюнамбюль»? Я никогда не видел, как играет Дебюро, которого так расхваливает Жюль Жанен, хотелось бы иметь свое собственное мнение... Что вы на это скажете?

— Пойдем смотреть Дебюро! — закричали мы в один голос.

Мы наняли извозчика и покатали к бульвару.

В тот вечер как раз давали «Бешеного быка», модную пьесу, в которой популярный мим вытворял восхитительные глупости.

Зрительная зала была набита до отказа.

Пустив в ход деньги, я получил маленькую четырехместную ложу, выходящую на сцену.

С нашего наблюдательного пункта можно было видеть все: зрителей от рампы до *галерки* и актеров до самых кулис.

Автор «Евгении Гранде» был в восхищении.

Он выражал свой восторг сперва приглушенным смешком, потом более громким смехом, потом конвульсивным притоптыванием. Под конец, не в силах больше сдерживаться, он разразился таким хохотом, что *птии*¹ заорали: «За дверь его!»

При словах «за дверь» он сделался еще более шумным и экспансивным. Самый оглушительный, самый звучный хохот вырывался из его груди, он задыхался от смеха...

¹ Уличные мальчишки (*фр.* жарг.).

А *тutti* все орали: «За дверь!»

Вскоре к голосам райка присоединились голоса из партера и с галерей.

Спектакль шел уже не на сцене. Он полностью переместился в нашу ложу.

Поднялся такой шум, ярость публики против нас стала такой угрожающей, что мы сочли благоразумным как можно скорее и незаметнее удалиться.

Не знаю, что было бы, если бы мы заупрямились и не отступили перед этой бурей.

Когда мы снова очутились на свежем воздухе, наш прославленный писатель почувствовал себя чрезвычайно неловко; я вполне серьезно думаю, что он испугался... И теперь мучительно переживал это... Мы наняли извозчика и препроводили его домой, на улицу Кассини.

Он предложил нам чаю, мы не отказались.

Его дурное настроение улетучилось, вернулась веселость, а с нею вместе вновь заиграло и могучее его воображение.

Он снова начал обсуждать с Жюлем теорию случая, долго излагал ему свои непогрешимые расчеты, свой верный метод, приводя бесконечные примеры, чтобы для нас яснее ясного стало, что с его системой невозможно не сделаться миллионером в один миг.

Жюль слушал разинув рот; Оноре был на седьмом небе.

Наши бесстрашные игроки вдвоем составили превосходный *ragolì*¹, который, по их убеждению, дал бы им возможность сорвать все банки в мире и наверняка принес бы горы золота.

— Eugéke², — восклицает в третий раз Бальзак, вне себя от радости, — я его нашел, он у меня в руках!

Он объясняет нам свой грозный *ragolì*.

— Да, — говорит Жюль, — но, составляя эту комбинацию, вы забыли о *повторных ставках* и о *двойном зеро*. Это упущение делает все ваши расчеты неверными, ваша постройка рушится... Начнем сначала!..

Не забудьте Бальзак этих *зеро* и *повторных ставок*, все банки были бы разорены!

Было уже около часа ночи; я решил, что если считать с десяти утра, то уже на достаточно долгий срок *улизнул с урока*, что хватит мне *увилить*, и я забил отбой.

¹ Двойная ставка в игре (*фр.*).

² Нашел (*греч.*).

Наутро я узнал загадку надписи на обеденном счете и ее последствия.

Господин Вери прислал мне счет на 62 франка 50 сантимов.

Гравер-геральдист квитанцию на 40 франков.

Кроме того, я одолжил моему любимому автору 20 франков.

Наконец, я дал ему в ресторане 5 франков.

Всего мне предстояло оплатить его счет на 127 франков 50 сантимов.

Оставались еще истраченные мною, неимушим издателем, деньги на консерваторию и на театр «Фюнамбюль», на извозчиков и так далее, всего что-то около тридцати франков!

Одним словом, я превосходно провел день и не так уж дорого заплатил за честь улизнуть с урока вместе с таким знаменитым человеком, как Оноре де Бальзак! <...>

Поговорим наконец об этом доме на улице Кассини, который прославлен пребыванием в нем Бальзака с 1829 по 1838 год.

Дом расположен в переулке, что начинается налево от конца аллеи Обсерватории и тянется до улицы Сен-Жак.

Главный вход заперт железной решеткой, рядом с которой отворяется маленькая калитка, прямо напротив выхода из женского монастыря.

Какое совпадение!

Автор «Озорных рассказов» нос к носу с целым роем юных монашек!

Жилище Бальзака можно сравнить с жилищем провинциального буржуа, оно втиснуто между двором и садом.

Два красивых павильона, глядящих на запад, каждый в два этажа и с крутыми кровлями, вдаются метра на четыре во двор, просторный и отделенный от сада низкой стенкой, на которой размещены вазы с цветами.

От основания левого павильона поднимается лестница, ведущая на второй этаж, в застекленную галерею, которая соединяет оба павильона и служит прихожей или комнатой для ожидания.

Во времена, к которым относятся мои воспоминания, эта веселая галерея была обтянута перкалем в белую и синюю полоску; вдоль стены стояла длинная банкетка в форме дивана с голубой обивкой, паркет покрывал ковер с коричневым рисунком по темно-синему фону. Наконец,

редкостные цветы, в любое время года стоявшие в прекрасных фарфоровых вазах, наполняли благоуханием всю комнату, превращая эту прихожую в прелестную гостиную.

Галерея вела в маленькую гостиную, размером всего в пять квадратных метров, освещенную с востока большим окном, выходящим во дворик соседнего дома.

Напротив входной двери галереи вырисовывался черный мраморный камин. Через другую дверь можно было проникнуть в рабочий кабинет писателя, рядом была его спальня. Направо из гостиной выходила дверь в столовую, а оттуда по особой задней лестнице можно было спуститься в кухню.

Таково было расположение необыкновенных комнат, из которых состояло это странное и причудливое жилище; обычной была лишь маленькая столовая.

А теперь я попробую подробно, как это делает комиссионер-оценщик, описать только две комнаты: рабочий кабинет и ванную, этого будет довольно, чтобы приблизительно представить себе, как выглядели остальные комнаты.

В ванную можно было пройти через маленькую потайную дверь, скрытую за драпировкой между окном и стеной гостиной; стены этой комнаты были оштукатурены под белый мрамор, сама ванна была белая мраморная, свет падал через большое потолочное окно, чьи красные матовые стекла давали розовые отблески в комнате.

Два красных сафьяновых кресла с высокими спинками составляли единственную мебель этой элегантной ванной комнаты, достойной какой-нибудь хорошенькой женщины!

А теперь пройдем, не задерживаясь, через рабочий кабинет — там мы отдохнем на обратном пути — в спальню молодого литератора, который уже начал пробовать свои крылья на воздушных просторах фантастического царства роскоши и прихотей.

Эта комната слепила глаза.

Потоки солнечного света заливали ее, проникая через два окна, из которых одно выходило на юг, на пристройки Обсерватории, другое на запад, в обширный сад, полный цветов, фруктовых деревьев и таинственной тени.

Комната была обставлена с тем вкусом, роскошью и пышностью различных подробностей, о каких можно получить представление по нижеследующему описанию рабочего кабинета-гостиной того же писателя в его новом жилище на улице Батай, в Шайо.

Достаточно будет, если я скажу, что она была вся белая,

вся розовая, благоухающая самыми душистыми цветами, вся так и переливающаяся позолотой!

То был настоящий брачный покой пятнадцатилетней герцогини!

Как правдивый и верный историк упомяну только об одной особенности, весьма многозначительной для автора «Озорных рассказов»: в изголовье кровати, заботливо скрытая под пышными складками розового и белого муслина, имелась потайная дверца, отворявшаяся в столовую, прямо напротив той двери, что вела из столовой в кухню, а оттуда во двор... по маленькой черной лестнице.

Et nunc erudimini, qui judicatus
terrain; intelligite!¹

О каких очаровательных приключениях мог бы я повесть в связи с этой таинственной дверцей!

Но молчок! Роза — Нанетта Громадина нашего писателя, не столь сдержанная, как его лакей Огюст, Роза, проболтавшаяся мне о них, может рассердиться; а я весьма забочусь о том, чтобы не раздражить своею нескромностью эту бессмертную повариху.

А теперь отдохнем в рабочем кабинете нашего хозяина; он в отсутствии, и мы можем спокойно и вволю поболтать здесь; к тому же я питаю особое пристрастие к этому кабинету, где были написаны и тщательно отделаны «Отец Горио», «Евгения Гранде», «Шагреневая кожа», «Луи Ламбер», «Философские повести», «Новые философские повести», «Мэтр Корнелиус», «История тринадцати», «Дом Клааса», «Лилия в долине», «Озорные рассказы», «Серафита» и два десятка других шедевров!

На протяжении тех девяти лет, что Бальзак провел в этом кабинете, он трудился больше ради славы, нежели ради тех груд золота, к которым он, однако, вожделем всею душой.

То была самая блистательная пора в жизни писателя и живописца нравов. С каким увлечением отработывал он, с каким тщанием полировал все сверкающие грани своего стиля! И слава часто навещала его здесь, ублажала и увенчивала лаврами и цветами!

Кабинет представлял собой продолговатую комнату размером приблизительно шесть метров на четыре; как и маленькая гостиная, он освещался двумя окнами, отворившимися во дворик соседнего дома, со стенами такими

¹ Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! (лат.)

высокими, что сюда никогда не проникал луч солнца; даже в самые ясные дни кабинет был погружен в полумрак.

Напротив входной двери помещался маленький мраморный камин. Направо — дверь в спальню.

Обставлен кабинет был весьма просто. Мягкий толстый ковер черно-синих тонов покрывал паркет.

Очень красивый книжный шкаф черного дерева с большими стеклянными дверцами и искусной резьбой занимал все пространство между входной дверью и дверью, ведущей в спальню.

Роскошный этот шкаф содержал тщательно подобранные редкие и драгоценные книги, все в великолепных переплетах красного сафьяна, все с гербом д'Антрегов на обложке и корешке. Среди прекрасных этих книг выделялись Вольтер и Руссо — дружеский дар знаменитому писателю от одного скромного издателя. Любовно подобранные французские классические авторы, несколько латинских и совсем немного томов наиболее известных современных писателей.

Можно было также заметить любопытную коллекцию почти всех авторов, писавших о мистицизме, оккультных науках, религиозных верованиях всех народов, таких, как *Сведенборг*, чьим пламенным почитателем Бальзак громкогласно себя объявлял.

Напротив книжного шкафа, между окнами, стоял высокий перегородчатый шкафчик, тоже черного дерева и с резьбой, наполненный папками, переплетенными в красный сафьян, с золочеными надписями.

На этом шкафчике помещалась гипсовая статуэтка полуметровой высоты и на высоком цоколе, изображавшая императора Наполеона I.

Ее подарил Бальзаку скульптор, выполнивший ее для открытого конкурса на лучшую статую великого человека, предназначенную для водружения на Вандомскую колонну.

К ножнам шпаги Наполеона была приклеена крохотная бумажка, сантиметра два в длину и один в ширину, на которой рукою неутомимого романиста были выведены следующие слова:

Завершить пером то, что он начал мечом!

Оноре де Бальзак

Да, я уже говорил, автор «Человеческой комедии» мнил себя более великим, нежели Наполеон! Он думал, что смо-

жет посредством своего пера достигнуть всей славы, осуществить все планы общественных реформ, усовершенствований, процветания, о каких только мечтали люди начиная от древности и вплоть до наших времен!

«Несмейтесь, — говорит г-н Кайла, — над художником, который воображает, будто возвышает реальный мир так же, как по своей воле вызывает к жизни мир, созданный его фантазией!..

Бог свидетель, потомки, вот уже более восьми лет существующие после Бальзака, вовсе не смеются; у них и желания не возникает посмеяться над этими непомерными претензиями художника, ибо пристрастие и злоба равно утихли, и теперь можно серьезно оценить огромный талант бессмертного писателя.

Но согласитесь, что в 1834 и 1835 годах не мог не звучать дружный *негодующий вопль* литераторов всех рангов, возмущенных гордыней этого реформатора, открыто похвалявшегося своим намерением изменить не только философский роман, но и французское общество в целом и в частности».

Продолжим.

На камине, украшенном зеркалом средней величины, стояли будильник из матовой бронзы и две вазы или чаши для драгоценностей, коричневого фарфора.

По обеим сторонам зеркала свисали со стены сотни пустячков, целый арсенал разнообразных безделиц, напоминавших о женщине; тут измятая перчатка, казалось, снятая с детской руки; там атласный башмачок, когда-то белый, который едва ли можно было натянуть на ножку андалузской маркизы; дальше крохотный железный ключик, весь заржавевший...

Как-то я спросил о его происхождении, и Бальзак ответил, что это *талисман*, которым он чрезвычайно дорожит...

Наконец, там была маленькая картина в рамке и под стеклом, представлявшая собою кусок коричневого шелка с грубо вышитым на нем сердцем, пронзенным стрелой, со следующим символическим девизом:

«An unknown friend»¹.

Опять неизвестная подруга!

Меблировку этого сумрачного и покойного убежища дополняло большое вольтеровское кресло, обтянутое красным сафьяном, очень скромный письменный стол, покрытый обыкновенным зеленым сукном, и четыре низких стула

¹ Неизвестный друг (англ.).

черного дерева с высокими спинками, обитых коричневым сукном с длинной шелковой бахромой того же цвета.

В этом таинственном приюте трудился Бальзак, облаченный в свою белую доминиканскую рясу с капюшоном, летом бумазейную, зимой — шерстяную; на ногах вышитые домашние туфли, вокруг пояса золотая венецианская цепь великолепной работы, на которой висели разрезной нож, ножницы и золотой перочинный ножичек — все покрытое восхитительной чеканкой.

В любую погоду оконные занавеси задерживали и ту малую толику дневного света, что могла проникнуть в эту *sancta sanctorum*, освещаемую лишь двумя маленькими канделябрами из матовой бронзы, по две свечи в каждом, постоянно зажженных.

Направо от двери в гостиную находилась столовая, в которую надо было пройти через галерею, — очень красивая и веселая комната.

Я рассказывал в другом месте, как нашему романисту пришлось провести семьдесят два часа взаперти в камере знаменитого *Бобового особняка* парижской Национальной гвардии.

Это наказание не смогло исправить гражданина солдата, столь упорно сопротивлявшегося исполнению своего долга перед отечеством, насколько возможно было в те годы для человека, который одобрял порядок и общественное спокойствие.

Он поклялся, что больше его не *сцапают* и что никогда, ни за что он больше не станет нести караул!

Дабы достигнуть этого результата, он принял решительные меры!

Они состояли в том, чтобы отныне нигде не иметь собственного жилища!

Вследствие чего он уловился со своим домохозяином на улице Кассини, что до истечения срока арендного договора — а до этого было еще далеко — на его входной двери постоянно будет висеть дощечка с надписью: «Сдается внаем».

Считалось, что он съехал, не оставив адреса, — таким образом он оказывался вне поля зрения своего полкового сержанта, полуграмотного зубодера, который, как многократно уверял Бальзак, имел на него зуб...

Он принял самые тщательные меры предосторожности, чтобы никто не мог узнать, что он живет в этом новом доме.

Проникнуть к нему его друзья могли, только зная пароль, который менялся каждую неделю. Даже я не составлял исключения.

Приняв эти меры предосторожности, он нанял под именем вдовы Брюне жилище в Шайо, в самой верхней части улицы Батай, очень мирной улицы вопреки ее воинственному названию.

Это новое убежище обладало теми же неудобствами, что и дом на улице Кассини, с той разницей, что все комнаты, числом пять, были еще меньше и еще хуже расположены.

Едва вселившись, он призвал туда целую армию рабочих, умелых мастеров, которые, сломав по его указаниям стены и перегородки, создали новые комнаты, отвечавшие его вкусу, и скоро преобразили эту ужасную лачугу в жилище комфортабельное и даже роскошное.

Из пяти комнат он сделал четыре, уничтожив кухню, чтобы увеличить свой чудесный пышный кабинет, или рабочую комнату, которую я не замедлю описать, ибо вскоре он покинул ее и устроил себе другой столь же пышный кабинет, под самой крышей; расточительная фантазия гения, мучимого потребностью творить необычайное и производить эффект... а может быть, и грезы больного ума, тщетно пытающегося самоутвердиться; разорительная фантазия причудливого и своевольного гения.

Одна стена этого будуара, или рабочего кабинета, очерчивала половину комнаты изящным полукругом, противоположная стена была прямая, с белым мраморным с позолотой камином посредине. Входили сюда через боковую дверь, скрытую под богато вышитой портьерой; напротив двери — большое окно, откуда открывался вид на просторы Марсова поля, Дом инвалидов и русло Сены. Полукруглую стену украшал настоящий турецкий диван-матрас, положенный прямо на паркет, толстый, широкий, как кровать, диван пятнадцати футов в длину, покрытый белым кашемиром, то тут, то там подхваченным пунцовыми шелковыми кисточками, образующими ромбы. Спинка этого огромного изогнутого дивана лишь на несколько сантиметров возвышалась над бесчисленными подушками, расшитыми с изысканным вкусом и еще больше его украсившими. Весь будуар был обтянут красной тканью, задрапированной индийским муслином, складки которого, напомиавшие бороздки коринфской колонны, закреплялись сверху и снизу полосой пунцовой материи с изящными черными арабесками. Сквозь муслин красный цвет казался розовым, и этот сладострастный оттенок повторяли

оконные занавеси индийского муслина, подбитые розовой тафтой, украшенные пунцово-черной бахромою.

Шесть настенных канделябров из позолоченного серебра, по две свечи в каждом, были укреплены поверх обивки на равном расстоянии один от другого, чтобы освещать диван.

Потолок, с которого свисала матовая позолоченная люстра, сиял белизной, карниз тоже был позолочен. Ковер прихотливыми узорами напоминал восточные шали — это был словно отблеск персидской поэзии, казалось, он выткан руками рабынь. Мебель скрывалась под белым кашемиром с черными и пунцовыми кистями. Стенные часы, подсвечники были из белого мрамора с золотыми инкрустациями. Наконец, единственный имевшийся в будуаре стол был вместо сукна обтянут кашемиром.

В изящнейших жардиньерках со всех сторон раскрывали свои лепестки розы самых разных сортов, перемешанные в букетах с другими цветами, белыми и красными. В этом волшебном приюте все, до мельчайших деталей, казалось обдуманное и подобранное с любовным тщанием. Никогда богатство не бывало столь кокетливо скрыто, дабы преобразиться в элегантность, выражать изящество, внушать сладострастие.

Рядом с этим пышным будуаром располагалась спальня, освещаемая единственным окном, откуда глаза снова открывалось течение Сены и Марсово поле.

Стены под драпировкой были обиты толстыми матами, дабы ни малейший звук не долетал до любопытного уха...
nunc intelligite.

Меблировка этого помещения — приюта самых сладостных тайн — резко отличалась от меблировки спальни на улице Кассини — места отдыха, прибежища размышлений человека, стремившегося завоевать первенство в литературе своего века.

Спальню соединяла с кабинетом маленькая прихожая, где постоянно пребывал верный Огюст.

На четвертом этаже находились мансарды; там хозяин и слуга, когда приходило время, занимались упорным трудом: один погружался в различные хозяйственные дела, другой, с горящими глазами и тяжело вздымающейся грудью, преследовал своим беспощадным пером мириады странных идей, разлетающихся по свету под его животворящим дыханием.

Именно в этой мансарде, скоро наскучив своим пышным кабинетом-гостиной, Бальзак однажды задумал оборудо-

вать себе другой кабинет; ибо надо признаться, что этот замечательный живописец дочерей Евы сам был столь же прихотлив и переменчив, как и его модели.

В ту пору Бальзак совсем не принимал у себя; для обслуживания и приготовления завтрака он сохранил одного лишь Огюста. <...>

Итак, читатель посетил вслед за Бальзаком и различные его обиталища, познакомился с его манерой работать, с его образом жизни и характером.

Я представил его читателю в различной обстановке, в рабочем его одеянии, я показал его в облике светского льва в Опере, восседающим в пресловутой адской ложе, но еще не описал его в обычном городском платье. Дабы завершить картину, мне остается запечатлеть его в движении, когда он шагает по своим делам вдоль улиц Парижа.

Однажды я возвращался вместе с ним из Шайо на местном извозчике; на площади Карусели он покидает меня, ибо у него назначена встреча на улице Дуайене, и я еду дальше, к себе домой.

Хотя дело было зимою, одет он был, по своему обыкновению, в потертое коричневое пальто, немало повидавшее на своем веку. На шее — скрученный веревкой красный мериносый галстук. Широкие темные панталоны едва доставали ему до щиколоток, открывая взору грубые чулки из черной шерсти и топорные башмаки, завязанные на лодыжках не какой-нибудь веревочкой, а настоящими шнурками. Шляпа, по замыслу черная, но порыжевшая на полях, явно не знала щетки с того самого дня, как была куплена.

Когда Бальзак вылез из коляски, я обернулся к извозчику и спросил:

— Как вы думаете, кто со мною ехал?

— Буржуа, конечно, это ведь ясно как день, — отвечал нумерованный автомедон, — кто же это еще мог быть, как не какой-нибудь *торговец волами* из Пасси!

У Вечного жида всегда имелось в кармане пять су; у Бальзака никогда не бывало более двух, да и то лишь потому, что Огюст каждое утро заботливо засовывал ему монетку в жилетный кармашек. То были времена, когда следовало платить за переход по многочисленным мостам Парижа.

Таковы были привычки человека, написавшего столько изящных произведений и всю жизнь гонявшегося за роскошью, пышностью и комфортом.

Мебель, экипажи, платье, стиль — все у него должно было быть богатым и блестящим; мания, доходившая порою

до чудачества и неправдоподобия; он постоянно бросался из одной крайности в другую. Но справедливости ради следует сказать, что весьма часто у него бывал *запущенный*, неопрятный вид. Платье его было плохо сшито, а носил он его еще того хуже.

Почему так получалось?

Не знаю, но бесспорно лишь одно: либо оно бывало слишком узко, либо слишком широко, либо коротко, либо длинно; прямые волосы, падавшие ему на плечи, всегда казались нечесаными, и весь он производил впечатление крайней неряшливости.

«Представьте себе, — говорит автор «Великих современников», — низенького толстого человека, жирного, коренастого, широкоплечего, обычно плохо одетого, с начинающими седеть волосами, длинными, прямыми, плохо расчесанными; лицо монаха — широкое, красное, веселое; большой смеющийся под усами рот; черты лица, в общем, заурядные, кроме глаз, хоть и маленьких, но необыкновенно умных и живых. Говорили, что он очень нравится женщинам. Не была ли тому причиной магнетическая сила его глаз?

Что касается меня, то я предпочитаю относить это за счет его разговора, поразительно остроумного и изящного.

Да, если внимательно присмотреться к его широкому лицу, бледному либо играющему яркими красками, в зависимости от состояния его здоровья, невозможно было сейчас же не понять, что перед тобою человек гениальный.

Взгляд его — повторю вслед за г-ном Эженом де Мирекур — сверкал странным огнем.

Глаза у него были черные, глубокие, испытующие и магнетические.

Как только он увлекался разговором или вступал в спор, его физиономия преображалась необычайным оживлением. Казалось, им завладевало что-то странное, неожиданное; речь его лилась, покоряла, и все собеседники поддавались его чарам.

В душевных разговорах в узком кругу друзей он блистал весельем и остроумием.

Чтобы основательно судить о характере его ума, надо было послушать, как он читает развернутый план одной из своих новелл, в особенности «Озорных рассказов», к которым он с полным правом питал особое пристрастие. Он тогда захватывал слушателей, пленял их, заинтересовывал,

волновал, воспламенял и заставлял предаться ему телом и душою.

До конца жизни не забуду нескольких прекрасных вечеров, проведенных на улице Кассини, в его гостиной либо в его саду, где мы слушали его иногда ночи напролет, — таким он владел искусством соблазнять и привязывать нас, когда говорил; мы совершенно забывали о быстротекущем времени и засиживались порою до утра.

В особенности запомнилась одна июньская ночь; была восхитительная погода, светила луна, а он расположился под сенью жимолости и ломоноса и рассказывал нам одну из прелестнейших озорных новелл: *историю расклавшейся Берты*. О, что за восхитительную ночь мы провели! Какой чудесник-соблазнитель сидел среди нас!

Бальзак был замечательный рассказчик!

Но в многолюдном собрании, в большом обществе, на званных обедах, на тех легкомысленных сборищах, где умы перевозбуждаются от доброго вина либо избытка удовольствий, когда голоса несутся со всех сторон, перекрещиваясь, сталкиваясь и перемежаясь, когда каждый старается метнуть словечко, почти всегда острое, если не всегда справедливое, Бальзак, признаемся, бывал совсем другим. Тщетно искали бы вы в нем милого и увлекательного говоруна наших дружеских встреч; блески его ума, его остроты теряли свою легкость и делались тяжеловесными, неуклюжими, подавляющими! Нечего было и рассчитывать найти в них хоть крупичку аттической соли, чаровавшей нас накануне! Этот писатель падал ниже самого заурядного человека; его словечки, столь удачные еще вчера, теперь были плоскими, иногда даже пошлыми, тривиальными, грубыми. От его раскатистого голоса и оглушительного смеха звенели хрусталь и стекла, вот и все.

К тому же, чтобы его внимательно слушали, ему необходимо было заранее знать, что его будут слушать. Без этого главного условия невозможно было ничего из него вытянуть.

Он был среднего роста; его ноги и руки могли смело считаться аристократическими; поэтому он настойчиво заботился о том, чтобы они были отлиты из бронзы, и показывал слепки некоторым друзьям, а уверяют, что и приятельницам.

Статуетка работы Дантана хоть и вдается в шарж, но с чрезвычайной верностью воспроизводит фигуру, позу, одежду, даже пресловутую трость нашего любимого автора.

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ»

БАЛЬЗАК В ПАРИЖЕ

Бальзак жил последовательно в доме № 1 по улице Кассини, возле Обсерватории, в доме № 13 по улице Батай в Шайо (спросить вдову Дюран) и на улице Фортюне, которая носит теперь его имя; не забудьте еще арестный дом Национальной гвардии, где он вынужденно провел несколько дней, а также дом № 112 на улице Ришелье, где он оставался на ночлег в маленькой мансарде, если вечером не возвращался в Виль-д'Авре.

Я сгорал от желания возобновить знакомство с великим человеком, но на улице Кассини, куда я первым делом отправился, дверь охранял сам сын Цербера. На мой звонок дверь слегка приоткрылась, но тут же резко захлопнулась. «Хозяин путешествует!» — мрачно произнес угрюмого вида слуга. Последовавшие один за другим три визита встретили такой же прием, результат был один и тот же. Правда ли, что Бальзак был в отъезде? Должно быть, меня приняли за судебного клерка, по горло нагруженного разными официальными бумагами. Когда я вспоминаю вышедшую из моды шляпу, в которой я ходил, оливкового цвета редингот, бившийся о пятки моих зашнурованных ботинок, одним словом, все мое провинциальное одеяние, мне кажется, что это предположение имело под собой все основания. Итак, мне не суждено еще раз увидеть его? Я должен отказаться от так долго лелеемой надежды? Случаю угодно было свести нас. Несколько исписанных листов, которые мне удалось как-то ночной порою с бешено колотящимся сердцем сунуть в почтовый ящик «Шаривари», открыли мне двери этой газеты, и я с головой окунулся в работу под благожелательным покровительством, дружеским наставничеством ее трех руководителей. <...>

Одна из статей Альтароша навлекла на «Шаривари» гнев судейского мира.

После тщательной выверки были отмечены все места, где судей называли бездушными буржуа и сорвавшимися с цепи филиппистами, и в результате был вынесен суровый приговор. Поскольку по вызову суда никто не явился, двор применил, как и бывает в подобных случаях, высшую санкцию — не помню уж в точности, сколько месяцев тюрьмы для управляющего Симона и сколько тысяч франковых билетов для Дютака, знаю только, что много и для того и для другого.

Следующее судебное разбирательство выглядело более человечным и милосердным по сравнению с предыдущим.

— Нас наказали менее строго, чем три месяца н а з а д , — возгласил п а т р о н , — а меня просто облагодетельствовали: я отделался десятью тысячами франков.

О, неожиданное чудо! О, не знающее себе равных диво!

«Шаривари» была оправдана, и эта неожиданная победа ознаменовалась празднеством, устроенным Дютаком для персонала — карандашей и перьев — небольшой группы самых близких людей, в том числе и адвоката Бетмона, который споспешествовал нашему триумфу, — Бальзаку, под большим секретом, была поручена подготовка праздника.

— В вашей «Шагреновой к о ж е » , — сказал Дю т а к , — я прочел описание обеда в «Роше дю Канкаль», сладостное воспоминание о коем утешало меня в худшие времена, когда я прилежно посещал ресторанчики, кормившие за тридцать два су. Так вот, именно этот обед, это великолепное пиршество из «Шагреновой кожи» желал бы я, чтобы вы устроили для нас. Скажу более. Не скупитесь на затраты, какова бы ни была сумма, которую придется платить по карте (тогда еще не говорили «по счету»); пусть даже она будет не меньше той, что меня вынудили выложить на алтарь государственной казны.

Бальзак дал простор своему воображению, и знаменитый Борель пустился вместе с ним вскачь по полям Невозможного.

— Потрясающе! Грандиозно! Чудовищно! — вскричал Теофиль Готье, направивший свой телескоп на меню, проиллюстрированное пополам Гаварни и Домье.

Меня представили Бальзаку, тот узнал меня и ласково попенял, что я слишком пренебрегаю им, за что я тут же простил ему мои бессмысленные паломничества на улицу Кассини.

Я был самым молодым редактором «Шаривари», и, по настоянию главного редактора, мне пришлось пойти в редакцию сверстывать газету и читать оттиски, — а в это время мои друзья оживленно входили в залу, освещенную сотнями розовых свечей, украшенную цветами и оглашаемую музыкой. Я вышел, проклиная жестокость моей планиды; но моя ярость еще увеличилась, когда на лестнице я столкнулся с любезно раскланивающимися людьми, коим предстояло в натуре сыграть роль известных персонажей той прославленной главы «Шагреновой кожи», где участвует Акилина и ее товарки.

Но Бальзак сказал мне: «До скорого свидания!» Он дал мне пароль, который открывал двери крепости... и я быстро утешился.

Осуществление этой мечты стоило восемь тысяч франков.

На следующую зиму, как-то в субботу, я отправился вместе с ним на бал в Оперу, — бедная сгоревшая Опера на улице Лепелетье! Мы пробирались в шумной, бурлящей толпе, заполнившей в коридоре первые ложи, и устремились в фойе, откуда уже изгнали ряженных и подвыпивших весельчаков и где развязывались узлы стольких элегантных масок и завязывалось столько прелестных знакомств.

Я обедал на улице Кассини вместе с хозяином дома и его другом Лоран-Жаном, художником и признанным декоратором особняков барона Джеймса де Ротшильда; мы сотрудничали с Лоран-Жаном в «Шаривари», где он писал статьи об искусстве и с поистине замечательным рвением и знанием дела вел раздел выставок.

Бальзак осведомился, пойдет ли с нами Лоран-Жан, но Альцест с улицы Наварен объявил, что маскарад, по его разумению, — «идиотское развлечение», что единственно милое зрелище — те домино, которыми двигают на мраморных досках, ибо они никогда не приносят ни разочарования, ни неприятностей; мы расстались у пылающего подъезда театра, освещенного по-дневному.

По обеим сторонам фойе устроили небольшие округлой формы салоны, места истинного отдохновения для избранных — субботних завсегдатаев. Туда и увлек меня Бальзак, по дороге неохотно раскланиваясь и так же неохотно пожимая во множестве протянутые к нему руки.

Он очень забавлялся взрывными парадоксами Лоран-Жана; радовался блестящему остроумию этого камерного

Руджиери, и неоднократно они вступали в веселые перепалки, обмениваясь крепкими галльскими словцами.

Но лишь только наш спутник покинул нас, как Бальзак посерьезнел и помрачнел.

Я спросил, уж не нездоровится ли ему.

— Я терплю адские муки! — вздохнул он, и голос его прервался.

И он поведал мне, что провал предприятия одного издателя поставил его перед необходимостью уплаты по векселю, коего срок истек уже месяц назад, опротестованному и снабженному всем, «чем полагается в таких случаях». Но, черт возьми, будь только это, он бы еще смог выкарабкаться. Но были еще другие неуплаченные долги, другие кредиторы тоже настойчиво преследовали его... Последствия надвигались с ужасающей быстротой. Под тем предлогом, что он сам печатал свои книги, его немолимо причисляли к разряду негоциантов, а это грозило заточением в Клиши. Чтобы выйти из положения, ему нужно было двадцать тысяч франков. Но где достать эти двадцать тысяч? Он явился на бал в смутной надежде встретить какого-нибудь капиталиста, упросить выслушать его, не надеясь, впрочем, получить благоприятный ответ.

Бальзак взглянул на часы.

— Половина второго! — вскричал он. — Я опаздываю. Лишь бы мое Провидение не отправилось спать.

И он побежал искать своего капиталиста. Сей же час домино, не замеченное мною ранее, хотя оно и сидело бок о бок с Бальзаком на том же самом диване, где расположились мы, слегка коснулось веером моей руки. На домино были безупречные туфли и перчатки. Сквозь прорези маски я разглядел алые губки, блестящие зубки и сияющие, как два алмаза, черные глаза.

— Сударь, — обратилось ко мне домино с легким акцентом, — говорите ли вы по-испански?

— Как Сервантес Саavedра, — с апломбом ответиля. — Однако, если вам все равно, я предпочел бы говорить по-французски.

— Позвольте справиться, сударь: человек, который сейчас сидел здесь, — это господин де Бальзак?

— Он самый, сударыня.

— Меня удручает, что его одолевают столь немалые неприятности.

— Вы слушали, как он делился со мной своими огорчениями?

— Я не слушала, я слышала, что не одно и то же. Господин де Бальзака терзает, где найти сумму, необходимую для его спасения. Передайте ему, что лицо, весьма ценящее его талант, отдает себя в его распоряжение на все время, которое господин де Бальзак будет в нем нуждаться.

— Кто же это лицо?

— Я. Вот моя визитная карточка. Не соблаговолите ли передать ему?

— Нет, сударыня.

— Почему?

— Потому что ваше предложение не будет принято. Можете в этом убедиться. Вот идет сам господин де Бальзак.

Обеспокоенный столь быстрым возвращением, я спросил у него, удачна ли была его вылазка.

— Я возвращаюсь несолоно хлебавши, — отвечивал он. — Мой капиталист отбыл.

Я представил испанку Бальзаку. Некоторое время они о чем-то тихо говорили.

— Вы были правы, — сказала незнакомка, когда Бальзак распрощался с нею. — Он отказался. Как он выберется из этой пропасти?

— Успокойтесь, сударыня. Его гений поможет ему.

Гюго и Бальзак питали слабость к каламбурам. Г-жа Сюрвиль рассказывает, что ее брат был вне себя от восторга, когда разрядился трескучим афоризмом: «Женщина — это главная *тупица* в домашней колеснице». Равно любил он и стихи, но любил их платонически. Ему удалось сочинить лишь один александрийский стих... Я сейчас к этому вернусь.

Мне возразят, конечно, что стихи разбросаны повсюду в его произведениях. Объясним эту загадку: стихи ему писали Беллуа и Граммон, г-жа де Жирарден и Шарль де Бернар. «Передайте, пожалуйста, славному Шарлю де Бернару, — пишет он управляющему «Кроник де Пари», — что для «Утраченных иллюзий» мне потребуется небольшая несколько выпретенная поэма в манере лорда Байрона. Это будет самым прекрасным произведением провинциального поэта. Мне понадобится также вещица в стиле «Мардоша» или «Намуны» Альфреда де Мюссе». Он просто-душно заказывал одному то, другому это, как заказывал булочку своему пекарю и фланелевые жилеты своему портному.

Однажды я получил от него письмо, внизу которого не значилось его имени. После положенных приветствий стояло: СТРА — шутовское сокращение, к которому он Иногда прибегал, и к этому была приложена записка, украшенная такой затейливой подписью:

СТРА { далец
тег
шило.

Накануне «Шаривари» опубликовала сотню моих стихов, шутовское подражание драматической поэзии автора «Эрнани». Бальзак уже собирал материалы для «Монографии о парижской прессе». Он подумал, что может извлечь пользу из этой литературной шалости. «Но хочу Вас предупредить, — писал он мне, — стихи Ваши я слегка переиначу. Согласны ли Вы?» Я не замедлил ответить утвердительно. Работа появилась спустя много лет; я с таким же нетерпением ждал появления ее, как Леверье — пришествия своей кометы.

Ну так вот, в своей «Монографии» Бальзак классифицировал журналистов на виды и подвиды. Последние, в свою очередь, делились на множество классов. И он перечисляет: «Удильщик» (тот, кого надолго хватит), «Шутник» и т. д. «Предположим, поставили новую драму Виктора Гюго, — говорит он, — и тут же появляется пародия на первую сцену, вроде этой». И за сим длинной чередой следуют мои александрийские стихи. Все, кроме одного, который Бальзак «слегка переиначил». Его легко узнать: он хромотает на обе ноги.

Бальзак часто не заключал выгодных сделок из-за мучившего его желания, а вернее, насущной потребности в крупных выручках. Издатель Ж. Кюгельман, готовивший при содействии Луи Люрина прекрасную книгу «Улицы Парижа», спросил согласия на участие в ней Бальзака, и тот предложил написать об улице Ришелье, при условии, что ему за его манускрипт будет выплачено пять тысяч франков. Речь шла всего о десятке страниц, на которых Бальзак поделился бы своими впечатлениями, и так как Кюгельман и Луи Люрин запротестовали, то он убежденно сказал:

— Согласитесь, что для того, чтобы точно обрисовать человека или пейзаж, нужно знать их в мельчайших подробностях. Так вот, как же я расскажу об улице Ришелье,

об ее коммерческом облике, если не посету одно за одним расположенные на ней коммерческие заведения. Предположим, я прохожу бульваром Итальянцев — я должен буду позавтракать в кафе «Кардинал»; у Брандуса мне придется купить партитуры; у его соседа-оружейника — охотничье ружье; затем следует ювелир, у него — булавку для галстука. А как не заказать фрак у портного и пару ботинок у сапожника?..

— Помилуйте, — прервал его Луи Люрин. — Еще шаг — и вы ступите на порог «Индийской компании». А кружева в этом сезоне подорожали, что же касается изделий из кашемира, то на них вообще баснословные цены.

В последний раз мы встретились у Лоран-Жана. Был конец августа тысяча восемьсот сорок восьмого года. Я был назначен супрефектом, и, как раз когда я прощался с моим товарищем, в мастерскую, где мы обменивались последними прощальными словами, вошел СТРА собственной персоной.

— Приветствуй первое лицо Каstellана! — сказал Лоран-Жан, который к Бальзаку обращался на «ты» — милость, дарованная далеко не всем.

— Вы уже приняли предложение? — спросил Бальзак.

— Я уезжаю вечером.

— Какую ошибку вы совершаете! Через несколько недель, а может быть, и дней, нынешнее правительство будет сметено, в Тюильри поселится Генрих Пятый. Мне обеспечен пост в министерстве иностранных дел. Разыщите меня там, и я вам гарантирую блестящую должность.

Но я хранил молчание, и он сухо добавил:

— Запомните, что я вам скажу: кто не со мной, тот против меня. Мы видимся сегодня в последний раз.

Из двух его пророчеств последнее действительно сбылось.

В Париже меня не было два года, вернулся я как раз в день его похорон, достаточно рано, благодарение богу, чтобы успеть присоединиться к огромному кортежу, сопровождавшему останки одного из величайших гениев, который составил славу Франции — и человечества в целом.

А. И. ТУРГЕНЕВ

ИЗ ПИСЬМА К К. С. СЕРБИНОВИЧУ

(Париж, ноября 2/14 1835)

<...> Передайте дружеский поклон Борису Михайловичу Федорову. Слышу о каких-то диковинках нашей литературы, а здесь встречаю, хотя и редко, жертву его: Бальзака. На днях вышла еще какая-то книга его; в Бальзаке много ума и воображения, но и странностей: он заглядывает в самые сокровенные, едва приметные для других, шелки человеческого сердца и нашей искони прокаженной природы. Он физиолог и анатом души: его ли вина, что души часто без души? а кое-где еще и с крепостными душами? (что хуже всякого бездушия). <...>

ИЗ ПИСЬМА К П. Б. КОЗЛОВСКОМУ

<...> Что же до г-на де Бальзака, то он выиграл свой процесс. Я недавно виделась с ним, он просил передать тебе его благодарность и сказал, что скоро вышлет тебе знаменитую «Лилию в долине» с приложением своей статьи в защиту романа, замечательной по силе и страстности — он писал ее в очень возбужденном состоянии. Он ездил на несколько дней в Саше (?), чтобы закончить какое-то произведение. Мы с ним очень смеялись над журналистами, которые постоянно твердят, что он много путешествует, тогда как бедняга днем и ночью прикован к своему креслу, словно каторжник. <...>

Господина де Бальзака нельзя назвать красивым, так как он небольшого роста, толстый, круглый, коренастый, у него широкие квадратные плечи, большая голова, нос неопределенной формы, как будто сделанный из резины, очень красивый, но почти беззубый рот, черные как смоль с проседью жесткие волосы.

Но в его карих глазах такой огонь, они так выразительны, что помимо вашего желания вы вынуждены признать, что мало видели лиц подобной красоты.

Он добр, готов на все для тех, кого любит, страшен для того, кого он не любит, и безжалостен к недостаткам сильных мира сего. Его эпиграммы часто вас сразу не поражают, но они вновь и вновь возникают в вашей памяти, они вас преследуют «ever after»¹, как привидение. У него железная воля, он неустрасим и отважен. Он забывает о себе ради своих друзей и не признает никаких ограничений в своей дружбе (sic!)².

¹ Потом всегда (англ.).

² Так! (лат.).

Он соединяет в себе величие и благородство льва с нежностью ребенка. Он так же ребячлив, как G-у, он готов играть и развлекаться. Он всем живо интересуется и все еще полон иллюзии и наивной веры, но он хитер, как Робер Макер, когда речь заходит о чем-нибудь серьезном. Он питается черствым хлебом, хотя очень любит хорошо поесть. Щедрый для других, он умеет сдерживать себя, отказываться от своих фантазий, часто не очень серьезных. Вот весьма поверхностный набросок характера господина де Бальзака, которого я очень люблю и который так добр ко мне. Ему тридцать семь лет. <...>

(ПОРТРЕТ БАЛЬЗАКА)

Мы начнем наш анализ с портрета Бальзака.

То была физиономия весьма трудная для изображения по причине ее изменчивости, подвижности и незаурядности. <...>

Буланже великолепно схватил сложное выражение лица Бальзака, как будто не поддающееся кисти, способной передать лишь одно чувство зараз. Для тех, кто не сможет увидеть этот прекрасный портрет, мы попытаемся как можно точнее описать его, чтобы дать представление о самом плодovitом из наших романистов, как говорит Ипполит Суверен.

Господин де Бальзак некрасив в общепринятом смысле этого слова. Черты его неправильны, он толст и невысок ростом. Вот перечень примет, казалось бы, не притягательных для живописи; но это только кажется. Жар и полнота жизни, разлитые во всем его облике, придают ему совсем особую красоту.

На портрете г-н де Бальзак изображен в позе, выражающей спокойствие и силу: он окутан широкими складками рясы, руки скрещены на груди, шея открыта, взгляд прямой и твердый. Падающий сверху свет зажигает шелковистые блики у основания лба и бросает живые отсветы на шишки энергии и юмора, весьма развитые у г-на де Бальзака; черные волосы, тоже освещенные и *в бликах*, сияющими струями стекают с висков и придают удивительную одухотворенность всей верхней части головы; глаза, погруженные в золотистую тень, с рыжими зрачками на влажных и голубых, как у ребенка, белках смотрят удивительно острым взглядом; нос, очерченный резкими и неровными гранями, сильно и страстно дышит через широкие красные ноздри; чувственные полные (особенно нижняя) губы улыбаются раблезианской улыбкой под сенью усов гораздо

более светлого оттенка, нежели волосы; волевой приподнятый подбородок соединен с шеей выпуклой плотной складкой кожи, похожей на подгрудок молодого быка. Шея на редкость сильная, как у атлета; на полных округлых щеках играет румянец могучего здоровья, и вся его плоть сияет самым радостным, самым успокоительным глянецом.

В этой голове монаха и вояки каким-то поразительным образом смешаны вдумчивость и благодушие, решительность и увлеченность; здесь в странной гармонии сливаются мыслитель и жизнелюбец. Наденьте на эту широкую грудь кирасу, и вы получите одного из тех грубых немецких ландскнехтов в высоких сапогах, которых с такою увлеченностью писал Терборх. В рясе — это Жан Зубодробитель; а все же не забывайте, что его глаза озаряют всю эту полноту и добродушие огненным львиным взглядом, который придает кажущейся фламандской непринужденности совсем иной смысл. Такой человек может отдать дань всем излишествам застолья и всем радостям труда. Уже не удивляешься громадному количеству томов, опубликованных им за столь короткий срок. Эта невероятная работа не оставила ни следа усталости на его крепких щеках, покрытых пятнистым румянцем, и на его широком белом лбу. Гигантское творение, которое раздавило бы своею тяжестью полдюжины обыкновенных писателей, составляет едва ли третью часть того монумента, который он намеревался воздвигнуть.

Жан Гужон взял бы это лицо в качестве модели для маски смеха.

Это описание, возможно, противоречит идеальному образу Бальзака, какой создали для себя многие читатели на основании его произведений. Есть немало людей, которые не могут вообразить себе знаменитых писателей иначе как тощими, желтыми, с длинными черными кудрями; я и сам разделял когда-то такие наивные представления, хотя ныне их отвергаю; согласен, что так оно и должно было бы быть, но все же мое описание отличается самой скрупулезной точностью.

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ де БАЛЬЗАК. ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ»

<...> Любопытные надежды питал этот человек: его неотступно терзала мечта об огромном богатстве; это стало у него почти манией, он был уверен — и однажды вполне серьезно сказал об этом Генриху Гейне, — что один его знакомый богатый голландец пришлет ему из недр Гарлема или Роттердама кучу ценностей в рубинах или изумрудах и тогда он сделает то-то и то-то; он говорил все это непосредственно, как дитя, со смехом на устах и пламенем во взоре. Можно смело сказать, что Бальзак нередко вел себя, как ребенок, ему было свойственно то ребячество, которое отличает истинного гения.

Это желание сделаться когда-нибудь набобом внушало ему самые невероятные замыслы: один из особенно любопытных — это проект монополии на произведения искусства. Он возымел идею употребить свои миллионы на нужды общества и скупить частью за наличные, частью на ценные бумаги все самые знаменитые художественные творения, какие случайно могут оказаться в продаже. Пусть бы предложили ему хоть Аполлона Бельведерского, он бы его купил и объявил торги с участием соперничающих наций. Англия, например, предложила бы столько-то, Франция больше, Голландия еще больше и так далее... статуя присуждена Голландии... и Бальзак зарабатывает сумму в

Следует также сказать, что на этот счет по поводу г-на де Бальзака возникало немало самых нелепых и лживых преувеличений. Как водится и как это бывает и по отношению к другим людям, ему приписывали сотни невероятных поступков, по большей части попросту вымышленных. К их числу принадлежит история об *ананасах*, довольно сомни-

тельным представляется мне и рассказ о *дереве г-на де Бальзака...* Я не могу поверить в анекдот о *пряниках* и так далее.

Судя по всему, что мне известно, больше всего всяких историй можно было бы почерпнуть из отношений его как автора с издателями. Тут как нельзя более применимо ходячее выражение: *живут как котика с собакой*. Издатели почитали себя истинными жертвами знаменитого писателя, а тот заявлял, что его обкрадывает, общипывает, обирает до нитки целая банда, эксплуатирующая, если ему поверить, его мысль, его талант, его имя. Я с удовольствием привел бы список всех его контрактов с издателями, если бы в силах был гарантировать их подлинность. Скажу лишь, что был момент, когда злоба издателей достигла такой степени, что они образовали своего рода корпорацию, дабы уничтожить Бальзака в глазах публики, и тогда именно изобрели Шарля де Бернара, который, как они говорили клиентам, замещает г-на де Бальзака, *падающего* во мнении читателей и критики. Эта издательская лига кажется мне забавной в высшей степени, любопытно было бы о ней рассказать; кто же продаст мне этот сюжет и поведаст о всех его драматических перипетиях? Я охотно заплатил бы несколько цехинов, не пожалел бы даже и долларов за хороший, достоверный и живой рассказ.

В своем стремлении классифицировать все на свете Бальзак приходил к довольно остроумным классификациям. Заимствую нижеследующее у г-на Теофиля Готье, это лишь деталь, но деталь занятная: Бальзак уставил одну полку в книжном шкафу своей библиотеки (кстати, прекрасной) длинным рядом собственных своих произведений. Книжки можно было отличать по цвету обложки. Когда, например, вы следовали от «Шуанов» к «Озорным рассказам», в глаза бросались различные оттенки красного сафьяна; сразу же после томика «Озорных рассказов» виднелся единственный в своем роде и очень толстый том, переплетенный в черное, без тиснения и позолоты, украшенный только заглавием, которое гласило: «Меланхолические расчеты». Должен сказать, эта книга не была отпечатана; если она еще существует, то лишь в виде переплетенной рукописи, издатель мог бы назвать ее не иначе как «Сцены расточительной жизни», ибо это было не что иное, как пачка счетов и накладных, частью оплаченных, частью подлежащих оплате и по этой причине названных «Меланхолическими расчетами»! Долги и вправду вещь невеселая, и он, Бальзак, доказал это великолепным повествованием о вели-

ких терзаниях Бирото и о преступных деяниях Филиппа Бридо (смотри «Жизнь холостяка»).

Я уже говорил о бесчисленных исправлениях, коими Бальзак *разукрашивал* свои корректуры. Имя Цезаря Бирото напоминает мне довольно странную статью, принесенную мне лишь на днях, хотя написана она уже давно. Повод удобный, и я им пользуюсь. «Цезаря Бирото» опубликовала в 1837 году газета «Фигаро»; Эдуард Урлиак, в то время редактор этого листка, поместил в нем накануне публикации романа нижеследующие строки. Хоть странички эти обнаруживают довольно убогую фантазию, привожу их целиком, они очень точно показывают своеобразие рукописей и корректур автора «Модесты Миньон». Это смахивает на анекдот, и однако в приключениях рукописи, рассказанных Урлиаком, есть истина, и небезынтересно знать все, что пережила история парфюмера, прежде чем попасть на книжные полки и столы, где она обитает ныне.

ЗЛОСЛОУБИЕ ЦЕЗАРЯ БИРОТО ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ

Будем петь, пить и обниматься, как хор в комической опере. Вытянем ногу и повертимся на большом пальце, как кордебалет. Наконец, возрадуемся: «Фигаро» незаметно укротила все стихии, всех злоумышленников и все подлунные катаклизмы.

Геркулес теперь — просто шалопай, яблоки Гесперид не более чем брюква; золотое руно — заячья шкурка, осада Трои — просто смена караула Национальной гвардии. «Фигаро» только что завоевала «Цезаря Бирото».

Никогда разгневанные боги, никогда Юнона и Нептун, г-н де Рамбюто или префект полиции не чинили Ясону, Тезею или столичным прохожим столько препятствий, не высылали навстречу столько чудовищ, развалин, драконов, разрушений, как этим двум злосчастным томикам в восьмую долю листа.

Наконец-то они у нас, и мы-то знаем, чего это стоит. Публике надо только взять на себя труд их прочесть, а это одно удовольствие. Что касается г-на де Бальзака — двадцать дней труда, две дести бумаги, одной прекрасной книгой больше: все это пустяки.

Но что ни говорите, это типографский подвиг, литературное и промышленное деяние, достойное увековечения. Писатель, издатель и печатник — каждому принадлежит своя доля заслуги. Потомство запомнит метранпажей, и на-

ши правнуки будут сожалеть, что не знают имен типографских рабочих. Я уже сожалею об этом (как и они), в противном случае я назвал бы вам имена.

«Фигаро» обещала книгу к 15 декабря, и 17 ноября г-н де Бальзак начинает писать ее. Г-н де Бальзак и «Фигаро» имеют странную привычку, если что-нибудь обещают, держать свое слово. Типография в готовности и бьет копытом, как горячий конь.

Господин де Бальзак немедленно отправляет две сотни страничек, набросанных карандашом за пять лихорадочных ночей. Его способ работы известен. Это эскиз, хаос, апокалипсис, индусская поэма.

Типография бледнеет. Срок короткий, почерк неслышанный. Чудовище расколдовывают, кое-как сводят к общепринятым знакам. Самые сметливые рабочие ничего не понимают. Гранки относят к автору.

Автор отправляет обратно два первых оттиска, приклеенных к огромным листам, афишам, ширмам. Вот теперь пришло время содрогнуться и преисполниться жалостью. Вид у этих листов чудовищный. От каждого печатного знака, от каждого слова проведена пером черта, которая отлетает, извивается, словно ракета Конгрива, и взрывается на излете сверкающим дождем эпитетов, имен существительных подчеркнутых, перечеркнутых, вычеркнутых, перемешанных, наслоенных одно на другое; выглядит это ослепительно.

Представьте себе четыре-пять сотен таких арабесок, переплетающихся, устремляющихся, карабкающихся и скользящих с одного поля на другое и с юга на север. Представьте себе дюжину географических карт, на которых смешаны все города, реки и горы. Клубок ниток, запутанных кошкой, все иероглифы целой династии фараонов или огни фейерверка двадцати празднеств.

При виде всего этого типография отнюдь не ликует. Наборщики бьют себя в грудь, печатники стонут, факторы рвут на себе волосы. Самые смысленные берутся за оттиск и различают персидские буквы, другие — мадагаскарское письмо, некоторые — символические письма Вишну. Работают наугад и уповая на милость божью.

Назавтра г-н де Бальзак присылает два листа чистой китайщины. Сроку остается всего пятнадцать дней. Благородный фактор предлагает пустить себе пулю в лоб.

Приходят два новых листа, весьма разборчиво написанные по-сиамски. Двое рабочих теряют на этом зрение и то небольшое знание языка, какое у них было.

Таким путем корректуры пересылались семь раз подряд. Начинают обнаруживаться некоторые симптомы отличного французского языка; отмечается даже некоторая связь во фразах. Но срок подходит, произведение в печати не появится. Отчаяние достигает предела, и вот тут-то работа осложняется неслыханным потоком несчастий.

В самый разгар спешки беднягу, который днем и ночью носит г-ну де Бальзаку корректуры, вечером останавливают бандиты и крадут их у него (у г-на де Бальзака за некоторое время до того достало отсутствия духа поселиться в Шайо). Несчастный кричит и отбивается, злоумышленники пускаются в бегство; одну корректуру ловят в Нейи, другую на свекольном поле, третью, которая плыла в Руан, собирают по всему течению реки. Люди утверждают, что воры бросили листы, потому что не могли их прочесть. Нет худя без добра.

Работа прервана. Целая ночь пропала даром. Рабочие сидят сложа руки. Печатники бьют баклуши. Фактор поднимается на свою башню. «Сестрица Анна, сестрица моя Анна, ты ничего не видишь?» — «Я вижу посылного — он зеленеет — и вижу корректуру — она горит».

Оттиски прибывают, но ночь уже прошла. Срок близок. Вокруг слезы и скрежет зубовой. Однако фактор набирается мужества, а рабочие закусывают удила. Типография из кожи вон лезет; руки мелькают, как заячьи лапки; наборщики снуют, как ткацкий челнок, печатники крутятся, как колеса, метранпажи скачут, словно на пружинах. Подручные бьют копытом, корректоры так и дрожат; рамочный мастер дергается, как эпилептик, у фактора нервный тик. Это единый механизм, электрическая машина, клетка с умалишенными.

Дело продвигается вперед, но внезапно целая дюжина рабочих исчезает. Удар молнии. Пол проваливается, и печи, наборные кассы, рамы, вертятся в бешеном галопе, следуя за несчастными в бездну под дождем неведомых аэролитов. Что это — мина, пожар, засада, вулкан, огонь небесный или Страшный суд? В спешке подбирают раненых, свалившихся сверху на рассылочный двор. С некоторым трудом заверяют остальных, что они вполне здоровы. Распознают каменный град Гоморры и небесный огонь, обрушившийся на А, Б, Р, К и другие ни в чем не повинные литеры алфавита. Восстанавливается спокойствие. Снова принимаются за «Цезаря Бирото». Новые корректуры, новые рукописи для набора. «Цезарь Бирото» бросается

в дилижанс, отправляющийся в Лувье. «Цезарь Бирото» мчится по свету. Его преследуют. Места внутри читают первую главу, империял третью, ротонда вторую. Корректуры следующих глав крутятся на колесах, как настоящий фейерверк, каковым они и являются в действительности. Дилижанс останавливают: «Цезаря Бирото» или жизнь!» Пассажиры колеблются; но они отдают «Цезаря Бирото». Им сохраняют жизнь.

Работа снова пошла полным ходом, и г-н де Бальзак и «Фигаро» сдержали слово. «Цезарь Бирото» увидит свет 15 декабря. Он у нас, мы его держим. Дом окружен подпорками, укреплен, забаррикадирован. Там не разрешают курить. На крыше укреплены громоотводы, а у дверей поставлены служители. Приняты все предосторожности как против зловещих явлений природы, так и против чрезмерного рвения подписчиков.

Когда труд был закончен, рабочие плакали от радости, наборщики бросались друг другу в объятия, а печатники прямо-таки припечатывались друг к другу.

Восторг был такой, как при спасении «Медузы» или после взятия Константины. Все мы обнимаемся и просим публику не делать этого, как бы ей ни хотелось. Отличились все, но с особой похвалой упоминаем мы двоих людей, которые то ли задержали дилижанс, то ли были задержаны разбойниками.

Приходится лишь оплакать несколько ран, заживающих все быстрее день ото дня, печную трубу, кассу с литерами Б и *греческий колтак*; но нам достанется столько славы и останется так мало экземпляров, что у нас нет ни времени, ни оснований жаловаться.

В данный момент это просто произведение в двух томах, необъятная картина, целая поэма, написанная, отредактированная г-ном де Бальзаком в пятнадцать приемов *за двадцать дней* и расшифрованная, распутанная и перепечатанная пятнадцать раз *за тот же срок*. Сочиненная г-ном де Бальзаком в двадцать дней вопреки типографии, набранная типографией в двадцать дней вопреки г-ну де Бальзаку.

Правда, в это же время г-н де Бальзак занимал другим делом сорок рабочих в другой типографии. Мы не разбираем ценность самой книги. Она сделана чудесно и с чудесной быстротой. Она будет такой, какой может быть. — Она может быть только шедевром. — Тем хуже для нее.

(Извлечение из «Фигаро» от 15 декабря 1837 г.)

Генрих Гейне, на ложе страданий, откуда доносятся ныне последние звуки благородного голоса поэта, еще недавно улыбался, когда я говорил ему о Бальзаке, одним из ближайших друзей которого он был. Автор «Путевых картин» и «Атта-тролля» радовался, мысленно переносясь во времена частых прогулок с другом по садам Тюильри. Бальзак, говорил он, искренне забавлялся, предугадывая будущее *добрых людей*, проходивших мимо; он спрашивал своего собеседника: «Верно я думаю? Хорошо я сказал? Попал я в точку?» — а когда Гейне возражал ему и говорил, что, может быть, это и не так, что он ошибается, что он слишком уж проницателен или, напротив, судит слишком поверхностно, Бальзак отвечал: «Любезный мой Генрих, я вас люблю, я хочу посвятить вам одну из моих фантазий; позднее будущие ценители прочитают наши книги, пусть они увидят союз наших имен и найдут в этом доказательство нашей дружеской и духовной близости. Пойдите-ка, у меня сейчас в работе «История Шарля-Эдуарда Ла Пальферина»; возьмите ее себе, она ваша, я вам ее дарю».

И через несколько дней появился «Принц богемы» с посвящением Генриху Гейне. Чтобы хорошо передать такого рода разговоры на ходу, чтобы не утеряться их *человеческий* колорит, надо представить себе Бальзака и обычные его повадки: как он останавливается, выпятив живот, как расцветает его веселая физиономия от взрывов хохота — ибо он смеялся настоящим туренским смехом, — как он ударяет о землю палкой, той прекрасной палкой с шишковатым набалдашником, что послужила г-же де Жирарден темой для своего рода фантастического романа, известного под названием «Трость господина де Бальзака».

В разговоре автор «Шагреневой кожи» не был ни столь скор на реплики, ни столь блестящ, как можно было бы подумать, судя по его книгам; на обедах, на празднествах в его доме или в свете он только к самому концу, хорошенько освоившись, начинал говорить с увлечением; он легко возбуждался и в таких случаях становился великолепен, но острым *словцом* злоупотреблял редко, и можно даже сказать, что был не силен в каламбурах; он не раз пробовал придумывать их для своих персонажей из артистической среды, при описаниях *уж и н о в*, — чаще всего они вызывают смех потому, что дурны; Бальзак хорошо делал, что редко прибегал к ним. Впрочем, у него прорывались самые забавные, самые колючие блестящие остроумия. Известно, что

Бальзак утверждал, будто он выходец из рода Бальзаков д'Антрег, и однажды кто-то сказал ему:

— Но вы же сами знаете, что это шутка, что вы не имеете никакого отношения к д'Антрегам.

— Тем хуже для н и х , — отвечал он тоном удовлетворенного величия.

Когда он жил в своем доме Жарди, ему случалось собирать у себя за обедом или за ужином постоянно кружок друзей. Однажды среди прочих к нему явился Теофиль Готье с Жераром де Нервалем; многие из гостей уже были в сборе. Бальзак как раз писал в то время «Трактат о возбуждающих средствах», и он вдруг сказал, прервав завязавшийся разговор:

— Я долго размышлял по поводу лука, моя теория на сей счет совершенно тверда, я убежден, что употребление в пищу этого овоща не только весьма полезно для здоровья, но, более того, придает живость и остроту уму, изгоняет тугодумие и так далее...

Уселись за стол.

Трапеза состояла из одного только лука: луковый суп, луковое пюре, луковый сок, луковые оладьи, трюфели с луком.

Через два часа все гости были больны!

Когда Бальзак создавал новую книгу, он занимался ею день и ночь, по два месяца не выходя из дома, а потом внезапно появлялся на людях; он держался так, словно возвратился из Африки, находил, что все изменилось, бульвар недостаточно широк, дома стали ниже, он расспрашивал рассыльных, всем подряд пожимал руки, рассказывал, читал, выискивал, с головой окунался в парижскую жизнь, говорил, что не жил все это время, мечтал о лошадях, каретах, грумах, ливреях, об основании больниц, объединении предприятий, монополиях, редких книгах, затем ехал на званый вечер — к Ротшильду, еще к кому-нибудь, к г-же де Кастри, болтал, строил планы путешествий, играл в буйот, пил кофе, отправлялся спать и вставал в самые невероятные часы. Ему случалось иногда ложиться в постель около девяти вечера, чтобы проснуться в полночь или в час ночи, выпить кофе и встать, а в два часа утра *строитель* уже был за работой. Работоспособность этого человека, постоянно захваченного сотней разных дел, была неисчерпаема: нужно помнить, что Бальзак писал по-настоящему только с 1829 по 1847 год и что в этот период он очень часто и очень подолгу жилав то в провинции, то за границей; читал он паразитально много, причем сочинения самые трудные; он

поглощал книгу мгновенно, читал ее с такою же быстротой, как и усваивал. Монтескье, Лафатер, Гиббон, Шекспир, Гоббс, Жан-Поль Рихтер — вот авторы, коих он охотно изучал. Он прилагал огромное усердие к изучению физиологии.

По отношению к женщинам Бальзак был таким, каким показал себя в некоторых книгах — обаятельным, умеющим находить с ними общий язык; он никогда не торопил события, он хранил достоинство и ухитрялся войти к ним в душу; Бальзак многим обязан женщинам. Он обязан герцогине де Кастри тысячей рассказов из современной жизни, а сюжет «Директории» ему дала г-жа Софи Гэ. Кстати, в начале «Физиологии брака» он намекает на этих двух женщин, каждая из которых была замечательна по-своему.

Автору «Тридцатилетней женщины» требовались также сотни особенностей женских разговоров, как темы, так и форма. Во время одного из путешествий его в Прованс живая и пылкая молодежь Марселя, во главе с достопримечательным Мери, устроила в честь г-на де Бальзака банкет. Я знаю этот факт от свидетеля; г-н де Бальзак прибыл около шести часов; он вертел в руке маленькую табакерку, только что купленную у антиквара за сумму в сто экю. Этот предмет искусства приводил его в восхищение. Сели за стол. Юные потомки фокийцев, как всегда предводительствуемые Мери, который слывет в Марселе образцом всех добродетелей и всех талантов, пожелали обратить разговор на женщин — так и следовало, ведь тут присутствовал г-н де Бальзак! Г-н Мери начал, все слушали. Бальзак катал хлебный шарик или вертел свою табакерку; он еще не произнес ни слова. Амфитрион Мери изложил свою систему обольщения женщин, он не преминул заявить, что предпочитает действия быстрые, одобряет внезапное начало и решительную осаду. Никто не перебивал. Мери вел свою речь; когда он кончил, подал голос Бальзак. Он говорил с такою тонкостью и изяществом, что на глазах марсельцев — неслыханное дело! — осыпались лавры Мери. Г-н де Бальзак применял иную систему: он требовал осмотрительности, верил в галантность и желал, чтобы аргументами при ухаживании служили цветы, их ароматы. Он говорил долго, отвечал всем, вел светскую беседу, но беседу без позы, затем удалился, продолжая расхваливать табакерку, за которую заплатил, по его словам, всего-навсего сто экю. Мери был повержен, и долго в Марселе хранили память о банкете, на котором Бальзак произнес галантную речь в защиту женщин.

Но то были времена, когда Бальзак еще смеялся, даже слишком много смеялся. То был сезон цветения и весна его славы. Когда 20 июня 1850 года он продиктует г-же Еве де Бальзак нижеследующее письмо для друга своего поэта Готье, те времена будут уже далеко позади и недуг разрушит безграничные иллюзии, долго жившие в этой великой голове.

Вот это письмо; надо думать, что после него Бальзак диктовал уже весьма немного. Через всю страницу его рукою начертаны лишь такие слова: *«Я не могу ни читать, ни писать»*, все остальное целиком написано его женой.

«Дорогой Тео, сердечно благодарю Вас за тот интерес ко мне, который Вы сообразовали выказать. Если в последнее свое посещение Вы не застали меня дома, это не значит, будто я чувствую себя лучше. Я только вопреки запретам врача дотасился до таможни, ибо непременно надо было забрать мой багаж.

Нынче я избавился от бронхита и от воспаления печени, значит, есть улучшение, поэтому завтра все силы бросят против действительно тревожной болезни, болезни, гнездящейся в сердце и легких; мне подаются большие надежды на излечение, но я должен постоянно оставаться в роли мумии, отказавшись от разговоров и движений, — такое положение вещей должно продлиться по крайней мере два месяца. К этому письмецу меня обязывала Ваша дружба, которая мне вдвойне драгоценна в том одиночестве, в котором держит меня медицинский факультет. Если Вы зайдете еще раз, сообщите мне заранее день и час, чтобы я мог воспользоваться удовольствием Вас принять и насладиться Вами — ведь я так давно Вас не видел!

Всем сердцем Ваш

де Бальзак.

Я не могу ни читать, ни писать.

20 июня 1850 г.

ИЗ КНИГИ
«БАЛЬЗАК В ДОМАШНИХ ТУФЛЯХ»

<...> Два жилища, в которых сохранились самые живые воспоминания о его привычках, — это домик в Пасси, на улице Басс, и Жарди — маленькое унылое строение, которое он купил в Виль-д'Авре, не могу точно сказать, когда именно, и тем дороже стоившее ему, что платил он за него постоянно. Ни в одной индусской или китайской поэме число строк не может сравниться с числом неприятностей, принесенных Бальзаку покупкой Жарди. И можно сказать, что, хотя он там жил, мыслил и работал несколько лет, все же по-настоящему он там никогда не обосновался. Он скорее стоял там лагерем, нежели квартировал. Можно ли было всерьез назвать жилищем эту хижину с зелеными ставнями, в которой не было ни малейшего подобия комода и никогда не висело ничего похожего на занавески?

Подлинное жилье Бальзака в Жарди находилось за тем же забором, в двадцати — тридцати шагах от его дома, — более или менее сносное обиталище, куда по какой-то предосторожности он поместил некоторые вещи из своей старой мебели с улицы Батай и свою богатую библиотеку. <...>

В одной из этих низких комнат на первом этаже Бальзак имел обыкновение обедать и принимал нас за своим столом, который всегда был накрыт к шести часам; но к шести часам только для друзей, ибо сам он являлся иногда к десерту, а иногда и вовсе не являлся. Беспорядочность его жизненного уклада постоянно нарушала его пищеварение. Он пил только воду, ел мало мяса, но зато в большом количестве поглощал фрукты. Те, что подавались за его столом, всегда были отборные, на редкость вкусные. При виде

пирамиды из груш или превосходных персиков губы его трепетали, глаза загорались радостью, руки дрожали от нетерпения. Ни одного плода не оставалось, чтобы поведать об участии остальных. Он съедал все подчистую. Он был великолепен в своем плодовоовощном пантагрюэлизме — без воротничка, в расстегнутой рубашке, с фруктовым ножом в руке, который он вонзал в мякоть дуайенской груши, смеясь и — мне следовало бы сказать — болтая; но Бальзак мало говорил за столом. Он слушал болтовню других, от времени до времени беззвучно смеялся на манер дикарей из «Кожаного Чулка» либо взрывался громким хохотом, если словцо приходилось ему по душе. Словцо должно было быть соленым на его вкус, тут невозможно было хватить через край. Грудь у него вздымалась, плечи плясали, подбородок дрожал в приступе веселья. Проявлялась его добрая туренская закваска. Казалось, видишь самого Рабле на башне Телемской обители. Он таял от удовольствия, особенно при самых плоских и глупых каламбурах, внушенных вином, кстати, всегда восхитительным: у него за столом пили много, порою слишком много. Не хочу ни в кого бросать камень, но должен сказать, что не раз, уходя, замечал почтенных сотрапезников лежащими куда ниже уровня скатерти. Никогда не забуду знаменитого русского, который с полуночи до двух часов ночи плакал горькими слезами над печальной судьбой своего друга, осужденного до конца дней жить в Тобольске, в сибирской глуши. Он так растрогал нас этим своим другом, что мы все принялись плакать, сами не зная почему. Несчастный работал в рудниках, и чем больше мы пили, тем глубже зарывался он в недра земли. К двум часам ночи он так углубился в битум, серу, ртуть и платину, что мы перестали им заниматься. Спустя несколько дней Бальзак сообщил нам, что у него русское никогда не бывало друга в Тобольске; он сам в этом признался. Мы оказались жертвами рейнского вина и в какой-то мере его сообщниками. Впрочем, я видел, как вокруг этого стола кружили знаменитости всех видов, самые блистательные и самые мрачные: Малага, Серафита и Вотрен.

Среди замечательных людей, сменявших друг друга за обеденным столом в Жарди, я не забуду г-жу де Бокарме, которая все знала и умела на редкость интересно говорить обо всем на свете; она очаровала Бальзака своей волшебной эрудицией. Однажды вечером она описала мне Яву, где прожила сорок лет, — ибо этой восхитительной женщине тысяча двадцать три года, а выглядит она едва на три-

дцать! — описала мне Яву, ее памятники старины, ее чудовищ, ее роскошь и ужасные болезни, описала со знанием дела, с живой выразительностью, в таких точных и ярких красках, что этот вечер стал для меня одним из самых памятных и любопытных.

После обеда мы обыкновенно пили кофе на террасе; кофе Бальзака должен бы войти в поговорку. Не думайте, что кофе Вольтера мог оспаривать у него пальму первенства. Какой цвет! Какой аромат! Бальзак варил его самолично, во всяком случае, всегда руководил приготовлением — приготовлением мудреным, тонким, божественным, которое было для него как бы проявлением его гения. Этот кофе составлялся из зерен трех сортов: бурбонского, мартиники и мокко. Бурбонский он покупал на улице Монблан (Шоссе д'Антен), мартинику на улице Вьей-Одриетт, у бакалейщика, который, вероятно, еще не забыл знаменитого своего клиента, мокко — в Сен-Жерменском предместье, у бакалейщика на Университетской улице, — вот черт, позабыл его фамилию, хотя я раз-другой сопровождал Бальзака в его странствиях в поисках хорошего кофе. То были прогулки по всему Парижу, не меньше чем на полдня. Но хороший кофе и не такого стоит. Так вот, на мой вкус кофе Бальзака был самой лучшей и изысканнейшей штукой на свете... после его чая. Этот чай, тонкий, как латакийский табак, желтый, как венецианское золото, безусловно, оправдывал похвалы, коими сдабривал его Бальзак, прежде чем позволить вам его отведать; но поистине следовало подвергнуться своего рода посвящению, дабы удостоиться права на дегустацию. Он никогда не предоставлял такого права профанам; мне самому не каждый день доводилось пить этот чай. Бальзак лишь по большим праздникам вынимал его из камчадальской шкатулки, в которую он был заперт, как реликвия, медленно разворачивал обертку из шелковистой бумаги, испещренную иероглифами. И начинал, каждый раз с тем же удовольствием для себя и для нас, рассказывать историю этого знаменитого золотого чая. Он созревал под солнцем для одного лишь китайского императора, говорил Бальзак, мандарины самого высокого ранга обладали фамильной привилегией поливать и холить его кусты. Собирали его на рассвете юные девственницы и с песнями слагали к стопам императора. Только в одной из провинций Китая произрастает сей волшебный чай, и эта священная провинция доставляет всего несколько его ливров императорскому величеству и старшим сыновьям августейшего дома. В минуту щедрости китайский император

в виде особой милости послал караваном несколько щепоток этого чая русскому царю; и через министра этого самодержца, его посла во Францию, Бальзак получил чай, коим, в свою очередь, угощает нас. Последняя посылка, та, в которой содержался золотой чай, подаренный Бальзаку г-ном Гумбольдтом, едва не затерялась в пути. Она была окроплена человеческой кровью. Киргизы и ногайские татары напали на русский караван на обратном пути из Китая, и только после очень долгого и упорного сражения она достигла Москвы — пункта назначения. Как видите, это был некий чай аргонавтов. История экспедиции, которую мы здесь значительно сокращаем, на этом полностью не завершалась; она имела следующее поразительное продолжение, поистине поразительное! Бальзак утверждал, что если три раза напиться этого золотого чая, то окривеешь; если напиться шесть раз — ослепнешь; придется обращаться к врачам. Поэтому, когда Лоран-Жан готовился выпить чашечку этого чая, достойного самых волшебных страниц «Тысячи и одной ночи», он говаривал:

— Рискую глазом, наливайте!

Очень редко Бальзак проводил вечер с приглашенными в дом друзьями. Если его ждала неотложная работа, этого вообще не бывало. Сразу же после десерта он прощался с нами и отправлялся спать. Много раз летом, в семь часов, когда наступало чудесное вечернее время, он при мне покидал нас, озабоченно поднимался в свою спальню в Жарди и заставлял себя заснуть насильственным, неестественным, нездоровым сном, чтобы встать с постели в полночь и работать до утра. Такова была его жизнь, жизнь каторжная, ужасная, противная природе, полная убийственного напряжения! И, однако, я полагаю, что без такого напряжения писатель не в состоянии проложить столь глубокую борозду в каменистой горе, у подножия которой разverzается также и его могила.

Может быть, никто на свете не вел такого ночного существования, как Бальзак. Глубокая тишина в жизни людской и в природе давала ему необходимое спокойствие для создания прекрасных его произведений. Высокобортный корабль жаждет открытого моря и неизмеримых глубин. Он мыслил и внутренне сосредоточивался, гуляя по безмолвным лесам Виль-д'Авре и Версаля. Он сам рассказывал мне, что часто, прошагав всю ночь по лесам, равнинам, полям, сельским дорогам в халате и домашних туфлях, с непокрытой головой, утром вдруг замечал, что стоит на площади Карусели. Тогда он взбирался на империял вер-

сальского дилижанса и возвращался в Виль-д'Авре через Севр, позабыв уплатить кучеру по той простой причине, что выходил из Жарди без единого су в кармане. Никто не удивлялся такой небрежности: все кучера его знали, а он среди прочих оригинальных привычек имел обыкновение никогда не иметь при себе денег. Правда, и часов он никогда не носил. <...>

Однажды зимней ночью ему пришла самая странная из всех когда-либо возникавших у него мыслей: в полночь он вышел из Жарди и, не знаю уж как, добрался до улицы Наварен в Париже, к своему другу Лоран-Жану. Было около двух часов утра, когда он позвонил в дверь Лоран-Жана, который, отнюдь не готовый к такому сюрпризу, спал крепким сном. Бальзак звонит что есть сил, будит всех жильцов и наконец поднимает на ноги даже привратника, возмутившегося, как все привратники, что его побеспокоили среди самых сладких сновидений. «Чего вам надо? Кто там? К кому вы? Кто вы?» — Сквозь ливень таких вопросов и проклятий, изрыгаемых привратником, Бальзак прорывается в дремотную спальню своего друга. Тот, страшно перепуганный этим вторжением, протирая глаза, садится в постели.

— Это ты, Проспер?

— Это я, — отвечает Бальзак. — Вставай, мы уезжаем.

— Уезжаем?..

— Да, уезжаем... но вставай, я тебе все расскажу.

— Нет, раньше чем встать, я хочу узнать, куда ты собираешься меня везти?

— Ладно. Радуйся, мы сию же минуту едем к Моголам.

— Ты что, спятил?

— Мы мгновенно разбогатеем, будем богаты, как целая империя, как империя Великих Моголов.

— Но видишь ли, — робко возражает Лоран-Жан, — прежде чем паковать чемоданы, я хотел бы немного подробнее узнать, что мы будем делать у Великих Моголов в такое время суток.

— Поторапливайся! — восклицает Бальзак. — Пока ты мнешся, мы уже потеряли больше миллиона... время идет, а нам еще надо зайти за Гозланом...

— А, Гозлан тоже едет с нами к Моголам?

— Он поедет с нами; я хочу, чтобы он получил свою долю несметных сокровищ, которые ожидают нас у Моголов.

Лоран-Жан встал с постели, покорился необходимости сделаться стократным или двухсоткратным миллионером, оделся, весь дрожа от холода, и, одевшись, сказал Бальзаку, который топтался на месте от нетерпения:

— Но еще раз, что мы будем делать в империи Великих Моголов, если считать, что я согласен сопровождать тебя туда?

— Что мы там будем делать?

— Да, кажется, не лишний вопрос.

Бальзак взял Лоран-Жана за руку и таинственно подвел его к лампе.

— Взгляни на этот перстень.

— Ну, вижу; ему красная цена четыре су.

— Замолчи! Приглядишься получше.

— Ладно, ему цена шесть су, и хватит об этом.

— Так знай же, — продолжал Бальзак, — что этот перстень подарил мне в Вене знаменитый историк, господин фон Хаммер, во время последнего моего путешествия по Германии.

— И что же дальше?

— А дальше господин фон Хаммер улыбнулся и сказал мне: «Когда-нибудь вы узнаете всю значительность моего маленького вам подарка». Я носил перстень, не задумываясь над этими словами, я думал, что обладаю просто зеленым камнем, каких много...

— И что же?

— А то, что... во-первых, на этом камне выгравированы арабские письмена, эти письмена... Но не будем предвосхищать грандиозную неожиданность, которая обрушилась на меня вчера; я и прибежал к тебе поделиться ею, а потом мы поделимся и сокровищами... Итак, вчера на вечере у неаполитанского посла мне пришлось в голову осведомиться у посланника Оттоманской Порты о значении этих инкрустированных букв... Я показываю ему это кольцо... турецкий посланник, едва взглянув на него, испускает такой крик, что все общество пришло в волнение.

— Вы владеете, — говорит он, кланяясь до земли, — перстнем, происходящим от Пророка; его носил Пророк, и это имя Пророка. Перстень украли англичане в империи Великих Моголов сто лет тому назад, а затем продали одному немецкому принцу...

Тут я его прервал:

— Именно в Вене его и подарил мне господин фон Хаммер.

— Сейчас же отправляйтесь в империю Великих Моголов, — сказал посланник, — они предлагают тонны золота и алмазов тому, кто возвратит перстень Пророка, и вы вернетесь домой с тоннами целой грудой... — Можешь себе представить? Я так и подскочил! И вот я прибежал за тобой, милый Жан, чтобы мы вместе с Гозланом поехали возвратить Великим Моголам перстень Пророка, — они будут на седьмом небе. Едем! Тонны золота нас ожидают!

— И ради этого ты поднимаешь меня среди ночи? — отвечал Лоран-Жан.

— По-твоему, сумма недостаточная? — спросил, в свою очередь, Бальзак, который не понимал безразличия своего друга к феерической перспективе, открывшейся его взору благодаря магическому перстню.

— Я настаиваю на первом своем предложении, — сказал Жан, раздеваясь. — Хочешь четыре су за свой Пророков перстень?

Передать все жестокие слова, произнесенные Бальзаком по поводу скептицизма Лоран-Жана, — задача невыполнимая. В лютом и горьком гневе, придававшем ему сходство с разъяренным львом, он гремел и извергал проклятия на Лоран-Жана, но под конец, обессиленный яростью, растянулся на ковре в комнате своего ближайшего друга и проспал до утра, грезя о сокровищах Великих Моголов. Вот каким образом мы с Лоран-Жаном избежали длинного путешествия в империю Великих Моголов, которая ждет нас и поныне. С тех пор Бальзак лишь с большой осмотрительностью упоминал о перстне Пророка, и мы весьма редко видели этот перстень у него на пальце.

Эти мечты о миллионах, об империи Великих Моголов, эти разукрашенные алмазами грезы рождались в голове у Бальзака не без внешней причины. Если он метался под тяжестью этого ослепительного кошмара, то потому, что на грудь ему давило Жарди, а Жарди стоило дорого и не приносило ничего; впрочем, я оговорился, оно приносило Бальзаку заботы, борьбу, бесконечные судебные тяжбы, и по утрам мы иногда заставляли его зеленым, как листья его деревьев, — так он страдал в своем мучительном положении начинающего землевладельца. Я знаю стену, стену не более десяти метров длиною и не более двух метров в высоту, которая заслуживает некоторой известности даже после стен фиванской, троянской, стен Рима и знаменитой Китайской стены. Эта стена отделяла верхнюю часть земельных владений Бальзака — прошу обратить внимание, я говорю «верхнюю часть владений», а не «все владение», — от

верхней части владений соседа, не важно какого, все соседи одинаковы. Представьте себе две кровати, соприкасающиеся подушками, но посредине разделенные деревянными краями. Земельный участок Бальзака, и так расположенный выше, чем смежный, был еще искусственно им приподнят на несколько футов; все эти возвышения в конце концов потребовали опорной стены, которая помешала бы лишней земле падать на поле соседа. Таково происхождение исторической стены в Жарди; рассказать о том, как она обваливалась, значит рассказать о мучениях Бальзака. Едва воздвигнутая, стена рухнула, рассыпая известь и камни в обе стороны — на поле Бальзака и на поле соседа. Бальзак вздохнул и велел восстановить свою стену. Запрошенные специалисты пришли к выводу, что был неправильно сделан скат; надо увеличить угол сопротивления, и стена больше падать не будет. Через месяц стена была перестроена в нужном виде; все уже начали радоваться... наутро пошел дождь; вечером... вечером мы играли в домино в комнате, расположенной на галерее дома; кто-то стучится, сейчас же отворяем окно.

— Господин де Бальзак дома?

— В чем дело?

— Ваша стена ушла к соседу!

— Не может быть!

— Вся как есть!

Берем подсвечники и направляемся к месту зловещего происшествия. Зрелище представилось великолепное. Стена целиком, опрокинувшись на своем основании, лежала во всю длину на участке соседа. Несколько минут мы созерцали катастрофу. Назавтра она усугубилась для Бальзака грудой гербовой бумаги, протоколов, предписаний, судебных повесток и так далее. На сей раз при своем падении стена раздавила брюкву, покалечила морковь, контузила пастернак; один бог знает, сколько стоили несколько грядок дрянных овощей, умерших такую насильственной смертью! Только смерть человека может во Франции уравновесить смерть яблони или грушевого дерева. Боятся, как бы не умалилось почтение к собственности! Я всегда боялся обратного. Но оставим это. Надо было в третий раз поднять стену на ее хилые ноги. Призвали для совета других архитекторов, дабы узнать, какие надо принять решительные меры против эпилепсии этой стены.

— Угол сопротивления достаточен, — сказали о н и , — но для основания стены нужны кирпич и надежный цемент, надо полечить ее кирпичом.

— Полечим ее кирпичом, — прошептал Бальзак, возведя к небу великолепные черные глаза, в которых светился его юмор и его гений.

Итак, было решено, что больную стену будут лечить кирпичом. Ее так хорошо лечили, что счета архитекторов жирели на глазах. Они тоже лечились кирпичом! Я заставил эту троянскую стену три раза падать и трижды подниматься на глазах у читателя; но, по совести, могу утверждать, что она опрокидывалась и водворялась на место более пяти раз. Война утомляет, Бальзак в конце концов откупил у соседа кусок земли, на который так нравилось укладываться его стене, и с гордостью говорил:

— Это дорого, но все равно приятнее падать у себя дома; моя бедная стена по крайней мере сможет умереть в своей постели. <...>

Как-то в эти дни, столь утомительные для его тела и души, Бальзак остановил меня на бульваре Капуцинок и удрученно сказал:

— Милый друг, я умираю от голода; уже три часа, я иду с репетиции, и у меня с самого утра крошки во рту не было; пойдемте поедим.

— Но я не голоден и, слава богу, не иду ни с какой репетиции!

— Все равно, мне нужны именно вы. Пойдемте, составьте мне компанию!

— В таком случае, повернем обратно и зайдем в «Кафе де Пари».

— Только не в «Кафе де Пари», — завтракать сейчас уже поздно, а обедать рано; в другое место!

— Куда же вы хотите пойти?

— Следуйте за мной, я знаю одно местечко, которое недавно открыл. Великолепный кондитер, увидите. Вы ели когда-либо пирожные с рисом?

— Довольно нелепо, по-моему.

— Как раз это я и собирался вам сказать; но приходилось ли вам есть пирожки с макаронами?

— Однако...

— Не приходилось. Пошли.

— А это далеко?

— На улице Руаяль.

И, взяв меня свободной рукой под локоть — в другой он нес какие-то четыре тома, — он потащил меня, подгоняемый голодом, на улицу Руаяль, к открытому им знаменито-

му кондитеру, который, как мне думается, и ныне пребывает на том же месте. Мы вошли.

— Пирожков с макаронами! — закричал Бальзак. — Берем все, сколько есть.

— Вот, пожалуйста, господа, — сказала продавщица, юная англичанка, вытаскивая из блестящей медной печки железный противень.

Бальзак положил книги на стол, я был уверен, что он сейчас же со звериной жадностью набросится на пирожки.

— Вы знаете, что это за книги? — спросил он меня.

— Нет, любезный мой Бальзак.

При имени Бальзака юная англичанка, обслуживавшая нас, замерла на месте, не отвечая на требования других покупателей; у нее перехватило дыхание, она расцветала на глазах, словно роза под лучами восходящего солнца. Чары подействовали мгновенно.

— Это, — продолжал Бальзак, — последнее произведение Купера — «Озеро Онтарио», прекрасное, великое произведение, необыкновенно интересное. Он обязан был дать нам этот шедевр после двух или трех последних его расчудений; вы это прочтаете. Я не знаю никого на свете, кроме Вальтера Скотта, кто поднялся бы до такого величия и такой ясности колорита. Если бы Купер столь же преуспел в обрисовке характеров, как в описании явлений природы, он сказал бы последнее слово в нашем искусстве; к сожалению...

— К сожалению, вы не едите, — прервал я Бальзака.

— Вы правы.

И, прохаживаясь взад-вперед по лавке, смеясь и расхваливая Купера, он в три-четыре глотка, достойных Гаргантюа, уничтожил два пирожка с макаронами, потом два других, к великому изумлению юной англичанки, остолбеневшей при виде такой прожорливости человека, который, вероятно, по ее представлению, должен был питаться воздухом, цветами и благовониями; но это не помешало ей пребывать все в том же экстазе.

— Если вам так нравятся подобного рода романы, — снова заговорил я, протягивая Бальзаку стакан воды (вина он, как известно, не пил), — почему бы вам самому не написать книгу, где действие происходило бы на берегу озера, как в последнем романе Купера?

— А откуда же я, черт побери, возьму озеро? У нас есть только пруды и лужи. Энгленское озеро, что ли?

— Вы знакомы со многими путешественниками, расспросите их, когда они будут навещать вас в Жарди.

Я знаю, что по большей части они — как сахарный тростник: очень длинно, очень вязко и очень запутанно. Но в конце концов из тростника под давлением извлекают сахар и ром.

— Ох, друг мой, — возразил Бальзак, поднося к губам стакан воды, — *если бы вы знали, как люди ничего не знают!* Нужно вам доказательство этой ужасной истины? Вот оно.

И, поглощая все новые пирожки с макаронами, он продолжал так:

— Когда я задумал написать «Лилию в долине», я, подобно Куперу, хотел отвести значительное место в книге пейзажу. Проникнувшись такой идеей, я как пантеист-язычник погрузился в природу. Я стал деревом, ручьем, звездой, фонтаном, светом. А поскольку наука — это добрая опора во всех случаях жизни, я пожелал узнать названия всей кучи растений, коими собирался засеять свои описания. Итак, первой моей заботой было узнать названия трав, тех, что мы топчем на краю деревенских дорог, на лугах и вообще повсюду. Я адресовался к своему садовнику.

— Ах, сударь, ничего нет проще, как научиться этому, — отвечал он.

— Ну так скажи мне, если это так просто.

— Это люцерна, это клевер, это эспарцет, а вот это...

Я остановил его:

— Нет, нет, нет! Я тебя спрашиваю, как ты называешь вот эти тысячи мелких травок, которые мы топчем, которые я рву, смотри!

— Ну, сударь, это просто трава!

— А как же называются эти мириады травинок — длинных, коротких, прямых, склоненных, мягких, колючих, шершавых, бархатистых, влажных, сухих, темно-зеленых или бледно-зеленых?

— Так я же вам говорю: трава!

И больше ничего я от него не смог добиться, никакого определения, кроме «это трава». Назавтра пришел ко мне в гости один приятель, как раз из тех путешественников, о которых вы только что говорили, и я спросил у него приблизительно то же, что и у старого садовника.

— Вы ботаник и много путешествовали; знаете ли вы эти травинки, которые растут везде под ногами?

— Еще бы! — отвечал он.

— Тогда скажите мне названия вот этих. — Я вырвал пучок травы и положил ему на ладонь.

С минуту он ее разглядывал, а потом сказал:

— Дело в том... видите ли, что я досконально знаю только флору Малабара... Если бы мы находились в Индии, я без колебаний сообщил бы вам названия этих тысяч и тысяч маленьких растений, но здесь...

— Но здесь вы так же невежественны, как и я.

— Признаюсь, — сказал мой приятель.

— Ну и дело с концом! — воскликнул я.

Разъяренный, я назавтра побежал в Ботанический сад. Я обратился к одному из самых ученых профессоров этого учреждения.

— Ох, господин де Бальзак, — сказал мне знаменитый натуралист, — чего вы от меня требуете? Мы много занимаемся лиственницами и не менее интересными тамарисками, но всей нашей жизни не хватило бы, если бы нам надо было опуститься до этих незначительных былинки. Это дело продавцов салата. Шутки в сторону, — добавил он, — где будет происходить действие вашего романа?

— В Турени.

— Так вот, первый встречный крестьянин в Турени научит вас тому, чему не в состоянии научить здесь ни один профессор.

И я отправился в Турень, где обнаружил крестьян столь же невежественных, как мой садовник, но не более невежественных, нежели профессор из Ботанического сада. И, таким образом, когда я принялся за «Лилию в долине», я не смог с точностью описать тот ковер зелени, который я с таким наслаждением вырисовывал бы былинку за былинкой, по примеру столь зорких и терпеливых фламандцев. А теперь вы советуете мне рассчитывать на путешественников, чтобы раздобыть необходимые краски для описания озера! Покоримся судьбе и не будем ругать (особенно громко) остроумного аббата Верто за то, что он сказал: «Моя осада уже кончена». Он гораздо лучше вообразил эту осаду, чем ее описали бы ему другие люди. Но только не все можно вообразить.

— Сколько я вам должен? — обратился затем Бальзак к девице с пирожками.

— Нисколько, господин де Бальзак, — отвечала та с оттенком гордости и решимости, исключавшим всякие пререкания.

Бальзак взглянул на меня. «Что делать?» — казалось, спрашивал он, но в тот же миг сам нашел должный ответ на ее деликатный отказ. Он протянул юной англичанке роман Купера, сказав при этом:

— Никогда я так не жалел, мадемуазель, что не я автор этого произведения.

И он оставил роман в руках оторопевшей от неожиданности наивной своей почитательницы. <...>

Однажды в июне 1840 года я получил из Жарди записочку от Бальзака, в которой он просил меня быть назавтра в три часа на Елисейских полях, между Конями Марли и Посольской кофейней. Он особенно рассчитывает на мою точность, — добавлял Бальзак, — ибо хочет просить меня о важной услуге. Как всегда бывает в подобных случаях, я ломал себе голову над вопросом, какой услуги он от меня ожидает, дабы заранее устранить затруднения, кои могли бы воспрепятствовать моему желанию и готовности быть ему полезным.

Но мои догадки ни к чему определенному не привели. Пришлось в неизвестности ожидать завтрашнего дня. Погода для такого времени года стояла ужасная, впрочем, весна в Париже всегда ужасна. Когда в три часа я вступил на Елисейские поля, небо хмурилось, дул осенний ветер с дождем, сбивая с деревьев листья; ноги скользили по мокрой земле, было холодно, как в феврале или марте; в аллеях — ни души, экипажи редки. И вот я прогуливаюсь между Конями Марли и Посольской кофейней в ожидании Бальзака. Он не долго испытывал мое терпение. Не прошло и двух минут после того, как на Тюильрийских часах пробило три, и я увидел Бальзака, шествовавшего со стороны заставы Звезды тяжелым и быстрым шагом, характерным для его слоновьей походки. Поравнявшись со мною, он разразился потоком слов, рассказывая, что только что вышел от г-жи де Жирарден, где чуть не замерз до смерти. Действительно, он был зеленоватый, как утопленник, и дрожал с головы до ног.

— Уму непостижимо, — говорил он, — как женщина, превосходная во всех отношениях, женщина с умом и сердцем, такая, как госпожа де Жирарден, согласилась поселиться в совершенно невозможном жилище под нашим мерзким небом; жить в храме, когда ты не бог! То есть не можешь в силу своей божественной природы уберечься от ревматизма и флюса; жить в храме с портиком, ионическими колоннами, мозаичным полом, мраморной облицовкой, алебастровыми карнизами и прочими греческими прикрасами на сорок восьмом градусе и пятидесяти минутах северной широты! И под тем предлогом, что стоит уже

июнь, ни одной головешки в камине! Впрочем, чтобы отопить такой монумент, не хватило бы всего Додонского леса, распиленного на поленья. Это все равно что принимать друзей на Ледяном озере в Швейцарии. Так что, когда госпожа де Жирарден, увидев, что я встаю, сказала: «Вы нас покидаете, де Бальзак? Уже?» — я не удержался и ответил: «Да, сударыня, я иду на улицу, немного согреться». Но оставим это. Мне нужно с вами поговорить; ускорим шаг, чтобы восстановить кровообращение, и послушайте меня. Я только что написал для первого номера «Ревю паризьен» маленький роман, которым я, в общем, доволен; я его на днях вам прочитаю, как только разыщу... дело в том, что я его еще не разыскал, мы поищем вместе. Но сперва я должен вам сказать, каков главный персонаж, выражаясь точнее, каков единственный персонаж этой маленькой поэмы нравов — прискорбных нравов нашей социальной эпохи, таких, какими сделала их политика за последние десять лет.

Тут Бальзак обрисовал широкими, скульптурно четкими штрихами фигуру этого персонажа, слишком крупную, по моему разумению, для узорчатой рамки новеллы, но, вероятно, по замыслу Бальзака фигуре этой впоследствии предстояло выйти на широкий простор романа. Затем он рассказал мне жизнь этого сотворенного им персонажа в самых интимных подробностях. То была беспокойная жизнь талантливого человека, эксплуатируемого людьми, обладающими лишь талантом честолюбия и интриганства, который, каждый раз как ему удастся водворить одного из них во дворец, возвращается на свой чердак, где изнывает от голода и нищеты; после многих несчастий он наконец умирает, раздавленный не столько нищетой и голодом, сколько тяжким грузом разочарования.

— Вот в чем вы должны мне помочь, — продолжал Бальзак. — Для такого человека, человека столь необычайного, мне требуется имя, соответственное его судьбе, имя, которое его объясняло бы, обрисовывало, представляло, как представляется издали пушка, говоря: «Я называюсь пушка», имя, слепленное только для него, такое, которое невозможно было бы применить ни к кому иному. Так вот, это имя не приходит мне в голову — я пробовал все мыслимые звуковые комбинации, но пока безуспешно. На свете столько глупых имен! Но дело не в том, что я боюсь окрестить моего малого глупым именем, тут бояться нечего; я опасюсь — а это, пожалуй, хуже, чем глупое имя, — я опасюсь, что имя не будет так же плотно пригнано

к персонажу, как зуб к десне, волос к луковице, ноготь к пальцу. Понимаете?

— Понимаю, но не согласен.

— Как, вы не согласны?!.

— Нет.

— Как, вы не согласны, что есть имена, которые напоминают диадему, шпагу, каску, цветок?..

— Нет!

— Которые окутывают и раскрывают великого поэта, сатирический ум, глубокого философа, знаменитого художника?

— Нет, нет! Я скорее согласился бы с обратным. Например, Расин!..

— Вот-вот, Расин! Я как раз собирался его упомянуть. Разве это имя не рисует нежного, гармоничного поэта?

— Признаться, это имя вызывает во мне только мысль о ботанике либо аптекаре, но ни в коем случае не о нежном и патетическом поэте.

— А Корнель? Корнель!

— Корнель приводит мне на ум довольно невзрачную птицу.

— Но Буало? Имя Буало?

— Напоминает неграмотный каламбур.

— А великий Паскаль?

— Так зовут три тысячи привратников в квартале Марэ. Поверьте, все эти имена кажутся вам блистательными, величественными, возвышенными только потому, что их носили люди высокого ума.

— Не думаю, — возразил Бальзак со своим обычным упрямством и ужасно раздосадованный. — Прежде чем получить имя здесь, на земле, человек получает его в небесах. Это тайна, которую невозможно понять, применяя жалкую логику наших жалких рассуждений. К тому же я не единственный, кто верит в чудесную связь между именем и человеком, носящим его, словно божественный либо адский талисман, то ли для того, чтобы осветить свой путь по земле, то ли для того, чтобы поджечь эту землю. Серьезные умы всегда так считали, и — редкий случай! — толпа в этом вопросе согласна с мыслителями; этим все сказано, верят все.

— Кроме меня. Но не будем задерживаться столь долго на моих личных сомнениях. Вы сказали, что хотите, чтобы мы вместе поискали многозначительное, определяющее и разъясняющее имя для вашего персонажа, имя, которое соответствует...

— Соответствует всему! Его лицу, фигуре, голосу, его прошлому и будущему, его таланту, его вкусам, его страстям, его несчастиям и славе. Есть у вас такое имя?

— Нет.

— А я совершенно истощен шестью месяцами работы, я уже перебрал в голове больше имен, нежели содержится в Королевском альманахе, и заявляю, что решительно неспособен найти нужное имя, особенно при предлагаемых условиях.

— Ну что ж, оставим это имя в покое.

— Невозможно! Я уже пытался, разве я вам не говорил? Впрочем, после тысячи мучительных попыток я пришел к убеждению, что имя нельзя сделать, как нельзя сделать гранит, шпат, каменный уголь и мрамор. Это творение времени, революций, уж не знаю чего. Оно возникает само по себе. Имя нельзя создать, как нельзя создать язык. Скажите на милость, кто когда-нибудь создал язык?

— Значит, у нас есть только единственная возможность — обнаружить это имя.

— Совершенно верно.

— Если оно существует...

— Оно существует, — торжественно заявил Бальзак.

— В таком случае, где же можно его обнаружить?

— В этом-то и состоит вопрос, потому я и призвал вас на помощь.

Поразмыслив несколько минут, я сказал Бальзаку:

— Хотите употребить средство, которым я часто пользуюсь, когда попадаю в такое же затруднение, как и вы, хотя и не исповедую столь истово религию слова?

— А какое вы употребляете средство?

— Я читаю вывески.

— Читаете вывески?!

— Да. Потому что на вывесках можно прочитать самые выпренные и самые нелепые имена, которые выражают вещи наиболее странные и противоположные, разумеется, вашей системе; одни скрывают под своей оболочкой дурные инстинкты, у других из всех пор сочтется мускус честности и добродетели; при виде одних бурно колотится сердце водевильстов, и они дают эти имена своим комическим персонажам, другие переходят с деревянной вывески в театр «Гетэ» или «Амбигю» и становятся именами разбойников. Обычно это имена торговцев свечами и кондитеров.

— Однако, — возразил Бальзак, — так можно прочитать две-три сотни вывесок, прежде чем встретишь нужное имя...

— Или вообще его не встретишь. Попробуем?

— Попробуем!

Моя затея улыбнулась Бальзаку; мог ли я предвидеть, куда это меня заведет?

— Попробуем, — повторил Бальзак. — С чего мы начнем?

— Начнем с того места, на котором стоим. Начнем отсюда, — сказала.

Мы как раз выходили из двора Лувра на улицу Кок-Сент-Оноре, которая — излишне говорить — не была тогда столь широкой и солидной, как ныне, но зато была вдвое длинней и от мостовой до крыш облеплена вывесками совершенно так же, как египетская мумия окутана бинтами.

— Начнем отсюда, — повторил Бальзак.

Как и следовало ожидать, первые наши шаги оказались безуспешными. Имен было много, но имен без особой физиономии, особенно такой, какая требовалась Бальзаку для его персонажа. Он смотрел с одной стороны, я с другой, мы двинулись, задрал нос, не глядя под ноги и наталкиваясь на прохожих, которые принимали нас за слепых. Мы прошли до конца улицы Кок, а потом где мы только не бродили все так же безуспешно! По улице Сент-Оноре до Пале-Руаяля, по всем улицам, прилегающим к саду, по улице Вивьен, по Биржевой площади, улице Нев-Вивьен, бульвару Монмартр.

На углу улицы Монмартр, усталый, измученный, до тошноты начитавшийся вывесок и, кроме того, напуганный тем, что Бальзак не принимает ни одного имени из указанных мною как пригодные, я отказался идти дальше. Я взбунтовался.

— Вечная история: Христофор Колумб, покинутый своим экипажем, — молвил Бальзак, уставившись со страдальческим видом на новые ряды неисследованных вывесок. — Ну что ж! Я один достигну берегов Америки. Уходите!

— Но вы окружены Американами и не хотите высадиться ни на одну из них. Вы отвергаете все имена. Вот превосходные имена немецких старьевщиков, вестфальских башмачников и сотни других имен, необыкновенно выразительных. А вы без конца отказываетесь. Вы хотите невозможного. У этой Америки никогда не будет своего Христофора Колумба.

— Я знаю, усталость столь же несправедлива, как и гнев, — возразил Бальзак. — Ну-ка, обопритесь о мою руку и дойдем до церкви святого Евстахия. Это те три дня, которых Колумб добился от своей команды.

— Но только до святого Евстахия!

— Ладно!

Мы продолжали свой инспекционный обход.

Церковь св. Евстахия, как мне следовало бы догадаться, была для Бальзака только предлогом, чтобы заставить меня измерить взглядом во всю длину и высоту улицы Майль, Клери, Кабран, Фоссе-Монмартр и площадь Побед — последняя была испещрена великолепными эльзасскими именами, отдающими Рейном.

Посреди этого музея имен я заявил Бальзаку, что, если он немедленно не произведет выбор, я с ним прощаюсь.

— Только до улицы Булуа, — настоятельно просил Бальзак, стискивая мне обе руки. — Не отказывайтесь от улицы Булуа. Какой-то внутренний голос говорит мне, что в конце концов мы обнаружим...

— Согласен до улицы Булуа!

— Слава богу! — воскликнул Бальзак, — Проникнем на улицу Булуа. А потом возвратимся в Жарди, где нас ждет обед.

Улица Булуа, по примеру некоторых других улиц, имеет три названия — ужасное излишество, делающее топографию Парижа такой затруднительной для иностранцев. Она называется, во-первых, улицей Булуа, во-вторых, улицей Кок-Герон, наконец, улицей Жюсьен. И вот на последнем отрезке этой улицы (не забуду этого до конца моих дней!) Бальзак взглянул вверх маленькой, слабо обозначенной на стене двери, узкой, продолговатой, ветхой, выходящей в темный и сырой проход, внезапно изменился в лице, вздрогнул так, что моя рука, подсунутая под его локоть, ощутила толчок, и закричал:

— Вот оно!.. Вот!.. Вот!.. Читайте! Читайте! Читайте! — Голос его прерывался от волнения.

И я прочитал: МАРКАС!

— Маркас!!! Ну, что скажете? Маркас! Какое имя! Маркас!

— Не вижу в этом имени ничего особенного...

— Молчите!.. Маркас!

— Однако...

— Говорю вам, замолчите. Это всем именам имя! Незачем искать никакого другого. Маркас!

— Ну что ж, я ничего лучшего и не желаю!

— Победа! Останавливаемся на этом: Маркас! Моего героя будут звать Маркас. В Маркасе заключен и философ, и писатель, и выдающийся политик, и непризнанный поэт, в Маркасе заключено все!

— В час добрый!

— И не сомневайтесь!

— Но если, по вашему мнению, имя Маркас гласит обо всем, что вы только что сказали, тот, кто носит его в действительности, должен тоже обладать выдающимися достоинствами. Давайте узнаем, кто он на самом деле. Ведь его профессия на вывеске не указана.

— Он, должно быть, человек, причастный к искусству, причем искусству высокому, будьте уверены!

Я покачал головой.

Пренебрегая моими сомнениями, Бальзак продолжал:

— Маркас, я назову его «З. Маркас», чтобы прибавить к его имени пламя, султан, звезду: З. Маркас наверняка большой художник, гравер, чеканщик, ювелир, как Бенвенуто Челлини.

— Вы далеко заходите!

— С таким именем невозможно зайти слишком далеко.

— А это мы сейчас узнаем. Бегу к привратнику осведомиться о профессии господина З. Маркаса.

— Да-да, идите.

Я не обнаружил привратника в доме, перед которым оставил впавшего в экстаз Бальзака. Наконец мне удалось найти некое его подобие и узнать от него профессию Маркаса.

— Портной! — крикнул я Бальзаку издали.

— Портной?

Бальзак опустил голову... но тут же гордо поднял ее.

— Он заслуживал лучшей участи, — вскричал он. — Но не важно! Я сделаю его бессмертным. Это уж моя забота.

Этот бессмертный портной жив до сих пор. Он все еще портняжит в окрестностях Банка под тем же именем Маркас, которое каждый желающий может прочесть над его красивой лавкой.

В тот же вечер после обеда в Жарди, который Мы проглотили с аппетитом, вполне понятным у людей, прочитавших две или три тысячи вывесок, Бальзак написал для «Ревю паризьен» и затем поместил перед новеллой, озаглавленной «З. Маркас», целое исследование об этом имени, вошедшем в историю. <...>

Я никогда не простил бы себе, ежели бы в этих воспоминаниях о прошедшем, которое помимо моей воли все более затягивается на горизонте густым туманом, опустил бы посещение Жарди Виктором Гюго, — кажется, единствен-

ное его посещение. Невзирая на безразличие Бальзака к писателям его времени, чему имеется немало доказательств, он явно желал принять в своем доме соперника по славе и даже был горд такой возможностью. Встреча эта уже сама по себе имеет большое значение, ибо между обоими выдающимися умами ни прежде, да, могу сказать, и никогда потом не возникало живого, близкого общения ни по какой линии. Бальзак, как я уже говорил, выказывал напускное уважение к поэзии вообще, но не питал особой благосклонности к пышной цветистой прозе, к широким, живописным мазкам в неистовой манере Рубенса. Сам мастер пунктирной гравюры, он скорее тяготел к прозе мелкорубленной, уложенной с фламандской бережливостью, холодноватой, граненой, передающей реальность, разумеется, но передающей ее как алмазный порошок, а не как цельный алмаз. Выказывая восхищение живописными полотнами «Собора Парижской богородицы», даже приходя в экстаз перед ними, он втайне отдавал предпочтение тонкой, истолченной, как стекло, прозе Стендаля — образцу, в его глазах, всякой прозы после его собственной. Он выразил бы самый бурный восторг перед венецианской школой, но для своего кабинета — можете быть уверены — купил бы только картины Меериса, Тенирса и Ван Остаде. Более того, если Бальзак всего два-три раза писал о Викторе Гюго в «Ревю паризьен», то Виктор Гюго, со своей стороны, кажется, вообще никогда не упоминал имени Бальзака. Я не могу припомнить в его произведениях ни одной страницы, на которой выделялось бы это имя, — странная, весьма странная отчужденность, наблюдавшаяся не только между этими двумя великими властителями умов, но и между многими иными писателями — их современниками. Так что через столетие, перечитывая писателей этой поры, люди будут недоумевать, неужели все они жили в одно время и в одном и том же месте? XVI, XVII и даже XVIII век, когда на первый план выступила личность, представляли взору более тесное литературное содружество. Это была единая семья. Конечно, и ее нередко будоражили и раздирали обычное соперничество, ожесточенная зависть, закоренелая злоба, ибо то была семья, но в конечном счете общность выстаивала в сражениях и брала верх над распрями. В наши дни литераторы уже не испытывают взаимной ненависти, не вцепляются друг другу в глотку — у нас просто не знают друг с другом. Лучше ли это?

Вследствие какого-то происшествия на Версальской железной дороге Виктору Гюго, чтобы попасть в Жарди,

пришлось нанять экипаж в Сен-Клу, и он немного запоздал. Бальзак был как на иголках. От беспокойства он места себе не находил. Много раз посылал он поглядеть, не показался ли кто-нибудь в маленьком переулке. Сам он ходил от террасы к садовой решетке и обратно, задрав голову и подпирая ладонью беспокойный нос, как всегда делал в минуты сильной озабоченности. Наконец задребезжал звонок у калитки. То был Виктор Гюго. Бальзак, просветлев, поспешил ему навстречу и в выражениях, полных учтивости, горячо поблагодарил за оказанную ему исключительную честь — посещение его скромной сельской хижины. Последовали дружеские рукопожатия. В этой непринужденности было свое величие. Однако тут может заработать воображение читателя, и я посоветовал бы ему держаться в границах, ежели когда-нибудь он захочет на основании моего (уверяю вас, весьма достоверного) свидетельства воспроизвести встречу двух знаменитостей под легкой сенью сада Жарди. Пусть не приписывает он обоим литературным владыкам слишком пышных одеяний. Бальзак был в живописных обносках. Панталоны без подтяжек сползали из-под длинного жилета, какие носили тогда финансисты; стоптанные башмаки сваливались с ног; узел галстука сбился на сторону, и его концы торчали возле уха; на лице четырехдневная щетина. Что касается Виктора Гюго, то на нем была серая шляпа довольно подозрительного оттенка, вылинявший сюртук с золотыми пуговицами, по цвету и форме смахивавший на кастрюлю, черный потертый галстук, и все это завершалось зелеными очками, какие очастливили бы любого клерка из конторы сельского ростовщика, врага солнечного света.

Пока торопились с завтраком, Бальзак предложил гостю прогуляться по извилистым дорожкам своих владений. И мы втроем предприняли опасный спуск, последний марш которого (на случай весьма вероятного падения) представляла сама дорога в Виль-д'Авре.

Вопреки моему ожиданию, Виктор Гюго оказался весьма скуп на похвалы владениям Бальзака: напрасно тот уверял, что об этом имении много говорится в «Мемуарах» Сен-Симона, — восторгов не последовало. Гюго проявил вежливость по отношению к левкоям, но тем дело и кончилось. Я видел, что он с трудом удерживается от смеха по поводу странной идеи Бальзака залить асфальтом узкие аллеи, симметрично проложенные по опасным склонам его сада, словно для того, чтобы придать им вид маленького бульвара самого отменного вкуса. Все же ему представился

случай исполнить долг учтивости по отношению к хозяину, и он остановился в восхищении перед прекрасным орехом, происхождению которого мы посвятим несколько давно обещанных строк.

— Наконец-то! Вот это дерево! — произнес Виктор Гюго, донныне видевший лишь более или менее хилые кустарники, посаженные вдоль битумных дорожек.

При одобрительном восклицании гостя Бальзак расцвел от удовольствия.

— Да к тому же и замечательное дерево! — подхватил он. — Я приобрел его недавно у местной общины. Знаете ли, какие плоды оно приносит?

— Поскольку это орех, — отозвался Виктор Гюго, — я полагаю, что оно должно приносить орехи.

— Не угадали. Оно приносит тысячу пятьсот ливров в год.

— Орехов.

— Нет, не орехов. Оно приносит тысячу пятьсот франков.

«Ну вот, начинается», — подумал я.

— Тысячу пятьсот франков деньгами, — повторил Бальзак.

— Значит, это заколдованные орехи, — сказал Виктор Гюго.

— Почти. Но тут требуется маленькое разъяснение, разъяснение, без коего вам, признаться, было бы весьма трудно понять, каким образом один орех, одно-единственное дерево может приносить тысячу пятьсот франков дохода.

Мы ждали разъяснения.

— Вот в чем дело, — снова начал Бальзак. — Этот чудесный орех принадлежал общине. Я купил его у общины по очень высокой цене. Зачем? А вот зачем. Древний обычай обязывает окрестное население сносить все нечистоты к подножию этого дерева и ни в какое иное место.

Гюго попятился.

— Успокойтесь, — сказал ему Бальзак. — Стех пор как я купил это дерево, оно еще не выполняло своего назначения. Продолжаю. — И он действительно продолжал: — Ни один житель не имеет права уклониться от этой личной обязанности, пережитка старого феодального обычая. Так судите же сами! Судите, какое количество богатейшего удобрения может ежедневно скапливаться у этого Веспасианова древа — общинного удобрения, которое я прикажу прикрыть соломой и другими растительными отбросами,

дабы всегда иметь под рукой целую кучу для продажи всем фермерам, виноградарям, огородникам, всем окрестным крупным и мелким собственникам. Это у меня золото в слитках, короче, это гуано! Гуано, какое мириады птиц откладывают на пустынных островах Тихого океана.

— Ах, т а к , — отозвался со своей олимпийской невозмутимостью Виктор Гюго. — Вы верно говорите, дорогой Бальзак, это гуано, только гуано без птиц.

— Без птиц! — вскричал Бальзак, сотрясая хохотом всю толщу своего монашеского подборodka, радуясь определению, которое дал Виктор Гюго великолепному удобрению и беспримерному источнику дохода в тысячу пятьсот франков.

Зазвонил колокол к завтраку.

Во время еды мы бегло касались то одной, то другой темы. Думаю, читатель не удивится, если я скажу, что главное место в разговоре принадлежало литературе. Как искусственный хозяин дома владелец Жарди предоставил слово знаменитому своему гостю, а всякому известно, каким тот владел размеренным и вместе с тем цветистым слогом, какую умел выказывать точность и широту ума для вящего очарования слушателей. Завладев разговором, он среди прочих тем коснулся темы театра, всегда интересной, особенно же интересной для Бальзака, в чьих восторженных глазах театры всю жизнь были землей обетованной; Виктор Гюго провел его через пещеры и разбойничьи засады, грозящие драматургу, а затем внезапно открыл ему несколько неоспоримых преимуществ театральной деятельности. Я уверен, что до этой минуты Бальзак не имел достаточно ясного представления о том, что называют авторским правом. Открытие ослепило его: зрелище залитых солнцем алмазных копей, внезапно разверзшихся перед ним, привело его в такое смятение, что у него потемнело в глазах. Он, чьи строки с таким трудом выходили из-под кончика строптивного пера, чтобы приносить сперва сантимы (ибо в газетах слава исчисляется в сантимах), затем, ценою потоков пролитого пота, десимы и наконец, когда он уже вопил от невыносимых страданий, франки, слушал с блаженством мученика, внимающего ангелу, об огромных барышах, приносимых Гюго его великолепными драмами. Барыши, собираемые в Париже, барыши в провинции, столько-то за три акта, столько-то за пять; а потом возобновление на сцене, а потом премиальные, а потом билеты, да мало ли еще что? Иногда вечера, приносящие по четыреста франков! И все это, все это серебро, это золото

сыплется на тебя, в то время как ты гуляешь, более того, пока ты спишь, гредишь, и ноги у тебя тепло укутаны, а голова спокойно лежит на подушке. У Бальзака перехватило дыхание: не то чтобы его уж так сильно, сверх разумной меры взволновал вопрос выгоды, но заработок, огромный заработок, получаемый без утомления тела и ума, — такая возможность уносила его на седьмое небо. Я уверен, что столь красноречивое описание финансовых преимуществ, связанных с драматургией, это описание, сделанное Виктором Гюго с вкрадчивостью папаши Гранде и прямою первою клерка Счетной палаты, сыграло немалую роль в том яростном стремлении к театру, коим был охвачен Бальзак и кое не оставляло его до конца жизни. В последующие дни он постоянно пересказывал мне бесчисленные сюжеты комических либо серьезных пьес, которые следует как можно скорее воплотить на сцене. Видимо, этому солнечному удару суждено было долго горячить его мозг. Кроме меня и другие выслушивали доверительные признания по поводу этого нового пристрастия к театру, охватившего его столь легко воспламеняющуюся душу; но, в конечном счете, из этого драматического пожара, разгоревшегося, по моему мнению, по причине вышеописанного завтрака, не вышло, как известно, ничего достаточно серьезного.

Беседа сама собою склонилась к разговору о преступном и чуть ли не преднамеренном безразличии Тюильрийского дворца к литературе и писателям, даже самым известным, тем, кто после 1830 года, повинувшись духу новой школы, оживил форму и мысль в книгах и в театре. Бальзак с горечью спросил Виктора Гюго, следует ли, за недостатком покровительства со стороны Луи-Филиппа, целиком преданного культу буржуазии, возвысившейся над всеми классами, рассчитывать хотя бы на покровительство со стороны герцога Орлеанского, человека тонкого ума, знатока, всем сочувствующего и имеющего столь хорошего советчика в своих добрых намерениях по отношению к искусству в лице молодой герцогини, его супруги. Как близкий к молодому герцогу человек Виктор Гюго мог ответить на вопрос Бальзака.

— Герцог Орлеанский, — отвечал он на м, — ничего лучшего и не желал бы, как возглавить большое движение в литературе и искусстве, в согласии, как вы сказали, с деликатными чувствами и широким и тонким умом герцогини Орлеанской; но боюсь, что этого не будет. Вот что о, — продолжал он, — произошло недавно во дворце.

И Виктор Гюго рассказал нам, как герцог и герцогиня Орлеанские, понимая, что официальное положение и личные вкусы обязывают их окружить себя выдающимися писателями и художниками, попытались дать в своих апартаментах несколько вечеров наподобие тех, что Луи-Филипп, в бытность его герцогом Орлеанским, давал в Пале-Руаяле; но вечеров интимных, не в пример пале-руаяльским, без политического значения. Начали сперва потихоньку, боясь даже таким осторожным предприятием возбудить хорошо известную подозрительность *Папеньки* — так достойные сыновья короля называли Луи-Филиппа в семейном кругу. Они по опыту знали *Папенькину* недоверчивость. Для начала — мало народу, строгий отбор приглашенных, соблюдение дистанции во время первых приемов, а главное — поменьше шума.

Место, где происходили эти скромные и тихие собрания, посвященные окрестили скрытно и туманно. Его называли «Камин герцога Орлеанского», а позднее сокращенно просто «*Камин*». Говорили друг другу: «Пойдете завтра на *Камин?*», «Были вы на последнем *Камине?*». Зима прошла благополучно; камин, если придерживаться этого образа, совсем не дымил; *Папенька* ничего не знал либо не желал ничего знать, потому что очень мало было таких вещей, которых он не знал бы. На вторую зиму наши молодые супруги, ободренные успехом, расширили круг у камина; но большее число приглашенных породило, быть может, более громкое эхо. Как бы то ни было, однажды ветренным и снежным вечером, когда за чашкой чая обсуждали, может быть, какой-нибудь турецкий рисунок Декана, флорентийскую чеканку Фроман-Мериса или стиль нового романа, герцогу Орлеанскому велено было явиться к его величеству. Было очень поздно. Что нужно от него *Папеньке*? *Папеньке*, которому давно следовало быть в постели? Вот что *Папенька* без обиняков сказал сыну, герцогу Орлеанскому:

— Фердинанд, знайте, что у Тюильри должен быть только один король, один салон и один камин. К тому же мой греет гораздо лучше вашего. Вы мне доставите удовольствие всякий раз, когда вместе с герцогиней придете посидеть возле него.

Герцог Орлеанский ретировался; камин погас, собрания с этого вечера прекратились, и никто во дворце с тех пор не имел права покровительствовать литературе и литераторам, искусствам и художникам. Огонь был погашен окончательно.

Через семь лет после очаровательного завтрака в Жарди, через семь лет после рассказа Виктора Гюго ужасная народная буря втолкнула в Тюильри одного литератора, и во время всеобщего мародерства он унес с собою листок бумаги с последним сочинением по литературе, которое было задано графу Парижскому; он показал мне листок, с еще не просохшими чернилами, на углу улицы св. Флорентена. Литератор был Бальзак, а губительный для королевской власти день — 24 февраля 1848 года.

Бальзак, до сих пор с большим вниманием и довольно спокойно, хотя и с внутренним волнением, слушавший эту маленькую историю, коей, быть может, суждено было однажды занять свое место в великой истории современности, вдруг, не переставая откусывать от дуайенской груши, большой, как дыня, разразился филиппикой — уж конечно, это слово здесь как нельзя более уместно! — филиппикой, по увлеченности и ораторской энергии достойной Демосфена и обладающей тем преимуществом перед речами князя греческих ораторов, что она не пахла лампадным маслом. К сожалению, невозможно передать это смятенное красноречие, прерываемое и разузоренное откусыванием от груши, стуком ножа по тарелкам и по столу, разбрызгиванием слов, взрывами взглядов, сотрясанием бутылок, громом проклятий и вспышками иронии.

— Ничтожества! Тупицы короли! Не понимают, значит, что без нас никто бы после их смерти и понятия не имел, ни откуда они взялись, ни куда девались, ни что они царствовали, ни что они вообще жили на свете, ни что делали, ни что думали и говорили — ничего, ничего! Но подумайте только, подумайте! Что же остается от всех монументов, каменных, мраморных, бронзовых, которыми они попирают землю, дабы увековечить память о себе; от всех картин, которые они развешивают в музеях, дабы будущее знало, что они сделали полезного и великого; от всех медалей, кои они раздадут при коронации либо в ознаменование своих побед? Ничего. Остается только то, что написано, то, что написали мы. Камни рушатся, картины стираются — даже самое благоговейное хранение не позволило ни одной из них пережить более пяти столетий, — мрамор желтеет, гниет, трескается, гранит крошится сам собою. Еще раз, еще тысячу раз говорю: только мы существуем на свете, чтобы спасти от забвения королей и их царствования. Их слава, их бессмертие, их грядущее — это мы, и только мы; наши чернила, наша рука, наше перо. Без Вергилия, Горация, Тита Ливия, Овидия кто различил бы

Августа среди стольких других Августов, будь он хоть сто раз племянником Цезаря и императором? Без мелкого безработного адвоката Светония никто не знал бы и трех дюжины цезарей, чьи жизни он соблаговолит описать. Без Тацита в наши дни путали бы римлян его времени с германскими варварами; без Шекспира царствование Елизаветы почти исчезло бы из истории Англии; без Буало, Расина, Корнеля, без Паскаля, Лабрюйера, Мольера Людовик Четырнадцатый замечателен только своими париками и своими любовницами, он не более чем коронованный фат, который кажется мне солнцем лишь на фоне кабака; а Филипп Второй без нас оставил бы по себе меньшую известность, нежели Филипп — ресторатор с улицы Монторгей, нежели Филипп — шулер, передергивающий карты. Я надеюсь, что о царствовании Луи-Филиппа Первого будут говорить: «Во времена Гюго, во времена Ламартина, во времена Беранже был такой король, который принял имя Луи-Филиппа Первого».

И гнев Бальзака заглох в третьей, потом в четвертой груше, в которые он вонзался своими огнедышащими челюстями, как бомба, которая с лета погружается в глинистую землю и взрывается в ней.

После этого последнего взрыва мы встали из-за стола и отправились на террасу пить кофе и дышать ароматным, пропитанным солнцем воздухом, — погода стояла чудесная.

Приблизительно час провели мы, беседуя с кофейными чашками в руках, пленительный и серьезный час; сперва между Бальзаком и Гюго зашла речь о Французской Академии. В тот момент как раз открылась вакансия. Гюго многого не обещал, Бальзак на многое не надеялся. Он тогда был не в чести (да и был ли когда-нибудь в чести?) под куполом дворца Мазарини. Затем автор «Восточных мотивов», только что опубликовавший «Лучи и тени», намекнул на предстоящее выдвижение своей кандидатуры на политическом поприще; теперь настала очередь Бальзака вежливо усомниться в успехе такой попытки, оправданной, разумеется, громадным талантом поэта, но не слишком надежной ввиду недалекновидности эпохи, сосредоточившей свои интересы исключительно на промышленности. Тем не менее Бальзак поддержал политические претензии Гюго и боролся за него, основываясь на превосходном и глубоком познании людей и явлений своего времени. Поддержал с энергией, как можно судить по приводимому ниже отрывку из статьи, напечатанной 25 июля 1840 года в «Ревю паризьен».

«Господин Гюго — один из самых умных людей нашего времени, и ум его пленителен; в области материальной ему присущ тот здравый смысл, та прямота, в которой отказывают писателям и приписывают ее глупцам, отсортированным посредством выборов, — как будто люди, привыкшие обращаться с идеями, не знают фактов. Кто может больше всех, тот может и меньше всех. Шестьдесят лет тому назад г-н д'Аранда счел, что задача Филдинга была труднее, нежели задача посла; житейские дела разрешаются сами собой, говорил он, тогда как поэт должен придумать развязку, которая пришлась бы по вкусу всем. Г-н Гюго в один прекрасный день не хуже г-на де Ламартина опровергнет оскорбления, которые буржуа наносят литературе. *Ежели он займется политикой, знайте заранее, он выкажет в ней необычайную одаренность.* Его способности всеобъемлющи, его хитроумие равно его гению; но, не в пример современным нашим государственным мужам, он и в хитроумии сохраняет благородство и достоинство. Что касается его красноречия, то оно граничит с чудом: трудно пожелать лучшего докладчика, представить себе более проницательный ум. Вы, быть может, не знаете, что два его бывших книгопродавца имеют право быть избранными, а сам он вчера еще не имел этого права — сегодня имеет. В какое восхитительное время мы живем! Автор «Общественного договора» не был бы нынче депутатом; его, вполне возможно, препроводили бы в исправительную полицию».

Солнце склонилось к горизонту; Виктор Гюго заговорил о возвращении в Париж. Я тоже направлялся туда. Я предложил ему себя в попутчики. Вскоре мы все трое медленным шагом двинулись в сторону Севра, где нам с Гюго надо было сесть в какой-то наемный экипаж, долженствующий с молниеносной быстротой доставить нас на улицу Риволи. Бальзак захотел непременно проводить нас до Севра, хотя на столе его ждало множество неоконченных работ, в том числе три статьи, которые следовало написать для «Ревю паризьен» — его излюбленного детища, в данный момент его литературной страсти. Он накинул на себя неопределенного цвета куртку из прусского бархата, вместо галстука накрутил на шею старый красный бумажный платок, и мы отправились в путь.

Прежде чем отпустить Гюго, Бальзак выступил перед ним ходатаем за одного молодого русского помещика, мечтавшего, горевшего желанием увидеть его, услышать, пожать ему руку перед тем, как вернуться в свои снега

и степи. Виктор Гюго благосклонно отнесся к столь деликатному желанию благородного иностранца, и тогда Бальзак от своего имени и от имени этого молодого русского помещика попросил его принять приглашение на обед в «Роше дю Канкаль» в следующий четверг, на что также было дано милостивое согласие. Обед этот, или ужин, был весьма интересным. Я привел бы здесь наиболее яркие его подробности, если бы это не увело меня слишком далеко от Жарди. А посему я дождусь того дня, когда стану писать «Мемуары», и там расскажу все по порядку. <...>

Бальзак, как мы говорили выше, стал менее верен Жарди; теперь он часто делил свое время между этой загородной резиденцией и домом на улице Басс, в Пасси, о чем не сразу узнали даже лучшие его друзья. Отнюдь не исключается, вернее, вполне возможно (хотя это так и не было установлено), что у него имелось и третье, и даже четвертое жилище у других застав.

Что касается дома на улице Басс, в Пасси, если говорить только об этом доме, то было время, когда Бальзак приглашал нас туда столь же часто, как в Жарди; потом он стал приглашать нас в Жарди немного реже, чем в Пасси; потом мы ходили уже только в Пасси, а Жарди растаяло на горизонте. Мы столь часто видели, как мрачнел Бальзак, когда заходила речь о Жарди, что сочли себя предупрежденными: о Жарди говорили только в том случае, если о нем заговаривал сам Бальзак.

Итак, займемся периодом попеременного пребывания Бальзака то в Жарди, то в Пасси.

Дом № 19 по улице Басс, в Пасси, о коем я позволил себе говорить в моих «Воспоминаниях о Жарди», очень точно описан превосходным писателем на интимных страницах воспоминаний, которые он писал для самого себя, при мягком свете лампы, у семейного очага в ожидании того дня, когда их прочитают все; но пусть бы их прочли как можно позже, если им суждено быть опубликованными лишь тогда, когда его уже не будет среди нас, и он не услышит похвал достоверности его воспоминаний, мною лично проверенных, и откровенности его стиля в духе доброй французской школы. Приведенные ниже приватные строки извлечены из воспоминаний, на кои мы намекаем, и принадлежат перу г-на Солара, в прошлом редактора знаменитой газеты «Эпок», ныне — одного из наиболее одаренных наших финансистов. Передаем перо в его руки.

«Огорченный трудностями в ведении газ е т ы , — говорит г-н Солар в «Воспоминаниях», из которых я почерпнул некоторые сведения, дабы обогатить мой т р у д , — я написал г-ну де Бальзаку и попросил у него какой-нибудь роман. Бальзак назначил мне встречу у него дома. В письме, которое у меня сохранилось, он предусмотрительно сообщил мне пароль, открывающий доступ к его особе. Следовало спросить г-жу де При...

Во времена, к коим относилась наша встреча, Бальзак жил в поселке Пасси, на улице Басс, 19.

Я отправляюсь в Пасси, отважно вступаю на ухабистую мостовую улицы Басс, очень высоко пролегающей, вопреки своему лицемерному наименованию, и спрашиваю у привратника дома № 19 г-жу де При...

Привратник, недоверчивый, как дверной замок, оглядывает меня с ног до головы и, немного успокоенный этим осмотром, подкрепленным к тому же паролем, бормочет: — Поднимитесь на второй этаж.

Его косою взгляд долго провожает меня, и отнюдь не из вежливости, пока я поднимаюсь по ступеням.

Я всхожу на второй этаж.

На втором этаже я обнаруживаю жену привратника, словно вросшую в плиты пола. Она несет караул на пороге двери, выходящей на площадку.

— Как пройти к госпоже де При...?

К площадке вела двойная лестница.

— Спуститесь во д в о р , — сказала привратница.

Я поднялся с одной стороны, а теперь спустился с другой, как делают на двойной стремянке.

У подножия лестницы меня встретила маленькая дочка привратника — новое препятствие, загородившее мне проход. Снова пришлось прибегнуть к талисману «Сезам, откройся!». В третий раз я повторил: «К госпоже де При...».

Девочка с хитрым и таинственным видом указала мне пальцем на обитель в глубине двора, потрескавшуюся, обветшалую, наглухо запертую. Ее можно было принять за один из тех пустынных домов в парижских пригородах, которые по четверть века ждут за своими подслеповатыми стеклами мифического квартиросъемщика. Я позвонил без всякой надежды на успех, уверенный, что звук колокольчика может пробудить среди всего этого праха только летучих и не летучих мышей.

К великому моему удивлению, дверь, представьте себе, громко закрипела, и на пороге показалась добропоря-

дочная служанка-немка. Она была живая! Я в который раз повторил: «К госпоже де При...».

И тут из спокойного синего сумрака прихожей выплыла сорокалетняя дама, полная, свежая, словно монастырская сестра привратница. То была наконец она! То было последнее слово загадки странного дома, то была г-жа де При...! Она раздельно произнесла мое имя сквозь блаженную улыбку и самолично распахнула передо мною дверь в кабинет г-на де Бальзака. Я вступил в святилище.

Взгляд мой прежде всего упал на огромный бюст автора «Человеческой комедии» работы Давида д'Анже — великолепное произведение из прекраснейшего мрамора, шедевр сурового скульптора, и поныне остающегося мастером из мастеров в области скульптурных портретов. Монументальный бюст этот помещался на цоколе со вделанными в него стенными часами. Это, вероятно, означало, что Бальзак победил время. Подозреваю, что идея исходила от самого Давида, хотя Бальзак не грешил избытком скромности и вполне способен был сам придумать такой символический цоколь.

Известно, что на пьедестале гипсовой статуи Наполеона I он начертал пером следующие довольно дерзкие слова: «Завершить пером то, что он начал мечом». Эту статую можно было видеть в квартире Бальзака на улице Батай.

Стеклянная дверь, выходящая в сад, заросший художными кустами сирени, освещала кабинет, стены которого были увешаны картинами без рам и рамами без картин.

Напротив стеклянной двери — книжный стеллаж; на полках в великолепном беспорядке громоздились «Литературный ежегодник», «Бюллетень законов», «Всеобщая биография», «Словарь» Бейля и так далее. Слева другой стеллаж был отведен, казалось, только для современников. Там виднелись ваши произведения, любезный Гозлан, между томиками Альфонса Карра и г-жи де Жирарден.

Посреди комнаты находился маленький письменный стол — несомненно, рабочий, — на котором покоился единственный том французского словаря.

Бальзак, одетый в монашескую рясу когда-то белого цвета, любовно протирал салфеткой чашку севрского фарфора. Едва заметив меня, он с увлечением, которое усиливалось с каждой секундой и скоро приобрело фанатический оттенок, начал следующий странный монолог — я воспроизвожу его со всею тщательностью:

— Видите эту чашку? — спросил он меня.

— Вижу.

— Это шедевр Ватто. Я разыскал эту чашку в Германии, а блюдо в Париже. Эти драгоценные предметы, нашедшие друг друга в силу самой поразительной случайности, я оцениваю по меньшей мере в две тысячи франков. Я понял цену чашке, как только ее увидел: две тысячи франков!

Я взял в руки чашку из вежливости, а также для того, чтобы скрыть недоверчивую улыбку. А Бальзак упорно продолжал свою необыкновенную речь:

— Вглядитесь, прошу вас, в это полотно, изображающее «Суд Париса», — это лучшее полотно Джорджоне. Музей предлагает мне за него двенадцать тысяч франков; слышите: *две-на-дцать ты-сяч* франков.

— От которых вы отказываетесь, — вставил я.

— От которых я отказываюсь, решительно отказываюсь, — храбро повторил Бальзак. — Знаете ли вы, — вскричал он, загораясь, — знаете ли, что у меня здесь картина и предметов искусства на четыреста тысяч франков?

И с пылающими глазами, весь растрепанный, с дрожащими губами, трепещущими ноздрями, расставив ноги, вытянув руки, словно зазывала из балагана диковинок в ярмарочный день на площади, под ярким солнцем, он продолжал так:

— Полюбуйтесь, полюбуйтесь этим женским портретом кисти Пальмы Веккио, самого Пальмы, великого Пальмы, всем Пальмам Пальмы, потому что в Италии имеется столько же Пальм, сколько Меерисов в Голландии. Это жемчужина творчества великого живописца, который и сам — жемчужина среди живописцев его прекрасной эпохи. Поклонитесь ему, ваша светлость!

Я поклонился.

— А вот портрет госпожи Грез, написанный неподражаемым Грезом. Это первоначальный эскиз всех портретов госпожи Грез. Первый штрих! Тот, которого художник уже никогда не находит снова. Дидро написал об этом прелестном эскизе двадцать превосходных, утонченных, дивных страниц в своем «Салоне». Прочитайте «Салон», найдите статью о Грезе, прочтите это изумительное место!

А здесь портрет маленького рыцаря, он стоил мне больших денег, времени, дипломатии, чем потребовалось бы для завоевания какого-нибудь итальянского королевства. Только папский ордонанс смог открыть этому портрету границу Папской области. Таможня с содроганием пропустила его. Если это не полотно Рафаэля, то Рафаэль

больше не первый живописец мира. Я мог бы запросить за него, сколько мне заблагорассудится.

— И получили бы?

— Если еще существует на свете миллионер, любящий искусство, — да! А если нет, я сделаю подношение русско-му императору. Я хочу иметь или миллион, или благо-дарность. Пойдемте дальше.

Этот комод черного дерева, инкрустированный слоновой костью, принадлежал Марии Медичи. Монбро оценивает его в шестьдесят тысяч франков. Эти две статуэтки — работы Челлини. А эта — неизвестный Челлини семнад-цатого века. Они стоят своего веса в золоте. Пойдемте дальше.

— Пойдемте.

— Я велел купить в Пекине эти две вазы старого китайского фарфора, принадлежавшие мандарину первого класса. Я говорю старого китайского фарфора, хотя вы слишком образованны, господин Солар, чтобы спутать его с простым китайским фарфором. У самих китайцев уже с восемнадцатого века нет больше этого чудесного фарфора. Они дают за него в наши дни безумные деньги и ввозят его обратно из всех европейских стран, где он имеется. С этими двумя вазами в Пекине я имел бы миллион, меня осыпали бы почестями.

— Но это очень далеко, любезный господин де Бальзак.

— И не уговаривайте меня туда ехать! Всегда нахо-дится кто-нибудь, кто тщетно предлагает мне в обмен за них всю севрскую мануфактуру.

Я почувствовал, что назревает необходимость гасконцу подняться до уровня туренца ради довольно уже попранной чести Гаронны, и воскликнул в свою очередь:

— Скажите на милость, севрскую мануфактуру! Вы на этом потеряли бы, господин де Бальзак, вас бы обвели вокруг пальца. Но для того чтобы разместить все эти чуде-са, о которых вы так хорошо рассказали и которыми я восхищаюсь так же, как и вы, а может быть, и больше, вам нужен целый Лувр.

— А я его построил, — отвечал, и глазом не моргнув, мой бесстрашный собеседник, — да, я его построил.

— В добрый час, вы успокаиваете мою тревогу, госпо-дин де Бальзак.

— Большой зал, Почетный зал, галерея Аполло-на — как бы мне ни заблагорассудилось его назвать, когда придет время, — уже обошелся мне в сто тысяч франков.

— Сто тысяч?

— Да, сударь, сто тысяч!

— Это поразительно!

— Еще бы не поразительно: все стены сверху донизу выложены малахитом.

— Малахитом?

— Сверкают, можно сказать, как алмазные.

Каким бы невероятным ни казался этот разговор, я утверждаю, что он был в точности таким.

Можно задаться вопросом: с какой целью предавался Бальзак таким гигантским преувеличениям? Можно даже задаться вопросом, была ли у него вообще какая-нибудь цель или он просто следовал естественной склонности своей натуры, погружаясь таким образом в эту бездонную пучину рубинов, жемчугов, топазов, малахитов и золотого песка? Надо признаться, я твердо уверен, что у Бальзака была вполне определенная цель, когда он ослеплял меня переливчатыми отблесками всех этих миллионов, отчеканенных в монетном дворе «Тысячи и одной ночи», с изображением султана Гарун-аль-Рашида. Я пришел просить у него прозу для своей газеты, в его глазах я был не кем иным, как покупателем. Я желал приобрести у него рукопись. Он произвел расчет, в общем, довольно верный, но неверный по отношению ко мне: если я покажу этому купцу, что я миллионер, он не станет торговаться, потому что с теми, у кого нет необходимости продавать, не торгуются. Но на сей раз именно он действовал как торговец, мы поменялись ролями, мне пришлось довольствоваться той, которую он мне оставил. Я повел себя как художник и воздал ему должное, приняв с первого слова предложенную им цифру. Торговая сделка была заключена. Я удалился, унося причудливо исчерканные и перегруженные правкой оттиски «Последнего воплощения Вотрена», одного из самых устрашающих шедевров Бальзака».

Не желая ничего менять в этом любопытном описании кабинета Бальзака, не пытаясь сгладить ни малейшей черточки в пронизывающей рассказ очаровательной иронии, мы все же должны сказать, что это описание оставляет читателя в некотором сомнении насчет действительной ценности обстановки дома в Пасси. А она имела реальную ценность; хоть ей и далеко было до той цены, которую приписывало ей восточное воображение Бальзака, все же она обошлась ему в круглую сумму. Некоторые вещи свидетельствовали о вкусе выдающегося человека, а главное, говорили о действительных затратах. Так, комод черного

дерева, инкрустированный слоновой костью, о коем говорит г-н Солар и к коему Бальзак без конца обращал восхищенный взор, был вещью, достойной Лувра. Для того чтобы публика разделила его восхищение, а может быть, и по менее отвлеченным мотивам, Бальзак однажды попросил меня поместить подробное описание этого комода в сборнике, для которого и он иногда писал; я немедленно исполнил его желание, к великой его радости как антиквара. <...>

У него был необыкновенный интерес к тайным переговорам, к таинственным прогулкам, ко всем скрытым действиям полиции. Вот почему, зная эти его интересы, Бриссо-Тивар однажды предложил ему совершить необыкновенную прогулку. Я уже говорил о страсти г-на Бриссо-Тивара к общественному здравоохранению; словно для того, чтобы разжечь ее еще больше (если это только было возможно), государство передало городу Парижу (1834) значительную по длине линию подземных стоков, построенных в недобрые времена революции 1830 года, с целью дать занятие рабочим и предотвратить новую вспышку холеры, которую тогда приписывали, в книгах по гигиене, нездоровым условиям жизни в некоторых кварталах по соседству с ратушей. Должность инспектора обязывала г-на Бриссо-Тивара вместе с агентами-смотрителями надзирать за этими новыми линиями парижской клоаки. Но какая разница, говорил он, между их изящной конструкцией и прежней клоакой! Он рассказывал о них с восхищением, упоминал римлян; но мы превзошли тех во много раз: клоака Тарквиния по сравнению с парижской примитивна, как мельничный жернов. Парижская высока, просторна, сооружена из бутового камня, имеет сводчатый потолок, замощена, окаймлена тротуарами, ей не хватает только деревьев, чтобы стать подлинным местом подземных прогулок, лучших, нежели прогулки под открытым небом. Окончив свой гимн клоаке, Бриссо-Тивар спросил у Бальзака, который легко загорался по любому поводу, лишь бы говорили с убежденностью, не будет ли ему любопытно на нее поглядеть и обойти ее вместе с ним. Сказанного было в десять раз больше, чем требовалось, чтобы растревожить Бальзака, он не только принял предложение, но и пожелал немедленно назначить день и час великого обозрения клоаки. Наш инспектор здравоохранения был на седьмом небе. Должен сказать к сведению читателей, что во вновь сооруженной клоаке сточные воды еще не циркулировали,

вследствие чего она представляла тогда собою разветвленную сеть дорог, вырытых под городом, но дорог, по коим можно было пройти в любое время суток лишь при свете факелов, а они нередко гасли, когда зловонные испарения отравляли пригодный для дыхания воздух.

Трудно сказать, о каких бегствах через пещеры, неожиданных, таинственных встречах, которые можно будет затем использовать в книгах, грезил Бальзак с его романтическим воображением при мысли о предстоящей прогулке в парижское чрево; но несколькими строками ниже вы убедитесь, что был некто, выказывавший еще более пылкое воображение.

— Вы доставите мне величайшее удовольствие, — сказал Бальзаку Бриссо-Тивар, пришедший в восторг от его готовности, — если, обойдя главные мои владения, вы окажете мне честь полюбоваться и столицей моего царства.

Столицей клоаки, на которую намекал Бриссо-Тивар, был Монфокон. Да, Монфокон, где прирезают непригодных к службе лошадей, где уничтожают бродячих собак и совершают много иных таинств. Бальзак не отступил. Правда, его соблазнитель ничем не пренебрег, дабы представить ему будущую экспедицию самой приятной прогулкой, — путешествие на остров Киферы было ничто по сравнению с ней. Бальзак увидит последние минуты тех блистательных коней, которые при жизни так гордо били копытом в аллеях Булонского леса; он увидит, что происходит со славными кинг-чарлзами, восхитительными спаниелями, когда на них обрушивается длань закона; он увидит... но мы дальше сами увидим то, что предстояло увидеть ему. Тысячи соблазнительных подробностей повышали интерес этой развлекательной прогулки, которую столь упорно расписывал достойный инспектор здравоохранения. Стоял апрель. Светало в пять часов утра, в этот час и следовало пуститься в путь, пройти через предместье Сен-Мартен, Ла-Вилетт, прекрасные, благоуханные места, миновать Бютт-Шомон, еще один рай без деревьев, растений, газонов, но откуда зато открываются глазу Нуази-Лесек, Пантен и уйма других пейзажей. Итак, обо всем договорились, и программа празднества в честь народного здравоохранения была установлена в такой последовательности:

первый день — посещение клоаки;

второй день — посещение Монфокона.

Встреча для подземного путешествия в клоаку была назначена на ближайшее воскресенье; место встречи —

у кромки воды, под Гревской набережной, близ моста Ратуши, у отворяющейся там решетки клоаки; время — час ночи, когда весь Париж спит и долго еще не проснется, дабы нас не беспокоил грохот фиакров, проезжающих над головой. Г-н Бриссо-Тивар взялся доставить лестницы-стремянки, факелы, проводников и так далее.

Участвовать в экспедиции были приглашены доктор Жантиль и я, а также еще два человека, чьи имена мне в данное время назвать затруднительно. Впрочем, один накануне извинился и отказался, а другой не явился — уж не знаю, по какой причине.

В следующую субботу, день еженедельных обедов у Бессона, в канун назначенной ночной экспедиции, г-н Бриссо-Тивар, который опоздал к обеду, и, думаю, опоздал потому, что до последнего момента занимался подготовкой похода, вошел бледный и расстроенный и, пожимая нам руки, сказал:

— Ах, друзья, добрые мои друзья! Наберитесь мужества: поход не состоится.

— Как не состоится? А что же ему мешает?

— Весьма серьезная причина. Восстание в Лионе.

— Восстание?..

— Да. Республиканская партия в отчаянии, тайные общества хотят отомстить за расстрелы, учиненные генералом Эмаром. Полиция схватила участников заговора...

— Но какое отношение все это имеет к клоаке? — прервал Бальзак.

— Какое отношение?.. Заговорщики должны были собраться в новой клоаке, потом проникнуть в кварталы Ратуши и Сент-Антуанского предместья, под улицы Сен-Мартен и Сен-Дени и в назначенный момент взорвать несколько домов, чтобы посеять страх, выйти с оружием в руках и затем уже все остальное.

Вполне возможно, что в разгоряченных головах республиканцев, в ту лихорадочную эпоху подвергавшихся к тому же постоянной слежке, и возник план более или менее насильственными средствами взбудоражить Париж, но нет никаких доказательств, что он должен был осуществиться. Как бы то ни было, он не был осуществлен, так же как наше шествие под парижскими улицами, новизну и радость которого у нас отняли.

Но если посещение клоаки не состоялось, то увеселительной прогулке на Монфокон повезло больше. Эта увеселительная прогулка, если вы помните, состояла из экскурсии, предложенной г-ном Бриссо-Тиваром Бальзаку, докто-

ру Жантилю и мне, и мы на нее согласились. Расскажу некоторые эпизоды, благодаря которым она врезалась в мою память.

Дабы не слишком напугать нас эксцентричностью часа, выбранного для начала прогулки, энтузиаст инспектор общественного здравоохранения сперва назвал пять часов утра; накануне речь шла уже не о пяти, а о трех часах после полуночи, а это совсем другое дело. Перенос мог бы поколебать решимость некоторых из нас предпринять паломничество на Монфокон; но мы не поколебались. <...>

Прежде чем препроводить нас в заповедную часть Монфокона, где мы обречены были наблюдать зрелище, столь близкое к виду лошади лорда Эджертон, пожранной крысами, г-н Бриссо-Тивар привел нас в какую-то берлогу, освещенную двумя коптящими плашками, которые позволяли различить нескольких женщин, сидящих на земле и занятых распределением по породам трупов собак, убитых, задавленных, задушенных этой ночью в Париже. Что за женщины! Истинные Канидии: пряди рыжих или седых волос яростно вырывались из-под завязанных на голове выцветших платков. Рукава у них были засучены до самых плеч, и своими ведьмачьими руками, на которых ногти казались когтями, они выполняли в полумраке работу, состоявшую не только в классификации собачьих трупов, как я уже сказал, но и в том, чтобы снимать с них медные ошейники. Вокруг нас сесть было не на что, кроме как на груды собачьих трупов. И мы все четверо уселись на эти колышущиеся кучи и принялись наблюдать работу дам. Бальзак пожирал глазами эту картину в духе школы Тенирса, в особенности же изучал — со свойственным ему пронизывающим любопытством и способностью пропускать через себя реальную жизнь, как через перегонный куб, ибо можно сказать, что он уже дистиллировал каждый попавший на глаза предмет, дабы вобрать его в свой мозг, — изучал, говорим мы, складки, морщины, борозды, впадины, тени на лицах этих женщин, прокопченных неугасимым огнем водки, пока они вслух называли клички, вырезанные на ошейниках, адреса и надписи, сопровождавшие эти клички.

Поскольку клички почти всегда были выбраны не без кокетства, а надписи выражали нежную привязанность хозяина или хозяйки к животному и поскольку всякое тонкое чувство уже давно было чуждо этим женщинам,

поистине одичавшим среди цивилизации, парижанкам с островов Океании и Южного моря, то получался некий иронический и насмешливый концерт, когда они вслух читали на расстегнутых ошейниках такие, например, слова: «Я зовусь мисс Виолетт и живу на улице Прованс № ...», или: «Мое имя Весна, мой хозяин граф де... улица...», либо же: «Отведите Зюльму к ее доброй хозяйшке, которая ждет ее на улице... № ...».

— А ну-ка, — обратилась одна ведьма к другой, — уложи мне мисс Виолетт вместе со всеми английскими пуделями. И дураки же они с этими собачьими именами! Где только они их выуживают? Все псы должны бы зваться Баранами и приносить по двенадцать ливров жира.

— Он, значит, продается, собачий жир, о котором вы говорите с таким почтением? — спросил Бальзак.

— Вот так вопрос! А на чем, по-вашему, жарить всю картошку и белую рыбу, что продается в Париже? Эта самая мисс Виолетт принесет свой горшочек жира, а Зюльма даст не меньше двух ливров. Мы вернем ее доброй хозяйшке в виде сала.

— А кто же тогда отдаст тебе обещанное вознаграждение?

— Так это же для смеха, сударь.

— Собачий жир очень веселит, сударь.

Бальзак и вправду долго смеялся и над актерами, и над персонажами, и над мизансценой этого спектакля, показанного нам в уголке огромной бойни Монфокона.

Инспектор общественного здравоохранения был в восторге оттого, что возбудил в нас такое живое любопытство к нравам, о каких мы доселе не имели ни малейшего понятия. Он был доволен, как хозяин дома, у которого удался званый вечер.

— Порасспросите вот эту, — тихонько шепнул он Бальзаку, указывая на одну из женщин, свежавших собак. — Узнаете кое-что об этих существах, отверженных цивилизацией.

Та, на которую он указывал, не отличаясь чисто греческой красотой, действительно была достойна того, чтобы выделить ее среди товаров. Как умудрилась она сохранить на свежих, цветущих щеках печать миловидной юности и здоровья? Мы этого не понимали, а Бриссо-Тивар не колеблясь объяснил это высокой питательностью конины и собачьего сала, а также ароматическим воздухом здешних мест. С вопросом об общественном здравоохранении тут у него получался парадокс.

Бальзаку только того и надо было, чтобы анатомировать нравы в любом месте: он придвинулся со своим сиденьем к дивану из собачьих трупов, на коем восседали дамы. Мы сделали то же самое, и автор «Физиологии брака» начал разговор:

— Сколько вам лет, принцесса?

— Двадцать четыре, — отвечала принцесса Монфокона, вынимая изо рта трубку, ибо она курила и время от времени прикладывалась к металлическому стаканчику с водкой, прикрепленному цепочкой к фляжке, из которой она то и дело подливала.

— Вы замужем?

— В тринадцатом округе.

— Так я и думал, принцесса.

— Что же, это не *самый плохой* округ. В браках, что здесь благословляются, нет этого самого...

И она пнула ногой в грудь ошейников, снятых с собак. Метафора была выразительная.

— Значит, вы счастливы в семейной жизни?

— Счастливей всех от горы Бельвиля до холмов Сен-Шомон.

— О, счастливая принцесса, выходит, на этот счет вам нечего желать? Ваш муж, ваша коммерция с собаками — это для вас венец счастья?

Она снова вынула изо рта трубку и, прежде чем ответить, опрокинула еще стаканчик.

— О н е т, — сказала о н а, — не о том я мечтаю.

Слово «мечтаю» нас поразило. Каким образом это слово, оставшееся столь же поэтическим, невзирая на частое употребление, добралось до этого края света? Великая тайна. Пришлось принять ее как данность.

— А о чем ты мечтаешь, раз уж ты мечтаешь, — вмешался Бриссо-Тивар, не подозревавший, что Бальзак ведет умелый допрос — Бьюсь об заклад, я знаю. Ты мечтаешь о славном собственном домике на улице Мира.

— Нет, не так уж я *помираю* по домам. И потом, я предпочла бы дачку в Пантене.

— Ну, тогда ты хочешь красивый экипаж.

— Экипаж? Как бы не так. Я не переносу omnibusов. Только усядусь, тут меня сразу и затошнит.

— Значит, ты хочешь индийскую шаль?

— А что это такое? Я не знаю.

— Много денег?

— Ох, и хитры вы, что так говорите. Небось и сами

хотите иметь много денег. Все хотят, тут нет ничего особенного.

— Ну, тогда не могу угадать.

— Бедный мой Бриссо, — сказал Бальзак разочарованному инспектору, — у вас большое чутье как у инспектора общественного здравоохранения, согласен, но пока еще нет чуткости по отношению к женщинам. Я скажу вам, в чем ваше наивысшее блаженство, — добавил Бальзак, обернувшись к женщине, которую столь бесплодно расспрашивал г-н Бриссо-Тивар, — в чем предел ваших мечтаний, принцесса, раз уж вы мечтаете: иметь табачную лавку, где вы продавали бы водку в разлив.

— Вот он верно говорит! — вскричала женщина, в последний раз вырвав изо рта трубку и кинувшись обнимать Бальзака, который отшатнулся со словами:

— По утрам я боюсь запаха жасмина.

Мы поздравили Бальзака с такой догадливостью, но я должен прибавить, отнюдь не для того, чтобы преуменьшить его редкий талант наблюдательности, что он был почти уверен, что не ошибется, если при всех возможных обстоятельствах предположит с закрытыми глазами, будто табачная лавка — это предел мечтаний чуть ли не всех женщин, от вдовы полковника до привратницы последней развалюхи в предместье Сен-Марсо. Поэтому иногда Бальзак злоупотреблял табачной лавкой. Я знаю случай, когда он обещал одному лицу табачную лавку и с большим трудом из этого выпутался. <...>

Стояла летняя жара; кажется, шел к концу 1844 год. Да, это было в 1844 году. Бальзак жил тогда в своем фантастическом доме на улице Басс, в Пасси. В один из тех душных сентябрьских дней, какие бывают лишь в Париже, ибо столь убийственной жары я не испытывал в такое время года даже в сердце Сахары, я решил по приглашению Бальзака отправиться в его милое обиталище в Пасси, очень милое, несомненно, но прилепившееся, словно огромное гнездо, к опасному склону горы. При одной мысли о предстоящем крутом подъеме я задыхался и обливался потом. Главное, что после заставы надо было взбираться по переулку, вьющемуся между стенами, которые подпирают холм Пасси, переулку почти отвесному, немислимо изогнутому, изломанному!.. Надо было совершить целое путешествие. Бальзак часто выбирал этот ужасный путь, впрочем, мало кому известный, когда не хотел встретиться по дороге

с докучливым соседом, чего не всегда можно было избежать, если пойти по улице Басс. Ничего не могло быть забавнее (маленькая дружеская жестокость!), чем наблюдать сверху, как он потеет от напряжения, задыхается, словно бык под палящим солнцем, припадает на колени, взбираясь по извилинам этой ложины. Мы с г-жою Х... часто доставляли себе такое удовольствие обозрения с высоты, когда он обещал вернуться к обеду и опаздывал на каких-нибудь два-три часа.

В тот день я шел вдоль берега, надеясь глотнуть свежего воздуха с Сены. Мне было не до смеха. Что за пекло! Дорога Королевы была желтая, как маисовая солома. Добавьте тонкую пыль, насыщавшую раскаленную атмосферу. Я имел право ожидать в Пасси самой высокой награды за столь тягостное путешествие. И она превзошла всякое мыслимое возмещение моей усталости. Я согласился бы устать в двадцать раз больше, лишь бы насладиться сюрпризом, который припас мне в этот день Бальзак. Было около половины восьмого, когда я вошел в столовую, в ту самую, которую украшал его бюст, достойный флорентийской или венецианской галереи, шедевр Давида — Тицианово полотно, писанное резцом, картина Ван Дейка в мраморе. Веселая комната, о которой мы уже говорили, выходила в сад и сообщалась с роскошным кабинетом Бальзака.

Бальзак завершал свой обед; по его правую руку сидел редактор «Пресс», г-н Робер, который пришел за продолжением «Крестьян», печатавшихся тогда в этой газете; по левую — г-жа Х..., которая, красуясь своими прекрасными плечами, разливала кофе, а напротив — какой-то человек с бычьим лицом — широким лбом, тяжелым подбородком, — лицом внушительным и странным, вызывающим какую-то смутную тревогу; его волосы, когда-то явно рыжие, ныне выцвели и поседели, глаза, некогда голубые, были теперь серыми, как зимний день. Все вместе оставляло сложное впечатление чего-то грубого и вместе с тем пронизательного, чего-то трудно определимого одним словом или одним штрихом. При всем том он был спокоен, но страшным спокойствием египетского сфинкса. Чувствовались спрятанные когти. Впрочем, должен сказать, что человек этот все время, проведенное в тот раз у Бальзака, так ловко поворачивал свой торс Геркулеса — но Геркулеса после свершения двенадцати подвигов, усталого и согбенного, — что невозможно было достаточно подробно разглядеть его лицо и хорошо запомнить черты, дабы осмыслить их и потом запечатлеть пером. Ни при свете дня,

который, правда, уже сильно клонился к вечеру, когда я вошел в комнату, ни при свете ламп, которые не замедлили внести, эта физиономия ни разу прямо не открылась моему взгляду. Я видел ее только в четверть оборота. Было ли это случайно или преднамеренно, не берусь судить, но так или иначе, эта маска постоянно ускользала от меня, хотя, по видимости, он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы избегнуть разглядывания. Кто был этот человек? На редкость гибким и властным движением рук, красивой, как мне показалось, лепки, рук, которые он то поднимал с женским кокетством, то ронял тяжело, как тигриные лапы, — простым их движением, говорю я, он ухитрялся скрыть свое лицо. То он прикладывал ладони ко лбу, как человек, пытающийся удержать какую-то мысль, и тогда его лицо делалось наполовину невидимым, то складывал их козырьком над бровями, будто для того, чтобы защитить глаза от слишком яркого света, либо же закрывал ими рот, как делают, когда с глубоким вниманием прислушиваются к чьим-либо словам. И еще до того, как Бальзак представил мне этого нового для меня сотрапезника, я почувствовал странное влияние его личности, словно пространство заполнилось исходящей от него силой, словно в среде, где мы дышали, мы испытывали (таково было мое ощущение) притяжение некой планеты, наделенной подавляющей духовной мощью. Рядом с планетой Бальзака в этот вечер, определенно, была и другая, которая вращалась и притягивала к себе.

Запустив пальцы в большой монтрейский персик, который он собирался поднести к своим кабаньим клыкам, и с довольным видом указывая мне глазами на незнакомца, Бальзак сказал:

— Разрешите представить вам господина Видока.

При звуке этого имени, прославленного в истории полиции, я вспомнил, что уже мельком видел в аллеях Жарди этот прототип Вотрена, но Бальзак никогда меня с ним не знакомил и не говорил мне, кто такой этот официальный и таинственный персонаж. Поскольку я научился уважать все умолчания Бальзака, все малейшие проявления его осмотрительности — верный способ избежать охлаждения в отношениях с ним, — я не спрашивал его, с каким гостем столкнулся под его кровом. Теперь он, вероятно, счел возможным развеять чары; мне оставалось лишь радоваться этому. Герой, безусловно, стоил труда с ним познакомиться, по причине всего шума, поднятого вокруг его имени, по причине громких и темных дел в тай-

ной полиции, кои он вел с пронизательностью и талантом и часто разрешал с рыцарскою отвагой. Бальзак — разумеется, с полным правом — высоко ценил такого рода дарования, поставленные на службу охраны семьи и общественной безопасности. В особенности восхищался он способностью угадывать, присущей этим самым изощренным из всех умов, их острым, как у лесного зверя, нюхом, который ведет их по следу преступника на основании самого незначительного умозаключения либо даже без всяких оснований. Их ведет какой-то внутренний голос. Охваченные нервной дрожью, словно установленный на скале гидроскоп, который обнаруживает слой воды на сто футов под землей, они восклицают:

— Преступление здесь, копайте, оно здесь!

Бальзак и сам любил похвалиться редкостной интуицией такого рода. И сколько же дал он доказательств того, что обладал ею в наивысшей степени, заставляя нас, читателей, проследивать нить за нитью самые сокровенные душевные тайны,водя нас из лабиринта в лабиринт до самого сердца — этого логова, где чеканятся все фальшивые монеты, где плетутся все заговоры, замышляются все убийства, все преступления, прежде чем выйти на свет божий, в реальную жизнь, где их будут изучать другие моралисты — гении полиции Лемуары, Колкхоуны, Паран-Дюшатле и — на другом уровне интеллекта — Видоки!

Кофе был подан прекрасными пухлыми ручками г-жи Х... Мы поболтали еще несколько минут в сумерках. Когда на стол поставили зажженные свечи, г-н Робер поднялся, собираясь уходить; Бальзак тоже встал из-за стола, чтобы его проводить, и передал ему измятую пачку рукописных листов и гранок, вынув их из отвислых карманов серой полотняной куртки, которую он обыкновенно носил летом.

В дверях столовой они остановились, чтобы поговорить, Бальзак, весьма уважавший г-на Робера, любил посоветоваться с ним, откровенно рассказывал ему о своих писательских мучениях и невзгодах, особенно о различных неприятностях, которые возникали в последнее время в его отношениях с газетой «Пресс». Не надо думать, что его чудодейственный талант и громадная популярность оберегали его от всякого рода скрытого предательства со стороны редакции. Там были у него добрые друзья, которые с наслаждением чернили его перед руководителями газеты. Даже сердечная и прелестная г-жа де Жиарден не всегда обладала достаточным могуществом, чтобы укрепить пошатнувшееся положение Бальзака, поддержать авторитет

его имени и заставить предпочесть мощь его прекрасных творений писаниям разных окруженных почетом евнухов. Рядом с шелковичным червем, прявшим золотую нить, имелись пауки, которые утверждали, что они тоже прядут. Автора «Лилии в долине» находили излишне многословным, бессвязным, чересчур приверженным анатомии, каким-то одержимым обойщиком, аукционным оценщиком, говорили, что он никогда не бывает достаточно драматичен, что он растягивает, как только может, каждый том; наконец, жаловались и провинциальные подписчики, а когда подписчик жалуется, надо склониться перед ним, еще лучше — стать на колени, пасть перед ним во прах, безоговорочно повиноваться его воле. И вправду, некий подписчик из Сен-Жан-де-Кок-ан-Бри-су-Буа и другой подписчик, из Сен-Поль-ан-Жаретт, ополчились против печатавшегося в газете романа Бальзака «Крестьяне». Они угрожали, что прекратят подписку, ежели им и впредь будут преподносить в каждом номере кусок этого скучного романа г-на де Бальзака: они в нем ровно ничего не понимают, он куда менее занимателен, чем «Зеленоглазая женщина», которую печатает сейчас другая газета, соперничающая с «Пресс». Дайте нам *зеленоглазых женщин*, — кричали подписчик из Сен-Жан-де-Кок-ан-Бри-су-Буа и подписчик из Сен-Поль-ан-Жаретт, — и избавьте нас от продолжения ваших ужасных, нудных, мерзких «Крестьян». Эти повторяющиеся жалобы достигли цели: руководители «Пресс» так или иначе пришли в волнение. К Бальзаку каждый день посылали записки или сотрудников и просили изменить, сократить — главное, значительно сократить — в «Крестьянах» то грандиозное и новое исследование нравов, новое даже после Мольера, где Бальзак так замечательно обрисовывает хитрецов и продувных бестий с наших полей. И бедняга Бальзак сокращал, но всегда недостаточно. Уже поговаривали о том, чтобы решительно пресечь публикацию романа, если автор не пойдет на самые значительные жертвы. Так выглядели в данный момент отношения между «Пресс» и Бальзаком; таково было положение писателя, и, провожая г-на Робера, он почти в полный голос все это с ним обсуждал, настолько накопело у него на сердце. Закончив разговор, Бальзак вернулся на свое место за столом; он улыбался, но эта веселость мне показалась бледной и натянутой, и я подозревал, что Видок своим орлиным взором приметил напускную безмятежность нашего хозяина; а тот, опрокинув большой бокал шато-де-пап, терпкого темного вина, очень им любимого,

почему-то вдруг обратился к великому человеку из полиции:

— Вы что-то начали говорить, господин Видок?

— Я говорил, что вы, господин Бальзак, напрасно тратите столько сил на создание выдуманных историй, когда у вас перед глазами, рядом с вашими ушами, у вас под рукой есть реальная действительность.

— А, вы верите в реальную действительность! Вы меня восхищаете, я не ожидал от вас такой наивности. Реальность! Расскажите мне о ней, ведь вы только что вернулись из этой прекрасной страны. Ну уж нет, это мы создаем реальность.

— Нет, господин де Бальзак.

— Да, господин Видок! Видите ли, истинная реальность — вот этот прекрасный монтрейский персик. Тот, который назвали бы реальным вы, произрастет сам собою в лесу, на диком дереве. Так вот, тот персик никуда не годится, он маленький, кислый, горький, несъедобный. А вот этот, что у меня в руке, — реальный: его культивировали целых сто лет, его получили при помощи определенной подрезки дерева справа или слева, пересадки в сухую или влажную землю, определенной прививки; этот персик едят, он услаждает своим ароматом наш вкус и сердце. Этот чудесный персик сотворен людьми, и он единственно реален. Тот же метод и у меня. Я получаю для своих романов реальность точно так же, как Монтрей получает реальность для своих персиков. Я книжный садовод.

Видок медленно налил себе в кофе водки и вместо ответа начал водить чашкой у себя под носом.

— Я вижу, что не убедил вас, любезный господин Видок! Но каждый раз, как мне говорят: «Господин де Бальзак, у меня есть для вас превосходный сюжет, вы из этого сделаете шедевр», я не нахожу в этом сюжете ничего подходящего. Если там и есть факты, то подробности (а подробности — это все!) начисто отсутствуют; если же, наоборот, мне приносят славные детали, веселые, лакомые, такие, что *пальчики оближешь*, как говорит мой земляк Рабле, то не существует сюжета. Все тот же монтрейский персик, все та же шасла из Фонтенбло и груша из Бон-Кретьена. Само собою это не возникает, это делается.

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ»

БАЛЬЗАК В ДЕРЕВНЕ

Однажды пятнадцатого апреля, когда швейцар только что так некстати представил Бальзаку некую квитанцию, а Жюль Сандо безо всякой подготовки объявил ему, что Скриб приобрел замок, Бальзак, вне себя от гнева и раздражения, воскликнул:

— Я тоже стану домовладельцем! У меня тоже будет собственный дом! И я буду выборным лицом, не хуже моего бакалейщика!

Спустя некоторое время он купил клочок невозделанной земли, в нескольких сотнях шагов от станции Виль-д'Авре. Путешественник, следующий в Версаль, мог заметить этот теперь уже исчезнувший уголок Сахары, утопающий в тени за зеленой стеной. В то время зелени и тени там было немногим меньше, чем на площади Согласия.

Едва заключив контракт о покупке, Бальзак приказал обнести свое владение высокой каменной оградой, снабженной внушительной дверью. Вверху двери прикрепили черную мраморную табличку с надписью, сделанной золотыми буквами:

ЖАРДИ

Когда Бальзак вполне наслаждался своей оградой, внушительной дверью и мраморной табличкой, он подумал наконец о том, чтоб строить дом. Легенда, — а куда денешься от легенд в прекрасной нашей Франции! — так вот, легенда гласит, что после того, как здание было сделано и переделано, каменщики со всеми их орудиями труда были отпущены, Бальзак вдруг спохватился, что забыл одну вещь в доме, а именно — лестницу!

Попробуем восстановить факты — правда, толки это все равно не поколеблет. И впрямь клеть лестницы была сооружена задним числом и приставлена к стене: *Concedo*¹. Но

¹ Допускаю (*лат.*).

так было условлено с архитектором, то была воля самого Бальзака.

Им были задуманы просторные комнаты, где он мог бы расхаживать в свое удовольствие, освещенные широкими проемами, выходящими на четыре стороны света, и все это было осуществимо лишь в том случае, если лестницу поставить снаружи. Впрочем, в швейцарских шале ей отведено именно такое место. Между тем мне неизвестно, чтобы кто-нибудь из потомков Вильгельма Телля подвергался таким же яростным нападкам, такому граду насмешек, какой обрушили на голову Бальзака. Заметим, что его безо всякого стеснения «вышучивают» в больших и малых газетах, но соблаговолите вспомнить, что он умер в августе тысяча восемьсот пятидесятого года, то есть всего тридцать пять лет назад!

Ко всему еще тропинка, которая соединяла в то время парк Сен-Клу с дорогой на Виль-д'Авре, шла под уклон, причем очень круто, и этим не все сказано. Склон, благоразумно выровненный, был подобен склонам русских гор. По этой чертовой дороге не спускались — по ней скатывались.

Дом, водруженный в центре этого гостеприимного участка, имел даже величавый вид благодаря многочисленным насыпям и контрфорсам. Что касается садовых аллей, то все они круто сбегали вниз. Если у гуляющих являлась неосторожная мысль сделать остановку, то им с трудом удавалось удержаться в равновесии, зацепившись за довольно крупные камни, которые они ловким движением успевали подсунуть под подошвы своих туфель. Дютак однажды пренебрег этим маневром и, круглый, как яблоко, скатился вниз, к самому подножию знаменитой ограды.

Не однажды приходила Бальзаку в голову мысль построить именно в этом саду коровник, ежегодная выгода от которого, по его подсчетам, была бы десять тысяч франков — по меньшей мере; развести ананасы, которые приносили бы ему в год двенадцать тысяч франков — по меньшей мере; рассадить малагский виноградник, который давал бы пятнадцать тысяч франков прибыли — по меньшей мере. По меньшей мере! Боевой клич всех мечтателей, девиз всех охотников за химерами!

Как бы то ни было, а дом нужно было обставить мебелью и украсить. Бальзак проявил изобретательность и сумел сочетать самую безумную роскошь с самой строгой скромностью. На голых, словно в деревенской церкви, стенах

углем были начертаны пламенеющие слова: «Здесь — фламандский ковер XIII века; здесь — картина Рафаэля; напротив — два полотна: одно Тициана, другое Рембрандта. Здесь должно стоять канапе, два кресла и шесть стульев позолоченного дерева (обюссонская обивка, изображающая сцены из басен Лафонтена). Здесь — малахитовый камин (дар царя Николая) с часами и бронзой Гутьера. Здесь — венецианская люстра, а под ней — скромный столовый буфет орехового дерева с полным комплектом массивного серебра (фамильное серебро)».

В этой гостеприимной зале и собирались по воскресеньям в шесть часов вечера. Меню было скромное. Вообще очень умеренный в еде, Бальзак особую дань отдавал десерту. Он страстно любил фрукты, в частности груши, и поедал их в беспокоящих его друзей количествах. Услышав однажды любопытный диалог, который я в тот же вечер занес в мою записную книжку, я подумал, что на стенах его погреба должны были быть начертаны не менее обещающие надписи, чем те, о которых говорилось выше.

— Господа, — сказал он однажды, когда на большие тарелки уже поставили маленькие, — вам предстоит отведать старого шато-лафита, такого, какого никто из вас не пил за всю свою жизнь. Только не торопитесь проглотить его, это должно быть как священнодействие.

Первому подали Лоран-Жану, тот никогда не грешил против истины: поднеся стакан к губам, он скорчил страшную гримасу и воскликнул:

— Это шато-лафит? Полноте! Из какого-нибудь дворца с улицы Лафит — вот это возможно.

Другой был бы смущен — Бальзак и бровью не повел.

— Ну да, — гордо изреко н, — этот нектар прибыл прямехонько с улицы Лафит, из погреба барона Джеймса де Ротшильда. Он угощает им своих гостей лишь по большим праздникам. На той неделе я получил из его погреба две бочки и бесконечно признателен ему за такой великолепный подарок. Пейте же, господа, и возглашайте тосты.

Лоран-Жан не оклеветал сей нектар. Это была отвратительная бурда.

Верный принципу «платить поставщикам только в крайнем случае», Бальзак вскоре оказался зажатым со всех сторон кредиторами, которые буквально обрывали звонки. Как, каким образом в их числе оказался сельский стражник, уму непостижимо. Так или иначе, Бальзак задолжал

ему тридцать франков. Я узнал об этом от Леона Гозлана. Он с большим юмором поведал эту историю в своей книге «Бальзак в домашних туфлях».

Излагаю суть.

Как-то утром они прогуливались в лесу Виль-д'Авре.

— Да угодно будет богу, чтобы я не встретил сельского стражника! — вздохнул Бальзак. — Хуже нет кредитора. Мало сказать — он преследует меня, он из меня всю душу вымотал. Его выразительное молчание, его пронизывающий взгляд, его короткие, как выстрел, слова убивают меня. Этот человек является мне как страшный призрак.

И вдруг на одном из поворотов возникает фигура стражника. Он идет нам навстречу спокойный, по-военному подтянутый, непреклонный. Поравнявшись с нами, он сдержанно сказал ледяным, полным достоинства голосом:

— Господин де Бальзак, вы просто надуватель!

Он прошел мимо и исчез в серой дымке осеннего тумана, — а друзья в это время корчились в судорогах от смеха.

— Надуватель! — повторял Бальзак, держась за бока. — Великолепно! Гениальная находка! За нее не жаль десяти франков.

Час спустя сельский стражник положил к себе в карман свои два луидора.

Однажды в воскресенье в сентябре месяце тысяча восемьсот тридцать девятого года вагон, следовавший в Версаль (прямым сообщением), заполнили некие путешественники, вот их имена: Жюль Сандо, Гаварни, Анри Монье, маркиз Беллуа, Лоран-Жан, Арман Дютак, Луи Денуайе, Леон Гозлан, а кроме того — граф де Граммон и пишущий эти строки — единственные из этого веселого карavana, кто еще жив. Все мы были вызваны Бальзаком в Жарди, и в послании, адресованном каждому в отдельности, стояло: «Срочное сообщение». Мы ломали голову, какое такое могло быть срочное сообщение.

Нас принял Лассайи, автор экстраромантического романа «Проделки Триальфа», книги столь же странной, сколь редкой. Он был возведен Бальзаком в чин секретаря и потому вот уже месяц-другой жил в Жарди.

Госпожа Природа наделила его одинаково причудливыми и беспокойными умом и носом. Как и хозяин, он был добычей химер. На зло своему носу, а может, уповая на него, он лелеял надежду, что его удостоит своим вниманием

какая-нибудь герцогиня. Не баронесса, не графиня, не маркиза, а именно герцогиня. Его часто видели меланхолически прогуливающимся в коридорах и фойе Оперы, куда ему достали бесплатный билет. А сколько совершил он восхождений из партера в амфитеатр, из амфитеатра на балкон (тогда в Опере был балкон)! Ровно в десять вечера появлялись его желтые перчатки. Бедный малый еще задолго до представления «Чести и денег» мог бы простенать, как известный персонаж из комедии Понсара: «А я-то не обедал, чтоб купить перчатки!»

— Где прячется это чудовище, завлекшее нас в свою пещеру под предлогом сообщить нечто срочное? — вопросил Гозлан, не отличавшийся большим терпением.

— Хозяин сейчас будет, — поспешил ответить Лассайи, пытаясь вздернуть свой непослушный нос.

— А что это за сообщение? Вы что-нибудь знаете?

— Мне запрещено говорить, но заверяю, что речь идет о богатстве для всех нас.

Это признание было точно ушат холодной воды на голову.

Жюль Сандо тихо произнес:

— Это уже в пятнадцатый раз мне предлагают сделать миллионером.

Анри Монье заявил:

— Отдаю свою долю за семь франков наличными.

Никто не ответил.

Лоран-Жан усмехнулся.

— Держу пари, он нашел алмазную жилу в капусте на своем огороде.

И тут на нас налетел смерч в лице Бальзака. Он ворвался в комнату наподобие мистраля, влетающего в каминную трубу.

— Алмазная жила! — вскричал он, презрительно пожав плечами. — Я нашел нечто получше. Алмазные жилы иссякают. А моей хватит на нас и наших потомков. Слушайте.

Профессия романиста, начал он, обрекает его на голодную смерть. Сколько платят ему за строку? Тридцать пять сантимов... Хороша плата, нечего сказать! Так вот, он не будет больше писать романы. Отныне он станет драматическим автором. Пьеса, пользующаяся успехом, приносит доход от четырех до пяти сотен франков за вечер в Париже, а ее будут ставить во всех театрах Франции. Он брался,

если ему будут помогать, заполнить пьесами все парижские сцены, от самой маленькой до самой большой. И к концу года наша казна будет насчитывать три миллиона — по меньшей мере! Театры разделяются таким образом: на попечение Граммона и Беллуа — пьесы в стихах; Сандо — пьесы в прозе, он возьмет на себя «Комеди Франсез» и «Одеон»; Гозлан — «Жимназ» и «Водевиль»; Анри Монье и Луи Денуайе — «Варьете» и «Пале-Руаяль»; Лоран-Жан и Лассайи — «Порт-Сен-Мартен», «Гетэ» и «Амбигю». Я буквально задохнулся от радости и гордости, узнав, что на мою долю выпали «Фоли-Драматик», «Порт-Сент-Антуан» и «Бобино». (Он включил и «Бобино»!)

Дютак, у которого была типография и книжная лавка, будет издавать пьесы, а Гаварни их иллюстрировать.

В пылу разыгравшегося воображения, опьяненный своей безумной мечтой, он говорил два часа. Золото, струившееся из его уст, наполняло и оттопыривало наши карманы. Когда же наконец он умолк, мы были богаты, как барон Джеймс, и голодны, как матросы с «Медузы».

— А в котором часу тут обедают? — срывающимся голосом поинтересовался Монье.

— Обедают? — повторил Бальзак. — Смотрите-ка, а я и забыл про обед и ничего не заказал.

К счастью, ресторан «Грий-дю-Парк» находится поблизости от Жарди. И уж как мы чокались за наши будущие драматические победы! <...>

О БАЛЬЗАКЕ

<...> Бальзак купил на средства, полученные от одной из книг, участок в Севре, около будущей железной дороги, в сотне шагов от станции. Он вычислил это и простодушно всем сообщал.

Увы, приходится признать сегодня, что предприимчивый фантазер, гениально изобразивший миллионы папаши Гранде, неудачно выбрал участок, и продавец, должно быть, немало над ним посмеялся... Участок состоял из двух десятков акров на уровне железной дороги и возвышался над путем из Виль-д'Авре в Севр; но это был самый отвратительный участок, какой только можно себе представить: глинистая почва удерживала воду в находившемся над ней слое песка, а уже над песком шел чернозем. Когда на подобном участке начинают возводить постройку, то происходит следующее: вес каменной кладки давит на воды, остающиеся в песке, и они стремятся просочиться через трещины в глине; тогда песок уплотняется, оседает, поверхность изменяется — и дом рушится. Все начинают сначала: тот же результат, по той же самой причине.

Так повторялось три раза. Дом, построенный по чертежам Бальзака, постепенно смещался к дороге. Он приближался к ней незаметно, как приближаются к могиле. И вот наконец встал вопрос о сваях, с помощью которых необходимо укрепить грунт.

Бальзаку не внушали доверия обычные сорта дерева, предлагаемые отечественными поставщиками. Он поведал нам о сваях из дерева алоэ... На первый взгляд, это могло показаться странным, но одно обстоятельство объяснило все: «В Венеции, — говорил он, — существуют великолепные дворцы, построенные на сваях из алоэ. Наследники некогда славных родов живут теперь зачастую в нищете, на жалкую пенсию в тысячу двести цванцигов, которую им

выплачивает Австрия. Они лишены права продавать картины, скульптуры, но, втайне от австрийцев, нашли для себя источник коммерции: по ночам старинные, не поддающиеся гниению сваи из алоэ подпиливают и заменяют дубовыми; я х о ч у , — заключил о н , — купить несколько сот свай из алоэ, чтобы укрепить участок».

Тем временем один разумный подрядчик убедил его в том, что при правильно возведенной земляной насыпи необходимость в сваях отпадает. Венецианский заказ был аннулирован. И уже вскоре дом действительно высился над тремя этажами насыпи, укрепленной небольшими известняковыми стенками, украшенными цветочными вазами и создающими от самого низу панораму, по выражению Фенелона, радующую глаз.

В чертежах для постройки дома Бальзак упустил только одну деталь — лестницу. Учитывая высказанные ему пожелания, он велел возвести наружную лестницу, как в швейцарских шале. Эта деталь широко известна. Менее известен другой факт, а именно то, что, едва дом был достроен и укреплен, Бальзак сочинил в нем драму; признавая необходимость совместной работы, но не желая при своем высоком литературном положении попадать в рабство к ремесленникам от драматургии, он просто-напросто взял себе ученика. Это был славный юноша и к тому же изысканный поэт, которого мы все знали. Бальзак предупредил его: «Не рассчитывайте на обыкновенный образ жизни: в Жарди живут только ночью; днем все спят, за исключением меня, потому что у меня много дел и вообще я сплю мало».

Молодой поэт согласился. Бальзак привез его к себе, в десять вечера, и сказал: «Вы еще не избавились от прежних привычек; ложитесь, когда придет время, вас разбудят».

В час ночи лакей в ливрее вошел в спальню молодого человека и объявил:

— Хозяин просит вас подняться.

Тот встал.

Его провели в столовую; ужин ждал его. Он состоял исключительно из отбивных и щавеля. Затем подали чашечку очень крепкого кофе.

В тот момент, когда молодой человек допивал кофе, появился Бальзак в монашеском облачении, служившем ему халатом, и произнес: «Начнем». Он повел его в другую комнату, где на письменном столе лежала нетронутая десть бумаги, и сказал: «Пишите: Школа супружества». Потом,

прогуливаясь по комнате, он вдохновенно продиктовал несколько сцен, которые оставалось только правильно оформить; работа длилась до семи утра. В этот час Бальзак удалился.

Вошел прежний лакей и объявил:

— Хозяин просит вас ложиться.

В полдень его вновь подняли и пригласили к завтраку; потом состоялась четырехчасовая прогулка, затем снова работа, перемежающаяся отбивными со щавелем, кофе, прогулками и отдыхом.

Так жили в Жарди.

Пьеса была окончена в две недели. Бальзак тотчас отдал напечатать ее мелким шрифтом в две колонки в количестве всего двенадцати экземпляров. Читал он ее у госпожи д'Аппони.

Мы полагаем, что во Франции не сохранилось ни одного экземпляра этой пьесы; нам не удалось отыскать ее, но чтение ее оставило глубокий след в нашей памяти.

Бальзак занимался печатным делом и оставил свою шпагу и частичку «де» перед входом в дом на улице Марэ-Сен-Жермен, где имел несчастье отпечатать свои первые произведения. Впоследствии он всегда говорил, что ремесло не может аннулировать знатности, тогда как, если верить предкам, два поколения торговцев низводили дворянина до положения ландскнехта, если только он не принимал участия в морской торговле, пользовавшейся особыми привилегиями.

Бальзак изобрел способ отливки шрифта, который разорил его куда быстрее, чем вся типография. Итак, он вошел в литературу, имея 200 000 франков долгу, который давал о себе знать при малейшем финансовом успехе его тогда еще низко оплачиваемой работы.

Свойственная писателям беззаботность мешала ему устроить дела в соответствии с коммерческими нормами, а настойчивость заинтересованных лиц вынуждала порой удаляться во временное укрытие, где он мог свободно обдумывать шедевры, предназначенные для покрытия чудовищного дефицита.

Вот какова истина! <...>

<...> Мы познакомились с Бальзаком в те времена, когда положение его уже улучшилось. Собирая материал для критического анализа двухактной пьесы, я однажды вечером присутствовал на спектакле в театре «Водевиль».

Лакей в ливрее уведомил меня, что я приглашен на ужин в «Мадрид».

Спектакль был поставлен по одному из романов Бальзака. Авторы пьесы и не подумали поделиться с романистом плодами его труда, которые он, впрочем, добровольно им уступил. Но он очень хотел устроить маленький праздник для пользовавшихся его уважением критиков, чтобы отметить, пусть и не касавшийся его непосредственно, театраль- ный успех.

Путешествие в Мадрид не смутило бы нас. Но речь шла о «Мадриде» Булонского леса. Коляска, следуя за факель- щиком, быстро проехала по бульварам, авеню Нейи и темным лесным аллеям.

В большом зале ресторана, обставленном в стиле Людо- вика XIV, собралось блестящее общество гостей из арти- стического и литературного мира, среди которых при- ступовали также занятые в спектакле актрисы.

В центре блистал Бальзак в роскошном синем сюртуке с массивными золотыми пуговицами, который он надевал в дни удач. Его трость с рукоятью чеканного золота, инкру- стированного бирюзой, стоимостью в три тысячи франков, небрежно стояла в углу; и поскольку присутствовали толь- ко литераторы и актеры, она не исчезла.

Благодаря остроумию и утонченности амфитриона по- луночный ужин превратился в пир, достойный Тримальхи- она. К утру Бальзак заметил между прочим: «Я только что истратил пятьсот франков!»

— Всего-навсего?

— Да!.. Не считая расходов на ужин. Я имею в виду, что мог бы получить пятьсот франков, если бы записал все то, что наговорил сегодня ночью.

И мы знали, что это было истинной правдой. <...>

Теперь поговорим о доме в Пасси, внутреннее великоле- пие которого сменило внешнюю импозантность дома в Севре.

Один был полнейшим антиподом другого. Первому некоторое время недоставало лестницы; у второго было три лестничных пролета.

Только вели они не вверх, а вниз. Маленькая дверь выходила на улицу рядом с высотами Пасси, откуда открыв- вался вид на долину Гренель, остров Лебедей и Марсово поле.

Стена, зелень, дверь, звонок.

Привратник открывал, и вы оказывались на площадке второго этажа, считая от неба.

На третьем этаже — комната привратника. Он предупреждал: еще два пролета вниз. К счастью, у этого дома наоборот не было антресолей.

Последний этаж выходил во двор. Два терракотовых бюста в глубине двора указывали дорогу к обители романиста. Как только открывалась дверь, вас охватывал упоительный запах, которого не мог не оценить человек со вкусом, запах, подобный аромату зеленых яблок, о котором идет речь в книге царя Соломона.

На аккуратно подвешенных полках были выставлены всевозможные разновидности сен-жерменского сорта груш, все, что только можно было достать.

Бальзак, в роскошном кашемировом халате, с раблезианской улыбкой на устах, принимал посетителей и предлагал им оценить достоинства этих груш. У него было груш на несколько сотен франков, и он сожалел о невозможности получить несколько редких сортов, скупленных герцогом д'Ажан и герцогом де Люин. Даже садовник из Харлема не мог бы питать к своим тюльпанам столько любви, сколько Бальзак к простым грушам. <...>

С. П. ШЕВЫРЕВ

ИЗ «ПАРИЖСКИХ ЭСКИЗОВ»

ВИЗИТ БАЛЬЗАКУ

I

Бальзак между литераторами Парижа

Ничего нет легче в Париже, как знакомиться с французскими литераторами: все они так любезны, доступны и гостеприимны; но ничего нет труднее, как видеть их вместе. Все люди во Франции имеют места своих сходбищ; для мужей государственных всех партий есть Тюильрийский салон и камеры; для купцов биржа; для людей светских — гостиные Сент-Жерменского предместья и сад Тюильри по пятницам, куда без шляпы, в простом картузе, и войти невозможно; для ученых — Институт; для студентов — трактир «Избушка» (la Chaumière); для пущассардок — рынок невинных (le marché des innocents); наконец, даже для утопленников и самоубийц есть морги: одни литераторы в Париже не имеют приюта!.. И между тем французы народ самый общежительный в Европе!..

Конечно, Академию сорока нельзя назвать местом сбора литературы французской. Эти сорок далеко не составляют и сороковой части пишущего мира Франции. К тому же заседания Академии одни лишь торжественные публичны, а прочие закрыты: Академия только торжествует при всех, а действует тайно. Да и академики — это особый род литераторов; это литераторы в мундирах, *ex officio*¹, при шпагах и по форме; Академия род литературно-присутственного места, где драма, ода, эпиграмма поступают за номером, в протокол; где литератор чиновник и Музы, как инвалиды, на пенсии у государства.

Академия Французская принадлежит к числу тех противоречий, которые вы нередко встречаете в Париже.

¹ Парадных (лат.).

Например, площадь, где камера депутатов и Тюильрийский дворец прежде всего бросаются в глаза, называется площадью Согласия (la Place de la Concorde); король французов, которого дворец есть род охранительной клетки, видит из своих окон в перспективе поля Елисейские (самая остроумная эпиграмма!). Улица *Mura* (la Rue de la Paix) ведет к Вандомской колонне!.. Так, среди этого нового Парижа, который разрушил все прежнее, который дожил до того, что ему все вчерашнее кажется устарелым, который во всем ненавидит обряд и предание, — устояло это полукитайское учреждение, эти мистические сорок кресел, где литератор, как улитка, прикован к месту своего сидения. Что не публично, что не открыто во Франции? Политика, суд, наука, разврат — все на белом дне, все на глазах у народа. Откровенность есть резкая и благородная черта Французской жизни. Одна лишь Академия словесности таит свои заседания; одна она собирается под замок и запирает накрепко двери, как будто непристойный процесс, оскорбляющий нравы... И несмотря на то все еще академические кресла в почете — и теперь¹ мы читаем в газетах, что один из Наполеонов современной французской литературы, сам Виктор Гюго, просится в опустелые кресла, толкается в запертые ее двери!

Академия Французская никогда не может быть центральным местом литераторов Франции. Она противосмысленна ее жизни, откровенной и дневной. Вот почему академики между писателями Франции играют роль ночных птиц между дневными. Если по странному противоречию иным и хочется в эти покойные кресла, — это уже печальный признак того, что они устали, что им пора подремать с другими — и вольное призвание писателя превратить в официальный титул!

Итак, в сторону академиков! Я хочу говорить о живом мире тех писателей Франции, которые рассеяны по всем закоулкам огромного Парижа, и в блестящих его салонах, и на темных чердаках; которые ежедневно на всю Францию и на весь просвещенный читающий мир доставляют по нескольку романов, повестей, рассказов, трагедий, мелодрам, драм, опер, водевилей, критик, отрывков, статей; которые завоевали все книжные лавки и сцены Европы; которые увлекают, волнуют, развращают сердца чтецов своих равно на берегах Сены, Волги и Иртыша — и гражданское существование которых (я разумею права на

¹ Писано в 1839 г. (Примеч. автора.)

литературную собственность) только в нынешнем году признано Парламентом Франции! Эти литераторы не имеют никакой общественной сходки в Париже.

Литературный мир Франции можно сравнить с безлунною зимнею ночью, когда и яркие планеты закрыты случайно облаками, а всего виднее Млечный Путь, утомляющий самого зоркого астронома. Вглядываясь пристальнее, вы, однако, заметите отдельные купы звезд — и в этих семействах свои маленькие солнца, около которых вращаются чуть заметные спутники, более и более теряющиеся в чернильном эфире пишущей Франции. Эти солнца можно перечесть; их имена известны всей читающей Европе: это Ж. Занд, В. Гюго, Алфред де Виньи, Дюма, Евгений Сю и проч. и проч. Но спутников не пересчитает, конечно, никакой самый зоркий Фрауэнгофер критики; это и невозможно: они рождаются всякий день. Все главные солнца литературы французской живут очень далеко друг от друга, и между ними нет почти никаких сношений, так что луч одного не проникает до другого. Всякий из этих господ считает себя маленьким Наполеоном — завоевателем скипетра литературного. Всякий из них имеет свой маленький двор, своих приближенных, которые распространяют славу своего солнца, в надежде, разумеется, образовать со временем свою собственную систему. Потому, чтобы познакомиться со всеми литераторами Парижа, надобно по очереди поклониться всем ее солнцам — и тогда все спутники будут вам знакомы. Но при этом следует поступать очень осторожно, потому что визит, прежде сделанный г-ну Дюма, может быть очень обиден для г-на В. Гюго, и обратно.

Не имея на все эти визиты пустого времени, я, будучи в Париже, желал только познакомиться с двумя литераторами Франции (разумею молодое поколение), к которым питаю уважение личное: это Алфред де Виньи и Бальзак. Первый принадлежит к числу немногих исключений во Франции: он любит искусство для искусства — и посвятил себя ему свободно, по внутреннему призванию. Он написал немного, но то, что написал, вылилось из души полной и чистой, созрело в глубокой думе и довершено с любовью художника к своему делу. Среди литературного разврата Франции муза Алфреда де Виньи, одна, сохранила целомудренную чистоту, нравственный характер и не потворствовала испорченному, наглому вкусу моды.

Бальзак хотя не совсем чист от общего греха — писать для денег, но, конечно, есть один из блистательнейших

талантов современной Франции. Не им ли создан тип совершенно новый в словесности, тип, отвечающий духу времени: это светская *Повесть*, листок из вседневной нашей жизни, род литературного дагерротипа, в котором всякая подробность отмечена ярко и для которого камер-обскурою служит психологическое познание нравов французских и сердца человеческого? — Но вот что странно: Бальзак несмотря на то очень мало оценен в Париже — или потому, что он не понят им, или потому, что он сказал Франции несколько горьких истин. Конечно, никто из новых романистов не проник так глубоко в отечественные нравы — и не открыл столько важных тайн во Французской семейной жизни. Провинции Франции имеют более вкуса, чем самохвал Париж: там Бальзак оценен и читаем преимущественно перед прочими писателями. В Париже его романы радость гризеток и вообще тех чтецов, в которых глубокое чувство природы вернее сохранилось, чем в искусственных холодных салонах щегольского Парижа.

Кроме моего уважения к таланту Бальзака, мне любопытно было взглянуть на физиономию того писателя, который имеет весьма сильное влияние на наше отечество. В России Бальзак, по причине всеобщности Французского языка, почти национален. В этом опять я более верю свежему и чистому чувству моей нации, нежели приторному вкусу оупелого чувствами Парижа. Но отчего же в России такая симпатия особенно к этому писателю, когда читают всех? — Оттого, что в нем много жизни практической, а в России ничто так не привлекает. Бальзаку недостает одного, чтобы стать выше всех литераторов Франции и завоевать скипетр словесности: он не сатирик; он слишком холодно описывает эти современные нравы, в нем есть какая-то апатия, непростительная при такой глубокой истине, вызывающей невольное чувство негодования. Он или сам увлечен веком, который знает, или слишком мало-субъективен и, легко увлекаясь предметами, забывает в них свою личность. Владей Бальзак, при своем глубоком знании нравов и современной жизни, звонким бичом Сатиры — и этот бич в его руке превратился бы, конечно, в скипетр современной не только французской, но и европейской словесности. Европа ждет сатирика, единственно возможного поэта в наше время: в своей холодной апатии она бессильна породить его. Но Бальзак мог бы приготовить ему дорогу, потому что владеет половиною дара, ему нужного.

Что касается до отношений общественных Бальзака к прочим литераторам в Париже, — то, возвращаясь к прежнему сравнению, я назвал бы его оригинальною кометою, которая сверкает на этом Млечном Пути, без спутников, без двора своего. Бальзак чуждается партий, и в разговоре о других своих соотечественниках благородно беспристрастен и исполнен уважения к людям даровитым; наконец, в своем наружном тоне, обычаях, привычках он совершенно выдержит сравнение, потому что оригинальность его простирается до какого-то цинизма, совершенно необыкновенного между писателями Франции. Это Диоген между ними: вот еще одна из причин, почему в щегольском и натянутом Париже он не может нравиться. Ценители его таланта, может быть, не без любопытства прочтут эти страницы, с которых я постараюсь передать оригинальные черты его наружной физиономии, схваченные мною в одно с ним свидание; но прежде, по порядку рассказчика, я должен рассказать:

II

Как трудно в Париже отыскать адрес Бальзака

Некоторые знакомые меня уже предупредили об этой трудности. Были темные слухи о том, что Бальзак скрывается от своих заимодавцев и потому никто не знает, где он живет. Сначала я прибегнул к общему средству, доступному для всякого путешественника. Есть в Париже толстая книга, имеющая адреса всех знаменитостей и незнаменитостей города и носящая звонкий титул книги ста тысяч адресов (*le livre de cent mille adresses*). Менее чем на миллион жителей 100 000 адресов!.. Я отправился к своему книгопродавцу, у которого брал парижские новости, чтобы предложить вопрос мой этой книге, знающей адрес всякого десятого обывателя Парижа. Неужели же Бальзак не будет в числе этих десятых?

Я развернул книгу, которая заключает в себе сначала адреса по занятиям людей, потом общий азбучный список. В первой части, между сословиями банкиров, негоциантов, портных, сапожников, фабрикантов, вы найдете также и сословие литераторов Парижа, под скромным заглавием: *hommes de lettres*¹. Вот единственное место, где собраны

¹ Литераторы (*фр.*).

они вместе, если не лицами, то по крайней мере именами своими. Как же не быть тут Бальзаку? Пробегаю букву Б: напрасно! Но, может быть, аристократическая частица de заставила редактора переместить имя романиста под букву Д ... нет, напрасно!.. Смотрю другие имена: они тут: и В. Гюго (Place royale), и Алфред де Виньи, и Дюма — все тут!.. Прибегаю к алфавитному списку: Balzac charcutier, Balzac cordonnier, Balzac négociant...¹ Но de Balzac, homme de lettres, в книге ста тысяч адресов не существует!

Печально убедившись в этом, я обратился с досадой к книгопродавцу и сказал ему: «Скажите, пожалуйста, неужели г-н де Бальзак не считается в числе литераторов Парижа? Его адреса нет в этой книге». — «В самом деле, это странно, — отвечал он мне; — но хорошо ли вы искали?» — «Я искал везде... Но, может быть, вам как книгопродавцу это известнее. Не знаете ли вы его адреса?» — «Я не его издатель — и не в силах удовлетворить вашему желанию. Но могу указать вам одну книжную лавку, где вам это, я думаю, скажут». — «А где эта лавка?» — «Недалеко отсюда, на Биржевой площади, Place de la Bourse, направо... la librairie de l'Université»².

Я туда... Нахожу лавку... Обращаюсь к книгопродавцу с тем же вопросом, но от него получаю тот же ответ отрицательный... Однако, к счастью моему, в этой лавке сидел какой-то гость, принявший участие в моей надобности, и вступил со мною в разговор. «Вам очень будет трудно, даже невозможно отыскать парижский адрес г-на де Бальзака, потому что он не живет в Париже, а за городом, в местечке Пасси, приезжает сюда очень редко по делам своим, и ненадолго. Всего лучше — обратитесь за этим к издателю его сочинений: он один знает его адрес и вам скажет». — «А где живет его издатель?» — «Rue des beaux arts, № 5».

Поблагодарив услужливого неизвестного, я решил тотчас же по этим следам искать Бальзака, как будто неотступный его заимодавец. Препятствия еще более завлекли меня разгадать тайну его адреса. Я поехал в Rue des beaux arts, к издателю бальзаковских сочинений, к тому самому Суверену, которому Бальзак, как известно, закабалил вперед свое авторское дарование. Я застал его в маленькой тесной комнатке, за скромным обедом, с семьей. После извинений в том, что я беспокою его во вре-

¹ Бальзак колбасник, Бальзак сапожник, Бальзак торговец (фр.).

² Университетская лавка (фр.).

мя семейной трапезы, я обратился к нему со своим вопросом.

«А позвольте мне узнать, — отвечал он мне другим таинственным вопросом, — зачем вы хотите знать адрес г-на де Бальзака? *Pardonnez-moi cette question indiscretè*»¹.

Я объявил ему себя — и прибавил, что не имею в этом никакой другой цели, как узнать писателя, которого талант уважаю и который производит большое влияние в моем отечестве.

Тут тон его переменялся — и я мог догадаться, что он сначала подозревал во мне, может быть, какого-нибудь заимодавца Бальзакова, имеющего на его адрес опасные виды.

«А! если это так, — продолжал он, — мне не угодно ли вам написать записку к г-ну де Бальзаку и объявить ему о вашем желании? Я ручаюсь вам в том, что ваша записка будет доставлена верно и что через несколько дней вы получите непременно ответ, в котором г-н де Бальзак вам откровенно скажет, может ли он вас принять или нет?» — «О, как я благодарен вам за вашу любезную услужливость! Я завтра же доставлю вам эту записку и прошу вас покорнейше быть верным вашему слову». — «Но зачем же вам два раза ко мне ездить? Вы можете это сделать сейчас: вот мой кабинет; здесь вы найдете все, что вам нужно для письма, и записка ваша завтра же будет доставлена».

Конечно, нельзя быть любезнее, как г-н издатель Бальзаковых сочинений. Я воспользовался приглашением, вошел в кабинет, написал записку и оставил ее услужливому книгопродавцу вместе со своей карточкой. — «Дня через два или через три я обещаю вам ответить». — «Заранее благодарю вас».

В моей записке я сказал Бальзаку, что не имею никаких других прав на его гостеприимство, как звание иностранца, питающего к его таланту личное уважение, и имя Русского, принадлежащего стране, на которую он своим дарованием производит влияние сильное. Дня через три я получил очень любезный ответ.

«Monsieur,

La République des lettres a des usages, auxquels se soumettent les existences les plus occupées. Je suis jusqu'à mercredi prochain à la campagne, où j'aurai l'honneur de vous recevoir. Vous appartenez à un pays qui a bien des droits

¹ Простите меня за этот нескромный вопрос (*фр.*).

à mon estime et à mon admiration, et je pense que vous venez du pays.

Agrées mes compliments...

De Balzac.

Aux Jardies, à Sevres, Chemin vert, pres le parc St-Cloud»¹.

Наконец я имел в руках этот адрес, который мне стоил таких поисков.

III

Бальзак-помещик

Через день по получении записки, взявши фиакр, я отправился в деревню к Бальзаку. Приезжаю в Севр, спрашиваю прохожих и обывателей: где Chemin vert, aux Jardies? Никто не знает. Кучер мой догадался обратиться к трактирщице местечка, потому что такого рода люди более сведущи в подробностях местных. Я пересказал ей адрес, но она задумалась и никак не могла отвечать на мой вопрос. Я решился на всякий случай сказать имя Бальзака, и тут моя старушка, с веселым видом, разрешила все мои недоумения и рассказала кучеру, как надобно проехать через местечко Овре (Auvray), где поворотить, где спросить, и заключила словами: «Et puis, lorsque vous y serez, vous n'avez qu' à demander, tout le monde vous le dira... M-r de Balzac est très connu par là... c 'est un *propriétaire!*» (Как вы там будете, только спросите: вам всякий скажет: г-н де Бальзак там очень известен: он *помещик!*) Последнее слово меня немного разочаровало; я было сначала душевно обрадовался народной известности литератора, которого и с к а л , — но слово: *помещик* — разогнало все мои мечтания.

Поворотив направо из Севра, мы ехали рядом прекрасных дач, утопавших в роскошной и душистой зелени весны. Кучер по временам обращался с вопросами к прохожим, и все указывали, что надобно ехать далее. Встретилось трое работников: на вопрос кучера в три голоса

¹ Республика словесности имеет обычаи, которым подчиняются люди самые занятые: до будущей среды я остаюсь в деревне, где буду иметь честь вас принять. Вы принадлежите стране, которая имеет много прав на мое почтение и удивление. Я думаю, что вы из нее... *Де Бальзак.*

В Жарди, в Севре, Зеленая дорожка, близ парка Сен-Клу.

отвечали они и в три руки указали, в правой стороне, на поместье г-на де Бальзака, которое наконец открылось глазам моим.

Среди большого пустыря, на покатоности горы, я увидел высокий домик, строенный башенкой, весь новенький, с иголочки, готической архитектуры... Ландшафт, его окружавший, был довольно разнообразен; лес оттенял небо-склон; по пустырю живописные сосны поднимались к небу; неровность почвы придавала живость картине. Моя каретка остановилась у дороги, ведущей к дому; кучер отказался везти далее, потому что вся она была избита и изрыта ухабами... Но оставалось несколько шагов до дома. Я пошел пешком. Эту зеленую дорогу можно бы было скорее назвать дорогой грязной.

Подхожу к воротам — и на верху их читаю надпись: «Aux Jardies». Она подтвердила мне, что я не ошибся. Вхожу в калитку на открытый двор, среди которого стоит дом и влево флигель. По двору ходило двое... Подалье молодой человек, длинноволосый, в сюртуке, с открытой головой и шеей... Поближе ко мне другой, старше первого, в соломенной шляпе с большими полями, в длинном-предлинном белом канифасном сюртуке, который широко развевался кругом его довольно полного тела... Из-под шляпы сверкали черные, быстрые глаза и горели розовые, полные щеки человека, как бы запыхавшегося от дел хозяйских... Несколько работников суетилось по двору... Я обратился к канифасному сюртуку с вопросом о том, здесь ли живет г-н де Бальзак? — и получил в ответ: «C'est moi, Monsieur»¹.

Тут внимание мое от белого халата-сюртука обратилось на живую, выразительную физиономию писателя, который стоял передо мною в сельском неглиже, как помещик, занятый стройкой своего дома. Я застал его не в гостиной, не в кабинете, не с пером в руках, но среди сует и мелочей той жизни практической, которую он же сам так искусно описывает.

Я напомнил ему о записке — и объявил свое имя. После обыкновенных учтивостей и фраз первого знакомства Бальзак сказал мне: «Прошу вас об одном условии: быть со мною без церемоний — и извинить меня, что я принимаю вас среди хлопот и в беспорядке моего хозяйства. Вы меня увидите, как я есмь. Но пойдемте ко мне в дом, в мою библиотеку». Отдав несколько приказаний работникам,

¹ Это я, сударь (*фр.*).

бывшим на дворе, и велел одному из них за ним следовать, он повел меня во флигель своего дома. По лестнице взошли мы в небольшую комнату, в которой стены были уставлены шкапами красного дерева, а весь пол завален книгами, по большей части богато переплетенными. Тут лежала вверх дном вся библиотека Бальзака.

В комнате стояло два стула, но и те были заняты книгами. Вежливый хозяин сам очистил место своему гостю — и просил меня сидеть в шляпе. Снова очень мило повторил он мне свои извинения в том, что меня так принимает. «Прежде всего будем искренни: искренность — лучшее качество. Вот видите ли вы этого человека? — сказал он, указывая на работника. — Это Провансаль, мой столяр. Он может мне служить только до трех часов, а после уйдет: его и не сыщешь. Я тороплюсь ужасно: мне надобно устроить сегодня эти шкапы. Графиня N. обещала у меня обедать на будущей неделе, а мой дом до сих пор не готов. Но вы увидите, как пойдет все дело прекрасно: мы будем и работать и разговаривать...»

— Я благодарю вас уж за то, что вы меня приняли при ваших хозяйственных суетах, — отвечал я Бальзаку, — и прошу вас, без извинений, продолжать ваше дело. Что это у вас за комната? Проект кабинета?

— Нет, это библиотека — и вместе обеденная зала. А ведь не правда ли, хороша мысль — сделать из библиотеки обеденную залу?

— Да, отчего ж не так?

— Провансаль, вставляй же доски, а ты, мой милый Grammont (длинноволосый приятель Бальзака был уже в комнате), помогай мне искать книги!..

Между тем Бальзак скинул с себя соломенную шляпу, свой канифасный сюртук-халат, свои туфли и начал ходить по книгам, искать их, носить, уставлять, продолжая со мною разговор и давая изредка приказания Провансалью.

Тут я имел случай, наблюдая его, напечатлеть черты его в своей памяти... Толстенький, кругленький человек небольшого роста, на коротеньких ножках; грудь и плечи широкие; короткая шея; лицо овальное, румяное, полное, свежее, несколько загорелое от сельской жизни; черные волосы, коротко остриженные; глаза того же цвета, беглые, живые, с огнем, который загорается при одушевленном разговоре; нос прямой и округленный... Физиономия вообще одушевленного сангвиника, который жадно ловит впечатления внешние и более живет в природе, чем внутри себя. Во всех движениях его необыкновенная быстрота

и живость; речь звонкая и скорая; смех простодушный, сердечный, искренний. Всем своим внешним бытом, особенно последнею чертою яркого смеха, своим остроумным, беглым разговором и наивною непринужденностью он много напомнил мне нашего Пушкина.

О наружном цинизме Бальзака меня предупредили... Он и сам прежде всего начал с искренности... Потому я без удивления смотрел, как он, в рубашке довольно запачканной, полуодетый, в чулках без туфель, наблюдая руками равновесие, ступал по спинкам своих книг... То выбирая взглядом разрозненные томы писателей в одну кучу, то отдыхая от своей работы, он продолжал со мною очень живой разговор, из первых вопросов которого можно было заметить зоркого наблюдателя нравов.

IV

Разговор с Бальзаком

Его любопытство обратилось сначала на место, которое я занимаю, — и он предложил мне об этом некоторые вопросы. «Скажите, ваше звание как профессора соответствует у вас чину?» — «Да, оно сопряжено с почетным чином». — «Военным?» — «О нет, гражданским!» — «Но у вас все звания стоят на лестнице чинов, как в Китае, с той разницей, что у вас чины военные, а там ученые?» — «Отчего ж как в Китае и почему военные! У нас есть чины, как в Германии, откуда мы их заняли, и профессор может быть надворным советником — и по отличию дойти даже до превосходительства». — «А! так это не военный чин, в котором вы считаетесь?» — «Ученая служба принадлежит к гражданской части. Я не мог бы быть военным теперь, если б и захотел, выключая разве милиции, но это в военное время. Во Франции профессора гораздо более на ноге военной. Я хотел быть на лекции у Гиньо, переводчика Крейцеровой Символики, который преподает древнюю географию... Вдруг читаю записку, что профессор не будет читать лекции, потому что должен быть под ружьем, в карауле. Профессор под ружьем, в карауле! (Un Professeur montant la garde.) Это дело у нас неслыханное, и я первый пример этого видел только в Париже!..

— Сколько профессор получает у вас жалованья?

— От 4500 до 6500 франков в год.

— А! в самом деле! Это хорошо. Это лучше, чем у нас. Я знаю в Париже некоторых профессоров Коллегиума,

людей очень достойных, которые получают всего-навсего 1200 франков в год и должны этим кормить себя и свою науку. Давно ли вы путешествуете?

— Скоро будет год, как я оставил Россию.

— Но разве у вас даются такие долгие отпуска?

— Я не имею еще кафедры профессора ординарного и путешествую с целью усовершенствования. У нас ординарные профессора читают, адъюнкты (*les suppléants*) путешествуют, приготавливаясь к поприщу; у вас в Париже обратно: читают адъюнкты, а профессора ничего не делают, или заседают в палатах, или министерствуют...

— Да, это правда... и получают жалованье, заставляя своих адъюнктов читать за малую плату!..

— Я слышал, что вы имеете намерение посетить Россию. Правда ли это? Мы давно вас ожидали. Однажды разнесся слух, что вы в Одессе и даже в Москве. Русские дамы были особенно нетерпеливы вас видеть.

— Да, я имел это намерение и теперь еще имею. Оно может исполниться, особенно тогда, когда закон о литературной собственности во Франции, о котором теперь рассуждают, пройдет через обе палаты. В таком случае, общество литераторов намерено было отправить меня депутатом в Россию для того, чтобы отнестись с просьбою к высшей власти об учреждении взаимности этого закона между обоими государствами!

— А вы знаете ли, что этот закон о литературной собственности, о котором у вас только начали спорить, уже несколько лет существует в России и им давно пользуются литераторы или их наследники?

— Да, я это слышал. Но нет взаимности между государствами, а вот чего бы нам хотелось.

— Но я не понимаю, к чему вам эта взаимность с Россией? Вам надобно бы учредить ее с Бельгией. Вот ваш подрыв — и отсюда все ваши убытки.

— Да, это правда. Но дело в том, что если Россия нам обеспечит право взаимности, тогда уж с Бельгией нам легко будет справиться.

— А если это так, то поездка ваша могла бы иметь богатые следствия. Вы же имеете особенное право на эту взаимность, потому что мы вас считаем почти нашим писателем: все ваши сочинения так рассеяны и так известны во всей России.

— Вот видите ли? До тех пор, пока этот закон о литературной собственности во Франции не будет утвержден на прочном основании и распространен взаимностью в держа-

вах Европы, — до тех пор французский литератор будет человеком самым жалким и несчастным, как он есть теперь! (Le litterateur français restera l'homme le plus misérable, comme il l'est maintenant.)

— Помилуйте! что вы говорите? Я в первый раз еще слышу о несчастном состоянии литераторов Франции.

— То, что я вам говорю, есть совершенная истина. Я сам еще недавно был в таком положении, что готов был ехать в Россию — просить у вашего Государя место канцеляриста в каком-нибудь суде (garçon de bureau) — так приходилось мне плохо!

— Вы — M. de Balzac garçon de bureau в России!.. Вы, право, шутите?..

— Но все литераторы наши не в завидном положении; все лучшие умы Франции, посвящающие труды свои одной литературе изящной, страдают, терпят нужду... Виктора Гюго разоряет его Жюльета (Victor Hugo est rongé par sa Juliette)... Евгений Сю живет тем, что напишет... Он не имеет существования независимого, обеспеченного... Густав Планш... О! я бьюсь об заклад об чем угодно, что теперь у Густава Планша не будет тридцати су в кармане... Держу пари, какое хотите...

— Но вы открываете мне новости, которые для нас были до сих пор тайной. Я вижу по этому, что литературные дела гораздо лучше идут в России, чем во Франции! У нас писатели независимее и получают больше.

В своем разговоре Бальзак, конечно, разумел не политических литераторов, а тех только, которые возделывают поле художественной словесности. Что касается до политической литературы, то, без сомнения, это есть одна из самых выгодных отраслей промышленности французской. Кому не известно, какие огромные суммы получали Шатобриан и Тьер за свои сочинения. Сколько литераторов в Париже живет одними фельетонами газет политических! Каждый из них считает за нужное прикрепить себя непременно к какой-нибудь газете и быть ее поставщиком. Политика во Франции выносит одна на сильных плечах своих и так называемую изящную литературу. Она кормит все пишущее; она тот насущный хлеб, о котором должны молить писатели Франции. Она и на кафедре профессора, мешая науке, сзывает толпу студентов; она и в театре бормочет сквозь зубы, сжатые строгостью цензуры; она и в журнале мод острит булавки! Она везде. В политических газетах литературные статьи Жаненя, Филарета Шаля, Сент-Бева служат только роскошною, лишнею при-

правую существенной их пище. Это то же, что hors-d'oeuvre¹ в пышном обеде, что дивертисмент при трагедии в пять актов... Газеты политические во Франции держат у себя поставщиков литературных точно так же, как паши на Востоке — арапов-плясунов, которые во время отдыха послеобеденного забавляют их от нечего делать.

Я уверен, что Бальзак сказал мне правду, несколько не увеличенную... Он один из тех немногих писателей, которые удаляются от мира политического и живут в свободной, чистой атмосфере словесности. Он также не бросается на сцену, которая во Франции есть род трибуны и потому доставляет больше выгод². Виктор Гюго, смиренный и чувствительный в своих лирических произведениях, неистовствует на сцене затем, чтобы сзывать толпу, которая сыплет рукоплескания и деньги.

Что касается до желания Бальзака учредить взаимность литературной собственности между Россией и Францией, я думаю, что он или помнил при этом издателя Revue Etrangère в Петербурге, который перепечатывал его повести, или метил еще далее. Ему известно, как французский язык распространен в России, по всем концам ее, и какой огромный сбыт для книжной торговли она предлагала бы французам, если бы Бельгия не отнимала у них литературной собственности.

Моему патриотическому самолюбию льстило замечание Бальзака. Россия привыкла делать бескорыстное, христианское добро другим государствам: она в политическом мире всякому отдала свое, без возмездия и даже без благодарности, чтобы не сказать хуже, слыша около себя бранчивое жужжание маскированных демагогов, которые, не смея осуждать действия своих правительств, выбрали наше отечество целию своих нападений...³ И в литературе подвиг учреждения взаимных прав между народами ожидает со временем сильного влияния России.

К тому же, если есть страна, призванная на то, чтобы олицетворить у себя великую мысль, которую завещал Гете, о всемирной литературе, то это, конечно, будет Россия. В нее стекаются влияния всех народов — и им не мешают закоренелые предрассудки преданий; в ее неизмеримости раздаются все языки Европы и Азии, в живых

¹ Закуска (фр.).

² Припомню опять, что писано в 1839 г. С тех пор Бальзак успел быть адвокатом, пускался в политику и на сцену. (Примеч. автора.)

³ Писано в Германии. (Примеч. автора.)

звуках; в ее собственном языке заключается все музыкальное богатство, рассеянное порознь в языках европейских; с каждым годом ввоз книг иностранных на всех образованных языках мира растет более и более! Все это должно иметь последствия. А при таком призвании, конечно, в России может зародиться мысль о гражданском устройстве литературных прав между народами. Сил же не неостанет к ее исполнению.

Любопытный разговор наш прерван был восклицанием Бальзакова приятеля, который жаловался на комаров, его кусавших.

Бальзак живо обратился к нему с замечанием:

— А знаешь ли ты, что кусают только самки между комарами, а не самцы? — им нужна кровь для того, чтобы кормить свои яйца!

— Скоро ли явится ваше новое произведение, которое недавно было объявлено? — спросил я Бальзака.

— Через неделю непременно. Сегодня только я его кончил. *J' ai posé ma plume*¹. (Это был роман Бальзака: *un grand homme de province à Paris*².)

— Но эта суэта хозяйствования не мешает ли вашим литературным занятиям — или, может быть, вам они нужны как отдых от трудов ума?

— О, мне это совсем не мешает. Всю эту зиму я только и делал, что строил этот дом, который вы видите, и писал. Да, я ужасно устал этою зимою. Я много работал. План мой велик. Я намерен обнять всю историю современных нравов во всех подробностях жизни, во всех сословиях общества. Это составит 40 томов. Это будет род Бюффона нравоописательного для всей Франции. Что, в России литература делает ли успехи?

— Да, она идет вперед. Роман и повесть у нас, как и везде, господствует над прочими родами поэзии.

— Так должно быть: эти два типа только и возможны в наше время.

— И должно прибавить, что тип повести, вами созданный, имел у нас особенный успех и господствует над другими.

— О, я ничего не создал!..

— Позвольте мне сказать вам, что вы или слишком скромны, или теперь сказали не то, что думаете, изменяя вашему слову быть со мной искренним...

¹ Я отложил перо (фр.).

² «Провинциальная знаменитость в Париже» (фр.).

Эта скромность Бальзака заставила меня менее говорить о его произведениях. Французы обыкновенно любят комплименты и ждут их от иностранцев; но в нем я заметил противное. Вот почему я не говорил с ним об его романах, чтобы не приводить его в замешательство и не мешать его разговорчивости. Зато после он стал откровеннее — и свободно выражался о самом себе.

К чему-то в разговоре с своим приятелем он заметил:

— А! я сказал неправду. Это нехорошо. Для историка оно было бы еще простительно, но для романиста никуда не годится. В романе более правды, чем в истории.

— Не потому ли, что историк не смеет отгадывать прошедшего, а романисту это возможно? — сказал я.

— Да... но романист, имеющий дело с настоящим, должен только наблюдать и списывать. Вот мое дело. Я также историк, но историк современного. То, что сделал В. Скотт для средних веков, мне хотелось бы, по силам моим, сделать для жизни настоящей.

— Однако ты не всегда поступаешь, как В. Скотт, — сказал Grammont. — Он представлял женщину везде такую, как она быть должна...

— Да, я не церемонюсь с нею — и пишу ее такую, как она есть в самом деле.

— Дамы Парижа не сердиты ли на вас за верность портретов? — спросил я.

— О, нисколько! Я у них в милости.

— Что касается до русских дам, я вам за них ручаюсь.

— Да, мне хотелось бы увидеть ваше отечество, — сказал Бальзак. — Это должно быть что-нибудь необыкновенное. Отчего вы все так хорошо говорите по-французски?

— Может быть, это тайна нашего собственного языка, который объемлет в себе звуки всех языков европейских. Кроме того, мы изучаем языки иностранные с детства. Я привез вам экземпляры двух произведений на вашем языке, изданных русскою дамою.

— Очень вам благодарен. Я об них уже слышал и читал много хорошего... Этот перевод *Иоанны д'Арк* Шиллера... Мне это очень любопытно... Grammont! ставь книги теснее, а я между тем отдохну от своей работы, — продолжал Бальзак, садясь на стул возле меня. — Да, много надобно для романиста. Знаете ли, чего мне стоит эта библиотека? По крайней мере 60 000 франков. Вон там на камине вы видите полное собрание всех мемуаров, относящихся к революции. Теперь это очень редко. А там внизу четыре больших тома: это карикатуры 1830 года.

— Превращение груши, конечно, тут.

— Разумеется; но знаете ли, что теперь все это у нас уже необыкновенная редкость? Но у меня еще недостает Монитера. Однако я куплю его непременно. Он, полный, стоит 1500 франков.

— А на что он вам нужен?

— Он мне необходим для изучения нравов военной жизни и нашей трибуны... Его материалы войдут в моего нравоописательного Бюффона...

Бальзак развернул фолиант с карикатурами и, пересматривая их возле меня, указывал на многие лица, как будто ему знакомые... Происшествия из жизни, ему современной, развивались снова перед ним, и он от чистого сердца простодушно смеялся над ними...

Поблагодарив Бальзака за искренний прием его, я простился с ним и спросил, не позволит ли он мне объявить приезд его в Москву?

— Да, может быть, если общество литераторов пошлет меня для нашей цели.

Несмотря на мои отговорки, он непременно захотел проводить меня по двору и указать мне с опытностью сельского жителя, как пройти, не загрязнившись, до моего экипажа. Мы вышли за ворота. Бальзак, в своем сельском неглиже и в туфлях, присел очень живописно на столбике у калитки своего дома и так продолжал еще со мною прощальный разговор свой:

— До Москвы или до Парижа, — во всяком случае, до свидания. Никогда не надобно прощаться иначе!.. — были последние слова его.

Мы расстались. Если бы я владел карандашом, я нарисовал бы его так, как он теперь рисуется еще в последнем впечатлении моей памяти: полный, румяный, свежий житель сельский, с сверкающими глазами, склавши руки, положив ногу одна на другую, полуодетый, нечистый, с открытой грудью, без шляпы, на столбике, у калитки новотесаных ворот своих, перед грязной дорогой, называемой *Chemin Vert*... Так оставил я первого романиста Франции.

Наивность, почти циническая, особенно в нашем натянутом веке, есть первая черта в наружной физиономии Бальзака. Среди щегольского Парижа, раздушенного, напوماженного, с длинными, прибранными локонами, которого атрибуты (если изобразить его статуей) будут — белые пластические перчатки, шляпа, блестящая лоском, и сапоги, лаком отражающие солнце, — такой литератор-

Диоген, на зло всем портным столицы бродящий неряхой в passage de l'Oréga, еще поразительнее. — Всякий француз любит перед вами показаться, принять позу, овладеть вашим мнением, ослепить вас, дать вам больше, нежели сколько у него есть... Не таков Бальзак: он противосмыслен жизни парижской; ему нет дела до вашего мнения; он готов явиться перед вами так, как создала его природа. «Вы, — по его же словам, — видите его так, как он есть».

Но эта наивность, сомнительная в наше время, не есть ли также род позы, искусно принятой и поддержанной силою созданного таланта? — Человека не проникнешь в одно свидание; но как бы то ни было, а Бальзак — или дитя природы, или самый умный из французов, который, скинув пошлую маску национальной искусственности, надел другую... маску природы...

Эти черты наружной физиономии Бальзака, слегка наброшенные, может быть, сколько-нибудь помогут разгадать его характер как писателя...

**ИЗ КНИГИ
«БАЛЬЗАК. ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»**

Я имел честь быть представленным владельцу поместья Жарди весной 1839 года госпожой Жобе де Линьи, умной и талантливой женщиной, к которой Бальзак испытывал самые дружеские чувства.

Мой визит имел целью заручиться согласием знаменитого писателя печататься в международном литературном сборнике «Альманах всех стран», который я намеревался издавать вместе со своим другом Георгом Карстенсеном, датским литератором и полиглотом, состоявшим в постоянной переписке с самыми выдающимися писателями Германии, Англии, России, Скандинавии, Испании и Италии.

Я показал Бальзаку пробный оттиск нашего объявления и ознакомил его с полученными со всех концов Европы многочисленными письмами, в которых выражалось желание с нами сотрудничать. Он полностью одобрил наш замысел, разрешил включить свое имя в список французских авторов альманаха и обещал написать статью для второго номера.

Выслушивая слова благодарности с моей стороны, он заметил, что я разглядываю его, пожалуй, слишком пристально.

— Так, так, молодой человек, — вдруг сказал он. — Вы изучаете мою физиономию? Вы правы, при нашей профессии необходимо наблюдать... Не правда ли, вам кажется удивительным, что под столь грубой оболочкой могут зарождаться изощренные замыслы и отточенные идеи?..

И действительно, я с любопытством рассматривал прочно скроенную коренастую фигуру великого мыслителя, его могучую шею, мощные, как у держащего небесный свод Атласа, плечи и налитые силой короткие мускулистые

руки, кисти которых, с тонкими и гибкими запястьями, были редкого изящества и белизны. Я едва осмеливался смотреть ему в глаза, настолько сильное впечатление производил на меня их живой блеск. Но в его губах, подбородке, во всех мягких и гармоничных очертаниях нижней части его лица сквозило столько доброты, что я мало-помалу ободрился.

Он сел в стоявшее у окна кресло и позвал нас:

— Идите, идите же сюда посмотреть на золотые точки в моих глазах. Вы, наверное, о них слышаны... Солнце должно сейчас хорошо их освещать.

Я приблизился и действительно заметил ярко блестящую в солнечном луче золотисто-желтую точку, отчетливо выделяющуюся на черном фоне зрачка. Затем мне было позволено внимательно рассмотреть разрез его глаз и пластику его висков и великолепного, необычайно выразительного лба, в котором, однако, не было ничего от олимпийского величия. Я не чувствовал себя в присутствии божества, но был уверен, что вижу перед собой человека, превосходящего остальных смертных.

Внезапно он быстро поднялся с кресла, смеясь своим добродушным смехом уроженца Турени.

— Ха, ха! — воскликнул он. — Довольно забавляться! Раз уж вы здесь, то вы останетесь разделить со мной ужин. У меня есть такая баранья ножка, мм!..

Поблагодарив его, я отклонил это предложение.

Но он прервал мои любезные речи:

— Ах вот оно что! Вы, значит, считаете меня вульгарным амфитрионом, вы думаете, что я как деревенский житель глупейшим образом предлагаю вам бесплатный ужин? Так нет же, я твердо намерен взять с вас за это плату! Хе, хе!

Я был немного озадачен.

— Да, — весело продолжал он, — вы поможете мне перенести вещи.

При этих словах меня охватило сильное разочарование.

— Нет ничего более прозаического и серьезного... Я получил уведомление о том, что завтра придут наложить арест на мою мебель, и мне хочется, чтобы этому шалопаю судебному исполнителю не оставалось бы ничего другого, как составить акт о моей несостоятельности. Посему этой же ночью я собираюсь спрятать все имущество в доме моего садовника. Этот славный малый готов перетащить под моим присмотром все тяжести, но для того, чтобы перенести ценности, безделушки, книги и рукописи, нужна

помощь людей образованных и знающих толк в таких вещах, так что я чрезвычайно рад иметь вас в своем распоряжении... Итак, решено, ночь вы проведете здесь.

Я долго извинялся, ссылаясь главным образом на то, что семья будет испытывать беспокойство.

— Ах, да! — сказал Бальзак с заметной ноткой горечи. — Семья, семья! Она стесняет вашу свободу, ограничивает вашу независимость, лишает вас удовольствия помочь другу!.. И вместе с тем как это прекрасно — семья! Это самое почтенное из наших общественных установлений, последние узы современного мира и, быть может, последняя из его религий!

Я ушел от него под сильным впечатлением этого двухчасового визита. Мне предстояло снова встретиться с ним лишь три года спустя.

ИЗ КНИГИ
«СТРОПТИВЫЕ»

Однажды известный критик Планш отправился к Бальзаку на улицу Ришелье; проникнуть в дом можно было только хитростью. Ради того, чтобы добраться до лестницы, потребовалась вся ловкость и изобретательность Филиппа, и все равно мул с золотом не прошел бы, — во всяком случае, в те времена, — не знаю, был ли великий романист всегда таким недоступным. Критик и романист весьма подходили друг к другу.

Известно, что ранее Бальзак приглашал к себе Планша, желая его привлечь к своей «Кроник де Пари». И именно в тот день, по всей вероятности, читал ему, угадайте, что? Комедию! Комедию, которая никогда не увидела света, а впрочем, никогда и не была закончена. Если память не изменяет мне, она была в стихах. Сопоставьте-ка это со взглядами Бальзака на поэзию и скажите, что я заблуждаюсь. Но я полагаю, да простит меня бог, что говорю истинную правду.

Великий критик знал пароль. Он вступил в переговоры, назвал себя, сказал, что идет к г-ну Гийому, — Бальзак жил под этим именем, — его впустили. Бальзак пожал руку своему соавтору по «Кроник де Пари» и, схватив какую-то рукопись, начал читать вслух. Каково было название, сюжет, была ли это проза или стихи? И на этот раз я не располагаю сведениями. Затем Бальзак пригласил гостя отобедать.

— Охотно, — отвечал слегка утомленный Планш.

Он рассчитывал, что обед состоится здесь же, на стоявшем посредине комнаты столе.

Но нет — они спускаются вниз.

— Приятного аппетита, господин Гийом, — с поклоном желяет прислуга.

— Благодарю, — отвечает Бальзак, подталкивая вперед Планша, и они отправляются к Вери.

Состоялся обед, достойный Сарданапала. Графины с вином из Констанцы, рейнское вино, все необычайно дорогое, — рассказывая об этом, Планш не мог удержаться от смеха.

Великий критик делил мясо — романист делал то же самое с миром и уведомлял об этом собеседника.

— Хотите посольство в Константинополь? — вопрошал он, держа за пуговицу П л а н ш а . — А может быть, вас больше устраивает министерство народного просвещения? К несчастью, я кого-то туда уже направил. Ну, мы это уладим. Еще остается Испания, это вам не подходит?

— Очень даже подходит, — отвечал Планш, облизывая пальцы и попивая дорогое вино.

Наконец через Кейптаун, Венгрию и Рейн, трюфели и фазана они добрались до конца пути.

— Платите, — сказал Планш, нащупывая трость, — ив дорогу, я еду в Константинополь.

— Поторопитесь, времени у нас в обрез, — заметил Бальзак. — Гарсон, счет!

Принесли счет. Колоссальная цифра! Ведь пили такие дорогие вина!

Бальзак прочел счет, опустил его в карман, взялся за шляпу:

— Идем?

— А счет? Надо оплатить счет! Гарсон ждет.

— Оплатить? Но у меня нет денег.

— Вы забыли кошелек?

— Дело не в этом, вот уже неделя, как у меня в кармане пусто.

— Вы с ума сошли.

— Успокойтесь, Бюиссон поправит дело. Гарсон, следуйте за мной. Мадам, через четверть часа вам будет заплачено.

И счет был оплачен. Бедняга Бюиссон подчинился: Бюиссон был портным Бальзака. Писатель задолжал ему чрезвычайно много, так много, что тот содержал его. Бюиссон, а не кто другой, поставил охрану у двери Бальзака, Бюиссон оберегал своего должника от других кредиторов, Бюиссон оплачивал все безумства великого писателя, его прогулки в карете, его обеды у Вери. Планш часто рассказывал нам о любимых развлечениях Бальзака, сказочных развлечениях, и о проектах, и о системах. Особенно занимала Бальзака политика. Щедрые предложения, которые он сделал П л а н ш у , — посольство в Константинополь, министерство и т. п. — возобновлялись неоднократно. Он мог позвонить в дверь в два часа ночи, разбудить вас, собрать ваше белье, приготовить сапоги. Надо было срочно ехать в Боснию, в Китай, в Перу! Зарабатывать миллионы, завоевывать империи, переделывать мир!

ИЗ КНИГИ

«ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СИЛУЭТЫ»

Однажды, будучи в Неаполе, я пробежал, рискуя воспалением легких, всю улицу Толедо до самого низа, чтобы увидеть проезжавшего в карете английского романиста Вальтера Скотта. Сделал бы я то же, чтобы узреть черты г-на Оноре де Бальзака, чья слава уже гремела в Париже? Не думаю, и, если бы случай не устроил нашей встречи, я так и не увидел бы его — кроме как на гравированном портрете.

Это произошло около 1840 года на вечере, устроенном одним знакомым мне любезным русским дворянином, который сочинял довольно милые романтические стихи по-французски, подобно деду своему, графу Шувалову, писавшему очень выразительные стихи в строго классическом духе — в прославление Вольтера. Русские всегда были большими поклонниками французской поэзии. На этот вечер было приглашено много литераторов, и среди них обращал на себя внимание крупный человек с могучей головой и короткой талией, во фраке с позолоченными пуговицами и с великолепной тростью в руке, который говорил, жестикулировал и крутился, как волчок. Это был г-н де Бальзак.

Некоторое время я следил за ним глазами, смотрел, как он переходит от одной дамы к другой, громко говорит и сам смеется своим словам с очень довольным видом. Подойдя наконец к кружку мужчин, он оказался возле большого стола, на котором лежало множество газет и брошюр. Оглядев его, он взял одну книжечку, но, прочитав заглавие, бросил ее обратно со словами: «Какая нелепость!» Это была пользовавшаяся тогда шумным успехом драма Альфреда де Виньи «Чаттертон».

Г-н Леон де Вальи, друг де Мюссе, стоявший вместе со мной у этого стола, очень вежливо отозвался на слова рома-

ниста, спросив его, чем заслужила драма такой эпитет. Бальзак воспользовался предложением, чтобы напасть на ее автора и на поэтов вообще.

— Как, — говорил он, — история дает вам нелепого отвратительного мальчишку, плагиатора, чудовище сомнения и неблагодарности, а г-н де Виньи делает из него благородного джентльмена, чувствительного героя, который проводит время в уходе за женой своего хозяина и, чтобы не трудиться, кончает с собой, который, умирая, раздражается целым потоком глупых речей против общественного порядка своей страны. Это трижды фальшиво и нелепо.

Г-н де Вальи отвечал на это, что не все одаренные воображением люди имели счастье родиться в семье английского пэра и многим из них пришлось с самого начала отчаянно бороться. Он добавил еще, говоря об изменении исторического типа, что поэт имеет право переделывать реальные факты и показывать их с своей точки зрения, что подлинный художник не тот, кто изображает природу точно такой, какова она в действительности, а тот, кто идеализирует ее, и по этому поводу довольно резко напал на сторонников точно-мелочного воспроизведения безобразных сторон жизни. Бальзак принял эти последние слова как нападки на его творческую манеру и стал энергично возражать, так что спор превратился в настоящую дуэль и вокруг противников собралась значительная группа гостей.

Бальзак проявил поистине раблезианский пыл и красноречивую выразительность, доходившую иногда до грубости. Г-н де Вальи, искусный насмешник, прекрасно владевший собою, осыпал своего противника колкими ироническими репликами. Романист явно отступал, он чувствовал это и стал искать взглядом среди присутствующих кого-нибудь, кто оказал бы ему поддержку. Такой человек нашелся, это был граф Орас де Вьель-Кастель, джентльмен, полухудожник, полулитератор, который гордился тем, что пишет романы из светской жизни. Итак, он бросился в спор, доказывая неспособность поэтов правильно анализировать страсти общественной жизни. Г-н де Вальи, несколько не смущенный появлением нового противника, очень удачно воспользовался этим вмешательством и, давно зная собеседника, адресовал ему все те личные упреки, которые не смел делать знаменитому романисту, то есть высмеял и отдубасил г-на Бальзака с его системой на спине бедного графа.

Все присутствующие поняли эту игру и с громким хохотом встали на сторону нашего друга. Бальзак уже не мог больше говорить, да и г-н де Вальи перестал отвечать ему; раздраженный своей неудачей, смешным и нелепым положением, в котором он оказался, он схватил шляпу и сказал так резко, что его все услышали:

— Ну, с меня хватит, я ухожу; я и не знал, что попаду тут в осиное гнездо поэтов. — И он ушел.

Вот каким я видел и слышал знаменитого Оноре де Бальзака единственный раз в своей жизни.

**ИЗ КНИГИ
«ВОСПОМИНАНИЯ»**

В то время театр «Порт-Сен-Мартен» бился в судорогах, пытаясь избежать грозившей ему катастрофы. Этому злополучному театру, окончательно превращенному в цирк, не осталось ничего другого, как предоставлять свои подмостки то арабским жонглерам, то львам и тиграм Ван Амбурга, которым перед выступлением время от времени бросали на съедение какую-нибудь одноактную пьеску вроде «Герцогини де ла Ванбальер», «Перине Леклерк» или «Замок Монлувье».

Мрачнее, чем Марий в Минтурнах, сидел я однажды у себя в Пьерфите и смотрел на мою развалившуюся террасу, когда ко мне вдруг неожиданно явился Теофиль Готье.

С некоторых пор Теофиль Готье уже заставил говорить о себе как об одном из тех выдающихся критиков, чьими беспристрастными суждениями пресса должна гордиться, ибо они делают ей честь. Молодой остроумный литератор, всегда относившийся ко мне с симпатией, равно как я относился с уважением к его таланту и его личности, прибыл по поручению Бальзака и сообщил, что, уступая настойчивым просьбам Ареля, тот решил инсценировать для театра «Порт-Сен-Мартен» своего «Вотрена» и не желает для этой пьесы иного исполнителя, кроме меня. Готье сказал, что Бальзак уполномочен вести со мною переговоры и утром ждет меня к завтраку в Жарди для деловой беседы.

Я имел неосторожность принять приглашение и на другой день в условленное время позвонил в дверь великого романиста.

Бальзака я знал только по его произведениям; самого писателя мне никогда не приходилось видеть. Меня поразили странный облик этого человека, его высокий, выпуклый лоб, обрамленный темными, зачесанными назад длинными волосами, его живой, пронизательный взгляд, насмешливая и добрая улыбка. Все указывало на то, что передо мной гений.

Мне говорили, что он уродлив; я нашел его великолепным. Я читал его книги, он видел меня на сцене; мы очень быстро познакомились.

Во время завтрака, на котором присутствовали Теофиль Готье и Лоран-Жан, оба — соавторы Бальзака, и который был накрыт во флигеле садовника, поскольку дом, где писатель рассчитывал поселиться, все еще ожидал рабочих, я мог оценить его блестящее красноречие, его неумное воображение, а также редкую наблюдательность, сквозившую в каждом его слове.

Когда все встали из-за стола и вышли в сад, Бальзак передал мне рукопись «Вотрена», главные сцены которого он только что вкратце обрисовал, попросив меня прочесть пьесу и изучить характер главного действующего лица, уже знакомого мне по «Отцу Горио».

— Читайте побыстрее, — сказал он, — время не терпит. Арель в отчаянном положении, да и я, признаться, жду от этой пьесы крупных денег.

Он не хотел меня отпустить, прежде чем я не познакомлюсь с его виллой, со всеми ее закоулками.

Расположенный на холме, дом господствовал над Виль-д'Авре, лежащим в долине, и открывавшийся оттуда широкий вид был великолепен; однако ограда вокруг дома простиралась всего лишь на какую-нибудь сотню метров, и очень небольшой сад, недавно засаженный совсем еще низенькими деревьями, давал мало тени.

Бальзак намеревался, объяснил он мне, купить слева участок густого леса, а потом лежащий справа луг; он собирался подвести воду и вырыть канавы до самого озера; он мечтал приобрести целиком всю возвышенность.

Бальзак заставил меня обойти дом сверху донизу, подробно рассказывая о предназначении каждой комнаты. Здесь — столовая, там — бильярдная, дальше — ванная комната, потом гостиные, спальни. Он постарался во всех подробностях объяснить мне, как каждая комната будет отделана, какие в ней будут обои, потому что в ту пору

стены были еще совершенно голыми и белизна их ничем не была сокрыта.

Этот неутомимый труженик, который приносил состоянием книгопродавцам и газетчикам, так и не сумев создать состояние самому себе, рассчитывал, что театр поможет ему быстро разбогатеть, и деньги за «Вотрена» он, вероятно, думал употребить на то, чтобы до конца достроить этот приют для своего гения.

Наконец мы расстались, условившись встретиться через день в Пьерфите.

На свидание Бальзак пришел с Арелем и Порше.

Порше — истинный парижанин. В 1826 году он был простым билетным кассиром в театрах «Порт-Сен-Мартен» и «Амбигю», но благодаря своей сметливости постепенно стал предводителем кланки почти во всех главных парижских театрах. Порше имел право сбывать какое-то количество билетов помимо кассы и поэтому мог ссужать деньгами стесненных в средствах авторов до получения ими гонорара за принятую пьесу, а также нуждавшихся театральных директоров. Часто для тех и других Порше был добрым гением, и я несколько не удивился, увидав его в обществе Бальзака и Ареля.

Как говорил мне Бальзак в Жарди два дня назад, время не ждало; несчастный Арель стоял на грани банкротства. Актеры соглашались играть только потому, что появление первой пьесы Бальзака на театральных подмостках сулило всем золотые россыпи.

Должники и кредиторы находились в одинаковом положении.

Один из кредиторов, более мстительный, чем остальные, добился ареста своего должника и приведения этого приговора в исполнение. И лишь прибегнув к самой невероятной хитрости, Арелю, уже находившемуся в фиакре по дороге в долговую тюрьму, удалось уговорить пристава, некоего Буньоля, которого знали все актеры, не только освободить его из-под стражи, но еще и одолжить ему на прощание тысячу франков.

Подобные уловки не всегда удаются, и такой случай мог произойти вновь, но не иметь при этом столь неожиданного, а главное, столь счастливого результата. И впрямь нельзя было терять ни минуты. Арель, таким образом, пришел не только для того, чтобы заручиться моим согласием, но еще и для того, чтобы возможно скорее назначить день первой репетиции.

— Мое присутствие в театре, — говорил он, — должно внушить всем доверие.

Бальзак торопился не меньше, и, хотя после прочтения пьесы убедился, что ему предстоит еще много работы, прежде чем она приобретет сносный вид, сам он был готов немедленно начать репетиции и уже по ходу дела внести необходимые изменения.

Но из виду упустили старуху цензуру, которая, как волк на опушке леса, и на этот раз подкарауливала свою добычу.

Трижды она не пропускала «Вотрена».

Лишь после того, как министром стал г-н де Ремюза, он осмелился разрешить пьесу к постановке при обязательном условии, добавил он, однако, что, если сходство, которое усматривали, или, вернее, хотели усмотреть, между «Вотреном» и «Робером Макером», вызовет малейшие демонстрации, пьеса немедленно будет запрещена.

Пока шли все эти переговоры, «Вотрен» претерпел значительные изменения.

Бальзак был самым покладистым автором, какого только можно себе представить: стоило указать ему на опасную сцену, он ее тут же переделывал; достаточно было сказать, что один акт плохо увязывается с предыдущим, он перерабатывал его без малейших возражений. Однажды он прислал мне записку:

«Дорогой мэтр, сегодня в десять часов вечера я хочу прочесть вам нашу новую развязку. Я чувствую себя теперь целиком в мольеровской стихии — погрузился в нее по уши!»

Наступил вечер, и он стал читать. Развязка была немислимой, и, когда я привел свои доводы, он спокойно положил рукопись в карман со словами:

— Ладно, вернусь домой и тут же переделаю.

Наряду с этим добродушием в нем было и сознание собственного гения — лишенное гордыни, исполненное простоты и величия.

— «Евгения Гранде» — это прекрасно! — сказал я ему во время одной из наших долгих бесед. — По силе это не уступает Мольеру.

— Может быть, это даже сильнее, — ответил он. — Мольер изобразил Скупого, я изобразил Скупость. . . .

Наступила генеральная репетиция «Вотрена».

Многочисленные перевоплощения, которые мне пришлось совершать по ходу пьесы, требовали и изменения внешнего облика. Вначале я решил придать Вотрену сходство с Видоком, подражая его хриплому голосу и грубым манерам; старый дипломат из второго акта навел меня на мысль о Талейране; Жак Коллен из пятого акта напоминал мрачную и строгую фигуру Наполеона; и, наконец, мексиканского генерала Крустаменте мне хотелось изобразить с солдафонскими замашками Мюрата: высокий рост, густые черные волосы и бакенбарды должны были дополнять сходство. Различные типы, из которых составилась герой Бальзака, побудили Теофиля Готье написать нижеследующие строки, дающие представление об этой труднейшей роли:

«Это поистине величайший в мире лицемер: ничтожнейшие слова обретают в его устах необычайную глубину и многозначительность, самая что ни на есть пустяковая с виду фраза обретаёт неожиданно яркий смысл, освещающий всю пьесу. Подобно Протею, он способен принимать любой облик: то он старый немецкий барон, хромой и горбатый, то смуглокожий мексиканский посол, большой и толстый, с густыми бакенбардами и высоким хохолком. Увидев его по-домашнему, такого добродушного, в нанковых панталонах и жилетке, в простецкой шапке, вы приняли бы его за Наполеона на острове Святой Елены; и тут же на глазах он выпрямляется, мгновенно становясь таким Ван Амбургом, который своим огнедышащим взглядом способен смирить целое полчище взбунтовавшихся каторжников; ирония, нежность, гнев, хладнокровие — по всем регистрам клавиатуры прошелся этот несравненный актер».

На репетиции в зрительном зале присутствовали три цензора, которые по ее окончании ушли, так и не найдя, к чему бы можно было придраться. Между тем в театре за это время произошло событие, о котором они не знали, но которое имело для всех весьма печальные результаты.

Во время четвертого действия главный режиссер Моессар, сидевший подле Ареля, наклонился к его уху и прошептал:

— Не кажется ли вам, что господин Леметр смахивает на Луи-Филиппа?

— Потихе! — быстро проговорил Арель, толкнув режиссера локтем.

И тогда незадачливый Моессар, не задумываясь над тем, какие последствия может повлечь за собой столь бестактное сравнение, одному ему пришедшее в голову, да и то по чистой случайности, тотчас вызвал к себе театрального парикмахера Пети.

— За втра, — приказал он ему, — когда будете готовить парик для господина Леметра, хохолок зачешите чуть повыше, но только ему об этом ни звука!

Парикмахер исполнил приказание, не поинтересовавшись, в чем тут дело.

Вечером во время премьеры спектакля первые три действия прошли, в общем, благополучно, если не считать отдельных свистков, которые иногда раздавались среди шума аплодисментов.

У меня было мало времени на то, чтобы переодеться в мексиканского генерала, и, едва я успел это сделать, меня спросили, можно ли начинать. Я ответил, что да, мол, можно.

Мне подали парик; я хотел сам его надеть, быстро взглянул в зеркало, и мне показалось, что выгляжу я в нем как-то странно. Я попытался приладить парик, но тут меня снова предупредили, что сейчас мой выход.

Не успел я еще осознать, какой эффект может произвести мой вид, как был уже на сцене.

Два свистка донеслись из глубины зала.

Поначалу я оставался спокоен, не понимая причины столь нелюбезного приема, но вскоре сквозь глухой ропот, пробежавший по всему театру, услышал слова: «Король! Луи-Филипп!»

И тут я все понял.

Однако я постарался выказать твердость и противостоять буре. Это напрасные усилия.

Герцог Орлеанский, присутствовавший на спектакле, покинул ложу до окончания действия, которое закончилось среди все возрастающего шума.

Во время пятого действия публика, с виду чуть успокоившись, то и дело настораживалась и жадно ловила каждое слово, которое можно было счесть за намек, так что занавес в последний раз опустился среди невероятного возбуждения.

Пьеса Бальзака оказалась загубленной, а плохое руководство Ареля не замедлило принести свои плоды.

Покинув театр, герцог Орлеанский приказал ехать

в Тюильри, где король из его собственных уст узнал о скандале в театре «Порт-Сен-Мартен». Тут же вызвали г-на де Ремюза, и на другой же день пьеса была запрещена.

Через две недели Арель был объявлен банкротом, а его театр закрыли.

Виктор Гюго, которого Бальзак в своем предисловии благодарит за его поддержку, оказанную ему в этих трудных обстоятельствах, сопровождал автора «Человеческой комедии» к г-ну де Ремюза и в продолжение почти двух месяцев тщетно пытался отстоять «Вотрена». Министр остался неумолим. Единственное, что им удалось, это добиться обещания, что театру «Порт-Сен-Мартен» под руководством Бальзака временно будет разрешено возобновить спектакли, но, разумеется, не постановкой «Вотрена», а какой-либо пьесой.

Эта попытка Бальзака встать во главе театра вызвала к жизни его пьесу «Меркаде».

Он предложил мне сотрудничать с ним. В его и моем положении было очень много схожего, так что в конце концов общие напасти сблизили нас, и мы стали, можно сказать, неразлучны. Запрещение «Вотрена» затронуло интересы нас обоих. Судебный процесс, который несколько раньше Бальзаку пришлось выдержать против некоего журнала, с таким же точно тактом напечатавшего его книгу «Серафита» в России до ее появления в Париже, с каким издатель Барба организовал стенографирование «Робера Макера», оказался для него настолько же разорительным, ибо перед ним мгновенно закрылись двери больших газет и журналов, насколько прискорбным явилось для меня опубликование «Робера Макера», кончившееся тем, что пьеса была запрещена цензурой.

Все эти невзгоды, как моральные, так и материальные, бросили нас в объятия друг друга, словно бы предлагая объединиться в борьбе против злого рока, который, казалось, преследовал нас по пятам.

Сколько ночей провел Бальзак, набрасывая на бумагу так и оставшиеся неосуществленными сюжеты, сколько безвестных людских миров, сколько воображаемых, но таких живых персонажей породила его фантазия, сколько им было задумано так и не завершенных типов! Бальзак мечтал инсценировать все свои книги. Какие характеры

можно было бы создать из таких великолепных образов, как отец Горио и папаша Гранде!

Однажды вечером, когда мы уже были готовы к тому, чтобы сделать свой выбор, Бальзак воскликнул:

— Но у вас, мой дорогой Фредерик, все это уже есть: у вас есть ваш Робер Макер!

Для нашего времени, говорил Бальзак, Робер Макер — столь же яркое художественное создание, как Панург, Фальстаф или Санчо, эта комическая тройца, бессмертная предшественница Жиль Блаза, Фигаро и Панглоса. Робер Макер — это особый персонаж, это характер, брошенный в толпу, некий тип, в котором соединились разрозненные черты целой эпохи. Нечто вроде козла отпущения, отвечающего за пороки всего общества и созданного это общество представлять, одну черту за другой. К сожалению, «Робер Макер» не написан. Вы, говорил он, обращаясь ко мне, способны мыслить, но вы не владеете пером. Ну что ж, пером буду я! Давайте создадим нового «Робера Макаера». Это будет сочетанием «Вотрена», «Тартюфа» и всего, что вам угодно, однако непременно олицетворением того, что происходит вокруг нас.

— Но ведь цензура именно за это нас и карает, — отвечал я ему.

— Цензура? — продолжал Бальзак. — Мы собьем ее с толку: мы наденем маску на нашего Робера Макаера, нашего Вотрена, нашего Тартюфа. Мы назовем его Меркаде!

.....

Сказано — сделано.

Пока шли хлопоты, понадобившиеся для возобновления спектаклей театра «Порт-Сен-Мартен», Бальзак набрасывал первые сцены новой комедии «Меркаде», в основу которой был положен персонаж, соединивший в себе черты Вотрена и Робера Макаера, только без каторги. Пятиактная пьеса давала возможность широко изобразить неординарный характер этого двойственного персонажа.

Сцена из третьего акта, где Меркаде, одержимый идеей «обратиться ко всем, у кого есть деньги» и основать большую газету, грозит своим акционерам, что на их глазах пустит себе пулю в лоб, если они откажутся от нового взноса, и где они, вырвав у него из рук пистолет, тут же и раскошеляются, — эта сцена, написанная Бальзаком, сама по себе есть целая поэма.

Возникшие со всех сторон бесчисленные трудности, увы, помешали ему воспользоваться разрешением министра, и пьеса осталась незаконченной.

Сегодня «Меркаде», урезанный и перекроенный Адольфом Деннери, который после смерти Бальзака сделался владельцем рукописи, входит в репертуар Французского театра. Подобно тому как это изо дня в день происходит в самой жизни, в «Доме Мольера» два изгнанника, скрытые под фальшивым именем, близко соприкасаются с Маскарилем и Скапенем, с которыми они превосходно понимают друг друга.

Они тоже стали классическими, как и сам порок.

Э. ТЕКСЬЕ

ИЗ КНИГИ «СОБЫТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ»

<...> Однажды ко мне пришел г-н Бальзак и спросил, не знаю ли я человека, который мог бы сочинить для него стихотворение в классическом духе, чтобы он вставил его в свои этюды о литературе.

— Мне н у ж е н , — пояснил о н , — чистый классицизм — что-нибудь холодное и вялое, вроде поэмы Эсменара «Плавание».

Я немного подумал.

— Если вам н у ж н о , — ответил я е м у , — хорошо сделанное подражание, обратитесь к Лабедольеру: он вам сымпровизирует в один присест все что угодно — песню, оду, рондо, дифирамб, дидактические и описательные стихи. Я не нахожу никого из наших знакомых, кто бы лучше знал приемы литературного подражания. Дайте ему один стих пятнадцатого века, и он восстановит вам все стихотворение, как Кювье по одной найденной кости восстанавливал допотопного зверя.

— Лабедольер, — перебил Б а л ь з а к , — сделает это как художник, а я предпочел бы человека убежденного, закоренелого классика, одного из тех допотопных животных, о которых вы сейчас говорили, одним сл о в о м , — засмеялся о н , — дурака.

Это слово было тем прелестней, что вначале он спросил меня, не могу ли я сочинить нужные ему сто — сто пятьдесят стихов.

— Т о г д а , — сказала я е м у , — пойдите к Лирику.

— А где найти этого зверя?

— В читальне «Тент» в Пале-Руаяле; пойдете.

По дороге я кое-что рассказал ему о Лирике и о том, как я с ним познакомился.

Владелец читальни, книготорговец по фамилии Дюмон, сказал нам, что Лирик теперь лишь изредка заходит в «Тент», но, если нам надо его видеть, мы, без сомнения, найдем его на улице Монмартр у судебного пристава, фамилию и адрес которого он нам дал.

— Разве не видна рука провидения, — воскликнул Бальзак, — что классическая поэзия кончается в конторе судебного пристава? Когда я расскажу это Гюго, он будет очень смеяться. Пойдемте искать Лирика.

Мы пришли в контору, и я спросил господина Сертена. Услыхав это имя, человек, сидевший за столиком, встал и, узнав меня, весь пошел пятнами. По его смущенному виду мы сразу поняли, что неловко было спрашивать беднягу при исполнении служебных обязанностей, которые он хотел скрыть ото всех.

К счастью, Бальзак был, когда хотел, неотразимо любезен. Прежде всего он извинился, потом разразился целым фейерверком комплиментов, где Лирик сравнивался с Аполлоном в изгнании у Адмета, и наконец решительно изложил цель своего визита.

— Я исполню вашу просьбу, сударь, — спокойно ответил Сертен. — Я сделаю все, что в моих силах, и курьезно будет, — добавил он, — что стихи, вышедшие из-под пера писца конторы судебного пристава, дойдут до потомства контрабандой, то есть под оберткой прозы великого писателя.

— Разумеется, — ответил Бальзак, собираясь уходить, — я согласен на любую предложенную вами цену.

— О, сударь, это дело другое. Мое печальное занятие — я уже не могу утаить его от вас — достаточно вам показывает, что я небогат, но я никогда не буду писать стихи для денег.

Через неделю Бальзак получил стихотворение и был от него в восторге.

— Это мне и нужно, — сказал он мне. — Нельзя быть менее лириком, чем ваш Лирик, но у этого человека все признаки классика времен упадка. Это гений корректной посредственности во всем ее блеске. Господин де Жуи, может быть, написал бы еще хуже, но Арно лучше бы не написал.

Сколько я помню, Бальзак намеревался напечатать сравнительный этюд о разных родах поэзии и поместить этот легкий набросок в своем «Ревю паризьен», причем он хотел обосновать свои рассуждения образчиками вроде того, что он попросил у автора «Дария». Поскольку «Ревю» прекратилось на третьем номере, этот план остался неосуществленным, и, таким образом, пресловутое стихотворение, столь же бездарное, как «Дарий» и его бледные сестры-трагедии, не смогло со славою выйти из гробницы безвестности.

ПОЕЗДКА В РОССИЮ

/ 1 8 4 3 /

Б. М. МАРКЕВИЧ

ИЗ ПРОЖИТЫХ ДНЕЙ

БАЛЬЗАК И ЕГО ЖЕНИТЬБА

Летом 1843 года (я за несколько месяцев перед тем вступил на службу в Петербург) на даче у С. С. Б-вой имел я случай увидеть французского писателя, с произведениями которого познакомился, еще бывши ребенком (лет 14 от роду прочел я в первый раз «La recherche de l'inconnu»¹, печатавшиеся в «Revue étrangère», французском журнале, много лет издававшемся в Петербурге книгопродавцем Бельмуаром и к которому питал с тех дней самое восторженное сочувствие). Его привела к хозяйке дачи неожиданно, — по крайней мере для гостей, собравшихся у нее в тот вечер, — богатая польская дама, г-жа Ганска, на которой впоследствии женился Бальзак и с которой он приехал в то время в Петербург из ее польского имения.

В изящной, полной цветов и растений гостиной сидело общество за чаем, когда они вошли в комнату: плотная, чтобы не сказать толстая, невысокая женщина лет сорока, с широким лицом и далеко не элегантною походкою и за ней такой же невысокий и плотный, с длинными русыми волосами à la moujik², по моде 1830-х годов, мужчина... Я в первую минуту не поверил даже, когда — не помню теперь кто, — сидевший подле меня за столом, шепнул мне на ухо: «Это Бальзак». «Бальзак, автор «Eugenie Grandet» и «Le Père Goriot», — этот грузный, с каким-то спящим и грубым

¹ «Поиски неизвестного» (фр.).

² По-мужицки (фр.).

лицом человек, похожий на пехотного майора из бурбонов, отрастившего себе волосы, как дьякон», — подумалось мне — и мне сделалось как-то ужасно грустно. Не таким представляло себе мое двадцатилетнее воображение великого писателя (к тому же первого, которого мне суждено было видеть), и только внимательно вглядываясь в него, признал я некоторое сходство оригинала с литографированным его портретом, который я в пору моего студенчества выдрал из той же «Revue étrangère» и, вставив его под стекло, повесил в моей комнате рядом с подобным же портретом Жорж Занд, в мужском костюме и с такой же, как у него, длинной прической. Хозяйка тотчас же представила вошедших сидевшим подле нее дамам. Начался общий разговор: дамы то и дело обращались к Бальзаку то с тем, то с другим вопросом. Он отвечал немногословными обрывчатыми фразами, а затем и совсем замолк, насупившись, с видом более еще, чем прежде, сонным. На меня он произвел впечатление человека, не считающего нужным метать перлы перед обществом, неспособным понять его, и мне в то же время стало досадно за него и обидно за всех «нас». А у него, может быть, в это время просто голова болела, или ему действительно спать хотелось от утомления целого дня, проведенного, как объясняла г-жа Ганска, в обозрении всех достопримечательностей Петербурга. Спутница его зато не умолкала все время. Говорила она бойко, отчетливо и чрезвычайно книжно, с удовольствием, очевидно, слушая сама себя и как бы давая понять остальным слушающим, что она гораздо более, чем привезенная ею знаменитость, заслуживает быть центром общего внимания. Но о чем она говорила, я решительно не помню. Глаза мои не отрывались от Бальзака, в глазах, улыбке которого мне упорно хотелось все отыскать «l'éclair du génie»¹, как я выражался тогда мысленно. Но никакого «éclair», кроме усталости или скуки, подметить мне было не дано... Часа через полтора-два он повел как бы молящим взглядом на г-жу Ганску. Она вняла ему и поднялась с места. Они простились и уехали.

¹ Проблеск гения (фр.).

М. Д. НЕССЕЛЬРОДЕ

ИЗ ПИСЬМА К Д. К. НЕССЕЛЬРОДЕ

Петербург 24 июля 1843.

<...> Область чувств весьма обширна. Бальзак, лучше всех описавший чувства женщин, в настоящее время у нас в городе, удивленный, я думаю, что не ищут знакомства с ним. Никто, насколько, по крайней мере, мне известно, не сделал ни малейшей попытки попасть к нему. В Россию его привлекла одна польская дама, сестра графа Ржевуцкого, которая здесь по судебному делу, а несколько лет тому назад она с этим писателем путешествовала. Он бранит Кюстина. Это так и должно быть, но не следует считать его искренним. <...>

ИЗ «ПРИКЛЮЧЕНИИ ЛИФЛЯНДЦА В ПЕТЕРБУРГЕ»

<...> У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в на-смешку называвшийся «Le père de la comédie»¹, далее Замятин — будущий министр юстиции, Блудов, молодые члены французского посольства. Из дам особенно обра-щали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и не терпящая свет княгиня Голицына, «Princesse Nocturne»², как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не раньше полуночи. Она носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам.

Во время пребывания Бальзака в Петербурге в 1845 го-ду она, не будучи с ним знакомой, послала за ним в полночь карету с приглашением к себе. Я случайно находился в то время у Бальзака, который очень этим оскорбился, и я все-ми силами старался успокоить его, поставляя ему на вид все странности старухи. Бальзак написал ей: «У нас, мило-стивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач». Подпись и ничего более. В негодовании Бальзак ударял кулаком по столу и восклицал: «Чего мне после этого ждать впереди?» <...>

¹ Отец комедии (фр.).

² Ночная княгиня (фр.).

**ИЗ КНИГИ
«ВОСПОМИНАНИЯ»**

<...> Так же однажды вечером на музыке появился знаменитый Бальзак в какой-то большой серой куртке и большой соломенной шляпе из итальянской соломы, с физиономией довольно скучающей. В этот приезд его в Россию ему как-то не оказали подобающего внимания, он не был принят во дворце, а следовательно, и в более богатых и знатных домах, и бедный Бальзак утешал себя тем, и говорил даже об этом своим друзьям, что все это невнимание к нему произошло оттого, что незадолго до его приезда в Петербурге был Кюстин, который за оказанный ему почет и гостеприимство отблагодарил русский двор тем, что напечатал по возвращении во Францию по его адресу пасквиль в самом несдержанном тоне.

Вот что сказал Бальзак по этому поводу: «J'ai reçu le soufflet qui a été destiné à Custine». (Я получил пощечину, предназначенную Кюстину.) <...>

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ

<...> В Риге негоциант оставил нас, и я, по просьбе Бальзака, сел вместе с ним. Он чрезвычайно был рад, что я сменил больного негоцианта, не соглашавшегося открывать окна кареты, и тотчас же напустил на меня несколько струй сквозного ветра. — C'est plus saint et on peut tout voir¹. Я сам люблю прохладу и ветер и потому охотно с ним согласился. Первым моим старанием было завязать с ним разговор; назвав по именам несколько знаменитостей Франции и расспрашивая о красоте народных памятников, которыми гордится Франция, я задел за живую струну француза, и Бальзак залился в похвалах своему отечеству. Приятно было видеть эту привязанность к родной земле, которая высказывалась в порывистой речи, в заблестевших огнем глазах, в каждом движении Бальзака; но неприятно было слышать в то же время его сравнения и отзывы о других землях. Господи! да неужели только и есть хорошего что во Франции; неужели только и можно быть счастливу на берегах Сены, Роны и т. п.? Меня это бесило; но я молчал, желая выслушать до конца все, что говорил Бальзак о законах, полиции, войске, искусствах, науках и пр. во Франции. — Nous avons les plus grands sculpteurs en France², — говорил Бальзак и назвал группу Леандра и Геро, созданную Этексом, которую превозносил выше всего античного; а уж Торвальдсен и другие известные скульпторы в сравнении с Этексом в глазах французского литератора ничем! — Dites-moi, monsieur, comment a-t-on confié à M. Lemaire le fronton de la Madelaine?³ — спросил я его, едва сдерживая свою улыбку.

— Ah, c'était une autre chose: il y a eu un concours pour les jeunes artistes et parmi eux Lemaire fut le premier, mais ce

¹ Так здоровее и можно все видеть (*фр.*).

² У нас во Франции самые выдающиеся скульпторы (*фр.*).

³ Скажите, сударь, каким же образом доверили г-ну Лемеру фронтон церкви Мадлен? (*фр.*)

sera une leçon pour la France de ne pas donner à concourir dans de grandes choses comme celle-là à des jeunes gens. Mais le fronton de votre eglise d' Issac n'est pas bon lui non plus ¹.

Бальзак предупредил меня своим приговором о своем соотечественнике. После Этекса он назвал Давида, сделавшего, между прочими произведениями, бюсты Шатобриана, Виктора Гюго, Гете, Беранже и колоссальный бюст Бальзака, который и подарил последнему; чтобы сделать бюст Гете, художник ездил в Веймар. — David a formé beaucoup d'élèves et la plupart sont allemands; David a fait aussi mon médaillon que j'ai apporté ici (à Petersbourg) pour une dame; il est très bien fait ².

Тут он упомянул еще молодого скульптора Прео, сделавшего его статуэтку; художника этого Бальзак в благодарность свез в Рим. Я хотел узнать его мнение о памятнике Петра Великого, о группах б<арона> Клодта и о некоторых других произведениях скульптуры в Петербурге, и он отнесся о них как нельзя лучше; но не мог не сказать тут же: — Mais nous avons aux Champs Elysées deux superbes chevaux de marbre, ce sont, je crois, les plus beaux du monde... ³

<...> Вот и Пруссия. Начались хлопоты с деньгами; я сам плохо понимал последние, да, на беду, Бальзак по-немецки, что говорится, ни слова; пришлось и за него рассчитывать. Бальзак не переставал сердиться то на скверный хлеб, то на тухлую говядину, то на пересоленное масло. Забавно было видеть, как он сердился во сне на неудобство своего изголовья — его все бесило: — Ah, Dieu, comme je perd mes cheveux, — жаловался он. — Il faut que vous les coupiez (советовал я ему). — C'est le temps qui les coupe le mieux! Ce sont les travaux nocturnes, — перебил он меня. — Est-que vous travaillez toujours la nuit? — спросил я его. — Toujours ⁴, — ответил он.

Поздно вечером Бальзак воротился от почт-директора;

¹ А, это совсем другое дело: состоялся конкурс молодых художников, и среди них Лемер занял первое место. И это послужит уроком для Франции впредь не давать на конкурс молодым людям таких больших заданий. Но фронтон вашего Исаакия тоже нехорош (фр.).

Давид воспитал много учеников, и большинство из них немцы. Давид сделал также медальон с моим изображением, который я привез сюда (в Петербург) для одной дамы, медальон превосходно сделан (фр.).

³ А у нас на Елисейских полях есть два великолепных мраморных коня, мне думается, что это лучшие в мире (фр.).

⁴ О боже, ведь этак я останусь без волос — Вам надо остричь и х, — Лучше всего стрижет их время — работа по ночам. — Разве вы всегда работаете ночью? — Всегда (фр.).

громко и радостно объявил нам, что он переговорил с последним и мы рано утром другого дня едем с легкой почтой. Вслед за этим мы начали укладываться спать; в комнате была одна кровать, и мы предоставили ее милому Бальзаку, который не переставал хлопотать обо мне, когда я поместился на диване, потом о Климченке, которого он бранил за недогадливость и сам уложил для него шубу вместо тюфяка на стульях, а вместо простыни прикрыл ее полотенцем; мы благодарили его за внимание и хлопоты и, смеясь островам француза, заснули сладчайшим сном.

<...> По выезде из Ландсберга мы увидели закатывающееся солнце, которое, осветив простенный пейзаж, превратило его в бесподобную картину. Я это заметил Бальзаку. — *Oui, le soleil est un grand artiste*¹, — сказал он. Стало вдруг тепло, светло; мы ощущали всю прелесть прекрасного осеннего вечера, и тем сильнее он на нас подействовал, что явился после стольких дождей и несносных ветров. Я говорил Бальзаку, что мы намерены сделать вояж пешком по Саксонской Швейцарии. — *Eh bien*, — подхватил он. — *Nous ferons ce voyage ensemble. J'enverrai mes paquets à Francfort! Nous prendrons des batons, un cheval... Le cheval est nécessaire. Comme je suis un viellard je le monterai quelquefois et vous aussi quand vous serez fatigués.* — *Vous n'êtes pas encore un viellard, bien que plus âgé que nous*, — заметил я. — *Et quel âge avez-vous?* — спросил он меня. — *Vingtsix.* — *Et votre camarade?* — *La même chose*, — ответил я, — *Et tous les deux ensemble vous êtes plus âgés que moi*, — сказал Бальзак, засмеявшись. — *Alors nous monterons le cheval à deux et vous irez toujours à pied*², — сказал я ему. Мы смеялись и обдумывали план пешеходства. После этого он стал благодарить за подмогу ему в отношениях с немцами: — *Merci, merci beaucoup, mes compagnons. Je vous donnerai mon adresse, pour que vous me trouviez à Paris; là je me cache et sans adresse il serait difficile de me trouver*³. Тут он обещал доставить нам возможность

¹ Да, солнце великий художник (фр.).

² Ну что ж, мы совершим это путешествие совместно. Я отправлю свои вещи во Франкфурт. Мы возьмем палки, лошадь... лошадь необходима. Так как я старик, я буду влезать на нее время от времени, и вы также, когда устанете. — Вы еще не старик, хотя и старше нас — А сколько вам лет? — Двадцать шесть. — А вашему товарищу? — Столько же. — Оба вместе вы старше меня. — Вот мы вдвоем и найдем лошадь, а вам придется все время идти пешком (фр.).

³ Большое спасибо вам, спутники. Я дам вам свой адрес, чтобы вы могли разыскать меня в Париже. Там я прячусь, и без адреса вам трудно будет меня найти (фр.).

видеть в Париже все любопытное, избегая лишних издержек; показать дворцы, галереи, *chambre des députés*¹.

Приехали в Берлин в 6 часов утра и остановились в «Hôtel de Russie».

На третий день, 15 октября, Бальзак, узнавши, что мы уже кое-что поразведали, просил походить с ним по городу; а вечером, в шесть часов, звал в свой номер обедать.

В шесть часов в комнате Бальзака был приготовлен щегольски сервированный стол, с бутылкой «Шато-Марго» и графином чудесной мадеры. — *Je vous donne un petit di ner fin, pour vous remercier, et pour faire nos adieux*². Из Берлина он хотел ехать во Франкфурт. Обед был очень сытен и изящен, и не удивительно! Бальзак, так увлекательно описывающий обеды, сам назначал блюда. — *En Allemagne on ne sait pas manger; il faut absolument que vous veniez en France, c'est le pays de la cuisine et des danseuses*³, — говорил он. Мы ели с Климченкой с большим аппетитом — Бальзак не отставал, в то же время шутил и беспрестанно подливал нам то того, то другого вина. — *Ce sera trop*, — заметил я ему, отстраняя свой стакан. — *Vous même vous buvez beaucoup moins que nous. — Je ne bois jamais du vin, je prends toujours de l'eau. — Et dans votre jeunesse? — Jamais. — Et vous avez décrit avec tant de verité les orgies de la jeunesse. — Ah, vous vous rappelez, sans doute, la scène de la Peau de chagrin! — прервал Бальзак. — Oui, monsieur, ça m'étonne que sans éprouver la chose vous ayez pu faire un portrait aussi vrai de la nature!*⁴

Разговор прерван был появлением нового блюда, которое Бальзак рекомендовал в особенности. Он очень, по-видимому, привык ко всем комфортам, потому что во все продолжение вечера был очень прихотлив и разборчив; только «Hôtel de Russie», содержатель которого, Tagor, весьма ловкий и приятный человек, мог наконец угодить всем его сибаритским желаниям. Надо было видеть, как он восхищался в самом деле прекрасными фаянсовыми та-

¹ Палату депутатов (*фр.*).

² Я хочу угостить вас скромным, но таким обедом, чтобы отблагодарить вас и распрощаться с вами (*фр.*).

³ В Германии не умеют есть. Вам непременно нужно приехать во Францию. Это страна гастрономии и танцовщиц (*фр.*).

⁴ Это будет лишнее. Сами вы пьете много меньше нас — Я никогда не пью вина, я пью только в о д у. — А в молодости? — Никогда. — Между тем вы описали с такой правдивостью юношеские оргии. — Вы вспомнили, наверное, сцену из «Шагреновой кожи»? — Да, сударь, меня удивляет, как могли вы, сами не испытав этого, дать такое верное изображение (*фр.*).

релками и вообще всем сервизом стола. — C'est très agréable de voir les fruits, les différents verres, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Tout cela fait un beau tableau ¹. Я полубопытствовал и спросил его: — Quel âge avez-vous? — Trente six! ² Молодится, подумал я. — Mais vous perdez vos cheveux à Berlin, aussi. C'est toujours les travaux! — Est-ce que je parais plus âgé que je ne le suis? — Au contraire, vous êtes frais, on voit que vous avez bien conservé votre santé. — J'aime la santé plus que la fortune! Avec la santé on peut tout avoir ³, — прибавил я и предложил выпить за его здоровье. Засим последовали шутки, и мы, прохохотавши вдоволь, поблагодарили его, распрощались, и так как наша природа не любит в подобных случаях оставаться в долгу, то я обратился к нему с следующей речью: — Vous ne refuserez pas, monsieur, de venir demain déjeuner avec nous? — Avec plaisir ⁴, — ответил Бальзак. Мы расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

17 октября Бальзак пришел утром в нашу комнату и сказал, что на другой день едет с нами вместе в Лейпциг, и хлопотал очень, чтобы успеть увидеть тот погребок, в котором пивал Гофман. Он нас надоумил, и мы, после довольно долгих поисков, узнали, что это Weinstube ⁵ в Scharlottenstrasse, в № 32. Сейчас туда! Нам показали ту комнату, тот самый стол, за которым Гофман просиживал целые вечера и ночи. Над самым столом висит картинка, сделанная, если не ошибаюсь, самим Гофманом; на ней изображен портрет писателя, смеющегося над своим приятелем Девриентом, хорошим актером, который запил как-то вечером вместе с Гофманом и совершенно позабыл, что должен в этот вечер играть. На картинке взят момент, когда Девриент опомнился, но это уже было за полночь; на столе опорожненные бутылки шампанского. Бальзак досадовал, что хозяина погребка не было дома; у него хранятся несколько рукописей этого писателя, которые он давал хозяину от вечера до вечера на сбережение.

¹ Очень приятно смотреть на фрукты, на стекло различной формы и различного цвета. Все это вместе дает красивую картину (*фр.*).

² Сколько вам лет? — Тридцать шесть! (*фр.*)

³ Но вы и в Берлине теряете волосы. — Это все результаты трудов! Разве я выгляжу старше своих лет? — Напротив, вы свежи, видно, что вы отлично сохранили свое здоровье. — Я ценю здоровье больше богатства. — При здоровье можно иметь все (*фр.*).

⁴ Вы не откажетесь, сударь, пожаловать завтра к нам позавтракать? — С удовольствием (*фр.*).

⁵ Погребок (*нем.*).

<...> При выходе из вагона мы окружены были фалангой лакеев, которые прожужжали нам уши, крича: «Hôtel de Breslau», «Hôtel de Saxe», Hôtel такой, другой, иной; вслед за этим ватага мальчишек приступила к нам при выходе на улицу, хватая наши мешки, зонтики, дабы отнести в отель. Такой уже несносно-услужливый народ! Однако мы храбро выдержали атаку. В Лейпциге мы отправились в «Hôtel de Rome». Бальзак взял номер рядом с нами; начались хозяйственные распоряжения; он отпер дверь в нашу комнату и, так как содержатель отеля говорил по-французски, то сам заказал и обед; нам уже не впервые приходилось полагаться на его вкус, и потому мы оставались в полной надежде пообедать хорошо, — что и случилось. В Бальзаке, несмотря на то что он, по словам его, кроме воды, ничего не пьет, явилось желание испробовать хорошего вина, и он, взявши карту, читал: — Haut Sauterne... bonsoir! Moselle... bonsoir! Madère... bonsoir!¹ И так продолжал прощаться и с другими винами, пока глаза его не встретились с лафитом — он спросил бутылку и выпил не без удовольствия, которое не замедлило высказаться в его расположении пошалить, как шалили и мы, грешные, опорожнив бутылку мадеры. Началось веселье; я показывал фокусы с рюмками, и в ту минуту, когда ловкость моя должна была увенчаться успехом, Бальзак меня рассмешил, и я брызнул вином на скатерть, проиграв в то же время бутылку вина, которая шла на пари с Климченкой. Вслед за этим Климченко принял учиться Бальзака по-русски; мы хохотали ужасно, — наконец, утомленные дорогой, почувствовали склонность ко сну, но прежде захотели пересчитать наши деньги. Бальзак волочился постоянно за моими червонцами, которые при каждом удобном случае выменивал на свои наполеондоры. — Ils sont si gracieux!² — приговаривал он, любясь голландскими золотыми. — Vous aimez beaucoup l'or, à ce qu'il me semble? — спросил его. — Ah, oui, je voudrai bien un million comme cela³. — И он потряс в руке маленький бочонок, наполненный наполеондорами, который заменял ему мешок. — Et de quoi êtes-vous embarrassé, — vous qui êtes le maître de la Peau de chagrin?⁴ — Он, засмеявшись, ответил: — Je ne me plains

¹ Сотерн — прощай!.. Мозель — прощай!.. Мадера — прощай! (фр.)

² Они так привлекательны! (фр.)

³ Мне кажется, вы очень любите золото? — Да, конечно, я весьма хотел бы иметь миллион вот таких (фр.).

⁴ Что же мешает вам, создателю «Шагренево́й кожи»? (фр.)

pas que la nature m'ait refusé la richesse de l'imagination¹.

<...> В 5 часов утра Бальзак проснулся первый и разбудил нас криком: какой! другой! Не знаю, почему он напал именно на эти слова и каждый раз, произнося их, спрашивал, что они значат; потом прибавил: «Je suis un véritable perroquet»². Естественность обхождения, доступность и частое веселое расположение духа привязали нас к Бальзаку, и совершенно неожиданное путешествие с ним останется навсегда в нашей памяти одним из приятнейших воспоминаний. Он рассказывал о своих вояжах, о своих намерениях, о Париже и пр.

<...> В Дрездене Бальзак воскликнул, всплеснув руками, когда мы выходили из галереи: «Sacré Dieu! Comment l'homme a-t-il pu faire une chose pareille?»³

<...> В последний вечер мы поужинали с Бальзаком, и он все считал и пересчитывал свои деньги в бочоночке, выменивая у меня мои большие золотые на его маленькие. Отложив горсточку червонцев, он определил ее на вояж до Франкфурта.

— Mais si je dépensais plus, je serais un Sardanapale!⁴ — вскрикнул он. Он написал мне в альбоме две строки на память и свой адрес в Париже. 22 октября я проснулся, но уже не нашел Бальзака; узнавши, между прочим, что он будил меня, я поторопился на железную дорогу, где нашел его уже сидевшим в вагоне. Он мне желал счастливого пути, советовал ехать через Мюнхен на Вену, выхваляя ужасно последний город; потом обещал увидеться в Риме и звал в Париж; я ему пожелал также доброй дороги, мы поменялись приветствиями; он благодарил меня за внимательность в путешествии. — Adieu! — сказал он; — Adieu, — сказала я, и вагоны покатались...

¹ Я не могу пожаловаться на природу, что она отказала мне в богатстве воображения (фр.).

² Я настоящий попугай (фр.).

³ Черт возьми, как это человек мог создать подобную вещь? (фр.)

⁴ Но если бы я истратил больше, я был бы Сарданапалом! (фр.)

⁵ Прощайте! (фр.)

БАЛЬЗАК В 1844 — 1848 ГОДАХ

II. КАСТИЛЬ

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ И ПРАВЫ ВО ФРАНЦИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ЛУИ-ФИЛИППА»

<...> Как раз в произведениях Бальзака наши внуки будут искать верное и детальное изображение нравов обыденной жизни. Именно в этой области наиболее ярко проявляется гений художника или писателя.

Историк — как командующий армией; с высоты своего командного пункта он не обращает внимания на мелкие события, его интересует только передвижение армейских корпусов, которые разворачиваются перед его глазами.

Господина де Бальзака можно скорее причислить к ученым. Он все анализирует и не торопится с выводами. Он хорошо знает, что синтез возникает сам собой, во всяком случае, к нему легко будет прийти, когда будет закончена «Человеческая комедия». Произведения Бальзака можно уподобить огромному зданию музея, в котором возвели обширные галереи с намерением их все заполнить экспонатами, но возможности одного герцога оказались недостаточными для выполнения этого гигантского замысла.

Господин де Бальзак перечисляет и классифицирует, он коллекционирует буржуа, аристократов, женщин. Каждому он прикрепляет этикетку и помещает с поразительной точностью на определенное место. Этот метод резко отличается от творческой манеры автора «Красного и черного». Господин Бейль с своим легкомысленным беспорядком, со своим безупречным стилем, свойственным человеку, составляющему исключение в литературе, будет высоко ценим изощренными умами.

Господин Бейль был дипломатом, философом, и одновременно с этим природа его одарила поразительной способностью чувствовать и понимать искусство...

Если рафинированные умы и ставят господина Бейля рядом с господином де Бальзаком, то следует все же заметить, что именно Бальзака будут предпочитать, без сомнения, те люди, которые захотят понять чувства, привычки, повседневную жизнь французов в царствование Луи-Филиппа. Но из всех его персонажей, возникающих на созданной им обширной сцене (мы можем уподобить ее мировой сцене), самый поразительный — это их автор.

Вся жизнь господина де Бальзака, так же как и Бомарше, — непрекращающаяся борьба с трудностями, которые нередко заставляют его напускать на себя немного таинственности. Последствия неудачных спекуляций долго мешали карьере человека, предназначенного для славы и богатства. Таинственность, которую объясняли эксцентричностью его натуры, часто служила господину де Бальзаку лишь способом избежать неприятностей, мешающих работе и размышлениям. Когда он жил в Пасси, пропуском к нему служило слово «павильон».

Все знают, что дома Пасси разбросаны амфитеатром по склону холма. При слове «павильон» консьерж указал мне на лестницу, которая вела вниз, в сад, и я очутился перед маленьким невзрачным домиком. Красивая женщина лет сорока провела меня в кабинет господина де Бальзака. Я увидел полного человека, одетого в халат сероватого цвета. Волосы на лбу у него были разделены пробором, как у девушки. В его облике было что-то от монаха и аристократа, карие глаза с золотыми искорками оживляли его умное и серьезное лицо, говорившее о незаурядном и сильном характере. Господин де Бальзак благородным и грациозным жестом отпустил женщину, которая меня привела, и я остался глаз на глаз с «монстром». Мы разговаривали не один час. Речь шла о рукописях, о страницах, о строчках и, конечно же, о деньгах. В этом вопросе Бальзак был неистощим, он говорил с таким красноречием, с таким жаром, что я не мог этому не удивляться.

У господина де Бальзака, как и у господина Бейля, есть навязчивая идея: первый всю жизнь мечтает о миллионах (и он их вполне заслуживает), второй никак не может смириться с размерами своего носа.

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ де БАЛЬЗАК»

Как-то утром — это было вскоре после выхода «Бедных родственников» — издатель Бальзака разговаривал со своим помощником в комнате, окна которой выходили на двор, так что можно было заранее заметить направлявшихся в издательство посетителей. Повернувшись к окну, он увидел подходящую к дому женщину, и его поразило прежде всего выражение ее болезненного лица, а затем и ее слегка согбенная фигура, которую возраст все же пощадил в некоторых отношениях, ее походка, манера держаться, весь ее облик. Не знакома ли ему эта женщина, не встречался ли он где-то с нею? Сначала ему показалось, что это так, но тут же он улыбнулся, вспомнив о недавно прочитанных им «Бедных родственниках», — волею случая незнакомка была вылитой баронессой Юло, этим ангелом скорби, безропотной покорности судьбе, милосердия и всепрощения, одним из самых трогательных созданий автора «Человеческой комедии». Женщина вошла, издатель встал и спросил, что привело ее к нему. Она отвечала, что пришла по поручению г-на Бальзака. Дело шло, кажется, о портрете, который помещен на форзаце иллюстрированного издания. Передав то, что ей было поручено, посетительница удалилась. И что же! Эта женщина оказалась г-жой Б<рюньоль>, с которой Бальзак долго жил в одном доме. Не приходится сомневаться, что, найдя поблизости страдальческое и смиренное лицо, которое ему захотелось изобразить, знаменитый романист не упустил возможности и воспользовался этим случаем. Но какой же он был искусный живописец и как точно воспроизводил виденное, что добивался таких результатов!

Он мог изменять имена, это не мешало узнавать оригиналы его портретов. Иногда изображение было лестным,

нередко же бывало окрашено в мрачные, недобрые тона. Бальзак отомстил некоторым из своих врагов, придав им достаточно зловещий облик. В этом он подражал Данте. Может быть, лучше было бы подражать Христу и прощать врагов. Но речь идет не об этом.

Если верить близким Бальзака, у него была большая тетрадь — нечто вроде ведомости, куда он записывал даты рождения своих персонажей, события их жизни и весь ход ее день за днем; там самым тщательным образом регистрировались браки и кончины этих лиц, для него вполне реальных. Это было очень важно для Бальзака. Собственно, только эти созданные его воображением люди его интересовали, только в их тревогах, радостях, волнениях он принимал деятельное участие. Что же касается окружавших его и встречавшихся ему людей, — он заботился о них не больше, чем монах-траппист, не выходящий из своей кельи. Его жизнь, ограниченная тесным пространством его кабинета, по видимости протекавшая так спокойно, однообразно и просто, как течет небольшая речка по равнине, поросшей вереском, была — при всем однообразии, молчании и одиночестве — самой деятельной, исполненной событий, разнообразной и бесконечно меняющейся. Бальзак жил жизнью своих персонажей; пока он был с ними, пока еще последняя строка не была дописана и внизу последней страницы не было поставлено слово «конец», он только их и видел, только их и знал. Но — в силу особого свойства его натуры, которое одно спасало его от безумия, — как только он заканчивал роман, все действующие лица этого романа, добрые и злые, изящные и уродливые, исчезали из его памяти, как уходят жильцы из квартиры, срок аренды которой истек; их место занимали новые квартиранты, перестанавливающие всю обстановку по-своему, располагающиеся в его воображении, пока им тоже не придет время отступить перед новыми пришельцами. Какой поэт — искатель приключений, не исключая и Байрона, больше пережил, перечувствовал, испытал больше бед и столкновений, больше наслаждался любовью, глубже исчерпал чашу эмоций? Мы не знаем другого такого.

Бальзак был весь в своих произведениях, в своем творчестве; там надо искать его, там судить о нем. Вне творчества его жизнь представляла какой-то странный, несвязный, причудливый и не сообразный ни с чем беспорядок, по самой этой бестолковости не поддающийся никакому анализу. Не следует делать из этого неблагоприятные выводы о его характере. Представьте себе пловца-

ныряльщика, который, долго пробыв под водой, поднимается на ее поверхность, чтобы вновь набрать полные легкие воздуха; он будет по необходимости шумно дышать, фыркать, беспорядочно размахивать руками. Бальзак, проработав целый день без перерыва в своем кабинете, так сказать, водолазном колоколе особого рода, выходя оттуда, вел себя, как безумный; его потребность в движении, в деятельности проявлялась самыми разнообразными путями, и жесты его, и слова, и все поведение были лихорадочно возбужденными, преувеличенными: он мог расхохотаться вам в лицо, повернуться к вам спиной, броситься к вам с изъявлениями чрезвычайной радости; и всякий поверхностный наблюдатель, случайный и невдумчивый посетитель уходил с убеждением, что у г-на Бальзака что-то не в порядке с головой. Такому несерьезному свидетелю и в голову не приходило, что все в нашем мире подчиняется неизбежному закону равновесия, уклониться от которого можно лишь на какие-то мгновения, что Бальзак должен был дать выход физической энергии, которую он безмерно подавлял, занятый творчеством.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

30 мая 1847 г.

<...> Когда мы с Этцелем выходили из театра, в темной галерее нам встретился маленького роста толстый господин, которого я уже видел: во время спектакля он сидел в полупустом партере, растрепанный и очень сосредоточенный.

Этцель непринужденно вступил с ним в разговор, и из их слов я сразу же понял, что это был г-н Бальзак.

Погода стояла великолепная, и, благоговейно слушая, я прошелся с ними по улице Ришелье до бульвара. Шутки так и сыпались, но особенно изобиловали парадоксы, среди коих следующий, по поводу «Тартюфа»: «Все в доме Оргона пойдет кувырком после изгнания Тартюфа, так как именно лицемерие является связующим звеном в социальной мешанине. Я собирался доказать это в своем «Продолжении». Ах! Какая сила — театр! И как крепко все сбито...»

Они заговорили о театре, и на какой-то вопрос Этцеля, касающийся моей профессии, я ответил с точностью, которая привлекла ко мне внимание.

— Послушайте, мой дорогой Бальзак, поскольку вы интересуетесь театром и жизнью кулис, вам достаточно расспросить моего друга Гота, — уверяю вас, что он может рассказать вам об этом больше и лучше, чем кто-либо другой.

Засим Этцель с нами распрощался; что же касается г-на де Бальзака, то он не отпускал меня от себя ни на шаг, — он хотел знать все. Я был в каком-то опьянении: я говорил

и говорил, в то время как взгляд его маленьких, искрящихся глаз пронизывал меня насквозь... Мы добрых двадцать раз прошлись из конца в конец по бульвару Итальянцев. Все кафе уже закрылись, было около двух часов ночи. Усталость и желание спать постепенно начинали гасить мой энтузиазм... Тогда, посмотрев на меня с глубокой жалостью, г-н де Бальзак удалился, оставив меня, как выжатый лимон.

Я чувствовал себя раздавленным и минут пять не мог прийти в себя.

ШАНФЛЕРИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЧАС ИНТИМНОЙ БЕСЕДЫ С Г-НОМ де БАЛЬЗАКОМ

О смерти де Бальзака я узнал в Булонь-сюр-Мер много времени спустя, потому что я решил тогда побережь себя и не брал в руки газет. По странному совпадению в то утро, когда один из моих друзей принес мне печальную весть, я читал «Сцены провинциальной жизни». Эта смерть, которой всем нам следовало ожидать уже в течение нескольких месяцев, оказалась для меня чувствительным ударом.

И вот г-на Бальзака нет; он умер, оплакиваемый друзьями и недругами, в расцвете сил, когда он душою был моложе любого молодого человека. Все великие люди не умеют умирать. Г-н де Шатобриан скончался на десять лет позже, чем следовало; за эти десять лет его забыли; он так много говорил о своей могиле в своих книгах, письмах, беседах, что многие уже давно считали его умершим.

Господин де Бальзак в 1848 году уехал из Франции; он не любил Республику, или, по крайней мере, будущее не виделось ему в радужном свете. На минуту его охватила лихорадка политического честолюбия, поскольку в газетах появилось его письмо, где выражалось желание быть избранным, но к этой идее он очень скоро охладел. <...>

Мы никогда не узнаем, каким был Бальзак в частной жизни, каковы были его нрав и привычки: я прочитал все, что было написано о прославленном романисте после его кончины. Я увидел дюжину анекдотов, их все повторяют, но они ничего не дают, если не сопровождаются полусотней других деталей, которые сцепляются, сочетаются воедино и объясняют человека. Г-н Денуартер опубликовал — скорее как рекламу для книгоиздательства, чем как дань

уважения кусоппшему, — книжонку, чья незначительность расцветивается разными баснями. Г-жа Ева де Бальзак выглядит там какой-то авантюристкой, из тех, что посылают пламенные письма модным романистам. Вместо того чтобы прибегать к рискованным предположениям, даже и не пахнувшим реальностью, этому собирателю литературных уток довольно было обратиться к посвящению к «Модесте Миньон», чтобы увидеть в верном свете богатую натуру г-жи графини Ганской, которую так уважал, так любил автор «Человеческой комедии».

Как досадно, что друзья Бальзака не записывали его разговоров! Вместо того чтобы судачить в театральных фойе и кофейнях о странных и необъяснимых житейских обстоятельствах автора «Человеческой комедии», не лучше ли было бы их запечатлеть, тщательно описывать малейшие его привычки, мании, если они у него были, его планы на будущее; именно по таким протоколам узнается впоследствии великий писатель. Но лишь сами великие писатели понимают необходимость памятных записей, которые становятся столь драгоценными уже через год-другой.

Такого рода заметки говорят все, ничего не прячут; сделанные наспех, они не рядятся под литературу и потому обладают великим обаянием, подобным тому, которое свойственно обвинительным заключениям суда присяжных; эти заключения, составляемые всегда умами ограниченными невзирая ни на что, исполнены жгучего интереса, потому что в них ищешь факты и через эти факты приходишь к истине.

Мне скажут, что у писателя могут вырваться некоторые слова, коих не следует подхватывать, поскольку они были высказаны без всяких претензий, в интимной беседе; но ведь именно в интимном общении и узнается до конца гений. Не в светской гостиной, где на него устремлены сотни глаз, где его слушают сотни ушей, раскрывается великий человек. Впрочем, приведу один пример относительно г-на де Бальзака: однажды я видел его на званом вечере у г-на Виктора Гюго, и он заполнял средневековую гостиную на площади Руаяль веселым смехом, который и не пытался сдерживать.

Но г-н де Бальзак исключение.

Все художники нашего времени, кто больше, кто меньше, позируют на светской сцене. Да так оно и должно быть. Нехорошо выставлять на люди свои радости и тревоги, публика их не понимает. Иногда понимает через книги.

Я говорил различным литераторам, знавшим г-на де Бальзака, — и тем, что пишут книги, и тем, что печатают статьи, — что следовало бы опубликовать точные и достоверные воспоминания об их общении с великим романистом. Одни боятся оскорбить его память, другие не хотят обнародовать слишком *человеческие* факты из жизни автора «Человеческой комедии». Это ошибка.

Говорят, что великий гений — это своего рода монстр. Если он остается великим гением и в частной жизни, он не человек. Гете, который не хочет больше любить, потому что это отнимает у него время, который забывает, что у него умерла мать, — уже не человек; это ходячее мраморное божество. И наоборот, изучите «Застольные беседы» Лютера — и на каждой странице вы обнаружите *человека*. «Он постоянно жаловался на боли в желудке». В этом все; великий реформатор даже и не подозревал, какое благоговейное чувство внушал своим ученикам.

То, что он говорил за столом жене, «своей Катерине», было записано.

Когда он бранился, это записывалось.

Когда он смеялся, это записывалось.

Когда он мечтал, это записывалось.

Его ученики прятались куда могли, даже под супружескую кровать, чтобы услышать, что он говорит жене. Позднее некоторые теологи гневались, что великий человек так выставлен напоказ. <...>

У г-на де Бальзака не было учеников, но те, кто был к нему близок и не записывал его слов, доказали этим, что не понимали всей значительности личности хозяина дома, соблаговолившего их принимать.

Я слишком поздно завязал отношения с Бальзаком и потому не могу сообщить особенно интересных подробностей; почти сразу после революции он уехал в Россию, написав мне странное по внешнему виду письмо, которое я не решался распечатать, думая, что получил любовную записку от какой-нибудь кухарки. Там содержались лишь следующие простые слова:

«Милостивый государь, если «Морковную королеву» будут давать до 16-го, дайте мне отведать этого литературного овоща, предупредите и оставьте мне место.

Де Б<альза>к.

Бумажка в восьмую долю листа была оторвана от зеленоватой оберточной бумаги, так что я трижды задавался вопросом: где мог г-н де Бальзак написать это послание? В конце концов я решил, что он набросал его в одном из тех старых домов на пустынных улицах, которые автор «Человеческой комедии» описал с такою счастливой наблюдательностью. На подобной бумаге, должно быть, писали свои письма *Папаша Гранде* или ростовщик *Гобсек*.

К моему несчастью, г-н де Бальзак не смог посмотреть «Морковную королеву», потому что поспешно уехал, и его отъезд даже помешал осуществиться достославному застолью (*свинина с капустой*), где господа Гюго и Бальзак намеревались возглавить литературную молодежь из газеты «Эвенман».

Для своих заметок о г-не де Бальзаке я выбрал такую же форму рассказа, что и ученики Лютера, форму, напоминающую раздел «смеси» в политических газетах; сперва я набросал свои заметки в виде диалога; но я больше доверяю рассказу, который прекрасно передает мысли человека, не приписывая ему слов, каких он, быть может, и не произносил.

24 февраля г-н де Бальзак одним из первых вошел в Тюильри. Встреча с ним в зале Маршалов удивила меня больше, чем революция и бегство короля. В толпе сражающихся, среди ружейных выстрелов увидеть человека, отверженного монархическим традициям, казалось невероятным.

Один актер, г-н Монроз, игравший в «Проделках Кинолы», узнал среди этого столпотворения от г-на де Бальзака, что тот пришел, чтобы унести с собою лоскут от бархата, которым был обит трон.

Автор «Человеческой комедии» очень любил такого рода исторические диковины; он показывал мне чайный прибор, происходивший из дома герцога Ангулемского, чья художественная ценность не превосходила славы победителя при Трокадеро.

27 февраля г-н де Бальзак прислал мне записку с просьбой его навестить. Прислуга его состояла из подобия лакея и привратницы; они дали мне ключ; их немецкая речь могла представить г-ну де Бальзаку возможность пристального изучения для передачи жаргона банкира Нусингена.

Господин де Бальзак спустился с лестницы, облаченный в свою знаменитую монашескую белую рясу. Лицо у него круглое, глаза черные, удивительно блестящие, кожа скорее смуглая, на скулах ярко-красные пятна, на висках и вокруг глаз желтизна. В густых волосах перемешаны серебряные и очень черные нити. Это мощная шевелюра. Несмотря на просторный халат, выступает огромный живот.

Господину де Бальзаку я известен по фельетонам Теофиля Готье; он желал бы посмотреть мои пантомимы, но театр «Фюнамбюль» не расклеивает афиш в Париже, а выйти утром ненадолго в город для г-на де Бальзака все равно, что потерять целый день.

— Вы хотите заняться драматургией, сударь?

— Не знаю, — отвечаю я.

— Однако, — говорит г-н де Бальзак, — пантомима — ступенька к этому жанру.

— Для меня она — вся лестница, — говорю я.

— Вы неправы, пантомима не есть нечто завершенное, она представляет собою только один из ликов драматического искусства.

Тут г-н де Бальзак излагает множество идей по поводу своего театрального будущего; он желал бы организовать большое предприятие вместе с другими драматическими авторами; но они лентяи, бездельники, с ними ничего путного не получится; надо бы заставить их трудиться, как Лопе де Вега, Кальдерон, «чьи пьесы битком набиты пантомимами», — говорит он. Единственный труженик — это г-н Скриб.

— Но что за литература, — восклицает г-н де Бальзак, — какие-нибудь «Воспоминания гусарского полковника»!

Господин де Бальзак мечтает сочинить феерию, «блещущую остроумием».

— Имеете ли вы какое-нибудь представление о феерии?.. Хорошо бы принести славную феерию Коньяру, который позавчера сказал мне: «Сударь, мы не держимся за постановку ваших пьес, они подвергаются таким нападкам, но никто не приносит нам лучших». Я имею в виду «Вотрена», которого теперь, по случаю революции, можно

играть. По этому поводу, — говорит г-н де Бальзак, — меня вызывали директоры театра «Порт-Сен-Мартен»; я уже и думать забыл о «Вотрене»; а они показали мне письмо с более чем полусотней подписей людей, желающих видеть эту пьесу. Признаюсь, я не без опасений отношусь к этому возобновлению: моя пьеса игралась всего один раз, стала политическим произведением, оскорблением власти, пьесой преследуемой. Публика будет весьма удивлена, не найдя там ничего дерзкого, никакого политического смысла. Особенно непостижимо, что распространился слух, будто Фредерик создал шарж на Луи-Филиппа: ничего подобного не было. Мне такая мысль и в голову не приходила. Прочитайте пьесу. Когда цензура внезапно запретила второе представление, господин Гюго побегал к господину Дюшателю и спросил его, присутствовал ли он на премьере «Вотрена». «Нет», — отвечал господин Дюшатель. «Клянись в а м, — сказал господин Гюго, — что ни Фредерик, ни Бальзак и не помышляли о том, чтобы окарикатурить короля». И если господа Коньяры возобновляют на сцене мою пьесу, — продолжал г-н де Бальзак, — я ныне больше, чем когда-либо, возражаю против малейшего намека на Луи-Филиппа и в костюме, и во внешности актера... Вообще-то мне любопытно было бы посмотреть «Вотрена», ведь я его не видел. В день премьеры я был занят зрительной залой, разглядывал физиономии в ложах.

Он снова спросил меня, почему я не хочу писать для театра, говоря, что я хорошо владею диалогом.

— Рассказами, — сказал г-н де Бальзак, — ничего не достигнешь. Ваши новеллы слишком коротки; со временем это может начать ограничивать ум. Так, из вашего «Фуэнсеса» можно было бы сделать целый том. Некоторое время тому назад в Камбре жил один человек (я ни в коем случае не сравниваю вас с ним), и этот человек, господин Берту, пристроился к «Пресс» и каждую неделю печатал там новеллу или фельетон. Год-два он преуспевал. А кем он стал с тех пор?

На это я отвечал, что мои томики не имеют для меня большого значения, что после пяти лет литературного ученичества пора бы уж выяснить свои возможности и взглянуть на вещи трезво. Что, прибыв в Париж, я был полным невеждой, не закончил школу, и что в настоящее время я озабочен учением, получением образования.

— В добрый час, — сказал г-н де Бальзак с ноткой

симпатии в голосе. — Вы похожи на меня, и я радуюсь за вас, видя это сходство. Мне тоже понадобилось долгое время, целых семь лет, чтобы понять, что такое французский язык. В ранней юности я перенес болезнь, от каких не оправляются, девятнадцать человек из двадцати от нее умирают. «Если он выздоровеет, — сказал доктор Наккар, — то проживет сто двадцать лет». Я выздоровел и принялся с утра до ночи писать. Я написал семь романов просто для упражнения пера. Один — чтобы набить руку в диалоге, другой — чтобы понатореть в описаниях, третий — чтобы научиться расставлять персонажей, четвертый ради композиции и так далее. Я делал это в сотрудничестве с другими авторами; и все же некоторые романы целиком написаны мною, не знаю какие, я их не признаю.

Господин де Бальзак рассказал, что хотел было уничтожить свои произведения, но что неотложная нужда в деньгах и сумма в десять тысяч франков побудили его уступить книгоиздателю Суверену, который подкрепил предложение денег следующей угрозой: «Вот перепечатают книги *Ораса-Сент-Обена* в Бельгии — и вы скомпрометированы. Что значит перепечатка во Франции? Я даю вам десять тысяч франков».

Господин де Бальзак сказал, что после этих штудий и этих скверных романов он начал сомневаться во французском языке, «столь мало известном во Франции».

Еще он сказал, что видит в Париже только трех писателей, знающих родной язык: г-на Гюго, Теофиля Готье и его самого.

— Господин Вильмен тоже понимает по-французски, но он никогда не умел как-нибудь это применить.

Господин де Бальзак посетовал на печальное положение литераторов во Франции, особенно романистов. Если его послушать, это самое утомительное ремесло и хуже всего оплачиваемое. Он всегда писал ради куска хлеба; он сочинял романы по необходимости, чтобы жить.

— После двадцати лет работы по пятнадцать часов в сутки, — сказал г-н де Бальзак, — у меня нет ни единого су, и если я живу здесь, то потому, что люди, которым принадлежит этот дом, сообразовали оставить меня здесь в качестве привратника.

— Вы молоды, — сказал мне г-н де Бальзак, — у вас хорошая голова и вид труженика, я дам вам добрый совет. Сочиняйте новеллы и рассказы, раз вам это нравится, но не более трех в год. Пишите эти вещицы только удовольствия ради; за десять лет вы опубликуете тридцать новелл. Если вы создадите двадцать шедевров из тридцати, вы должны почитать себя счастливым.

А десять месяцев в году отдайте сочинению пьес для театра, чтобы заработать денег, много денег, ибо художнику надо вести роскошную жизнь.

Господин де Бальзак привел в пример г-на де Ламартина, который проел все свое состояние на службе поэзии.

Ныне поэт стал политическим деятелем Республики высшего ранга, и у него нет и четверти часа на свои дела и свои интересы.

— Он свалится оттуда и умрет на соломе... *К тому же он не знает французского языка.*

Когда я улыбнулся такому предсказанию-выпаду, г-н де Бальзак взял со стола газету и прочел мне фразу из «Манифеста», обращенного к иностранным державам, подтверждавшую его слова. Эта фраза была не только вялой и неточной по построению; чувствовалось, что г-н де Ламартин не в состоянии схватить самый дух нашего языка.

Правда, что г-н де Бальзак лишь смутно понимал поэзию и недостаточно ее ценил, судя по тому, что говорил мне Теофиль Готье, огорченный странной просьбой г-на де Бальзака.

Готье и г-жа де Жирарден дали свои неопубликованные стихи для прекрасного романа «Провинциальная знаменитость в Париже». Г-н де Бальзак, высоко ставивший прозаический талант автора «Мадемуазель де Мопен», затребовал его однажды к себе. В голове у него был великолепный сюжет для комедии, он подумал, что комедия выиграет, если будет переложена в стихи, и попросил своего друга заняться этой работой.

При таком предложении Готье содрогнулся; он знал требовательность г-на де Бальзака и не решался ответить прямым отказом.

— Так что же е , — сказал г-н де Бальзак, — сколько стихов в день вы думаете мне приносить?

После двухчасовой беседы я встаю и собираюсь уходить; г-н де Бальзак провожает меня до лестницы, по пути я разглядываю мраморную статую в две трети натуральной величины, изображающую г-на де Бальзака. Она сделана в Германии и кажется мне посредственной.

— А, вы интересуетесь искусством, — говорит мне автор «Человеческой комедии», — я покажу вам свою галерею.

Мы поднимаемся обратно, в другое помещение, входим в длинную галерею, увешанную картинами, главная среди которых — огромных размеров *Доменикино*. Там много и других картин разной величины, названия и авторов которых я позабыл.

По мере того как мы осматриваем галерею, я удивляюсь, что она мне знакома; г-н де Бальзак изображает чичероне, рассказывает генеалогию рам, одна из них принадлежала некогда Марии Медичи. Г-н де Бальзак энтузиаст живописи, особенно портретной, его галерея стоила значительных денег; г-н Ротшильд очень завидует знаменитой раме Марии Медичи. Я мучительно пытаюсь понять, откуда я знаю эту галерею, если прежде никогда в ней не бывал; перейдя в другую комнату, г-н де Бальзак останавливает меня перед резной деревянной рамкой без картины, нарочно повешенной на самом свете, и говорит:

— Когда знаменитый...¹, антиквар из Голландии, узнал, что я владею рамой работы этого мастера, он готов был отдать последнюю каплю крови, чтобы заполучить половину ее...

Да это же галерея *Кузена Понса*, это картины *Кузена Понса*, редкости *Кузена Понса*, теперь я их узнаю. Они описаны г-ном де Бальзаком в первой части «Бедных родственников» с такою добросовестностью и точностью, какие достигаются, только если работаешь с натуры. Речь идет не о такой натуре, на которую смотрел, а потом вспоминаешь: автор «Человеческой комедии» описывает предметы, которые у него перед глазами. Он гораздо лучше описывает их, когда ими обладает, когда они имеются у него, в его доме; в этом он походит на того бедняка-литератора, что тратил все свои деньги на книги и, ради возможности их собирать, экономил на обедах. «Но, — сказал ему кто-то, — чтобы прочитать эти книги, вы можете пойти в библиотеку», —

¹ Я позабыл фамилию. (Примеч. автора.)

«Я могу, — отвечало он, — читать только те книги, которые купил».

Такой метод наблюдения, присущий Бальзаку и уже отмеченный в некрологе г-на Сент-Бева, говорит о том, как именно работал автор «Человеческой комедии». Он, разумеется, не мог быть владельцем всей мебели, которую описал с точностью аукционного оценщика и интуицией Жоффруа Сент-Илера, реконструирующего допотопных животных, но я убежден, что он все-таки писал с натуры. Он входил в какое-нибудь помещение и инвентаризировал все подряд, как следователь не доверился бы убийце, способному уничтожить следы своего преступления. Отсюда то громадное количество *бумажек*, заполненных описаниями шкафов, комнат, домов, которому удивлялись друзья г-на де Бальзака. То были драгоценные заметки, этюды с натуры.

Господин де Беллуа, который, в сущности, был очень близок к Бальзаку, рассказывал мне, что, если при Бальзаке произносили удачное словцо или что-то очень острое, он искажал это, включая в одну из своих книг. Вот еще одно доказательство того, что г-н де Бальзак обладал памятью особой — он помнил общие крупные явления, но мелкие подробности ускользали от него. Он собирал и записывал незначительные детали для того, чтобы их запомнить. Если он не записывал словечки, шутки, то искажал их. Однако в его книгах мелькают шаржи, имевшие хождение в художественных мастерских, парадоксы литераторов, остроумие парижских кофеен, псевдовосточное красноречие, и все это обрисовано с такой подавляющей правдивостью, на какую не были способны самые изобретательные остряки из школы *зубоскалов*.

После картинной галереи мы вошли в залу с единственным окном. Когда закрылась дверь, я не смог различить ничего, кроме богатых книжных шкафов, уставленных довольно хорошо переплетенными томами. Без проводника трудно было бы выйти из этого убежища. Г-н де Бальзак снова принялся жаловаться на свою бедность. Он боится, как бы я не подумал, что мебель принадлежит ему.

— Меня терпят в доме, — говорит он, — и владельцы поручили мне купить для них *все эти прекрасные вещи*. Одно время, — продолжает он, — Теофиль Готье пустил по

Парижу слух, будто я прячу миллионы, это неверно... Здесь мне ничего не принадлежит.

И г-н де Бальзак повторил, что значительные особы соблаговолили поселить его тут.

И, однако, с энтузиазмом, какой неизвестен квартиро-съемщикам, он стал показывать мне расположение комнат в доме, удобство различных зал, ванную комнату, старинный будуар финансиста Божона со свежереставрированной росписью, большую гостиную, загроможденную всякими редкостями, резной мебелью, старинными креслами, заново и весьма тщательно отлакированными и позолоченными. Некоторые скульптурные украшения над дверьми ожидали парных, которые г-н де Бальзак разыскивал во время своих путешествий, счастливый тем, что может показывать свою коллекцию почти завершенной. Под конец он, казалось, решил изменить систему.

— Прошу вас, сударь, не рассказывайте в Париже о том, что вы видели, мне еще надо уладить кое-какие неприятности.

Так незаметно пробежали три часа, на протяжении которых г-н де Бальзак был тем, кем всегда оставался для меня. Наивным художником, питающим глубокое уважение к творческой силе человеческих рук в области искусства, полным гордости, которая так меня пленяла, любящим литературу, как араб любит дикого скакуна, которого он с трудом укротил.

Цинкгреф рассказывает, что однажды Лютер заметил, как один из учеников записывает в тетрадочку только что произнесенные им слова.

— На, — сказал он, бросая в лицо ученику горсть крупы, — можешь и это туда поместить.

Я надеюсь, что никто не бросит в меня горсть крупы за то, что я так скрупулезно и опуская некоторые слишком личные комплименты изложил эту двухчасовую беседу с г-ном де Бальзаком.

Я любил автора «Человеческой комедии» больше чем учителя — в этом мое оправдание. Г-жа Беттина фон Арним, *Дитя*, не обращала внимания на тех, кто видел в ее переписке с Гете только книгу, а не знак почтения к нему.

Шли разговоры о том, чтобы воздвигнуть г-ну де Бальзаку памятник; прекрасная идея, идея трудная, но не нужно от нее отказываться. Самое официальное из имеющихся его изображений — это бюст, заказанный правительством для Версальского музея. Нельзя кому попало прикасаться резцом к голове г-на де Бальзака; он рискует сотворить еще один из стольких посредственных его бюстов, так же как посредственны и бесполезны многочисленные монографии об авторе «Человеческой комедии», написанные с момента его смерти.

Господин де Бальзак был красив.

Не в пример тем людям, что, впервые встретив великого гения, не могут распознать в нем человека, которого представляли себе по его книгам, я был поражен *красотою* г-на де Бальзака, когда он в 1848 году пригласил меня к себе и удостоил своими советами.

Но в сорокадевятилетнем возрасте г-на де Бальзака следовало бы скорее писать, нежели ваять. Живые черные глаза, обильная шевелюра, тронутая сединой, желтые и красные тона, резко выделявшиеся на его щеках, странные волоски на подбородке — все вместе придавало ему вид веселого вепря, который скульптуре затруднительно было бы передать.

«По праву своей свободной, могучей натуры, по привилегии умов нашего времени, видевших в непосредственной близости революции и потому яснее различающих призвание человека и лучше постигающих провидение, Бальзак остается улыбающимся и безмятежным после тех страшных исследований, которые порождали меланхолию у Мольера и мизантропию у Руссо».

Таким прекрасным языком характеризует г-н Виктор Гюго веселость — столь редкое в современной литературе качество, кое было присуще лишь одному-единственному художнику, г-ну де Бальзаку. Сочинитель популярных романов, г-н Поль де Кок в высокой мере обладает этим качеством, но он не художник. Г-н Виктор Гюго с большой тонкостью дает почувствовать опасность *страшных исследований* современной жизни, которые убивают радость; удивительный факт, если вспомнить о великих ученых Рабле, Лютере, у которых изучение жизни вело лишь к усугублению откровенного веселья.

В частной жизни г-н де Бальзак смеялся часто и громко; живот у него прыгал от приступов веселости, а полнокровные красные губы обнажали зубы, крепкие, как клыки.

Поэтому известные его портреты не удовлетворяют;

карикуры иногда дают более верное представление о личности человека, чем заказные полотна. Перед г-ном де Бальзаком карикатура пасует; если бы за него взялся Домье, мы бы имели ныне самый верный его портрет.

Остается картина г-на Луи Буланже, который изобразил великого писателя в его привычном халате в виде монашеской рясы, а также бюст работы г-на Давида, который, по своему обыкновению, облагородил знаменитого романиста. На этом бюсте, впрочем, прекрасном, Бальзак серьезен. Где веселость, сразу же отличающая человека в наше серьезное время?

Скульптор Давид любит головы *в духе Данте*, всех современных выдающихся людей он представляет *олимпийцами*. Он постоянно преувеличивает красоту лиц; это его система.

Я сказал, что г-н де Бальзак был *красив*, и, поскольку я не объяснил свою мысль, читатели могут улыбнуться, особенно те, кто встречал этого человека на парижских улицах в шляпе, отнюдь не похожей на головной убор светского льва, и с его пресловутой шишковатой тростью, весело стучавшей по плитам тротуара близ театра «Порт-Сен-Мартен» в достопамятные дни премьеры «Трагальдабаса».

Безусловно, г-н де Бальзак не обладал греческой красотой, волновавшей самые плешивые головы Франции и Германии, но он обладал красотой своего духовного мира. Эта красота не замыкалась внутри, как бывает у некоторых людей, она освещала все его лицо.

Внешность автора «Человеческой комедии» позволяла видеть его силу, мужество, терпение, гений. Его глаза вопрошали и выслушивали, словно священник и врач, — ничего подобного я никогда больше не встречал.

Жизнерадостная фигура Бальзака внушала радость другим, так же как зевающий актер заражает зевотой всю зрительную залу, так же как богатый прилавок мясника порождает в худосочных людях вожделение ко всем этим роскошным краскам.

Какой скульптор сумеет справиться с такою головой?

Для памятника нужно будет проникнуться духом «Человеческой комедии»: ибо речь идет не просто о мраморной фигуре автора с двумя аллегорическими фигурами по сторонам — трагическая и комическая музы слишком всем знакомы; хорошо бы придумать менее стертые эмблемы.

Может быть, пришло время обсудить по существу вопрос о культе великих людей, представленных в скульптуре и живописи.

Мне кажется, что лучший способ почтить великих людей после их кончины — это не ударяться в оды и эпические поэмы, а постараться рассказать хоть какую-то часть правды об их образе жизни, их костюме, их привычках.

Тем хуже для тех, кто думает, будто великий человек — это какое-то особое существо, странная личность, исключение, некто пораженный недугом гениальности, монстр. Лично я всегда искал в великих людях человеческие стороны; говорят, что для своих лакеев они не великие люди. Когда мы пишем о их произведениях, попробуем вообразить себя их лакеями.

Художник Шарден был самым пылким приверженцем реалистической школы, поэтому, вступив в Академию, он не тешился изображением самого себя в парадном костюме и с лавровым венком на голове. Он оставил нам два своих портрета пастелью; на одном он в больших серебряных очках на кончике носа, на другом — с зеленым козырьком над глазами. В таком же домашнем облике хотел бы я увидеть запечатленным великого труженика Оноре де Бальзака.

Ввиду невозможности найти вдохновенного Гольбейна, который смог бы заставить выступить из мрамора *человека девятнадцатого столетия*, семья писателя остановилась на простой идее надгробного памятника:

Разбитая колонна, а на колонне книга.

ОНОРЕ де БАЛЬЗАК

Только раз в жизни я видел великого Оноре де Бальзака; и все же считаю, что среди его современников я знаю его лучше других. Это требует объяснения, которое, естественно, и послужит темой этой небольшой истории. Двадцать пятого июля 1848 года в одной из зал Института состоялось собрание всех писателей, которых удалось объединить. Собирались тогда по любому поводу — важному и неважному; на этот раз речь шла о том, чтобы преобразовать Общество литераторов и создать из этой бездеятельной организации нечто разумное и хоть сколько-нибудь полезное для людей, занимающихся литературой. Как почти на всех подобных собраниях, и здесь нашлись люди красноречивые и пылкие: новоявленные Мирабо с громовым голосом и яростными жестами, способные вздымать ветер и бурю, остроумцы, умеющие найти неожиданный оборот и, столкнув слово со словом, высечь искру; рассказчики анекдотов, всегда имеющие про запас забавную историю и даже ухитряющиеся порою рассмешить слушателей; важные Прюдомы, сладкие Жокрисы и, кроме того, несметная масса болтунов, оглашающих воздух звонкими и пустопорожними фразами. В результате было сказано много глупостей, вздора, много красивых слов, и к концу дня собравшиеся разошлись, не высказав ни одного здравого суждения, что, впрочем, было нетрудно предвидеть.

Слушая, как утверждалось какое-нибудь нелепое предложение, как излагался какой-нибудь абсурдный или просто неосуществимый план, я сто раз хотел взять слово и высказать то, что считаю правильным, указав спасительный выход. Но каждый раз меня останавливало чувство глубокого разочарования, когда я слышал, как эта дискуссия, то наивная, то шумная и высокопарная, заходила в тупик, оставаясь за сотни лье от своего практического осуществления.

В одну из таких минут, когда я поднял голову, готовый заговорить, но так и остался безмолвным, я увидел прямо перед собою, в другом конце зала, человека с головой светозарной, мощной, косматой, осененной пламенем отваги и гения. Я никогда не видел его прежде, но узнал сразу, без колебаний, по его портретам, а главное, по сходству с его творениями; ибо кому же еще могли принадлежать этот широкий лоб, эти скульптурные пряди волос, эти огненные глаза, этот смелый и странный профиль, эти чувственные губы, эта борода, как у Рабле, эта атлетическая шея бога или быка, если не неутомимому создателю «Человеческой комедии»?

В то же время для меня стало очевидно, — впрочем, я увидел это ясно в его взгляде, — что Бальзак читал мои мысли, как если бы мой разверстый череп позволил ему увидеть обнаженный мозг, непосредственно получающий самые различные и самые сильные впечатления. И действительно, по мере того как моя мысль следовала тем или иным путем, его глаза и губы выражали попеременно одобрение, порицание, доброжелательную снисходительность, дружескую поддержку и мягкую, непреодолимую иронию. Моя мысль! Она работала с лихорадочной быстротой, как испорченные часы; чем меньше я говорил, тем больше мог сказать, и мои виски, я думаю, разорвались бы, если бы я не покинул наконец залы заседаний Института, куда поэты являлись только в дни революций. В дверях я почувствовал, что кто-то взял меня за локоть, — это был Бальзак! Без всяких предварений великий человек продолжил начатый со мною разговор. Где он начался? На Орионе? На Сириусе? На какой звезде? В какой предшествующей жизни? Этого я у него не спрашивал. Мне и в голову не приходило спросить его о чем-нибудь подобном, потому что меня властно вовлекло в какой-то сверхъестественный водоворот, где я совершенно потерял всякую способность удивляться.

— Вы правы, — сказал мне Бальзак, отвечая на мою мысль, хотя *ни одно слово не было мною произнесено*, — дело идет не о том, чтобы изменить какие-то виньетки или арабески, а о том, чтобы снести до основания все здание целиком и затем построить его заново. Литература, прама-терь всех искусств, каждый день творящая их заново, одна способна составить славу Франции и доказать ее неоспоримое превосходство перед другими народами. Вот почему Франция должна считаться с ней. Свою роль королевы цивилизации Франция сыграет только тогда, когда

предоставит литературе в мире фактов такую же власть, какую она имеет ныне в мире идей; но и тогда Франция достигнет только того уровня прогресса, что и Китай!

Эту точку зрения мэтр развил с такой силой логики, с такой изобретательностью фантазии и с таким богатством образов, какие может предположить всякий, кто читал «Человеческую комедию». Я вспоминаю ход его мыслей, и мне кажется, что я вновь переживаю те мгновения, когда они пересекали и воспаляли мой мозг, словно огненные змеи. Но я не совершу святотатства, не стану воспроизводить беседу Бальзака, я ничего не буду записывать здесь, разве только те слова, которые точно запомнил. Мы шли по улицам, где крыши домов, казалось, пламенели в лучах заходящего солнца, которое садилось в багряных облаках. И в мгновение ока мысль великого творца, этот мифический Гиппогриф, совершила гигантский облет, увлекая меня за собой: в своей поразительной импровизации Бальзак развернул передо мною прошлое, настоящее и будущее всех наших литературных искусств!

— А! Я вам завидую! — воскликнул он минуту спустя.

«Да вы смеетесь надо мной!» — хотел протестовать я не словами (ибо я все время молчал), но мысленно. Он не дал мне времени опомниться.

— Я обращаю не к вам похвалу, которую вы заслужите, быть может, лет через десять, если будете настойчиво трудиться, чтобы стать хорошим работником, — продолжал он, — но я завидую вам как лирическому поэту, потому что ваше искусство единственное, которому принадлежит будущее. В обществе, где роскошь растет с каждым днем, хотя само общество становится все более и более демократичным, театры, чьи размеры безгранично увеличиваются, утратили ту интимность, камерность и относительную бедность, без которых нельзя охватить поэтический замысел и оценить его тонкие нюансы; ведь именно в жалком театрике, вроде тех, где играли пьесы Арди и Шекспира, Поэзия расточала все свои сокровища, потому что там она одна заменяла собою все остальное; по мере же того как совершенствуется спектакль, сказал Филарет Шаль, драматическое искусство слабеет и исчезает.

В огромных залах, удобных и роскошных, Танец, Музыка, Пантомима, панорамы быстро заменят собою слово и станут единственным способом выражения, какой будет применяться тогда в театре. Что касается романа, который все больше и больше посвятит себя изучению физиологии, то недавно родившаяся наука Антропология

должна будет совершенно преобразовать его, и роман придет к тому, что расплавится в одном из подразделений Истории и Естествознания. В конце концов Наука — ибо делом нашего времени станет возвысить все творения ума до научного уровня — поглотит в своих различных проявлениях все литературные жанры, за исключением того, которому себя посвятили вы; так что настанет время, когда единственным средством заработать деньги и скопить сколько-нибудь значительный капитал будет *уменьше писать стихи!*

Услышь я сегодня что-нибудь подобное, я бы, кажется, ума лишился от изумления; но в тот день, когда чудо свершалось наяву, повторяю, я потерял способность удивляться. Иначе, боже правый, что случилось бы со мною, коль я продолжил бы жить в нереальном мире и своими глазами увидел невероятные вещи, о которых ранее и не мечтал! Самая главная среди них и, конечно, самая невероятная — если не знать, что гений своей властью возвеличивает, одухотворяет и претворяет все, к чему прикоснется, — это то, что в течение долгих часов я беседовал с Оноре де Бальзаком, *не раскрывая рта, так что в действительности он не слышал даже звука моего голоса.*

Этот долгий разговор отнюдь не был монологом великого писателя. Напротив того, это была беседа живая, полная воодушевления, противоречий, с возражениями, несогласиями, затруднениями, репликами, быстрыми и неожиданными поворотами. Только я должен добавить, что Бальзак *понимал* меня не только прежде, чем я раскрывал рот, но даже прежде, чем я успевал подумать; точнее, он читал мою мысль и отвечал на нее в то самое мгновение, когда она только еще зарождалась в моем сознании. Как выдержала все это и не разорвалась моя голова, сейчас мне трудно понять; но я не только не испытывал никакой усталости, но чувствовал себя тогда сильным, спокойным, словно какой-то живительный эликсир был влит в мои жилы.

Впрочем, никоим образом я не был больше самим собой. Мои физические и мои интеллектуальные силы внезапно возросли в десять, во сто, не знаю во сколько раз; потому что я смог пройти с моим прославленным спутником по улицам Парижа не меньше десяти лье, не отдыхая и не замедляя шага, — вещь неслыханная для меня, вечно больного. С другой стороны, я ясно угадывал связи и сцепления в речи, в которой *по видимости* всякие переходы были упразднены; ибо, выражаясь образно, мэтр перепрыгивал с одного предмета на другой, на тысячу других, не имею-

щих между собою ни малейшего сходства! Но связующие фразы, для которых почти всегда требовались целые тома объяснений, четко и сами собой писались в моем мозгу. Мало сказать, что я воображал и додумывал их: *я их видел!*

Между тем мы шли — шли с такой быстротой, что картины Парижа мелькали, сменялись одна другой, проносились перед моими глазами с такой головокружительной скоростью, словно я видел их из окна мчащегося экспресса! Это были то пустыри, строения, мастерские, оборванные прохожие внешних бульваров; то почти сразу же — витрины богатых магазинов, мебель, ларцы, картины, драгоценные ткани, элегантные кварталы и там кофейни, многолюдные и ярко освещенные, где только что зажегся газ. Потом тишина, бальзамический аромат цветов и зелени уведомили меня, что мы проходим мимо Люксембургского или Ботанического сада; затем широкие тротуары, мягкие для ног, как ковер, указали мне, что мы находимся в квартале Мадлен; а там потянулись тени Булонского леса и мгновением позже — *мне показалось*, что это было одно мгновение, — шумные кварталы: мелькнула площадь Мобер с ее пьяными старьевщиками или, пожалуй, Сен-Антуанское предместье, где раздавался грохот тяжелых телег и лязг железа; еще через минуту я увидел под сенью свежей, трепещущей зелени проезжающие коляски и в них нарядных женщин в светлых туалетах и новеньких перчатках, улыбающихся, сверкающих белыми зубками; кое-где сквозь листву пробивался солнечный луч и зажигал бриллиант в их драгоценных уборах, высекая из него пучок света.

Множество раз мы вступали в беседу с привратниками (я — всегда молча) и заходили в разные дома. Что мы там собирались делать? Мне казалось, что всякий раз мы приходили к Бальзаку в какую-нибудь из его квартир, но нигде не успевали ни присесть, ни хотя бы остановиться.

Я помню в Латинском квартале некую студенческую келью, где на столе из светлого дерева лежали гранки, испещренные помарками, и стояла чернильница из фаянса, расписанная цветами. Со стены глядело личико женщины с выражением божественной печали, то было совсем маленькое полотно в очень широкой золоченой раме, резные извивы которой переливались светлыми ручейками. Затем, в другую минуту, когда Бальзак, рассказывая о большом свете и о г-же д'Эспар, сказал мне, чтобы пояснить место, где происходила сцена: «Гостиная, такая, *как эта*», я заметил, что мы действительно вошли в гостиную. Я вспоминаю, как мы только что поднялись по прекрасной отделан-

ной под мрамор лестнице и Бальзак открыл дверь квартиры крохотным ключиком, напомнившим мне ключ Тизбе из «Анжело», и как высокий седовласый лакей, одетый в черное, при нашем появлении почтительно удалился.

Там стояла мебель, затейливо украшенная скульптурной резьбой и позолотой, заново крытая белым китайским шелком, расшитым яркими цветами и птицами, где преобладал желтый и алый цвет; ковер гармонично подобранных тонов с узором из различных квадратов; на золоченых столиках лежали скатерти из золотой и серебряной парчи, совсем потускневшей и создающей впечатление старинных тканей; мое внимание особенно привлекла люстра уникальной формы из розового стекла, состоящая из роз и листьев; но когда я захотел рассмотреть поближе ее интересные и сложные детали — потому что розы были соединены между собой гирляндами из мелких розочек, — мы были уже далеко, в какой-то узкой улочке, где на домах с почерневшими готическими щипцами гримасничали резные барельефы и бледный бродяга с черными прилипшими к черепу волосами и в розовом галстуке на грязной рабочей блузе продавал тетради стихов и тянул нараспев популярные куплеты о Шарлотте-республиканке.

Улицы, площади, перекрестки проносились мимо, но я не замечал ничего, увлеченный другим колдовством — неиссякаемым и все возрождающимся разговором с Бальзаком, который показывал мне — и я видел, как в театре, — чередование всех сцен до появления человечества и после: Теогонию и Книгу Бытия, борьбу богов и титанов, истребление чудовищ, библейских царей, индусских героев, уничтоживших целые народы, египетских Селевкидов на своих колесницах, запряженных тиграми, Александра VI, заставлявшего танцевать на свадьбе своей дочери нагих куртизанок; потом кто там еще? Екатерина Медичи, Талейран, Наполеон... А то я видел редакцию газеты, где обманывали издателей и директоров театров, или вдруг знойную африканскую пустыню, безумную и залитую кровью Венецию, Норвегию Серафиты с ее ледяными и снежными горами и наконец «Человеческую комедию», но ожившую, одушевленную, разыгранную тысячью актеров, из которых все обладали гением Тальма или Фредерика! Я видел де Марсе, повелевающего всей Европой и женщинами, Монье-Бисиу, замышляющего вырвать рога у Тельца Зодиака, Жорж Санд или тридцатилетнюю Камилл Мопен, розовую под загаром, с огромными огненными глазами с бездонным зрачком, как нарисовал ее Жениоль. Потом Растиньяка,

Нусингена-Ротшильда, занятых поисками философского камня, Видока-Вотрена, императора каторги, с его гаремами, солдатами, мамелюками, преданными ему до нелепости, и его торговками подержанным платьем, рядом с которыми Ришелье и Оливарес годились бы разве что в сельские сторожа!

Я увидел — о, небо! — вся кровь бросилась мне тогда в голову, и предо мной возникла огненная галлюцинация, как у убийц бывает галлюцинация цвета крови, — я увидел полуобнаженную в своем будуаре — ножка в прозрачном шелковом чулке — мечтающую, розовую, возбужденную любовными грезами, с разметавшимися волосами, окутанную легким батистом, обшитым тончайшими мехельнскими кружевами (лучшие кружева, которые прядут на веретенах), самое госпожу де Мофриньез! Я увидел на прелестной, божественной спине этой Дианы то, что она скрывала даже от своего самого обожаемого любовника — родимое пятно! Ах! Какое вдохновение, какая гармония слов, какие цветы лирической поэзии могли бы достойно воспеть эту восхитительную коричневую родинку на теплой, светящейся белизне кожи!

Но в тот миг, когда я готов был крикнуть, быть может, броситься к ней, презрев все условности, меня остановила вдруг жестокая, отрезвляющая мысль. В самом деле, великий Бальзак и я, мы только что остановились перед ярко освещенным театром «Порт-Сен-Мартен», чьи подъезды были запружены шумной толпой, и я с отчетливой ясностью понял, что должен туда войти.

Я бы не вынес такого напряжения нервов, если бы мне пришлось присутствовать на обычном и мирном спектакле. Но, к счастью, спектакль, на который я попал, оказался отнюдь не мирным: это была премьера «Трагальдабаса»! Бурные аплодисменты, овации, рев восторженной толпы, целый оркестр знаменитостей, который возглавлял Виктор Гюго, и тут же брань, подстрекательства, угрозы, вызовы на поединок, которые неслись от одной галереи к другой, и покрывающий все грозный бас Фредерика, красноречивого и неистового, бросающего в лицо своим хулителям бравяду — великолепные иронические стихи своей роли. Это была настоящая буря, ярость, которая в те минуты была необходима моей душе и без которой я бы упал, сраженный смертельной усталостью.

Под занавес прозвучали знаменитые стихи:

И вы, рога, трубите...

Я чувствовал голод потерпевшего кораблекрушение, потому что ничего не ел в течение пятнадцати часов. По какому-то инстинктивному предпочтению я направился в знаменитый тогда ресторан, в котором никогда прежде не бывал, решительно вошел туда и оказался в коридоре первого этажа с небольшими отдельными кабинетами, предназначенными для любовных свиданий и интимных бесед. Дверь одного из этих небольших салонов была отворена, и я увидел Бальзака, сидящего за столом, накрытым на две персоны; в тарелках был уже разлит суп. *«Присутим!* — сказал мне великий человек. И добавил: — Кабатчик X — гениален (черт возьми!). И это решительно так, потому что его раковые супы — шедевры! Их надо вкушать, как поцелуй герцогини, который ожидаешь целый год, а тут нельзя ждать и одной минуты!»

Ш. МОНСЕЛЕ

ИЗ КНИГИ «МАЛЕНЬКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЬ»

Последний раз я видел Бальзака в 1848 году в редакции «Эвенман», где я тогда состоял на службе.

«Эвенман» был в ту пору только что основан при содействии Виктора Гюго. Приглашение сотрудничать в составлении этой яркой и дерзкой газеты получили все писатели, имеющие имя, талант или же просто подававшие надежды.

Леон Гозлан, Мерис, Теофиль Готье сталкивались у нас в дверях с Анри Мюрже, Шанфлери и Теодором де Банвилем. В редакции царило веселое оживление, там охотно обменивались идеями, делились надеждами, мнениями и блистали остроумием. Антенор Жоли и Полидор Мило сновали взад и вперед, все время чем-то занятые или делающие вид, что заняты, — первый занимался литературной частью, выискивая романы, неотступно преследуя авторов и редактируя рукописи, второй давал советы по организационным вопросам; голова его была полна замыслов, а карманы... планов; один кричал как оглашенный, каким он и являлся, другой стучал об пол своей тростью, и оба хлопали дверьми.

Однажды, примерно между девятью и десятью часами вечера, когда я правил корректуру одной из своих рубрик, в нашу комнату вошел человек, которого я узнал с первого же взгляда (я видел его два года тому назад). Это был Бальзак. Все встали. Мерис и Вакери подошли позвать ему руку.

Бальзак как-то обещал написать роман для «Эвенман» и даже сообщил нам его название. Но в этот вечер он не принес его — он пришел проститься со своими друзьями, так как на следующий день отправлялся в свое последнее путешествие в Россию.

Он был одет со своего рода совершенством по части дурного вкуса. Его редингот был ядовито-зеленого цвета. Красный скрученный, как веревка, галстук, поношенная шляпа и длинные волосы придавали ему вид провинциального комедианта. В его облике уже не сквозила прежняя могучая жизнерадостность; годы, не изменив черт его лица, смягчили его выражение. Веселость уступила место доброте. Только глаза по-прежнему сохраняли свой необычайный блеск и выразительность. Г-жа де Сюрвиль и Теофиль Готье с поразительной точностью описывают золотые искорки в его взгляде.

У меня было время рассмотреть Бальзака как следует. Он не торопился с уходом. Вне своего дома он принадлежал всем. Непокладистым он был только во время работы.

Разговор, в котором принимал участие и я, вертелся вокруг «Трагальдабаса» — литературного события дня, и Бальзак несколько раз обращался непосредственно ко мне. У него был чарующий голос. Но, повторяю, заряд его жизненных сил уменьшился. Чувствовал ли он уже первые признаки болезни, которая должна была унести его в могилу два года спустя?..

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

А. УССЕ

ИЗ КНИГИ «ИСПОВЕДЬ»

По этому письму можно судить, что Бальзак, столь пронизательный, когда держал перо в руке, в жизни вечно витал в облаках. Лишь в своих творениях бывал он рассудительным. Можно сказать, что он был создан в противоположность поэтам. Виктор Гюго был рассудительнейший светский человек, когда спускался с высот поэзии; к Бальзаку разум возвращался, лишь когда он писал книги.

Вернувшись из Дрездена, он написал мне нервным или скорее раздраженным почерком:

«Дорогой г-н директор!

Я приехал из России. Зайдите ко мне на этих днях поговорить о моей пьесе. Я полагаю, что «Французская комедия» должна увенчать «Человеческую комедию». От поездок у меня отнялись ноги. Я не могу навестить Вас.

Бальзак».

Я не очень доверял драматическому искусству Бальзака, чей независимый ум не признавал никаких уступок условиям сцены, но я слишком ценил его гений великого романиста, создавшего целый мир, и пошел навестить его сразу по приезде. Я не застал его дома.

Он приехал ко мне в «Комеди Франсез». Я увидел, что он дышит на ладан. Меня испугала его бледность; он не вышел из кареты, потому что из-за одышки не мог подняться по лестнице. Я писал ему осенью 1849 года и просил комедию или драму; он привез мне то, что называл своей

песой. Но, вполне признавая в ней следы высочайшего ума, я хотел, чтобы он дебютировал в «Комеди Франсез» новой вещью, после чего я взял бы и его «Меркаде». Он сказал мне, что человеческую комедию видит преимущественно в форме романа. По его мнению, драматический писатель выражает себя лишь фрагментарно, романист же в романе виден целиком.

— И его всегда хорошо играют! — восклицал он. — Потому что каждый читатель видит собственную пьесу. Мысль автора в романе доходит к нему из первых рук; в комедии же это лишь перевод, а хороших переводчиков никогда не бывало; лучше иметь дело с самим богом, чем со святыми. Сама Рашель представляет трагических героинь не так, как я их вижу в своем воображении.

Я защищал интересы театра.

— Главное, — сказал я Бальзаку, — что первым среди наших романистов вы уже стали, а если захотите, станете первым среди наших драматургов.

— Что мне до этого? Мне очень обидно — современники меня не поняли. Возьмите хоть Академию! Я сделал ей честь, я сам к ним пошел, а они мне дали два голоса! Возьмите журналистов! Как они на меня клеветали! Я не говорю о записных критиках.

Я был живо огорчен, видя, что и тело его, вчера столь могучее, поражено анемией, и пламенная душа поражена несправедливостью. Для него «Человеческая комедия» уже была сыграна; он уже обитал в чистой области грядущих миров и терял опору на земле. Я пожал ему руку — мраморную руку — и пообещал зайти к нему поговорить о будущей пьесе. Мы произвели обзор главных типов его романов; когда мы искали среди актеров «Комеди Франсез» сколько-нибудь годных, чтобы сыграть этих вечно живых персонажей, к нам подошел Альфред де Мюссе. Эти два необыкновенных человека, лишь наполовину понимавшие друг друга, были едва знакомы. Они поздоровались приветливо, но и только. Мюссе прошел, сказав, что поднимется ко мне.

— Видите, — сказал Бальзак, — как второстепенен театр. Хорошую вещь Мюссе — «Уста и чаша» — вы не играете, а плохую — «Каприз» — играете каждый день.

— Надо же приучать публику: я уже поставил «Подсвечник». Я бы поставил всего Мюссе, как поставил бы всего Бальзака, всего Гюго. Слава богу, я пришел во «Французский театр» не для того, чтобы повторять старое; слишком долго французский дух назывался г-н Колен

д'Арлевиль; слишком давно французский характер чахнет и бледнеет.

Бальзак еще раз приезжал ко мне; так как из-за болезни сердца он не мог подниматься по лестницам, меня попросили спуститься к нему в коляску. Он хотел, чтобы все его пьесы игрались в «Доме Мольера». В экипаже была его жена. Не успел он меня представить, как она стала рассказывать о драматическом гении романиста. Испуганный могильной бледностью Бальзака, я обещал все, что он хотел. Если бы я сам в это верил, мне пришлось бы вскоре не ставить ничего, кроме Бальзака и Мольера. Через несколько дней я пришел к нему в гости, и он не упустил случая показать мне свои картины и диковинки. Какое заблуждение! Он считал, что обладает сокровищами Лувра, как считал себя Мольером XIX века.

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ БАЛЬЗАКА

<...> Однажды, отправившись во «Французский театр» и не в силах выйти из коляски, Бальзак вынужден был попросить Арсена Уссе — тогдашнего директора «Дома Мольера» — спуститься к нему...

— Напуганный смертельной бледностью Бальзака, — рассказывает Арсен Уссе, — я обещал исполнить все, о чем он меня просил.

В июле состояние больного не улучшилось.

В начале августа приступы стали более частыми и сильными; лекарства уже не оказывали никакого действия на его изношенное тело и не могли отсрочить наступления агонии.

Близкие и друзья романиста вскоре поняли, что он обречен.

Сам он не догадывался о серьезности своего положения: г-жа де Бальзак искусно скрывала от него правду и подерживала в нем надежду. Да и разве мог он умереть, не завершив великого дела своей жизни — «Человеческую комедию»?

Так он был далек от мучительных мыслей о приближающемся конце.

Тем не менее однажды он решил выпытать у врача всю правду о своем состоянии.

Вот как описывает Арсен Уссе, часто навещавший в ту пору знаменитого больного, перипетии последнего разговора Бальзака с его врачом.

Я приведу этот разговор дословно: любые комментарии ослабили бы производимое им впечатление. Этот патетический диалог — словно развязка волнующей драмы.

— Доктор, — сказал Бальзак. — Я хочу знать всю правду. Вы — князь науки. Ваше уважение ко мне обязывает

вас ничего от меня не скрывать. Послушайте; я вижу, что болен серьезнее, чем думал, я чувствую растерянность. Я тщетно пытаюсь возбудить аппетит с помощью воображения — все внушает мне отвращение. Как вы думаете, сколько времени я смогу еще прожить?

Врач безмолвствовал.

— Доктор, неужели вы принимаете меня за ребенка? Повторяю вам еще раз — я не могу умереть, как простой обыватель. Такой человек, как я, должен написать завещание читателям.

Слово «завещание» отомкнуло уста врача. Если Бальзак должен был написать завещание читателям, ему следовало также подумать о завещании своей семье, своей жене.

— Мой дорогой больной, сколько времени вам нужно для того, чтобы сделать все необходимое?

— Шесть месяцев, — ответил Бальзак с видом человека, который хорошо все взвесил.

И он пристально посмотрел на врача.

— Шесть месяцев! Шесть месяцев! — повторил тот и отрицательно покачал головой.

— А! — горестно воскликнул Бальзак. — Я вижу, вы не дадите мне шести месяцев... но дадите вы мне по крайней мере шесть недель?.. Шесть горячечных недель — это еще целая вечность. Часы станут днями... Да и ночи не будут потеряны.

Врач снова отрицательно покачал головой.

Бальзак приподнялся, — казалось, еще немного — и он возмутится.

Считал ли он, что врач, как шагреновая кожа, обладал властью удлинять или укорачивать его дни?

Врач, слишком серьезно отнесшийся к настойчивым требованиям своего больного, решил наконец сказать правду.

Охваченный тревогой, Бальзак собирал все свои душевные силы, чтобы быть достойным этой правды.

— Как! Доктор, я уже конченный человек? Но, слава богу, я чувствую, что у меня есть еще силы для борьбы. Впрочем, у меня есть также и мужество смириться — я готов подчиниться судьбе. Если ваш опыт вас не обманывает, не обманывайте и вы меня. На что я еще могу надеяться? Дадите вы мне шесть дней?.. Шесть дней! — повторил Бальзак. — И я намечу в общих чертах то, что мне оставалось сделать; мои друзья поставят точки над *i*. Я успею быстро просмотреть мои пятьдесят томов. Я вырву неудавшиеся страницы и отмечу лучшие. Человеческая воля

творит чудеса — я могу сделать бессмертным созданный мною мир. Я отдохну на седьмой день.

В его взгляде было почти столько же муки, сколько в сопровождавшем этот взгляд вздохе.

С той минуты, как Бальзак начал задавать свои ужасные вопросы, он постарел на десять лет. Он не находил больше слов, чтобы расспрашивать врача, который не находил слов, чтобы отвечать.

— Мой дорогой больной, — произнес наконец врач, пытаясь изобразить улыбку — профессиональную улыбку у, — кто в этом мире может поручиться даже за час? Тот, кто сейчас хорошо себя чувствует, может умереть раньше вас. Но вы хотите услышать правду; вы говорили о завещании вашим читателям...

— Итак?

— Итак, это завещание читателям нужно написать сегодня. Впрочем, вам, быть может, следует написать другое завещание — не нужно ждать до завтра.

Бальзак приподнял голову.

— Значит, у меня есть только шесть часов?! — с ужасом воскликнул он.

И снова упал на подушку.

Последняя фраза врача была равносильна смертному приговору.

Сразу же вслед за этим началась агония автора «Человеческой комедии».

Он умер на следующий день, 20 августа 1850 года.

Он хотел знать правду — эта правда, неосторожно открытая ему человеком науки, ускорила его кончину.

ЗАМЕТКИ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ БАЛЬЗАКА

Бальзак возвратился в Париж в конце мая 1850 года после почти двухлетнего пребывания в России.

От друзей его не ускользнула печать тех перемен, которые изменили его черты.

Какие же мрачные предчувствия его состояние должно было вызвать у врача, наблюдавшего за ним с детских лет, лечившего и любившего его! Застарелый сердечный недуг, столь часто усугублявшийся работой ночами и употреблением, вернее, злоупотреблением, кофе, к коему он вынужден был прибегать, чтобы бороться с естественной для человека потребностью в снe, — этот недуг принял теперь новый, необратимый характер. В результате у него появилась тяжелая одышка, и он с трудом мог передвигаться; его речь, некогда такая живая и порывистая, стала сбивчивой и невнятной; его взгляд, прежде все подмечающий и острый, как в прямом, так и в фигуральном смысле, теперь будто подернулся пеленой, и он опасался, что вскоре уже не сможет сам записывать свои мысли.

Перед лицом столь опасных симптомов и несмотря на его безграничное ко мне доверие ради спасения этого выдающегося человека я решил обратиться за помощью к моим коллегам, докторам Фулье, Ру, Луи и Рейе.

Временами нам уже казалось, что Бальзак находится на пути к выздоровлению, и это рождало надежду у самого больного, в благородном, великодушном и возвышенном сердце великого писателя.

Но специалисты, с самого начала установившие у Бальзака сильную альбуминурию, понимали, что все это не более чем краткие передышки.

В эти светлые или, лучше сказать, не столь тяжкие минуты душа Бальзака вновь обретала былую мощь, а ум его — всю свою широту, и одному богу известно, как много

потеряно оттого, что так и остались незаписанными новые замыслы, рожденные его воображением, задуманные им характеры и планы, которые перо его впервые не могло запечатлеть на бумаге.

В пору болезни у Бальзака, давно постигшего смысл того, что есть удел человеческий, возникло желание побеседовать с одним весьма почтенным священником, в устах которого религия была наивысшим воплощением мирового разума.

Спокойствие этого еще нестарого человека, для которого рушилось все: и литературная слава, завоеванная тридцатью годами упорного труда и творческих поисков, и надежды завершить свой труд, а главное, едва обретенное им личное счастье, — являло поистине душераздирающее зрелище.

Было с ним, правда, несколько приступов, редких и непродолжительных, когда он терял самообладание, но, придя в себя, он сам удивлялся им.

Однако болезнь быстро прогрессировала, так что вскоре уже ни воля к жизни этого пламенного сердца, ни неустанные заботы врачей, при всей их любви и преданности, не в состоянии были удержать эту ускользающую жизнь.

Бальзак скончался в ночь с 18 на 19 августа 1850 года.

СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

18 августа 1850 года жена моя, навестившая днем г-жу Бальзак, сообщила мне, что Бальзак при смерти. Я поспешил туда.

Уже в течение полутора лет Бальзак страдал гипертрофией сердца. Вскоре после февральской революции он поехал в Россию и там женился. За несколько дней до его отъезда я встретился с ним на бульваре; уже тогда он жаловался на недомогание и одышку. Во Францию он вернулся 13 мая 1850 года, женатым, разбогатевшим — и умирающим. Он приехал с уже опухшими ногами. Обратились к докторам — его осмотрели четверо врачей. Один из них, г-н Луи, сказал мне 6 июля, что Бальзак не протянет и шести недель. У него оказалась та же болезнь, от которой умер Фредерик Сулье.

18 августа у нас обедал дядя, генерал Луи Гюго. Как только встали из-за стола, я покинул гостя и на фиакре отправился в квартал Божон, на улицу Фортюне, 14, где жил Бальзак. Он недавно приобрел все, что еще оставалось от дворца Божона — часть низкого флигеля, случайно избежавшего разрушения; этот домишко он роскошно обставил и превратил его в прелестный маленький особняк, к которому подъезжали со стороны улицы Фортюне. Узкий мощный двор с несколькими цветочными клумбами заменял сад.

Я позвонил. Тускло светила луна, скрытая за тучами. Улица была пустынна. Никто не открывал. Я снова позвонил. Дверь растворилась, и я увидел служанку со свечой.

— Что угодно, сударь? — спросила она. Она плакала.

Я назвал свое имя. Она ввела меня в гостиную нижнего этажа, где на консоли, против камина, возвышался огромный мраморный бюст Бальзака работы Давида. Посреди

залы стоял роскошный овальный стол на шести резных золоченых ножках великолепной работы. На столе горела свеча.

Вошла еще одна женщина, она тоже плакала. Женщина сказала:

— Он умирает. Барыня ушла к себе. Врачи еще вчера отказались от него. У господина Бальзака язва на левой ноге, теперь началась гангрена. Доктора ничего не понимают. Сначала они говорили, что водянка у барина воспалительная, — они называли это «инфильтрация»; будто кожа и мясо стали у него все равно как сало и будто бы от этого ему нельзя сделать прокола. Ну, а потом — это было еще в прошлом месяце — барин ложился спать и ударился о какую-то резную мебель. Кожа у него лопнула, и вот тут-то из него потекла вода. Врачи удивлялись: как же так? И уж с тех пор сами начали выпускать ему воду. Они ведь все говорят: «Надо подражать природе». Но на ноге у него сделался нарыв. Господин Ру разрезал его. А вчера сняли повязку — гноя нет, рана стала багровой, сухой и вся горит. Тогда они сказали: «Он безнадежен» — и так больше и не приходили. Звали еще четырех или пятерых — никакого толку. Все они говорят: «Сделать уже ничего нельзя». Ночь он провел тяжелую. Сегодня утром, в десять часов, у него отнялся язык. Барыня послала за священником. Пришел священник и дал ему отпущение. Барин знаками показывал, что он все понимает. Через час он еще смог пожать руку сестре, госпоже Сюрвиль, а уж с одиннадцати часов все хрипит и никого не узнает. До утра ему не дожить. Если хотите, сударь, я пойду позову господина Сюрвиля, он еще не лег.

Женщина вышла. Я стал ждать. Пламя свечи тускло озаряло пышное убранство гостиной и висящие на ее стенах великолепные полотна Порбуса и Гольбейна. Мраморный бюст смутно белел в полумраке, словно призрак того, кто сейчас умирал. Дом был насквозь пропитан запахом гниения.

Вошел г-н Сюрвиль и повторил все то, что уже рассказала мне служанка. Я попросил разрешения увидеть г-на Бальзака.

Мы миновали коридор, поднялись по лестнице, устланной красными коврами, увешанной картинами и украшенной вазами, статуями, коллекциями эмалей; прошли еще один коридор, и я увидел отворенную дверь. Слышалось громкое, зловещее дыхание.

Я был в комнате Бальзака.

Посреди комнаты стояла кровать. Это была кровать красного дерева, к ногам и изголовью ее были прикреплены поперечные брусья с ремнями — с их помощью больного можно было поворачивать. На этой кровати лежал Бальзак. Голова его покоилась на груди подушек, среди них было несколько диванных, из красного шелка, снятых с софы, стоящей в этой же комнате. Лицо его было лиловым, почти черным, голова повернута вправо; он был небрит, седые волосы его были коротко острижены, взгляд широко раскрытых глаз неподвижен. Я видел его сбоку, и в профиль он показался мне похожим на императора.

По обе стороны кровати неподвижно стояли двое: старуха сиделка и слуга. Одна свеча горела на столе, позади изголовья, другая — на комодe, возле двери. На ночном столике стоял серебряный сосуд.

Женщина и мужчина молчали в каком-то оцепенении, прислушиваясь к хриплому дыханию умирающего.

Пламя свечи, стоявшей позади изголовья, ярко освещало висевший над камином портрет молодого, цветущего, улыбавшегося юноши.

От постели шел нестерпимый запах. Я приподнял одеяло и нашел руку Бальзака. Рука была потная. Я пожал ее. Он не ответил на рукопожатие.

Это была та самая комната, где я был у него месяц тому назад. Тогда он был весел, полон надежд, он не сомневался в том, что поправится, и со смехом показывал свои опухшие ноги.

В тот день мы много говорили и спорили о политике. Он упрекал меня за мою «демагогию». Он был легитимистом. Он говорил мне: «Как вы могли так спокойно отказаться от титула пэра Франции — самого прекрасного после титула французского короля!»

Он также сказал: «Мне принадлежит весь дом господина Божона, правда, без сада. Но зато здесь у меня собственное место в церкви. На той лестнице есть дверь — через нее попадаешь прямо в часовню, которая находится на углу улицы. Мне стоит только повернуть ключ — и я могу слушать мессу. Этим я дорожу даже больше, чем дорожил бы садом».

Я собирался уходить; с трудом передвигая ноги, он проводил меня до той самой лестницы, показал мне эту дверь, потом он крикнул жене: «Только смотри покажи Гюго все мои картины...»

...Сиделка сказала:

— Он умрет на рассвете.

Я спустился по лестнице, унося в памяти это мертвенное лицо; проходя через гостиную, я вновь увидел неподвижный, бесстрастный, горделивый бюст, смутно белевший в полумраке, — и сравнил смерть с бессмертием.

Вернувшись до мой, — это было воскресенье — я застал у себя несколько человек, которые ждали меня; среди них был поверенный в делах Турции Рицца-Бей, испанский поэт Наварет, итальянский изгнанник Арривабен. Я сказал им:

— Господа, сегодня Европа потеряет великого человека.

Он умер ночью. Ему был пятьдесят один год.

* * *

Хоронили его во вторник. Сначала гроб его поставили в бывшей часовне Божона — его пронесли туда через ту самую дверь, ключ от которой был ему дороже всех райских садов бывшего откупщика.

В день его кончины Жиро написал с него портрет. Хотели отлить и маску, но не успели — так быстро труп разложился. Когда на следующее утро пришли снять слепок, лицо покойного было уже неузнаваемо, нос опустился на щеку. Его положили в дубовый гроб, обитый внутри свинцом.

Заупокойную мессу служили в церкви святого Филиппа де Руль. Стоя у гроба, я думал о том, что когда-то в этой церкви крестили мою младшую дочь и что я не был здесь с того самого дня. В наших воспоминаниях смерть соприкасается с рождением.

На похоронах был министр внутренних дел Барош. В церкви он сидел у катафалка рядом со мной; по временам он обращался ко мне.

— Это был знаменитый человек, — сказал он.

Я ответил:

— Это был гений.

Траурная процессия проследовала через весь Париж и Бульварами дошла до кладбища Пер-Лашез. Когда мы выходили из церкви, шел небольшой дождь; он еще продолжался, когда мы пришли на кладбище. Был один из тех дней, когда кажется, будто плачет небо.

Я шел справа от гроба, держа одну из серебряных кистей балдахина. Александр Дюма шел с другой стороны.

Когда мы стали приближаться к могиле, вырытой высоко на холме, мы увидели, что нас уже ждет огромная

толпа. Сюда вела узкая и неровная дорога, лошади с трудом сдерживали траурные дроги — они то и дело съезжали вниз. Я оказался между колесом и чьим-то памятником и чуть не был раздавлен. Какие-то люди, ожидавшие у могилы, удержали меня за плечи и помогли взобраться к ним наверх.

Весь путь мы прошли пешком.

Гроб опустили в могилу, вырытую рядом с могилой Шарля Нодье и Казимира Делавиня. Священник произнес заупокойную молитву, и я сказал несколько слов.

Пока я говорил, солнце садилось. Вдали, в ослепительных красках заката, лежал передо мною весь Париж. Под моими ногами осыпалась земля, и слова мои прервались глухим стуком комьев земли, падавших на гроб.

**РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ БАЛЬЗАКА
20 АВГУСТА 1850 ГОДА**

Господа!

Человек, которого только что опустили в эту могилу, был одним из тех, кого в последний печальный путь провожает весь народ. В наши времена мнимого величия не существует. Взоры теперь прикованы уже не к тем, кто царствует, а к тем, кто мыслит, и, когда кто-нибудь из мыслителей уходит от нас, его смерть волнует всю страну. В наши дни об утрате талантливого человека скорбят широкие круги общества, об утрате гения скорбит вся нация.

Имя Бальзака ярким лучом волеется в ту полосу света, которую оставит после себя наша эпоха.

Господин де Бальзак принадлежит к могучему поколению писателей девятнадцатого века, которое появилось после Наполеона, так же как после Ришелье появилась блестящая плеяда семнадцатого века, словно в развитии цивилизации действует закон, по которому на смену тем, кто властвует силой меча, приходят те, кто властвует силой духа.

Господин де Бальзак был одним из первых среди великих, одним из лучших среди избранных. Здесь не место говорить обо всем том, чем был этот могучий, блистательный ум. Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеванных смятением и ужасом. Изумительная книга, которую автор назвал комедией и мог бы назвать историей, книга, в которой сочетаются все формы и все стили, которая затмевает Тацита и достигает силы Светония, перекликается с Бомарше и может сравниться с Рабле; книга, созданная и наблюдением, и фанта-

зией, где щедро и правдиво показано все самое сокровенное, мещанское, пошлое, низменное и где порою внезапно, из-под грубо разорванной оболочки реальных событий, выступают самые мрачные, самые трагические идеи.

Неведомо для себя самого, хотел он того или нет, согласен он с этим или нет, автор этого грандиозного и причудливого творения принадлежит к могучей породе писателей-революционеров. Бальзак идет прямо к цели, он вступает в рукопашную с современным обществом. У каждого он вырывает что-нибудь — у этого иллюзии, у того надежды, одного заставляет исторгнуть вопль, с другого срывает маску. Он изучает порок, анатомирует страсть. Он роется в человеке, он исследует душу, сердце, мозг — бездну, которую каждый носит в себе. По праву своей свободной, могучей натуры, по привилегии умов нашего времени, видевших в непосредственной близости революции и потому яснее различающих призвание человека и лучше постигающих провидение, Бальзак остается улыбающимся и безмятежным после тех страшных исследований, которые порождали меланхолию у Мольера и мизантропию у Руссо.

Вот что он совершил, живя среди нас. Вот то творение, которое он нам оставил, — возвышенное и долговечное, мощное нагромождение гранитных глыб, основа памятника, — творение, с вершины которого отныне будет сиять его слава! Великие люди сами сооружают себе пьедестал; статуя воздвигает будущее.

Его смерть как громом поразила Париж. Несколько месяцев назад он вернулся во Францию. Чувствуя приближение конца, он захотел еще раз увидеть родину; так накануне далекого путешествия приходят проститься с матерью.

Жизнь его была коротка, но насыщена; в ней было больше трудов, чем дней. Увы! Этот неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений жил среди нас той жизнью, полной бурь, распрей, борьбы и битв, которой во все времена живут великие люди. Теперь он обрел покой. Он ушел от раздоров и ненависти. В один и тот же день для него раскрылась могила и засияла слава. Отныне его имя будет блистать поверх туч, нависших над нами, блистать среди звезд нашей родины!

Вы все, собравшиеся здесь, разве не ощущаете вы зависти к нему?

Господа, как бы ни была глубока наша скорбь перед лицом такой утраты, примиримся с этими катастрофами.

Примем покорно все то, что в них есть горестного и сурового. Быть может, полезно, быть может, необходимо в такую эпоху, как наша, чтобы время от времени смерть великого человека вызвала религиозное потрясение в умах, пожираемых сомнением и скептицизмом.

Провидение знает, что делает, когда таким образом ставит людей лицом к лицу с высшей тайной и заставляет их размышлять о смерти, которая всех уравнивает и всем несет великое освобождение.

Провидение знает, что делает, ибо это — самое возвышенное из всех поучений. Одни лишь суровые и серьезные мысли рождаются во всех сердцах, когда высокий ум величаво переходит в иной мир, когда одно из тех существ, которые долго парили над толпой на зримых крыльях гения, внезапно расправляет иные, незримые крылья и устремляется в неведомое.

Нет, это нельзя назвать неведомым! Нет — я уже это говорил по другому прискорбному поводу и неустанно буду повторять: нет, это не мрак, а свет! Это не конец, а начало! Это не небытие, а вечность! Скажите вы все, кто слушает меня здесь, разве это не правда? Подобные могилы свидетельствуют о бессмертии; у гроба таких прославленных людей яснее сознаешь божественную судьбу разумного существа, которое проходит по земле, страдая и очищаясь страданием, и которое называется человеком, и говоришь себе: невысказанно, чтобы те, кто были гениями при жизни, после смерти не стали бессмертными душами!

СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

В эту неделю Франция и Европа потеряли одну из самых больших знаменитостей XIX века. Мы еще только в середине века, но, каков бы ни был его конец, люди, подобные господину де Бальзаку, появляются так редко, чтобы можно было бы надеяться вскоре встретить столь же великий и мощный ум. Природа редкими рывками посылает их в наш мир. После Шекспира по нисходящей линии через большой промежуток времени появляется Вальтер Скотт. После Рабле мы встречаем Мольера. После Мольера — Бальзак, но здесь уже не нисходящая линия. Я думаю, что скорее это восхождение.

Смерть Бальзака — настоящая интеллектуальная катастрофа. Среди прочих потерь, пережитых нашей эпохой, с ней можно сравнить только смерть лорда Байрона. Действительно, Байрон, так же, как и Бальзак, умер, едва успев распротиться с юностью, в расцвете зрелости, в ореоле славы, оставив, как и Бальзак, незавершенные творения. Поэма «Дон Жуан» так же не закончена, как и другая, может быть еще более великая поэма, — «Человеческая комедия», написанная лишь наполовину. Не побоимся сказать, что для тех, кто не знал Бальзака-человека, но ценил Бальзака-мыслителя и художника, особенно горько то, что прервалась работа над произведением, которое, судя по тому, что мы знаем, должно было стать гордостью человеческого ума и души. Отсюда великая скорбь, вызванная его преждевременной смертью. В ней не только боль утраты, но и горечь разочарования. Вальтер Скотт, о котором мы только что говорили, умер, успев раскрыть все богатства своего гения. Он был в ладу со славой. Он угас, как угасает спокойное солнце на исходе тихого и длинного дня. Он тихо исчез, закончив свою работу, завершив весь круг своей жизни. Гете — этот баловень Судьбы, еще при жизни ста-

вший богом, — прожил старость величественно чистой и спокойную, которая предвосхитила его грядущее бессмертие. Бальзак же был сражен, «земную жизнь пройдя до половины», *in mezzo del Cammino*, когда только-только раскрылись его способности и оформились его замыслы, в момент, когда после героических битв своей юности «великого человека» он, как Гете, вступал в идеальный период человеческого существования, когда счастье удваивает мощь гения, придает ему новую, божественную силу, доводя до совершенства его ясность и гармонию.

Бог не захотел этого великого зрелища. Он схоронил под плитами гробницы, так рано открывшейся, один из самых великих умов, им сотворенных, и еще дремавшие в нем шедевры так же, как «дух дремлет в водах». Он завалил могильным камнем будущее Бальзака, будущее, которое должно было быть более прекрасным, чем прошлое.

Наши потомки оказались обманутыми: Бальзак умер... Причина смерти, возможно, таилась в нем самом, так как — кто знает? — может быть, умственное превосходство представляет собой великую болезнь, особую напряженность душевной жизни, которая разрушает молекулы нашего тела. Что же касается внешних проявлений его болезни, то они были такие же, как и у Людовика XIV.

Сегодня мы можем только благоговейно отметить скорбную дату, позже мы еще напишем о Гении, которого потеряли. Он принадлежит нам, так как принадлежит всем, кому дороги сокровища человеческой мысли.

Г. ФЛОБЕР

ИЗ ПИСЬМА К Л. БУЙЕ

14 ноября 1850 года.

<...> Почему смерть Бальзака так сильно меня огорчила? Всегда печально, если умирает человек, вызывавший восхищение. Была надежда познакомиться с ним впоследствии и заслужить его любовь. Да, то был человек сильный и дьявольски постигнувший свою эпоху. Женщин он изучил превосходно, а умер, едва женившись, притом когда наступил конец обществу, которое он так знал. Вместе с Луи-Филиппом ушло нечто такое, чему нет возврата. Другие песенки нужны теперь. <...>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ш. БОДЛЕР

<О БАЛЬЗАКЕ>

КАК ПЛАТИТ ДОЛГИ ГЕНИЙ

Тот, кто рассказал мне эту историю, умолял меня держать ее в секрете, поэтому-то я и хочу поведать ее всему свету.

...Он был печален; об этом свидетельствовали и насуленные брови, и строго сжатые пухлые губы, и быстрые шаги, которыми он мерил проезд Оперы, время от времени резко останавливаясь. Он был печален.

Это был он, величайший коммерсант и литератор XIX века; он, поэтический ум, набитый цифрами, словно контора финансиста; он, человек, знаменитый легендарными банкротствами, гиперболическими и фантазмагорическими предприятиями, которые он не приводил в исполнение исключительно по забывчивости; великий мечтатель, вечно пребывающий в *поисках Абсолюта*; он, самый любопытный, самый нелепый, самый трогательный и самый тщеславный из всех персонажей «Человеческой комедии»; он, этот оригинал, настолько же несносный в жизни, насколько великолепный в творчестве, этот большой ребенок, гениальный и честолюбивый, наделенный столькими достоинствами и столькими недостатками, что, избавив его от последних, рискуешь распротиться также и с первыми и испортить роковую и неисправимую чудовищность этой натуры!

В «Приложении» включены материалы не вполне мемуарного характера, но представляющие значительный интерес для раскрытия образа писателя.

Почему же этот великий человек был так мрачен? Почему он расхаживал, уставившись в землю и морща лоб, словно *шагреневую кожу*?

Что виделось ему — ананасы по четыре су, подвесной мост из лиан, вилла без лестниц с обитыми муслином будорагами? Быть может, какая-нибудь принцесса, которой уже давно пошел четвертый десяток, бросила на него один из тех проникновенных взглядов, что являются непрременной данью красоты гению? Быть может, в его мозгу созрел план какой-нибудь промышленной махинации и душу его раздирали *страдания изобретателя*?

Нет! увы, нет; печаль великого человека объяснялась причиной пошлой, низменной, подлой, позорной и смешной; он находился в том мучительном положении, в какое случалось попадать любому из нас, — в том положении, когда каждая истекшая минута уносит с собой еще один шанс на спасение, когда, впившись глазами в циферблат, человек призывает на помощь всю свою изобретательность и стремится удвоить, утроить, учетверить свои силы до наступления рокового часа, который приближается с умолимой быстротой. Знаменитый автор *Теории заемного письма* должен был на следующий день уплатить по векселю тысячу двести франков, а время было уже довольно позднее.

В такие мгновения изредка случается, что подавленный, измученный, доведенный до отчаяния, сжатый в тисках необходимости мозг внезапно распаивает двери своей темницы и стремительно вырывается на свободу.

Именно это, по-видимому, и произошло с великим романистом. Ибо гордый рот его перестал кривиться и губы тронула улыбка; подняв глаза от земли, он спокойно и степенно, размеренным и величественным шагом направился на улицу Ришелье.

Он вошел в один из домов и оказался в кабинете богатого и процветающего коммерсанта, который как раз допивал чай у камелька, отдыхая от трудов праведных; великому писателю был оказан тот прием, какого заслуживало его имя, и через несколько минут он уже излагал суть дела:

— Хотите ли вы, чтобы послезавтра в «Съекль» и «Деба» появились две большие рецензии на «Французов, нарисованных ими самими», две больших моих рецензии, подписанных моим именем? Мне нужны тысяча пятьсот франков. Вам это сулит золотые горы.

По всей видимости, издатель, в противоположность большинству своих коллег, был человеком разумным и

внял голосу разума, — во всяком случае, он дал свое согласие немедленно. Писатель, спохватившись, уточнил, что тысяча пятьсот франков должны быть выплачены после публикации первой статьи, после чего мирно воротился в проезд Оперы.

Спустя несколько минут он встретил невысокого молодого человека с умным и язвительным лицом, некогда написавшего сногшибательное предисловие к «Величию и падению Цезаря Бирото» и уже снискавшего себе некоторую известность среди журналистов своим шутовским и едва ли не кощунственным остроумием; в ту пору пие-тизм еще не обломал ему когти, а богомольные газетки еще не предоставили ему страницы своих достопочтенных гильников.

— Эдуард, хотите получить завтра сто пятьдесят франков?

— О чем речь!

— Отлично! Пошли выпьем кофе.

Чашка кофе привела молодого южанина в сильное возбуждение.

— Эдуард, мне требуются к завтрашнему утру три колонки в «Смесь» о «Французах, нарисованных ими самими»; к завтрашнему утру, понимаете, и притом к раннему утру, поскольку статья должна быть с начала до конца переписана моей рукой и подписана моим именем; в этом все дело.

Великий человек произнес эти слова с восхитительным пафосом, тем величественным тоном, каким он иной раз говорит приятелю, которого не хочет принять: «Тысяча извинений, дорогой мой, но я вынужден проститься с вами; у меня сейчас в гостях одна принцесса, чья честь в моем полном распоряжении, так что, сами понимаете...»

Эдуард благодарно пожал ему руку и помчался домой трудиться.

Вторую статью великий романист заказал на улице Наварен.

Первая статья появилась день спустя в «Сьекль». Странное дело, подпись, стоявшая под ней, не принадлежала ни великому человеку, ни его молодому другу, но, напротив, третьему лицу, славившемуся среди артистической богемы тех лет своим пристрастием к кошкам и Комической опере.

Второй друг великого романиста был — и остается по сей день — толстым, ленивым и флегматичным; кроме

того, идеи — не его стихия; он умеет лишь одно — подбирать и нанизывать слова, как жемчужины для ожерелья, поэтому, ввиду того что состряпать три колонки еще труднее, чем набить том идеями, его статья вышла несколькими днями позже. И притом не в «Деба», а в «Пресс».

Кредитор получил тысячу двести франков; все были полностью удовлетворены, кроме издателя, удовлетворенного лишь отчасти. Так вот, оказывается, как платят долги... когда должник — гений.

Если какой-нибудь умник сочтет все сказанное мелким газетным враньем и увидит в моем рассказе покушение на авторитет самого великого человека нашего времени, это будет с его стороны постыдным промахом; я хотел доказать, что великий поэт умеет справиться с заемным письмом не хуже, чем с развязкой таинственнейшего и запутаннейшего романа.

ИЗ СТАТЬИ «ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

Когда готовились к постановке «Проделки Кинолы», Бальзак, продолжая править гранки своих романов, руководил репетициями, показывал актерам все роли; ужинал с участниками спектакля, а когда они отправлялись спать, как ни в чем не бывало садился за письменный стол.

ИЗ СТАТЬИ «ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 1855 ГОДА»

Рассказывают, что Бальзак (а кто не прислушается с почтением к любой самой крошечной истории из жизни этого великого человека!), оказавшись однажды перед прекрасным зимним пейзажем, изображавшим печальную заснеженную равнину, на которой кое-где виднелись деревенские хижинки и тщедушные фигурки крестьян, воскликнул, глядя на тоненькую струйку дыма над одной из крыш: «Как это прекрасно! Но чем заняты те, кто живет в этой хижине? О чем они думают? Что их заботит? Хороший ли они собрали урожай? Скоро ли срок платежа?»

Кто хочет, может посмеяться над словами Бальзака. Я не знаю, какому художнику выпала честь взволновать, встревожить, заинтриговать душу великого романиста, но я думаю, что в своей восхитительной наивности писатель преподал нам великолепный урок критики.

**ИЗ КНИГИ
«ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ»**

Без сомнения, Бальзак считал, что для человека нет большего позора и тягчайшей муки, чем отречение от собственной воли. Однажды мне довелось присутствовать вместе с ним в гостиной, где шел разговор о чудесных свойствах гашиша. Он слушал и задавал вопросы с забавной живостью и вниманием. Люди, хорошо его знавшие, поняли, что тема беседы сильно волнует его. Однако мысль о том, что ему придется думать о чем-то помимо своей воли, вызывала у него непреодолимое отвращение. Ему поднесли ложку гашиша, он посмотрел на нее, понюхал и вернул обратно, даже не пригубив. Лицо его выражало мучительную борьбу между почти детским любопытством и отвращением, которое вызывало в нем отречение от самого себя. Победило человеческое достоинство. В самом деле, трудно представить себе, чтобы создатель *теории воли*, духовный близнец Луи Ламбера, согласился пустить на ветер даже самую ничтожную долю этой драгоценной *субстанции*.

**ИЗ СТАТЬИ
«ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ»**

Среди бесчисленных форм романа и новеллы, которые когда-либо занимали или развлекали человеческий ум, самым любимым оказался роман нравов; он больше других соответствует вкусу толпы. Подобно тому как Париж предпочитает слушать о Париже, толпа находит удовольствие в созерцании собственного отражения. Но если роман нравов не облагорожен естественным вкусом автора, он рискует оказаться банальным и, поскольку в области искусства польза зависит от степени благородства, совершенно бесполезным. Если Бальзак преобразил этот низко-рожденный жанр в нечто восхитительное, всегда любопытное и часто возвышенное, так только потому, что он отдал роману всего себя. Я множество раз поражался тому, что в Бальзаке ценят прежде всего великого наблюдателя; мне же неизменно представлялось, что главное его достоинство — фантазия, и фантазия страстная. Все его персонажи наделены той жизненной силой, что отличала его самого. Все его вымыслы ярки и красочны, как мечты. Все актеры «Комедии», от аристократической верхушки до низов плебса, более деятельны и изворотливы в борьбе, более терпели-

вы в несчастье, жадны в наслаждении, кротки в самопожертвовании, чем в реальной комедии, разворачивающейся перед нашими глазами. Словом, у Бальзака все персонажи, вплоть до привратниц, гениальны. Все души у него самые настоящие сгустки воли. Каждый из его героев — это Бальзак собственной персоной. И поскольку все существа из внешнего мира представляли перед его внутренним оком рельефно, контрастно, с характерными гримасами, он судорогой сводил им лица, он чернил тени, ярким пламенем усиливал свет. Его необычайная любовь к деталям, движимая ненасытным желанием все увидеть, все показать, разгадать, разъяснить, побуждала его с особенной силой вычерчивать главные линии, дабы спасти перспективу целого. Порой он напоминает мне граверов, которые никак не могут удовлетвориться затравкой и превращают процарапанные на доске линии в целые рытвины. Эта удивительная природная предрасположенность не один раз рождала чудеса. И тем не менее ее причисляют к недостаткам Бальзака. А ведь на самом деле в ней заключается его достоинство. И правда, кто другой так счастливо одарен, что может похвалиться умением преображать простую обыденность, уверенной рукой заливая ее светом и облачая в пурпур? Кому это доступно? А ведь тот, кому недоступно это, по правде говоря, достигает немногого.

ИЗ ПИСЕМ

Госпоже Опик

Париж. Суббота 30 августа 1851.

Дорогая матушка. <...> Я весьма огорчен и встревожен. Да, приходится признать, что человек — животное слабое, поскольку привычка имеет такую власть над добродетелью. *Мне стоило невероятных усилий вновь приняться за работу.* И пожалуй, следовало бы зачеркнуть ВНОВЬ, так как мне кажется, что раньше я никогда не работал. Что за удивительное дело! Несколько дней тому назад я держал в руках документы, касающиеся молодости Бальзака. Никто не сможет вообразить себе, каким неловким, вздорным и ГЛУПЫМ был этот великий человек в молодые годы. Тем не менее он сумел обзавестись, так сказать, не только величественными замыслами, но и высокой духовностью. Работал он ПОСТОЯННО. Весьма утешительно, конечно, думать, что вознаграждением за работу служат не только

деньги, но и неоспоримый талант. К тридцати годам Бальзак имел уже многолетнюю привычку к постоянной работе, и общего у меня с ним только долги да планы...

Шарль.

Госпоже Опик

Париж. Понедельник 11 января 1858.

Дорогая матушка, вы угадали, я обременен делами и неприятностями. <...> Мне нужно заработать много денег, чтобы освободиться от парижских пут. Вы не представляете себе, какие проценты я выплачиваю, сколько денег уходит на судебного исполнителя и т. д. У меня нет ни мужества Бальзака, ни его дарования, но у меня есть все те затруднения, которые сделали его столь несчастным...

Шарль.

Ш. СЕНТ-БЕВ

Г-Н де БАЛЬЗАК

Чтобы глубже исследовать творчество ушедшего от нас знаменитого романиста, чья неожиданная кончина возбудила всеобщий интерес, нужно написать большой труд, время для создания которого еще не наступило. Такое нравственное анатомирование не годится производить у свежей могилы, особенно когда погребенный там еще недавно был полон сил, творческой энергии, когда еще недавно казалось, что перед ним расстилается широкое будущее, долгие дни и труды. Все, что можно и должно сделать для знаменитого современника в тот момент, когда смерть похитила его у нас, это наметить несколькими выразительными чертами его достоинства, разнообразные способности, тонкие и мощные чары, сделавшие его столь влиятельной силой своего времени. Я попытаюсь выполнить эту задачу применительно к г-ну де Бальзаку без всякого пристрастия¹ и в той мере, в какой уместна критика, оставляющая за собой лишь некоторые права.

Г-н де Бальзак был, безусловно, живописцем нравов нашего времени, и, возможно, самым оригинальным, самым соответствующим времени, самым пронизательным. Он очень рано выбрал своей темой, своей сферой наш XIX век, пылко устремился в эту сферу и так и не покидал ее. Общество, подобно женщине, хочет иметь своего художника, художника только для себя; Бальзак был таким художником; живописуя общество, он не следовал никаким традициям, он создал новые приемы и методы ради этого честолюбивого и кокетливого общества, которое вело счет времени с самого себя и ни с каким другим обществом не

¹ См. в бальзаковском «Ревю паризьен» от 25 августа 1840 г. статью, которая касается меня. Если я забыл о ней, то пусть все знают, что я не боюсь того, что другие могут вспомнить о ней. Подобные суждения в будущем будут характеризовать лишь тех, кто высказывал их.

имело сходства; тем более оно дорожило своим художником. Он родился в 1799 году, и, когда пала Империя, ему было 15 лет; это значит, что он успел узнать и прочувствовать эпоху Империи со свойственной детскому возрасту пронизательностью и прозорливостью, впоследствии дополняемой размышлением, но остающейся непревзойденной в юной ясности. Кто-то из его ровесников сказал: «С детства я воспринимал окружающий мир с такой чуткостью, что, казалось, в сердце мне ежеминутно вонзалось тончайшее лезвие». И Бальзак мог сказать то же о себе. Эти детские впечатления, впоследствии используемые и в суждениях, и в изображениях, всегда угадываются по особенной эмоциональной глубине; именно они придают сочинениям Бальзака изящество и жизненность. Во время Реставрации он был молодым человеком, он пережил ее, он видел ее целиком с самой лучшей, пожалуй, позиции для художника-наблюдателя, то есть снизу, из толпы, с ее страданиями и борьбой; он воспринял ее с той непомерной жадностью таланта и характера, которая заставляет тысячу раз угадывать, воображать, проникать запретное, прежде чем овладеть им наконец и познать его; он ощущал Реставрацию, как любовник. Репутация его стала складываться одновременно с водворением нового режима, явившегося следствием июльских событий 1830 года. На этот режим Бальзак уже смотрел без всякого подобострастия, а отчасти даже и сверху вниз; он судил о нем во всем объеме, очаровательно изобразив его в самых выразительных чертах и типах своих буржуа. Итак, г-н де Бальзак узнал и *прожил* все три столь различных по своему облику периода, которые составляют наш век, дошедший теперь до середины, и в его творчестве они нашли в какой-то мере свое зеркальное отражение. Кто лучше его, например, изобразил стариков и красавиц Империи? И особенно кто деликатнее его коснулся герцогинь и виконтесс конца Реставрации, этих тридцатилетних женщин, которые, появившись, ждали своего живописца со смутной тревогой, так что, когда они встретились, между ним и этими дамами вспыхнула как бы электрическая искра узнавания. Кто, наконец, лучше ухватил во всей полноте реальности и сумел передать восторжествовавший при июльской династии буржуазный жанр, теперь уже бессмертный и — увы! — затмившийся жанр тогдашних Бирото и Кревелей?

Вот безграничная нива, и надо сказать, что г-н де Бальзак рано поставил себе задачей ее обработать, что он прошел ее и рассмотрел со всех сторон, во всех отношениях,

и для его отваги и пылкости она оказалась слишком ограниченной. Не довольствуясь наблюдением и догадками, он нередко творил и фантазировал. Что бы ни думать о его фантазиях, он завоевал сердце аристократического общества, к которому всегда стремился, своими изящными и грациозными наблюдениями. «Тридцатилетняя женщина», «Покинутая женщина», «Гренадьер» — вот отборные роты, которые он ввел в укрепления и скоро овладел всей цитаделью. Тридцатилетняя женщина — создание не совсем неожиданное. Сколько существует цивилизованное общество, женщина этого возраста занимала в нем важное, может быть, самое важное место. В XVIII столетии, когда хватало времени, чтобы всему придать утонченность, в последний день масленицы 1763 года при дворе был устроен «бал матерей»: молодежь присутствовала там лишь в качестве зрителей, а танцевали только тридцатилетние женщины. По этому поводу сочинили милую песенку, начинающуюся словами: «Не в одном только месяце цветут цветы, а все розы между собой сестры». <...>

Восемнадцатый век еще не принимал всерьез это лишь один вечер продолжавшееся восстановление в правах. Деятнадцатый век призван был его укрепить, и можно, в сущности, датировать нынешними днями теорию тридцатилетней женщины со всеми ее преимуществами, превосходством и окончательным усовершенствованием. Г-н де Бальзак ее изобретатель, и это одно из самых действенных его открытий в сфере интимного романа. Ключом к его громадному успеху послужил именно этот первый маленький шедевр¹.

Потом женщины ему многое спускали с рук и верили ему на слово — за то, что в первый раз он сумел так хорошо угадать их.

Как ни быстр и велик был успех г-на де Бальзака во Франции, в Европе он был, пожалуй, еще больше и неоспоримее. В подтверждение этого можно привести такие подробности, которые покажутся фантастическими, хотя они совершенно достоверны. Да, г-н де Бальзак изобразил нравы своего времени, и сам успех его составляет одну из любопытнейших черт этого периода. Более двух столетий тому назад, еще в 1624 году, живший в Пьемонте Оноре д'Юрфе (автор знаменитого романа «Астрея») получил совершенно серьезное письмо, адресованное ему двадцатью

¹ Читайте его, прошу вас, только в первых изданиях; впоследствии, желая дополнить, автор только испортил его.

девятью принцами и принцессами и девятнадцатью вельможами и знатными дамами из Германии; все эти особы извещали его, что приняли имена героев и героинь «Астреи» и учредили «Академию истинно влюбленных»; они настоятельно требовали продолжения этого сочинения. То, что произошло с д'Юрфе, буквально повторялось с Бальзаком. Так, например, однажды собравшееся в Венеции общество решило взять имена главных персонажей Бальзака и играть их роли. В течение целого сезона там только и приходилось встречать что Растиньяков, герцогинь де Ланже, герцогинь де Мофриньез, причем уверяют, будто некоторые актеры и актрисы этой комедии, разыгранной в свете, постарались исполнить свои роли до конца. Таков обычный закон взаимовлияний между живописцем и его моделями: романист начинает, затрагивает то, что видит в жизни, и слегка его преувеличивает; общество, побуждаемое честолюбием, исполняет описанное; так и выходит, что выходящее первоначально преувеличенным оказывается в конце концов всего лишь правдоподобным.

То, что я рассказал о Венеции, происходило в разной степени в разных местах. В Венгрии, Польше и России романы г-на де Бальзака получили силу закона. На таком расстоянии примесь фантазии к реальности, которая при более пристальном рассмотрении помешала бы успеху романов среди щепетильных читателей, не замечалась либо же усиливала их притягательную силу. Так, например, богатая и причудливая обстановка, которую он составлял по воле своего воображения из шедевров двадцати разных стран и двадцати эпох, появилась вдруг в реальной действительности: люди старались точно воспроизвести то, что казалось нам фантазиями художника-миллионера, и меблировали свои квартиры à la Balzac. Мог ли художник оставаться глухим и нечувствительным к этому многозвучному эху своей знаменитости, мог ли он не слышать в этом отзвук славы?

Он верил в нее, и это благородное честолюбие по крайней мере побуждало его извлекать из своего крепкого и плодovitого организма все ресурсы и создавать произведения всех жанров. У г-на де Бальзака было тело атлета и пылкий дух художника, упоенного своей славой; без этого он не справился бы с непомерной целью, которую поставил себе. Только в наши дни появились такие энергичные богатырские организмы, которые сами к себе, так сказать, предъявляют требования, понуждая себя к отдаче всего,

что могут сотворить, и двадцать лет держат себя в железных тисках. Когда читаешь Расина, Мольера, Монтескье, не приходит даже в голову поинтересоваться, какого они были сложения и крепкого ли здоровья. Бюффон был атлетом, но по его стилю этого не видно. Писатели более или менее классических эпох работали только мыслью, своей высшей и чисто интеллектуальной частью, так сказать, эссенцией своего существа. В наше время творчество — это гигантский труд, который писатель возлагает сам на себя и который возлагается на него обществом, требующим исполнения в краткие сроки вследствие необходимости ковать быстро и бить сильно, и писателю некогда уже быть столь платоническим и деликатным. Личность писателя вся целиком и весь его организм участвуют в его работе и сказываются в ней; он пишет не просто чистой мыслью, но своей кровью и своими мышцами. Исследование физиологии и гигиены писателя становится теперь необходимой частью критического анализа его таланта.

Г-н де Бальзак гордился тем, что является физиологом, и действительно был им, хотя не таким строгим и точным, каким воображал себя; во всяком случае, физическая натура, и его собственная, и его персонажей, играет большую роль и постоянно ощущается в его описаниях их нравственной природы. Я не упрекаю его в этом, это характерная и выразительная черта всей современной живописующей литературы. Как-то Вильмен, совсем еще молодой, читал Сийесу свое «Похвальное слово Монтеню», первую из написанных им работ, очаровательную, такую легкую и свежую. Когда Вильмен дошел до слов: «Но я боялся, читая Руссо, слишком долго задуматься над преступными слабостями, от которых всегда следует держаться подальше...» — Сийес перебил его и сказал: «Нет, надо допустить их близко к себе, чтобы получше изучить». Физиолог, руководящийся прежде всего любознательностью, противоречит здесь литератору, для которого на первом месте стоит вкус. Признаться ли? Я согласен с Сийесом.

Это значит, что отчасти я согласен и с г-ном де Бальзаком. И все же я бы хотел остановить его и сам остановиться на двух соображениях. Мне нравится его стиль в более деликатных проявлениях, том развертывании цветов (не умею подобрать более подходящего выражения), которое оживляет всякое описываемое им чувство, так что самая бумага, кажется, трепещет. Но я не могу принять прикрывающееся физиологией постоянное злоупотребление этим качеством, расслабленность, колебания и размывы стиля

бессильного, сквозь розоватость которого проступают все краски соблазнительного и прельстительного, как говорили наши учителя, совершенно азиатского, изломанного и бескостного, как тело древнего шута. Ведь и у Петрония, где-то посреди описания тех сцен, которые он изображал, прорывается тоска по тому, что он называет «стыдливой речью», по целомудренному стилю, умеющему устоять против *текучести* всех движений.

И еще по одной причине мне хотелось бы приглушить в г-не де Бальзаке анатома и физиолога: в этом качестве он воображает едва ли не больше, чем наблюдает. Скрупулезно анатомируя нравы, он обнаружил, так сказать, не замечавшиеся прежде лимфатические сосуды и ввел в них красящий раствор, но он и выдумал еще прожилки, которых нет. В его анализе наступает момент, когда подлинное сплетение сосудов кончилось и начинается воображаемое, а сам он этого не замечает; не различают этого вслед за ним и его читатели, а особенно читательницы. Здесь не место подробно перечислять все эти необходимые разграничительные линии. Достаточно вспомнить общеизвестное пристрастие г-на де Бальзака ко всяческим Сведенборгам, Ван-Гельмонтам, Месмерам, Сен-Жерменам и Калиостро — иначе говоря, его склонность поддаваться иллюзиям. Развивая далее свою физиолого-анатомическую метафору, я бы сказал, что, нащупав сонную артерию своего предмета, он делает вливание энергичной и уверенной рукой, вообразив же сосуды там, где их нет, он действует не менее твердо и решительно, не замечая, что рисует несуществующие, фальшивые сплетения.

Г-н де Бальзак претендовал на научность, но обладал, в сущности, только физиологической *интуицией*. Шаль очень хорошо сказал о нем: «Столько раз повторяли, что Бальзак наблюдатель, исследователь; а на самом деле он и больше, и меньше — он *ясновидец*». Если он чего-то не замечал с первого взгляда, то так и оставлял без внимания; размышление не помогало ему увидеть пропущенное. Но зато сколько же удавалось ему ухватить, углядеть в одно мгновение! Он приходил и разговаривал с вами, как будто совершенно поглощенный своим трудом, переполненный собой, и в то же время ухитрялся спрашивать о том, что ему было нужно, умел слушать и, даже не слушая, даже не воспринимая, казалось, ничего, кроме собственных мыслей, впитывал каким-то образом, уносил с собою, уходя, все, что ему хотелось узнать, поражая вас впоследствии описанием всего подмеченного.

Я сказал, что он бывал поглощен, упоен своим творчеством, и действительно, с самой молодости он жил им и в нем, Не выходя за его пределы. Мир, который он наполовину разглядел, а наполовину выдумал, персонажи всех типов и положений, которых он одарил жизнью, смешивались в его сознании с действительным миром и настоящими людьми, представлявшимися ему лишь слабыми копиями его созданий. Этих последних он видел, разговаривал с ними, рассказывал о них как о своих и ваших добрых знакомых; он с такой силой и отчетливостью творил их, что они сразу обрастали плотью и кровью и, начав действовать, уже не оставляли его, окружали его и — в моменты увлечения — уносили его в свой хоровод, в громадную круговую пляску *Человеческой комедии*, от которой у нас, только мимоходом поглядывающих на нее, кружится голова, а у автора кружилась раньше, чем у других.

Бальзаковская мощь требует определения — это была мощь природы богатой, щедрой, изобильной, переполненной идеями, типами, выдумками, вновь и вновь повторяющейся и неутомимой, он был наделен именно ею, а не той, истинной, которая господствует над творчеством и управляет им, при которой художник остается выше созданного им. О Бальзаке можно сказать, что он был в капкане своего творчества, что его талант увлекал и мчал его нередко словно четырехконная упряжка. Я не хочу сказать, что все писатели должны уподобиться Гете, что всегда нужно стоять с мраморным челом над пышущими жаром тучами; но сам-то Бальзак хотел (и высказывал это на бумаге), чтобы художник бросался в творчество очертя голову, *как Куриций в пропасть*. Такие замашки свидетельствуют, безусловно, о пылкости и неистовстве таланта и в то же время об азартности, не разбирающей путей, и хмеле пустословия.

Показать сущность его литературной теории можно, пользуясь его же собственными словами; возьмем, например, его последний роман, один из самых энергических, «Бедные родственники», опубликованный в этой самой газете¹: применительно к персонажу этого романа, польскому художнику Венцеславу Стейнбоку, там высказаны заветные мысли автора и все его секреты, если у него вообще были секреты. Для него «великий художник в наше время — это нетитулованный принц, это слава и богатство». Но славу не приобретаешь, играя и мечтая, она —

¹ «Бедные родственники» впервые появились в газете «Конститусьонель».

награда упорного труда, усердного рвения: «У вас в голове есть идеи? Вот прекрасно! И у меня тоже есть идеи... А какой толк от того, что есть в душе, если ничего из этого не извлекаешь?» Вот что думал Бальзак и не щадил себя, ожесточенно трудясь над исполнением своих замыслов. Он говорил, что вынашивать замысел — значит наслаждаться, *курить околдовывающие сигареты*, но без воплощения все разлетится хмельным дымом. «Непрерывный труд, — говорил он еще, — вот закон искусства, как и жизни, потому что искусство — это идеализованное творение. Потому великие художники, поэты не ждут ни приказаний, ни заказов; они творят ныне, завтра, всегда. Отсюда эта привычка к труду, это постоянное сознание трудностей, поддерживающее любовное сожительство художника с Музой, его творческие силы. Канова жил в своей студии, как Вольтер в своем кабинете. Гомер и Фидий, конечно, тоже жили так». Я хотел специально процитировать эти строки, потому что наряду с явственными достоинствами доблести и трудолюбия, столь почетными для г-на де Бальзака, здесь ухватываешь неприкрытую современную тенденцию и поразительную невнимательность, из-за которой он выступал против той самой красоты, к которой, по его словам, стремился. Нет, ни Гомер, ни Фидий не находились в таком «вольном союзе с Музой»; она всегда представляла им целомудренной и строгой.

«Прекрасное во всем всегда строго» — утверждал г-н де Бональд. Мне необходимы несколько слов этого авторитета; они подобны недвижимым священным колоннам, на которые мне достаточно указать пальцем издали, чтобы самые наши восторги и наша скорбь по человеку, одаренном таким чудесным талантом, не выходили за допустимые границы.

Где-то в другом месте г-н де Бальзак говорил о художниках, «которым выпадает на долю успех, сокрушающий тех, кто не имеет достаточно твердых плеч и бедер, чтобы устоять под ним; а это, в скобках сказать, происходит нередко». И действительно, есть для художника испытание более тяжкое и страшное, чем великий бой, в который рано или поздно ему приходится вступать; это то, что следует после победы. Чтобы выдержать победу, чтобы устоять под бременем славы, не испугаться ее, не оробеть, не изнемогнуть, не отказаться вдруг от нее, как сделал Леопольд Робер, надо обладать истинной силой и сознавать, что достиг того, на что был способен. Г-н де Бальзак обладал такой силой, и она выдержала испытание.

Когда ему говорили о славе, он принимал эти слова и сам говаривал о ней с удовольствием. «Слава, — сказал он как-то, — кому вы говорите о ней? Я ее знал и видел. Я путешествовал с несколькими друзьями по России. Стемнело, и мы решили просить гостеприимства в каком-то поместье. Когда мы вошли, хозяйка и бывшие с ней дамы засуетились, одна сразу же убежала из гостиной, чтобы приготовить нам угощение. Пока ее не было, меня представили, завязался разговор, и дама, вернувшаяся с блюдом в руках, услышала: «Ах, г-н де Бальзак, вы так думаете...» От удивления и радости она выронила блюдо из рук, и оно разбилось. Разве это не слава?»

Слушатели улыбались, улыбался и он сам, но с искренним довольством. Это чувство поддерживало его в трудах и придавало ему энергии. Самый одухотворенный из его учеников, Шарль де Бернар, недавняя смерть которого представляет такую невозместимую утрату, был лишен этого стимула; он сомневался во всем, иронично и с большим вкусом; в его изысканных произведениях ощущается это сомнение. Творчество Бальзака обретало новую энергию и пылкость в самом опьянении художника. Сквозь это опьянение пробивалось каким-то образом поразительное изящество.

Вся Европа была для него просто парком, по которому стоило только прогуляться, чтобы встретить друзей, поклонников, чтобы его усиленно зазывали в гости и роскошно принимали. Еще не успевший завянуть цветочек, который он показывал вам, был сорван всего день назад на пути из виллы Диодати; картину, которую он вам описывал, он видел накануне во дворце римского вельможи. Ему стоило сделать только шаг, чтобы попасть из одной столицы в другую, из римского дворца или виллы на Изола-Белла в польский или чешский замок. Он переносился туда словно взмахом волшебной палочки. И нельзя сказать, что это были для него мечты; ведь то, что так долго казалось лишь мечтой, иллюзией, преданная женщина, одна из тех, кого он обожествлял мимоходом, появилась на самом деле и осуществила счастье, о котором он грезил.

Все современные художники были его друзьями, и почти для каждого он нашел великолепное место в своих романах. Он понимал и страстно любил произведения искусства — картины, скульптуру, старинную мебель. Когда у него оказывался досуг (а это бывало нередко, потому что, трудясь ночи напролет, он мог распоряжаться днем по своей прихоти), он любил отправляться на поиски

того, что называл «прекрасными штуками». Он перерыл все антикварные лавки в Европе и умел поразительно рассказывать о них. И когда он включал в свои романы целые массы вещей, которые у другого показались бы скучной описью, у него они светились живыми красками, оживотворялись любовью. Кажется, что у описанных им предметов обстановки есть душа, его портьеры дрожат и дышат. Он слишком много включал описаний, но высвечивающий их луч всегда падал туда, куда требовалось. Даже если результат и не соответствовал тому вниманию, которое он уделял, казалось, этим описаниям, у читателя все-таки оставалось ощущение пережитого волнения. У Бальзака было чувство цвета, и он был одарен умением отыскивать прекрасное. Этим он очаровывал живописцев, которые считали его своим собратом, только случайно попавшим в литературу и почему-то застрявшим там. <...>

ОНОРЕ де БАЛЬЗАК

Господин де Бальзак умер не так давно, а кажется, что прошли годы с тех пор, как это печальное известие поразило поклонников его великолепного таланта, ибо известность Бальзака день ото дня увеличивается, успех его творений все ширится, а слава растет. Мы современники Бальзака, многие из нас еще помнят его первые шаги в литературе, однако мы уже судим о нем с благожелательной беспристрастностью потомков — единодушие мнений дает нам право так думать. Для меня причина этого ясна, к несчастью, это не самая красивая сторона современной истории. Г-н де Бальзак был сыном своих произведений; он формировался без чьего-либо участия, он возвеличился и утвердился, ни на кого не опираясь, благодаря настойчивости, пронизательному уму и работе. Следствием этого сурового самовоспитания явилась независимость поведения, приводившая в негодование литературные школы той поры, которые в процессе образования тем не менее подерживали своих членов, образуя маневренное товарищество, ибо публика попадалась на эту удочку. Слава Бальзака раздражала их, это была критика и упрек в их адрес. Они постарались умалить ее, бросить ему в лицо все ошибки, которые они коварно выискивали у него. Бальзак поддался слабости, показав, что он чувствителен к их недоброте, и пожелав ответить на укоры. Ответ последовал не сразу, но то был шедевр наблюдательности: «Провинциальная знаменитость в Париже», Бальзак отделал их под орех. Эта отповедь навсегда отвратила от него часть прессы и журналистов, с коих он нарисовал столь отталкивающую и правдивую картину. Толпа по природе своей нерешительна, она всегда не уверена в своих впечатлениях и оценках. Увидев, сколь мала симпатия к Бальзаку, она подумала, что ошибается, и, из страха показаться смешной, не осмелилась со

всей искренностью признаться в своем восхищении. Чтобы положить конец этой неуверенности, понадобилось всего лишь, чтобы известный писатель умер.

Зависти пришлось умолкнуть перед свежей могилой. Теперь публика могла свободно говорить о своих чувствах, не боясь вспышек гнева, которые уж не будет больше вызывать своим присутствием великий человек, и общественное мнение, вспомнив о своем первом впечатлении, беспрепятственно начало прокладывать путь, которым оно идет и сегодня.

Смерть настигла Бальзака в самом расцвете его карьеры. Ему было тогда пятьдесят лет. Он был близок к цели, вот-вот мечта его обернется реальностью и обростут плотью его химеры, которые он неутомимо лелеял в течение тридцати лет, — а ведь тяжелый труд этих лет убил бы все желания в самых смелых и самых мужественных. Слава, любовь, богатство, покой, сладостная, широкая, одухотворенная жизнь — у него было все, нужно было только крепко сжать это в руках. Но смерть властно разжала их, и с таким трудом накопленные блага прахом упали на могилу.

Над озабоченностью господина де Бальзака устройством своего благополучия охотно посмеивались; смеялись над квартирой на улице Ришелье; вышучивали его сады; насмеялись над домом в Пасси; но втайне интересовались им и, как это свойственно общественному мнению с его крутыми поворотами, о доме Бальзака на Елисейских полях рассказывали такие чудеса, которые невозможно себе вообразить — и которые могут вызвать лишь улыбку, — ему словно бы приписывали роскошь, которой желали для него. То была как исполинская борьба с неким бедствием; и тот, кто вступил в эту борьбу, ведет ее не на жизнь, а на смерть. И когда объявили о смерти, не ставшей всеобщим трауром, толпа эта, такая безразличная, такая пошлая, ощутила — и это можно с уверенностью утверждать — не только сожаление о потере одного из своих потешателей, но и нечто другое. Ее опечалила кончина человека, как и то, что умолк автор романов.

Мне посчастливилось наблюдать господина де Бальзака в последние годы его жизни, когда он занимался тем, чтобы достойно обставить свой очень милый домик в квартале Божон; я смог вблизи рассмотреть все наивные и нетерпеливые проявления натуры Бальзака, советовавшегося со своим умом, но сохранявшего при этом детское простодушие. И невероятную роль играло его воображение, вообра-

жение живое, жгучее, легкокрылое, даже слишком, пожалуй, ибо оно позволяло господину де Бальзаку обсуждать темы самые различные, самые противоположные, совершенно чуждые тому, что заботило его всю жизнь, причем с энергией, ставившей в тупик его собеседника, сидящегося понять, в своем ли уме этот парижанин, не подшучивает ли над ним этот уроженец Тура.

Рассказывают, что в тот период, когда издатели слишком явно обкрадывали его, он намеревался, чтобы зарабатывать деньги, но не прибегать к помощи издателей, снять лавочку и продавать там ананасы по пять су — цене, *доступной для народа*. Он мог часами рассуждать о прибыли с ананасов. Не могу сказать, правдив ли этот слух, самому же мне довелось слышать из его собственных уст о разных проектах, не менее экстравагантных, чем история с ананасами. Поначалу он сохранял чувство реальности, когда речь шла о его произведениях. Но чем больше жил он со своими творениями, окруженный всеми несообразностями, описанными в его романах, тем больше утрачивал он это чувство, и, когда являлась грубая реальность и рушила его иллюзию, он уже так далеко от нее ушел и настолько погрузился в другую, что не замечал этой маленькой неприятности.

Принято восхищаться необычайной наблюдательностью господина де Бальзака, но, по-моему, тут впадают в серьезную ошибку. Он, конечно, был наделен этой бесценной способностью, но главное в нем — его воображение. Господин де Бальзака гораздо больше придумывал, чем примечал, и прав господин Ф. Шаль, который очень точно сказал про Бальзака, что он был *ясновидец*. Действительно, интуиция помогала ему. Случалось, что его наблюдения оказывались ложными, однако он обладал такой силой таланта, что вел за собой читателя, подчиняя его своему притягивающему обаянию, поглощая его, так что тот полностью терял память своего собственного опыта и *думал об ошибках, с которыми он свыкся, не более, чем самый персонаж романа*.

В этом одна из первых заслуг господина де Бальзака, и это один из знаков литературного гения. Он приводит в движение мысли, чувства, он возмущает покой. Попробуйте утверждать, что ваше чувство незаконно, когда вы задыхаетесь, вы потрясены, когда ваша голова полна образов, а сердце разрывается от рыданий.

Мне мало известно примеров столь же разительных, как у господина де Бальзака, силы характера, энергии и упор-

ной воли. Сегодня уже можно сказать, что он не обладал ни одной из прирожденных способностей писателя. Упорным трудом ему удалось преодолеть все встававшие на его пути препятствия: так, он был до странности неловок в разработке плана; что касается стиля, то тут он был тяжеловат и неповоротлив, как закованный в доспехи рыцарь; десять раз возвращался он к одной и той же мысли, поворачивал ее и так и эдак, прежде чем находил более или менее подходящее выражение. Отвратительные романы, которые он десять лет подряд публиковал под именем лорда Р'Оона, Вьеллергле и т. д. и над которыми так потешались, подготовили его «Физиологию брака». Его упорство выработало стиль, коим написаны «Холостяки» и «Старая дева», настойчивость сделала его красноречивым и создала «Темное дело» и «Цезаря Бирото». Бальзак сделал себя писателем *in vita Minerva*¹, и его слава от этого только выиграла. Легкость стала настолько присуща его перу, что ему бывают, так сказать, признательны, когда он спотыкается.

Хотя благодаря централизации Франция и объединила и вобрала в себя различные провинции, из которых она состоит, тем не менее без особого труда можно выделить и проследить течения, которые берут начало в каждой из них. Любопытно было бы представить историю современной литературы географическими группами и указать достоинства и недостатки, общие для провансальцев, уроженцев Марш и Франш-Конте, бретонцев, фламандцев, жителей Турени, первым из которых, безусловно, является Бальзак.

Эта благородная, жирная Турень, этот легкий, способствующий всяческому произрастанию климат и — как его результат и суть — полная приятности жизнь в Турени обращают дух человека к насмешничеству и чувственности, чему наипрекраснейшее доказательство гений Рабле. Это основа Бальзака, туф, который показывается, когда во время раскопок поднимают один за другим отложившиеся со временем слои почвы. Он туренец, но главным образом раблезианец в своей «Физиологии брака», этой глубокой, беспощадно правдивой книге, которая заставляет содрогнуться мужчин и улыбнуться женщин; он туренец, ученик жизнерадостного короля Людовика XI в своих изящных «Озорных рассказах», последнем отзвуке в скучном, надутым веке старой галльской веселости. И наконец, он

¹ Без изволения Минервы (*лат.*) — т. е. без подлинного мастерства.

туренец — уже в последний раз, — когда чудесным образом воплощается в Кузена Понса, эту жертву своей страсти к даровому столу, или в барона Юло, умирающего нераскаившимся грешником, чье сластолюбие принесло бы ему богатство при Валуа, обеспечило бы успех в эпоху Регентства и придало бы шарму при Людовике XV.

Господин де Бальзак сохранил к Турени приязнь, которой он не скрывал и за которую родина писателя словно бы вознаградила его. Каждый раз, как его нога касалась этой священной земли, там, где он ступал на нее, он находил самые счастливые жилы, утонченнейшим образом питавшие его гений. Если одна часть его героев — раблезианцы по духу, то другая, наиболее прелестная, — это туренцы. Попробуйте-ка поместить не в виноградниках, раскинувшихся на холмах Сен-Сира, усадьбу Гренадьер, куда полная благородства леди Брэндон удаляется испугать свою вину за десять лет счастья и любви. Отделите госпожу д'Эглемон, бессмертный образец тридцатилетней женщины, от холмов Рошкорбона или окон улицы Руаяль — и все рухнет! Можно ли представить себе, что аббат Бирото, гордо несущий свой набитый живот и пустую голову, коротает время не у алтаря церкви святого Гасьена и не в сырой тени конгрессов улицы Псалетт, а где-нибудь в другом месте? Не правда ли, что лишь среди зеленых лужаек Саше и Понт-де-Руан, в окружении башенок и выступов замка Клошгурд могла появиться ангельская фигура госпожи де Морсоф, воплотившей наиболее возвышенный, наиболее совершенный, наиболее достойный обожаемого типа женской любви и преданности; тип женщины, не только очень удачно найденный, но и удачно схваченный, возможно, лучшее из того, что создал господин де Бальзак.

Не настаиваю на своем наблюдении, тем не менее замечу, что раблезианские характеры присутствуют почти во всех работах господина де Бальзака. Не таков ли знаменитый Годиссар? Не задуманы ли целиком и полностью в том же ключе и старый доктор Руже, и его сын, возлюбленный прекрасной Баламутки? Не примыкают ли к ним и характеры мадемуазель Кормон и шевалье де Валуа? Не к чувственным ли мотивам Рабле восходит небезызвестная сцена поцелуя в Турской префектуре из «Лилии в долине»? А от некоторых встречающихся там сравнений у Гаргантюа слюнки бы потекли. <...>

Вовенарг сказал: «Ясность — лак мастера». Бальзак как никто располагал этим качеством. Прежде чем стать великим писателем, надо обладать отточенным, ясным,

ничем не замутненным рассудком, отчетливо видящим перед собой цель и твердо к ней идущим. Произведения мастеров образуют одно целое, в котором выделяется высокое духовное начало, не позволяющее мысли неуверенно блуждать в потемках. Но возможно ли сохранить неуязвленной мысль, когда от чтения «Озорных рассказов» переходишь к чтению «Серафиты», и не звучит ли упреком такое сближение?

Однако будем справедливы, признаем, что это болезненное беспокойство гораздо менее свойство человека, чем примета времени, в котором он жил, и в этом смысле знаменитый туренец — один из тех, кто наилучшим образом выразил свою эпоху. Как не трудно заметить, похвала не далека от порицания. Но если не слишком углубляться в проблему — это во вред господину де Бальзаку, — всестороннее же изучение ее — ему на пользу.

Как и Бомарше, Бальзак был прежде всего литератор. Он гордился своей профессией. Он с достоинством утврждался в ней сам и мужественно защищал ее, когда речь шла о других. Он защищал все, что имело отношение к их правам, их интересам, занимаемому ими положению. Это была протекция не только на словах, но очень часто и на деле; можно назвать немало литераторов, которых прославил Бальзак, чем облегчил их первые шаги. Это участливое отношение к своим собратьям было даже несколько преувеличенным. Наблюдая их в схватке с житейскими трудностями, Бальзак сожалел, что не заведен обычай, как в давние времена, когда знатный вельможа держал у себя на попечении какого-нибудь литератора, а не только цирюльника или рассыльного. Тогда можно было быть уверенным в каждодневном куске хлеба, но вместе с тем кто не знает, как это ущемляло достоинство и самосознание человека. Мемуары пестрят упоминаниями об оскорблениях, наносимых писателям, коих доказательством служат некоторые посвящения. Мольера и Корнеля, увы, не обошла эта участь, так же как и более близкого нам по времени Вольтера, — в молодости его до потери сознания избили люди герцога Бетюна, что оставило горький след в душе писателя. Симпатия к нему должна была бы помочь г-ну де Бальзаку понять, что благороднее и достойнее не служить никому, не ставить свои способности в зависимость от их оплаты кем бы то ни было, быть обязанным только публике своей известностью и вытекающим отсюда благополучием; что огорчительные трудности в начале творческого пути — это только испытания на звание рыцаря. По этим достоин-

ствам узнают сильных, слабые спотыкаются и падают с первых же шагов.

Господин де Бальзак первым привлек внимание к тому, что бельгийские издания наносят урон французской книготорговле. Предисловия к некоторым из его романов, к сожалению, изъятые в скверном издании Этцеля, представляют собой весьма красноречивые и убедительные выступления против этой странной практики, коей сущность — кража признанных благ. Мы уже далеки от той эпохи, и, полагаю, многие международные договоры теперь упорядочили решение этого вопроса; но не следует забывать, что Бальзак первым указал на такое упущение и потребовал именем самых простых законов справедливости узаконения прав собственности, так бессовестно попираемых.

По осмелюсь еще добавить. В этом деле, защищаемом таким известным, как г-н де Бальзак, писателем, литератором, кое-что меня покорило. Выдвинутые им требования было бы обоснованнее услышать из уст издателя; мне кажется, что для великого писателя достойнее было бы промолчать. Нет ничего лучше, если за дело примется законодатель или ущемленное в своих интересах, в своей коммерции издательство; но когда литературная знаменитость и, как он сам себя называл, один из маршалов французской литературы приходит требовать плату за свой труд, как самый последний лавочник, и нарушает шестое своего пера звоном экю, в этом есть что-то неуместное, отчего вам становится не по себе. Литературный успех, как и военная слава, как известность государственного деятеля, как все в этом мире, достойное поклонения, не исчисляется монетами в сто су; уважение, выказываемое потомками, симпатия современников, молчаливое или шумное обожание, бурные дискуссии, бушующая или сдержанная критика — вот истинная плата за их труд. Цена славы — не два денье наличными, такая цена бессмысленна, она не определяет истинных размеров славы, а потому тем, что бельгийское издательство, распространив произведения Бальзака, сделало популярным его имя, его талант, оно заплатило дороже за его труды, нежели издатели французские.

По той же причине и в тех же целях г-н де Бальзак стал одним из основателей Общества литераторов. Я уверен, что его намерения были превосходны. Дав литераторам возможность покрыть все затраты, связанные с написанием их трудов и простоями, он хотел обеспечить им независимость и поддержать в них чувство собственного достоинства; но в результате первоначальный замысел оказался искажен-

ным, и я думаю: вернись к нам устроитель этой затеи, он был бы немало удивлен тем, во что превратилось его оригинальное предприятие. Крючоктворство, ненужные препирательства, бесконечные стычки из-за нескольких сантимов, звон которых ежедневно слышится в залах суда, — все это создало бы впечатление у тех, кто судит о современной литературе по этому обществу, что искусство писать стало предметом купли-продажи, и заставило бы призадуматься тех художников, кто гордится своим бескорытием и отрешенностью от мирских забот.

Особенно любопытно и указывает на противоречивость человеческой природы то, что, стараясь, во зло себе, сохранить особое положение деятелей литературы, никто, я повторяю, никто так не сожалел об этом, никто не знал их лучше и не судил более строго и более справедливо, чем он. Бальзак не только дал их живые портреты в романе «Провинциальная знаменитость в Париже», но и вернулся к ним в «Физиологии прессы», где он разделил их на классы по их характерам, степени невежества, их тщеславия, узости мышления, словно в кабинете естественной истории.

Господин де Бальзак, как и его известные современники, как г-н Гюго, г-н де Ламартин, дебютировал в литературе не так уж рано. Правда, желание заняться литературой овладело им сразу же, как он сознательно вошел в жизнь; полагаю даже, что обнаружение этого желания и чтение вслух некой трагедии о Генриетте Английской временно поссорило его с отцом; но он был сыном бедных родителей, а потому, чтобы обеспечить себе средства к существованию, вынужден был испробовать себя на менее славном, но более верном поприще. Он был поочередно клерком в конторе адвоката, издателем, типографом, владельцем словолитни. Этим его специальностям мы обязаны точными и забавными деталями из «Графини с двумя мужьями», из «Провинциальной знаменитости в Париже», из «Давида Сешара». Ему пришлось выдерживать жестокие битвы, прибегать к уму непостижимым уловкам, но благодаря им родились персонажи «Цезаря Бирото», Гобсеки, Пальма, Жигонне и вслед за ними все его ростовщики.

Хотя ни судебное крючоктворство, ни деловая сфера деятельности не стали призванием г-на де Бальзака, он сумел походя усвоить все связанное с этими профессиями, что могло служить пружиной драмы или комедии. Несмотря на всю деловую занятость г-на де Бальзака, демон-искуситель продолжал преследовать свою жертву, и двадцать или тридцать томов Вьеллергле, Ораса де Сент-Обен,

все эти «Дон-Жигадасы», «Бледные Жанны», «Арденнские викарии» — свидетельства мужественных усилий того, кто позднее напишет «Турского священника»; Впрочем, эта настойчивость, это упрямство унаследованы от его отца, который хоть и происходил из старинного рода, тем не менее горячо воспринял принципы восемьдесят девятого года — он был скромным alter ego¹ Робера Линде, помогавшим этому члену Конвента, одному из наиболее твердых и прямых, но вместе с тем и наиболее жестоких людей своей эпохи, в его обширных трудах.

Первой работой, под которой г-н де Бальзак поставил свое имя и которая привлекла к нему внимание, были «Шуаны». «Шуаны» датированы тысяча восемьсот двадцать седьмым годом. В это время Бальзаку было двадцать восемь лет. Как видим, он был уже не первой молодости, и его известности надлежало возместить ему все, что он недополучил в качестве г-на Вьеллергле и иже с ним. <...>

Открытием Бальзака, его Америкой была тридцатилетняя женщина с ее пышно расцветшей красотой, ее знанием жизни, ее вполне развившейся умственной активностью, умением оценить возможности, которыми она располагает, для того чтобы нападать или защищаться, ее освобождением от всяческих иллюзий, хотя и не совсем полным, — и это делает ее хозяйкой своего сердца, еще оставшихся в нем сил, и сладостнее становится проникновение в глубь сокровищницы, в которой они хранятся, скрытые за семью золотыми печатями. Тридцатилетняя женщина, у которой от молодости осталась лишь грация, но которая от зрелого возраста взяла пока лишь его блеск, — это достояние Бальзака, открытие более счастливое, чем открытие Колумба, и оно вечно будет ходатаем за него.

Мало отыщется писателей, у которых критический дар соединен с творческим гением. Обычно это взаимоисключающие достоинства. Чтобы лучше что-то сделать, мозг, как и тело, должен целиком отдаться этому, и если он теряет в глубине, то приобретает в широте охвата. Универсальность встречается чрезвычайно редко, и так же редко творцы бывают хорошими судьями. Но суждения тех, с кем это все-таки случается, отличаются живостью и оригинальностью, отмечены печатью неоспоримости. Им только надобно отойти от своей собственной писательской системы, и тогда они судят о вещи со знанием дела, чего лишены, как правило, профессиональные критики. Поэтому крити-

¹ Второе «я» (лат.).

ческие статьи Бальзака заслуживают того, чтобы в них взглядеться.

Все они появились в маленьких томиках ежемесячника, известного под именем «Ревю паризьен», на мысль об их написании натолкнули Бальзака небезызвестные «Гэп», которые публиковались в течение полугода, оставив неизгладимый след в душах читателей. Там было все, что обычно бывает в журналах: политика, литература, критика. Весь материал в нем, за исключением нескольких стихов господина Фердинанда де Граммона, редактировал г-н де Бальзак, вкладывая столько самобытного таланта в каждую тему, что вся коллекция привлекает любознательное внимание читателей.

Именно в «Ревю паризьен» и появилась статья о «Пармской обители» — настоящее откровение, сделавшее для славы г-на Бейля больше, чем двадцать лет труда в неизвестной области. Статья настолько же выше романа, насколько г-н де Бальзак выше г-на Бейля. Просчеты этого романа, эти поддельные страсти, зиждущиеся на раздутых подробностях, эти неповоротливые сцены, написанные с детским напряжением всех умственных сил, не только не отвратили Бальзака, но напротив — понравились ему, и он сумел с необыкновенной ловкостью обойти эти подводные камни и из недостатков сделать достоинства. Следует еще добавить, что главные действующие лица: Фабрицио, герцогиня Сансверина, граф Моска — порождения ума утонченного, оригинального, более наблюдательного, чем у самого Бальзака, ума, который на лету все схватывает, но нажимает не на ту ноту и спотыкается, бредя по рву, вместо того чтобы выйти на открытую дорогу. В исследовании Бальзака каждый характер прослежен и оценен по достоинству, на все, что заслуживает внимания, обращено внимание, каждая деталь освещена наиболее выигрышным образом. Должен признаться, что я несколько раз тщетно принимался за чтение романа господина Бейля — исследование господина де Бальзака придало мне мужества, я дошел до самого конца и испытал живейшее удовольствие. То была загадка, ключ к которой я наконец подобрал.

Не кто иной, как «Ревю паризьен», осмелился первым дать заслуженную оценку посредственному таланту господина де Латуша, долгое время прятавшего свою немощь за безмерным притязанием, за ретивым, но сухим воображением, бросавшимся по своему бессилию то в нечто до странности непонятное, то в чудовищное. Приговор госпо-

дина де Бальзака был суров; он ударил больно, но по справедливости.

И наконец, господин де Бальзак считал возможным удостоить похвалы молодых собратьев, пробовавших свои силы на том же поприще, что и он, — только ему было гораздо труднее начинать — и помочь им сделать первые шаги. В том, с какой бережностью подходил он к оценке их творчества, сказалось не только его расположение к ним, но и его доброжелательность. Похвалив роман Эдуарда Урлика «Сюзанна и Колине», он вытащил на свет божий это имя и привлек внимание читателей к началу творческого пути художника, ибо, как полагал Бальзак, у Эдуарда Урлика, когда он пребывал как писатель в состоянии, еще далеком от совершенства, но уже осязательном, было много качеств, составляющих настоящий талант: стремительность действия и ясность слога, насмешническая точность определения, свойственная Вольтеру в его повестях, — для тех, кто его знал, нет сомнения, что смерть остановила рост прекрасных литературных побегов. В эпоху, когда расплодилось несметное множество различных творений, нужно было иметь исключительный вкус, чтобы указать именно на то произведение, которое переживет остальные.

Драматическая форма искушала Бальзака так же, как она искушала всех современных писателей: Жорж Санд, Ламартина, Альфреда де Мюссе. И впрямь есть высшее наслаждение для того, кто привык плодом своих раздумий развлекать толпу, чувствовать их воздействие на три или четыре тысячи зрителей разом. Эта непосредственность общения имеет необыкновенную притягательную силу. Драматические работы господина де Бальзака отличает та же настойчивость, что и его произведения романиста. Его обучение новому ремеслу длилось шесть лет, отмеченных неудачами, отголосок которых слышался еще долго. «Вотрен», «Кинола», «Памела Жиро», «Мачеха» пали с шумом, какого они не производили при жизни. И надо сказать, что пали они не случайно: пьесы эти, весьма посредственные с литературной точки зрения, не лучше и с точки зрения драматических достоинств. Если, строя действие, не думают о перспективе, необходимой воображению зрителя, то получается не драматический ансамбль, а скопление отдельных сцен. Это как бинокль, который надо уметь навести. Если он не наведен, то вы или ничего не видите, или видите смутно. Чувство перспективы у некоторых писателей, как, например, у Александра Дюма, врожденное. Но чаще это плод трудов, как у Скриба, кото-

рый, по слухам, написал пятнадцать или двадцать водевилей, прежде чем остановился на одном, по форме и строю точно таком же, но необычайно захватывающем.

Гениальные драматурги вроде Мольера не считаются с этими требованиями, но нарисованные ими характеры так жизненны, выписаны с такой силой, что об остальном не думаешь, их гений заставляет все принять.

Что касается политических взглядов Бальзака, то над некоторой его экстравагантностью, ставшей одно время притчей во языцех, теперь можно только посмеяться. Славу Бальзака составляет постоянное скрупулезное изучение наших нравов, серия портретов, которые являются живыми копиями, если хотите, но копиями с таких оригиналов, которые без него были бы неизвестны; по этим портретам мы судим о характере его таланта и его месте в XIX веке. Его слава — это постоянная счастливая озабоченность, счастливая тем, что наделяет свои персонажи извечными человеческими страстями; что показывает, каким образом они приложимы к нам, нашим нравам, нашим привычкам, нашим интересам; что делает ощутимой ту истину, что настоящее, постоянно охаиваемое немощью, заключает в себе для тех, кто умеет на него смотреть, столько же притягательности и величия, сколько и прошлое. Таллеман де Рео еще до Бальзака сделал наброски наиболее оригинальных представителей своей эпохи; но между ними существует разница, равная расстоянию от ума до гения. Бальзака можно было бы упрекнуть в том, что он часто злоупотреблял своей легкостью находок, увлекался мелочами, бесполезными, мельчайшими, затенял целое и утяжелял действие; но, несмотря на эти недостатки, для того, кто захочет отдать себе отчет в тридцати годах упорного труда и признать, что воля у Бальзака возместила недостающие способности, он останется в памяти как доказательство справедливости изречения Бюффона: «Гений — это терпение».

Сегодня единственным свидетельством памяти о писателе, пережившим его угасшую славу, является табличка из черного мрамора с датами смерти и рождения, которую жители Тура прикрепили к стене дома, где родился Бальзак. На ней читаем:

«Родился 16 мая 1799 г.

Умер 19 августа 1850 г.».

Между этими двумя датами — целая жизнь, прожитая в славном и достойном труде.

БАЛЬЗАК-ПАНТЕИСТ

Вы видите толстого, грузного человека с густыми бровями и расположенными в огромных орбитах глазами навывкате, прохаживающегося с тростью швейцара в руке по фойе Оперы в антракте одного из первых представлений «Графа Ори»? Он совершает два или три круга, вызывая восхищение окружающих, которые оборачиваются со словами: «Посмотрите — Бальзак!» Это *ясновидец* века, человек, который оставит самую яркую, но во многих отношениях и самую лживую летопись бед, чаяний и душевных драм нашего времени. У него нет никаких пороков. Его не привлекают ни игра, ни вино, ни разврат. Он лишен честолюбия, во всяком случае, честолюбия заурядного. Он не состоит ни в какой партии. Он презирает политику и считает себя намного выше всех министров, прежних и нынешних. Он простолудин и испытывает отвращение к буржуазии. Он написал непристойные книги, но презирает непристойность. Он бывает у герцогинь, которые высоко ценят его за проницательность и изысканную утонченность, и эта изысканность Мариво в сочетании с озорной грубостью Рабле делают его самым обыкновенным из всех незаурядных людей. В нем нет непосредственности, ибо он написал двадцать два тома для того, чтобы овладеть всеми тонкостями своего ремесла; и, разрабатывая эту почву, копая вглубь, он нашел таящийся в ее недрах гений, который искал, гений, завуалированный, глубокий, могучий, который он медленно, с трудом высвободил из его волшебной пещеры с помощью непрерывных заклинаний. Повторяю, он *ясновидец*, а не наблюдатель. Если вы встретитесь ему, он предложит вам участвовать в деле, сулящем тридцатимиллионную прибыль и основанном на выпечке пряников, которые он будет продавать на два сантима дешевле конкурентов, скупив весь мед и всех пчел Европы и Афри-

ки. Ум Бальзака, воспитанного в его мирной, плодородной Турени, сначала свободно развивался в забавном и прелестном городке Вандоме, своеобразном, нелепом, горбатым, с рембрандтовской светотенью, с чудными мостами и улочками, словно сошедшими с картин Бонингтона. В не менее своеобразном коллеже этого занятного и веселого города Бальзак прочитал «Энеиду» и «Георгики». Затем он приехал в Париж, окунулся в его будоражащую атмосферу, спекулировал как безумный, разорился, писал посредственные романы; он размышлял и страдал, как все мы; как и все мы, он увлекся литературным романтизмом и жгучими социальными проблемами. Но он был рожден с редкой способностью к обособленности; он не стал ни главой романтического движения, ни главой социалистов. Он остался Бальзаком. <...>

Бальзак, во всех отношениях превосходящий Дюма и Сю, Бальзак, чувствующий истину, утрировал ее. Тем не менее, поскольку все его творчество базируется на изучении индивидуума, выделенного из общей массы, и поскольку изучение это носит серьезный характер и является главной задачей современного искусства, романам Бальзака с их индивидуализированными персонажами обеспечена более долгая жизнь. Хотелось бы, чтобы Бальзак родился в эпоху и в условиях, более благоприятных научному методу, которым он пользовался при изучении человека. Ибо он не остался верен науке, требующей прежде всего беспристрастности и придающей каждой величине определенную ценность, каждой реалии — свой символ, каждой совокупности элементов — точное цифровое выражение. Геометр не имеет права считать угол более острым, чем на самом деле, а лаборант — неверно рассчитать количество азота, углерода или кислорода, которыми оперирует. Если они совершат ошибку, то первого выведет из заблуждения бесстрастный циркуль, а второй взлетит на воздух вместе со своими перегонными аппаратами. Если бы Бальзак, подобный автору восточных сказок, довольствовался тем, чтобы развлекать нас разнообразными и нескончаемыми проекциями волшебного фонаря, мы были бы не вправе требовать от него большего. Но Бальзак — ученый. Он исследует. Бальзак — ученый, с лупой и свежесоточенным скальпелем, беспощадно анализирует общество. Целиком поглощенный своим творчеством, внимательный до галлюцинации, он отдал бы все на свете за крупицу истины. Посвятив себя науке об обществе, Бальзак тем самым присоединяется к одному из самых важных

и передовых течений нашего времени. Он обращен к истине, ее он ищет. И, что еще лучше, — он ее находит. Или, правильнее сказать, он ее угадывает. Она осталась бы верна ему до конца, если бы терпеливое исследование сделало его ее хозяином. Но у Бальзака было странное качество, удивительная особенность исказить воссоздаваемую его колдовским воображением действительность. Свойство столь же редкое, сколь и опасное. Камера-обскура в его мозгу освещалась, вспыхивала, придавая появляющимся там образам очертания, пропорции и контрасты света и тени, никогда не существовавшие в действительности. Бальзак был более желчным и сангвиническим, исполненным большей жизненной энергии, чем кто-либо на свете, — его темперамент не имел себе равных, и от этого тройного избытка происходила чрезмерная, а следовательно, и ложная интенсивность красок, линий, контрастов и силы страстей, не соответствующих реальности нашего мира с присущими ему слабостями, компромиссами, малодушием, мелочностью, сделками с совестью и ложью. Бальзак все укрупнял, углублял, очернял или возвеличивал. Правда была искажена, наука о жизни недооценена, извращена, принижена. Но чародей осуществил свой замысел, создав дивный мираж.

Никто так не похож на чародея, как Бальзак. Я уже говорил, что он ясновидец, а не наблюдатель. Я не принадлежал к числу его друзей, но часто встречался с ним и бывал у него в доме. Не думаю, чтобы у него были друзья. А ведь он отнюдь не был дурным или неискренним человеком. Он всегда смотрел вглубь вещей и вглубь себя самого. Но люди, связанные даже не очень тесными и прочными узами дружбы, хотят чувствовать твердую почву под ногами, им необходимо верить или делать вид, что они верят в постоянство, чистосердечие, в непреложность фактов. Для Бальзака же фактами являлись только создания его собственного воображения, которые он отшлифовывал и расцвечивал. Мимо него проходил вульгарный, веселый и наглый коммивояжер — рождался Годиссар. Какой-нибудь славный инвалид попадался ему на глаза — вот вам отец Горио. Бальзак неутомимо разрабатывал свои образы, создавая, подобно средневековому скульптору, причудливые маски и направляя на них яркий свет, на манер Рембрандта. И тут мы снова сталкиваемся с вопиющей ложью талантливого человека, ложью еще более опасной, чем та, о которой шла речь выше. Никакой нравственной оценки персонажей, которая позволила бы отличить отвратительного старого распутника Юло от честного и благо-

родного человека, наглого мошенника, гнусного интригана и каторжника Вотрена — от бедняги Ламбера, презренную куртизанку — от целомудренной и благочестивой девушки. Препарированные с одинаковым тщанием, все они ведут себя в точном соответствии с поставленными перед ними задачами. Вот суть всего творчества Бальзака. Здесь — азот, там — углерод. Прочитав эти необычайные исследования, испытываешь искушение смотреть на людей так, как аптекарь смотрит на свои банки. Так же как Дюма и Сю, Бальзаку не хватает доброты, милосердия, любви к обществу, в котором он родился, вырос, жил, нашел славу, деньги и занял весьма уважаемое положение. Да и откуда взяться такой любви? Франция убила ее, губя себя непрерывными войнами и сменой политических режимов; и, быть может, среди пятисот человек не найдется ни одного, который был бы доволен. Старость развенчана, молодость обескуражена, мужественные души обессилены, прекрасный пол охвачен лихорадочным возбуждением, и вовсе не по мановению волшебной палочки чародея Бальзака, этого истинного кудесника, сможет возродиться наша нравственность. Ибо он причинил еще больший вред, чем Дюма и Сю, сведя все человечество к определенному количеству равноценных разновидностей, хороших или дурных, но в равной степени необходимых. К чему быть нищим Сократом, если можно стать счастливым Вотреном? Оба являют собой некое уравнение, и это уравнение и есть человеческая комедия. Колоссальный фарс! Жестокая и циничная трагедия!

Нет, это неправда. Благородные люди, существующие во все времена, посеяли семена, давшие ростки. Камень и земля, змея и лошадь были бы грубыми и дикими, если бы их не обработал и не приручил человек. Человек способен совершенствоваться и самоусовершенствоваться; он улучшает и улучшается. Следовательно, равноценность добра и зла, о которой вы говорите, — ложь. Писатель, введенный в заблуждение какой-нибудь теорией или собственной гордыней, — несовершенство вашего творения проистекает именно от этой ошибки в вашей доктрине. Желая сделать свое произведение всеобъемлющим и дать лишь психологические портреты равноправных персонажей, не подчиняя их нравственным законам, которые — и только они — и отличают их друг от друга, вы насаждаете запутанный лес разнообразных небылиц, перекрещивая тропинки, прокладывая все новые и новые пути, — и в конце концов никто уже не может выбраться из этих бесплодных дебрей. Вот

странное притязание уподобиться господу богу. Вы хотите создать произведение, в котором будет заключен целый мир и которое будет не чем иным, как совершенством. Но божий мир несовершенен. Герой вашего первого романа появится также и во втором, автор его уже не бросит, так же как бог никогда не бросает свое творение. Но вы забываете о читателе — он не преминет найти такую претензию чрезмерной и невыносимой. Тщетно один исследователь творчества Бальзака говорит о «беспредельной разработке типов» — у человека есть свои пределы.

Наполеон I этого не признавал: в этом отношении он был преемником римских императоров. *Divus Augustus*¹, обремененный славой, окруженный ее лучами, он сделал себя наследником их апофеоза и убедил в этом других. И вместе с поклонением обожествленному цезарю вновь оживают старые грехи, старые пороки античного мира. Бальзак и современные маленькие наполеоны требуют от человека больше, чем он может. Но всех, кто лишен скромности и умения правильно оценивать свои возможности, ждет свое Ватерлоо. Гордого и нежного Ламартина — свое; пронизательного и язвительного Бальзака — свое. Тот, кто в кругу великих людей говорит о смирении, правильной оценке своих сил, искании справедливости и снисходительности к своим собственным слабостям и слабостям окружающих, считается безвольным, завистливым брюзгой, ограниченным и боящимся новых идей. Повсюду появляются маленькие наполеоны, маленькие люди, мнящие себя великими завоевателями, уверенные в том, что они смогут покорить весь мир, и быстро идущие ко дну. На книжном шкафу у Бальзака я видел — я говорил об этом тысячу раз — скверный гипсовый бюстик со следующей надписью на основании: «То, что он не смог сделать мечом, я совершу пером». Это был бюст Наполеона. Так же, как и в своих романах, Бальзак, чей гений был под стать гению Наполеона, использовал антитезу; он полагал, что писатель в состоянии править миром, а его перо можно уподобить золотому скипетру. До невероятной степени Бальзак развил свою способность отдаваться во власть иллюзий; он не родился безумцем, но сделал себя таковым. Все время мечтая о величии, богатстве и роскоши, он убедил себя в том, что металлическая ванна, в которую он погружался, сделана из паросского мрамора, а лишенная мебели темная квартира на улице Кассини увешана множеством картин и залита

¹ Божественный Август (лат.).

светом тысячи свечей. Самое странное и грустное заключается в том, что его иллюзии подкреплялись некоторой примесью шарлатанства; он верил лишь наполовину. Если внимательно прочитать мемуары и письма Наполеона I, опубликованные недавно без особых искажений, то в них можно обнаружить такое же стремление к самообману, намеренное бахвальство, невольное суеверие и потребность навязывать все это другим и самому себе вычурностью стиля, безграничными претензиями, дерзким коварством и коварной дерзостью. Неужели вы думаете, что, завершая лживый бюллетень, составленный после московской катастрофы, словами «император чувствует себя хорошо», он не понимал парадоксальности ужасного контраста между тысячами трупов и воздвигнутым на них троном богоподобного, хорошо себя чувствующего императора? Нет, этот человек с его роковым гением все знал — он лишь сильнее подчеркивал лихость своего вымысла и вымысел своей лихости. Плачевный пример, друзья мои!..

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- AB* — Année balzacienne.
- Баше* — Baschet A. Honoré de Balzac. Essai sur l'homme et sur l'œuvre. P., 1852.
- Бланишар* — Blanchard M. Témoignages et jugements sur Balzac. Essai bibliographique. Recueil de jugements. P., 1931.
- Бодлер* — Baudelaire Ch. Curiosités esthétiques. P., 1962.
- Борель* — Borel J. Personnages et destins balzaciens. P., 1959.
- СН* — Balzac H. de. Comédie humaine. P., 1976-1981, t. 1-2 («Bibliothèque de la Pléiade»).
- Гиз* — Guise R. Un grand homme du roman à la scène. — *AB*, 1966, p. 171-216.
- Гонкуры* — Гонкур Э., Гонкур Ж. Дневник. М., 1964, т. 1—2.
- Гроссман* — Гроссман Л. Бальзак в России. — Лит. наследство, 1937, т. 31—32, с. 149—372.
- Гюго* — Гюго В. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1953—1956.
- Кальман-Леви* — Balzac H. de. Œuvres complètes. P., 1869—1876, t. 1—24.
- КП* — Кроник де Пари.
- ЛП* — Balzac H. de. Lettres à Madame Hanska. Textes réunis, classés et annotés par R. Pierrot. P., 1967 — 1971, t. 1—4.
- Переписка* — Balzac H. de. Correspondance. Textes réunis, classés et annotés par R. Pierrot. P., 1960—1969, t. 1—5.
- РодМ* — Ревию де Де Монд.
- Реизов* — Реизов Б. Г. Творчество Бальзака. Л., 1939.
- РП* — Ревию де Пари.
- РПар* — Ревию паризьен.
- Сененже* — Senninger C.-M. Honoré de Balzac par Théophile Gautier. P., 1980.
- Сегю* — Ségu F. Un maître de Balzac méconnu. Henri de Latouche. P., 1928.
- Собр. соч.* — 1 — Бальзак О. Собр. соч. в 15-ти томах. М., 1951—1955.
- Собр. соч.* — 2 — Бальзак О. Собр. соч. в 24-х томах. М., 1960.
- Флобер* — Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. М., 1984, т. 1 — 2.
- ЧелК* — «Человеческая комедия».

В тех случаях, когда речь идет о крупных писателях (Готье, Жорж Санд и др.), в преамбулах сообщаются только сведения о знакомстве и общении мемуаристов с Бальзаком; подробные характеристики даны лишь тем авторам, которые малоизвестны или вовсе не известны русскому читателю.

К. МАРКС
ИЗ «КАПИТАЛА»

Текст печатается по изд.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 25, ч. I, с. 46.

Стр. 20. *«Крестьяне»* — роман Бальзака, оставшийся незаконченным; первая часть («У кого земля, у того война») была опубликована 3—21 декабря 1844 г. в газете «Пресс», вторая часть, дописанная женой писателя, была опубликована там же, 1—15 июня 1855 г.

Ф. ЭНГЕЛЬС
ИЗ ПИСЬМА К М. ГАРКНЕСС

Текст печатается по изд.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 37, с. 36—37.

Стр. 21. Около *монастыря Сен-Мерри* в Париже 5—6 июня 1832 г. происходили баррикадные бои между повстанцами-республиканцами и войсками Луи-Филиппа. Республиканец Мишель Кретьен, погибший в одном из этих боёв, — персонаж романов «Утраченные иллюзии» и «Тайны княгини Кадиньян».

Л. СЮРВИЛЬ
БАЛЬЗАК, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЕГО ПЕРЕПИСКЕ

Впервые — *РП*, 1 мая — 1 июня 1856 г.; отд. изд. — 1858 г. (поступило в продажу в ноябре 1857 г.); переиздано как предисловие к «Переписке» Бальзака в 1876 г. (*Кальман-Леви*, т. 24). Первый русский пере-

вод (со значительными сокращениями) Н. Г. Чернышевского (с его предисловием и послесловием) — Современник, 1856, № 9, отд. V, с. 1—24. В предисловии Чернышевский высоко оценил мемуары Сюрвиль, противопоставив ее книгу, где «каждый факт убеждает, что Бальзак-человек заслуживал такого же уважения, как и Бальзак-писатель», пасквилям и «жалким анекдотцам» о причудах Бальзака, его легкомыслии и эгоизме.

Лора Сюрвиль (урожд. Бальзак) — сестра писателя, в детстве и юности очень дружная с ним. Ей посвящены романы «Изгнанники» (в изд. 1835 г.) и «Первые шаги в жизни» (в изд. 1844 г.); второй из романов навеян устным рассказом Сюрвиль, которая позже сама обработала тот же сюжет в повести «Путешествие в дилижансе» (1854). Сестра Бальзака вообще не чуждалась сочинительства; ей принадлежат два сборника повестей и рассказов для детей — «Сосед» и «Фея облаков, или Королева Меб» (оба 1854 г.).

Воспоминания Л. Сюрвиль, ценные как впечатления одного из наиболее близких Бальзаку людей, не могут, однако, быть полностью приняты на веру. В своей книге сестра Бальзака первой опубликовала подборку его писем к ней самой и к некоторым другим лицам, но сделала это с большими неточностями — «она исправляла стиль, не раз сливала несколько писем воедино, в случае необходимости вписывая недостающие связки» (*Переписка*, т. 1, с. III). Память не раз подводит Сюрвиль в том, что касается хронологии; не совсем точно освещает она и свои взаимоотношения с братом в зрелые годы: они были далеко не так безоблачны, как хотелось бы считать мемуаристке, — старея, Лора все больше походила на мать, отношения с которой у Оноре на протяжении всей жизни были весьма напряженными, и это отдаляло брата от сестры. (См., напр., письмо Бальзака к Э. Ганской от 2 янв. 1846 г.) Ошибки и неточности в воспоминаниях Л. Сюрвиль отмечены и исправлены в примечаниях. Несмотря на указанные несовершенства книги Сюрвиль, она служила и до сих пор служит одним из основных источников биографии Бальзака и в этом отношении представляет несомненный интерес.

Перевод выполнен по изд.: Surville L. Balzac. Sa vie et ses oeuvres d'après sa correspondance. P., 1858.

Печатается с незначительными сокращениями, отмеченными в тексте отточиями.

Стр. 22. Хотя праздник *святого Гонория* в самом деле приходится на 16 мая, Бальзак родился на четыре дня позже — 1 прерияля VII года (20 мая 1799 г.).

...*потеряла своего первенца...* — Луи-Даниэль Бальзак родился ровно за год до Оноре, а умер 22 июня 1798 г.

...*отыскали хорошую кормилицу...* — Лора Бальзак родилась 29 сентября 1800 г. Кормилицей ее и Оноре была жена полицейского из местечка Сен-Сир-на-Луаре.

Стр. 23. *Отец мой родился...* — Бернар-Франсуа Вальса родился 22 июля 1746 г. в местечке Нугейрье (деп. Тарн) в богатой крестьянской семье; свою карьеру он начал клерком у нотариуса в родном местечке, в 1776 г. поступил на службу в Королевский совет, и с тех пор фамилия его стала писаться по-новому — Бальзак.

Дядя Тоби — персонаж романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1767).

Стр. 24. *Коммерческим обществом* Л. Сюрвиль называет общество, основанное в 1814 г. Д. Думерком; оно на пять лет монополизировало поставку продовольствия и фуража для армии. *Касса Лафаржа* была основана в 1791 г. Ж. Лафаржем; в сообществах такого типа вкладчики, объединив капиталы, пользовались пожизненной рентой; после смерти очередного вкладчика рента перераспределялась между теми, кто остался в живых. В 1817 г. общество Думерка обанкротилось, что нанесло благосостоянию Бальзаков серьезный ущерб. Напротив, касса Лафаржа в последние годы жизни Бальзака-отца выплачивала ему значительные суммы.

...по моде времен Директории... — Очень широкий галстук был приметой костюма щеголей в первые годы после Великой французской революции (период правления Директории приходится на 1795—1799 гг.).

Стр. 25. *...солдат, возвращавшихся из Испании.* — Имеется в виду война Наполеона I в Испании (1808—1814).

Стр. 26. *...безгранично преданна семье.* — Л. Сюрвиль несколько идеализирует образ г-жи Бальзак, о которой Оноре писал ей в июле 1821 г.: «Она была бы несчастнейшей из женщин, если бы поняла, что, думая сделать все возможное для счастья своих близких, на деле доставляет им одни огорчения. Мама уверена, что данные в долг деньги стоят дороже, чем спокойствие духа и хорошее настроение» (*Переписка*, т. 1, с. 108). Мать не раз ссужала Оноре деньгами, но необходимость отдавать ей эти довольно крупные суммы, о чем она неоднократно напоминала сыну, омрачала его жизнь на протяжении многих лет.

...старшие ... сестер и брата. — Кроме Лоры у Бальзака была еще сестра Лоранс, родившаяся 18 апреля 1802 г., и брат Анри-Франсуа, родившийся 21 декабря 1807 г.

Стр. 27. *...повезла его... в 1804 году.* — Неточность мемуаристики: поездка в Париж состоялась в первой половине 1803 г.; в 1804 г. дедушки Саламье уже не было в живых (он скончался 22 мая 1803 г.).

Стр. 28. *...в «Воспоминаниях» Жорж Санд...* — Имеется в виду автобиографическая книга Ж. Санд «История моей жизни» (1854) и описание там детских забав (ч. III, гл. 13).

...не имели такого успеха... — О несчастливой сценической судьбе пьес «Школа супружества» и «Вотрен» см. примеч. к с. 298 и примеч. к с. 100 наст. изд.; премьеры комедии «Проделки Киноль» 19 марта 1842 г. в театре «Одеон» и драмы «Памела Жиро» 26 сентября 1843 г. в театре «Гез» успеха не имели.

...перевели из школы в Туре... в Вандомский коллеж... — В Турский пансион Леге Бальзак поступил в апреле 1804 г.; в Вандомский коллеж он был принят 22 июня 1807 г.

...внушили ему первую часть книги «Луи Ламбер». — В начале романа «Луи Ламбер» рассказчик описывает годы обучения в Вандомском коллеже. Воспоминания об учебе в этом коллеже использованы также в начале романа «Лилия в долине».

Стр. 29. ...своего рода коматозное состояние... — В романе «Луи Ламбер» сходная болезнь (каталепсия) приводит главного героя к полному разрыву с земным миром (что квалифицируется окружающими как сумасшествие) и в конечном счете к смерти.

Ораторианцы — монашеский орден, основанный во Франции в 1611 г. по образцу итальянского (основан в 1575 г.); как и иезуиты, ораторианцы руководили многочисленными коллежами.

Стр. 30. ...нейзажмами... Турени, которые он так хорошо описал. — В Турени происходит действие романов «Тридцатилетняя женщина», «Турский священник», «Лилия в долине», рассказов «Мэтр Корнелиус», «Гренадьер», «Прославленный Годиссар». Ср. признание героя «Лилии в долине» Феликса Ванденеса любимой женщине: «Моя любовь к этому краю не похожа на любовь, которую питаешь к месту, где ты родился, или к оазису в пустыне; я люблю его так, как художник любит свое искусство; я люблю его меньше, чем вас, но вдали от Турени я бы, вероятно, умер» (*Собр. соч.* — 2, т. 8, с. 26). Ср. также примеч. к с. 72.

Собор святого Гасвена — готический собор XII—XV вв.; святой Гасвен (III в.) считается первым епископом Тура.

Аббат Франсуа *Бирото* действует в романах «Турский священник», «История величия и падения Цезаря Бирото», «Лилия в долине»; аббат *Лоро* — в романах «Баламутка», «Дом кошки, играющей в мяч» и др.; *кюре Бонне* и *Вероника Совья* — в романе «Сельский священник».

Стр. 31. В заведении *Лепитра* в Париже Бальзак учился с января по сентябрь 1815 г.; затем до сентября 1816 г. он учился в заведении Ганзе на улице Ториньи.

...где мы поселились. — В Париж семья Бальзаков переселилась в ноябре 1814 г.

Речь жены Брута... после осуждения им сыновей... — Луций Юний Брут, римский патриций, установивший в 510—509 гг. до н. э. республиканский строй в Риме, приговорил своих сыновей, участвовавших в заговоре против республики, к смертной казни (см.: Тит Ливий. История от основания Рима, II, V). Этот сюжет положен Вольтером в основу трагедии «Брут» (1730).

Стр. 32. ...импровизации Вильмена, Гизо, Кузена... — Неточность мемуаристики: в 1816 г. лекции в Сорбонне читал из названных профессоров только Вильмен (он вел курс истории французской литературы). Кузен с 1814 г. читал философию в Эколь Нормаль; Гизо преподавал

историю в Сорбонне в 1812 — 1814 гг., но затем до 1820 г. был вынужден оставить преподавание.

...*принадлежит ныне... графине Дутремон...* — Дом Бальзаков на улице Арме-д'Итали в Туре был куплен первым мужем госпожи Дутремон бароном Маршаном 13 февраля 1816 г.; до наших дней не сохранился.

...*улица, на которой он жил в Париже...* — Речь идет об улице Фортюне (вскоре после смерти Бальзака названной его именем), где в доме № 11 Бальзак жил в 1847—1850 гг. (дом не сохранился).

Стр. 33. ...*монографии г-на de Ломени.* — Речь идет о книге Л.-Л. де Ломени «Бомарше и его время» (т. 1—2, 1855).

Клерком в контору Ж.-Б. Гийоне-Мервиля Бальзак поступил осенью 1816 г.; прежде ту же должность в этой конторе занимал Э. Скриб. В контору В.-Э. Пассе, расположенную на той же улице Тампль в квартале Марэ, где жила семья Бальзаков, Оноре поступил весной 1818 г. и работал там около года. Родители Бальзака рассчитывали, что Оноре станет преемником Пассе.

Стр. 34. *Начался бурный спор.* — О намерении бросить юриспруденцию и стать писателем Бальзак объявил родителям весной 1819 г.

...*в шести лье от Парижа.* — Семья Бальзаков переселилась в местечко Вильпаризи под Парижем летом 1819 г.

Стр. 35. В *мансарде* на улице Ледигьер, д. 9 Бальзак поселился в августе 1819 г. Мансарда эта описана в романе «Шагреневая кожа» и рассказе «Фачино Кане». «Посредницей» между Бальзаком и его родителями служила в этот период Мари-Франсуаза Пеллетье, по прозвищу «матушка Комен», соседка Бальзаков по Вильпаризи; Оноре прозвал ее «Иридой-вестницей» по имени греческой богини радуги, считавшейся посредницей между богами и людьми. Библиотека, расположенная в здании *Арсенала*, принадлежала графу д'Артуа (с 1824 г. королю Франции под именем Карла X), но с 1797 г. была открыта для широкой публики.

...*дорогой, бесценной реликвией.* — Первое сохранившееся письмо Оноре к Лоре датировано 12 августа 1819 г. Ниже Л. Сюрвиль цитирует его (очень вольно!), контаминируя с письмом от 25—30 октября 1819 г. (пассаж о флейтисте Тюлу).

Стр. 36. ...*у слуги доктора.* — В подлиннике письма — «доктора Наккара».

...*во втором письме...* — Далее Л. Сюрвиль неточно цитирует письмо от 25—30 октября 1819 г. Здесь и далее конкретный смысл расхождений с подлинным текстом писем Бальзака комментируется развернуто лишь в тех случаях, когда неточности касаются принципиальных моментов содержания; стилистические расхождения фиксируются, но не раскрываются подробно.

Стр. 37. «*Стелла*» — роман из античной жизни; «*Коксигрю*» — другой задуманный в 1819 г. роман; от обоих ничего не сохранилось.

...следующее письмо. — Далее Л. Сюрвиль неточно цитирует письмо от 25—30 октября 1819 г.

Шотландский историк *И. Блер* был автором «Хронологии и истории мира» (1753) и «Хронологических таблиц» (1790; фр. перевод и продолжение Шантеро — 1795).

...не принимает Тразимену за армейского генерала. — В битве на берегах Тразименского озера в Италии Ганнибал одержал победу над римлянами (217 г. до н.э.). «Фарсалия» — эпическая поэма Лукана.

Стр. 38. «Цинна» (1640) — трагедия П. Корнеля.

Каррик — длинное широкое пальто с пелериной.

Дантовский колпак. — Эпитет «дантовский» принадлежит Л. Сюрвиллю; у Бальзака идет речь о «красном мериновом колпаке на вате, на манер батюшкиного» (*Переписка*, т. 1, с. 53).

Карфаген должен быть разрушен... — Римляне начали Третью Пуническую войну (149—146 г. до н.э.), закончившуюся разрушением Карфагена, по настоянию Катона Старшего, который, «высказывая свое суждение по какому бы то ни было вопросу, всякий раз присовокуплял: «Кажется мне, что Карфаген не должен существовать» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Марк Катон, XXVII).

Стр. 39. ...письмо (от августа 1819 года). — В современном издании это письмо датировано ноябрем 1819 г.; цитата неточная.

...его нет в Париже, — Посторонним родители говорили, что Оноре гостит у кузена в Альби (деп. Тарн).

Лиль-Адан — городок к северу от Парижа.

Дворец, или, точнее, Коллеж *четырёх наций*, основанный Мазарини, был открыт в 1688 г.; во время революции был закрыт, а в 1805 г. в этом здании разместился Французский Институт (совокупность пяти академий, основан в 1795 г.). *Мост Искусств* соединяет Институт с Лувром; в подлиннике письма (*Переписка*, т. 1, с. 60) каламбур: не pont des Arts (мост Искусств), а pont des Ânes (мост ослов).

Стр. 41. *Мом* (греч. миф.) — божество злословия.

Трагедия «Кромвель» была впервые опубликована в 1925 г. Тема эта пользовалась в ту пору популярностью; в частности, первым — и также неудачным — драматургическим опытом В. Гюго была драма «Кромвель». Сама по себе мысль начать свою литературную карьеру именно с трагедии была данью классицистической поэтике, по нормам которой трагедия и эпопея считались наиболее «престижными» жанрами.

...кропая «Стеллу» ...комическую оперу... я забросил. — О «Стелле» см. примеч. к с. 37. Сюжет комической оперы, которую начал было писать Бальзак, был навеян поэмой Байрона «Корсар» (1814).

Стр. 42. ...где он ее выражает. — Далее следует неточная цитата из письма от 6 сентября 1819 г. со вставками фрагментов из писем от сентября 1819 г. (фраза о Перретте) и от ноября 1819 г. (начало письма). *Перретта* — персонаж басни Лафонтена «Молочница и кувшин молока» (VII, X).

...нахожусь в Альби. — См. примеч. к с. 39.

На берегу Уркского канала, соединяющего реку Урк с Сенной, расположено местечко Вильпаризи, где жили родные Бальзака.

Стр. 43. *Альбигоец*. — Об Альби см. примеч. к с. 39.

Тебе одной. — Эта надпись предваряет письмо Лоре от сентября 1819 г., где Оноре извещает сестру об окончательном решении писать «Кромвеля»; письмо с планом трагедии датируется ноябрем 1819 г.

Стр. 45. ...*прощающего Цинну*. — См. примеч. к с. 38.

...*Боссюэ меня пугает*. — Имеется в виду надгробное слово Боссюэ, посвященное английской королеве Генриетте-Марии Французской, жене Карла I.

...*мысли серьезные*... — Далее следует цитата из письма от ноября 1819 г.

Стр. 46. ...*где ныне покоится Бальзак*. — Бальзак похоронен на кладбище Пер-Лашез, расположенном на холме Менильмонтан.

«*Время, проведенное здесь...*» — Неточная цитата из письма от ноября 1819 г.; Юлия — персонаж романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Стр. 47. ...*все будущие сюжеты*. — Далее следует цитата из письма от сентября 1819 г.

...*торжественное испытание*. — Чтение «Кромвеля» состоялось, по видимому, в конце мая 1820 г.

...*при первых представлениях «Вотрена» и «Кинолы»*. — См. примеч. к с. 100 и примеч. к с. 28.

Стр. 48. ...*верховного судии*. — Лора отдала «Кромвеля» на суд Ф.-Г. Андрие в августе 1820 г., уже будучи женой Сюрвиля. Андрие преподавал литературу в Политехнической школе в 1802 — 1814 гг.

...*поселила его дома*... — Комната на улице Ледигьер была оплачена до декабря 1820 г., но, вероятно, Бальзак съехал оттуда раньше.

...*которое он хочет прославить вторично*. — Фамилия «Бальзак» была прославлена в XVII в. Гезом де Бальзаком.

...*не раскрывать своего авторства*. — До романа «Клотильда де Лузиньян» (июль 1822 г.) Бальзак пользовался псевдонимом Лорд Р'Оон (анаграмма имени Оноре); начиная с романа «Арденнский викарий» (ноябрь 1822 г.) — псевдонимом Орас де Сент-Обен. Хотя он в самом деле не желал признавать свое авторство, тайну второго из этих псевдонимов еще в 1834 г. предал огласке Сент-Бев в рецензии на роман «Поиски Абсолюта» (см. о ней также в примеч. к с. 200).

...*переехала в Байе*... — Лора вышла замуж за инженера Сюрвиля 18 мая 1820 г., а в мае 1821 г. уехала с ним в Байе (город в Нормандии). Первое сохранившееся письмо к Лоре из Вильпаризи в Байе датируется 2 июня 1821 г.

Стр. 49. ...*сравнивает... отца с египетской пирамидой*... — См. письмо от 23 ноября 1821 г. (*Переписка*, т. 1, с. 116).

...*о замужестве... Лоранс*... — Лоранс 1 сентября 1821 г. вышла замуж

за А.-Д. Монзегля. О подписании брачного контракта Оноре известил Лору в письме, предположительно датированном 15 августа 1821 г. Брак Лоранс оказался очень неудачным.

Все мы порядочные чудачки... не могу поместить нас в роман. — По-видимому, контаминация двух разных фрагментов письма от июня 1821 г. — характеристики родной семьи: «О! во всем мире не найдется и двух семейств, подобных нашему, а каждый из нас, я думаю, единственен в своем роде» (*Переписка*, т. 1, с. 101) и автохарактеристики: «Это славный малый... причем малый крайне болтливый, потому что, если бы напечатать его письмо, оно заняло бы по меньшей мере 30 печатных страниц. Господи, я непременно выведу его в своем романе!» (*Переписка*, т. 1, с. 103).

...путь нелегок. — Далее следует цитата из письма, предположительно датированного 15 августа 1821 г. Последняя фраза отрывка, получившая большую известность, сочинена Лорой Сюрвиль. В подлиннике стоит: «У меня в жизни всего две страсти: любовь и слава, но ни одну из них я до сих пор не удовлетворил и никогда не удовлетворю» (*Переписка*, т. 1, с. 113). Кто такой упоминаемый в письме г-н Т..., неясно, так как в подлиннике письма эта фраза отсутствует.

Стр. 50. *...о третьем и четвертом романах.* — Мемуаристка имеет в виду и цитирует (очень вольно!) письмо от 2 апреля 1822 г., где Бальзак извещает сестру о том, что скоро вышлет ей роман «Жан-Луи, или Обретенная дочь», вышедший в марте 1822 г. под именами Огюста де Вьеллергле (псевдоним О. Лепуатвена) и Лорда Р'Оона, а также сообщает, что не станет посылать ей роман «Наследница Бирага» (вышел под теми же псевдонимами в январе 1822 г.), поскольку окончательно в нем разочаровался.

Стр. 51. *«Если бы ты знала...»* — Фрагмент, по-видимому, сочинен Лорой Сюрвиль.

...не сочинивший еще «Физиологию брака». — В книге «Физиология брака», вышедшей анонимно в декабре 1829 г., Бальзак оценивал институт брака и вероятность взаимной верности супругов весьма скептически. Суждения о браке в письме от июня 1821 г., которое имеет в виду Сюрвиль, также весьма ироничны: «Я постараюсь сочинять романтические стихи, чтобы будущая супруга нашла меня, как г-на де Ламартина» (*Переписка*, т. 1, с. 102), — пишет он и в почти фарсовом тоне рассказывает о том, как богатая англичанка женила на себе Ламартина. Серьезные суждения о браке высказаны в письме, датированном около 15 августа 1821 г.: «...я женюсь только на той, которая внушит мне страстную любовь» (*Переписка*, т. 1, с. 111).

...заканчивает похвальным словом Роже Бонтану. — Имеется в виду письмо от июня 1821 г. *Роже Бонтан* — персонаж народной средневековой французской поэзии, действующий в стихах поэта XV в. Роже де Коллери, отождествленного современниками и потомками с его персонажем; действует также в одноименной песне Беранже (1814). Цитат из *Рабле*

в сохранившихся ранних письмах Бальзака нет; об его отношении к авто-
ру «Гаргантюа и Пантагрюэля» см. примеч. к с. 111.

Стр. 52. ...от других писателей его времени. — Далее следует неточная
цитата из письма от начала марта 1822 г.; у Бальзака речь идет только
о поездке в Байе г-жи Бальзак, состоявшейся весной 1822 г.; сам Оноре
гостил у сестры с конца мая по начало июля 1822 г.

...в похоронах доктора, такого, как описанный им в «Сельском
враче»... — Хирург Ж.-Ш. Боссон скончался 23 апреля 1821 г. в Л'Иль-
Адане.

Кладовка — возможно, имеется в виду тетрадь, которую Бальзак
в 1833 г. сам озаглавил «Мысли, сюжеты, фрагменты» (опубл. в 1910 г.)
и в которую он в период с 1830 по 1848 г. заносил свои рабочие заметки.

Стр. 53. ...вместе с которым он написал свой первый роман. — Первым
соавтором Бальзака был О. Лепуатвен, не являвшийся, однако, ни судей-
ским чиновником, ни соучеником Оноре; они написали вместе «Наследни-
цу Бирага» и «Жана-Луи» (см. примеч. к с. 50). Участие Бальзака
в создании романов «Два Гектора» (февраль 1821 г.) и «Шарль Пуан-
тель» (ноябрь 1821 г.), подписанных псевдонимом Лепуатвена Огюст
Вьеллергле, сомнительно.

Стр. 54. *Сосед, деловой человек*... — Имеется в виду Урбен Канель.
...полные собрания сочинений Мольера и Лафонтена. — Договор на
издание полного собрания сочинений Мольера в одном томе Бальзак
подписал 14 апреля 1825 г.; книга, иллюстрированная А. Девериа, печата-
лась четырьмя выпусками (последний — в декабре 1825 г.); ей была
предпослана вступительная статья Бальзака (без подписи). Договор
с А. Бодуэном на издание подобного сборника Лафонтена Бальзак подпи-
сал 3 мая 1826 г.; последний выпуск появился в июне 1826 г.; предисловие
на этот раз было подписано «О. Бальзак».

Стр. 55. «*Кларисса*» (1747 — 1748) — роман С. Ричардсона. Ри-
чардсон в 16 лет поступил учеником к типографу, а затем основал соб-
ственное типографско-издательское дело.

...объединился с ловким фактором... — Имеется в виду А. Барбье,
с которым Бальзак подписал 1 июля 1826 г. соглашение о совместной
эксплуатации типографии на улице Марэ-Сен-Жермен, д. 17; здесь же
Бальзак жил в 1826—1828 гг.

Словолитню Бальзак приобрел в сентябре 1827 г. вместе с А. Барбье
и Ж.-Ф. Лораном.

Стр. 56. ...продал... одному из своих друзей... — Наделав долгов,
Бальзак вынужден был в апреле 1828 г. уступить словолитню Александру
де Верни, а типографию в августе того же года — своему компаньону
А. Барбье.

...матушка числилась главным кредитором. — После ликвидации всех
дел, связанных с типографией и словолитней, долг Бальзака составлял
примерно 60 тысяч франков, из них 50 тысяч он был должен своим ро-
дителям.

...жили... в Версале... — Семья Бальзака окончательно переселилась в Версаль летом 1826 г.; Сюрвили жили там с 1825 г.

Стр. 58. ...г-н де Латуш... дружбой, которая скоро улетучилась... — Первая встреча Бальзака с А. де Латушем произошла около 1825 г. (об их общении см. наст. изд., с. 148—152). Латуш к этому времени был уже известным литератором, автором нескольких комедий, переводчиком Гете, Шиллера, Гофмана, издателем первого (посмертного) сборника стихов А. Шенье (1819); Шарль Нодье прославил Латуша, назвав его в предисловии к повести «Трильби» (1822) «классиком» современной литературы. Бальзак же ко времени знакомства с Латушем опубликовал у У. Канеля роман «Ванн Хлор», который выделявшимися на общем мелодраматическом фоне опытами психологического анализа обратил на себя внимание маститого литератора, и тот опубликовал в газете «Пандор» (10 сентября и 18 ноября 1825 г.) хвалебную рецензию на него. Вместе с Канелем Латуш был издателем «Шуанов» (см. следующее примеч.), он же ввел Бальзака в некоторые литературные салоны. Обстоятельства ссоры Латуша и Бальзака в 1831 г. точно не выяснены. По одной из версий, причиной были денежные расчеты (Латушу пришлось оплатить какой-то крупный долг Бальзака); более вероятно, что Латуша неприятно поразила растущая популярность Бальзака и стремительное совершенствование его таланта; впрочем, он не высказывал в печати ничего дурного о Бальзаке даже после их ссоры, тогда как Бальзак в 1840 г. в *РПар* подверг роман Латуша «Леон» (1840) резкой критике. Тем не менее в творчестве Бальзака заметны следы влияния Латуша: роман последнего «Фраголетта» (1829), как признавал сам Бальзак, сыграл большую роль в генезисе философского романа «Серафита» (1834), от Латуша перенял Бальзак и интерес к философам-мистикам (Сведенборгу, Сен-Мартену). Более того, именно влиянием Латуша объясняется, по-видимому, разрыв Бальзака с «массовой» литературной продукцией в традициях «готического» романа XVIII в. и поворот к Вальтеру Скотту (*Сегю*, с. 169—172).

«Шуаны» — роман, вышедший из печати в марте 1829 г. под названием «Последний шуан, или Бретань в 1800 году». Название «Шуаны, или Бретань в 1799 году» роман получил во втором издании (1834). Это первый роман, который Бальзак подписал своей фамилией и включил затем в состав *ЧелК*. Шуанами называли участников роялистского мятежа на западе Франции в 1792—1803 гг.

...ответил с горечью... — Далее следует цитата из письма от 14 февраля 1829 г.

...как в памятной записке Мирабо к его отцу... — По-видимому, имеется в виду письмо Г.-О. Мирабо к отцу, написанное в 1778 г., после того как Мирабо, бежавший за границу со своей возлюбленной, ради него бросившей мужа, был арестован и заключен в Венсенский замок; до этого по жалобам отца, относившегося к сыну жестоко и несправедливо, Мирабо находился под стражей в крепостях Иф и Жу.

Стр. 59. ...*она рисует его характер*. — В современном издании это письмо датировано 11 февраля 1829 г. (на три дня раньше предыдущего, а не позже его). Слов «*alma soeur*» в нем нет. Так Бальзак называет сестру в посвящении к роману «Изгнанники».

Стр. 60. ...*написал «Екатерину Медичи»*... — «О Екатерине Медичи» — общее название повестей «Кальвинистский мученик» (1841), «Исповедь Руджиери» (1836—1837), «Два сна» (1830), вместе с предисловием вошедших в «Философские этюды».

...*ответил... в веселом тоне*. — В современном издании это письмо отнесено к 1823 или 1824 г., так как оно адресовано в местечко Шанрозе, где Сюрвили жили именно в эти годы.

...*как было с Йориком*... — Имеется в виду эпизод из романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», т. 1, гл. X.

Стр. 61. ...*на улице Марэ-Сен-Жермен*... — См. примеч. к с. 55.

...*называется приобретать опыт*. — Возможно, парафраза фрагмента из рассказа «Загородный бал»: «Девушки... рисуют в воображении идеал, на который во что бы то ни стало должен походить их суженый. Но долгий опыт, серьезные раздумья, приходящие с годами, холодные наблюдения над светом и его повседневной прозой, множество печальных примеров постепенно лишают нежных красок их вымышленный идеал; и вот в один прекрасный день, влекомые жизненным потоком, они с изумлением обнаруживают, что вполне счастливы, хотя их поэтические любовные грезы и не сбылись» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 89).

Последняя степень презрения к человечеству. — Цитата, по-видимому, восходит к фразе из романа «Урсула Мируэ»: «Он искупал свои недостатки благоприобретенным добродушием, которое моралист назвал бы снисходительностью высшего существа» (*СН*, т. III, р. 797).

Стр. 62. ...*как и английский романист, написать историю нравов*. — Ср. в «Предисловии к ЧелК» (1842): «Вальтер Скотт возвысил роман до степени философии истории» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 5). В предисловии к книге «О Екатерине Медичи» Бальзак писал, что, «прежде чем начать писать историю нравов в действии, автор этого исследования терпеливо и подробно изучил эпохи важнейших в истории Франции царствований» (*Собр. соч.* — 2, т. 21, с. 18).

В 1830 г. Бальзак выпустил сборник с общим названием «*Сцены частной жизни*» (в 1832 г. вышло его второе, расширенное, издание). В 1834 г. появляется общее название «*Этюды о нравах в XIX веке*», покрывающее «Сцены частной, провинциальной и парижской жизни». В письмах этого же года Бальзак характеризует свои романы (уже написанные и те, которые ему еще предстоит написать) как единое целое, «западную «Тысячу и одну ночь» (*III*, т. 1, с. 270; 26 октября 1834 г.).

...*мысль связать всех персонажей*... — Принцип «сквозных персонажей» (Бальзак впервые сознательно применил его в романе «Отец Горио»), в настоящее время признанный одной из гениальных находок Бальзака, оценивался современниками отнюдь не однозначно; так, Сент-

Бев в упомянутой выше (см. примеч. к с. 48) статье характеризовал его как «одну из самых неудачных и наводящих на читателя скуку идей» (цит. по кн.: Sainte-Beuve Ch. Portraits contemporains. P., 1852, t. 1, p. 451), сходные оценки приведены в кн.: *Бланишар*.

...из дома на улице Кассини, куда перебрался с улицы Турнон... — О квартире на улице Кассини см. примеч. к с. 80; на улице Турнон, д. 2, Бальзак жил в 1824—1826 гг., а оттуда переехал на улицу Марэ-Сен-Жермен (см. примеч. к с. 55).

Стр. 63. *Феликс де Ванденес* — герой «Лилии в долине»; на Мари-Анжелике *Гранвиль* он женится в романе «Дочь Евы». *Мадемуазель де Бельфей*, урожд. Каролина Крошар — любовница Роже де Гранвиля в романе «Двойная семья».

Доктор Миноре и его друг *г-н де Жорди* — персонажи романа «Урсула Мируэ», действие которого происходит в Немуре.

...выбрал для мадемуазель де Гранлье... графа де Ресто и по этому случаю перестроил... историю Гобсека... — Камилла де Гранлье действует в «обрамлении» повести «Гобсек».

Стр. 64. ...он озаглавил их «Человеческая комедия»... — Бальзак впервые упомянул название *ЧелК* в письме к неизвестному (по-видимому, какому-то издателю) от января (?) 1840 г., а затем в письме к Ганской от 1 июня 1841 г.; в печати это название впервые появилось в 1842 г. в «Предисловии к ЧелК» (написано в июле, опубликовано в октябре — ноябре 1842 г.). Первое полное издание *ЧелК* вышло в 1842—1848 гг. у Фюрна, Дюбоше, Этцеля и Полена. Возможными источниками названия считаются, с одной стороны, «Божественная комедия» Данте, а с другой — поэма «Человеческая комедия», опубликованная в 1839 г. О. де Шанселем, приятелем друзей Бальзака де Беллуа и де Граммона.

...не суждено было завершить... любимое творение. — Ср. в «Предисловии к ЧелК»: «Видя все, что мне остается сделать, быть может, мне скажут то, что говорят мои издатели: «Да продлит господь вашу жизнь!» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 17).

Сюжет «Красной гостиницы»... дал ему бывший военный хирург... — Личность этого врача и содержание рассказанной им истории бальзаковедов неизвестны; о судьбе банкиров братьев Мишель, разбогатевших благодаря убийству, Бальзак мог слышать от герцогини д'Абрантес (см.: *СН*, t. 11, p. 83—85).

...*Вальтер Скотт... искажил фигуру Людовика XI.* — Полемика с романом В. Скотта «Квентин Дорвард» (1823), где Людовик XI представлен абсолютным злодеем, присутствует в самом тексте повести «Мэтр Корнелиус»; возражения у Бальзака вызывали, в частности, конкретные детали; так, он спорит со «странной фантазией» автора «Квентина Дорварда», поместившего королевский дворец не в низине, где он расположен в действительности, а на возвышенности.

Стр. 65. «*Двумя изгнанниками*» Л. Сюрвиль именуется роман «Изгнанники», одним из действующих лиц которого является Данте.

Рассказ, получивший в 1846 г. название «*Эпизод из эпохи Террора*», был впервые — анонимно — опубликован в журнале «Кабине де лектор» в январе 1830 г. как введение к «Запискам Сансона».

...отслужить за короля искупительную мессу. — В 1830 г. Бальзак вместе с Л.-Ф. Леритье де Леном выпустил «Записки Сансона» (т. 1 — февраль, т. 2 — май) — вольную обработку рассказов палача А. Сансона, казнившего королеву Марию-Антуанетту; его отец, Ш.-А. Сансон, казнил Людовика XVI. Сансон-старший в самом деле завещал определенную сумму на ежегодную мессу в память короля; случай этот положен Бальзаком в основу «Эпизода из эпохи Террора». *Б. Аннер* был не управляющим тюрьмами, а филантропом, досконально изучившим тюремный быт (ср. также примеч. к с. 181).

...беседа с *Мартеном*... — В. Ратье, выпускавший в начале 30-х годов газету «Силуэт», где печатался Бальзак, утверждал в 1861 г., что тему рассказа «*Страсть в пустыне*» (РП, 24 декабря 1830 г.) подсказал Бальзаку не Мартен, а он, Ратье (см.: *СН*, т. 8, р. 1216).

Стр. 66. ...по счастью... вырвался из этих метафизических размышлений... — Бальзак считал философские повести, такие, как «Луи Ламбер» или «Серафита», своими главными произведениями; в них он попытался высказать свои заветные идеи о материальности человеческой воли, о способности человеческой психики возвышаться до постижения тайн мироздания; однако широкая читательская масса в основном не принимала этих эзотерических сочинений, предпочитая им «сцены» парижской или провинциальной жизни.

В *Савойе* и Швейцарии Бальзак был осенью 1832 г.; на *Корсике* и *Сардинии* — весной 1838 г.; в *Германии* — осенью 1843, в апреле — июле и сентябре 1845 г., а также осенью 1846 и в феврале и мае 1847 г.; в *Италии* летом 1836, весной 1837, в ноябре 1845 и апреле — мае 1846 г., в *Петербурге* — в июле — октябре 1843 г. (см. подробнее наст. изд., с. 338—342); в *южной России*, в имении Ганской Верховня, — в сентябре 1847 — феврале 1848 и в сентябре 1848 — апреле 1850 г.

Мадемуазель Кормон — героиня романа «*Старая дева*», действие которого происходит в Алансоне; доктор *Венаси* — персонаж романа «*Сельский врач*», действие которого происходит в окрестностях Гренобля.

Стр. 67—68. Бальзак познакомился с семейством *Карро* в 1825 г. в Версале; с 1831 г. семья Карро жила в Ангулеме, и Бальзак гостил у них в декабре 1831, летом 1832 и весной 1833 г.; осенью 1833 г. майор Карро вышел в отставку и поселился с семьей в своем замке *Фрапель* близ Иссудена, где Бальзак гостил в апреле 1834, августе 1835 и феврале 1838 г. В *Ангулеме* происходит действие романа «*Утраченные иллюзии*», в Иссудене — действие «*Баламутки*». Фрапелем Бальзак назвал один из замков, описанных в романе «*Лилия в долине*». З. Карро была одним из самых преданных и бескорыстных друзей Бальзака, адресовавшего ей в посвящении романа «*Банкирский дом Нусингена*» такие строки: «Вам, чей возвышенный и неподкупный ум — сокровище для друзей, вам, кто

для меня — и публика, и самая снисходительная из сестер» (*Собр. соч.* — I, т. 8, с. 295).

Стр. 68. О *Саше* Бальзак писал Ганской в марте 1833 г.: «Это развалины старого замка на Эндре, в одной из самых восхитительных долин Турени. <...> Там я бываю счастлив, как монах в келье. Я всегда езжу туда обдумывать серьезные произведения. Там такое чистое небо, такие красивые дубы, такой безграничный покой (*III*, т. 1, с. 46). Бальзак гостил в Саше летом 1823, осенью 1825, летом 1829 и 1830, осенью 1831, летом 1832, осенью 1834, летом и осенью 1836, в августе 1837 и летом 1848 г. Здесь он написал помимо «Луи Ламбера» рассказ «Мэтр Корнелиус» (осень 1831 г.), здесь в сентябре 1834 г. начал работу над романом «Отец Горио» (опубл. в декабре 1834 — феврале 1835 г.). «*Лилию в долине*» Бальзак писал не в Саше, а в поместье г-жи де Берни Булоньер (деп. Сена-и-Марна, июль 1835 г.) и во Фрапеле у З. Карро (август того же года); ошибка Л. Сюрвиль связана, возможно, с тем, что прообразом замка Фрапель в этом романе был замок Вален в Турени, также принадлежавший Маргонну. «*Поиски Абсолюта*» написаны также не в Саше; Бальзак уехал туда в конце сентября 1834 г., сразу после того, как третий том «Сцен частной жизни», в котором они впервые были напечатаны, вышел в свет.

...*иллюзии помогали ему жить.* — См. письмо к Дельфине де Жирарден от июля 1832 г.: «Мы предпочитаем горьким истинам восхитительные иллюзии» (*Переписка*, т. 2, с. 80). Ср. также в «Истории величия и падения Цезаря Бирото»: «Нередко люди принимают веру, порожденную иллюзиями, за проявление энергии. Надежда, быть может, — залог мужества» (*Собр. соч.* — I, т. 8, с. 171).

Стр. 69. ...*двигался прямоком в Академию.* — Бальзак так и не стал членом Академии, хотя стремился к этому с 1836 г. Последний раз его кандидатура была отвергнута в 1849 г. (подробнее см. в примеч. к с. 99).

Стр. 70. *Это лучше, чем сжечь храм...* — Намек на Герострата, грека из г. Эфеса, который в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды Эфесской, дабы прославить себя в веках.

...*новое сырье для производства бумаги.* — См. с. 187 и примеч. к ней.

...*кажется, 20 марта 1833 года.* — Ошибка мемуаристики — речь должна идти не о 1833, а о 1838 г. Этот проект Бальзака, в отличие от многих других, не был абсолютно несбыточным. Бальзак впервые услышал о том, что в сардинских серебряных рудниках еще осталось серебро, от генуэзского торговца Дж. Пецци в Генуе в марте 1837 г. Однако отправиться на Сардинию он смог только через год, в марте 1838 г., и, оказавшись там в середине апреля, выяснил, что его уже опередили и концессия на разработку рудников заключена с марсельской компанией. Тогда Бальзак решил осуществить то, что не удалось в Арджентiere, в другом сардинском руднике, Иглезиасе (см. письмо к Л. Сюрвиль от мая 1838 г. из Милана), но и из этого плана ничего не вышло.

Стр. 71. ...наделал этим шуму... — Приезд Бальзака на Корсику был торжественно отмечен в статье Э. Конти в «Журналь де ла Корс» от 31 марта 1838 г.

Стр. 72. ...он любил этот край. — Ср. описание замка Монконтур в романе «Тридцатилетняя женщина»: «Прекрасный и ласковый край этот усыпляет горести и пробуждает любовь. Никому не устоять перед этим безоблачным небом, перед этими сверкающими водами. Здесь умирно-честолобивые помыслы, и вы погружаетесь в беспредельное блаженство, подобно тому как солнце каждый вечер погружается в багряные и лазурные просторы» (*Собр. соч.* — I, т. 2, с. 98).

Стр. 73. ...использовал... доверие во вред моему брату. — Л. Сюрвиль излагает события не совсем точно (см. примеч. к с. 70).

...в интересах семейства Г<видобони>. — Бальзак был в Италии по делам, связанным с наследством графа Гвидобони-Висконти, летом 1836, весной 1837 и 1838 г.

Стр. 74. ...от брата следующее письмо. — Ниже цитируется (неточно) — письмо от 12 октября 1833 г.

Стр. 75. Дело с «Этюдами о нравах»... — В октябре 1833 г. Бальзак продал вдове Беше право на издание «Эподов о нравах в XIX веке», которые начали выходить в самом конце этого года.

М<онгла> (деп. Сена-и-Уаза) — замок, где Л. Сюрвиль нередко гостила у своей подруги г-жи Дассонвиле де Ружмон; была она там, в частности, и в сентябре — октябре 1833 г.

Упоминание «г-на Канала» в подлиннике письма отсутствует и взято мемуаристкой из опубликованного в 1833 г. начала романа «Административные приключения удачной идеи», посвященного способности идей жить самостоятельной жизнью; в ходе романа выясняется, что один из героев, излагающий идею своего отца о прокладке канала между Сенной и Луарой, и есть этот самый канал (о чем свидетельствует и его фамилия). Одним из прототипов многочисленных неудачливых изобретателей *ЧелК* был муж Л. Сюрвиль, занимавшийся строительством каналов; он-то и назван здесь «г-ном Каналом».

Над романом «Католический священник» Бальзак работал в 1832 г. по просьбе Ганской; ей же он собирался его посвятить, но работа не пошла дальше набросков.

...путешествие в Швейцарию и в Женеву, о коем он упоминает. — Бальзак был в Женеве с 24 декабря 1833 по 8 февраля 1834 г. Письмо, которое Л. Сюрвиль цитирует крайне вольно, в современном издании датировано началом ноября 1835 г.

Стр. 76. Роман «Сельский врач» был впервые издан Мамом в сентябре 1833 г.; второе издание вышло у Верде в июне 1834 г.; третье и четвертое издания — у него же в январе 1836 г. В подлиннике речь идет не об уже распроданном тираже, но об уверенности Верде в том, что тираж этот за неделю будет распродан (см.: *Переписка*, т. 2, с. 752). Финал отрывка (о проекте жизни в соседних домах) взят из письма от 26 октября 1835 г.

...этого бездельника Х..., Z... и других псевдонимов. — Речь идет о полном собрании сочинений Ораса де Сент-Обена (то есть ранних романов Бальзака), право на издание которого Бальзак 9 декабря 1835 г. продал И. Суверену за 10 тысяч франков; договор был оформлен на имя Э. Реньо; издание выходило в 1836—1840 гг.

«*Озорные рассказы*» — сборник новелл в духе Рабле, в лингвистическом отношении — стилизация языка XVI в.; по замыслу автора, сборник должен был состоять из сотни рассказов; однако вышли (в 1832, 1833 и 1837 г.) лишь три выпуска по десять рассказов. Третий «десяток» вышел позже, чем предполагал Бальзак, так как 12 декабря 1835 г. на складе начался пожар и часть тиража погибла.

В сентябре 1837 г. Бальзак приобрел, одолжив часть денег у супругов Гвидобони-Висконти, небольшой дом и земельный участок в Севре, близ *Виль-д'Авре* (между Парижем и Версалем), и до 1839 г. продолжал расширять свои владения; по названию местности (Жарди) он назвал *Жарди* и свою усадьбу. Бальзак жил в Жарди с июля 1838 по октябрь 1840 г., однако покупка и реконструкция дома (он стоял на наклонной местности и вскоре начал разрушаться) стоили так дорого, что в начале 1841 г. Бальзак вынужден был продать его, причем за сумму, сильно уступавшую той, которую он потратил. Описание Жарди Бальзак поместил в романе «Воспоминания двух новобрачных» (гл. 48). О жизни писателя в Жарди см. в наст. изд. в восп. Т. Готье, Л. Гозлана, С. П. Шевырева.

Стр. 77. К.-Ф. *Вожла* — автор «Заметок о французском языке» (1647). Посвятил жизнь борьбе за чистоту языка своего времени.

Эти письма, помеченные Женовой... — Ни одного письма к сестре из Женевы не сохранилось. Бальзак ездил туда, чтобы увидеться с Ганской.

Вот одно из писем... — Ниже следует вольная цитата из письма, которое в современном издании датировано 21 ноября 1831 г.; все, что касается романа «Евгения Гранде» (декабрь 1833 г.), вписано мемуаристкой (в сохранившихся письмах к ней работа над этим романом не упоминается ни разу). Финальная фраза отрывка также принадлежит мемуаристке. Замысел «Серафиты» родился у Бальзака, по его собственным словам, 16 ноября 1833 г. при посещении мастерской скульптора Т. Бра, увлекавшегося мистицизмом и оккультизмом (письмо к Ганской от 20 ноября 1833 г.).

Стр. 78. ...*Лафонтен под его деревом.* — По-видимому, подразумевается легендарный эпизод из биографии Лафонтена: однажды герцогиня Буйонская ехала из Парижа в Версаль и увидела Лафонтена, сидевшего у дороги под деревом с книгой в руке; на обратном пути она застала его на том же месте, причем он был так же увлечен чтением и по-прежнему не заметил герцогиню. Намек на этот случай есть у Бальзака и в статье «О художниках».

...«*Серафита*»... *процессе... против «Ревю де Де Монд»...* — Л. Сюрвиль путает историю публикации двух романов. «Серафита» печаталась в *РП* с 1 июня по 19 июля 1834 г. (гл. 1—4), окончание в *РП* напечатано не

было, поскольку Бальзак затянул работу над рукописью, а издатель журнала Ф. Бюлоз счел роман недостаточно занимательным; полностью (в составе «Мистической книги») «Серафита» вышла у Верде в декабре 1835 г. Процесс, о котором пишет Л. Сюрвиль, связан с другим романом, печатавшимся также в *РП* (а не в *РодМ*, как пишет Сюрвиль, хотя этот журнал также принадлежал Бюлозу), — с «Лилией в долине». Роман начал публиковаться в *РП* в конце ноября 1835 г. (т. 23); в середине декабря Бальзак узнал, что Бюлоз самовольно продал неправомерно гранки романа владельцам выходившего в Петербурге на французском языке журнала «Ревю этранжер», где «Лилия» и была опубликована в октябре, ноябре и декабре 1835 г.; в декабре 1835 г. в *РП* появилась вторая глава романа, после чего Бальзак отказался отделять для Бюлоза окончание романа и — в январе 1836 г. — подал на него в суд. Бюлоз, со своей стороны, потребовал от писателя возмещения убытков (10 тысяч франков). Процесс против Бюлоза Бальзак выиграл 3 июня 1836 г., а накануне опубликовал в *КП* (см. о ней примеч. к с. 86) статью «К истории процесса по поводу «Лилии в долине» — своего рода обвинительный акт против издателя *РП*.

Стр. 79. ...*тех, кто подписал, и тех, кто не подписал.* — В статье «К истории процесса...» Бальзак перечислил и тех и других. 1 июня 1836 г. в *РП* было опубликовано заявление членов редакции: А. Дюма, Л. Гозлана, Р. де Бовуара, Ф. Сулье, Э. Сю, Ж. Мери, Ж. Жанена, Ф.-А. Леве-Веймара — о том, что они считают поступок Бюлоза порядочным и вполне естественным, поскольку он якобы способствует борьбе с бельгийскими контрафакциями (очевидная неправда, на что Бальзак и указывает в своей статье). С другой стороны, многие видные литераторы, также входившие в редакцию *РП*, — такие, как Ш. Нодье, Ш. Сент-Бев, В. Гюго, П. Мериме, Э. Скриб, и др. — своих фамилий под заявлением не поставили.

Стр. 80. «*Монография о парижской прессе*» была опубликована в 1843 г. во втором томе коллективного сборника «Большой город»; в этом памфлете Бальзак дает классификацию различных типов современных журналистов и критиков, сопровождая перечисление язвительными пародиями на стиль известных литераторов; Л. Сюрвиль несколько преувеличивает «стоицизм» Бальзака, который посвятил в *РПар* (1840) немало скептических и иронических строк своим критикам и недоброжелателям (Латушу, Сент-Беву).

На улице Кассини, д. 1 Бальзак жил в 1828—1835 гг.; в начале марта 1835 г., не расставаясь с квартирой на ул. Кассини (он оставил ее окончательно лишь в сентябре 1836 г.), писатель снял квартиру на улице Батай, Д. 13, надеясь скрыться там от кредиторов и посетителей. Подробное описание квартиры на улице Кассини см. в восп. Э. Верде (наст. изд., с. 211 — 216). О *Жарди* см. примеч. к с. 76. Ниже Л. Сюрвиль цитирует (неточно) письмо от 26 октября 1835 г. (Сюрвиль была в это время в Монгла — см. примеч. к с. 75), контаминируя его (в том, что касается «Отца Горио»

и «Поисков Абсолюта») с письмом Оноре матери от 28 сентября 1834 г. и письмом самой мемуаристке от 29 сентября 1834 г. В первом из них в самом деле упоминается «Отец Горио», который, однако, отнюдь не был закончен, а лишь начат в Саше в конце сентября — начале октября 1834 г.; «Поиски Абсолюта», в самом деле упомянутые во втором из этих писем, были, однако, ко времени поездки в Саше уже закончены (см. примеч. к с. 68).

Я заключил... сделку с «Эстафет»... — Упоминания газеты «Эстафет» в подлиннике нет; Бальзак продал владельцу этой газеты и газеты «Фигаро» типографу Буле право на публикацию «Истории величия и падения Цезаря Бирото» в ноябре 1837 г. (подробнее см. в примеч. к с. 236).

Закончу... «Отца Горио» и выправлю «Поиски Абсолюта»... — В подлиннике письма от 26 октября 1835 г. вместо «Отца Горио» и «Поисков Абсолюта», к тому времени уже написанных и опубликованных, упомянуты «Лилия в долине» и «Серафита». «Мари Туше» — пьеса о фаворитке Карла IX, оставшаяся незаконченной (та же героиня действует во второй части книги «О Екатерине Медичи» — «Исповеди Руджиери»).

Стр. 81. *...Но погодите, госпожа Смерть... чтобы помочь мне взвалить на плечи вязанку хвороста.* — Реминисценция из басни Лафонтена «Смерть и Дровосек» (Басни, I, XVI).

Об изданиях «Сельского врача» см. примеч. к с. 76.

...а это разве не мило? — В подлиннике речь идет о романе «Душистый горошек» (окончательное название «Брачный контракт»), оконченном в сентябре 1835 г. и вышедшем из печати в ноябре того же года (в составе «Эподов о нравах в XIX веке»).

...три месяца... в Саше в 1834 г. . . . — В 1834 г. Бальзак провел в Саше меньше месяца — примерно с 25 сентября по 18 октября. Ниже Л. Сюрвиль цитирует (неточно) письмо от 29 сентября 1834 г., в самом деле написанное в Саше.

Маргарита — персонаж «Поисков Абсолюта», дочь главного героя, пытающаяся спасти от разорения отца, ищущего недостижимый «Абсолют».

...как бы ни были они энергичны. — Ниже Л. Сюрвиль цитирует (неточно) отрывок из письма от 21 ноября 1831 г., фрагменты которого она уже приводила выше, контаминируя его с отрывком из письма от 11 или 18 октября 1838 г. (начиная со слов «Мои горести...»). Источник средней части отрывка (о театре и Мольере) неизвестен.

Где мой добрый Сюрвиль...? — Сюрвиль был инженером первого класса дорожного ведомства, но в 1830 г. уволился и пытался найти себе другую, более выгодную, службу.

...вести от Анри... — Брат Бальзака Анри, не сумев устроить свою судьбу во Франции, 21 марта 1831 г. отплыл на остров Маврикий, где пробыл до июня 1834 г.; в декабре 1836 г. он снова отправился на Маврикий и с тех пор до конца жизни оставался в колониях, где безуспешно пытался разбогатеть.

Стр. 83. ...смерти... дорогой ему особы. — Имеется в виду смерть г-жи де Берни 27 июля 1836 г. В письме от 11 или 18 октября 1838 г., которое Л. Сюрвиль имеет в виду и которое она уже цитировала (см. примеч. к с. 81), Бальзак писал о своей первой возлюбленной: «Я остался один, один против всех своих забот, а раньше рядом со мной было нежнейшее и отважнейшее в мире существо, женщина, которая каждый день оживает в моем сердце <...> Больше некому дать мне литературный совет, некому помочь мне в житейских невзгодах, и единственной путеводной звездой служит мне роковая мысль: что бы сказала она, будь она жива?» (*Переписка*, т. 3, с. 443—444).

...обязана я нижеследующими письмами... — Л. Сюрвиль приводит ниже два письма к *Т. Даблену*, датируемые в современном издании январем 1845 г. О «*Шуанах*» см. примеч. к с. 58. Посвящение Даблену впервые появилось в издании 1845 г.

Стр. 84. ...сочинял свои первые книги. — Далее приводится письмо к З. Карро от 26 ноября 1830 г. Бальзак жил в это время на улице Кассини (см. примеч. к с. 80), а не на улице Турнон (см. примеч. к с. 62).

...отправиться в Сен-Сир... — З. Карро в 1818—1830 гг. жила в Сен-Сире, поскольку ее муж в эти годы преподавал в Сен-Сирском военном училище.

...жертвы ради сохранения моего честного имени... — Имеется в виду денежная помощь при ликвидации типографии и словолитни (см. примеч. к с. 56).

...другу, еще более несчастному... — В подлиннике письма формулировка более расплывчатая («нескольким несчастным друзьям»), так что, возможно, здесь не имеются в виду конкретные лица.

Стр. 85. ...длинный опус... и статью для «*Мод*». — По-видимому, имеются в виду рассказ «Страсть в пустыне» (см. примеч. к с. 65) и статья «О том, что не в моде» («*Мод*», 12 декабря 1830 г.). «*Мод*» — газета, основанная в 1829 г. Э. де Жирарденом; Бальзак в 1829—1830 гг. печатал здесь многочисленные статьи и некоторые художественные произведения, в том числе «Прощай», «Силуэт женщины», «*El verdugo*».

...на пороге серьезнейших событий. — Бальзак имеет в виду путь, по которому предстоит пойти Франции после Июльской революции. В опущенной мемуаристкой части письма говорится: «Никто не хочет придерживаться середины <...> С одной стороны — неумеренные либералы, с другой — легитимисты» (*Переписка*, т. 1, с. 478).

...португальский поэт, который вознес над волнами... — Имеется в виду Луис де Камознс, спасший во время кораблекрушения лишь рукопись «*Лузиады*».

...письмо того времени... в Булонь ер... — Далее цитируется (неточно) письмо от конца октября 1835 г., посланное не из имения Булоньер (см. о нем примеч. к с. 68), а из Парижа, с улицы Батай.

Стр. 86. «*Душистый горошек*» («Брачный контракт») был опубликован впервые в петербургском «*Ревю этранжер*» в 1835 г. (т. XVI, ок-

тябрь—декабрь) и 1836 г. (т. XVII, январь—март). В подлиннике слова «посмертная опись» никак не выделены, следовательно, имеется в виду не название произведения, но лишь тема; борьбу вокруг наследства накануне смерти героя и сразу после нее Бальзак описал в романе «Урсула Мируэ».

«Кроник де Пари» — газета, основанная в мае 1834 г. А. Дютаком; Бальзак приобрел большую часть ее акций в декабре 1835 г., и со 2 января 1836 г. она выходила уже под его редакцией; из-за денежных затруднений Бальзак вынужден был оставить руководство *КП* в июле 1836 г., однако еще целый год, до 1 июля 1837 г., газета продолжала выходить и Бальзак в ней печатался. Деньги на приобретение *КП* ссудила Бальзаку г-жа Деланнуа. «Ревю паризьен» — журнал, основанный Бальзаком в 1840 г.; вышло всего три номера (в июле, августе и сентябре), причем все материалы в них практически принадлежали самому Бальзаку. Успеха журнал не имел.

Новелла Ш. де Бернара «Сорокалетняя женщина», названная по образцу «Тридцатилетней женщины» Бальзака, была опубликована в *КП* в 1837 г. (23 и 30 апреля, 14 мая). О взаимоотношениях Бальзака и Бернара см. примеч. к с. 179.

Стр. 87. ...статьи о Фредерике Стендале. — Стендалю посвящена опубликованная в *РПар* 25 сентября 1840 г. статья «Эпюд о Бейле», где Бальзак очень высоко оценил творчество писателя, и прежде всего роман «Пармская обитель» (1839); *Скотту* и *Куперу* (к творчеству которого Бальзак отнесся очень критично) — «Письма о литературе, театре и искусстве» (*РПар*, 25 июля 1840 г.).

...помеченных Виль-д'Авре. — В современном издании это письмо отсутствует. Поскольку третий, и последний, номер *РПар* вышел 25 сентября, это письмо — если оно в самом деле существовало — должно было быть написано 23 сентября, в дни, когда за долги был наложен арест на недвижимое имущество в Жарди. В предместье Пуассоньер в ту пору жили Сюрвили. Первая фраза письма близка к началу письма из Жарди от июня 1840 г. (*Переписка*, т. 4, с. 141).

На улице Ришелье, д. 108 Бальзак снимал комнату в 1839 г. (впрочем, большую часть этого года он провел в Жарди); на улице Басс (сейчас это улица Рейнуар, д. 47) Бальзак жил с осени 1840 по апрель 1847 г. Сейчас здесь расположен музей Бальзака. Весной 1847 г. писатель переехал в собственный дом на ул. Фортюне, 11 (см. примеч. к с. 32 и примеч. к с. 146).

...критики... стали обвинять его в безнравственности... — Ср., например, суждение католического публициста Л. Вейо: Бальзак «написал столько отвратительных и постыдных книг, что нам не под силу даже перечислить их <...> он оскорбил стыдливость посетителей бульварных театров; он измыслил такие пороки, которые, быть может, до сих пор не были даже известны человечеству» («Универ», 2 сентября 1840 г.; цит. по кн.: *Бланишар*, с. 269—270). Ср. также примеч. к с. 139. Право писателя изображать порочных людей, не высказывая своего осуждения в прямоли-

нейных тирадах, обсуждалось во Франции в середине XIX столетия очень бурно — ср. процессы по поводу «Госпожи Бовари» Флобера (1857) и «Цветов зла» Бодлера (1857), в связи с которыми особенно остро встал вопрос о неверности отождествления нравственных принципов автора и его персонажей. Стремление к роскоши, подчеркнутая экстравагантность внешнего облика Бальзака лишь сильнее провоцировали насмешки критиков, которые «причисляли к недостаткам его стиля и заблуждениям его мысли карету, трость с рубином и грума» (слова из статьи А. Неттмана в «Газетт де Франс», 9 февраля 1836 г.; цит. по кн.: *Бланиар*, с. 172). Нападки особенно обострились после выхода в свет в 1839 г. «Провинциальной знаменитости в Париже» (второй части «Утраченных иллюзий»), где были изображены в ироническом свете многие современные литераторы и издатели.

...в Риме, его произведения были запрещены. — Сочинения Бальзака были осуждены декретами Ватикана от 15 ноября 1841, 4 февраля и 21 апреля 1842 и 20 июня 1864 г.

Стр. 88. *Юло*, супруги *Марнеф* — отрицательные персонажи романа «Кузина Бетта»; *Филипп Бридо* — отрицательный персонаж романа «Баламутка».

«Смерть — это освящение гения». — Возможно, имеются в виду размышления о «мудрости агонии» в финале романа «Кузен Понс» (*Собр. соч.* — I, т. 10, с. 663). Ср. также приписанные Бальзаком Наполеону в романе «Беатриса» слова: «Неудача — повитуха гения» (*Собр. соч.* — I, т. 2, с. 355).

...в Австрии, в Вене... — Бальзак был в Австрии в мае — июне 1835 г.

Стр. 89. ...воспоминание о юном студенте утешает меня. — Если критики зачастую принимали произведения Бальзака очень недоброжелательно, то читатели, и особенно читательницы, «узнававшие» себя в персонажах его романов, с самого начала 30-х годов слали автору «Шагреновой кожи» и «Тридцатилетней женщины» восторженные письма (одной из таких корреспонденток была вначале и будущая жена писателя Э. Ганская). Ср. также восп. А. Сегона, наст. изд., с. 183—184.

...на людях... он был обаятелен, блестящ... — Ср., с другой стороны, относящееся к 1833 г. воспоминание графа А.-Ф.-П. де Фаллу, впоследствии крупного государственного деятеля, а в ту пору просто светского молодого человека: «Г-н де Бальзак был человек крайне неуклюжий и неповоротливый; если не считать умного взгляда, ничто в его разговоре не напоминало о том, как талантлив был этот человек, когда брал в руки перо. Однажды вечером виконтесса де Ноай, желая дать ему возможность блеснуть, попросила его что-нибудь рассказать; все присутствующие тут же окружили его и молча приготовились слушать; он стал отказываться, но никто не принял эти отказы всерьез, все считали, что это от излишней скромности, и продолжали настаивать. Наконец он решился и стал описывать необитаемый остров, причем немедленно выяснилось, что на острове этом живет множество людей. Слушатели начали улыбаться, Бальзак

заметил это, сам от души расхохотался, замолчал, и с тех пор его оставили в покое» (Fallo их А. F. P. de Mémoires d'un royaliste. P., 1925, p. 54).

...имя... делает их реальными. — Сходные свидетельства см. в восп. Т. Готье и особенно Л. Гозлана. Сам Бальзак не раз (в частности, в романах «Урсула Мируэ» и «Беатриса») упоминал теорию «неслучайности» человеческих имен со ссылкой на Стерна («Жизнь и мнения Тристрама Шенди», т. I, гл. XIX).

Стр. 90. ...что «З» он выдумал. — Рассказ о Маркасе носит название «З. Маркас».

Ариетта де Морсоф — героиня романа «Лилия в долине» — умирает, сохранив верность нелюбимому мужу.

Стр. 91. В «*Опыте о человеческих силах*», который сам Бальзак назвал «трудом всей своей жизни» (*Переписка*, т. 2, с. 500), писатель собирался изложить свои открытия в области психологии и физиологии (ср. «Трактат о воле», над которым работал Луи Ламбер, герой одноименного романа). В «*Патологии социальной жизни*» Бальзак намеревался объединить напечатанные отдельно эссе «Трактат об элегантнои жизни», «Теория походки», «Трактат о современных возбуждающих средствах». «*Монография о добродетели*», которую Бальзак предполагал включить в «Аналитические этюды», написана не была, хотя в 1831 г. писатель заключил договор о ее публикации сначала с Булланом и Канелем, а затем с Дьелуаром. О своем намерении написать три из перечисленных мемуаристкой произведения (кроме «Опыта о человеческих силах») Бальзак упомянул в «Предисловии к ЧелК».

Прав был Буало... — «Спешите медленно, уверенность умерьте. // И двадцать раз стихи прочтите и проверьте; // Шлифуйте вновь и вновь, дней не шадя своих...» (Буало. Поэтическое искусство, I, 171—173; перевод С. Нестеровой и Г. Пиларова). Ср. автохарактеристику Бальзака в письме к маркизу де Кюстину от 8 января 1839 г., где, рассказывая о стилистической правке в пятом (!) издании «Сельского врача», писатель говорил: «Я лишен счастливой способности с первого раза формулировать свою мысль — способности, которой обладаете вы, Готье, Гюго, Санд; я работаю долго, трудно, мучительно <...> мне приходится проводить перед своими полотнами ночи напролет» (*Переписка*, т. 3, с. 530).

...он требовал столькок корректур... — О работе Бальзака над версткой см., например, в статье Э. Урлика (наст. изд., с. 236—239).

Стр. 92. ...«самого плодovitого из наших романистов». — Выражение из статьи Сент-Бева «О критическом уме и о Бейле» (декабрь 1835 г.). Выдержку из этой статьи см. в примеч. к с. 407.

Стр. 93. *Шмуке* — персонаж романов «Дочь Евы», «Кузен Понс» и др.; *банкир Нусинген* — персонаж романов «Блеск и нищета куртизанок», «Банкирский дом Нусингена» и мн. др. (он появляется в *ЧелК* наибольшее количество раз — в тридцати одном произведении). *Мистигри*

(наст. имя Леон де Лора) — персонаж романа «Первые шаги в жизни», рассказа «Комедианты неведомо для себя» и др.

Стр. 94. *Триссотен* — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины» (1672), самовлюбленный бездарный поэт.

...*прибегала... на улице Ледигьер...* — Имеется в виду г-жа Вайян, нередко выполнявшая поручения Бальзака; однако она была соседкой Оноре не тогда, когда он жил на улице Ледигьер, а позже, в Вильпаризи (см. примеч. к с. 35 и 48). Ошибка Л. Сюрвилля объясняется тем, что она ориентируется на рассказ «Фачино Кане», где речь идет именно об улице Ледигьер.

Стр. 95. ...*притисывая ему чрезвычайное благоразумие*. — Л. Сюрвилль передает мысль Ж. Санд не совсем верно (ср. с. 142 и 173). О взаимоотношениях Бальзака и Ж. Санд см. преамбулу к статье Ж. Санд «Оноре де Бальзак».

...*такую оценку Жорж Санд...* — По-видимому, Л. Сюрвилль цитирует — добавив многое от себя — письмо от 11 или 18 октября 1838 г.; в подлиннике ее цитата соответствует фраза: «Жорж Санд, вероятно, скоро станет моим другом, но она недостаточно критична, ей не хватает того, в чем я, по-видимому, нуждаюсь сейчас и чего не обрету, разве что произойдет чудо» (*Переписка*, т. 3, с. 444).

Стр. 96. «*Великие люди почти всегда малы*». — Рост Бальзака был 1 м 65 см. Ср. в романе «Беатриса»: «Именно при худобе и высоком росте часто замечается недостаток настойчивости, а также и творческой энергии» (*Собр. соч.* — I, т. 2, с. 382).

Стр. 96—97. *Бюст... высеченный Давидом...* — Мраморный бюст Бальзака (ныне находится в парижском музее Карнавале) был закончен Давидом д'Анже в январе 1845 г.; его бронзовая копия установлена ныне на могиле Бальзака на кладбище Пер-Лашез. Работа над бюстом шла с начала 1843 г.

Стр. 97. ...*глаза... метали лучи...* — Ср. в письме Бальзака к сестре от 11 или 18 октября 1838 г.: «Все те женщины, которые любили или любят меня, говорят, что мой [влюбленный взгляд подобен капле расплавленного металла]» (*Переписка*, т. 3, с. 445; слова в квадратных скобках Бальзак вычеркнул). Ср. также характеристику Вотрена в «Отце Горио»: «Взор его, как строгий судия, казалось, проникал в глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести» (*Собр. соч.* — I, т. 3, с. 17). На особенностях глаз и взгляда Бальзака останавливаются многие мемуаристы; см., напр., в восп. Т. Готье (с. 110) или Ж. Лемера (с. 320).

Монтионовская премия. — Премия Монтиона была учреждена в 1782 г., присуждалась ежегодно Французской Академией; ее получал автор самого «нравственного» произведения. «Сельский врач» был вычеркнут из списка кандидатов на премию в апреле 1834 г.

Письмо, адресованное Нодье... — Л. Сюрвилль цитирует письмо к Нодье от 24 или 25 декабря 1843 г., написанное незадолго до смерти адресата (Нодье умер 27 января 1844 г.), который, по словам Бальзака, сказал

ему в разговоре насчет избрания в Академию: «Вы просите моего голоса, а я уступаю вам мое место» (III, т. 2, с. 364; 30 января 1844 г.). Бальзак был впервые принят в салоне Нодье, хранителя библиотеки Арсенала, осенью 1830 г.; в 1842 г. он посвятил писателю «Баламутку»; в творчестве Бальзака, особенно в произведениях начала 30-х годов, различимы следы внимательного чтения повестей и статей Нодье (см.: Castex P. G. Balzac et Charles Nodier. — *AB*, 1962, p. 197—212). О Бальзаке и Академии см. примеч. к с. 99.

...разрешил мне опубликовать три письма... — Первое из приводимых Л. Сюрвиль писем к Лоран-Жану (январь 1849 г.) содержит вставку, взятую мемуаристкой из письма (также к Лоран-Жану) от 9 февраля 1849 г. (в подлиннике речь идет о «бездне, поглотившей Ламартина, Дюма <...> и все театральные пьесы». — *Переписка*, т. 4, с. 489). Два первых письма отправлены из Верховни, третье — из Бердичева. Все цитируются с неточностями.

«*Меркаде*», или «Делец» (под этим — окончательным — названием пьеса была впервые опубликована в августе—сентябре 1851 г.) — комедия, над которой Бальзак работал в 1840—1848 гг. *Французский театр* («Комеди Франсез») вначале принял «Дельца» к постановке, но затем, в декабре 1848 г., потребовал значительных переделок, и Бальзак при посредничестве Лоран-Жана передал пьесу режиссеру «Театр историк» Остейну с условием, чтобы главную роль играл Фредерик Леметр, в расчете на которого пьеса и писалась. Однако Бальзак не нашел общего языка и с Остейном (см. ниже письмо Лоран-Жану от 9 февраля), и постановка осуществлена не была. Впервые пьеса была сыграна (в обработке Деннери, который сильно искажил первоначальный вариант) 25 августа 1851 г. на сцене театра «Жимназ» и имела огромный успех.

Стр. 98. «*Король нищих*» — пьеса из времен царствования Людовика XIII, над которой Бальзак работал с сентября 1848 г.; окончена не была.

Стр. 99. ...дойти до убийства. — Речь идет об изменениях в «Дельце», которые предлагал Остейн. Лоран-Жан в ответном письме от 15 марта 1849 г. уточнял, что речь идет не об убийстве или самоубийстве героя, но лишь о трагическом монологе, который казался Остейну весьма уместным.

...предпочла мне 2-на * * *. — Имеется в виду герцог де Ноай. Бальзак «уступил» место Виктору Гюго при баллотировке в Академию в декабре 1839 г. (Гюго, впрочем, в тот раз все равно не был избран). На выборах в 1849 г. на место Шатобриана (первый тур — 11 января) за Бальзака подали голоса Гюго, Ламартин, Понжервиль и Ампи; на выборах на место Вату голоса за Бальзака в первом туре (18 января 1849 г.) подали Гюго и Виньи.

...вести о «Пресс»... привет... Ролю... — В рецензии на драму-водевиль «Госпожа Марнеф», написанную Клервилем по мотивам романа «Кузина Бетта» и поставленную в «Жимназ» («Пресс», 15 января 1849 г.), Готье осудил несправедливость, допущенную академиками в отношении Бальза-

ка; благожелательной была и рецензия на ту же пьесу, написанная Ролем («Конститусьонель», 15 января 1849 г.).

Любезный Л<оран>. — Это письмо Лоран-Жану Л. Сюрвиль приводит с сокращениями.

Стр. 100. *Общество драматических авторов*. — Это общество драматургов и композиторов было основано в 1829 г. Э. Скрибом.

Премьера «*Вотрена*» состоялась 14 марта 1840 г.; в заглавной роли выступил Фредерик Леметр. 15 марта министр внутренних дел Ремюза запретил пьесу. Возместить убытки предложил Бальзаку И.-Ж. Каве (г-н***); когда писатель отверг это предложение, тот преисполнился уважения и восхищения. «Впервые в жизни я встречаю о т к а з», — сказал он (III, т. 1, с. 674; май 1840 г.). Подробнее историю постановки и запрещения «*Вотрена*» см. в восп. Ф. Леметра и примечаниях к ним.

Стр. 101. ...*наслаждаться столь долгожданным покоем...* — 14 марта 1850 г., меньше чем за полгода до смерти, Бальзак обвенчался в Бердичеве с Э. Ганской. Муж Ганской умер в ноябре 1841 г., поэтому в 40-е годы брак их откладывался прежде всего из-за обстоятельств денежного порядка.

А. де ЛАМАРТИН ИЗ КНИГИ «БАЛЬЗАК И ЕГО СОЧИНЕНИЯ»

Отношение Бальзака к Альфонсу де Ламартину — романтическому поэту и политическому деятелю — никогда не было однозначным. В начале 20-х годов Бальзак восхищается поэтом — автором нашумевшего сборника «*Поэтические думы*» (1820), но скептически относится к человеку (см. примеч. к с. 51.). В 1844 г. Бальзак посвятил Ламартину «*Историю величия и падения Цезаря Бирото*»; точка зрения, согласно которой Ламартин является прототипом бездушного поэта Каналиса («*Модеста Миньон*»), по меньшей мере спорна (см. подробнее в преамбуле к восп. А. де Виньи); тем не менее противоречивость в отношении к Ламартину Бальзак сохранил до последних лет жизни — ср., напр., отзыв о нем в письме к Ганской от июня 1846 г.: «Ламартин был поистине великолепен, поистине блистателен во время этой сессии! Но в физическом отношении — какой распад! Этот пятидесятишестилетний мужчина кажется по меньшей мере восьмидесятилетним; это человек изношенный, конченный <...> изнуренный собственным честолюбием и дурным оборотом дел» (III, т. 3, с. 219—220).

Книга Ламартина о Бальзаке была впервые опубликована в составе его многотомных «*Задуманных бесед о литературе*» (1864, т. 18, вып. 104—106). Перевод выполнен по первому отдельному изданию: *Lamartine A. de Balzac et ses oeuvres*. P., 1866, p. 1—21, 107—108, 293—294. Из текста Ламартина отобраны фрагменты мемуарного характера, основанные на его личных впечатлениях; опущены обширные заимствования из книги Л. Сюрвиля, а также суждения Ламартина о творчестве Бальзака, практически сводящиеся к обширным цитатам из *ЧелК*.

Стр. 102. *Письмо к сестре...* — См. с. 47 и примеч. к ней.

То был орел... — Сравнение поэта с орлом присутствует у самого Ламартина в стихотворении «Человек. Лорду Байрону» (сб. «Поэтические думы», 1820). В романе «Модеста Миньон» Бальзак пишет о главе романтической школы, который «своим мощным клекотом напоминает орла...» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 438).

«*Реальное тесно...*» — Цитата из стихотворения Ламартина «Человек. Лорду Байрону».

Стр. 103. *...вне Франции...* — Ламартин находился за границей в 1824—1826 и 1829—1830 гг. (дипломатическая служба в Италии и Греции), а также в 1832—1833 гг. (путешествие по Востоку). Однако и живя во Франции, он в самом деле всячески подчеркивал свою удаленность от литературных кругов: проводил много времени у себя на родине, в Маконе (деп. Сона-и-Луара); не желая эксплуатировать успех своих стихов и популярность своего имени, отказывался участвовать в редактировании периодических изданий, хотя соглашался помогать издателям деньгами и т. д. Что касается даты первого знакомства Ламартина и Бальзака, то существует версия, согласно которой два писателя встречались еще в конце 20-х годов в салоне Софи и Дельфины Гэ (*Борель*, с. 55—72). Слово «полусвет» было введено в обиход А. Дюма-сыном в 1855 г. в одноименной комедии.

Первый номер «*Пресс*», многотиражной дешевой газеты, вышел 1 августа 1836 г. Бальзак познакомился с Жирарденом в 1829 г. и печатался в его газетах «Мод» и «Волер»; в июне 1831 г. он присутствовал на свадьбе Жирардена и Дельфины Гэ. Бальзак и Жирарден не раз ссорились (1834, 1838 гг.) из-за того, что Бальзак не отдавал свои новые произведения в «Пресс»; окончательный разрыв, несмотря на старания Дельфины в очередной раз примирить писателя и издателя, произошел после того, как Бальзак по истечении двух лет (1844—1846 гг.) так и не представил Жирардену вторую часть романа «Крестьяне» (см. примеч. к с. 20).

Стр. 104. *...из-за прений в палате.* — Ламартин был избран в палату депутатов в конце 1833 г. и в 30—40-х годах вел активную политическую деятельность.

...в обществе тех бессмертных... — Сравнительно со своими современниками-романтиками, критически воспринимавшими наследие классиков XVII в., Бальзак имел вполне классические вкусы; ср., напр., его диалог с Гюго, воспроизведенный в письме к Ганской от 21 декабря 1842 г.: Гюго, «презирающий Расина», сказал: «Я знаю, что огорчу Бальзака, назвав Расина посредственностью, поскольку он ценит его очень высоко...» — «И буду продолжать поступать так до конца своих дней, — отвечал я, — поскольку Расин — это совершенство <...> «Гофолия» — самая романтическая и самая смелая пьеса из всех существующих в мире, а Федра — величайшая роль в драматургии нового времени» (*III*, т. 2, с. 139).

Он был невысок... — см. примеч. к с. 96.

Стр. 105. ...от сигарного дыма... — Здесь память изменяет Ламартину: Бальзак впервые закурил лишь в феврале 1838 г., когда гостил у Ж. Санд в Ноане (см. письмо к Ганской от 2 марта 1838 г.). На эту неточность указал в своих «Маленьких литературных мемуарах» (1885) Ш. Монголе, оспоривший и другой портретный штрих Ламартина: «Кто не знает, что нос у Бальзака был толстый и приплюснутый на конце» (Monselet Ch. Petits mémoires littéraires. P., 1885, p. 15—16).

Стр. 106. ...выступить против зла. — Упоминание отмены смертной казни для политических преступников, явившейся одним из ближайших следствий революции 1848 г. (Ламартин был членом Временного правительства, образовавшегося после свержения Июльской монархии 24 февраля 1848 г.), позволяет датировать описанный эпизод весной — летом 1848 г. (Бальзак был во Франции с февраля по сентябрь, а затем уехал в Верховну).

Стр. 107. ...«историографом природы и общества». — Ламартин перефразирует «Предисловие к ЧелК»: «Самим историком должно было оказаться французское общество, мне оставалось только быть его секретарем» (Собр. соч. — I, т. 1, с. 6).

Мольер был печален... — Восприятие Мольера как писателя серьезно и даже трагического — завоевание романтической эпохи, восходящее к статье Шатобриана «Шекспир» (1801).

Т. ГОТЬЕ

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»

Теофиль Готье с самого основания сотрудничал в газете де Жирардена «Пресс» (см. примеч. к с. 103), где редактировал «фельетоны» — романы с продолжением — и часто оказывался, по его собственным словам, между «наковальной Эмилем» и «молотом Бальзаком» (цит. по: *Переписка*, т. 3, с. 819). Тем не менее он сохранил с Бальзаком добрые отношения. В 1839 г. писатель посвятил ему роман «Тайны княгини де Кадиньян».

В книге «Оноре де Бальзак» (1859) Готье объединил статьи о Бальзаке, напечатанные ранее в журнале «Артист» (21 марта — 2 мая 1858 г.). Готье принадлежат также несколько рецензий на произведения Бальзака, опубликованных при жизни романиста (см. их тексты в кн.: *Сененже*; ср. также примеч. к с. 99).

Перевод выполнен по изд.: Gautier T. Honoré de Balzac, P., 1859, p. 5—11, 32—36, 41—46, 56—63, 71—75, 83—94.

Стр. 108. *Тупик Дуайенне*, где жили Ж. де Нерваль, А. Уссе, Т. Готье, был «штаб-квартирой» второго поколения французских романтиков, так называемого «поколения 1830 года». Здесь в середине 30-х годов образовался «малый сенакль» (название, подчеркивающее преемственную связь

с романтиками 20-х годов — соратниками В. Гюго, которые с легкой руки Сент-Бева, уподобившего их салон сообществу первых христиан, были прозваны «сенаклем»). Жизнь в тупике Дуайенне неоднократно описывалась мемуаристами — в частности, в «Маленьких богемских замках» Ж. де Нервала (1851—1853) и в «Истории романтизма» самого Готье (опубл. в 1874 г.).

...завербовать меня в «Кроник де Пари». — О КП см. примеч. к с. 86. С Жюлем Сандо Бальзака познакомил весной или осенью 1831 г. художник О. Борже; Бальзак намеревался писать вместе с Сандо пьесы и в конце октября 1834 г. поселил его у себя на улице Кассини; однако в марте 1836 г. писатели расстались. Причину разрыва Бальзак объяснил в письме к Ганской от 8 марта 1836 г.: «Жюль Сандо был одной из моих ошибок. Вы даже вообразить не можете такой лени, такой невозмутимости; у него нет ни энергии, ни воли. На словах самые прекрасные чувства, а на деле, в реальности — ничего» (III, т. 1, с. 394).

Первый том романа «Мадемуазель де Мопен» вышел в ноябре 1835 г., второй — в январе 1836 г.

Стр. 109. ...по случаю астрономического соседства. — О квартире на улице Кассини см. примеч. к с. 80. Кассини — фамилия двух известных французских астрономов.

«...Вот это человек!» — Шекспир. Юлий Цезарь, д. V, явл. 5.

...Юпитера немецкой поэзии. — Этот эпизод Г. Гейне вспоминает в «Романтической школе» (Романтическая школа, кн. 1; впервые опубл. в 1833 г. на фр. яз. под назв. «Современное состояние литературы в Германии»).

Портрет Бальзака работы Л. Буланже был выставлен в Салоне 1837 г. (открылся 1 марта). Отзыв Готье об этом портрете см. в наст. изд., с. 232—233. Бальзак согласился позировать Буланже только после появления в газете «Волер» 5 января 1836 г. его литографированного портрета, выполненного Жюльеном (см. примеч. к с. 339). Портрет Бальзак подарил Ганской, и до 1917 г. он находился в Верховне; копия (или один из эскизов) хранится ныне в музее г. Тура.

Стр. 110. ...для бюста Давиду д'Анже. — См. примеч. к с. 96—97.

«Трость господина де Бальзака» (1836) — нравоописательный роман Д. де Жирарден, интрига которого основана на фантастическом предположении, что украшенная драгоценными камнями огромная трость Бальзака, о которой упоминают почти все мемуаристы, делает того, кто за нее берется, невидимым. У Бальзака было несколько роскошных тростей; в частности, сохранилась трость с набалдашником из слоновой кости и трость, украшенная бирюзой. Одну из них после смерти писателя Ева де Бальзак подарила доктору Наккару; о другой см. в восп. П. Лакруа (Жакоба-Библиофила).

Стр. 111. Жан Зубодробитель — персонаж «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. Интерес Бальзака к Рабле проявился впервые в конце 20-х годов, когда писатель работал над «Физиологией брака». Параллель Баль-

зак — Рабле получила большое распространение в критике и среди знакомых Бальзака после выхода первого десятка «Озорных рассказов» (см. примеч. к с. 76). Псевдонимом Рабле (Алькофрибас) Бальзак подписывал материалы в газете «Карикатур» (1830); этим же псевдонимом подписана одна записка к Готье 1836 или 1837 г. О внешнем сходстве Бальзака с Рабле см. также в восп. А. Неттмана (с. 177) и Л. Гоздана (с. 245).

Школа Гюго... — Готье дает здесь обобщенный портрет романтиков 20-х годов, для них в самом деле был характерен отказ от классицистических традиций XVII в. и обращение к культуре средних веков и Возрождения (баллады Гюго и его «реабилитация» готики в «Предисловии к «Кромвелю», 1827; «открытие» поэтов Плеяды в книге Сент-Бева «Обзор французской поэзии XVI века», 1828, и т. д.), они выдвигали на первый план поэзию (кумирами публики сделались поэты Гюго и Ламартин — в отличие от предшествующего поколения, когда славу завоевали прозаики Шатобриан и Ж. де Сталь) и искали новые версификационные средства (для борьбы с классическим александрийским стихом).

...«самым плодовитым из наших романистов». — См. примеч. к с. 92.

...с людьми, которые были во сто раз ниже его. — Шанфлери, в частности, писал: «Гюстав Планш рассказал мне однажды, что, когда он позволил себе сделать несколько критических замечаний по поводу стиля Бальзака, нередко довольно-таки вычурного, тот попросил его отмечать на полях все бросающиеся ему в глаза ошибки. «Чтобы исправить эти романы, потребовалось бы столько же времени, сколько ушло на их сочинение», — пренебрежительно добавил Планш» (цит. по кн.: *Бланиар*, с. 286).

Стр. 112. *Лорд Байрон в одной заметке...* — См.: Байрон. Письмо к матери от 12 ноября 1809 г.

«Путешествие в Бельгию» Готье было опубликовано в *КП* 25 сентября — 25 декабря 1836 г.; *«Мертвая возлюбленная»* — 22 и 26 июня 1836 г.; *«Золотая цепь»* — 28 мая — 11 июня 1837 г. О *«Сорокалетней жене»* Ш. де Бернара см. примеч. к с. 86; рассказ Бернара «Желтая роза» был впервые опубликован в сб. «Ширма» (1839). Повести, опубликованные в *КП*, вошли в сборник «Гордиев узел» (1838). См. также примеч. к с. 179.

...исследовал в «Луи Ламбере». — «Для Ламбера воля, мысль были живыми силами...» (*Собр. соч.* — 2, т. 19, с. 252). Мысль эта проходит через все творчество Бальзака.

Стр. 113. *...исправляю в следующем произведении.* — Гюго. Предисловие к окончательному изданию сборника «Оды и баллады» (1828). Неточная цитата.

...в один присест на краешке стола. — Все свои многочисленные рецензии — источник заработка — Готье писал именно так. Ср. его признание, записанное Гонкурами: «Статью, страницу я пишу за один

присест. <...> И я никогда не думаю, как буду писать. Беру перо и пишу. Раз я литератор, то должен знать свое ремесло. <...> Ведь все очень просто: надо только хорошо знать синтаксис — берусь обучить писать кого угодно. Я мог бы преподавать все искусство писать фельетоны за двадцать пять уроков» (*Гонкуры*, т. 1, с. 125). В борьбе с литературной техникой классицизма романтики противопоставляли скрупулезной отделке, «чистке» стиля спонтанное вдохновение. Тщательный поиск точного, единственно верного слова был «реабилитирован» в середине XIX в. сторонниками «искусства для искусства», к которым принадлежал — не в журналистике, а в поэзии — и Готье.

...питаться размоchenными бобами, как Протоген... — Древнегреческий художник Протоген «жил в страшной бедности и занимался своим искусством с чрезвычайным напряжением»; работая над одной из картин, «он, по преданию, питался мочеными бобами, так как они утоляли голод и жажду и в то же время не услаждали вкуса излишней приятностью» (Плиний Старший. Естественная история, XXXV, 98. — Плиний. Об искусстве. Одесса, 1918, с. 57).

Без женщин они и не такое бы сделали. — Ср. суждение Бальзака о В. Гюго: «Он утратил многие из своих достоинств, стал не так силен и не так отважен из-за своего образа жизни; он много любил» (*III*, т. 1, с. 683; 3 июля 1840 г.).

Трапписты — монахи траппистского ордена во Франции (основан в 1140 г., реформирован в 1664 г.; их суровый режим предписывает, в частности, постоянное молчание); *картезианцы* — монахи картезианского ордена, устав которого на протяжении восьми веков оставался таким же строгим, каким был при основании в 1084 г.

Стр. 114. ...по особому рецепту. — Бальзак был знатком и неумеренным потребителем кофе, без которого практически не мог ни жить, ни работать. Бальзаковские рецепты приготовления кофе см. в воспоминаниях Л. Гозлана (с. 246 и примеч. к ней). В «Трактате о современных возбуждающих средствах» Бальзак поставил кофе выше алкогольных напитков и табака.

Пуэнт-а-Питр — город на острове Гваделупа.

...зарыл Том Кидд. — Поиски сокровища капитана Кидда — тема рассказа Э. По «Золотой жук» (1843, фр. перевод Ш. Бодлера 1856 г.).

Стр. 115. ...путешествие на Сардинию. — Неверная датировка путешествия Бальзака на Сардинию (1833 вместо 1838 г.) восходит к воспоминаниям Л. Сюрвиль (см. примеч. к с. 70).

...план «Человеческой комедии». — См. примеч. к с. 62 и 64.

В 1832 г. у Бальзака был план посвятить судьбе *Палисси* повесть «Страдания изобретателя» (название, данное впоследствии, в 1843 г., третьей части «Утраченных иллюзий»).

Стр. 116. ...борьба Иакова с ангелом, — Библейская аллюзия.

Стр. 118. «Меланхолические расчеты». — На самом деле Бальзак записывал эти расчеты на обороте оглавления «Озорных рассказов».

Стр. 119. ...*одну из главных трудностей поэзии.* — Буало. Поэтическое искусство, I, 137 — 138.

Стр. 120. ...*проливавших слезы в лодках.* — Намек на Ламартина, которому принесло особенную известность стихотворение «Озеро» (сб. «Поэтические думы», 1820).

...*смеясь, поражал гидр...* — Имеются в виду второй (лернейская гидра), первый (Немейский лев) и четвертый (эриманфский вепрь) подвиги Геракла.

Под псевдонимом *Алькофрибас Назье* (анаграмма имени и фамилии Рабле) вышли первые две книги романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (ср. примеч. к с. 111). В названии «Озорные сны» Готье обыгрывает название «раблезианской» книги Бальзака «Озорные рассказы» (см. примеч. к с. 76). Следующее далее описание — словесный аналог так называемых «гротесков», жанра ренессансной живописи, поднятого на щит романтиками; Готье питал к нему пристальный интерес и выпустил в 1844 г. сборник эссе о французских поэтах средневековья XVI в. под общим названием «Гротески».

Стр. 121. *Студент после речи Мефистофеля.* — Гете И.-В. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 2. М., 1976, с. 69.

...*жаргон Нусингена и Шмуке...* — См. примеч. к с. 93.

...*госпожи Воке (урожденной Конфлан).* — Имеется в виду начало романа «Отец Горно».

...*дамы с семью стульчиками из «Парижской почты».* — Д. де Жирарден в 1836 — 1848 гг. вела в газете «Пресс» под псевдонимом «Виконт Делоне» отдел хроники, носивший название «Парижская почта». Статья о даме, которая английское слово «стипель-чез» (скачки с препятствиями) понимает как sept chaises (семь стульев), была опубликована 17 апреля 1841 г.

Стр. 122. ...*роль для Рашели...* — Д. де Жирарден написала для Рашели трагедии «Юдифь» (1843) и «Клеопатра» (1847) и комедию «Леди Тартюф» (1853).

Школа здравого смысла — антиромантическое направление во французской драматургии XIX в. (Скриб, Понсар и др.); сторонники «чистого искусства», к которым в 50-е годы принадлежал и Готье, не принимали плоского морализаторства и примитивного юмора комедиографов этой школы.

Общество Лафаржа. — См. примеч. к с. 24.

...*«Теорию походки»... «Монографию о Добродетели»...* — См. примеч. к с. 91.

Флуран с его утешительными доктринами. — П. Флуран выпустил в 1854 г. книгу «О человеческом долголетии», где утверждал, что в шестьдесят лет у человека начинается вторая молодость, благодаря чему продолжительность человеческой жизни может быть резко увеличена.

Стр. 123. *«Маргарита, или Две любви»* (1852) — роман Д. де Жирарден.

...путешествии в Австрию. — См. примеч. к с. 88.

Стр. 124. *В Жарди он читал нам «Меркаде»...* — Это чтение «*Меркаде*» происходило, очевидно, летом 1840 г., так как первоначальный вариант пьесы (см. о ней примеч. к с. 97) был закончен в конце мая этого года, а в октябре Бальзак окончательно переселился из Жарди на улицу Басс.

...читавший, как Тик... — Л. Тик в 30-х годах устраивал в своем доме в Дрездене вечера, на которых читал свои и чужие сочинения. Искусство Тика как декламатора удостоилось больших похвал во французской прессе — как в переводных статьях, так и в заметках французских путешественников [(Lambert J. Ludwig Tieck dans les lettres françaises, Louvain, 1976, p. 313—315). В октябре 1843 г. побывал у Тика (в Потсдаме) и Бальзак, что, впрочем, не дает оснований говорить о влиянии декламации Тика на бальзаковскую (*ibid.*, p. 331)].

...маловосприимчивым к пластической красоте. — Готье формулирует здесь позицию, прямо противоположную его собственной, поскольку его идеалом была именно пластическая красота.

Стр. 125. Маркиза *де Листомер* — персонаж рассказа «Силуэт женщины» и повести «Турский священник». Маркиза *д'Эснар* — персонаж романов «Дело об опеке», «Блеск и нищета куртизанок» и др.

«*Нужно быть Рафаэлем...*» — По-видимому, имеется в виду фрагмент романа «Массимилла Дони»: «Рафаэль был единственным, кому удалось объединить Форму и Идею. Ты хочешь быть Рафаэлем любви, но случай нам неподвластен. Рафаэль — неожиданная удача Всевышнего, который сделал Форму и Идею враждебными друг другу... Мы должны пребывать или на земле, или на небесах» (*СН*, t. 10, p. 601).

Стр. 126. *Госпожа Фирмиани* — героиня одноименного рассказа; *герцогиня де Мофриньез* — персонаж романов «Музей древностей» и «Блеск и нищета куртизанок», впоследствии — *княгиня де Кадиньян* (роман «Тайны княгини де Кадиньян»); *госпожа де Морсоф* и *леди Дадли* — персонажи романа «Лилия в долине»; *герцогиня де Ланже* и *госпожа Жюль Демаре* — героини романа «История тринадцати»; *Модеста Миньон* — героиня одноименного романа; *Луиза (а не Диана) де Шолье* — персонаж романа «Воспоминания двух новобрачных».

«*Златоокая девушка*» — третья часть романа «История тринадцати».

Стр. 127. ...*житейские радости и развлечения*. — Возможно, Готье имеет в виду письмо от 11 или 18 октября 1838 г. (см. с. 82).

...*у друзей в Турени или долине Шаранты*. — Имеются в виду Саше и стоящий на берегу Шаранты Ангулем (см. примеч. к с. 67 и 68).

Описательная поэма — жанр поэзии XVIII в. Лишенные сквозного сюжета, эти поэмы были посвящены описанию явлений природы или культуры (существовали поэмы о декламации, о звукоподражании, об искусстве беседы и т. д.). В XIX в. описательная поэзия, перифрастичная и высокопарная, выглядела крайне архаично и служила предметом насмешек романтиков.

...как Кювье... кусочка кости... — Кювье установил принцип «корреляции органов», на основе которого реконструировал строение вымерших животных.

Стр. 128. *Его метод ничуть не походит на метод Анри Монье.* — Об отношениях Бальзака и Монье см. преамбулу к восп. А. Монье.

Урлик, возможно, помогал Бальзаку в работе над «Монографией о парижской прессе» (*Переписка*, т. 4, с. 541, примеч. 2); о *Лассайи* см. в восп. Ж. де Нерваля и примеч. к ним; *Лоран-Жан* помогал Бальзаку в работе над «Вотреном» (ему пьеса и посвящена); см. также о его взаимоотношениях с Бальзаком в восп. Л. Сюрвиль (с. 97—100) и примеч. к с. 97.

Стр. 129. *Вы сделаете один акт, Урлик — другой...* — О сходном (более позднем) проекте совместной работы над пьесой см. примеч. к с. 355.

Бальзак остался, как Перретта из басни... — См. с. 42 и примеч. к ней.

Стр. 130...*адская ложа.* — Имеется в виду ложа Оперы, где в середине 30-х годов бывал Бальзак; объясняется это название, очевидно, тем, что ее держали на паях вместе с Бальзаком многие тогдашние светские «львы».

Дж. Бреммеля Бальзак изобразила «Трактате об эlegantной жизни», где большинство «афоризмов» о моде приписаны этому английскому денди; впрочем, утверждение Бальзака, что он виделся с Бреммелем в 1830 г. в Булони, является скорее всего мистификацией, хотя Бреммель, спасаясь от кредиторов, в самом деле с 1816 г. жил во Франции — но не в Булони, а в Кале (см.: F o r t a s s i e r R. Interview d'un dandy. 1830. — *AB*, 1967, р. 73—87). За греческим полководцем *Алкивиадом* установилась репутация «античного денди». Бальзак называл его «образцом для джентльменов» («Модеста Миньон»).

...как был найден... 3. *Маркас* — См. с. 257—262 наст. изд.

Губетта — персонаж драмы В. Гюго «Луcreция Борджиа» (1833).

Стр. 131. *Филоменой* героиня романа «Альбер Саварюс» звалась в журнальной публикации (Съелькль, 29 мая — 11 июня 1842 г.) и в тексте, опубликованном в первом томе *ЧелК* в изд. Фюрна и др. (1842); в окончательном варианте (коллективный сборник «Провинциальные тайны», 1843, т. 3—4) фигурирует имя Розалии.

Стр. 133. ...*перечисления у Рабле...* — У Рабле почерпнут прием экспрессивного перечисления, а сами названия античных и средневековых духов восходят скорее всего к повести Ш. Нодье «Смарра» (1821).

...*эту проделку Кинолы...* — Обыгрывается название одноименной комедии Бальзака; Кинола — изобретательный лакей.

Гадалка *г-жа Фонтен* действует не только в построенном по принципу обозрения рассказе «Комедианты неведомо для себя», но и в романе «Кузен Понс», где в этой связи Бальзак развивает целую «теорию» гадания, оправдывая хиромантию, астрологию и другие тому подобные «науки» как проявление неведомых, но вполне вероятных способностей человека.

...*вкус к старой мебели...* — Бальзак увлекался скупкой подержанных вещей, которая была в большой моде во Франции в 30-х годах; литера-

турное воплощение эта его страсть нашла в романе «Кузен Понс», где, в частности, упомянута лавка «овернца, торгующего медным и железным ломом и старой мебелью» на *улице Ланн* (*Собр. соч.* — I, т. 10, с. 471).

Абульхасим — герой «Истории Абуль Касема Басри», открывающей сборник персидских сказок «Тысяча и один день» (фр. перевод Ф. Пети де Лакруа, 1710—1712); этот юноша, получивший в наследство огромное богатство, упоминается у Бальзака в рассказе «Драма на берегу моря».

Стр. 134. *...на женщине, которую он любил долгие годы.* — О женитбье Бальзака см. примеч. к с. 101. 24 декабря 1846 г. Бальзак писал Ганской о купленном для нее доме: «Домик небольшой, но это самая настоящая королевская бонбоньерка <...> С кредиторами я не расплатился, но зато на эти сто семь тысяч франков устроил для тебя очаровательное гнездышко» (*III*, т. 3, с. 563).

Стр. 135. Два последних романа Бальзака — «Кузина Бетта» и «Кузен Понс» — в 1847 г. вышли отдельным изданием под общим названием «Бедные родственники».

Я не могу ни читать, ни писать. — Готье имеет в виду письмо от 20 июня 1850 г. (текст его см. в наст. изд. на с. 243). В Италию Готье уехал в августе 1850 г., в самом деле за несколько дней до смерти Бальзака, наступившей 18 августа.

...Eli lamta Sabacthani... — Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил! (искаж. древнеевр.; по евангельской легенде, исполненные трагизма слова Иисуса, обращенные к богу).

Стр. 136. *...сторонник монархии и католичества, он защищает власть, превозносит религию...* — Бальзаковский легитимизм не был ни следствием его симпатии к Бурбонам, ни результатом аристократического происхождения и воспитания; политические убеждения Бальзака имели философскую основу: вслед за теоретиками католицизма и легитимизма Л. де Бональдом и Ж. де Местром Бальзак скептически относился к философскому оптимизму просветителей XVIII в., считавших, что люди от природы добры, и настаивал на необходимости опеки над личностью со стороны общества, государства; в твердой власти он видел способ борьбы с разрушительными индивидуалистическими страстями — порождением нового времени, и в особенности XIX столетия. Ср. у Ламартина: «Он был легитимистской породы и крови, иными словами, он верил прежде всего в мощь традиции и нравов; правительство он отождествлял с управлением и послушанием по привычке. Теории, системы <...> он ни во что не ставил. <...> Парламентская система, говорил он с глубокой, хотя и добродушной иронией, — это правление софистов и болтунов» (L a m a r t i n e A. de. *Op. cit.*, p. 48). О противоречии между субъективными оценками и убеждениями Бальзака и объективным смыслом его произведений см. с. 21.

«Человек... ни добр, ни зол...» — Готье цитирует «Предисловие к ЧелК»; список «безупречных в смысле добродетельности» лиц также почерпнут из этого «Предисловия».

ИЗ СТАТЬИ «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»

Жорж Санд, в июле 1830 г. познакомившаяся с Жюлем Сандо и в начале января 1831 г. последовавшая за ним из родного Ноана (Берри) в Париж, познакомилась с Бальзаком именно в это время. Период их наиболее тесного общения приходится на 1838 г., когда Бальзак с 24 февраля по 2 марта гостил в поместье Санд в Ноане; свой визит он подробно описал в письме к Ганской от 2 марта 1838 г.; рассказы Санд, услышанные им в Ноане, легли в основу романа «Беатриса». В июне 1840 г. Бальзак посвятил Санд роман «Воспоминания двух новобрачных» в память об «истинной дружбе, продолжающейся несмотря на путешествия, расставания, труд и тяготы жизни» (СН, т. 1, р. 195). Однако близкими друзьями Бальзак и Санд никогда не были; к творчеству Санд Бальзак относился сдержанно и в письмах к Ганской не раз критиковал романы писательницы за неправдоподобие и чрезмерную идеализацию.

В 1842 г. Бальзак просил Санд написать предисловие к первому полному изданию *ЧелК*, однако писательница не решилась выполнить его желание; предисловие к собранию сочинений Бальзака Санд написала уже после его смерти, в октябре 1853 г. (опубл. в первом томе издания Уссье).

Перевод фрагментов из этой статьи выполнен по изд.: S a n d G. *Auto-ug de la table*. P., 1875, р. 197—204, 208—213.

Стр. 138. ...самым плодовитым из романистов. — См. примеч. к с. 92. «Рим в эпоху Августа». — Имеется в виду книга Ш. Дезобра «Рим в эпоху Августа, или Путешествие галла в Рим в царствование Августа и в начале царствования Тиберия» (1835) — популярное описание быта и культуры Рима на рубеже новой эры.

Стр. 139. ...непостоянство ума. — Свод неодобренных высказываний о Бальзаке в критике 30—40-х годов дан в кн.: *Бланиар*. Одним из самых непримиримых противников Бальзака был Сент-Бев, который, например, в статье «Десять лет спустя в литературе» (1840) сравнил автора *ЧелК* с врачом, «нескромно разглашающим болезни своих пациентов» и предающимся этому занятию «с пылом, который он, как видно, уже не в состоянии умерить и направить на что-либо другое» (Сент-Бев Ш. Литературные портреты. М., 1970, с. 242. Ср. также примеч. к с. 87).

Стр. 140. ...его политический идеал. — О монархизме Бальзака см. примеч. к с. 136. Что касается России, то мечта сделаться влиятельным политическим деятелем при дворе Николая I, раз это не удалось при дворе Луи-Филиппа, — один из многочисленных утопических проектов Бальзака. Помимо реальных оснований (роман с русской помещицей Ганской) у этой мечты были и основания «историко-литературные» — Бальзак желал действовать по образцу одного из значительнейших представителей

легитимизма — Жозефа де Местра, который провел в России в качестве сардинского посланника 14 лет. В письме к Ганской от 1 июля 1843 г. Бальзак писал: «Франция мне надоела, я пленен Россией, я влюблен в абсолютную власть и хочу проверить, так ли она хороша, как мне кажется. Де Местр провел много лет в Санкт-Петербурге, быть может, и я останусь там» (III; т. 2, с. 240). О пребывании Бальзака в России см. также наст. изд., с. 338—342.

Стр. 142. ...*чья популярность неоспорима*. — Далее Ж. Санд излагает биографию Бальзака по книге А. Баше (см. о ней в преамбуле к его восп. в наст. изд.).

...*искал сокровища*... — См. с. 114.

Стр. 144. «*Тип можно определить...*» — Баше, с. 197.

...*список сотен произведений*. — Санд имеет в виду библиографию, составленную А. Баше (см. с. 32 — 59 его книги).

...*бесчисленные типы... созданные Бальзаком*... — В настоящее время наиболее полным справочником персонажей *ЧелК* является книга: Lotte F. Dictionnaire biographique des personnages fictifs de la «Comédie humaine». P., 1952—1956, t. 1—2.

А. ДЕ ВИНЬИ

ПИСЬМО К ВИКОНТЕССЕ ДЕ ПЛЕССИ

Бальзак никогда не поддерживал с Альфредом де Виньи дружеских отношений. Виньи — один из немногих крупных французских писателей — современников Бальзака, которому тот не посвятил ни одного произведения; некоторые черты Виньи (в частности, сочинение стихов о «любви к ангелам» — ср. написанную на этот сюжет поэму Виньи «Элоа», 1824) Бальзак придал бездушному поэту Каналису, персонажу романа «Модеста Миньон».

Перевод выполнен по изд.: Vigny A. de. Les plus belles lettres. P., 1963, p. 97—100.

Стр. 146. *Мен-Жиро* — поместье Виньи вблизи Ангулема; поэт жил там, в частности, с июля 1850 по декабрь 1853 г.

...*его божонской виллы*. — Особняк Бальзака на ул. Фортоне был выстроен во второй половине XIX в. богатым финансистом Н. Божоном, чье имя носил и весь застроенный им квартал.

...*за сочинение «Физиологии брака»*. — См. примеч. к с. 51.

...*второго издания «Сен-Мара»*. — Речь идет о третьем (а не втором) издании романа Виньи «Сен-Мар», вышедшем в конце июня 1827 г. О Бальзаке-типографе см. примеч. к с. 55—56.

Стр. 147. ...*собственности на литературные произведения*. — Проект закона об авторской собственности в науке, искусстве и литературе обсуждался в палате депутатов в марте 1841 г. и был отклонен, несмотря на усилия председателя парламентской комиссии А. де Ламартина, предла-

гавшего гарантировать потомкам автора право на доходы со всех переизданий его произведений. Виньи принял участие в обсуждении этого вопроса, опубликовав в январе 1841 г. «Письмо к депутатам о литературной собственности», где предлагал охранять авторское право на произведение только при жизни автора; Бальзак занимал в этом споре ту же позицию, что и Ламартин; его брошюра «Заметки для господ депутатов, членов комиссии по литературной собственности» вышла в марте 1841 г.

...поэты всегда будут, как говорит ваш Чаттертон, интеллигентными париями... — Виньи и А. де. Чаттертон (1835, д. III, сц. I); об этой драме Виньи см. подробнее с. 324—325 и примеч. к ним.

...на похоронах... Шарля Нодье... — См. примеч. к с. 97.

...пальму первенства в Академии. — О Бальзаке и Академии см. примеч. к с. 99. Сам Виньи был избран в Академию в 1845 г.

А. МОНЬЕ

ИЗ КНИГИ «МЕМУАРЫ ГОСПОДИНА ЖОЗЕФА ПРЮДОМА»

По словам Шанфлеры, Бальзак сказал об Анри Монье: «Я обязан ему большим, чем принято считать» (цит. по ст.: Meiningер А. М. Balzac et Henri Monnier — *АВ*, 1966, р. 217). Бальзак ценил Монье как актера — «драгоценную находку для театра» (*Переписка*, т. 3, с. 549), как рисовальщика и — прежде всего — как создателя образа Жозефа Прюдома, тупого, самодовольного буржуа-резонера, впервые выведенного в комедии «Импровизированная семья» (1831). Образ Прюдома волновал воображение Бальзака в течение всей его жизни; он хотел использовать и развить его, превзойдя Монье: «...мой Прюдом должен быть единственным Прюдомом; Монье сочинил о нем жалкий водевиль с переодеваниями, а я сочиню пятиактную пьесу для «Комеди Франсез». Прюдом как тип современного буржуа <...> представитель того среднего класса, на которого опирается *хозяин*, — персонаж более комичный, чем Тюркаре-финансист, герой одноименной комедии А.-Р. Лесажа, более забавный, чем Фигаро, он — сама современность» (*III*, т. 1, с. 541; 10 октября 1837 г.). Прюдом может быть назван «прототипом» Цезаря Бирото, а сам Монье — прототипом карикатуриста Бисиу.

Воспоминания Монье о Бальзаке не слишком доброжелательны; автора *ЧелК* и создателя Прюдома никогда не связывала тесная дружба, однако знакомство было весьма близким: в 1829—1830 гг. они вместе сотрудничали в газетах «Силуэт» и «Мод»; по приглашению Бальзака Монье был одним из иллюстраторов *ЧелК* в издании 1842—1848 гг. (он делал рисунки к «Утраченным иллюзиям», «Турскому священнику», «Баламутке», «Прославленному Годиссару», «Евгении Гранде»).

Перевод выполнен по изд.: Monnier H. *Morceaux choisis*. P., 1935, р. 230—236.

Стр. 148. В кафе «Минерва», особенно популярном в эпоху Реставрации, собирались после спектаклей и в антрактах драматурги и актеры, поскольку оно находилось напротив «Комеди Франсез».

...представленной накануне в «Одеоне»... — Неточность мемуариста — в указанные им годы «Одеон» не ставил Делавиня; возможно, имеется в виду трагедия «Марино Фальери», премьера которой состоялась в 1829 г. в театре «Порт-Сен-Мартен».

Сент-Обен. — См. примеч. к с. 48.

...соавторе по «Искусству повязывать галстук». — О. Рессон ввел в середине 20-х годов моду на шуточные трактаты-«кодексы» («Галантный кодекс», «Брачный кодекс» и т. д.), которые сочинял сам или в соавторстве. Бальзак написал вместе с Рессоном «Кодекс честных людей, или Искусство не попасться на удочку мошенникам» (1825). В 1827 г. под именем Бальзака вышли два трактата такого же типа — «Искусство повязывать галстук» и «Искусство платить долги».

Стр. 149. Бальзак переехал с улицы Турнон (см. примеч. к с. 62) на ул. *Марэ-Сен-Жермен* (см. примеч. к с. 55) в июне 1826 г., когда образ Жозефа Прюдома еще не был создан, поэтому приведенное мемуаристом обращение Латуша к Монье — явный анахронизм. О взаимоотношениях Бальзака и Латуша см. примеч. к с. 58.

О «*Клотильде де Лузиньян*» см. в примеч. к с. 48; роман «*Аннетта и преступник*» (продолжение «Арденнского викария», о котором см. в том же примеч.) вышел в мае 1824 г. (переиздан в 1836 г. также под фамилией Орас де Сент-Обен, но под названием «Пират Аргоу»); о «*Последнем шуане*» см. примеч. к с. 58.

...поместил Бальзака в своей квартире на улице Кассини. — Неточность мемуариста: Латуш приютил Бальзака в марте 1828 г. в своей квартире на улице Сент-Оноре; квартиру на улице Кассини Бальзак снял сам (вначале на имя своего зятя Сюрвиля) в апреле 1828 г., но Латуш в самом деле помогал ее благоустроить (см. наст. изд., с. 58).

О «*Фраголетте*» см. в примеч. к с. 58; даму исследователь творчества Латуша Ф. Сего отождествляет с г-жой де Верни.

Стр. 150. «*Испанскую королеву освистали...*» — Еще одна неточность: комедия Латуша «Испанская королева», в самом деле не имевшая успеха и исключенная из репертуара после первого представления, была поставлена в «Комеди Франсез» в 1831 г., когда проблема благоустройства квартиры на улице Кассини была уже решена.

Оней — городок под Парижем, где находился загородный дом Латуша; у Бальзака в самом деле, как утверждает ниже Монье, была идея поселиться там с Латушем, который, однако, отговорил его от этого намерения в письме, предположительно датированном ноябрём 1828 г., назвав этот план очередным «воздушным замком».

Стр. 151. ...трепеща за свой фарфор и статуэтки. — Ср. в упомянутом

выше письме Латуша: «Человек вроде вас, который не умеет даже вытереть пыль со стола, за которым работает...» (*Переписка*, т. 1, с. 350).

Стр. 152. *...законы незыблемой философии.* — Монье пародирует стиль сентименталистов — подражателей Ж.-Ж. Руссо, который в самом деле всю жизнь с увлечением собирал травы и оставил труды по ботанике.

...я так и не узнал... — Кроме этого свидетельства Монье, оснований утверждать, что окончательная ссора Бальзака и Латуша произошла именно в Онее, нет (см. примеч. к с. 58).

Г-ЖА ДЕ ПОММЕРЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

Барон Ж.-А.-Ф. де Поммерель, начальник арсенала в Шербуре, в 1824 г. вышел в отставку и поселился в городе Фужер (Бретань). Отец его, Ф.-Р.-Ж. де Поммерель, в бытность свою префектом департамента Эндра-и-Луара, центром которого является Тур, покровительствовал Бальзаку-отцу; отсюда — дружеские отношения двух семей. Бальзак гостил в Фужере у барона де Поммереля с 18 сентября до конца октября 1828 г.; он работал здесь над романом «Шуаны», действие которого происходит именно в Бретани. Барону де Поммерелю Бальзак посвятил в 1845 г. рассказ «Прощенный Мельмот».

Перевод выполнен по изд.: Métadier P. Saché dans l'œuvre et la vie de Balzac. P., 1950, p. 42—43.

Э.-Ж. ДЕЛЕКЛЮЗ

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ»

Этьен-Жан Делеклюз начал свой путь в искусстве как художник. Ученик Давида, он получил в 1808 г. золотую медаль за картину «Андромаха», но вскоре понял, что живопись — не его призвание, и занялся художественной критикой. Его обзоры ежегодных выставок — Салонов — в течение многих лет печатались в «Журналь де деба»; та же газета публиковала в 20-е годы его статьи об античном искусстве и письма из Италии. Делеклюзу принадлежат также многочисленные биографические очерки о художниках и писателях эпохи Возрождения и книги по истории искусства (в том числе о Давиде и его школе, о Леопольде Робере и др.).

Перевод фрагментов из его мемуарной книги выполнен по изд.: Delecluze E.-J. Souvenirs de soixante ans. P., 1862, p. 284—285, 471, 510—511.

Стр. 154. *Г-жа Рекамье* поселилась в парижском аббатстве Аббе-ле-Буа в 1818 г., после того, как добилась от своего мужа, банкира Рекамье, раздела имущества. В 30-е годы дополнительную известность салону Рекамье придавало то, что здесь ежевечерне бывал Шатобриан, общепризнанный «патриарх» французской литературы XIX века. Первое посещение Бальзаком этого салона описано у Делеклюза среди событий, относящихся к 1825—1826 гг., однако, поскольку в дневнике Делеклюза, доведенном до 1828 г., оно не упомянуто, принято датировать это событие 1829 г. Летом 1831 г. Бальзак читал в салоне Рекамье «Шагреновую кожу»; изредка он посещал Аббе-ле-Буа и позже.

...*всегда оставалась чиста.* — В Жюльетту Рекамье, знаменитую своей красотой, были безответно влюблены многие значительные политики и литераторы начала XIX в.: брат императора Люсьен Бонапарт, генерал Бернадот, племянник императора Фридриха II принц Август Прусский, предлагавший ей развод и новое замужество, Бенжамен Констан; однако взаимностью Рекамье ответила только Шатобриану.

...*Этьен не забыл...* — Воспоминания Делеклюза написаны от третьего лица.

Ж.-Ж. *Ампер* и П.-С. *Баллани* были многолетними платоническими поклонниками г-жи Рекамье.

Стр. 155. *Герцогиня д'Абрантес* — Бальзак познакомился с вдовой наполеоновского генерала, губернатора Парижа герцога д'Абрантеса в начале 1825 г. в Версале, где жила в то время его сестра Лора; он помогал герцогине в работе над первыми томами ее «Записок» (т. I—II, 1831—1835).

Память изменяет Делеклюзу: его сборник рассказов «*Мадемуазель Жюстина де Лирон*» вышел в июне 1832 г. у Госслена; печатался он в типографии Эвера, одновременно с первым десятком «Озорных рассказов», которые вышли 14 апреля 1832 г. также у Госслена; первая же часть «Утраченных иллюзий» («Два поэта») вышла в свет в феврале 1837 г.

Стр. 156. *Трость ценой три тысячи франков.* — О трости Бальзака см. примеч. к с. 110.

Фонтене-о-Роз — местечко под Парижем, где жил у родственников Делеклюз; об *улице Ришелье* см. примеч. к с. 87.

Ж. де МАРГОНН

ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод воспоминаний Жана де Маргонна, друга семьи Бальзаков и, возможно, отца Анри Бальзака, выполнен по изд.: *Mé t a d i e r P. Saché dans la vie et l'œuvre de Balzac.* P., 1950, p. 118—125. Воспоминания Маргонна были записаны его племянником Сальмоном де Мэзон-Ружем.

Стр. 157. О пребывании Бальзака в *Саше* см. примеч. к с. 68.

Э. и Ж. ГОНКУРЫ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Разрозненные рассказы Гаварни о Бальзаке, записанные Гонкурами в дневнике, были собраны воедино в их книге: Gavarni. L'homme et l'œuvre. P., 1873, p. 190-191.

Гаварни и Бальзак были знакомы с начала 30-х годов; Бальзак посвятил рисункам Гаварни несколько хвалебных рецензий, в частности, статью в «Мод» от 2 октября 1831 г.; он же ввел художника в журнал «Артист», где тот впоследствии много печатался; в октябре 1831 г. Гаварни дебютировал в этом журнале иллюстрацией к «Шагреновой коже»; дружеские отношения связывали Бальзака и Гаварни и в 30-е, и в 40-е годы.

Текст печатается по изд.: *Гонкуры*, т. 1, с. 86—87. Французский текст см. в кн.: Goncourt E. et J. Journal. Monaco, 1956, t. 1, p. 169.

Стр. 160. О «Мод» см. примеч. к с. 85.

П. ЛАКРУА

ИЗ СТАТЬИ

«ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ РАССКАЗ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С БАЛЬЗАКОМ»

Несмотря на явно скептическое отношение к Бальзаку как человеку, воспоминания писателя, библиографа и историка литературы Поля Лакруа, известного под псевдонимом Жакоб-Библиофил, достаточно точно воспроизводят историю отношений Бальзака с его издателями на рубеже 20—30-х годов.

Перевод выполнен по изд.: *Le Livre*, 1882, mai — septembre, p. 151, 155—156, 159, 161, 179—187, 274—277, 279—281, 284—285.

Стр. 161. *Я последовал за Лепуатвеном де Сент-Альмом...* — О Лепуатвене Сент-Альме как соавторе Бальзака см. примеч. к с. 53.

...из редакции «Мируар» в «Фигаро». — Сатирический еженедельник «Фигаро» был основан 15 января 1826 г.; Лепуатвен возглавил его в апреле того же года; название «Мируар» носила первоначально (15 февраля — 24 июня 1823 г.) газета «Пандор», выходявшая в 1823—1828 гг.

...я отправился к Маму и Делоне-Валле... — Названные издатели незадолго до описываемых событий начали выпускать многотомные поддельные «Записки госпожи Дю Барри», написанные Амедеем Пишо. Псевдомемуары такого рода были в конце 20—30-х годов в большой моде. П. Лакруа имел основания взяться за подобную работу, так как в 1828—1829 гг. начал с успехом выпускать исторические романы.

Стр. 162. ...когда мы с Пишо вместе работали над рукописью... — С августа 1829 г. литератор и переводчик А. Пишо по просьбе издателя Ладвока редактировал вместе с Лакруа еженедельник «Меркюр дю XIX сьекль».

...мемуары Сансона... — О «Записках Сансона» см. примеч. к с. 65.

Стр. 164. Было ему тогда тридцать два года... — Поскольку дело происходило в самом конце 1829 г., Бальзаку было двадцать девять с половиной лет.

Моя «Физиология брака» выходит завтра. — «Физиология брака» вышла у А. Леваассера в самом конце декабря 1829 г.

...я ему не доверяю... — Отношения Бальзака с А. Пишо оставались очень непростыми и в 30-е годы; об этом литераторе много — и далеко не всегда сочувственно — говорится в статье Бальзака «К истории процесса по поводу «Лилии в долине»».

Стр. 165. ...не опубликует ваших «Сцен частной жизни». — Если верить Латушу, Мам обещал Бальзаку издать его «Сцены частной жизни» после того, как тот представит ему текст воспоминаний Сансона и подписанным самим бывшим палачом разрешение опубликовать их.

«Покаянная месса». — О первой публикации этой новеллы, впоследствии озаглавленной Бальзаком «Эпизод из эпохи Террора», см. примеч. к с. 65. В октябре 1842 г. Лакруа получил от Бальзака разрешение включить этот текст под названием «Месса 1793 года» в издаваемый под его руководством сборник «Королевский кипсек» (вышел в декабре 1842 г.).

...на улице Кассини... — См. примеч. к с. 80.

Стр. 166. ...со времен «Школы жен» и «Жоржа Дандена»... — «Школа жен» (1662) и «Жорж Данден» (1668) — комедии Мольера.

Стр. 167. ...Бальзак принес мне статью... — Рецензия на «Физиологию брака» была напечатана в «Меркюр» 23 января 1830 г.

Стр. 168. «Фейетон де журно политик»... — Соглашение о совместном издании этого еженедельника, где публиковались в основном анонимные рецензии, Бальзак, Э. де Жирарден и Виктор Варень подписали 26 января 1830 г.

...мою статью о «Двух безумцах»... — Рецензия на роман Лакруа «Два безумца, история из эпохи Франциска I» появилась в «Фейетон» 5 мая 1830 г. Поскольку она была не подписана, Бальзак уже на следующий день в письме к Лакруа постарался уверить того, что не имеет к ней никакого отношения (*Перетиска*, т. 1, с. 454), и поместил в газете «Волер» (номер от 5 мая) хвалебную статью «Портрет П.-Л. Жакоба», но несмотря на это отношения двух писателей были испорчены.

Стр. 169. ...так как являюсь теперь ее обладателем... — О тростях Бальзака см. примеч. к с. 110. Одна из них попала к Лакруа — по всей вероятности, потому, что сестра Э. Ганской Каролина (по первому мужу Собаньская) в 1851 г. вышла замуж за его брата Жюля Лакруа, благодаря чему Жакоб-Библиофил породнился с вдовой Бальзака.

ЖОРЖ САНД

ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ»

О взаимоотношениях Бальзака и Жорж Санд см. на с. 471. Перевод фрагментов из книги «История моей жизни» (1854—1855) выполнен по изд.: Sand G. Histoire de ma vie. P., 1856, t. 9, p. 12—18, 25—27. Первые два абзаца процитированы в предисловии Н. Г. Чернышевского к восп. Л. Сюрвиль.

Стр. 172. *...музу нашего округа...* — Санд обыгрывает название романа Бальзака «Провинциальная муза» (*La Muse du Département*). Аврору Дюдеван представил Бальзаку либо Ж. Сандо, либо Э. Реньо.

...не так очаровательно обходителен, как де Латуш... — Сравнивая Бальзака и Латуша, Санд писала: «Де Латуш растрчивал свой несомненный талант в разговорах. Бальзак тратил в болтовне лишь сумасбродство. Он делился с собеседниками излишками, храня свою глубокую мудрость для творчества» (Sand G. Histoire de ma vie. P., 1856, t. 9, p. 20).

...Рабле, которого я еще не знала. — До романтиков во Франции мало кто ценил Рабле; первым, кто «воскресил» его, был Ш. Нодье (1823); от него восхищение автором «Гаргантюа и Пантагрюэля» перенял Гюго, прославивший в «Предисловии к «Кромвелю» (1827) «буффонного Гомера» (слова Нодье). Об отношении к Рабле Бальзака см. примеч. к с. 111.

...рядом с Обсерваторией... — См. примеч. к с. 109.

Стр. 173. *д. Араго* был верным и постоянным поклонником Ж. Санд; их дружба ненадолго перешла в роман летом 1835 г., после того как Санд рассталась с А. де Мюссе. В 1834 г. Бальзак, Араго и Санд намеревались написать втроем пьесу под псевдонимом Сан-Драго (Санд-Араго).

Роман «*Шагреновая кожа*» был продан Ш. Госслену и У. Канелю 17 января 1831 г. за 1125 франков; в продаже роман появился 1 августа; договор на второе издание (в составе «Философских романов и повестей») был подписан 22 августа 1831 г.

...упрямым недоброжелателем... — См. примеч. к с. 58.

Стр. 174. *...дома на набережной Сен-Мишель...* — Ж. Санд жила на пятом этаже дома 25 по набережной Сен-Мишель с июня 1831 по октябрь 1832 г.

Стр. 175. *...человека, каким он должен быть... каков он есть...* — Сходный конфликт писательских позиций лежал в основе литературно-эпистолярной полемики Ж. Санд с французским писателем следующего поколения — Гюставом Флобером.

Стр. 176. *...теорию г-на Кератри.* — Несколькими страницами выше Ж. Санд рассказывает в «Истории моей жизни» о своем визите к известному литератору Кератри; она намеревалась посоветоваться с ним о своих литературных опытах, но он сказал ей, даже не заглянув в рукопись: «Женщина не должна писать».

А. НЕТТМАН

ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ»

Альфред Неттман основал в 1835 г. легитимистскую газету «Нувель консерватер» и пригласил Бальзака писать для нее (план этот не удалось выполнить, поскольку газета очень скоро прекратила свое существование). В феврале 1836 г. Неттман опубликовал в «Газетт де Франс» статью о Бальзаке, где, сдержанно отозвавшись о моральной и религиозной стороне его романов, взял тем не менее его сторону против Бюлоза в конфликте по поводу романа «Лилия в долине» (см. примеч. к с. 78). Впоследствии Неттман — автор многочисленных публицистических сочинений и работ по истории Франции и французской литературы.

Перевод выполнен по изд.: *Nettement A. Histoire de la littérature française sous le gouvernement de Juillet*. P., 1854, p. 242 — 249.

Стр. 178. *...легитимистской газеты...* — Легитимистский еженедельник «Реноватер» («Обновитель») был основан П.-С. Лоранти в марте 1832 г.; в связи с этим Бальзак послал Лоранти письмо, где выражал готовность писать для нового издания.

...в защиту покаянного памятника... — В первом номере «Реноватер», вышедшем 31 марта 1832 г., Бальзак опубликовал статью «О предполагаемом разрушении памятника герцогу Беррийскому».

«Пощадите этого человека!» — Лувель заколол герцога Беррийского 13 февраля 1820 г., когда тот выходил из Оперы. Герцог умер спустя семь часов, причем перед смертью, по преданию, просил пощадить убийцу.

«...повсюду сталкиваться с этим человеком!» — Интерес Бальзака к фигуре Наполеона выразился, в частности, в том, что он «коллекционировал» высказывания императора; сборник этих «максим и мыслей» (частично заимствованных из подлинных мемуаров, но в большинстве своем сочиненных самим Бальзаком) писатель продал в конце 1838 г. некоему Ж.-Л. Годи-младшему, трикотаажнику, под чьим именем он и вышел в свет в начале 1839 г. Ср. также в восп. Э. Верде (с. 214—215 и примеч. к с. 214).

Стр. 179. *...вмешательство Бальзака и внушило... веру в свои силы...* — Хвалебная рецензия Ш. Бернара на «Шагреновую кожу» была опубликована в «Газетт де Франш-Конте» 13 августа 1831 г. Первая встреча двух писателей произошла в феврале 1832 г. в Париже, куда Бернар специально приехал из родного Безансона. В сентябре 1833 г. Бальзак побывал

у Бернара в Безансоне. О «*Сорокалетней женщине*» см. примеч. к с. 86. Рассказ «*Подвиг добродетели*» был опубликован в КП 18 и 25 сентября и 2 октября 1836 г.; «*Жерфо*» (1838) и «*Крылья Икара*» (1840) — романы Бернара.

...*г-жа де Жирарден написала...* — См. примеч. к с. 110.

...*в квартире на улице Батай...* — В марте 1835 г. Бальзак под именем вдовы Дюран занял квартиру в доме 13 по улице Батай, чтобы скрыться от кредиторов и безнаказанно пропускать дежурства в Национальной гвардии; год спустя ему все же пришлось за «прогул» дежурств провести пять дней — с 27 апреля по 4 мая 1836 г. — в специальной тюрьме, где он, впрочем, принимал гостей и угощал их заказанным в ресторане обедом.

...*кисть художника.* — См. примеч. к с. 109.

Стр. 180. О *Жарди* см. примеч. к с. 76.

О «*Вотрене*» см. примеч. к с. 100.

...*рассказ о муках Оноре де Бальзака...* — Неттман цитирует в примечании и в тексте вторую главу книги Л. Гозлана «Бальзак в домашних туфлях» по журнальной публикации в «Ревю контампорен» 15 ноября 1853 г. Ср. наст. изд., с. 250—251.

Стр. 181. ...*к своему вину из Иоганнисберга.* — Об этом вине вспоминал и брат мемуариста Франсис Неттман в заметке «Обед у Бальзака» («Солей иллюстре», 24 марта 1878 г.; *Бланишар*, с. 36). Иоганнисберг — фамильный замок Меттернихов в Пруссии, знаменитый изготавливаемым там вином. Бальзак нанес визит Меттерниху в мае 1835 г., во время своего пребывания в Вене. Жена Меттерниха записала в дневнике 25 мая 1835 г.: «Бальзак кажется мне человеком простым и добрым, хотя одет он самым фантастическим образом. Он маленького роста и довольно полный, но в глазах и на лице его написан большой ум» (цит. по кн.: *Переписка*, т. 2, с. 678—679).

О знакомстве Бальзака с *Видоком* см. также в восп. Л. Гозлана (с. 285—289). В работе над «Записками» (1830) этому каторжнику-сыщику помогал соавтор Бальзака по «Запискам Сансона» Леритье де Лен (см. примеч. к с. 65). Предположительно знакомство Бальзака с Видоком восходит к 20-м годам (Видок был близко знаком с Г. де Берни, мужем возлюбленной Бальзака); достоверно известно, что Бальзак и А. Дюма виделись с Видоком и Сансоном 26 апреля 1834 г. на обеде у филантропа Аппера. Бальзак сравнивал Видока с Наполеоном, статуя которого была сброшена с Вандомской колонны (см. примеч. к с. 214), поскольку Видок в 30-е годы был не у дел. *Палач* — А. Сансон.

О *Нусингене* см. примеч. к с. 93; герцог де *Мофриньез* (он же князь де Кадиньян) — персонаж многих романов *ЧелК*, в том числе «Тайн княгини де Кадиньян», «Утраченных иллюзий» и т. д.

...*которые мы уже цитировали.* — Имеется в виду глава IV книги Л. Гозлана «Бальзак в домашних туфлях», также опубликованная в 1853 г. в «Ревю контампорен» (см. примеч. к с. 180). Ср. наст. изд., с. 248—250.

...визит... г-ну Женуду... — Эпизод, о котором идет речь, относится, по-видимому, к 1840 г., когда А.-Э. Женуд был уже главным редактором «Газетт де Франс», где с 1836 г. сотрудничал Неттман; сохранилось письмо Неттмана, датируемое современным публикатором 24 мая 1840 г., где тот приглашает Бальзака посетить с ним на завтра Женуда для переговоров о публикации какого-то романа с продолжением («в тридцати фельетонах»). Проект не осуществился.

Стр. 182. ...он кажется настоящим безумцем. — Эта реплика близка к характеристике, которую дал Бальзаку при первой встрече К. Меттерних (см. примеч. к с. 181): «Вы либо сами безумны, либо насмехаетесь над другими безумцами, которых хотите излечить с помощью еще большего безумия», на что Бальзак ответил, что цель его в самом деле именно такова (*Переписка*, т. 2, с. 678).

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ»

Альберик Сегон дебютировал в литературе одноактным водевилем «Тришмон-сын» (1836); с театром он был связан всю жизнь, не только как автор многочисленных комедий и водевилей, но и как администратор (в 60-е годы он был императорским уполномоченным при театре «Одеон»), а также как критик (среди периодических изданий, с которыми он сотрудничал, «Антракт», «Эвенман», а также еженедельник «Комеди Паризьен», который он сам выпускал в 1856—1857 гг.). Кроме того, Сегон был автором множества романов и участником разнообразных альманахов и сборников, среди которых «Французы, нарисованные ими самими» (см. в наст. изд. преамбулу к восп. Ж. де Нерваля) и «Улицы Парижа» (см. наст. изд., с. 227).

В мемуарной книге Сегона «Шкатулка с воспоминаниями» (1885) Бальзаку посвящены три главы; в наст. изд. они печатаются не подряд, а вразбивку, в соответствии с положенным в основу сборника хронологическим принципом.

Перевод выполнен по изд.: Second A. Le Tiroir aux souvenirs. P., 1886, p. 3—19.

Стр. 183. ...«реставратором французского языка»... — Наибольшую литературную известность Гезу де Бальзаку принесли его письма, в которых он старался произвести в прозе ту же реформу, какую Малерб проделал в стихе, — упорядочить и гармонизировать французский язык, избавив его от греческих и латинских заимствований.

...представил меня древним стариком... — В первом издании однотомного «Всеобщего словаря современников» Вапро (1858) датой рождения Сегона был назван 1812 г.; позднее ошибка была исправлена (в пятом издании 1880 г. указана верная дата — 1817 г.).

...собирался баллотироваться от Ангулема. — Отец Сегона был председателем суда в Ангулеме. 20 июля 1832 г. Бальзак с гордостью писал матери: «Члены «Конституционного кружка» сказали, что, если я захочу стать депутатом, они выдвинут мою кандидатуру несмотря на мои аристократические убеждения» (*Переписка*, т. 2, с. 65). Проект этот не осуществился. О пребывании Бальзака в Ангулеме у З. Карро см. примеч. к с. 67.

Стр. 184. ...покатились по мостовой... — Ср. в цитированном в предыдущем примеч. письме к матери: «Один юноша упал в обморок, узнав о моем приезде на Пороховой завод» (*Переписка*, т. 2, с. 65).

...чтение, достойное Монтионовской премии... — Сегон цитирует письмо к З. Карро от 23 сентября 1832 г. по кн.: *Кальман-Леви*, т. 24, где оно воспроизведено с неточностями. О *Монтионовской премии* см. примеч. к с. 97.

...на Пороховой завод. — Неточная цитата из письма к З. Карро от 10 марта 1833 г., опубликованного в кн.: *Кальман-Леви*, т. 24. Мысль эта проходит через все письма 1833 г. к З. Карро.

...в середине апреля... — Бальзак был в гостях у семьи Карро с середины апреля по 21 мая 1833 г.

...одно письмо с ангулемской маркой... — Речь идет о письме от 28 апреля 1833 г. Мелодраму «Сорока-воровка», на сюжет которой Россини сочинил одноименную оперу (1817), написал не Пиксерикур, а Кенья и Добины.

Стр. 186. ...театром действия был Ангулем. — См. примеч. к с. 67.

Давид Сешар, Куэнте-большой — персонажи романа «Утраченные иллюзии».

Стр. 187. ...обворожило имя З. Маркас. — Сегон ссылается на восп. Л. Гозлана (см. наст. изд., с. 257—262).

«Провинциальная знаменитость в Париже» (июнь 1839 г.) — вторая часть романа «Утраченные иллюзии».

Речь шла об особой бумаге... — Своими планами относительно изготовления бумаги Бальзак делился с З. Карро в письме от 5 октября 1833 г., опубликованном в кн.: *Кальман-Леви*, т. 24; Сегон скорее всего опирается в своем рассказе на это письмо.

Незадачливый брат Перретты! — См. примеч. к с. 42.

Инспектор Порохового завода — Ф.-М. Карро.

...Давидом и Евой Сешар, Люсьеном... — Сегон перечисляет персонажей «Утраченных иллюзий».

Стр. 188. ...посвященной В. Гюго первой части... — Виктору Гюго было посвящено все произведение в целом.

...поселить маркизу д'Эспар на улице Пикетон... — Сегон подчеркивает противоречие между аристократическим происхождением персонажей и вульгарным местом жительства. О маркизе д'Эспар и герцогине де Ланже см. примеч. к с. 125 и с. 126.

Э. ВЕРДЕ

ИЗ КНИГИ

«ИНТИМНЫЙ ПОРТРЕТ БАЛЬЗАКА: ЕГО ЖИЗНЬ, ПРАВ И ХАРАКТЕР»

Эдмон Верде начал свою издательскую деятельность в 1827 г., в 1831 г. стал компаньоном вдовы Беше, а 1 марта 1834 г. открыл собственное издательское дело и обратился к Бальзаку, который продал ему право на второе издание «Сельского врача» (вышло в июне 1834 г.); затем Верде выпустил множество произведений Бальзака (среди этих книг были и первые публикации, и переиздания, право на которые Верде покупал у своих предшественников). Верде мечтал сделаться единственным издателем Бальзака, но переоценил свои возможности и в мае 1837 г. обанкротился. Возможно, этими осложнениями в отношениях с Бальзаком объясняется несколько фамильярный тон воспоминаний. В 1839 г. он попытался возобновить издательскую деятельность и снова обанкротился в 1845 г.; впрочем, в 40-е годы он уже не имел дела с Бальзаком. Помимо публикуемых в наст. изд. с сокращениями воспоминаний о Бальзаке Верде принадлежит пятитомная «История французской книги» (1861—1864) и выпущенные посмертно «Воспоминания о литературной жизни» (1879), где одна глава также посвящена Бальзаку.

Перевод выполнен по изд.: Verdet E. Portrait intime de Balzac: sa vie, son humeur, son caractère. P., 1859, p. 96—101, 137—146, 274—298, 325—338, 354—359.

Стр. 191. «В каждой области искусства...» — Неточная цитата из статьи Бальзака «К истории процесса по поводу «Лилии в долине» (см. примеч. к с. 78). В опущенной мемуаристом фразе Бальзак ссылается на предисловие Шатобриана к двенадцатому (у Бальзака ошибочно «одиннадцатому») изданию повести «Атала» (1805), где Шатобриан отмечал, что среди изданий повести нет ни одного, тождественного предыдущему, но ничего не говорил об исправлениях в верстке; «Мученичество святого Симфориона» (1834) — картина Энгра.

Стр. 192. *...не мог сделать этого теперь...* — Судя по хронологии заметок Верде, имеется в виду период после 1835 г.

Стр. 193. *Ван-Энгельгом* — псевдоним Ж.-Ф. Леконта.

Подарил... белую лошадь. — История об обещании подарить лошадь имеет и другой вариант, где участвует не Сандо, а Латуш. Сент-Бев рассказывал со слов Латуша, что Бальзак обещал тому «за труды» арабского жеребца (Sainte-Beuve Ch. Portraits contemporains. P., 1852, t. 1, p. 454). В заметке А. Ватрипона в газете «Беранже» 15 ноября 1857 г. эта версия развита с большими подробностями: Бальзак обещает Латушу белую лошадь в благодарность за рецензию на «Ванн Хлор» (см. примеч. к с. 58), после чего Латуш говорит друзьям, что уже построил для сказочной белой лошади не менее сказочную конюшню из белого мрамора.

...будущему академику... — Ж. Сандо был принят в Академию в 1858 г.

Стр. 194. ...продал мне «Этюды о нравах». — По-видимому, речь идет о договоре, который Верде заключил с Бальзаком от имени вдовы Беше 13 октября 1833 г.; текст его не сохранился, но предположительно сумма, которую должен был получить Бальзак, равнялась 30 тысячам франков (*Переписка*, т. 2, с. 394). О страсти Бальзака оценивать свое время «в деньгах» свидетельствуют и другие мемуаристы; ср., напр., рассказ Гаварни о том, как он вместе с Бальзаком ехал в почтовой карете и Бальзак говорил кучеру: «Гоните быстрее, вот этот господин зарабатывает в день 50 франков, а я сто... Сами понимаете, сколько мы теряем из-за каждого часа опоздания». И на каждой станции сумма, которую зарабатывают оба пассажира, возрастала. «В этом весь Бальзак», — говорил Гаварни (Goncourt E. et J. Gavarni. *L'homme et l'oeuvre*. P., 1873, p. 190).

...один медиком, другой литератором... — Имеются в виду Э. Реньо и Ж. Сандо.

Стр. 199. ...маленькая записная книжка... — См. примеч. к с. 52.

...пишет г-н Ж. Л... — Источник не установлен.

Стр. 200. *Евгения Мируэ* — контаминация заглавных персонажей романов «Евгения Гранде» и «Урсула Мируэ».

...говорит г-н Поль Лакруа... — Цитата из статьи П. Лакруа «Биографическая заметка об О. де Бальзаке», предваряющей антологию «Бальзаковские женщины» (1851); упомянуты сцены из романов «Евгения Гранде» и «Баламутка».

...говорит г-н Сент-Бев... — Верде цитирует рецензию Сент-Бева на «Поиски Абсолюта», впервые опубликованную в ноябре 1834 г. и затем вошедшую в сб. «Современные портреты» (т. 1, 1845); ср. примеч. к с. 48. Валтасар *Клаас* — герой романа «Поиски Абсолюта». «Гренадьер» — рассказ, заглавие которого повторяет название небольшого поместья г-жи де Берни недалеко от Тура, где Бальзак жил летом 1830 г.

Стр. 201. *Не помню, какое капитальное произведение...* — «Поиски Абсолюта» поступили в продажу в сентябре 1834 г.; в октябре этого года Бальзак работал над «Отцом Горю».

Стр. 204. *Таково было одеяние...* — Ср. сходную снисходительную оценку не всегда опрятной внешности Бальзака в рассказе Гаварни, воспроизведенном у Гонкуров: Гаварни и Бальзак едут в почтовой карете. «Бальзак, как всегда, ужасно неопрятен. «Послушайте-ка, Бальзак, почему у вас нет друга?» — «Друга?» — «Ну да, одного из тех глупых и преданных мещан, какие еще не перевелись; он бы мыл вам руки, менял галстук, — ну, словом... он бы делал за вас все то, на что у вас не хватает времени...» — «Ого! — воскликнул Бальзак, — о таком друге я бы рассказал потомству!» (*Гонкуры*, т. 1, с. 86).

Стр. 206. Римский император *Вителлий* был знаменит своим обжорством.

Стр. 207. *Жюль и Эмиль* — Ж. Сандо и Э. Реньо.

Стр. 208. *Сто тринадцатый рядом...* — В номере 113 в галереях Пале-Руаяля находился игорный дом.

Стр. 209. *Тридцать-и-сорок* — азартная карточная игра.

Дебюро, которого так расхваливает Жюль Жанен... — Имеется в виду книга Ж. Жанена «Дебюро. История театра, где билет стоит четыре су» (1832), принесшая известность великому миму. Театр «Фюнамбюль» был основан в 1815—1816 гг.; вначале там давали представления акробаты и жонглеры, а с 1825 г. разрешено было ввести в программу пантомимы и водевили.

«*Бешенный бык*» (преьера в 1827 г.) — пантомима К.-Ф. Лорана. Дебюро исполнял в ней роль Пьеро.

Стр. 210. *...домой, на улицу Кассини.* — См. примеч. к с. 80.

Стр. 213. *Итак, вразумитесь, цари...* — Псалмы, 2, 10.

Нанетта Громадина — преданная служанка, персонаж «Евгении Гранде».

«*Философские романы и повести*» (сентябрь 1831 г.) — сборник, изданный Госсленом, куда вошли «Шагренева кожа» и еще двенадцать рассказов; «*Новые философские повести*» — сборник, вышедший у того же издателя в октябре 1832 г. «*Дом Клааса*» — название первой главы «Поисков Абсолюта» в издании 1834 г. (позже Бальзак отказался от деления этого романа на главы).

Стр. 214. *...все с гербом д'Антрегов...* — Бальзак д'Антрег — фамилия старинного дворянского рода, с которым крестьянский род Вальса (см. примеч. к с. 23) не имел ничего общего; впрочем, Бальзак старался убедить себя и окружающих, что он происходит именно из д'Антрегов.

...от одного скромного издателя. — По-видимому, имеются в виду собрания сочинений Вольтера (т. 1 — 13, 1835—1838) и Руссо (т. 1—4, 1835—1836), изданные Фюрном.

...для водружения на Вандомскую колонну. — Статуя Наполеона была сброшена с Вандомской колонны (1806—1810), отлитой из пушек, захваченных у противника в Аустерлицком сражении (1805), в 1814 г., после свержения императора. В 1832 г. было принято решение восстановить ее, и в конкурсе на лучшую статую победил Ш.-М.-Э. Серр, чье произведение было установлено на вершине колонны 28 июля 1833 г.

...более великим, нежели Наполеон... — Бальзак постоянно сравнивал с Наполеоном героев *Челк* и — в письмах — самого себя (см.: Laubriet P. Légende et mythe napoléoniens chez Balzac — *AB*, 1968, p. 299—301).

Стр. 215. *...говорит г-н Кайла...* — Цитата из книги Ж.-М. Кайла «Европейские знаменитости» (1854).

Стр. 216. *Бобовым особняком* называли бывший особняк Базанкуров, где после Революции размещалась тюрьма Национальной гвардии.

Стр. 217. *...вопреки ее воинственному названию.* — *Bataille* (фр.) — битва.

Под именем вдовы Брюне... — Ошибка мемуариста: Бальзак снимал эту квартиру под именем вдовы Дюран (см. примеч. к с. 179).

Стр. 219. *...встреча на улице Дуайенне...* — См. примеч. к с. 108.

У Вечного жиде... в кармане пять су... — Реминисценция из народной книги XVII в. о Вечном жиде (текст ее сопровождался лубочными картинками).

Стр. 220. *...говорит автор «Великих современников»...* — Верде дает неверную отсылку: в книге Э. де Мирекура о Бальзаке (1854), вышедшей в его серии «Галерея современников» (т. 1—100, 1854—1865), цитируемых слов нет. Подлинный источник не обнаружен.

Стр. 221. *...историю раскаявшейся Берты,* — Имеется в виду «Раскаяние Берты» — четвертая повесть третьего десятка «Озорных рассказов».

Статуэтка работы Дантана. — Один из двух скульптурных шаржей Дантана хранится ныне в музее Карнавале в Париже.

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ» (2)

О книге Альберика Сегона см. в преамбуле к первому фрагменту из его восп.

Стр. 222. *...по улице Кассини.* — См. примеч. к с. 80.

«Шаривари» — оппозиционная сатирическая газета, основанная 1 декабря 1832 г. Ш. Филипоном; ее главным редактором был Л. Денуайе; он и его помощники М.-А. Альтарош и А. Клер называли себя «министрами «Шаривари». В конце 1836 г. газета перешла в собственность А. Дютака.

Стр. 223. *Филипписты* — сторонники короля Луи-Филиппа.

...обеда в «Роше дю Канкаль». — Роскошное пиршество, описанное в «Шагреновой коже», происходит не в ресторане «Роше дю Канкаль», а дома у банкира Тайфера.

Стр. 224. *Акилина* — куртизанка, персонаж «Шагреновой кожи».

...бедная сгоревшая Опера... — Старое здание Оперы сгорело в 1873 г.; современное здание было открыто в 1875 г.

Альцест с улицы Наварен. — Сегон называет Лоран-Жана именем главного героя комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

Стр. 224—225. *...камерного Руджиери...* — По-видимому, имеется в виду один из астрологов — персонажей «Исповеди Руджиери» (см. примеч. к с. 60).

Стр. 225. На улице *Клиши* с 1826 г. находилась Парижская долговая тюрьма.

Стр. 226. *Г-жа Сюрвиль рассказывает...* — См. наст. изд., с. 92.

...пишет он управляющему... — Цитируется письмо к Э. Реньо от 27 июня 1836 г. «*Мардош*» (1829) и «*Намуна*» (1832) — иронические поэмы А. де Мюссе. В окончательный текст романа эти стихи не вошли. Соперники Люсьена Рюбампре для «Утраченных иллюзий» написали по просьбе Бальзака Д. де Жирарден («Ромашка»), Т. Готье («Тюльпан») и Ш. Лассайи («Маргаритка», «Камелия»).

Стр. 227. ...писал он мне... — Письма Бальзака к Сегону неизвестны. Подпись Le Mag (в пер. «Стра») стоит, в частности, под цитированным выше письмом к Э. Реньо. «*Эрнани*» (1830) — романтическая драма В. Гюго.

Французский астроном Ж.-Ж. *Леверье* вычислил в 1846 г. орбиту и положение планеты, которую назвал Нептуном и которую в том же году открыл по его указаниям немецкий астроном И.-Г. Галле. Упоминание в связи с именем Леверье кометы ошибочно.

...пародия... вроде этой. — Стихотворная пародия на драму Гюго помещена в «Монографии о парижской прессе» в качестве образца деятельности критика-«рыболова», который ежедневно с терпением, достойным удильщика рыбы, заполняет газетные столбцы плодами своего остроумия.

«*Улицы Парижа*». — Эта книга вышла в 1843 (т. 1) и 1844 (т. 2) гг.

Стр. 228. ...назначен супрефектом. — Сегон, в силу своих республиканских убеждений приветствовавший революцию 1848 г., получил от нового правительства назначение в г. Каstellан (Нижние Пиренеи), но уже в 1850 г. подал в отставку.

А. И. ТУРГЕНЕВ

ИЗ ПИСЬМА К К. С. СЕРБИНОВИЧУ

Блестящий собеседник, летописец европейской культурной жизни, Александр Иванович Тургенев много странствовал по Европе в конце 20-х и начале 30-х годов не только из природной любознательности, но и в силу особенностей своей биографии: после декабрьского восстания его брат Николай Иванович Тургенев, в декабре 1825 г. находившийся в Англии, был заочно приговорен к смертной казни и навсегда простился с надеждой вернуться на родину, поэтому поездки за границу стали для А. И. Тургенева единственной возможностью видеться с братом.

Данное письмо относится к пребыванию Тургенева в Париже с сентября 1835 г. до середины июня 1836 г.; он искал в западноевропейских архивах материалы по русской истории и одновременно внимательно следил за культурной жизнью Европы, подробности которой запечатлевал в письмах из-за границы, печатавшихся вначале в «Московском наблюдателе» (1835), а затем в «Современнике» (1836—1842) под названием «Хроника русского». Тургенев познакомился с Бальзаком, который показался ему похожим «округлостью фигуры, и дородством, и сертуком на

Парижского дьячка», 2/14 октября 1835 г. (письмо В. А. Жуковскому; цит. по: Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 87). В «Хронике русского» Бальзак как собеседник упомянут в записях от марта и апреля 1836 г., что, по мнению современного исследователя, «свидетельствует о широком обмене мнений» между двумя литераторами (комментарии М. И. Гиллельсона в кн.: Тургенев А. И. Хроника русского. М.—Л., 1964, с. 517).

Текст печатается по изд.: Русская старина, 1881, т. 31, с. 202.

Стр. 229. ...*жертву его: Бальзака.* — П. А. Вяземский писал Тургеневу не позднее 30 июня/12 июля 1835 г.: «Твой Федоров выдает диковинки нашей литературы; в первой тетради досталось Бальзаку и, кажется, Сенковскому, переводчику его, за «Père Goriot», который, не во гнев будь сказано нравственному Федорову, очень замечателен и одно из лучших произведений последней французской нагой литературы» (цит. по кн.: Тургенев А. И. Хроника русского, с. 517). Перевод «Отца Горю», о котором пишет Вяземский, был выполнен А. Н. Очкиным и напечатан в издаваемом О. И. Сенковским журнале «Библиотека для чтения» (т. 8—9, 1835). Обращаясь к Тургеневу, Вяземский называет Федорова «твой Федоров», поскольку Тургенев относился к этому довольно посредственному критику и литератору более снисходительно, чем большинство современников; он, например, помогал ему собирать материал для альманаха «Памятник отечественных муз», который Федоров выпускал в 1826—1827 гг. Тургенев передает Федорову привет через Сербиновича, поскольку тот во второй половине 30-х годов редактировал «Журнал министерства народного просвещения», где Федоров сотрудничал.

...*какая-то книга его...* — В ноябре 1835 г. вышел IX том «Этюдov о нравах в XIX веке», где был впервые напечатан «Брачный контракт» (под назв. «Душистый горошек»).

С. П. КОЗЛОВСКАЯ

ИЗ ПИСЬМА К П. Б. КОЗЛОВСКОМУ

Софья Петровна Козловская — незаконнорожденная дочь русского дипломата князя Петра Борисовича Козловского и итальянки синьоры Ребора, приятельница графини Гвидобони-Висконти, которая и познакомила ее с Бальзаком. Козловская служила посредницей между писателем и русскими кругами Парижа. Период наиболее тесного общения Козловской и Бальзака приходится на вторую половину 30 — начало 40-х годов, после чего отношения их резко ухудшились по вине Ганской, ревновавшей писателя к графине Висконти и ее окружению. «Софке» (домашнее прозвище Козловской) Бальзак посвятил в 1842 г. рассказ «Кошелек».

Перевод выполнен по изд.: АВ, 1963, р. 115—116.

Стр. 230. ...*выиграл свой процесс*— См. примеч. к с. 78.

...*ездил на несколько дней в Саше*. — Бальзак уехал из Парижа в Саше 19 июня 1836 г., чтобы закончить шестой выпуск «Этюдов о нравах в XIX веке», который он «задолжал» вдове Беше; в Саше 23 июня, он начал работу над «Утраченными иллюзиями».

Стр. 231. *Робер Макер* — «разбойник-джентльмен», образ которого создал Ф. Леметр в мелодраме Б. Антье, Ж. Сент-Амана и Полианта «Постоялый двор в Адре» (1823) и сатирической комедии «Робер Макер» (1834), написанной актером в соавторстве с Б. Антье, Ж. Сент-Аманом и А. Оверне.

Т. ГОТЬЕ

ПОРТРЕТ БАЛЬЗАКА

О взаимоотношениях Бальзака и Готье см. в преамбуле к фрагментам из книги Готье «Оноре де Бальзак», о портрете работы Л. Буланже — в примеч. к с. 109. Статья о Салоне 1837 г., куда вошел и анализ этого портрета, была впервые опубликована в «Пресс» 18 марта 1836 г.

Перевод выполнен по изд.: *Сененже*, с. 12—13.

Стр. 232. ...*как говорит Инполит Суверен*. — Формулировка эта, по всей вероятности, принадлежит не Суверену, а Сент-Беву — см. примеч. к с. 92.

Стр. 233. *В рясе — это Жан Зубодробитель...* — См. примеч. к с. 111.

А. БАШЕ

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК. ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ»

Вышедшая в 1852 г. книга о Бальзаке была литературным дебютом Армана Баше. За ней последовала созданная на основе изучения рукописей книга «Происхождение Вертера» (1856), книга «Герцог де Сен-Симон» (1874), посвященная истории публикаций записок Сен-Симона, и др. Баше принадлежат также несколько обстоятельных трудов по западноевропейской истории — плод его работы в архивах Милана, Флоренции и некоторых других итальянских городов: «О венецианской дипломатии» (1862), «Король у королевы, или Тайная история женитьбы Людовика XIII на Анне Австрийской» (1864) и др.

Книга Баше «Оноре де Бальзак» — одна из первых биографий писателя и, по сути дела, первый опыт подборки воспоминаний о Бальзаке (Баше основывался не на собственных впечатлениях, но на свидетельствах друзей, знакомых и просто современников Бальзака — прежде всего, на рассказах Т. Готье). В наст. изд. опущены главы, посвященные

анализу *ЧелК*, а также составленная Баше библиография (см. примеч. к с. 144).

Перевод выполнен по изд.: *Баше*, с. 138—155. «Исторические заметки» Шанфлеры, помещенные Баше в конце книги в качестве приложения, см. в наст. изд., с. 357—370.

Стр. 234. *История об ананасах*. — Имеется в виду намерение Бальзака разводить в Жарди ананасы на продажу (один из многочисленных проектов стремительного обогащения).

Стр. 235. *...о дереве г-на де Бальзака*. — См. наст. изд., с. 265—266. *...анекдот о пряниках...* — См. наст. изд., с. 429.

...изобрели Шарля де Бернара... — В тогдашней критике было распространено противопоставление сдержанного, верно воспроизводящего реальную действительность Шарля де Бернара Бальзаку, экстравагантному, склонному к преувеличениям, гиперболизирующему свои наблюдения и злоупотребляющему туманным философствованием и щекотливыми темами. О взаимоотношениях Бальзака и Бернара см. примеч. к с. 179.

«Меланхолические расчеты». — См. примеч. к с. 118.

Стр. 236. *Бирото* — заглавный герой романа «История величия и падения Цезаря Бирото». «*Жизнь холостяка*» — название второй части романа «Баламутка» (у Бальзака было намерение назвать так весь роман, но затем он от него отказался).

Злоключения Цезаря Бирото до его рождения. — Статья Урлика, опубликованная в «Фигаро» 15 декабря 1837 г., была затем воспроизведена в конце первого издания романа «История величия и падения Цезаря Бирото». Роман этот Бальзак задумал еще в апреле 1834 г.; 2 ноября 1836 г. в письме к главному редактору газеты «Фигаро» А. Карру писатель обещал представить для публикации «фельетонами» два романа, однако один из них он не написал вовсе, другой — «Банкирский дом Нусингена» — был издан в 1838 г. Верде, а редакция «Фигаро» вместо них получила от Бальзака роман о Цезаре Бирото, написанный меньше чем за месяц и опубликованный в декабре 1837 г., но не «фельетонами», а двумя отдельными томиком — только для подписчиков «Фигаро» и принадлежавшей тому же владельцу «Эстафет». Сходную с урликавской характеристику работы Бальзака над версткой см. в восп. Т. Готье и Э. Верде (см. с. 116—117 и с. 189—190).

Стр. 237. *...обещал книгу к 15 декабря...* — На самом деле Бальзак обещал представить рукопись к 10 декабря 1837 г. «Фигаро» известила читателей о том, что роман поступил в продажу, 17 декабря (*Переписка*, т. 3, с. 356).

Стр. 238. *Сестрица Анна... ты ничего не видишь?* — Реминисценция из сказки Ш. Перро «Синяя борода» (1697).

Стр. 239. «*Медуза*» — французское судно, 2 июля 1816 г. потерпевшее крушение в открытом море; лишь 15 из 149 пассажиров удалось спастись на плоту. Алжирский город *Константина* был захвачен француз-

скими войсками 13 октября 1837 г. несмотря на упорное сопротивление местного населения.

Стр. 240. *Генрих Гейне, на ложе страданий... с посвящением Генриху Гейне.* — Рассказ «Принц богемь» был опубликован в *РПар* 25 августа 1840 г., а посвящен Гейне лишь в 1846 г. Гейне жил в Париже с 1831 г.; первое упоминание о нем в переписке Бальзака относится к 1837 г. С середины 1848 г. Гейне, страдавший прогрессивным параличом, был прикован к постели.

«*Трость господина де Бальзака*». — См. примеч. к с. 110.

Стр. 241. ...*никакого отношения к д'Антрегам.* — См. примеч. к с. 214.

«*Трактат о возбуждающих средствах*». — Этот трактат вышел из печати в мае 1839 г.

...*гости были больны,* — Историю эту Баше, по-видимому, узнал от Т. Готье (позднее она вошла в книгу последнего; см. наст. изд., с. 131 — 132).

Буйот — старинная карточная игра.

Стр. 242. ...*сюжет «Директории»... в начале «Физиологии брака»...* — В предисловии к «Физиологии брака» Бальзак ссылается на рассказы двух дам — «одной из добрейших и остроумнейших дам при дворе Наполеона» (это, безусловно, герцогиня д'Абрантес, которую Баше спутал с маркизой де Кастри) и «юной, красивой женщины лет двадцати двух», на роль которой Софи Гэ, родившаяся в 1776 г., явно не подходит (личность этой второй собеседницы Бальзака до сих пор точно не установлена). Произведения под названием «Директория» у Бальзака нет; возможно, Баше имел в виду роман «Темное дело», сюжет которого в самом деле навеян рассказами герцогини д'Абрантес. Ж. *Мери*, уроженец Марселя, был известен как блестящий говорун и импровизатор.

...*потомки фокийцев.* — Фокия — город в Малой Азии, жители которого с VII в. до н. э. вели обширную торговлю и основали на побережье Средиземного моря несколько колоний, в том числе Массалию — Марсель.

Л. ГОЗЛАН

ИЗ КНИГИ «БАЛЬЗАК В ДОМАШНИХ ТУФЛЯХ»

Бальзак познакомился с Леоном Гозланом, в ту пору начинающим литератором, в 1833 г. у издательницы вдовы Беше. Период их наиболее тесного общения приходится на 1838—1839 гг., когда Гозлан жил у Бальзака в Жарди. В 1842 г. Бальзак посвятил Гозлану «Другой силуэт женщины». Воспоминания Гозлана о Бальзаке — один из основных источников сведений о жизни писателя, как достоверных, так и легендарно-анекдотических. Впервые опубликованы в «Ревю контампорен» (т. IX, 1853; т. XXVI, 1855; т. I — II, 1858); отд. изд.: «Бальзак в домашних туфлях» (1856) и «Бальзак у себя дома. Воспоминания о Жарди» (1862).

Гозлан был очень плодовитым прозаиком и драматургом; его произведения отличаются ироничностью, парадоксальностью, неожиданными поворотами сюжета, однако сам он считал, что из всех его сочинений заслуживают внимания лишь некоторые отрывки из романов «Аристид Фруассар» (1844) и «Волнения Полидора Мараскена» (1857), а также кое-какие из водевилей.

Перевод выполнен по изд.: Gozlan L. Balzac en pantoufles. P., s. a. p. 38—42, 55—59, 135—145, 163—169, 233—238, 260—266.

Стр. 244. Об *улице Басс* и о *Жарди* см. примеч. к с. 87 и с. 76.

Стр. 245. ...*дикарей из «Кожаного Чулка»*. — Имеются в виду индейцы из романов Ф. Купера.

Телемская обитель — идеальный монастырь, придуманный Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. 1, гл. LII—LVIII); обитатели Телема поступали всегда по принципу «делай что хочешь» и жили в веселье и согласии. Об отношении Бальзака к Рабле см. с. 111.

Стр. 245. ...*знаменитого русского...* — Кто имеется в виду, сказать трудно. К посетившему Бальзака в этот же период С. П. Шевыреву (см. с. 301 — 318) описанный эпизод приложим с трудом.

Малага — наездница и куртизанка, персонаж романа «Мнимая любовница» и некоторых других произведений Бальзака. О *Вотрене* см. примеч. к с. 376 — 377.

Графиня Ида *де Бокарме* провела около десяти лет (1816—1826) на острове Ява, где ее муж служил вице-губернатором. Она познакомилась с Бальзаком в начале 1843 г., поэтому информация Гозлана о ее пребывании в Жарди — явный анахронизм. Графиня Бокарме очень старалась навязать Бальзаку свою дружбу и быть ему полезной; в частности, она нарисовала гербы персонажей *ЧелК*.

Стр. 246. ...*бурбонского, мартиники и мокко*. — По такому же рецепту варит кофе доктор Миноре в романе «Урсула Мируэ».

Стр. 248. *Проспер*, или, точнее, *картавое П'оспер*, — шутовское прозвище, имевшее хождение в кругу близких друзей Бальзака; в записке к Гаварни, датированной около 29 февраля 1840 г. (*Переписка*, т. 4, с. 47), Бальзак называет так адресата, а в записке к нему же от 11 или 12 октября 1839 г. (*Переписка*, т. 3, с. 734) сам подписывается этим именем.

Моголы — Великими Моголами называли мусульманскую династию тимуридов, которая правила Северной Индией с начала XVI в. до середины XIX в.

Стр. 249. Бальзак общался с востоковедом *Хаммером* в Вене в мае 1835 г.; тот составил для него арабский текст надписи для «Шагреновой кожи» (в изданиях до 1837 г. надпись приводилась только по-французски) и выгравировал на перстне Бальзака турецкую печать-талисман.

Стр. 252. ...*в эти дни, столь утомительные для его тела и души...* — Речь идет о периоде, предшествовавшем постановке «Вотрена».

Стр. 253. ...*последнее произведение Купера...* — Свое мнение о романе

Ф. Купера «Следопыт, или На берегах Онтарио» (1832) Бальзак высказал в «Письмах о литературе, театре и искусстве» (*РПар*, 1840), где высоко оценил куперовские описания природы, но скептически отозвался о психологической стороне этого романа и творчества Купера в целом. Реплика Бальзака в передаче Гозлана — своего рода «конспект» соответствующих страниц статьи.

Стр. 255. *...остроумного аббата Верто...* — Работая над «Историей Мальтийского ордена» (1719), аббат де Верто получил от одного мальтийского рыцаря подробное описание осады турками острова Родос (1522) уже после того, как закончил соответствующую часть книги, и сказал: «Очень жаль, но моя осада уже закончена».

Стр. 256. *Кони Марли* (1740—1745) — скульптура Гийома Кусту.

Стр. 257. *«Ревю паризьен»*. — О *РПар* см. примеч. к с. 86.

Стр. 258. *Напоминает неграмотный каламбур*. — По-французски *gaspine* — корень, *coigneille* — ворона, *bois l'eau* — пей воду.

Стр. 259. Французский *Королевский альманах*, выходявший с 1679 г., включал имена глав всех европейских государств и основных должностных лиц Франции.

...становятся именами разбойников. — Имеются в виду мелодрамы, составлявшие большую часть репертуара театров «Гетэ» и «Амбигю-комик».

Стр. 263. *...в неустовой манере Рубенса... венецианской школой...* — Гозлан противопоставляет мифологизм и декоративность итальянской живописи XV—XVI вв. (Беллини, Карпаччо и др.) точному бытописанию голландских живописцев XVII в. Об отношении Бальзака к Стендалю см. примеч. к с. 87. *«Собор Парижской богородицы»* (1831) — роман В. Гюго.

...Виктор Гюго... не упоминал имени Бальзака. — Бальзака и Гюго в самом деле разделяло многое: политические взгляды (легитимист Бальзак считал «демагогией» республиканские убеждения Гюго), литературные вкусы (Бальзак настороженно относился к идеализму и некоторой выпренности произведений Гюго, хотя высоко оценил в *РПар* сборник Гюго «Лучи и тени», 1840; ср. также примеч. к с. 104). Однако отношения их на протяжении почти двадцати лет знакомства оставались добрыми; Гюго голосовал за Бальзака на выборах в Академию (см. примеч. к с. 99), посетил его за месяц до смерти и за несколько часов до кончины (см. наст. изд., с. 389—393) и произнес проникновенную речь над могилой автора *ЧелК* (см. наст. изд., с. 394—396). Бальзак в 1843 г. посвятил Гюго «Утраченные иллюзии». В Жарди Гюго приехал 22 июля 1839 г. по поручению Общества литераторов (основано в 1838 г.), чтобы рассмотреть вместе с Бальзаком проект создания словаря французского языка (Бальзак состоял в обществе с 28 декабря 1838 г.; избран его президентом 16 августа 1839 г.; оставил общество по собственному желанию в сентябре 1841 г.).

Стр. 265. *Веспазианово древо*. — Биограф римского императора Веспазиана Светоний писал: «В загородном имении Флавиев был древний

дуб, посвященный Марсу, и все три раза, когда Веспасия (мать Веспасиана) рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви — явное указание на будущее каждого младенца. Первая была слаба и скоро засохла — и действительно, родившаяся девочка не прожила и года; вторая была крепкая и длинная, что указывало на большое счастье, а третья была сама как дерево». (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Веспасиан, 5, 2; перевод М. Л. Гаспарова).

Стр. 269. *24 февраля 1848 года* было свергнуто правительство Луи-Филиппа; произошло это не через семь, а через девять лет после приезда Гюго в Жарди. Ср. наст. изд., с. 360.

...не пахла лампадным маслом. — Недоброжелатели упрекали Демосфена в том, что речи его стоят ему слишком много труда и что отделяет он их по ночам, при свете масляной лампы.

Стр. 270. ...*кажется мне солнцем лишь на фоне кабака*. — Людовика XIV современники называли Королем-Солнцем.

...*под куполом дворца Мазарини*. — Имеется в виду Французская Академия (см. примеч. к с. 39).

«*Восточные мотивы*», «*Лучи и тени*». — Гозлан упоминает поэтические сборники Гюго 1829 и 1840 гг.

Стр. 271. *Г-н Гюго не хуже г-на де Ламартина опровергнет оскорбления...* — О политической деятельности Ламартина см. примеч. к с. 104; Гюго в 40-е годы в самом деле занялся политикой и даже стал в 1845 г. пэром Франции.

...*право быть избранными...* — Согласно закону от 19 апреля 1831 г., при Июльской монархии право быть избранными имели только те, кто платили 500 франков прямого налога; право быть избирателями давали 200 франков прямого налога.

Автор «Общественного договора» не был бы нынче депутатом. — Имеется в виду Ж.-Ж. Руссо, никогда не бывший человеком состоятельным.

Стр. 272. ...*было дано милостивое согласие*, — Неточность мемуариста: обед с В. Ленцем (см. о нем преамбулу к его восп. в наст. изд.) и В. Гюго в ресторане «Роше дю Канкаль» состоялся 27 октября 1842 г., когда Бальзак уже не жил в Жарди (*Переписка*, т. 4, с. 504).

...*перу г-на Солара...* — В 1845 г. Ф. Солар стал одним из основателей и редакторов газеты «Эпока», где с 7 по 29 июля 1846 г. печаталась третья часть романа «Блеск и нищета куртизанок» — «Куда ведут дурные пути».

Стр. 273. *Следовало спросить г-жу де При...* — Квартира на улице Басс была снята на имя г-жи де Брюньоль, исполнявшей обязанности домоправительницы Бальзака. В последнем из приведенных в наст. изд. фрагментов книги Гозлана (с. 285) она названа г-жой Х.

...*вопреки своему лицемерному наименованию*. — Basse (фр.) — низкая.

Стр. 274. ...*бюст... работы Давида д'Анже...* — См. примеч. к с. 96—97.

«...что он начал мечом». — См. наст. изд., с. 214.

Стр. 275. ...*прочтите это изумительное место.* — Дидро писал о портре-те г-жи Грез в «Салоне» 1769 г.

Стр. 276. *Галерея Аполлона* — один из залов Лувра, украшенный росписями Ш. Лебрена и Э. Делакруа, где выставлены античные драгоценности, эмали и геммы.

Стр. 277. ...*оттиски «Последнего воплощения Вотрена»*... — Поскольку в феврале 1847 г. «Эпоку» прекратила свое существование (последний номер вышел 25 февраля), «Последнее воплощение Вотрена» (четвертая часть романа «Блеск и нищета куртизанок») было напечатано в «Пресс» (13 апреля — 4 мая 1847 г.).

Стр. 278. ...*я немедленно исполнил его желание...* — Очерк Гозлана «Секретер Генриха IV и комод Марии Медичи» был опубликован в журнале «Мюзе де фамий» в 1846 г. (т. XIII).

Стр. 279. *Монфокон* — предместье Парижа, где находились бойня и главная городская виселица.

Кифера — остров в Древней Греции, посвященный Афродите и символизирующий царство радости и любви.

Сен-Мартен — канал на восточной окраине Парижа; *Ла-Вилетт* — одна из парижских боен; *Бютт-Шомон* — рабочее предместье на северо-востоке Парижа, где была расположена Менильмонтанская бойня.

Стр. 280. *Восстание в Лионе.* — Имеется в виду апрельское восстание 1834 г.

Стр. 281. *Канидия* — колдунья, описанная Горацием (Эподы, 5 и 17; Сатиры, I, 8).

Стр. 283. *В тринадцатом округе.* — Поскольку во времена Бальзака Париж был разделен на 12 округов, «быть замужем в тринадцатом округе» означало «быть чьей-либо любовницей».

Пантен — городок к северо-востоку от Парижа, на берегу Уркского канала.

Стр. 285. ... *за продолжением «Крестьян», печатавшихся тогда в этой газете.* — Гозлан контаминирует летний и зимний эпизоды: «Крестьяне» (первая часть) были опубликованы в «Пресс» в декабре 1844 г.; вторая часть не появилась в газете вовсе (см. примеч. к с. 20 и с. 103).

Стр. 286. О *Видоке* см. примеч. к с. 181.

Стр. 289. ...*книжный садовод.* — Подобная вера в реальность слова была крайне характерна для Бальзака; ср., напр., его письмо Х.-К. Андерсену от 25 марта 1843 г.: «По-моему, политик мало что значит по сравнению с поэтом и писателем. Книга более влиятельна, нежели Битва. Руссо сильнее изменил французские нравы, чем Наполеон. Аустерлицкая битва — случайность, сиюминутный триумф, что и доказали дальнейшие события; между тем такая, например, книга, как «Поль и Виргиния» [роман Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера], каждый день одерживает победы над Францией и над всей Европой» (*Переписка*, т. 4, с. 571).

А. СЕГОН

ИЗ КНИГИ «ШКАТУЛКА С ВОСПОМИНАНИЯМИ» (3)

О книге Альберика Сегона см. в преамбуле к первому фрагменту из его восп. в наст. изд.

Стр. 290. ...*кочок невозделанной земли...* — См. примеч. к с. 76.

Стр. 291—292. *На голых... стенах... пламенеющие слова...* — Этот пассаж Сегона, по-видимому, восходит к восп. Л. Гозлана (см. наст. изд., с. 180). Более правдоподобное описание см. в восп. Ф. Леметра (с. 328).

Стр. 292. *Шато-лафит* — вино, изготавливаемое на одноименном виноградунике в деп. Жиронда. Лоран-Жан обыгрывал составляющие этого слова: *chateau* — дворец, *Laffite* — улица в Париже, на которой жил банкир Д. Ротшильд (Бальзак познакомился с ним в сентябре 1832 г. на водах в Экс-ле-Бене, впоследствии посещал его салон, прибежал к его услугам, а в 1846 г. посвятил ему рассказ «Деловой человек»).

Стр. 293. Один *луидор* равнялся 20 франкам.

«*Проделки Триальфа*» (1833) — исповедально-стернианский роман, где Лассайи стремился эпатировать читателя всем, начиная с эпиграфа, звучащего следующим образом: «Ах! — Хе-хе! — Хи-хи-хи! — Ох! — Ух! ух! ух! ух! ух! — исповедание веры автора».

...*беспокойными умом и носом.* — Ср. острогу Лоран-Жана по адресу Лассайи: «Длинное тело под командой длинного носа. Вперед, шагом марш! Первым трогался нос, а за ним и весь придурок!» (Цит. по кн.: *Regard M. Balzac et Laurent-Jean.* — *AB*, 1960, p. 176.) О совместной литературной деятельности Бальзака и Лассайи см. в восп. Ж. де Нерваль (с. 297—298 и примеч. к с. 298).

Стр. 294. «*Честь и деньги*» (1853) — стихотворная комедия Ф. Понсара.

Стр. 295. Театр «*Бобино*», расположенный рядом с Люксембургским садом, посещали в основном рабочие и гризетки; там игрались фарсы и комедии весьма невысокого сорта, поэтому слова Сегона о «радости и гордости» носят откровенно иронический характер.

Стр. 295. *Барон Джеймс* — Ротшильд (см. примеч. к с. 292); о «*Медузе*» см. примеч. к с. 239.

Ж. ДЕ НЕРВАЛЬ

О БАЛЬЗАКЕ

Жерар де Нерваль познакомился с Бальзаком в середине 30-х годов; «посредниками» в данном случае могли служить люди, равно близкие к обоим писателям: Ш. Лассайи, Т. Готье. Известен даже факт своеобраз-

ного литературного сотрудничества Бальзака и Нерваля: 2 сентября 1839 г. в газете «Сьекль» была опубликована за подписью Ж. де Н. рецензия на сборник «Французы, нарисованные ими самими», включавшая очень хвалебный отзыв о Бальзаке, напечатавшем там очерки «Нотариус» и «Монография о рантье», причем известно, что в работе над этой рецензией принимал участие и сам Бальзак (ср. с. 400—403).

Мемуарные заметки Нерваля были впервые опубликованы в газете «Пресс» 7 и 28 октября 1850 г.; этот жанр был близок Нервалю, поскольку отвечал его интересу к «документалистике», к воспоминаниям, написанным не по прошествии многих лет, а «по горячим следам».

Перевод выполнен по изд.: Nerval G. de. Oeuvres complémentaires. P., 1959, t. 1, p. 276—279, 286—288.

Стр. 296. *Цванциг* (от нем. *zwanzig*) — монета в 20 пфеннигов.

Стр. 297. *...панораму ...радующую глаз.* — Фенелон. Приключения Телемака (опубл. 1699, кн. I).

...взял себе ученика. — Речь идет о Ш. Лассайи.

Стр. 298. *...была окончена в две недели... не сохранилось ни одного экземпляра...* — Нерваль немного сгущает краски в рассказе о создании «Школы супружества»; на самом деле в начале 1839 г. в Жарди Бальзак лишь доделывал пьесу, писать которую начал еще весной 1838 г.; 24 февраля 1839 г. он прочел «Школу» труппе театра «Ренессанс», но руководство театра ее отвергло; в начале марта писатель прочел пьесу в салоне г-жи Кутюрье де Сен-Клер в присутствии членов дипломатического корпуса, в том числе австрийского посла Аппонии (а не Аппони, как у Нерваля) и его супруги. Сначала Бальзак намеревался напечатать пьесу, но затем передумал; тем не менее сохранились гранки, по которым она и была впервые опубликована в 1907 г.

Стр. 299. *Спектакль был поставлен по одному из романов Бальзака.* — Очевидно, речь идет о 1835 г., в мае которого Нерваль основал газету «Монд драматик» (1835—1836), для которой сам писал театральную хронику. Премьера комедии в двух действиях Ансело и Полена по роману «Отец Горио», первое издание которого поступило в продажу в начале марта, состоялась в театре «Водевиль» 6 апреля.

Тримальхион — богач, персонаж романа Петрония «Сатирикон» (I в.), устраивающий фантастически роскошный пир.

Стр. 300. *Харлем* — город в Нидерландах.

С. П. ШЕВЫРЕВ

ВИЗИТ БАЛЬЗАКУ

Русский поэт и историк литературы Степан Петрович Шевырев, в 1838—1840 гг. путешествовавший по Европе (Италия, Франция, Англия, Германия), посетил Бальзака в Жарди 31 мая или 1 июня

1839 г. Очерк «Визит Бальзаку», впервые опубликованный в «Москвитяине» (1841, т. I, № 2, с. 357—383), органически вписывается в идеологическую программу Шевырева начала 40-х годов, наиболее четко сформулированную им в статье «Взгляд русского на образование Европы» и сводившуюся к противопоставлению «гнилого» Запада духовно здоровой и нравственно богатой России; впрочем, для Бальзака Шевырев сделал исключение и подчеркнул его отличие от современной французской словесности в целом — по его мнению, продажной и развратной.

Печатается по тексту первой публикации.

Стр. 301. Во дворце *Тюильри* находилась резиденция короля; заседания палаты депутатов («*камеры*» — от фр. *chambre*) проходили в Бурбонском дворце, расположенном напротив Тюильри на другом, левом, берегу Сены.

Пуассардки (от фр. *poissardes*) — торговки. *Рынок Невинных* — один из парижских рынков, во второй половине XIX в. закрытый.

Стр. 302. О *Вандомской колонне* — памятнике военного триумфа — см. примеч. к с. 214.

... *Гюго... толкается в запертые ее двери.* — Гюго был избран в Академию только в 1841 г.; в декабре 1839 г. он «провалился» на выборах (см. примеч. к с. 99).

Она противосмысленна ее жизни... — Шевырев справедливо отметил консервативность и догматизм Академии, многие из сорока членов которой были избраны туда за родовитость или благонравие, но отнюдь не за особенно литературные достижения.

Стр. 302—303. ...*права на литературную собственность... признано парламентом Франции.* — Шевырев не совсем точен: в марте 1841 г. вопрос о литературной собственности в самом деле обсуждался во французском парламенте (см. примеч. к с. 147), но никакой закон принят не был.

Стр. 303. ...*луч одного не проникает до другого.* — Ср. сходную мысль в восп. Л. Гозлана (с. 263).

...*муза Алфреда де Виньи, одна, сохранила целомудренную чистоту...* — Шевырев посвятил творчеству Виньи статью «Чаттертон. Драма Алфреда де Виньи» (Московский наблюдатель, 1835, ч. 4, с. 608—623), где противопоставил автора «Чаттертона» («скромного художника») Виктору Гюго, чьи драмы полны ужасов, нелепостей и «клеветы на человеческую природу».

...*не совсем чист от общего греха — писать для денег...* — В середине 30-х годов Шевырев, возглавлявший критический отдел журнала «Московский наблюдатель», вел активную борьбу с «торговым направлением» в русской литературе; с теми же мерками он подходит и к литературе французской.

Стр. 304. *В России Бальзак... почти национален.* — Подобным образом оценивал репутацию Бальзака в глазах русской публики не один Шевы-

рев. Ср. наблюдение В. М. Строева в кн.: «Париж в 1838 и 1839 годах»: «Бальзак, у нас славный, знаменитый, во Франции почти забытый и развенчанный...» (СПб., 1842, с. 180) или замечание Шанфлери: «Г-на де Бальзака обожали в Петербурге в то самое время, когда во Франции его оскорбляли» (цит. по кн.: *Бланишар*, с. 176); то же самое впечатление вынес из своего пребывания в России в 1839 г. и маркиз де Кюстин. Историю переводов Бальзака в России см. в статье: Лилеева И. А. Творчество Бальзака в России и Советском Союзе. — В кн.: Оноре де Бальзак. Библиография русских переводов. М., 1965, с. 6—36. О восприятии Бальзака в России см.: Алексеев М. П. Бальзак в России. — Красный архив, т. 3, 1923, с. 303—307; Реизов Б. Г. Бальзак. Л., 1960, с. 163—172, 295—325.

...бессильна породить его. — Ср. разъяснение этой мысли в статье «Взгляд русского на образование Европы»: «Да, эта неистовая, эта безобразная своим содержанием литература Франции есть ужасное зеркало ее жизни. <...> Эти материальные интересы, поглощающие все чувства человеческие, к чему можно подвести содержание всех теперешних романов и повестей Бальзака, — печальная истина, на которой как будто помешалось воображение ее лучшего рассказчика. <...> Если бы литераторы бичом грозной сатиры клеймили такую жизнь, свято было бы их звание; но они действуют заодно с самим обществом. Они его верные дети и слуги» (Москвитянин, 1841, т. I, № 1, с. 262).

Стр. 305. *Это Диоген между ними.* — Имеется в виду экстравагантный образ жизни греческого философа Диогена Синопского, который уже самой манерой одеваться, говорить и пр. резко отличался от окружающих.

Стр. 306. *...не живет в Париже, а за городом, в... Пасси.* — На самом деле в Пасси, на улицу Басс, Бальзак переселился только в 1840 г. (см. примеч. к с. 87).

...к тому самому Суверену. — И. Суверен, начавший свое сотрудничество с Бальзаком с издания сочинений Ораса де Сент-Обена (см. примеч. к с. 76), к концу 30-х годов стал основным издателем Бальзака.

Стр. 311. *...напомнил мне нашего Пушкина.* — Ср. в записанных со слов Шевырева в 1850—1851 гг. «Рассказах о Пушкине»: «В обращении Пушкин был добродушен, неизменен в своих чувствах к людям...» (Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 2, с. 40). Об общении Шевырева с Пушкиным см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 469-471.

...на лекции у Гиньо, переводчика Крейцеровой Символики... — Труд Ж.-Д. Гиньо «Религии древности, рассмотренные прежде всего в отношении символическом и мифологическом» (т. 1—10, 1825—1851) представлял собой расширенный и дополненный перевод книги Ф. Крейцера «Символика и мифология древних народов» (1810—1812). С 1835 г. Гиньо был профессором кафедры географии словесного факультета Парижского университета.

Профессор... в карауле! — Имеется в виду дежурства в Национальной гвардии (ср. примеч. к с. 179).

Коллегиум — Коллеж де Франс (осн. 1530), где лекции для вольнослушателей по самым разным дисциплинам читали многие крупнейшие ученые своего времени.

Стр. 312. *Я не имею еще кафедры профессора ординарного...* — Шевырев, вышедший из Университетского пансиона с чином 10 класса, в 1833 г. был избран сверхштатным адъюнктом словесного отделения Московского университета, в 1834 г. стал преподавателем, с начала 1835 г. был включен в штат, а в мае 1837 г. был утвержден экстраординарным профессором. Ординарным профессором он был утвержден лишь 27 сентября 1840 г., уже после возвращения из европейского путешествия, а 28 февраля 1841 г. был произведен в коллежские советники.

...уже несколько лет существует в России... — Первым русским законом об авторском праве считается цензурный устав 1828 г., к которому было приложено положение о правах сочинителя.

...отсюда все ваши убытки... — Имеются в виду бельгийские «контрафакции» — перепечатки без ведома автора и без выплаты ему гонорара, от которых сильно страдали французские писатели.

Стр. 313. *...разоряет его Жюльетта.* — Ср. в письме Ганской от конца марта 1833 г.: «Виктор Гюго, женившийся по любви и имеющий прелестных детей, пребывает в объятиях низкой куртизанки» (*ПГ*, т. 1, с. 45).

...суммы, которые получали Шатобриан и Тьер... — Шевырев имеет в виду участие Шатобриана в выпуске ультра роялистской газеты «Консерватер» (1818—1820) и сотрудничество Тьера в 20-е годы в оппозиционной газете «Конститусьонель» (его статьи имели такой успех, что спустя недолгое время он смог приобрести часть акций газеты). Упрек в «продажности», адресованный Шевыревым Шатобриану, не совсем справедлив; ср. отзыв Пушкина о позиции Шатобриана в 30-е годы: «Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII. Л., 1978, с. 342).

Стр. 314. *...нускался в политику и на сцену.* — Шевырев имеет в виду постановку «Вотрена» (см. примеч. к с. 100), издание *РПар* (см. примеч. к с. 86) и участие Бальзака в обсуждении проекта закона о литературной собственности (см. примеч. к с. 147).

...перепечатывал его повести... — Имеется в виду скандал с публикацией романа «Лилия в долине» (см. примеч. к с. 78).

...наше отечество целью своих нападений. — Шевырев имеет в виду антирусские, направленные против политики Николая I выступления того течения немецкой литературы и журналистики, которое получило название «Молодая Германия» (см.: Данилевский Р. Ю. «Молодая Германия» и русская литература. Л., 1969, с. 124—141). Интерпретация тезиса «всякому свое» как «девиза» России в ее взаимоотношениях с дру-

гими народами — излюбленная мысль Шевырева (см. его «Историю поэзии», т. 1, М., 1835, с. 35).

...мысль, которую завещал Гете, о всемирной литературе... — Первая из заметок Гете о мировой литературе как новом явлении в духовной жизни человечества была напечатана в 1827 г. в журнале «Искусство и древность», остальные были изданы посмертно (см.: Гете об искусстве. М., 1975, с. 567—575).

Стр. 315. *...я его кончил.* — Вторая часть романа «Утраченные иллюзии», изданная Сувереном, поступила в продажу 12 или 13 июня 1839 г.

...род Бюффона... для всей Франции. — Сравнение с многотомной «Естественной историей» (1744—1788) Бюффона спустя три года после беседы с Шевыревым вошло в «Предисловие к ЧелК»: «Если Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись в одной книге представить весь животный мир, то почему бы не создать подобного же произведения об Обществе?» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 3).

Стр. 316. *...двух произведений... изданных русскою дамою.* — Имеется в виду Каролина Павлова; Шевырев передал Бальзаку ее сборник «Les Préludes» («Прелюды»), куда вошли переводы на французский язык произведений В. Скотта, Т. Мура, Гете и др., и перевод трагедии Шиллера «Орлеанская дева» (оба — 1839).

...собрание... мемуаров... карикатуры 1830 года. — Имеются в виду 55-томное «Собрание мемуаров, посвященных Французской революции» (1820—1827), составленное С.-А. Бервилем и Ж.-Ф. Баррьером, и, по видимому, подшивки еженедельной иллюстрированной газеты «Карикатур» (1830—1835), на страницах которой появилась карикатура Ш. Филиппона, обыгрывающая сходство головы Луи-Филиппа с грушей. За это против газеты было возбуждено судебное дело, и на процессе, желая доказать, сколь велика дистанция между королем и грушей, Филиппон нарисовал длинный ряд «посредующих звеньев» между ними.

Стр. 317. *...недостает Монитера.* — «Монитер» — правительственная газета в 1799—1869 гг.

До Москвы или до Парижа. — Бальзак впервые приехал в Россию летом 1843 г., но в Москве, где постоянно жил Шевырев, не побывал.

Ж. ЛЕМЕР

ИЗ КНИГИ «БАЛЬЗАК. ЕГО ЖИЗНЬ, ЕГО ТВОРЧЕСТВО»

Книга литератора и журналиста Жюльена Лемера — традиционный историко-литературный труд, написанный на основе изучения книжных источников, однако в некоторых случаях Лемер опирается на личные впечатления и на рассказы людей, знавших Бальзака.

Перевод выполнен по изд.: Lemer J. Balzac. Sa vie, ses œuvres. P., 1892, p. 130—133.

Стр. 320. ...*наложить арест на мою мебель...* — Судебный исполнитель явился в Жарди, чтобы описать мебель Бальзака, 17 ноября 1840 г.; следовательно, мемуарист ошибается, утверждая, что посетил Бальзака весной (см. с. 319).

Стр. 321. ...*последняя из его религий*. — В «Предисловии к ЧелК»: «Я рассматриваю как подлинную основу Общества семью, а не индивид» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 9).

Ж. ВАЛЛЕС

ИЗ КНИГИ «СТРОПТИВЫЕ»

Очерк о Бальзаке вошел в одну из первых книг Жюль Валлеса, впоследствии известного политического деятеля, коммунара, а в 50—60-е годы — по преимуществу литературного критика.

Перевод выполнен по изд.: Vallès J. Les Béfractaires. P., 1866, p. 131-134.

Стр. 322. Об *улице Ришелье* см. примеч. к с. 87.

...*мул с золотом не прошел бы*. — Валлес обыгрывает изречение Филиппа Македонского, который говорил, что крепость, куда может пройти мул, нагруженный золотом, нельзя считать неприступной.

...*желая его привлечь к своей «Кроник де Пари»...* — Планш начал печататься в *КП* с самого начала 1836 г.; он перешел туда из *РддМ*, поскольку к этому времени отношения с выпускавшим этот журнал Бюлозом у него испортились. Вместе с другими сотрудниками *КП* Планш принимал участие в «пирах» у Бальзака и в еженедельных субботних обедах у Верде на улице Сены. Он оставался в редакции *КП* до конца августа 1836 г., после чего вернулся в *РддМ*, но сохранил с Бальзаком добрые отношения.

Если память не изменяет мне, она была в стихах. — Скорее всего память все-таки изменяет мемуаристу. В 1836 г., когда начала выходить *КП*, Бальзак комедий в стихах не писал. Об одном сходном проекте Бальзака см. примеч. к с. 355.

О ресторане *Веру* см. в восп. Э. Верде (с. 205—206).

О. БАРБЬЕ

ИЗ КНИГИ «ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СИЛУЭТЫ»

Неприязненный, почти враждебный тон, в котором вспоминает о Бальзаке поэт Огюст Барбье, объясняется прежде всего разницей их симпатий и антипатий в искусстве. Барбье и в своих стихах, и, как показывает настоящий очерк, в жизни отстаивал романтическую эстетику,

зигдущуюся на возвеличивании одинокого героя и на сознательной идеализации окружающей реальности. Бальзак же относился к теории и практике романтической школы скептически, даже если имел дело с произведениями таких мастеров, как В. Гюго или Ж. Санд.

Перевод выполнен по изд.: Barbier A. Souvenirs personnels et silhouettes contemporaines. P., 1883, p. 222—225.

Стр. 324. ...*в прославление Вольтера*. — А. П. Шувалов был автором многочисленных французских стихов, в том числе «Послания графа Шувалова г-ну Вольтеру», написанного на смерть Ломоносова (1765).

Премьера драмы «*Чаттертон*» состоялась 12 февраля 1835 г. Об отношении Бальзака к Виньи см. с. 472.

Стр. 325. ...*нелепого, отвратительного мальчишку, плагиатора*... — Реальный Чаттертон приписал сборник своих стихов, опубликованный посмертно, в 1777 г., выдуманному им поэту XV в. Томасу Роули.

...*проводит время в ухаживании за женой своего хозяина*... — Герой пьесы Виньи влюблен в жену грубого буржуа Китти Белл.

...*нападки на его творческую манеру*... — Упреки в мелочности и излишней детализации — одно из общих мест недоброжелательной по отношению к Бальзаку критики в 30-е годы; ср. в предисловии Бальзака к «Сценам частной жизни» (1830): «Многие, наверно, упрекнут его [автора] в том, что он зачастую вдаётся в излишние, по их мнению, подробности» (*Собр. соч.* — I, т. 15, с. 428). Не менее распространено было противопоставление романтиков — высоких идеалистов Бальзаку как грубому эмпирику, погрязшему в пересказе великосветских сплетен; ср. слова Сент-Бева о том, что Бальзак — писатель, которому удалось «проскользнуть в альков» («Десять лет спустя в литературе», 1840), или — на русской почве — пренебрежительную оценку, данную Бальзаку В. Г. Белинским в рецензии на перевод романа Ж. Санд «Мопра» (1841): «...г. де Бальзак со своими герцогами, герцогинями, графами, графинями и маркизами, которые столько же похожи на истинных, сколько сам г. де Бальзак похож на великого писателя...» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., 1979, с. 415); Ж. Санд выступает в этой рецензии в той же роли идеального образца, в которой у Барбье выступает Виньи.

Ф. ЛЕМЕТР

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Бальзак познакомился со знаменитым исполнителем романтического репертуара Фредериком Леметром в самом конце 30-х годов. Писатель был очень высокого мнения о таланте Леметра, которого он считал «таким же великим, как Тальма» (*III*, т. 1, с. 691; 16 декабря 1840 г.); он мечтал видеть Леметра исполнителем главных ролей в своих пьесах — так, в расчете на Фредерика писался «Меркаде» («Делец») (см. примеч. к с. 97).

Перевод выполнен по изд.: Lemaître F. Souvenirs. 2-ème éd., P., 1880, p. 235—254.

Первое издание этой книги, подготовленной к печати сыном актера, вышло также в 1880 г.

Стр. 327. *Минтурны* — городок в Древней Италии, близ которого скрывался в болотах римский полководец Марий, изгнанный из Рима своим политическим противником Суллой (88 г. до н. э.). Эта ситуация легла в основу трагедии А.-В. Арно «Марий в Минтурнах» (1791).

Пьерфит — северное предместье Парижа.

Стр. 329. *...белизна их ничем не была сокрыта.* — Ср. с. 291—292 и примеч. к ним.

Стр. 330. *...2-н де Ремюза... осмелился разрешить пьесу к постановке...* — Первый раз пьеса была представлена в цензуру 14 января 1840 г. и 23 января отвергнута; второй вариант был представлен 22 февраля и отвергнут 27 февраля. Шарль де Ремюза стал министром внутренних дел 1 марта 1840 г. и оставался на этом посту до 28 октября того же года. Арель собирался ходатайствовать о разрешении перед Ремюзом, но тот был занят и отослал его к Каве, который на свой страх и риск, несмотря на запрет цензоров, разрешил пьесу. Ремюза, напротив, сразу же после первого представления запретил ее и гордился этим своим поступком, благодаря которому, по его позднейшим словам, «порядочные люди почувствовали, что находятся под защитой» (цит. по кн.: *Переписка*, т. 4, с. 846).

Развязка была немислимой. — В первом варианте пьеса кончалась тем, что Вотрен с сообщниками исчезал из дома Монсорелей по собственной воле; в окончательном варианте его уводят полицейские.

Мольер изобразил Скупого, я изобразил Скупость. — Имеется в виду комедия Мольера «Скупой» (1668). Возможно, что в данном случае мемуаристу изменила память, поскольку в одном из писем Бальзак характеризует два названных произведения теми же словами, но расставленными совершенно противоположным образом: «Мольер сотворил Скупость в лице Гарпагона, а я сотворил скупца — папашу Гранде» (*ИГ*, т. 2, с. 328; 1 января 1844 г.).

Стр. 331. *«...прошелся этот несравненный актер».* — Цитата из рецензии Т. Готье на «Вотрена» («Пресс», 18 марта 1840 г.).

Стр. 332. *...какой эффект может произвести мой вид.* — Современный исследователь справедливо считает историю о парике «а-ля Луи-Филипп» как основной причине запрещения «Вотрена» легендой (*Гиз*, с. 210—213). Цензура не пропускала пьесу задолго до того, как был найден грим для Леметра, поскольку узнавала в Вотрене, да еще сыгранном Ф. Леметром, нового Робера Макера, «вора-джентльмена», уже навлекшего на себя решительное неудовольствие властей (см. примеч. к с. 333). Слух же о гонениях из-за парика стал, возможно, распространяться уже после запрещения сам Арель, который, будучи на грани банкротства, с радостью представил себя жертвой политического произвола.

Стр. 333. ...*Гюго... тщетно пытался отстоять «Вотрена»...* — Третье издание «Вотрена», которому Бальзак предпослал предисловие, вышло в мае 1840 г. Ремюза вспоминал о визите к нему Бальзака и Гюго, состоявшемся, очевидно, 16 марта: «Виктор Гюго, с которым я был в очень хороших отношениях, привел ко мне Бальзака, который гордо молчал, предоставив своему спутнику возможность прочесть мне торжественным тоном лекцию о свободе искусства» (цит. по кн.: *Переписка*, т. 4, с. 846).

...*какой-либо другой пьесой.* — Это разрешение Ремюза дал Бальзаку в письме от 25 апреля 1840 г., и распространялось оно на период с мая по август, однако Бальзак не смог им воспользоваться, поскольку пьесу «Меркаде» он закончить к этому сроку не успел, а готовую (вчуже) пьесу «Ричард Доброе Сердце», над которой он работал с начала 30-х годов, Леметр отверг.

...*напечатанного его книгу «Серафита»...* — Леметр, очевидно, вслед за Л. Сюрвилем (см. с. 78 и примеч. к ней) путает «Серафиту» с «Пирией в долине».

...*стенографирование «Робера Макера»...* — Премьера пьесы «Робер Макер» (см. примеч. к с. 231) состоялась 14 июня 1834 г.; в 1835 г. соавторы Леметра решили издать ее; Леметр, опасавшийся цензурных гонений, был против и отказался выдать им хранившийся у него единственный экземпляр текста. Тогда издатель Барба послал на спектакль стенографистов, и таким образом пьеса вышла в свет; между тем в сентябре 1835 г. во Франции была восстановлена цензура, и «Робера Макера» запретили.

Стр. 334. ...*грозит своим акционерам...* — В окончательном варианте пьесы Меркаде грозит, своему другу Верделену, и притом не в третьем, а во втором действии.

Стр. 335. ...*входит в репертуар Французского театра.* — См. примеч. к с. 97. «Делец» был впервые поставлен на сцене «Комеди Франсез» в 1868 г. и оставался в репертуаре до 1880 г.

«Дом Мольера» — «Комеди Франсез». *Маскариль* и *Скапен* — плуты из комедий Мольера. Леметр сравнивает с ними персонажей «Дельца» — Меркаде и Мишонена де Ла Брива, которые, притворяясь богачами, тщательно скрывают друг от друга свое полное разорение.

Э. ТЕКСЬЕ

ИЗ КНИГИ «СОБЫТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ»

Эдмон Тексье был профессиональным журналистом; начав с сотрудничества со многими маленькими газетами, он в 50-е гг. стал постоянным сотрудником крупной газеты «Сьекль», где вел отдел хроники, а в 1860 г. сделался главным редактором газеты «Иллюстрасьон»; среди книг Тексье наибольший интерес представляют путевые заметки, посвященные Англии, Голландии, Бельгии и другим странам.

Эдмону Тексье принадлежит не только настоящий очерк о Бальзаке, но и некоторые «устные новеллы» о нем, известные по книгам других мемуаристов; см., напр., в книге Ж. Лемера (см. о ней в преамбуле к фрагменту из восп. Лемера) историю о некоем начинающем журналисте, которому Бальзак посоветовал основать «Монитор бакалейщиков», поскольку «это единственная газета, которой в нынешние времена обеспечен успех» (Lemer J. Op. cit., p. 127).

Перевод выполнен по изд.: Texier E. Les choses du temps présent. P., 1862, p. 119—122.

Стр. 336. «Плавание» (1805) — описательная поэма Ж.-А. Эсменара. ...рассказал ему о Лирике... — Настоящий отрывок взят из главы «Парижские оригиналы», где Тексье рассказывает об одном из таких чудачков — авторе упоминаемой ниже трагедии «Дарий».

Стр. 337. Аполлон в изгнании у Адмета. — Когда Зевс поразили молнией Асклепия, сына Аполлона, Аполлон в гневе перебил циклопов и в наказание был послан служить пастухом у царя Адмета в Фессалии (греч. миф.); это классическое сравнение выдержано вполне в духе тех, которые Бальзак собирался осмеять.

...Жуи... Арно... — Бальзак упоминает видных представителей французского постклассицизма, в творчестве которых достижения стихотворной трагедии XVII в. выродились в окостеневшие, мертвые приемы; именно против таких авторов восстала романтическая школа, противопоставившая перифрастическому описанию точный, «материальный» эпитет, а единовластному господству александрийского стиха — разнообразие размеров.

...этиод о... поэзии... — По-видимому, имеются в виду «Письма о литературе, театре и искусстве» (РПар, 1840), однако таких специально написанных «классических» стихов там нет.

Б. М. МАРКЕВИЧ

ИЗ ПРОЖИТЫХ ДНЕЙ

Воспоминания русского писателя Болеслава Михайловича Маркевича, представляющие собой фрагмент из его мемуаров «Из прожитых дней» (гл. IV), были впервые опубликованы в «Санкт-Петербургских ведомостях» 30 сентября 1884 г. Как и другие фрагменты, вошедшие в данный раздел настоящего сборника, они посвящены пребыванию Бальзака в России в 1843 г. Писатель пробыл в Петербурге примерно с 29/17 июля по 7 октября/25 сентября 1843 г. Основной целью его приезда было свидание с Э. Ганской, к тому времени уже овдовевшей; о политических планах Бальзака, связанных с Россией, см. в примеч. к с. 140.

Текст печатается по изд.: Маркевич Б. М., Полн. собр. соч., т. XI. СПб., 1885, с. 419—421.

Стр. 338. ...*журнале, много лет издававшемся в Петербурге...* — Маркевич допускает сразу несколько неточностей: роман Бальзака назывался «Поиски Абсолюта» (absolu), а не «неизвестного» (inconnu); журнал «Ревю этранжер» выпускал не Бельмуар, а Беллизар; «Поиски Абсолюта» были опубликованы в этом журнале в 1834 г. (т. XII, № 28—30).

...*в Петербург из ее польского имения.* — На самом деле Бальзак приехал в Петербург из Парижа, а в украинское (а не польское, как у Маркевича) поместье Ганской Верховня попал впервые только в сентябре 1847 г.

Стр. 339. ...*с литографированным его портретом.* — Имеется в виду литография Жюльена, впервые опубликованная 5 января 1836 г. в приложении к газете «Волер», а затем воспроизведенная в «Ревю этранжер» (1836, т. 18, № 11). 12 июня 1836 г. Бальзак писал в *КП о С. Дюфуре*, парижском компаньоне Беллизара, который снабжал своего петербургского коллегу вырезками из парижских журналов или верстками публикующихся в них произведений: «У него не больше возможностей раздобыть мой портрет, чем заполучить мою прозу, но поскольку он поклялся предоставить меня *своим русским*, то послал им отвратительную литографию, сделанную с шаржа Дантана и имеющую столько же сходства со мной, сколько Санкт-Петербургская «Лилия» с «Лилией», изданной сейчас г-ном Верде» (*Переписка*, т. 3, с. 100); о скандале, связанном с публикацией в «Ревю этранжер» «Лилии в долине», см. примеч. к с. 78; о шарже Дантана см. примеч. к с. 221.

...*с подобным же портретом Жорж Занд...* — Имеется в виду литография Жюльена, опубликованная в «Волер» 20 октября 1837 г. и воспроизведенная в «Ревю этранжер» (1837, т. 21, № 1).

М. Д. НЕССЕЛЬРОДЕ

ИЗ ПИСЬМА К Д. К. НЕССЕЛЬРОДЕ

По реакции М. Д. Нессельроде, жены русского министра иностранных дел (см. о ней: Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977, с. 74—75), можно судить об отношении русских властей к приезду Бальзака. Официальные круги игнорировали писателя, поскольку опасались, что автор *ЧелК* опишет Россию в тех же тонах, в которых рассказал о своем пребывании в этой стране маркиз де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» (1843). Кюстина принимали в Петербурге очень любезно, ему уделили много внимания император и императрица, он же «отплатил» книгой весьма разоблачительного свойства; понятно, что в Бальзаке многие склонны были видеть «второго Кюстина».

Текст печатается по изд.: *Гроссман*, с. 200—201.

Стр. 340. ...она с этим писателем путешествовала, — Имеется в виду встреча Бальзака и Ганской в Вене в мае — июне 1835 г.

...не следует считать его искренним. — Позже в «Письме о Киеве» (1847) Бальзак упрекал Кюстина (впрочем, довольно несправедливо, поскольку тот оказался проникательнее многих других путешественников) в том, что его книга полна чужих мыслей, «общих мест» и ошибок (см.: *Гроссман*, с. 205). См., с другой стороны, отзыв одной знатной француженки, герцогини де Дино, встретившейся с Бальзаком 15 октября 1843 г. в Берлине: «...милый Бальзак возвращается из России, о которой отзывается так же плохо, как и Кюстин, но не станет писать путевые заметки ad hoc [по этому случаю — лат.]» (цит. по кн.: *ПГ*, т. 2, с. 261).

В. Ф. ЛЕНЦ

ИЗ «ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЛИФЛЯНЦА В ПЕТЕРБУРГЕ»

Вильгельм (Василий Федорович) Ленц, чиновник Санкт-Петербургского министерства юстиции, в октябре 1842 г., будучи в Париже, послал Бальзаку несколько восторженных писем, умоляя о свидании; в одном из них (от 10 октября) он, в частности, писал: «Я не могу уважать человека, который пробегает ваши страницы, стремясь всего-навсего узнать, женится ли А. на Б.! <...> Я очень хотел бы увидеться с вами наедине, поскольку мне хочется так много сказать и рассказать вам, что <...> посторонние, боюсь, могут принять меня за сумасшедшего» (*Переписка*, т. 4, с. 499). Около 20 октября Бальзак принял Ленца у Л. Сюрвиль, а неделю спустя, 27 октября, обедал с ним в «Роше дю Канкаль» (см. примеч. к с. 272). В Петербурге Ленц часто виделся с Бальзаком, показывал ему город; после отъезда Бальзака он писал ему 25/13 ноября 1843 г.: «С тех пор как вы уехали, я всякий раз, проходя по Миллионной, остро сожалею, что вы здесь уже не живете» (*Переписка*, т. 4, с. 627).

Текст печатается по изд.: Русский архив, кн. I, 1878, с. 441.

Стр. 341. *Красавица Замятинна*. — Ошибка или опечатка; нужно: Замятнин и Замятнина. Д. Н. Замятнин был министром юстиции в 1864—1867 гг.

...вела переписку с парижскими академиками... — В 1835 г. в Петербурге вышла на французском языке книга Голицыной «Анализ силы».
...в 1845 году... — Ошибка или опечатка; нужно: 1843.

П. П. СОКОЛОВ

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Фрагмент из воспоминаний русского художника Петра Петровича Соколова печатается по изд.: Соколов П. П. Воспоминания. М.—Л., 1930, с. 100 (впервые — Исторический вестник, т. 21, 1910, № 8).

Стр. 342. ...на музыке... — Имеются в виду концерты в Павловском воксале.

О *Кюстине* см. в преамбуле к фрагменту из письма М. Д. Нессельроде.

Н. А. РАМАЗАНОВ ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ

Русский скульптор Николай Александрович Рамазанов, направляясь в октябре 1843 г. в Рим пенсионером от Академии художеств, проделал часть пути (от Петербурга до Дрездена) вместе с Бальзаком. Письма Рамазанова были впервые опубликованы в «Русском вестнике» (1877, № XI; 1878, № II и IV); в исправленном виде текст, сверенный с подлинником, был опубликован в «Приложении» к статье Гроссмана, с. 350—369. В наст. изд. печатается по этому изд.

Стр. 343. ...*группу Леандро и Геро*. — Мраморная группа Этекса «Леандр прощается с Геро перед своей гибелью» была выставлена в Салоне 1845 г.; очевидно, Бальзак видел ее в мастерской скульптора (см.: *Переписка*, т. 4, с. 520), с которым был хорошо знаком (он отказался позировать Этексу лишь потому, что уже дал обещание Давиду д'Анже).

Стр. 344. Ф.-А. *Лемеру* было уже под сорок в 1836 г., когда он, заняв первое место на конкурсе, получил право исполнить фронтон для церкви Мадлен (строилась с 1763 по 1840 г.). Несмотря на неодобрительные отзывы критики, Лемер получил за эту работу офицерский крест Почетного легиона (1843) и кресло в Академии художеств (1845). Этот же скульптор делал фронтон для Исаакиевского собора в Петербурге.

О бюсте Бальзака работы *Давида* см. примеч. к с. 96—97.

...*медальон... для одной дамы...* — 1 февраля 1843 г. Бальзак писал Ганской: «Давид подарил моей сестре профиль, который он нарисовал для моей медали; это шедевр» (*III*, т. 2, с. 166). *Одна дама* — Ганская.

Памятник Петра, группы... Клодта. — Имеется в виду Медный всадник работы Ж.-М. Фальконе (1782) и скульптурные группы на Аничковом мосту, выполненные П. К. Клодтом в 30-е годы (установлены в 1849—1850 гг.).

...*два великолепных мраморных коня...* — Имеются в виду «Кони Марли» (см. примеч. к с. 256).

Стр. 347. ...*тот погребок, в котором пивал Гофман*. — Имеется в виду кабачок Лютера и Вегнера, который Гофман часто посещал вместе с упоминаемым ниже актером Девриентом. У хозяина сохранились (правда, в очень небольшом количестве) не рукописи, а рисунки, которые Гофман набрасывал на салфетках или клочках бумаги (см.: *Логинава О. К. Рисунок Гофмана*. — В кн.: *Художественный мир Гофмана*. М., 1982, с. 134—135). Бальзак относился к творчеству Гофмана с интересом,

однако подчеркивал свою независимость от немецкого писателя: «Я <...> не подражал Гофману, я и прочел-то его уже после того, как придумал свою книгу» (*Переписка*, т. 1, с. 571; письмо Ш. де Бернару от 25 августа 1831 г.); любопытны претензии Бальзака к Гофману: «...он ниже своей репутации, что-то в нем есть, но не так уж много; он хорошо пишет о музыке, но ничего не понимает ни в любви, ни в женщинах, он не внушает страха, потому что невозможно напугать тем, что принадлежит только материальному миру» (*ПГ*, т. 1, с. 109; 2 ноября 1833 г.).

Стр. 348. *...при выходе из вагона.* — Речь идет о приезде из Берлина в Лейпциг.

Они так привлекательны! — Бальзак — вольно или невольно — подражает здесь своему герою — папаше Гранде.

Стр. 349. *...мог создать подобную вещь?* — Речь идет о «Сикстинской мадонне» (1515—1519) Рафаэля.

II. КАСТИЛЬ

ИЗ КНИГИ

«ЛЮДИ И НРАВЫ ВО ФРАНЦИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ЛУИ-ФИЛИППА»

Ипполит Кастиль — автор ряда романов и повестей, однако главным его призванием была, безусловно, журналистика, а точнее — публицистика; он — автор книг «История второй Французской Республики» (1854—1855), «Политические портреты XIX столетия» (1856—1859) и др.

4 октября 1846 г. Кастиль поместил в газете «Смен» («Неделя»), где вел критический отдел, статью о Бальзаке, в которой, дав творчеству писателя в целом положительную оценку, упрекнул автора *Челк* в пессимизме и излишней снисходительности к отрицательным героям. 11 октября Бальзак опубликовал в той же газете «Письмо Ипполиту Кастилю», где подчеркнул неосновательность претензий к автору, чьи персонажи безнравственны, поскольку развратил их не автор, а общество (на эту статью Бальзака сослался в борьбе с плоским морализаторством Шарль Бодлер в статье 1851 г. «Добропорядочные драмы и романы»).

Перевод выполнен по изд.: Gastille H. Les hommes et les choses sous le règne de Louis-Philippe. P., 1853, p. 312—315.

Стр. 351. *...самый поразительный — это их автор.* — Эту мысль развил впоследствии Бодлер в статье «Теофиль Готье» (см. наст. изд., с. 405).

Красивая женщина лет сорока... — Имеется в виду г-жа де Брюньоль.

Речь шла о рукописях... — В 1845 г. Бальзак намеревался активно сотрудничать в только что организованной «Смен», однако ни одного художественного произведения он там не напечатал.

Г. ДЕНУАРТЕР

ИЗ КНИГИ «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»

Книга о Бальзаке (в ней собраны статьи, печатавшиеся 11—13 сентября 1850 г. в газете «Орд» — одна из первых монографий Гюстава Денуартера, впоследствии автора многих работ о французских писателях XVIII в.

Перевод выполнен по изд.: Desnoiresterres G. Honoré de Balzac. P., 1851, p. 167—173.

Стр. 352. ...*после выхода «Бедных родственников»*... — «Бедные родственники» (см. примеч. к с. 135) вышли отдельным изданием в 1847 г. у Л. Хлендовского, а в ноябре 1848 г. — в составе XVII дополнительного тома *Челк* у Фюрна (реально этот том выпустил А. Уссье). Кроме того, в сентябре — ноябре 1847 г. оба романа печатались как приложение к газете «Сьекль». О каком издателе и издании идет речь в данном случае, неясно.

...*страдавшее и смиренное лицо*. — Домоправительница Бальзака была отнюдь не так безответна, как героиня «Кузины Бетты»; когда в январе 1847 г. по настоянию ревновавшей к ней Ганской Бальзак уволил госпожу де Брюньоль, та стала шантажировать писателя с помощью перехваченных ею писем Ганской к Бальзаку, так что тому пришлось подать в суд, а возможно, и откупиться от бывшей домоправительницы, которая, таким образом, гораздо больше походила на саму кузину Бетту.

Стр. 353. ...*подражал Данте*. — Данте заставил мучиться в своем «Аду» собственных политических противников.

...*у него была большая тетрадь*. — См. примеч. к с. 52.

...*не больше, чем монах-траппист*... — См. примеч. к с. 113.

Э. ГОТ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Актер «Комеди Франсез» Эдмон Гот должен был играть слугу Жюстена в «Дельце» (см. примеч. к с. 101) и присутствовал на чтении пьесы труппе 17 августа 1848 г. Дневник Гота был впервые опубликован в 1910 г.

Перевод выполнен по изд.: Got E. Journal. 5-ème éd. P., 1910, t. I, p. 221—222.

Стр. 355. Бальзак познакомился с издателем *Этцелем* в 1840 г., когда тот начал выпускать сборник «Сцены частной и общественной жизни животных», иллюстрированный Гранвилем, в котором принял участие и

Бальзак; затем Этцель стал одним из компаньонов Фюрна при издании *ЧелК* в 1842—1848 гг.

...в своем «Продолжении». — Идея «соперничества» с Мольером очень увлекала Бальзака; он писал Этцелю 5 января 1844 г.: «Гранде был безрассудной борьбой с Гарпагоном Мольера, но я почти горжусь сознанием того, что мне удалось собрать крошки и кусочки, которые Мольер не использовал в «Тартюфе» (*Переписка*, т. 4, с. 665). 26 июня 1847 г. Бальзак писал Ганской, что собирается поручить Готье, Ш. де Бернару, Мери и Граммону «срифмовать» по своему сценарию стихотворную комедию «Тартюф»; однако план этот не осуществился (ср. примеч. к с. 364); сохранился лишь список действующих лиц и набросок первых двух сцен. Свое толкование образа Тартюфа Бальзак разъяснил в письме Ганской от 1 января 1844 г.: «Он [Мольер] показал лицемера в одной-единственной ситуации. <...> А я хочу создать Тартюфа нашего времени, Тартюфа-демократа-филантропа, и притом показать то, что Мольер оставил за сценой — Тартюфа за работой...» (*III*, т. 2 с. 328).

ШАНФЛЕРИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Шанфлери — автор нескольких работ о Бальзаке: статьи о писателе вошли в книгу «Великие силуэты прошлого и настоящего» (1861), кроме того, в 1875—1879 гг. вышли три выпуска «Документов к биографии Бальзака». Однако первым по времени и самым непосредственным свидетельством Шанфлери о том, кого он считал своим учителем в литературе, стали «Исторические заметки», напечатанные в виде приложения к книге А. Баше.

Перевод выполнен по изд.: *Ваше*, с. 219—227, 229—248.

Стр. 357. *Г-н де Шатобриан... так много говорил о своей могиле...* — В 1831 г. Шатобриан приобрел кусок земли на островке Гран-Бэ близ своего родного города Сен-Мало и завещал похоронить себя в этой заранее приготовленной могиле. Умер он 4 июля 1848 г., и лишь после этого, согласно его воле, вышел в свет главный труд его жизни — «Замогильные записки», публикации которого французская публика ждала уже более десяти лет.

...уехал из Франции... — Бальзак покинул Париж 20 сентября 1848 г., а 2 октября прибыл в Верховню.

...где выражалось желание быть избранным. — Письмо, в котором Бальзак изъявил согласие баллотироваться в члены Национального собрания, было опубликовано 18 марта 1848 г. в «Журналь де деба»; письмо, в котором Бальзак в связи с включением его в список кандидатов от «Клуба Всемирного братства» излагал свои политические взгляды, появилось в «Конститюсьонель» 19 апреля 1848 г.

Стр. 357—358. *Г-н Денуартер опубликовал... книжонку...* — См. преамбулу к фрагменту из его восп. в наст. изд.

Стр. 358. *...посвящению к «Модесте Миньон»...* — В этом посвящении Бальзак называет Ганскую «ангелом по чистоте любви, демоном по безмерности фантазии, младенцем по наивности веры, старцем по жизненной опытности, мужчиной по силе ума, женщиной по чуткости сердца...» (*Собр. соч.* — I, т. 1, с. 389). В течение первого года после смерти Бальзака Шанфлери много общался с вдовой писателя. Их связь длилась до ноября 1851 г.; однако продолжать незаконченные произведения Бальзака, как предлагала Ева де Бальзак, Шанфлери отказался.

В. Гюго жил на *площади Руаяль* (ныне площадь Вогезов), в те времена считавшейся окраиной, с конца октября — начала ноября 1832 по июнь 1848 г.

Стр. 359. *...это ходячее мраморное божество.* — Вплоть до середины 50-х годов французские литераторы, как правило, видели в Гете только бесстрастного «олимпийца», лишённого человеческих слабостей и пристрастий (см.: Baldensperger F. Goethe en France. P., 1904, p. 267—294).

«*Застольные беседы*» Лютера, собранные его учениками, были впервые опубликованы в 1565 г.; переведены на франц. яз. вместе с письмами Лютера Жюлем Мишле в 1837 г. («Записки Лютера», т. 1—2).

«*...предупредите и оставьте мне место.*» — Шанфлери цитирует записку от 11 сентября 1848 г. «*Морковная королева*» — фантастическая пантомима Шанфлери и Монье (премьера в театре «Фюнамбюль» 27 сентября 1848 г.).

Стр. 360. Газета «*Эвенман*», которую вдохновлял В. Гюго (официально во главе ее стояли сын писателя Шарль Гюго, О. Вакери и П. Мерис), начала выходить в июле 1848 г. (ср. в восп. Ш. Монселе, с. 379). Гюго и его молодые коллеги были очень заинтересованы в участии в ней Бальзака. «*Свинина с капустой*» — шокировавшее зрителей блюдо, из-за которого происходит дуэль в гротескной и буффонной пьесе Мериса и Вакери «Трагальдабас» (премьера 25 июля 1848 г. в театре «Порт-Сен-Мартен»); обед в честь спектакля, в меню которого должно было войти пресловутое блюдо, был назначен на 17 сентября, приглашение исходило от О. Вакери, но сама идея такого «меню», если верить воспоминаниям жены Гюго Адели (1856), принадлежала Бальзаку.

Монроз играл в «*Проделках Кинолы*» (см. примеч. к с. 28) заглавную роль.

...которым был обит трон. — В письме Ганской от 25 февраля 1848 г. Бальзак писал: «Тюильри был взят в час дня. Я вошел туда в полвторого, поэтому все происходило на моих глазах. Я видел, как грабили дворец. Я взял себе кусочки бархата и драпри, которыми был украшен трон» (*III*, т. 4, с. 211).

...не превосходила славы победителя при Трокадеро. — Хотя операция по взятию Трокадеро, форта на побережье Кадисского залива, кото-

рой руководил герцог Ангулемский (31 августа 1823 г.), закончилась победой французов, этот политический деятель не пользовался популярностью ни когда воевал против Наполеона (1815), ни когда подавлял революцию в Испании (1823).

...с просьбой его навестить. — В конце декабря 1847 г. Шанфлери послал Бальзаку свой сборник рассказов «Фе Мьетт» с длинным и очень лестным посвящением автору *ЧелК*. Ответная благодарственная записка Бальзака датирована не 27, а 29 февраля 1848 г.

Стр. 361. ...по фельетонам Теодифа Готье... — Хвалебные рецензии Т. Готье на пантомимы Шанфлери «Пьеро — слуга смерти», «Повешенный Пьеро» и «Пьеро-маркиз» были опубликованы в «Пресс» 12 октября 1846 г., 25 января и 18 октября 1847 г.

«Воспоминания гусарского полковника» (1822) — водевиль Скриба и Мельвиля.

Стр. 362. ...меня вызывали директора театра «Порт-Сен-Мартен»... — Братья Коньяры возглавляли в 1848 г. театр «Порт-Сен-Мартен» и в марте этого года вели переговоры с Бальзаком, желая либо получить от него инсценировку «Бедных родственников» или «Шагреневои кожи», либо вновь поставить «Вотрена»; со своей стороны Бальзак предлагал им инсценировку романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо»; ни один из этих планов не осуществился; единственный осуществленный театральный замысел Бальзака 1848 г. — драма «Мачеха», поставленная 25 мая 1848 г. Остейном в «Театр историк».

...чтобы окарикатурить короля. — Об обстоятельствах, при которых был впервые поставлен и запрещен «Вотрен», см. в примеч. к восп. Ф. Леметра. Ш. Дюшатель с мая 1839 г. по 1 марта 1840 г. занимал должность министра финансов, а 29 октября 1840 г. стал министром внутренних дел; скорее всего Шанфлери путает его с Ремюза (см. примеч. к с. 333).

Рассказ «Фуэнсес», вошедший в сборник «Фе Мьетт» (см. примеч. к с. 360), высоко оценил в рецензии, напечатанной 18 января 1848 г. в «Корсер-Сатан», Ш. Бодлер, писавший о нем: «Прекрасная идея — фатальная картина, приносящая несчастье тем, кто ее покупает» (*Бодлер*, с. 551).

С.-А. Берту, уроженец Камбре, возглавлял с 1830 г. «Газетт де Камбре», где помещал свои рассказы и фельетоны, а затем, покровительствуемый Э. де Жирарденом, стал печататься в «Пресс» и редактировать журнал «Мюзе де фамий», также принадлежавший Жирардену. В октябре 1841 г. Берту опубликовал в этом журнале статью о Бальзаке, в целом доброжелательную, но содержащую упреки писателю, роющемуся в «социальной грязи».

Стр. 363. «...я даю вам десять тысяч франков». — См. примеч. к с. 76.

Господин Вильмен... не умел как-нибудь это применить. — Стиль Вильмена получал такую оценку не от одного Бальзака; в 1861—1862 гг. Бодлер писал в заметках о Вильмене (опубл. в 1907 г.), что стиль его — «темное болото, в котором тонет теряющий терпение читатель», и заме-

чал, что фраза Вильмена «набита бесполезными словами; он не ведаёт ни об искусстве построения фразы, ни об искусстве построения книги» (Бодлер, с. 851, 846).

Стр. 364. ...стал политическим деятелем... высшего ранга. — В конце февраля 1848 г. Ламартин был назначен министром иностранных дел. ...стихи для... романа «Провинциальная знаменитость в Париже»... — См. примеч. к с. 226.

...комедия выиграет, если будет переложена в стихи... — По-видимому, речь идет о стихотворном продолжении «Тартюфа» (см. примеч. к с. 355). Ср. в письме Ганской от 26 июня 1847 г.: «Я был у Готье <...> он сказал, что не может сочинять больше десяти стихов в день и что на стихотворную комедию у него уйдет полгода» (ПГ, т. 4, с. 69).

Стр. 365. ...Доменикино... много и других картин... — Речь идет о доме на улице Фортюне (см. примеч. к с. 87). У Бальзака было несколько картин Доменикино; самая большая из них — «Папа Римский учреждает праздник Тела Господня» — имела 3 м. в высоту и 1 м. 70 см. в ширину.

Стр. 366. ...уже отмеченных в некрологе г-на Сент-Бева. — См. наст. изд., с. 412.

...шаржи, имевшие хождение в художественных мастерских... — Ср. наст. изд., с. 92 и 121.

Стр. 367. ...будто я прячу миллионы... — Ср. с. 133.

Беттина фон Арним, сестра немецкого романтика К. Brentano и жена другого немецкого романтика, А. фон Арнима, с детства была восторженной поклонницей Гете и переписывалась с ним; эти письма были опубликованы в 1835 г. под названием «Переписка Гете с ребенком».

Стр. 368. ...воздвигнуть... памятник... — Памятник Бальзаку был воздвигнут в Париже только в конце XIX в.; вначале на улице Бальзака (бывшая Фортюне) была установлена статуя работы Фальгьера, впервые выставленная в Салоне 1899 г.; затем на бульваре Распай был открыт другой памятник — работы Родена, сделанный раньше предыдущего (выставлен в Салоне 1898 г.), но поначалу показавшийся слишком непривычным.

...характеризует г-н Виктор Гюго... — Цитата из речи Гюго на похоронах Бальзака (см. наст. изд., с. 395).

...веселость — столь редкое... качество... — Шанфлери был не единственным, кто уделял особое внимание жизнерадостности Бальзака; ср. глубокое наблюдение Барбе д'Оревилю (о его отношении к Бальзаку см. преамбулу к его восп. в наст. изд.): «От других европейских гениев нашей эпохи Бальзака отличает остроумие, то утраченное качество, которое я назвал бы чуждым девятнадцатому столетию, настолько оно нынче редко. <...> Это та радостная, звучная, комическая нота, которая пронизывает все его творчество <...> и звучит даже в самых меланхолических, страстных и трогательных местах» (цит. по кн.: *Бланиар*, с. 79—80).

Стр. 369. ...дни премьеры «Трагальдабаса». — См. примеч. к с. 360.

Выражение «культ великих людей», равно как и стоящая за ним

концепция, значимая для взглядов многих деятелей французской культуры второй половины XIX в. (Флобер, Ренан), восходит к Т. Карлейлю, автору книги «Герои, культ героев и героическое в истории» (1840). Подчеркивая первостепенную роль мелочей для понимания великих людей, Шанфлеры осмысляют эту теорию в духе «реализма» (под которым он понимал верно воспроизведение быта без обязательной заботы о стиле).

Стр. 370. ...*для своих лакеев они не великие люди.* — Афоризм, приписываемый А. Корнюэль.

...*а на колонне книга.* — Ныне на могиле Бальзака установлен бюст работы Давида д'Анже (см. примеч. к с. 96—97).

Т. ДЕ БАНВИЛЬ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Фантастический колорит очерка, в котором поэт Теодор де Банвиль изложил свои впечатления от общения с автором «Человеческой комедии», возможно, навеян отрывком книги Т. Готье «Оноре де Бальзак» (см. преамбулу к ней в наст. изд.), где говорится о карнавале призраков, кружившихся перед глазами того, кто слушал Бальзака (см. наст. изд., с. 121).

Перевод выполнен по изд.: Banville T. Mes souvenirs. P., 1882, p. 277—288.

Стр. 371. Об *Институте* см. примеч. к с. 39.

О *Прюдоме* см. преамбулу к восп. А. Монье в наст. изд.

Жокрис — театральный персонаж, наивный глупец-слуга. Наибольшую популярность эта фигура завоевала благодаря пьесе Дорвиньи «Отчаянье Жокриса» (1802).

Стр. 373. ...*какую она имеет ныне в мире идей.* — Банвиль отмечает здесь два очень характерных для Бальзака момента: во-первых, убежденность в материальности мысли (ср. примеч. к с. 289; полуфантастический эпюд Банвиля сам по себе является воплощением и развитием этой темы), а во-вторых, приверженность (в противовес «литературному космополитизму» романтиков, ориентировавшихся на английские или немецкие литературные образцы) концепции XVIII века о превосходстве французской культуры над всеми другими европейскими культурами (ср. в письме Ш. де Бернару от 25 августа 1831 г.: «Нам не хватает патриотизма <...> Разве англичане сравнивали «Паризину» [поэма Байрона] с «Федрой» Расина? разве они расхваливают иностранных литераторов в ущерб своим собственным? нет; будем же и мы поступать так же»). — *Переписка*, т. 1, с. 570).

Гитпогриф — крылатый конь, действующий в поэме Ариосто «Неистовый Роланд» (1516).

Стр. 375. *Г-жа д'Эспар.* — См. примеч. к с. 125.

Стр. 376. ...*ключ Тизбе из «Анжело»...* — В драме В. Гюго «Анжело»

(1835, д. 1, явл. 6—8) актриса-цыганка Тизбе хитростью выманивает у падуанского подесты Анжело Малипьеры ключ от покоев его жены.

Селевкиды — эллинистическая династия, правившая Сирией и частью Малой Азии и Ближнего Востока в 312—64 гг. до н. э.

...африканскую пустыню... Венецию... Норвегию... — Имеются в виду пейзажи из рассказов «Страсть в пустыне» и «Фачино Кане» и романа «Серафита».

Стр. 376. Анри *де Марсе* — персонаж романов «Златоокая девушка», «Утраченные иллюзии», «Брачный контракт» и др., блестящий денди, со временем остепенившийся и ставший при Июльской монархии крупным государственным деятелем.

Стр. 376—377. Банвиль перечисляет персонажей Бальзака и их прототипов. *Бисиу* — карикатурист, действующий во многих романах Бальзака; *Камилл Мопен* — псевдоним писательницы Фелисите де Туш, героини романа «Беатриса»; беглый каторжник *Вотрен*, он же *Жак Коллен* («Отец Горию», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета куртизанок»), наделен почти магической властью над преступным миром; ему помогает его тетка Жаклина Коллен, сводня и отравительница, иногда выступающая под именем торговки подержанным платьем г-жи Сент-Эстев.

Стр. 377. *Госпожа де Мофриньез*. — См. примеч. к с. 126.

«Трагальдабас». — См. примеч. к с. 360.

III. МОНСЕЛЕ

ИЗ КНИГИ «МАЛЕНЬКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЬ»

Уроженец Нанта, Шарль Монселе приехал в Париж в 1846 г. Здесь он стал сотрудничать с газетами «Пэи» и «Пресс», с журналами «Артист» и «Ревю де Пари», где печатал литературно-критические статьи о новых пьесах и романах, а также эссе о романах XVIII века. Впоследствии это столетие стало главной темой творчества Монселе: в 1857 г. он выпустил книгу «Незаслуженно забытые писатели XVIII столетия», за которой последовали «Любовные истории XVIII века» (1862); ему принадлежат также книги о Ретифе де Ла Бретоне (1854) и противнике Вольтера Э. Фрероне (1864). Другой страстью Монселе была гастрономия: идя по следам знаменитого автора «Физиологии вкуса, или Размышлений о трансцендентальной гастрономии» (1825) А. Брийа-Саварена, он выпустил «Поваренную книгу в стихах» (1859) — сборник рифмованных рецептов и «Альманах гурманов» (1865), а также основал небольшой журнальчик «Гурман» (впрочем, это начинание успеха не имело).

Перевод выполнен по изд.: Monselet Ch. Petits mémoires littéraires. P., 1885, p. 10—12.

Ссылку на воспоминания Шарля Монселе о Бальзаке см. также в примеч. к с. 105.

Стр. 379. ...*В редакции «Эвенман».* — См. примеч. к с. 360.

...и даже сообщил нам его название. — Бальзак обещал газете продолжение «неведомых мучеников» (по общему плану *ЧелК* это произведение должно было войти в «Философские этюды»; первый фрагмент под назв. «Ессе homo» был опубликован в июне 1836 г. в *КП*; продолжение, для которого Бальзак придумал название «Современный Федон», написано не было).

...*последнее путешествие в Россию...* — Бальзак выехал из Парижа 20 сентября 1848 г.

Стр. 380. О «*Трагальдабасе*» см. примеч. к с. 360.

А. УССЕ

ИЗ КНИГИ «ИСПОВЕДЬ»

Плодовитый романист и журналист, Арсен Уссе в начале 30-х годов был одним из завсегдатаев «малого сенакля» в тупике Дуайенне (см. примеч. к с. 108). В 40-е гг. он был известен прежде всего тем, что пытался возродить в своем творчестве жанр пасторали, популярный во второй половине XVIII в. С конца 40-х гг. Уссе становится театральным администратором; при Второй империи, не оставляя писательской деятельности, получает пост генерального инспектора провинциальных музеев; среди его сочинений основное место занимают «псевдоисторические» книги о великих людях прошлого.

Деловые отношения Арсена Уссе с Бальзаком дважды складывались не слишком удачно: летом 1845 г. Уссе возглавил редакцию *РП*, дав журналу новое название — «Артист, ревью де Пари», и просил Бальзака о сотрудничестве, однако тот, памятуя о своих неладах с бывшим редактором *РП* Бюлозом (см. примеч. к с. 78) и о многочисленных отрицательных рецензиях на его романы, напечатанных на страницах старого *РП*, отказался. В 1849 г. Уссе стал администратором «Комеди Франсез», и именно в этот период театр отказался ставить «Дельца» (см. примеч. к с. 97).

Перевод выполнен по изд.: Housseye A. Confessions. P., 1885, t. III, p. 117—121.

Стр. 381. *Вернувшись из Дрездена...* — Бальзак и его жена были в Дрездене 9—12 мая 1850 г. на обратном пути из России; в Париж они прибыли 20 мая.

Дорогой г-н директор... — Эта записка не сохранилась.

Стр. 382. ...*дали два голоса!* — См. примеч. к с. 99.

...*были едва знакомы.* — Близкими друзьями Мюссе и Бальзак никогда не были, но они не раз встречались у общих знакомых — в частности, вместе обедали в январе 1847 г. у герцогини (бывшей маркизы)

де Кастри, а в мае 1848 г. присутствовали у нее же на представлении пьесы-пословицы Мюссе «Каприз» (см. след. примеч.).

Салонная комедия-пословица Мюссе «*Каприз*», впервые опубликованная 15 июня 1837 г. в *РддМ*, десять лет пребывала в полном забвении, затем актриса Аллан увидела ее на сцене в Петербурге и решила сыграть понравившуюся ей пьесу в «Комеди Франсез» (премьеры состоялась 27 ноября 1847 г.), после чего «пословицы» Мюссе сразу вошли в моду. «*Уста и чаша*» (1832) — драматическая поэма Мюссе не салонного, а высшего романтического плана.

Премьера комедии Мюссе «*Подсвечник*» (впервые — *РддМ*, 1 ноября 1835 г.) состоялась в «Комеди Франсез» 29 июня 1850 г.

Стр. 382—383. *...слишком долго французский дух назывался г-н Колен д'Арлевиль...* — Драматург Ж.-Ф. Колен д'Арлевиль, пользовавшийся в конце XVIII в. немалой популярностью, был автором незамысловатых нравоописательных комедий.

А. УССЕ

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ БАЛЬЗАКА

Перевод статьи А. Уссе, впервые опубликованной в «Фигаро» 20 августа 1883 г., выполнен по изд.: Ferry G. Balzac et ses amies. P., 1888, p. 278—282.

Стр. 384. «*Дом Мольера*» — «Комеди Франсез».

Стр. 386. *Я отдохну на седьмой день.* — Парафраза библейского текста.

Ж.-Б. НАККАР

ЗАМЕТКИ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ БАЛЬЗАКА

Доктор Наккар, сосед Бальзаков по кварталу Марэ в 20-е годы, был Бальзаку другом, кредитором, врачом. Бальзак посвятил ему в 1836 г. «*Лилию в долине*».

Перевод выполнен по изд.: *Баше*, с. 157—160.

Стр. 387. *...пребывания в России.* — См. примеч. к с. 379 и 381. *...новый, необратимый характер.* — С 1843 г. Бальзак страдал хроническим менингитом — следствием умственного перенапряжения; среди его симптомов были невралгии, тик, частичная потеря памяти; весной 1849 г. в Верховне начались осложнения на сердце и легкие, испортилось зрение. Непосредственной причиной смерти явилась рана на ноге, приведшая к гангрене.

...за помощью к моим коллегам... — Консилиум состоялся 30 мая 1850 г.

В. ГЮГО

СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

О взаимоотношениях Бальзака и Гюго см. примеч. к с. 263. Очерк «Смерть Бальзака» вошел в книгу «Что я видел» (1888).

Текст печатается по изд.: *Гюго*, т. 14, с. 253—257.

Стр. 389. *Во Францию он вернулся...* — См. примеч. к с. 381.

...та же болезнь, от которой умер... Сулье. — Ф. Сулье умер от болезни сердца, меж тем как причиной смерти Бальзака были сразу несколько недугов (см. примеч. к с. 387).

Стр. 389. *...где жил Бальзак.* — См. примеч. к с. 87 и 146.

Стр. 391. *...упрекал... за мою «демагогию».* — Имеются в виду республиканские убеждения Гюго.

...отказаться от титула пэра Франции... — Титул пэра, отмененный после революции 1848 г., Гюго получил в 1845 г.

...попадаете прямо в часовню... — Имеется в виду часовня св. Николая, так же как и особняк на улице Фортюне, выстроенная Божоном.

В. ГЮГО

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ БАЛЬЗАКА

Вошло в книгу «Дела и речи. До изгнания» (1875).

Текст печатается по изд.: *Гюго*, т. 15, с. 218—220.

Стр. 395. *...анатомирует мысль* — Формулировка, употреблявшаяся применительно к Бальзаку с самого начала 30-х годов; ср., напр., у П. Лакруа (Жакоба-Библиофила): «Г-н де Бальзак до предела усовершенствовал психологический анализ; он <...> очень ловко и умело занимается своего рода моральным анатомированием» (Lacroix P. Les aventures du grand Balzac. Bruxelles, 1839, p. 12).

...и мизантропию у Руссо. — Ср. примеч. к с. 368.

Стр. 396. *...не мрак, а свет!* — Гюго повторяет мысль, высказанную им на похоронах Ф. Сулье 27 сентября 1847 г. (также вошла в «Дела и речи. До изгнания»).

Ж.-Д. БАРБЕ Д'ОРЕВИЛЬИ

СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

Жюль-Амедей Барбе д'Оревильи, не знакомый лично с Бальзаком (он единственный раз в жизни видел его в омнибусе — *Блانشар*, с. 208), был страстным поклонником его творчества и оставил немало проницательных суждений о нем (см., напр., примеч. к с. 368).

Статья «Смерть Бальзака» была впервые опубликована в газ. «Мод» 24 августа 1850 г.

Перевод выполнен по изд.: Barbey d'Aurevilly J. Premiers articles (1834—1852). P., 1973, p. 212—213.

Стр. 398. «Земную жизнь пройдя до половины...» — Начало «Божественной комедии» Данте.

...«дух дремлет в водах». — По-видимому, парафраза библейского текста («Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою»).

...о Гении, которого потеряли. — Настоящую статью можно считать началом целого цикла формально не связанных между собой работ Барбе о Бальзаке, среди которых особенный интерес представляет статья «Роман в XIX веке» («Конститусьонель», 1 декабря 1874 г.), где, в частности, говорится: «До Бальзака во Франции существовал только личный роман <...> Но вот пришел <...> Бальзак, и <...> роман из личного стал социальным. Там, где раньше был только человек, появилось целое общество. От анализа литература поднялась к синтезу <...> Гомера называют эпическим поэтом, поскольку он сумел описать в своей поэме всю цивилизацию своего времени. В таком случае, Бальзак ничуть не менее эпичен, чем Гомер. Ведь и он описал в «Человеческой комедии» всю цивилизацию своей эпохи» (Barbey d'Aurevilly J. Le XIX siècle des œuvres et des hommes. P., 1964, t. 2, p. 244—245).

Г. ФЛОБЕР

ИЗ ПИСЬМА К Л. БУЙЁ

Письмо относится к периоду, когда Гюстав Флобер путешествовал по Востоку (1849—1851); о смерти Бальзака Флобер узнал с большим опозданием из газеты «Журналь де Константинопль»; сравнительно поздно познакомился он и с творчеством Бальзака: так, лишь в 1852 г. он впервые прочел «Луи Ламбера» и был потрясен, «узнав» в этом герое себя (письмо к Л. Коле от 27 декабря 1852 г.). Свое «родство» с Бальзаком Флобер осознал и позже: «Тео [Готьё] не раз утверждал, что, когда я говорю, ему кажется, будто он слышит Бальзака, и что мы были бы с ним друзьями», — писал он племяннице Каролине 9 декабря 1876 г. (Флобер, т. 2, с. 184); тем не менее многие черты личности Бальзака (страсть к роскоши, постоянные размышления о деньгах, легитимистские симпатии) Флобер не одобрял (см. письмо племяннице от 31 декабря 1876 г.).

Текст печатается по изд.: Флобер Г. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., 1956, с. 35.

Ш. БОДЛЕР

О БАЛЬЗАКЕ

Хотя Шарль Бодлер был очень мало знаком с Бальзаком, его характеристики автора *ЧелК* принадлежат к числу наиболее пронизательных и глубоких суждений о писателе. Дело заключается в том, что Бодлер всегда считал Бальзака, «писателя и ученого, изобретателя и наблюдателя, натуралиста, которому равно ведомы и законы порождения идей, и законы создания живых существ», «великим человеком в самом прямом смысле слова» (из статьи «Рассказы Шанфлери», 1848), и восхищение способствовало пониманию.

КАК ПЛАТИТ ДОЛГИ ГЕНИЙ

Впервые — «Эко де театр», 23 августа 1846 г.

Перевод выполнен по изд.: *Бодлер*, с. 535—538.

Стр. 401. ...*ананасы по четыре су...* — См. примеч. к с. 234.

...*автор Теории заемного письма...* — По-видимому, Бодлер имеет в виду раннюю книгу Бальзака «Искусство платить долги и удовлетворять кредиторов, не тратя ни одного су», а также многочисленные упоминания о векселях и их оплате в *ЧелК*.

...*в кабинете богатого и процветающего коммерсанта...* — Имеется в виду Л. Кюрмер, издатель сборника «Французы, нарисованные ими самими» (1839); ср. преамбулу к восп. Ж. де Нерваля в наст. изд.

«Деба» — газета «Журналь де деба».

Стр. 402. ...*невысокого молодого человека...* — Речь идет об Э. Урлиаке.

...*сногшибательное предисловие...* — См. с. 236—239.

...*достопочтенных гасильников...* — Бодлер обыгрывает название пародийного «Ордена гасильников», который изобрели в 1814 г. редакторы газеты «Нэн жон» («Желтый карлик»); в этот орден они включили всех известных реакционеров и клерикалов своего времени. Э. Урлиак в последние годы жизни обратился к религии.

...*третьему лицу...* — Имеется в виду Жерар де Нерваль; его рецензия появилась в «Сьекль» 2 сентября 1839 г.

Второй друг... — Имеется в виду Т. Готье, живший на улице Наварен. Его статья появилась в «Пресс» 11 сентября 1839 г.

ИЗ СТАТЬИ «ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

Впервые — *РП*, март — апрель 1852 г.

Перевод выполнен по изд.: Baudelaire Ch. *L'Art romantique*. Р., 1968, р. 128—129.

Стр. 403. *Когда готовились к постановке «Проделки Кинолы»...* — Репетиции «Проделок Кинолы» в театре «Одеон» шли с 24 января по 16 марта 1842 г.; премьера состоялась 19 марта.

ИЗ СТАТЬИ «ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 1855 ГОДА»

Впервые — «Пэи», 26 мая 1855 г.
Перевод выполнен по изд.: *Бодлер*, с. 216—217.

ИЗ КНИГИ «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ»

Впервые — «Ревю контампорен», 30 сентября 1858 г.
Перевод выполнен по изд.: *Baudelaire Ch. Les Paradis artificiels*. P., 1966, p. 69.

Стр. 404. ...в *гостиной, где шел разговор о чудесных свойствах гашиша...* — Описываемая сцена произошла, по-видимому, 22 декабря 1845 г. в особняке Лозена (в ту пору называвшемся особняком Пимодана), в квартире художника, приятеля Т. Готье; этот последний, по-видимому, и пригласил туда Бальзака (*Переписка*, т. 4, с. 71—72).

...*создатель теории воли...* — См. примеч. к с. 91.

ИЗ СТАТЬИ «ГЕОФИЛЬ ГОТЬЕ»

Впервые — «Артист», 13 марта 1859 г.
Перевод выполнен по изд.: *Бодлер*, с. 678—679.

ИЗ ПИСЕМ

Перевод выполнен по изд.: *Baudelaire Ch. Correspondance*. P., 1973, t. 1, p. 177, 444.

III. СЕНТ-БЕВ

Г-Н ДЕ БАЛЬЗАК

Литературные отношения Бальзака и Сент-Бева складывались очень непросто. В рецензии на роман «Поиски Абсолюта» (*РддМ*, 15 ноября 1834 г.) критик скептически оценил изобретенную Бальзаком систему повторяющихся персонажей, указав к тому же на принадлежность Бальзаку романов 20-х годов, подписанных псевдонимами. Крайне не лестные отзывы о Бальзаке содержались и в статье Сент-Бева «Десять лет спустя в литературе» (*РддМ*, 1 марта 1840 г.) — см. примеч. к с. 325. Бальзак

не оставил без ответа выпады критика — ответом на первый из них явился роман «Лилия в долине», где Бальзак, по преданию, намеревался «переписать» роман Сент-Бева «Сладострастие» (1834) и показать тому, как нужно разрабатывать тему платонической любви юноши и замужней женщины, ответом на вторую — резкая критика труда Сент-Бева «Пор-Руаяль» в *PPар* (август 1840 г.).

Публикуемый здесь некролог, впервые опубликованный в газете «Конститусьонель» 2 сентября 1850 г. и вошедший затем во второй том «Бесед по понедельникам», — наиболее объективная и доброжелательная статья Сент-Бева о Бальзаке.

Перевод выполнен по изд.: Sainte-Beuve Ch. Causeries du lundi. P., 1851, t. 2, p. 416—427.

Стр. 407. ...*статью, которая касается меня...* — Своей резкой статьей Бальзак, как уже было сказано, отвечал на статью Сент-Бева «Десять лет спустя в литературе». Как образчик тона, в каком Сент-Бев печатно высказывался о Бальзаке, приведем также отрывок из статьи «О критическом уме и о Бейле» (*РодМ*, 1 декабря 1835 г.): «Когда я размышляю о том, где начинается и где кончается это множество скверных романов, я не могу удержаться от того, чтобы не сказать: *«Самому плодотворному из наших романистов* понадобилась навозная куча высотой с дом, чтобы взрастить несколько хрупких, чахлых, редких цветков; впрочем, теперь цветы увяли и уже никогда больше не вырастут, а куча все растет и растет» (Sainte-Beuve Ch. Portraits littéraires. P., 1845, t. 1, p. 369).

Стр. 408. ...*Бирото и Кревелей...* — Буржуа Цезарь Бирото — главный герой романа «История величия и падения Цезаря Бирото»; буржуа Кревель — персонаж романа «Кузина Бетта».

Стр. 409. *Читайте его, прошу вас, только в первых изданиях...* — Роман «Тридцатилетняя женщина» (оконч. редакция — 1842) состоит из самостоятельных рассказов, опубликованных в 1831—1834 гг. По-видимому, Сент-Бев хотел сказать, что последние главы, посвященные судьбе детей героини, слабее первых и страдают мелодраматизмом.

Стр. 411. *«Похвальное слово Монтеню».* — Эта статья Вильмена получила в 1812 г. премию Французской Академии, членом которой Сийес был с 1804 г.

Стр. 412. ...*и у Петрония...* — Роман Петрония «Сатирикон» является своеобразной «энциклопедией» античных пороков.

Шаль очень хорошо сказал... — См. примеч. к с. 429.

Стр. 413. ...*уподобиться Гете... с мраморным челом...* — См. примеч. к с. 359.

...*как Курций в пропасть...* — По преданию, римский юноша Курций пожертвовал собой, бросившись во внезапно разверзшуюся посреди Рима пропасть, края которой сразу же после этого сомкнулись.

...*в этой самой газете...* — «Кузина Бетта» публиковалась в «Конститусьонель» с 8 октября по 3 декабря 1846 г.

Стр. 414. *«Прекрасное во всем всегда строго»*, — По-видимому, имеется в виду статья Бональда «О стиле и литературе» (август 1806 г.) — Bonald L. *Mélanges littéraires, politiques et philosophiques*. P., 1819, t. 1, p. 362.

...как сделал Леопольд Робер... — Швейцарский художник Л. Робер покончил с собой из-за несчастной любви.

Стр. 415. О Шарле де Бернаре и Бальзаке см. примеч. к с. 179 и 235.

Вилла Диодати — вилла на берегу Женевского озера, в местечке Колоньи, где в 1816 г. жил Байрон; Бальзак был там не один раз, в частности, вместе с Ганской в конце декабря 1833 г. или начале января 1834 г.

А.-Л. КЛЕМАН ДЕ РИС

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Художественный критик и библиофил Атаназ-Луи Клеман де Рис не только автор мемуарно-критического очерка о Бальзаке, но и внук прототипа одного из бальзаковских романов. Отец приемного отца мемуариста, сенатор Доминик Клеман де Рис был в сентябре 1800 г. похищен при таинственных обстоятельствах и спустя две недели освобожден за выкуп; эту историю, известную ему по рассказам г-жи д'Абрантес, Бальзак положил в основу романа «Темное дело».

Перевод выполнен по изд.: Clément de Ris L. *Portraits à la plume*. P., 1853, p. 293—333.

Стр. 418. *...смеялись над квартирой на улице Ришелье; вышучивали его сады; насмехались над домом в Пасси...* — См. примеч. к с. 87 и с. 76.

Стр. 419. *...продавать там ананасы...* — См. примеч. к с. 234. *...прав господин Ф. Шаль...* — См. примеч. к с. 429.

Стр. 420. *...отвратительные романы... под именем лорда Р'Оона...* — См. примеч. к с. 48.

«Холостяки». — Имеется в виду вторая часть романа «Баламутка», носящая название «Жизнь холостяка».

«Без изволения Минервы». — Гораций. Наука поэзии, 385.

...жизнерадостного короля Людовика XI... — По-видимому, Клеман де Рис подразумевает сластолюбие Людовика XI, которого во всех остальных отношениях трудно назвать весельчаком.

Стр. 421. *...при Валуа... в эпоху Регентства... при Людовике XV...* — Перечислены периоды французской истории, известные крайней вольностью нравов.

Усадьба Гренадьер — место действия одноименного рассказа.

Госпожа д'Эглемон — героиня романа «Тридцатилетняя женщина».

Госпожа де Морсоф — героиня романа «Лилия в долине».

Аббат Бирото — персонаж рассказа «Турский священник».
Годиссар — персонаж рассказа «Прославленный Годиссар».
Доктор Руже, и его сын — персонажи романа «Баламутка».
Мадемуазель Кормон и шевалье де Валуа — персонажи романа «Старая дева».

«Ясность — лак мастера». — Вовенарг. Размышления и максимумы, 730.

Стр. 422. *Он защищал все, что имело отношение к их правам...* — См. примеч. к с. 147.

...Вольтера... избил люди герцога Ветюна... — Ошибка мемуариста: 4 февраля 1726 г. Вольтера избил слуги шевалье де Рогана.

Стр. 423. *...урон французской книготорговле...* — Имеются в виду статьи «Письмо французским писателям XIX века», «К истории процесса по поводу «Лилии в долине» и «О литературной собственности и контрафакции».

...в сверном издании Этцеля... — Этцель вместе с несколькими компаньонами начал в 1842 г. выпускать первое полное издание *ЧелК*, но в 1845 г. продал свои права Фюрну.

...одним из основателей Общества литераторов. — См. примеч. к с. 263.

Стр. 424. *«Физиология прессы».* — Имеется в виду «Монография о парижской прессе» (см. примеч. к с. 80).

...чтение... трагедии о Генриетте Английской... — См. с. 47—48 и примеч. к с. 47.

Он был... клерком... владельцем словолитни... — См. примеч. к с. 33, 55, 56.

«Графиня с двумя мужьями». — По-видимому, имеется в виду рассказ «Полковник Шабер».

«Давид Сешар, или Страдания изобретателя» — третья часть романа «Утраченные иллюзии».

Пальма, Жигонне — ростовщики, действующие в романах «История величия и падения Цезаря Бирото», «Урсула Мируэ» и др.

Стр. 425. *«Дон-Жигадасы»... «Арденнские викарии»...* — Из этих романов Бальзаку принадлежит только «Арденнский викарий» (см. примеч. к с. 48).

...происходил из старинного рода... — Отец Бальзака происходил из крестьян (см. примеч. к с. 23).

«Шуаны» датированы 1827 годом... — «Шуаны» вышли в свет в 1829 г. (см. примеч. к с. 58).

Стр. 426. *«Ревю паризьен».* — Об этом журнале см. примеч. к с. 86.

«ГЭп» — сатирический ежемесячный журнал, который в 1839 — 1849 гг. сочинял и выпускал А. Карр.

...таланту господина де Латуша... — О Латуше и критике Бальзаком его романа «Лео» см. примеч. к с. 58.

Стр. 427. *«Вотрен»... «Мачеха» нали с шумом.* — О «Вотрене» см. примеч. к с. 100, о «Киноле» и «Памеле Жиро» — примеч. к с. 28, о «Ма-

чехе» — примеч. к с. 362 (в отличие от предыдущих пьес эта драма имела значительный успех).

Стр. 428. *Таллеман де Рео... сделал наброски...* — Г. Таллеман де Рео был автором «Занимательных историй» (писались после 1657; опубл. 1834) — сборника мемуаров и исторических анекдотов его времени.

«Гений — это терпение» — устное высказывание Бюффона, известное по мемуарной книге М.-Ж. Эро де Сешеля «Путешествие в Монбар» (1785).

Родился 16 мая 1799 г. — На самом деле Бальзак родился 20 мая (см. примеч. к с. 22).

Ф. ШАЛЬ

БАЛЬЗАК-ПАНТЕИСТ

Филарет Шаль, писатель, критик, переводчик, библиограф (с 1837 г. до конца жизни он служил главным хранителем в библиотеке Мазарини), был в юности близко знаком с Бальзаком; ему принадлежит введение к «Философским романам и повестям» (сентябрь 1831; рус. перевод в кн.: Бальзак О. Шагреневая кожа. М., Книга, 1983, с. 406—415); вместе с Бальзаком он участвовал в коллективном сборнике «Темные рассказы» (1832). Статья Шаля дает представление о тех по большей части несправедливых нападках критиков, которым подвергались произведения и личность Бальзака и при его жизни, и даже после смерти.

Перевод выполнен по изд.: Charles Ph. La psychologie sociale des nouveaux peuples. P., 1875, p. 132—133, 136—141.

Стр. 429. «*Граф Ори*» (1825) — опера Дж. Россини.

...он ясновидец... — Впервые Шаль высказал эту мысль в некрологе без названия, опубликованном 24 августа 1850 г. в «Журналь де деба».

Стр. 430. *...превосходящий Дюма и Сю...* — Шаль критикует писателей типа Э. Сю, А. Дюма и Э. Скриба за то, что они создают лишь типизированные фигуры («идеальный буржуа» у Скриба или «порочный священник» у Сю), не уделяя должного внимания индивидуальной психологии.

Стр. 431. *...рождался Годиссар...* — Речь идет о персонаже рассказа «Прославленный Годиссар».

...никакой нравственной оценки... — Хотя в «Предисловии к ЧелК» Бальзак и сравнивал себя с естествоиспытателями, а свое творение с «Естественной историей» Бюффона, все же оценку Шаля нельзя признать верной; об обвинениях Бальзака в безнравственности и сочувствии к отрицательным персонажам см. примеч. к с. 87 и преамбулу к восп. И. Кастиля.

Стр. 433. *...это был бюст Наполеона...* — См. примеч. к с. 214.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

Абади Поль (1812—1884), скульптор и архитектор — 186.

Абрантес (урожд. Пермон) Лора, герцогиня д' (1784—1838), возлюбленная Бальзака; ей посвящена в августе 1835 г. «Покинутая женщина» — 155, 448, 476, 492, 526.

Август Октавиан (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), римский император с 27 г. до н. э., внучатый племянник Юлия Цезаря — 45, 138, 270, 471.

Август Прусский, принц (1790—1843), прусский полководец — 476.

Ажан, герцог де, коллекционер — 300.

Айртон Генри (1610—1651), английский генерал, зять Кромвеля — 43, 44.

Александр VI (наст. имя и фам. Родриго Борджиа; 1431 — 1503), папа римский с 1492 г. — 376.

Александра Федоровна (1798—1860), российская императрица с 1825 г., жена Николая I — 508.

Али-Паша Тепеленский (ок. 1744—1822), албанский феодал, правитель (с 1787 г.) части Балканского полуострова с центром в городе Янина — 112.

Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.), древнегреческий полководец — 130, 469.

Аллан (наст. имя и фам. Луиза Депрео; 1809—1856), актриса — 520.

Альтарош Мари-Мишель (1811 — 1884), литератор, сотрудник газеты «Шаривари» — 223, 487.

Ампер Жан-Жак (1800—1864), литератор, сын физика и математика Андре-Мари Ампера (1775—1836) — 154, 476.

Ампи (наст. имя и фам. Адольф Симоли; 1795—1868), драматург — 460.

¹ В указатель включены имена и фамилии лиц, упомянутых в тексте мемуаров и в примечаниях. Общеизвестные фамилии и фамилии авторов, чьи воспоминания включены в настоящее издание, не аннотируются. У лиц французского происхождения (за исключением королей Франции) национальность не указывается. Страницы текста, где данное лицо выступает как мемуарист, выделены полужирным шрифтом, страницы примечаний — курсивом.

Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель — 496.

Андре Франсуа-Гийом (1759—1833), драматург — 48, 443.

Ангулемский Луи-Антуан де Бурбон, герцог де (1775—1844), сын Карла X — 360, 515.

Анна Австрийская (1601—1666), французская королева с 1615 г. — 490.

Анри — см. Бальзак А.-Ф.

Ансело Жак-Арсен-Франсуа-Полликарп (1794—1854), драматург — 498.

Антье (наст. имя и фам. Бенжамен Шеврийон; 1787—1864), драматург — 490.

Аппер Бенжамен-Никола-Мари (1797—?), филантроп — 65, 449, 481.

Аппонии (Аппони) Антуан Рудольф (1782—1852), австрийский посол во Франции в 1826—1849 гг. — 498.

Аппонии (Аппони; урожд. Ногарола) Тереза, жена А.-Р. Аппонии, приятельница Бальзака — 298, 498.

Араго Эмманюэль (1812—1896), адвокат и драматург — 172—173, 479.

Аранда Педро Пабло Абарка де Болеа, граф д' (ок. 1718—1799), испанский дипломат и государственный деятель, посол во Франции в 1773—1784 гг. — 271.

Арди Александр (ок. 1560—ок. 1631), драматург — 373.

Арель Шарль-Жан (1790-1846), в 1831—1840 гг. директор театра «Порт-Сен-Мартен» — 128, 327—329, 331—333, 505.

Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский писатель — 517.

Арним Людвиг Ахим фон (1781—1831), немецкий писатель — 516.

Арним (урожд. Брентано) Беттина (1785—1859), немецкая писательница — 367, 516.

Арно Антуан-Венсан (1766—1834), писатель — 337, 505, 507.

Арривабен Джованни, граф (1787—1881), итальянский экономист, карбонарий, с 1822 г. живший вне Италии — 392.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 112, 120, 226, 397, 442, 462, 465, 518, 526.

Балланш Пьер-Симон (1776—1847), писатель и философ — 154, 476.

Бальзак (урожд. Саламбье) Анна-Шарлотта-Лора (1778—1854), мать Бальзака; ей посвящен в 1836 г. «Сельский врач» — 22, 23, 26, 27—31, 34—36, 40, 46—48, 56, 58, 60, 65, 70, 71, 76, 81, 84, 86, 438—441, 445, 446, 453.

Бальзак Анри-Франсуа де (1807—1858), младший брат Бальзака; ему посвящен в 1842 г. «Загородный бал» — 26, 30, 81, 439, 454, 476.

Бальзак Бернар-Франсуа (1746—1829), отец Бальзака — 22—25, 27, 29—35, 37, 39, 47—49, 54—56, 58—60, 122, 123, 424, 439—442, 445, 446, 475, 528.

Бальзак Ева де — см. Ганская Э.
Бальзак Жан-Луи Гез, сеньор де (ок. 1595—1654), литератор — 48, 183, 443, 482.

Банвиль Теодор де (1823—1891) — 371—378, 517—518.

Барба Луи (1795—1870), типограф — 333, 506.

Барбе д'Оревилль Жюль-Амедей (1808—1889) — 397—398, 516, 521, 522.

Барбье Андре, наборщик, компаньон Бальзака в типографии на ул. Марс-Сен-Жермен — 55, 149, 445.

Барбье Огюст (1805—1882) — 324—326, 503, 504.

Барош Пьер-Жюль (1802—1870), государственный деятель — 392.

Баррьер Жан-Франсуа (1786—1868), литератор — 502.

Баше Арман (1829—1886) — 144, 234—243, 472, 490—492, 513.

Безлен, педагог — 31.

Бейль Пьер (1647—1706), философ и критик — 274, 458.

Бейль (350, 351, 426) — см. Стендаль.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 504.

Беллизар Фердинанд (1798—1863), книгопродавец и издатель — 314, 338, 508.

Беллини, семья итальянских живописцев венецианской школы (XV—XVI вв.) — 494.

Беллуа Огюст-Бенжамен-Гийом, граф, затем маркиз де (1812—1871), литератор, друг Бальзака, совладелец *КП*; ему посвящен в 1839 г. «Гамбара» — 86, 129, 226, 293, 295, 366, 448.

Беме Якоб (1575—1624), немецкий философ, пантеист и мистик — 65.

Беранже Пьер-Жан (1780—1857) — 270, 344, 444.

Бервиль Сент-Альбен (1788—1868), литератор и адвокат — 502.

Берже, педагог в Ангулеме — 184.

Беркен Арно (1747—1791), детский писатель, моралист — 87.

Бернадо Жан-Батист (1763—1844), маршал Франции, в 1818—

1844 г. шведский король Карл XIV Юхан — 476.

Бернар дю Грай де Ла Виллет Шарль де (1804—1850); писатель; ему посвящен в 1844 г. «Сарразин» — 86, 112, 179, 226, 235, 415, 456, 465, 480, 491, 511, 513, 517, 526.

Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737—1814), писатель — 496.

Берни Александр де (1809—1882), сын госпожи де Берни; ему посвящена в 1842 г. «Госпожа Фирмиани» — 56, 445.

Берни (урожд. Хиннер) Луиза-Антуанетта-Лора де (1777—1836), возлюбленная Бальзака; ей посвящен в 1832 г. «Луи Ламбер» — 83, 149—150, 455, 474, 485.

Берни Этьен-Шарль-Габриэль де (1768—1851), муж госпожи де Берни — 481.

Беррийский Шарль-Фердинанд де Бурбон, герцог де (1778—1820), сын герцога д'Артуа, брат герцога Ангулемского, наследник французского престола — 178, 480.

Берругуте Алонсо (1486—1561), испанский скульптор, художник и архитектор — 134.

Берту Самюэль-Анри (1804—1891), литератор — 362, 515.

Бетмон, адвокат — 223.

Бетон, герцог де — см. Роган-Шабо.

Беше Луиза-Мари-Жюльена («вдова Беше»; 1800—1880), дочь издателя Франсуа-Жюльена Бешестаршего, жена (с 1829 г. вдова) издателя Шарля Беше (наст. имя и фам. Пьер-Адам Шарло), в 1829—1836 гг. (до второго замужества) издательница — 81, 86, 280, 451, 485, 490, 492.

Блер Джон (ум. ок. 1782), шотландский историк — 37, 442.

Блутов Дмитрий Николаевич (1785—1864), русский государственный деятель — 341.

Бовуар Роже де (наст. имя и фам. Эдуар-Роже де Бюлли; 1809—1866), литератор — 453.

Бодлер Шарль (1821—1867) — 400—406, 457, 466, 511, 515, 523—524.

Бодуэн Александр (1791—1854), типограф — 445.

Божон Никола (1718—1786), финансист — 87, 134, 146, 171, 367, 389, 391, 392, 418, 472, 521.

Бокарме (урожд. Шастеле) Ида, графиня Визар де (1797—1872), знаковая Бальзака, ей посвящен в 1844 г. «Полковник Шабер» — 245—246, 493.

Бомарше Пьер-Огюстен Карон де (1732—1799) — 32, 166, 334, 351, 394, 422, 441, 473.

Бональд Луи Габриэль Амбруаз, виконт де (1754—1840), философ и публицист — 177, 414, 470, 526.

Бонапарт Люсьен (1775—1840), брат Наполеона I — 476.

Бонингтон Ричард (1802—1828), английский художник — 430.

Борджиа Лукреция (1480—1519), дочь папы римского Александра VI, жена (в третьем браке) Альфонса д'Эсте, герцога Феррарского — 376.

Борже Огюст (1808—1877), художник; ему посвящена в 1837 г. «Обедня безбожника» — 464.

Борель, парижский ресторатор — 223.

Боссьон Жак-Шарль (1776—1821), хирург — 52, 445.

Боссюэ Жак-Бенин (1627—1704), теолог — 45, 443.

Боше Франсуа (1796—1873), наездник — 193.

Бра Теофиль-Франсуа-Марсель (1797—1863), скульптор — 452.

Брандус, музыкальный издатель — 228.

Бреммель Джордж Брайан (1778—1840), английский денди — 130, 469.

Брен, префект департамента Индра-и-Луара в 50-е гг. — 32.

Брентано Клеменс (1778—1842), немецкий писатель — 516.

Брийа-Саварен Антельм (1755—1826), писатель-гастроном — 166, 518.

Бриссо-Тивар Луи-Сатюрнен (1792—1850), государственный деятель — 278—284.

Брут Луций Юний (VI в. до н. э.), римский государственный деятель — 31, 440.

Брюньоль Луиза-Филиберта (наст. фам. Бреньо; 1803—1874), домоправительница Бальзака в 1840—1847 гг. — 273, 274, 285, 287, 351, 352, 495, 511.

Буало-Депрео Никола (1636—1711) — 91, 104, 119, 258, 270, 458, 467.

Буйе Луи-Ясент (1822—1869), поэт — 399, 522.

Буйонская (урожд. Манчини) Мари-Анна, герцогиня (1646—1714), хозяйка литературного салона, покровительница Лафонтена — 452.

Буланже Луи (1806—1867), художник; ему посвящена в 1842 г. «Тридцатилетняя женщина» — 109, 232—233, 369, 464, 481, 490.

Буле, типограф — 454.

Буллан Огюст-Феликс, издатель — 458.

Буль Андре-Шарль (1642—1732),

придворный краснодеревщик Людовика XIV — 134.

Буньо́ль, полицейский — 329.

Бури́ньон Антуанетта (1616 — 1680), ясновидица, религиозная писательница — 65.

Бурсе́ Ги, нотариус, друг семьи Бальзаков — 42.

Бюиссон, портной Бальзака, у которого писатель снимал комнату на ул. Ришелье в 1839 г. — 128, 323.

Бюло́з Франсуа (1803—1877), издатель — 192, 453, 480, 503, 519.

Бю́ффон Жорж-Луи Леклерк (1707—1788), естествоиспытатель — 315, 317, 411, 428, 502, 528.

Вайан госпожа, соседка Бальзака по Вильпаризи в начале 20-х г. г. — 94, 459.

Вакери Огюст (1819—1895), литератор — 369, 377, 379, 380, 514.

Валлес Жюль (1832—1885) — 322—323, 503.

Валуа, династия французских королей в 1328—1589 гг. — 421, 526.

Вальи Леон де (1804—1863), литератор — 324—326.

Ван Амбург Исаак А. (1811—1865), американский дрессировщик — 327, 331.

Ван Гельмонт Жан-Батист (1577—1644), фламандский врач и алхимик — 412.

Ван Дейк Антонио (1599—1641), фламандский художник — 90, 285.

Ван Остаде Адриан (1610—1685), голландский художник — 263.

Вапро Луи-Гюстав (1819—1906), литератор — 183, 482.

Варень Виктор, журналист — 478.

Ватрипон Антонио, литератор — 484.

Ватто Антуан (1684—1721), художник — 275.

Вату Жан (1792—1848), литератор и историк — 460.

Вейо Луи (1813—1883), литератор — 456.

Вербрюгген Хендрик Франциск (1655—1724), фламандский скульптор — 134.

Вергилий Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) — 269, 430.

Верде Эдмон (наст. имя Жан-Батист-Антуан; 1795-1869) — 76, 189—221, 451, 453, 480, 484—487, 491, 503.

Верс, ресторатор — 211, 322, 503.

Веспасиан (9—79 гг.), римский император с 69 г. — 265, 494—495.

Верто Рене Обер, аббат де (1655—1735), историк — 255, 494.

Видок Франсуа-Эжен (1775—1857), вор и каторжник, затем сыщик — 181, 286—289, 331, 481, 496.

Виллер-Лафе Луи-Филипп де (1749—1822), друг Бальзака-отца — 39, 40.

Вильмен Абель-Франсуа (1790—1870), историк литературы — 32, 363, 411, 440, 515—516, 525.

Виньи Альфред де (1797—1863) — 109, 146—147, 303, 306, 324—325, 460, 461, 472—473, 499, 504.

Вителлий (15—69 гг.), римский император в 69 г. — 206, 485.

Вовенарг Люк де Клапье, маркиз де (1715—1747), писатель — 421, 527.

Вожла Клод Фавр, сеньор де (1585—1650), лингвист — 77, 452.

Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) —

205, 214, 246, 324, 334, 414, 422, 440, 486, 504, 518, 527.

Вьель-Кастель Орас, граф де (ок. 1798—1864), литератор — 325.

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), русский писатель — 341, 489.

Гаварни (наст. имя и фам. Гийом Сюльпис Шевалье; 1804 — 1866), художник — 160, 223, 293, 295, 477, 485, 493.

Галле Иоганн Готфрид (1812—1910), немецкий астроном — 488.

Ганзе, педагог — 31, 440.

Ганнибал (247 или 246—183 гг. до н. э.), карфагенский полководец — 37, 442.

Ганская (урожд. Ржевусская) Эвелина (1800?—1882), русская помещица, полька по национальности, жена Бальзака с 14 марта 1850 г., его многолетняя возлюбленная и корреспондентка; свое первое письмо, подписанное «Иностранка», она отправила Бальзаку из Одессы 28 февраля 1832 г.; ее первая встреча с Бальзаком произошла в сентябре 1833 г. в Невшателе — 134, 243, 338—340, 344, 358, 384, 415, 438, 450—452, 457, 461—464, 470—471, 478, 489, 501, 508—510, 512—514, 516, 519, 526.

Ганский Вацлав (1778—1841), первый муж Э. Ганской — 461.

Гаркнесс Маргарет (годы рожд. и смерти неизвестны), английская писательница XIX в. — 437.

Гвидобони-Висконти (урожд. Лоуэлл) Френсис Сара, графиня (1804—1883), приятельница Бальзака; ей посвящена в 1839 г. «Беатриса» — 73, 451, 452, 489.

Гвидобони-Висконти Эмилио, граф (ум. 1852), муж Ф.-С. Гвидо-

бони-Висконти, приятель и кредитор Бальзака — 73, 451, 452.

Гейне Генрих (1797—1856) — 109, 234, 240, 464, 492.

Генриетта-Мария (1609-1669), английская королева в 1625—1649 гг. — 43, 44, 443, 527.

Генрих IV (1553—1610), французский король с 1589 г. (фактически с 1594 г.) — 496.

Генрих V — Генрих де Бурбон, граф де Шамбор (1820—1883), сын герцога Беррийского, последний законный наследник престола из династии Бурбонов, с 1830 г. живший вне Франции — 228.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 109, 121, 314, 344, 359, 367, 397, 398, 413, 446, 464, 467, 502, 514, 516, 525.

Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк — 242.

Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874), политический деятель и историк — 32, 440—441.

Гийон Жанна-Мари Бувье де Ламот (1648—1717), мистическая писательница — 65.

Гийоне-Мервиль Жан-Батист, (1773—1855), юрист; ему посвящен в 1846 г. «Эпизод из эпохи Террора» — 33, 441.

Гиньо Жозеф-Даниэль (1794—1876), филолог, археолог — 311, 500.

Гоббс Томас (1588—1679), английский философ — 242.

Годар Шарль-Франсуа-Мишель, крестьянин-винодел из Вильпаризи; снабжал мукой парижских булочников и выполнял поручения Бальзаков — 37.

Годи Ж.-Л., трикотажник, издатель «Афоризмов и мыслей Наполеона» — 480.

Гозлан Леон (1803—1866) — 86, 130, 131, 180, 181, 244—289, 293—295, 379, 452, 453, 458, 465, 466, 481, 483, 492—497.

Голицына (урожд. Измайлова) Евдокия Ивановна, княгиня (1780—1850), русская аристократка, математик — 341, 509.

Гольбейн Ганс Младший (1497 или 1498—1543), немецкий художник — 370, 390.

Гомер — 414, 522.

Гонкур Жюль Юо де (1830—1870) — 160, 465—466, 477, 485.

Гонкур Эдмон Юо де (1822—1896) — 160, 465—466, 477, 485.

Гораций (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65—8 гг. до н. э.) — 269, 281, 496, 526.

Госслен Шарль (1792—1859), издатель — 76, 476, 479.

Гот Франсуа-Жюль-Эдмон (1822—1901) — 355—356, 512.

Готье Теофиль (1811—1872) — 86, 99, 108—136, 223, 232—233, 235, 241, 243, 327, 328, 331, 361, 363, 364, 366, 379, 380, 402—404, 452, 458—460, 463—470, 488, 490, 491, 497, 505, 511, 513, 515—517, 522—524.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — 24, 347, 446, 510—511.

Граммон Фердинанд де, граф (1811—1897), литератор, в конце 1835 г. ставший секретарем Бальзака и помогавший ему выпускать *KII*; ему посвящена в 1845 г. «Провинциальная муза» — 86, 87, 226, 293, 295, 309, 310, 315, 316, 426, 448, 513.

Гранвиль (наст. имя и фам. Жан Иньяс Изидор Жерар; 1803—1846), художник — 513.

Грез (урожд. Бабути) Анна-

Габриэль, жена Ж.-Б. Греза — 275, 496.

Грез Жан-Батист (1725—1805), художник — 275, 496.

Гробо, трактирщик в Ангулеме — 185.

Гроньяр, портной из Тура — 38.

Гужон Жан (1510—ок. 1566), скульптор и архитектор — 233.

Гумбольдт Александр фон (1769—1859), немецкий путешественник и естествоиспытатель — 247.

Гутьер Пьер (1732—1813), чеканщик — 292.

Гуэн, владелец замка Мере в Турени — 157.

Гэ (урожд. Нишо де Ла Валетт) Софи (1776—1852), писательница — 193, 196, 242, 462, 492.

Гюго (урожд. Фуше) Адель (1803—1868), жена В. Гюго — 514.

Гюго Адель (1830—1915), младшая дочь В. Гюго — 392.

Гюго Виктор (1802—1885) — 97—99, 101, 103, 106, 109, 111, 113, 130, 188, 226, 227, 262—272, 302, 303, 306, 313, 314, 333, 337, 344, 358, 360, 362, 363, 368, 376, 377, 379, 381, 382, 389—396, 442, 453, 458, 460, 462, 464—466, 469, 479, 483, 488, 494, 495, 499, 501, 504, 506, 514, 516—518, 521.

Гюго Луи, генерал, дядя В. Гюго — 389.

Гюго Шарль (1826—1871), сын В. Гюго, литератор — 514.

Гюден Теодор (1802—1880), художник-маринист — 146.

Даблен Теодор (1783—1861), торговец скобяным товаром, друг семьи Бальзаков; ему посвящены в 1845 г. «Шуаны» — 42, 83, 84, 95, 455.

Давид Жак Луи (1748—1825), художник — 475.

Давид д'Анже Пьер-Жан (1789—1895), скульптор; ему посвящен в 1843 г. «Турский священник» — 97, 110, 274, 285, 344, 369, 389, 459, 464, 495, 510, 517.

Дантан Жан-Пьер (1800—1869), скульптор — 221, 487, 508.

Данте Алигьери (1265—1321) — 38, 65, 96, 353, 369, 398, 442, 448, 512, 522.

Дассонвилле де Ружмон Жан-Луи-Анри, друг Бальзака-отца и четы Сюрвилей — 451.

Дебюро Жан (1796—1846), актер-мим — 209, 486.

Девериа Жак Жан Мари Ашиль (1800—1857), художник — 445.

Девриент Людвиг (1784—1832), немецкий актер — 347, 510.

Дезобр Шарль-Луи (1798—1871), филолог, историк, издатель — 138, 471.

Декан Александр-Габриэль (1803—1860), художник-ориенталист — 268.

Делавинь Казимир (1793—1843), писатель — 148, 393, 474.

Делайе, мадемуазель, гувернантка в семье Бальзаков — 22.

Делакруа Эжен (1798—1863), художник — 180, 496.

Деланнуа (урожд. Думерк) Жозефина (1783—1854), приятельница матери Бальзака, дочь Д. Думерка; ей посвящены в 1839 г. «Поиски Абсолюта» — 86, 456.

Делеклюз Этьен-Жан (1781—1863) — 154—156, 475—476.

Делоне-Валле Рене (1778—?), издатель, шурин Л. Мама — 161, 477.

Демосфен (ок. 384—322 гг. до

н. э.), древнегреческий оратор — 269, 495.

Деннери (наст. имя и фам. Адольф и Филипп; 1811—1899), драматург — 124, 335, 460.

Денуайе Луи (1805—1868), журналист — 223, 293, 295, 487.

Денуартер Гюстав Ле Бризуа (1817—1892) — 352—354, 357, 512, 514.

Джорджоне (наст. имя и фам. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко; 1476 или 1477—1510), итальянский художник — 275.

Дидро Дени (1713—1784) — 166, 275, 496.

Дино Доротея де Курланд, герцогиня де Талейран-Перигор, принцесса де Саган (1792—1862), знаковая Бальзака — 509.

Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.), древнегреческий философ-киник — 305, 318, 500.

Добиньи (Бодуэн Добиньи Жан-Мари-Теодор), драматург — 483.

Доменикино (наст. имя и фам. Доменико Цампьеро; 1581—1641), итальянский художник — 365, 516.

Домье Оноре (1808—1879), художник — 223, 369.

Дорвиньи (наст. имя и фам. Луи Аршамбо; 1734—1812), драматург — 371, 917.

Доу Герард (1613—1675), голландский художник — 200.

Друзэ Жюльетта (наст. имя и фам. Жюльена Говен; 1806—1883), актриса, возлюбленная В. Гюго — 313, 501.

Думерк Даниэль (1738—1816), армейский поставщик, покровитель Бальзака-отца — 439.

Дутремон де Миньер Мари-Альбертина-Дезире Ларош де Ла Ри-

бельри (в первом браке Маршан), состоятельная жительница Тура — 32, 441.

Дьелуар Эмиль, издатель — 458.

Дю Барри Жанна, графиня (1743—1793), фаворитка Людовика XV — 477.

Дюбоше, издатель — 448.

Дюбуа Гийом, кардинал (1656—1723), дипломат и государственный деятель, в 1722—1723 гг. первый министр Франции — 161.

Дювидаль, девицы, вероятно, дочери Жана-Жака-Филиппа-Мари Дювидаля, маркиза де Монферрье (1752—1829), государственного деятеля эпохи Империи — 154.

Дюк Педро Корнехо (1677—1757), испанский художник — 134.

Дюма Александр Дави де ла Пайетри (Дюма-отец; 1802—1870) — 95, 101, 103, 109, 141, 303, 306, 392, 427, 430, 432, 453, 460, 481, 515, 528.

Дюма Александр (Дюма-сын; 1824—1895) — 103, 462.

Дюмон, книготорговец — 336.

Дютак Арман-Жан-Мишель (1810—1856), журналист, издатель — 168, 223, 291, 293, 295, 456, 487.

Дюфур С, издатель — 508.

Дюшатель Шарль, граф Таннеги (1803—1867), государственный деятель — 362, 515.

Екатерина Медичи (1519—1589), французская королева с 1547 г. — 376.

Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева с 1558 г. — 270.

Жан-Поль (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Рихтер; 1763—1825), немецкий писатель — 242.

Жанен Жюль-Габриэль (1804—

1874), писатель и критик — 99, 209, 313, 453, 486.

Жантиль, врач — 280.

Жениоль Альфред Андре (1813—1861), художник — 376.

Женуд Антуан-Эжен, барон (1792—1849), католический публицист — 181, 482.

Жерар Франсуа, барон (1770—1837), художник, хозяин литературно-художественного салона — 72, 74, 75.

Жирарден (урожд. Гэ) Дельфина (1804—1855), писательница, жена Э. де Жирардена; ей посвящен в 1842 г. «Альбер Савариус» — 103, 104, 110, 119, 121—123, 132, 133, 169—170, 179, 226, 240, 256—257, 274, 287, 364, 450, 462, 464, 467, 481, 488.

Жирарден Эмиль де (1806—1881), издатель, журналист — 103, 104, 106, 122, 160, 168, 169, 455, 462, 463, 478, 515.

Жиро Пьер-Франсуа-Эжен (1806—1881), художник — 392.

Жобе де Линьи, госпожа, знакомая Бальзака — 319.

Жоли Антенор, журналист — 379.

Жувен, парижский перчаточник — 125.

Жуи (наст. имя и фам. Виктор-Жозеф Этьен; 1764—1846), автор стихотворных трагедий и нраво-описательных очерков — 337, 507.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 341, 489.

Жюльен Бернар-Ромен (1802—1871), художник — 464, 508.

Жюльетта — см. Друэ Ж.

Замятнин Дмитрий Николаевич (1805—1881), русский государственный деятель — 341, 509.

Замятнина Екатерина Сергеевна (1812—1886), жена Д. Н. Замятнина — 341, 509.

Занд Жорж — см. Санд Ж.

Золя Эмиль (1840—1902) — 20.

Ирида-вестница — см. Пеллетье М.-Ф.

Каве Ижен-Огюст (1794—1852), в 1830—1848 гг. чиновник министерства внутренних дел, управляющий делами театрального и изобразительного искусства — 101, 461, 505.

Кайла Жан Мамер (1812—1877), журналист — 215, 486.

Калиостро Александр, граф де (наст. имя и фам. Джузеппе Бальзамо; 1743—1795), итальянский авантюрист, известный своим интересом к оккультным наукам — 412.

Калло Жак (1592—1635), художник — 202.

Кальвин (наст. имя и фам. Жак Ковен; 1509—1564), деятель Реформации — 183.

Кальдерон де ла Барка (1600—1681), испанский драматург — 361.

Камознс (Камонинш) Луис де (1524 или 1525—1580), португальский поэт — 85, 455.

Канель Урбен, издатель — 54, 445, 446, 458, 479.

Канова Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 414.

Карл I (1600—1649), английский король с 1625 г. — 43—45, 443.

Карл IX (1550—1574), французский король с 1560 г. — 454.

Карл X (1757—1838), французский король в 1824—1830 гг. — 55, 441.

Карлейль Томас (1795—1881), английский философ и историк — 517.

Карпаччо Витторе (ок. 1455—ок. 1526), итальянский художник — 494.

Карр Жан-Батист-Альфонс (1808—1890), писатель, журналист — 141, 274, 426, 491, 527.

Карро (урожд. Туранжон) Зюльма (1796—1889), приятельница Бальзака; ей посвящен в 1838 г. «Банкирский дом Нусингена» — 67, 68, 84, 184, 187, 449—450, 455, 483.

Карро Франсуа-Мишель (1781—1864), муж З. Карро, военный — 67, 449, 455, 483.

Карстенсен Георг Иоганн Бернгард (1812—1857), датский журналист и путешественник — 319.

Кассини Жан-Доминик (1625—1712), астроном — 109, 464.

Кассини Жан (1677—1756), астроном, сын Ж.-Д. Кассини — 109, 464.

Кастень Эсеб, библиотекарь в Ангулеме — 185.

Кастиль Шарль-Ипполит (1820—1886) — 350—351, 511, 529.

Кастри (урожд. де Майе де Латур-Ланди) Анриетта, маркиза, затем герцогиня де (1796—1861), возлюбленная Бальзака; ей посвящен в 1843 г. «Прославленный Годиссар» — 241, 242, 492, 520.

Катон Старший (Марк Порций Катон; 234—149 гг. до н. э.), римский государственный деятель — 38, 442.

Кенье Луи-Шарль (1762—1842), драматург — 483.

Кератри Огюст-Илларион де (1769—1859), государственный деятель и литератор — 176, 479.

Кидд Уильям (ок. 1650—1701), капитан британского флота, затем пират — 114, 466.

Кларанс (наст. имя и фам. Шарль Каппуа; 1819—1866), актер бульварных театров — 98.

Клеман де Рис Атаназ-Луи, граф (1820—1882) — 417—428, 526—528.

Клеман де Рис Доминик, граф де Мони (1750—1827), сенатор — 526.

Клер Альбер (1804—?), журналист — 223, 487.

Клервиль (наст. имя и фам. Луи-Франсуа Николе; 1811—1879), драматург — 460.

Климченко Константин Михайлович (1816—1849), русский скульптор — 343—349.

Клодт Петр Карлович (1805—1867), русский скульптор — 344, 510.

Козловский Петр Борисович, князь (1783—1840), русский дипломат — 230, 489.

Козловская Софья Петровна (1817—1878) — 230—231, 489.

Кок Поль-Шарль де (1793—1871), писатель — 368.

Коле (урожд. Ривуаль) Луиза (1810—1876), писательница — 522.

Колен д'Арлевиль Жан-Франсуа (1755—1806), драматург — 382—383, 520.

Колкхоун Патрик (1745—1820), английский экономист и филантроп, в 1792 г. глава лондонской полиции — 287.

Коллери Роже де (1470—?), поэт — 51, 444.

Колумб Христофор (1451—1506) — 260.

Кольбрюн Эжен-Огюст (1827?—1867), актер — 98.

Комманвиль (урожд. Амар) Каролина (1846—1931), племянница Г. Флобера — 522.

Конгрив Уильям (1772—1828), английский офицер, изобретатель ракеты, носящей его имя — 237.

Конни де ла Фе Феликс Жан Луи Элеонор, виконт де (1789—1850), публицист и политический деятель — 177.

Констан де Ребек Бенжамен (1767—1830), писатель — 476.

Конти Шарль-Этьен (1812—1872), корсиканский журналист — 451.

Коньяр Ипполит (1807—1882), драматург и театральный администратор — 361, 515.

Коньяр Теодор (1806—1872), драматург и театральный администратор, брат И. Коньяра — 361, 515.

Корнель Пьер (1606—1684) — 38, 40, 41, 45, 258, 270, 422, 442, 443.

Корнюэль (урожд. Биго) Анна-Мари (1614—1694), светская дама — 517.

Краммер Жан-Батист (1771—1858), немецкий пианист — 37.

Крейцер Фридрих (1771—1858), немецкий философ и филолог — 311, 500.

Кромвель Оливер (1599—1658), английский государственный деятель — 41, 43—45.

Кузен Виктор (1792—1867), философ — 32, 440.

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 87, 245, 253—256, 456, 493, 494.

Кусту Гийом (1667—1746), скульптор — 494.

Кутюрье де Сен-Клер (урожд. Румбольд) Каролина (1794—1847),

светская знаковая Бальзака — 498.

Кювье Жорж (1769—1832), естествоиспытатель — 127, 336, 469.

Кюгельман Ш., издатель — 227.

Кюрмер Леон (1801—1870), издатель — 401, 523.

Кюстин Астольф, маркиз де (1790—1857), писатель; ему посвящена в 1846 г. «Красная гостиница» — 340, 342, 458, 500, 508—510.

Лабедольер Эмиль Жиго де (1812—1883), журналист — 336.

Лабрюйер Жан де (1645—1696) — 104, 270.

Лаваль (урожд. Козицкая) Александра Григорьевна (1772—1850), русская аристократка — 341.

Лаваль Анн-Адриен-Пьер де Монморанси, герцог де (1768—1837), дипломат — 154.

Ладвока Шарль (1790—1854), издатель — 478.

Лакруа Жюль (1809—1887), литератор, брат Л.-П.-Б. Лакруа — 478.

Лакруа Луи-Поль-Бенуа-Филипп (1806—1884) — 161—171, 200, 464, 477—478, 485, 521.

Ламартин Альфонс де (1790—1869) — 98, 102—107, 109, 141, 270, 271, 364, 427, 433, 444, 460—463, 465, 467, 470, 472, 495, 516.

Ламартин (урожд. Берч) Марианна Элиза, жена А. де Ламартина — 444.

Ламенне Фелисите-Робер де (1782—1854), философ — 103.

Ларошфуко Франсуа, герцог де (1613—1680) — 104.

Лассайи Шарль (1806—1843),

писатель — 128, 131, 293—295, 297, 298, 469, 488, 497, 498.

Латуш Анри (наст. имя Ясент Табо; 1785—1851), писатель — 58, 142, 148—152, 172—175, 196—197, 427, 446, 453, 474, 475, 479, 484, 527.

Лафарж Жоашен (ум. ок. 1825), экономист — 24, 122, 439, 467.

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский писатель и философ, создатель физиогномики — 89, 242.

Лафонтен Жан де (1621—1695) — 42, 45, 46, 54, 78, 105, 129, 187, 292, 442, 445, 452, 454, 469, 483.

Лебрен Шарль (1619—1690), художник — 496.

Левавассер Альфонс, издатель — 164, 478.

Лёве-Веймар Франсуа Адольф, барон (1801—1854), литер. — 453.

Леврье Урбен Жан Жозеф (1811—1877), астроном — 227, 488.

Леге, педагог — 440.

Леконт Жюль-Франсуа (1814—1864), литератор — 193, 484.

Лемер Жан Батист Рэмон Жюльен (1815—1893) — 319—321, 459, 502—503, 507.

Лемер Филипп-Жозеф-Анри (1798—1880), скульптор — 343—344, 510.

Леметр Фредерик (наст. имя Антуан-Луи-Проспер; 1800—1876) — 97, 98, 100, 129, 180, 327—335, 362, 376, 377, 460, 461, 490, 497, 504—506, 515.

Лене Жозеф-Анри-Жоашен, ви-конт (1767—1835), политический деятель — 103.

Ленорман (урожд. Сиро) Амели, внучатая племянница и приемная дочь г-жи Рекамье, жена Ш. Ленормана — 154.

Ленорман Мария-Анна-Аделаида (1772—1843), гадалка — 132.

Ленорман Шарль (1802—1859), археолог и историк — 154.

Ленуар Жан-Шарль-Пьер (1732—1807), начальник парижской полиции в 1776—1785 г.г. — 287.

Ленц Вильгельм (Василий Федорович; 1809—1883), русский чиновник и музыкальный критик — 271—272, 341, 495, 509.

Лепитр Жак-Франсуа (1764—1821), педагог — 31, 440.

Лепуатвен де Л'Эгревиль, или Лепуатвен Сент-Альм Огюст (1793—1854), литератор — 161, 420, 424, 425, 444, 445, 477.

Леритье де Лэн Луи-Франсуа (1788—1852), литератор — 449.

Лесаж Ален-Рене (1668—1747), писатель — 334, 473.

Ливий Тит (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), римский историк — 269, 440.

Линде Жан-Батист Робер (1746—1825), член якобинского конвента, в 1799 г. министр финансов Франции — 23, 425.

Лозен Антонен Номпар де Ко-мон, граф, затем герцог де (1633—1723), маршал Франции — 524.

Ломени Луи-Леонар де (1815—1878), литератор — 33, 441.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 504.

Лопе де Вега (наст. имя и фам. Лопе Феликс де Вега Карпью; 1562—1635) — 361.

Лоран-Жан (наст. имя и фам. Альфонс-Жан Лоран; 1808—1877), художник, друг Бальзака — 86, 97—100, 128, 129, 169, 224, 225, 228, 247—250, 292, 293, 295, 328, 460, 461, 469, 487, 497.

Лоран Жан-Франсуа, компаньон

Бальзака, совладелец словолитни — 445.

Лоран Клеман Филипп (1800—1872), актер, акробат, клоун — 486.

Лоранти Пьер-Себастьян (1793—1870), журналист — 177, 480.

Лотур-Мезере Шарль (1801—1861), денди, литератор — 160, 169.

Лувель Луи-Пьер (1783—1820), седельщик, убийца герцога Беррийского — 178, 480.

Луи, кучер родителей Бальзака — 49.

Луи Пьер-Шарль-Александр (1787—1872), врач — 387, 389.

Луи-Филипп I (1773—1850), французский король в 1830—1848 гг. — 267—268, 270, 331, 332, 351, 360, 362, 399, 437, 471, 487, 495, 502, 505, 515.

Лукан Марк Анней (39—65 гг.), римский писатель — 37, 442.

Людовик XI (1423—1483), французский король с 1461 г. — 64, 448, 526.

Людовик XIII (1601—1643), французский король с 1610 г. — 460, 490.

Людовик XIV (1638—1715), французский король с 1643 г. — 104, 107, 270, 299, 398, 495.

Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г. — 421, 526.

Людовик XVI (1754—1793), французский король в 1774—1792 гг. — 65, 162, 449.

Люин Оноре-Теодорик-Поль-Жозеф д'Альбер, герцог де (1802—1867), историк, археолог и коллекционер — 300.

Люрин Луи (1816—1860), литератор — 227, 228.

Лютер (урожд. Боре) Катарина, жена М. Лютера — 359.

Лютер Мартин (1483—1546), деятель Реформации — 359, 360, 368, 514.

Мазарини Джулио, кардинал (1602—1661), первый министр Франции с 1643 г. — 270, 442, 495.

Малерб Франсуа де (1555—1628), поэт — 482.

Малю Себастьян (ум. 1816), муж тетки Бальзака Маргариты-Мишель-Софи Малю (урожд. Саламье; ум. 1810) — 41.

Малю (урожд. Мабиль) Анна-Франсуаза, вторая жена С. Малю — 41.

Мам Луи (1775—1839), издатель — 32, 161—165, 451, 477.

Мам, брат Л. Мама, мэр г. Тура — 32.

Маргарита (1492—1549) — королева Наварры с 1527 г., писательница — 186.

Маргонн Жан де (1780—1858), друг семьи Бальзаков; ему посвящено в 1843 г. «Темное дело» — 68, 80, 157—159, 476.

Маршалль, директор Вандомского коллежа — 29.

Мариво Пьер-Карле де Шамблен де (1688—1763), писатель — 429.

Марий Гай (157—86 гг. до н. э.), римский полководец — 327, 505.

Мария-Антуанетта (1755—1793) жена Людовика XVI, французская королева в 1774—1792 г г. — 449.

Мария Медичи (1573—1642), французская королева с 1600 г. — 276, 365, 496.

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — 338—339, 507—508.

Маркс Карл (1818—1883) — 20, 437.

Мартен Анри (1793—1832), дрессировщик — 65, 449.

Маршан, барон де (ум. 1816), первый муж баронессы Дутремон — 441.

Массена Андре (1758—1817), маршал Франции, участник наполеоновских войн — 45.

Меерис — Меер Герард ван (ум. 1512), фламандский художник — 200, 263, 275.

Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791—1864), немецкий композитор — 192.

Мельвиль (наст. имя и фам. Анн-Оноре-Жозеф Дюверье; 1787—1865), драматург — 361, 515.

Меннесье-Нодье, внук Ш. Нодье — 97.

Мервиль — см. Гийоне-Мервиль Ж.-Б

Мери Жозеф (1798—1866), писатель — 132, 242, 453, 492, 513.

Мериме Проспер (1803—1870) — 453.

Мерис — см. Фроман-Мерис Д.-Ф.

Мерис Франсуа-Поль (1818 или 1820—1905), писатель, брат Д.-Ф. Фроман-Мериса — 369, 377, 379, 380, 514.

Месмер Франц Антон (1734—1815), немецкий врач, создатель теории «животного магнетизма» — 412.

Местр Жозеф де (1753—1821), философ — 470, 472.

Меттерних-Виннебург Клеменс, князь (1773—1859), австрийский государственный деятель — 181, 481, 482.

Меттерних (урожд. Зихи) Мела-

ния, княгиня (ум. 1854), жена К. Меттерниха — 481.

Милю Полидор (наст. имя Моиз; 1813—1871), банкир и журналист — 379.

Мирабо Габриэль-Оноре Рикетти, граф де (1749—1791), государственный деятель и литератор, знаменитый оратор — 58, 104, 371, 446.

Мирабо Виктор Рикетти, маркиз де (1715—1789), экономист, отец Г.-О. Мирабо — 58, 446.

Мирекур (наст. фам. Жако) Эжен (1812—1880), литератор — 220, 487.

Мишель, братья, банкиры — 448.

Мишле Жюль (1798—1874), историк — 514.

Моессар Симон-Пьер (1781—1851), актер — 331, 332.

Мольер (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен; 1622—1673) — 45, 46, 54, 82, 88, 94, 104, 107, 120, 166, 224, 270, 288, 330, 334, 335, 355, 368, 383, 384, 395, 397, 411, 422, 428, 445, 454, 459, 463, 478, 487, 505, 506, 513, 516, 520.

Монбель Гийом-Исидор Барон, граф де (1787—1861), государственный деятель — 154.

Монбро, оценщик мебели — 276.

Монзегль Аман-Дезире Мишо де Сен-Пьер де (1787—1869), муж сестры Бальзака Лоранс — 444.

Монзегль (урожд. Бальзак) Лоранс-Софи (1802—1825), сестра Бальзака — 26, 30, 49, 439, 443—444.

Монроз (наст. имя и фам. Луи Баризен; 1811—1883), актер — 360, 514.

Монселе Шарль (1825—1888) — 379—380, 463, 514, 518—519.

Монтейль Аман-Алексис (1769—1850), историк, автор «Истории сословий во Франции» (т. 1—10, 1828—1844) — 138.

Монтень Мишель де (1533—1592) — 23, 411, 525.

Монтескье Шарль-Луи де Секонда, барон де Ла Бред (1689—1755) — 242, 411.

Монтион Антуан-Жан-Батист-Робер Оже, барон де (1733—1820), филантроп — 97, 184, 459, 483.

Монье Анри (1799—1877) — 128, 148—152, 293—295, 359, 371, 376, 469, 473—475, 514, 517.

Мур Томас (1779—1852), английский поэт — 502.

Мюрат Иоахим (1767—1815), маршал Франции, участник наполеоновских войн, Неаполитанский король с 1808 г. — 331.

Мюссе Альфред де (1810—1857) — 109, 226, 382, 427, 479, 488, 519, 520.

Наварет — Фернандес-Наваррете Эстакио (1820—1866), испанский поэт — 392.

Наккар Жан-Батист (1780—1854) — 36, 363, 387—388, 441, 464, 520.

Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769—1821), французский император в 1804—1815 г.г. — 102, 178, 181, 214, 274, 302, 331, 376, 391, 394, 433, 434, 439, 457, 480, 481, 486, 487, 496, 515, 528.

Нерваль Жерар де (наст. фам. Лабрюни; 1808—1855) — 241, 296—300, 402, 463, 464, 469, 484, 497, 498, 523.

Нессельроде Дмитрий Карлович, граф (1816—1891), сын К. В. Нессельроде, русский государственный деятель — 340, 508.

Нессельроде Карл Васильевич, граф (1780—1862), русский министр иностранных дел в 1816—1856 гг. — 508.

Нессельроде (урожд. Гурьева) Мария Дмитриевна, графиня (1786—1849), мать Д. К. Нессельроде — 340, 508—510.

Неттман Альфред-Франсуа (1805—1869) — 177—182, 457, 465, 480—482.

Неттман Франсис (1808—?), брат А. Неттмана, литератор — 481.

Николай I (1796—1855), российский император с 1825 г. — 276, 292, 313, 471, 501, 508.

Ноай Поль, герцог де (1802—1885), писатель, политический деятель — 99, 177, 460.

Нодье Шарль (1780—1844), писатель; ему посвящена в 1842 г. «Баламутка» — 97, 103, 147, 393, 446, 453, 459—460, 469, 473, 479.

Оверне Арман (1798—?), драматург — 490.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.) — 269.

Огюст — Огюст Деприль, слуга Бальзака в 1834—1837 гг. — 75, 213, 218, 219.

Одоевский Владимир Федорович, князь (1804—1869) — 341.

Оливарес Гаспар де Гусман, граф, затем герцог (1587—1645), испанский государственный деятель, в 1621—1643 гг. первый министр Испании — 377.

Опик (урожд. Аршанбо-Дефай) Каролина (1793—1871), мать Ш. Бодлера — 405—406.

Опуль Анна-Мари де Монгеру

де Кутанс, графиня де Бофор д' (1763—1837), писательница — 154.

Орлеанская (урожд. Мекленбург-Шверин) Елена-Луиза-Елизавета, герцогиня (1814—1858), жена герцога Ф. Орлеанского — 267—268.

Орлеанский Фердинанд, герцог де (1810—1842), старший сын Луи-Филиппа — 267—268, 332.

Остейн Ипполит (1814—1879), директор «Театр историк» в 1847—1849 гг. — 98—99, 460, 515.

Очкин Амплий Николаевич (1791—1865), русский литератор — 489.

Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807—1893), русская поэтесса — 316, 502.

Палисси Бернар (ок. 1510—1589 или 1590), керамист и естествоиспытатель, после долгих лет лишения и поисков открывший состав эмали — 115, 466.

Пальма Старший (Веккио) (наст. имя Якопо Негретти; ок. 1480—1528), итальянский художник — 275.

Паран-Дюшатле Алексис-Жан-Батист (1790—1836), врач, специалист по общественной гигиене — 287.

Парижский Луи-Филипп, граф (1838—1894), сын герцога Ф. Орлеанского — 269.

Паскаль Блез (1623—1662) — 258, 270.

Пассе Виктор-Эдуар, юрист — 33, 441.

Пеллетье (урожд. Петипа) Мария-Франсуаза, по прозвищу «матушка Комен», крестьянка из Вильпаризи, служанка Бальзаков в начале 20-х годов — 35, 40, 441.

Пепен Ле Аллер, фабрикант обмундирования, сосед Ж.-Б. Накара и приятель Т. Даблена — 84.

Перро Шарль (1628—1703), писатель — 238, 491.

Пети, театральный парикмахер — 332.

Пети де Лакруа Франсуа (1653—1713), литератор — 470.

Петр I Великий (1672—1725), русский царь с 1682 г., российский император с 1721 г. — 344, 510.

Петроний Гай (ум. 66 г.), римский писатель — 299, 412, 498, 525.

Пецци Джузеппе, итальянский торговец — 73, 115, 450.

Пиксерикур Рене-Шарль Гильбер де (1773—1844), драматург, библиофил — 184—185, 483.

Пишо Амедей (1796—1877), литератор — 162—167, 477, 478.

Планш Гюстав (1808—1857), критик — 313, 322—323, 465, 503.

Плесси Александрина де, виконтесса, кузина А. де Виньи — 146, 472.

Плиний Старший (23 или 24—79 гг.), римский писатель и ученый — 466.

Плутарх Херонейский (ок. 46—ок. 127 гг.), древнегреческий писатель и историк — 37, 442.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — 114, 403, 466.

Полен (наст. имя и фам. Поль Дюпор; 1798—1866), драматург — 498.

Полен Жан-Батист-Александр (1793—1859), издатель — 448.

Полиант (наст. имя и фам. Александр Шапонье), драматург — 490.

Поммерель Жильбер-Анн-Франсуа, барон де (1774—1860), генерал — 153, 475.

Поммерель Франсуа-Рене-Жан, барон де (1745—1823), генерал, отец Ж.-А.-Ф. де Поммереля — 475.

Поммерель, г-жа де, жена Ж.-А.-Ф. де Поммереля — 153, 475.

Понжервиль Арман-Огюстен-Жозеф-Мари Феррар, граф де (1811—1890), писатель — 460.

Понсар Франсуа (1814—1867), драматург — 294, 467, 497.

Порбус, или Пурбус — имя нескольких фламандских художников: Петера (1523—1584), его сына Франса I Старшего (1545—1581) и его внука Франса II (1569 или 1570—1622) — 390.

Порше, театральный деятель — 329.

Прево д'Экзиль Антуан-Франсуа, аббат (1697—1763), писатель, автор романа «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) — 88, 107.

Прео Огюст (1809—1879), скульптор — 344.

При..., г-жа — см. Брюньоль Л.-Ф.

Протоген (2-я пол. IV в. до н.э.), древнегреческий художник — 113, 466.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 311, 341, 500, 501.

Рабле Франсуа (ок. 1494—1553) — 23, 51, 77, 111, 120, 133, 142, 155, 166, 172, 177, 185, 233, 245, 289, 325, 334, 368, 372, 394, 397, 420, 421, 429, 444—445, 452, 464—465, 467, 469, 479, 490, 493.

Рамазанов Николай Александрович (1817—1867) — 343—349, 510—511.

Рамбюто Клод-Филибер Бартело, граф де (1781—1869), государственный деятель — 236.

Расин Жан (1639—1699) — 41, 46, 104, 258, 270, 411, 462, 517.

Ратье Виктор (1807—1898), журналист — 449.

Рафаэль Санти (1483—1520) — 125, 275, 292, 468, 511.

Рашель (наст. имя и фам. Элиза-Рашель Феликс; 1821—1858), актриса — 122, 382, 467.

Ребора, г-жа, мать С. П. Козловской — 489.

Рейе Пьер-Франсуа-Олив (1793—1867), врач — 387.

Рекамье (урожд. Бернар) Жанна-Франсуаза-Жюли-Аделаида (1777—1849), хозяйка литературного салона — 154—156, 476.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — 126, 200, 292, 430, 431.

Ремюза Шарль, граф де (1797—1875), государственный деятель — 330, 333, 461, 505, 506, 515.

Ренан Эрнест-Жозеф (1823—1892), философ и писатель — 517.

Реньо Эмиль (1811—1863), врач, в 1836 г. выпускающий редактор *КП* — 172, 194—196, 199, 207—210, 226, 452, 479, 485, 488.

Рессон Орас-Наполеон (1798—1854), литератор — 148, 474.

Ретиф де Ла Бретон Никола (1734—1806), писатель — 518.

Ржевусский Адам (1801—1888), брат Э. Ганской, военный — 340.

Рихтер Ж. - П. — см. Жан-Поль.

Рицца-Бей, турецкий поверенный в делах в Париже в 50-е годы — 392.

Ричардсон Сэмюэл (1689—1761), английский писатель — 54, 55, 88, 445.

Ришелье Арман-Жан Дюплесси, герцог де, кардинал (1585—1642) — 377, 394.

Робер Арман, журналист, сотрудник «Пресс» — 285, 287, 288.

Робер Луи Леопольд (1794—1835), швейцарский художник — 414, 475, 526.

Робеспьер Максимилиен-Мари-Исидор де (1758—1794) — 23.

Роган-Шабо, шевалье де — 422, 527.

Роден Огюст (1840—1917), скульптор — 516.

Роза, кухарка Бальзака — 213.

Ройе-Коллар Пьер-Поль (1763—1845), государственный деятель — 103.

Роль Жак-Ипполит (1799—1883), литератор, журналист — 99, 460, 461.

Россини Джоакино (1792—1868), итальянский композитор; ему посвящен в 1842 г. «Брачный контракт» — 82, 429, 483, 528.

Ротшильд Джеймс (1792—1868), банкир — 224, 241, 292, 295, 365, 497.

Ру Филибер-Жозеф (1780—1854), врач — 387, 390.

Рубенс Питер Пауэл (1577—1640) — 494.

Руджиери Ком (ум. 1615), итальянский астролог, пользовавшийся влиянием при французском дворе во 2-й пол. XVI в. — 225.

Ружмон, мадемуазель де, соседка Бальзаков в квартале Марэ — 32.

Руссо Джеймс (наст. имя Пьер-Жозеф; 1797—1849), литератор, автор песенок, водевилей и «физиологических очерков» — 148.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) —

37, 46, 152, 214, 271, 368, 395, 411, 443, 475, 486, 495, 496, 521.

Саламбье Клод-Луи-Жозеф (1748—1803), дед Бальзака — 23, 27, 28, 439.

Саламбье (урожд. Шове) Мари-Барб-Софи (1749-1823), бабушка Бальзака — 27, 29, 32, 33.

Сальмон де Мэзон-Руж, племянник Ж. де Маргонна — 157—159, 476.

Санд Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван; 1804—1876) — 28, 95—96, 109, 137—145, 172—176, 303, 339, 376, 427, 439, 458, 459, 471—472, 479, 504, 508.

Сандо Леонар-Сильвен-Жюль (1811—1883), писатель — 108, 114, 172, 193—196, 199, 207—210, 290, 293—295. 464, 479, 484, 485, 486.

Сансон Анри (1767—1840), парижский палач — 65, 162, 449, 478, 481.

Сансон Никола (1600—1667), географ — 162.

Сансон Никола (1626—1648), географ, сын Н. Сансона — 162.

Сансон Шарль-Анри (1740—1793), парижский палач, отец А. Сансона — 162, 449.

Сарданапал, легендарный царь Ассирии, сжегший свой дворец, своих приближенных и себя самого при приближении врагов — 322, 349.

Сведенборг Эмануэль (1688—1772), шведский философ-мистик — 65, 214, 412, 446.

Светоний Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140 гг.), римский историк — 270, 394, 495.

Сегон Альберик (1817—1887) —

183—188, 222—228, 290—295, 457, 482—484, 487—488, 497.

Селевкиды, царская династия, правившая в 312—64 гг. до н. э. на Ближнем и Среднем Востоке — 376, 518.

Сен-Жермен, граф де (ум. 1784), авантюрист, приписывавший себе чудесное долголетие — 412.

Сенковский Осип Иванович (1800—1858), русский литератор — 489.

Сен-Мартен Луи-Клод де (1743—1803), философ-мистик — 65, 446.

Сен-Симон Луи де Рувруа, герцог де (1675—1755), мемуарист — 264, 490.

Сент-Аман (наст. имя и фам. Жан-Аман Лакост; 1797—1885) драматург — 490.

Сент-Бев Шарль-Огюстен (1804—1869) — 103, 109, 313, 366, 407—416, 443, 448, 453, 458, 464, 465, 471, 484, 504, 516, 524—525.

Сербинович Константин Степанович (1796—1874), русский чиновник и журналист — 229, 488, 489.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — 25, 36, 225, 334.

Сертен Никола, драматург — 336—337, 504.

Серр Шарль-Мари-Эмиль (1798—1858), скульптор — 486.

Сийес Эммануэль-Жозеф, граф (1748—1836), политический деятель — 411, 525.

Симон, выпускающий редактор «Шаривари» — 223.

Скотт Вальтер (1771—1832) — 62, 64, 87, 253, 316, 324, 397, 446—448, 456, 502.

Скриб Огюстен-Эжен (1791—1861) — 33, 290, 361, 427, 441, 453, 467, 515, 528.

Собаньская (урожд. Ржевуская) Каролина (1794—1885), сестра Э. Ганской — 478.

Соколов Петр Петрович (1821—1899) — 342, 509.

Сократ (470 или 469—399 г. до н. э.) — 432.

Солар Феликс (1811—1870), финансист и журналист — 272—277, 495.

Софи — см. Сюрвиль С.-Э.

Софокл (ок. 496—406 г. до н. э.) — 43.

Сталь (урожд. Неккер) Жермена де (1766—1817), писательница — 465.

Стендаль (наст. имя и фам. Анри-Мари Бейль; 1783—1842) — 87, 263, 350, 351, 426, 456, 494, 525.

Стерн Лоренс (1713—1768), английский писатель — 23, 60, 439, 447, 458.

Стратфорд (Страффорд) Томас Уинтворт, граф (1593—1641), английский политический деятель — 43—45.

Строев Владимир Михайлович (1812—1862), русский литератор — 500.

Суверен Дени-Ипполит (ум. 1880), издатель — 232, 306—307, 363, 452, 490, 500, 502.

Сулла (138—78 г. до н. э.), римский полководец — 505.

Сулье Мельхиор-Фредерик (1800—1847), писатель — 389, 453, 521.

Сю Эжен (наст. имя Мари-Жозеф; 1804—1857), писатель — 303, 313, 430, 432, 453, 528.

Сюрвиль Жанна-Шарлотта-Валентина (1830—?), дочь Л. Сюрвиль; ей посвящено в 1842 г. «Супружеское согласие» — 81, 92.

Сюрвиль (урожд. Бальзак) Лора (1800—1871), сестра Бальзака — 22—101, 102, 226, 380, 390, 437—462, 466, 469, 476, 479, 487, 506, 509, 510.

Сюрвиль Софи-Эжени (1823—?), дочь Л. Сюрвиль — 80, 81, 92.

Сюрвиль Эжен-Огюст-Луи Миди де ла Гренре (1790—1866), муж Л. Сюрвиль, инженер; ему посвящена в 1844 г. «Старая дева» — 47, 51, 56, 73, 75, 76, 80, 81, 92, 390, 443, 446, 447, 451, 454, 456, 474.

Тагор, хозяин гостиницы в Берлине — 346.

Талейран-Перигор Шарль-Морис де (1754—1838), политический деятель — 331, 376.

Таллеман де Рео Геден (1619—1692), писатель — 428, 528.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826), актер — 376, 504.

Татю Жозеф (ум. 1849), издатель — 149.

Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.), по римскому преданию, последний царь Рима — 278.

Тацит Публий Корнелий (57 или 58 — ок. 117 г.), римский историк — 37, 38, 59, 270, 394.

Тексье Эдмон (1816—1887), литератор — 336—337, 506—507.

Тель Вильгельм, герой народной швейцарской легенды — 291.

Тенирс Давид (1610—1690), фламандский художник — 263, 281.

Теофиль — см. Готье Т.

Терборх Герард (1617—1681), голландский художник — 233.

Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.), римский император с 14 г. — 471.

Тик Людвиг (1773—1853), немецкий писатель — 124, 468.

Тициан (наст. имя и фам. Тициано Вечеллио; ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576) — 285, 292.

Торвальдсен Бертель (1768 или 1770—1844), датский скульптор — 343.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — 229, 488—489.

Тургенев Николай Иванович (1789—1871), брат А. И. Тургенева, экономист, декабрист — 488.

Туссен-Лувретьюр (наст. имя и фам. Франсуа Доминик Туссен; 1743—1803), гаитянский политический деятель, вождь восстания негров в 1791 г. — 114, 115.

Туше Мари (1549—1638), возлюбленная французского короля Карла IX — 80, 454.

Тьер Луи-Адольф (1797—1877), политический деятель и историк — 313, 501.

Тюлу Жан-Луи (1786—1865), флейтист — 36, 441.

Урлиак Эдуард (1813—1848), писатель — 128, 129, 236—239, 402, 427, 458, 469, 491, 523.

Уссе Арсен (1815—1894) — 381—386, 463, 519—520.

Усье Александр, издатель — 471, 512.

Фаллу Фредерик Альфред Пьер, граф де (1811—1886), политический деятель — 457—458.

Фальгьер Александр (1831—1900), скульптор и художник — 516.

Фальконе Этьен-Морис (1716—1791), скульптор — 344, 510.

Федоров Борис Михайлович (1794—1875), русский литератор — 229, 489.

Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715), теолог и писатель — 297, 498.

Ферран Пьер-Жозеф, биржевой маклер, друг семьи Бальзаков — 42.

Ферри Габриэль (наст. фам. де Беллемар; 1846—?), литератор — 520.

Ферфакс Томас (1611—1671), английский полководец — 43, 44.

Фехтер Шарль-Альбер (1824?—1879), актер — 98.

Фидий (ок. 500 — ок. 431 г. до н. э.), древнегреческий скульптор — 414.

Филдинг Генри (1707—1754), английский писатель — 271.

Филипон Шарль (1800—1862), художник-карикатурист — 487, 502.

Филипп II (382—336, г. до н. э.), царь Македонии с 359 г. до н. э. — 322, 503.

Филипп II (1527—1598), испанский король с 1556 г. — 270.

Фиц-Джеймс Эдуар, герцог де (1776—1838), политический деятель, глава легитимистской партии при Июльской монархии, дядя маркизы де Кастри — 177.

Флобер Гюстав (1821—1880) — 399, 457, 479, 517, 522.

Флориан Жан-Пьер Клари де (1755—1794), писатель, моралист — 87.

Флуран Пьер (1794—1867), физиолог — 122, 467.

Франсуа — Франсуа Мюнш, слуга Бальзака в последние годы его жизни — 94.

Франциск I (1494—1547), французский король с 1515 г. — 186, 478.

Фраунгофер Йозеф (1787—1826), немецкий физик и астроном — 303.

- Фредерик — см. Леметр Ф.
- Фрерон Эли (1718—1776), литератор — 518.
- Фридрих II (1712—1786), прусский король с 1740 г. — 476.
- Фроман-Мерис (наст. имя и фам. Франсуа-Дезире Фроман; 1802—1855), ювелир — 268.
- Фуке Пьер-Элуа (1776—1850), врач — 387.
- Фюрн Шарль (1794—1859), издатель — 214, 448, 469, 486, 512, 513.
- Хаммер-Пургшталь Иосиф (1774—1856), австрийский востоковед — 249, 493.
- Хлендовский Луи, граф, издатель, польский эмигрант — 512.
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 г. до н. э.) — 37, 270.
- Цинкграф Юлий Вильгельм (1591—1635), немецкий поэт, автор «Апофегм, или Сентенций, выбранных из латинских авторов» (1626—1631) — 367.
- Чаттертон Томас (1752—1770), английский поэт — 325, 499, 504.
- Челлини Бенвенуто (1500—1571), итальянский скульптор, ювелир, писатель — 262, 276.
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 438, 479.
- Шаль Филарет (1798—1873) — 313, 373, 412, 419, 429—434, 525—526, 528.
- Шансель Озон де, поэт — 448.
- Шантильи, фабрикант вуалеток — 125.
- Шанфлери (наст. имя и фам. Жюль-Франсуа-Феликс Юссон; 1821—1889), писатель — 357—370, 465, 473, 491, 500, 513—517, 523.
- Шарден Жан-Батист-Симеон (1699—1779), художник — 370.
- Шарпантье Жерве (1805—1871), издатель — 156.
- Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), писатель — 103, 191, 313, 344, 357, 460, 463, 465, 476, 484, 501, 513.
- Шаховской Александр Александрович, князь (1777—1846), русский драматург — 341.
- Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — 301—318, 452, 493, 498—502.
- Шекспир Уильям (1564—1616) — 109, 242, 270, 334, 373, 397, 463, 464.
- Шенье Андре-Мари де (1762—1794), поэт — 446.
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805) — 316, 446, 502.
- Шувалов Андрей Петрович, граф (1744—1789), русский литератор — 324, 504.
- Шувалов Григорий Петрович, граф (1804—1861), русский дипломат и поэт, впоследствии монах ордена барнабитов — 324, 504.
- Эвера Адольф, типограф — 155, 156, 192, 476.
- Эджертон Генри, граф де Бриджутер, лорд (1756—1829), английский ученый, знаток древностей, с начала XIX в. живший в Париже — 281.
- Эдуэн Эдмон, художник — 134.
- Эмар Антуан, барон (1773—1861), генерал — 280.
- Энгельс Фридрих (1820—1895) — 20—21, 437.
- Энр Жан-Огюст-Доминик (1780—1867), художник — 192, 484.

Эро де Сешель Мари-Жан (1759—1794), писатель и политический деятель — 528.

Эсменар Жозеф-Альфонс (1769—1811), поэт — 336, 507.

Эстре Габриэль д' (1573—1599), возлюбленная Генриха IV — 161.

Этекс Антуан (1808—1888), художник и скульптор — 343—344, 510.

Этцель Пьер-Жюль (1814—1886), издатель — 355, 423, 448, 512, 513, 527.

Эчегойен, парижский банкир — 73.

Юрфе Оноре д' (1568—1625), писатель, автор пасторального романа «Астрей» (1607—1628) — 409—410.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАЛЬЗАКА *

- Административные приключения удачной идеи (1833, неоконч.) — 75, 451.
- Альбер Савариус (1842) — 130—131, 469.
- Анатомия педагогической корпорации (неосуществленный замысел конца 30-х годов) — 91.
- Аннета и преступник, или Пират Аргуо (1824) — 149, 474.
- Арденнский викарий (1822) — 425, 443, 527.
- Баламутка (1841—1842; см. также Жизнь холостяка) — 88, 136, 200, 421, 440, 449, 457, 473, 485, 491, 526, 527.
- Банкирский дом Нусингена (1838) — 449, 458.
- Беатриса (1839) — 377, 457—459, 471, 518.
- Бедные родственники (1847; сост. из романов «Кузина Бетта» и «Кузен Понс») — 92, 135, 142, 170, 352, 413, 470, 512, 515.
- Блеск и нищета куртизанок (1838—1847) — 458, 468, 495, 496, 518.
- Брачный контракт (1835) — 86, 187, 454, 455, 489, 518.
- Ванн Хлор (1825) — 162, 446, 484.
- Воспоминания двух новобрачных (1841—1842) — 126, 136, 452, 468.
- Вотрен (1840) — 47, 100, 101, 129, 327—335, 362, 427, 439, 443, 461, 481, 493, 501, 505, 506, 515, 527.
- Герцогиня де Ланже (1833; вторая часть «Истории тринадцати») — 188, 410.
- Гобсек (1830) — 63, 360, 440.
- Госпожа Фирмиани (1832) — 122, 126, 136.
- Гренадьер (1832) — 91, 200, 409, 421, 440, 485, 526.

* В указатель не включены названия сборников и циклов («Сцены частной жизни» и т. п.); если в тексте упомянуты герой произведений, то эти страницы указаны лишь в тех случаях, когда данный персонаж действует в определенном произведении (Гобсек, папаша Гранде и пр.), а не переходит из одного романа в другой (Нусинген, Шмуке и пр.).

Два изгнанника — см. Изгнанники.

Два поэта (1837; первая часть «Утраченных иллюзий») — 476.

Двойная семья (1830) — 63, 448.

Делец (1840—1848; пост. и опубл. 1851) — 97—101, 124, 333—335, 382, 460, 468, 504, 506, 519.

Дело об опеке (1836) — 136, 468.

Дом Клааса — см. Поиски Абсолюта.

Дом кошки, играющей в мяч (1830) — 440.

Дочь Евы (1839) — 63, 448, 458.

Драма на берегу моря (1834) — 470.

Душистый горошек — см. Брачный контракт.

Ессе homo (1836; первая часть «Неведомых мучеников») — 519.

Евгения Гранде (1833) — 64, 75, 78, 108, 133, 136, 141—142, 200, 213, 296, 330, 338, 360, 452, 473, 485, 486, 505, 511, 513.

El verdugo (1830) — 455.

Екатерина Медичи — см. О Екатерине Медичи.

Жан-Луи, или Обретенная дочь (1822) — 444, 445.

Жизнь холостяка (1842; см. также Баламутка) — 236, 315, 420, 491, 526.

З. Маркас (1840) — 90, 130, 187, 261—262, 458, 469, 483.

Загородный бал (1830) — 447.

Заметки для господ депутатов, членов комиссии по литературной собственности (1841) — 473.

Записки Сансона (1830) — 163—165, 167, 449, 478.

Златоокая девушка (1834—1835; третья часть «Истории тринадцати») — 126, 468, 518.

Изгнанники (1831) — 65, 448.

Изнанка современной истории (1843—1844) — 136.

Искусство платить долги (1827) — 474, 523.

Искусство повязывать галстук (1827) — 474.

Исповедь Руджиери (вторая часть книги «О Екатерине Медичи») — 487.

История величия и падения Цезаря Бирото (1837) — 33, 136, 142, 236—239, 408, 420, 424, 440, 450, 454, 461, 473, 491, 525, 527.

История тринадцати (1835; см. также Феррагус, Герцогиня де Ланже, Златоокая девушка) — 108, 213, 468.

К истории процесса по поводу «Лилии в долине» (1836) — 453, 478, 484, 527.

Католический священник (1832, неоконч.) — 75, 451.

Кинола — см. Прodelки Кинолы.

Клотильда де Лузиньян (1822) — 149, 443, 474.

Кодекс честных людей (1825) — 474.

Комедианты неведомо для себя (1846) — 133, 459, 469.

Коксигрю (1819, неоконч.) — 37, 441.

Король нищих (1848; неоконч.) — 98, 99, 460.

Кошелек (1832) — 489.

Красная гостиница (1831) — 64, 142, 448.

Крестьяне (первая часть — 1844, вторая часть — 1855) — 20, 92, 285, 288, 437, 462, 496.

Кромвель (1820) — 41, 43—45, 47, 51, 424, 442, 443, 527.

Кузен Понс (1847) — 134, 135, 365, 421, 457, 458, 469, 470.

Кузина Бетта (1846) — 88, 170, 408, 420, 457, 460, 470, 512, 525.

Лилия в долине (1836) — 68, 90, 107, 126, 199, 213, 230, 254, 255, 288, 421, 440, 448—450, 453, 454, 458, 468, 480, 506, 520, 525, 526.

Луи Ламбер (1832—1835) — 28, 56, 68, 112, 136, 213, 404, 440, 449, 450, 458, 465, 522.

Мари Туше (1835, неоконч.) — 80, 454.

Массимилла Дони (1839) — 468.

Мачеха (1848) — 427, 515, 527—528.

Мемуары Сансона — см. Записки Сансона.

Меркаде — см. Делец.

Мнимая любовница (1841) — 493.

Модеста Миньон (1844) — 126, 236, 358, 461, 462, 468, 469, 472, 514.

Монография о добродетели (нач. 30-х годов, неоконч.) — 91, 122, 458, 467.

Монография о парижской прессе (1843) — 80, 227, 424, 453, 469, 488, 527.

Монография о рантье (1839) — 498.

Музей древностей (1836—1838) — 136, 468.

Мысли, сюжеты, фрагменты (1830—1848) — 445.

Мэтр Корнелиус (1831) — 64, 213, 440, 448, 450.

Наследница Бирага (1822) — 444, 445.

Неведомые мученики (40-е годы, неоконч., см. Ессе homo) — 519.

Нотариус (1839) — 498.

О Екатерине Медичи (1830—1841) — 60, 62, 447, 454.

О литературной собственности и контрафакции (1836) — 527.

О предполагаемом разрушении памятника герцогу Беррийскому (1832) — 178, 480.

О том, что не в моде (1830) — 455.

О художниках (1830) — 452.

Обедня безбожника (1836) — 46, 91, 136.

Озорные рассказы (1832—1837) — 76, 118, 142, 211, 213, 220, 235, 420, 422, 452, 465—467, 476, 487.

Опыт о человеческих силах (30—40-е годы, неоконч.) — 91, 458.

Отец Горюи (1835) — 46, 80, 108, 121, 213, 299, 328, 338, 377, 410, 447, 450, 53, 454, 459, 467, 485, 489, 498, 518.

Памела Жиро (1843) — 427, 439, 527.

Патология социальной жизни (неосуществленный замысел сборника конца 30-х годов; см. также Теория походки; Трактат о современных возбуждающих средствах; Трактат об элегантно́й жизни) — 91, 458.

Первые шаги в жизни (1842) — 92, 121, 459.

Письма о литературе, театре и искусстве (1840) — 87, 456, 494, 507.

Письмо Ипполиту Кастилю (1846) — 511.

Письмо о Киеве (1847) — 509.

Письмо французским писателям XIX в. (1834) — 527.

Поиски Абсолюта (1834) — 68, 80, 81, 93, 107, 109, 136, 200, 201, 213, 400, 443, 450, 454, 485, 486, 508, 524.

Покинутая женщина (1832) — 91, 142, 409.

- Полковник Шабер (1832) — 424, 527.
- Поручение (1832) — 91, 142.
- Последнее воплощение Вотрена (1847; четвертая часть «Блеска и нищеты куртизанок») — 277, 496.
- Последний шуан — см. Шуаны.
- Предисловие к «Сценам частной жизни» (1830) — 504.
- Предисловие к ЧелК (1842) — 448, 458, 463, 471, 502, 528.
- Приключения удачной идеи — см. Административные приключения удачной идеи.
- Принц богемы (1840) — 240, 492.
- Провинциальная знаменитость в Париже (1839; вторая часть «Утраченных иллюзий») — 417, 424, 457, 483, 516.
- Провинциальная муза (1843) — 479.
- Проделки Кинолы (1842) — 47, 133, 360, 403, 427, 439, 443, 469, 515, 524, 527.
- Продолжение «Тартюфа» (40-е годы, неоконч.) — 355, 513, 516.
- Прославленный Годиссар (1833) — 421, 440, 473, 527, 528.
- Прощай (1830) — 455.
- Прощенный Мельмот (1835) — 475.
- Пьеретта (1840) — 136, 142.
- Раскаяние Берты (1837; в сост. «Озорных рассказов») — 221, 487.
- Ричард Доброе Сердце (40-е годы, неоконч.) — 506.
- Сельский врач (1833) — 52, 56, 62, 66, 75, 76, 81, 93, 108, 136, 184, 445, 449, 451, 454, 458, 459, 484.
- Сельский священник (1839) — 92, 93, 136, 440.
- Серафита (1834) — 65, 66, 78, 88, 108, 213, 245, 333, 376, 422, 446, 449, 452—454, 506, 518.
- Силуэт женщины (1830) — 455, 468.
- Старая дева (1836) — 66, 421, 449, 527.
- Стелла (1819; неоконч.) — 37, 41, 441, 442.
- Страдания изобретателя (1843; третья часть «Утраченных иллюзий») — 424, 466, 528.
- Страсть в пустыне (1830) — 65, 449, 455, 518.
- Тайны княгини де Кадиньян (1839) — 126, 437, 463, 468, 481.
- Темное дело (1841) — 242, 420, 492, 526.
- Теория походки (1833) — 122, 458, 467.
- Трактат о современных возбуждающих средствах (1838) — 241, 458, 492.
- Трактат об элегантнои жизни (1830) — 458, 469.
- Тридцатилетняя женщина (1831 — 1834) — 242, 409, 421, 440, 451, 456, 457, 525, 526.
- Турский священник (1832) — 136, 421, 425, 440, 468, 473, 527.
- Урсула Мируэ (1841) — 63, 72, 85, 92, 136, 142, 200, 447, 448, 456, 458, 485, 493, 527.
- Утраченные иллюзии (1837—1843; см. также Два поэта; Провинциальная знаменитость в Париже; Страдания изобретателя) — 79, 136, 186—188, 449, 457, 466, 473, 476, 481, 483—484, 490, 494, 502, 518, 527.
- Фачино Кане (1836) — 94, 114, 441, 439, 518.
- Феррагус, предводитель деворан-

тов (1833; первая часть «Истории тринадцати») — 126, 136.

Физиология брака (1829) — 51, 108, 142, 146, 163—167, 242, 283, 420, 444, 464, 472, 478, 492.

Цезарь Бирото — см. История величия и падения Цезаря Бирото.

Шагреновая кожа (1831) — 61, 108, 142, 173, 179, 200, 205, 223, 224, 240, 346, 348, 401, 441, 457, 476, 479, 480, 486, 487, 493, 528.

Школа супружества (1839) — 297—298, 439, 498.

Шуаны, или Бретань в 1799 году (1829) — 58—60, 62, 83, 149, 162, 163, 235, 425, 446, 455, 474, 475, 527.

Эликсир долголетия (1830) — 142.

Эпизод из эпохи Террора (1830) — 65, 165, 449, 478.

Эпод о Бейле (1840) — 87, 426, 456.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Лилеева.</i> Гений и современники	5
---	---

ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И ЛИЧНОСТЬ БАЛЬЗАКА

<i>Л. Сюрвилль.</i> Бальзак, его жизнь и произведения по его переписке. <i>Перевод С. Брахман</i>	22
<i>А. де Ламартин.</i> Из книги «Бальзак и его сочинения». <i>Перевод П. Хуцишвили</i>	102
<i>Т. Готье.</i> Из книги «Оноре де Бальзак». <i>Перевод С. Брахман</i>	108
<i>Жорж Санд.</i> Из статьи «Оноре де Бальзак». <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	137

БАЛЬЗАК В 1825-1830 ГОДАХ

<i>А. де Виньи.</i> Из письма к виконтессе де Плесси. <i>Перевод М. Перпер</i>	146
<i>А. Монье.</i> Из книги «Мемуары г-на Жозефа Прюдомы». <i>Перевод Н. Зубкова</i>	148
<i>Г-жа де Поммерель.</i> Воспоминания. <i>Перевод И. Лилеевой</i>	153
<i>Э.-Ж. Делеклюз.</i> Из книги «Воспоминания за шестьдесят лет». <i>Перевод П. Зубкова</i>	154
<i>Ж. де Маргонн.</i> Воспоминания. <i>Перевод И. Лилеевой</i>	157
<i>* Э. и Ж. Гонкуры.</i> Из «Дневника». <i>Перевод А. Тарасовой</i>	160
<i>П. Лакруа.</i> Из статьи «Чистосердечный рассказ о моем знакомстве с Бальзаком». <i>Перевод Л. Кравченко</i>	161

БАЛЬЗАК В 1831-1840 ГОДАХ

<i>Жорж Санд.</i> Из книги «История моей жизни». <i>Перевод И. Хуцишвили</i>	172
<i>А. Неттман.</i> Из книги «История французской литературы при Июльской монархии». <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	177
<i>А. Сегон.</i> Из книги «Шкатулка с воспоминаниями» (1). <i>Перевод Р. Родиной</i>	183

Э. Верде. Из книги «Интимный портрет Бальзака». <i>Перевод С. Брахман.</i>	189
А. Сегон. Из книги «Шкатулка с воспоминаниями» (2). <i>Перевод Р. Родиной.</i>	222
А. И. Тургенев. Из письма к К. С. Сербиновичу.	229
С. П. Козловская. Из письма к П. Б. Козловскому	230
Т. Готье. <Портрет Бальзака>. <i>Перевод С. Брахман.</i>	232
А. Баше. Из книги «Оноре де Бальзак. Человек и писатель». <i>Перевод С. Брахман.</i>	234
Л. Гозлан. Из книги «Бальзак в домашних туфлях». <i>Перевод С. Брахман.</i>	244
А. Сегон. Из книги «Шкатулка с воспоминаниями» (3). <i>Перевод Р. Родиной.</i>	290
Ж. де Нерваль. О Бальзаке. <i>Перевод Е. Ливишиц.</i>	296
С. П. Шевырев. Из «Парижских эскизов». Визит Бальзаку	301
Ж. Лемер. Из книги «Бальзак. Его жизнь и творчество». <i>Перевод Ю. Зыбцева.</i>	319
Ж. Валлес. Из книги «Строптивые». <i>Перевод Е. Ливишиц</i>	322
О. Барбье. Из книги «Личные воспоминания и современные силуэты». <i>Перевод М. Перпер.</i>	324
Ф. Леметр. Из книги «Воспоминания». <i>Перевод Б. Вайсмана</i>	327
Э. Тексье. Из книги «События настоящего времени». <i>Перевод Н. Зубкова.</i>	336

ПОЕЗДКА В РОССИЮ (1843)

Б. М. Маркевич. Из прожитых дней.	338
М. Д. Нессельроде. Из письма к Д. К. Нессельроде	340
В. Ф. Ленц. Из «Приключений лифляндца в Петербурге»	341
П. П. Соколов. Из книги «Воспоминания»	342
П. А. Рамазанов. Из писем к родным.	343

БАЛЬЗАК В 1844-1848 ГОДАХ

И. Кастиль. Из книги «Люди и нравы во Франции в царствование Луи-Филиппа». <i>Перевод Е. Ливишиц.</i>	350
Г. Денуартер. Из книги «Оноре де Бальзак». <i>Перевод М. Перпер.</i>	352
Э. Гот. Из «Дневника». <i>Перевод Ю. Зыбцева.</i>	355
Шанфлери. Исторические заметки. <i>Перевод С. Брахман</i>	357
Т. де Банвиль. Оноре де Бальзак. <i>Перевод Н. Хуцишвили</i>	371
Ш. Монселе. Из книги «Маленькие литературные мемуары». <i>Перевод Ю. Зыбцева.</i>	379

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ БАЛЬЗАКА

<i>А. Уссе. Из книги «Исповедь». Перевод Н. Зубкова</i>	381
<i>А. Уссе. Последние часы Бальзака. Перевод Ю. Зыбцева</i>	384
<i>Ж.-В. Наккар. Заметки о последних днях Бальзака. Перевод В. Вайсмана.</i>	387
<i>* В. Гюго. Смерть Бальзака. Перевод А. Андрес</i>	389
<i>* В. Гюго. Речь на похоронах Бальзака. Перевод А. Ку- лишер.</i>	394
<i>Ж.-А. Барбе д'Оревильи. Смерть Бальзака. Перевод И. Лилеевой.</i>	397
<i>* Г. Флобер. Из письма к Л. Буйе. Перевод Б. Грифцова</i>	399

ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Ш. Бодлер. <О Бальзаке>. Перевод Е. Ливицц (Из писем; из статьи «Теофиль Готье») и В. Мильчиной</i>	400
<i>Ш. Сент-Бев. Г-н де Бальзак. Перевод М. Пернер</i>	407
<i>А.-Л. Клеман де Рис. Оноре де Бальзак. Перевод Р. Родиной</i>	417
<i>Ф. Шаль. Бальзак-пантеист. Перевод Ю. Зыбцева.</i>	429
Комментарии	436
Именной указатель	529
Указатель произведений Бальзака	552

- Бальзак в воспоминаниях современников /**
Б21 Сост., вступ. статья И. Лилеевой; Коммент. и указатели И. Лилеевой и В. Мильчиной; Научн. подгот. тома В. Мильчиной. — М.: Худож. лит., 1986. — 559 с., портр. (Лит. мемуары).

В книге собраны воспоминания биографов — современников великого французского писателя-реалиста, его родственников и друзей, издателей, деятелей французской литературы и искусства (А. де Виньи, В. Гюго, Г. Флобера, Жорж Санд, Т. Готье и др.).

Особый интерес представляют отзывы русских современников Бальзака и воспоминания о его поездке в Россию.

Издается впервые.

Б $\frac{4703000000-234}{028(01)-86}$ 137-86

ББК 84.4Фр

БАЛЬЗАК В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Составитель

Ирина Александровна Лилеева

Редактор *Е. Осенева*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *Л. Платонова*

Корректоры *Н. Замятина, Т. Сидорова*

ИБ № 3323

Слано в набор 31.01.85. Подписано в печать 27.01.86. Формат 84X108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4+1 вкл. + альбом = 30,29. Усл. кр.-отг. 30,71. Уч.-изд. л. 32,56 + 1 вкл. + альбом = 33,29. Тираж 100 000 экз. Изд. № VI-615. Зак. № 1802. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15